
ИВ. ШМЕЛЕВ
ЭТО
БЫЛО

ИВ. ШМЕЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ЭТО БЫЛО



РАССКАЗЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

Москва

<< РУССКАЯ КНИГА >>

1999

УДК 882
ББК 84Р7
Ш 72

Составитель и автор предисловия
Е. А. Осьминина

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Шмелев И. С.

Ш 72 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 7 (доп.). Это было: Рассказы. Публицистика. – М.: Русская книга, 1999. – 592 с.

В 7-й (дополнительный) том собрания сочинений И С. Шмелева вошли произведения, в большинстве своем написанные в эмиграции Это вещи малознакомые, а то и просто неизвестные российскому читателю, публиковавшиеся в зарубежных изданиях

ISBN 5-268-00433-6 **УДК 882**
ISBN 5-268-00434-1 **ББК 84Р7**

КАК ЭТО БЫЛО...

«Я в ужасе. Доходит до сердца. Кто-то отравляет нас токами (Вы не знаете!). Я борюсь с собой. У нас в семье наследственность ужасная. Мы все погибаем от этого проклятого электричества. Брат погиб, сестра... Теперь до меня. Но я борюсь и не хочу верить. Это только остатки наследственности. И потом — прошло время — мне доктора говорили, что лечили Корсакова, — мне уже 48 лет. А 48 лет — это уже 5 лет за пределом для того, чтобы уже не бояться этой проклятой наследственности»[1].

«Но то была петля Рока. Этот Рок смеется мне в лицо — и дико, и широко. Я слышу, визг-смех этого Рока. О, какой визг-смех! Железный, в 1000° мороза — визг ледяного холода. Он заморозил мне мозг, и я точно весь из стекла-льда — вот паду и рассыплюсь. Не уписать в тысячу книг. Века в один месяц прожиты. О, я мог бы теперь писать о Роке, о страдании»[2].

Эти письма дают представление о том, в каком состоянии Ив. Шмелев работал над рассказом «Это было». Шли самые страшные для него годы: 1919—1922-й. Страдания о сыне, неизвестность, догадка об ужасной правде — расстреле... В этих обстоятельствах и человек, не отягченный никакой наследственностью, способен сойти с ума.

Но Шмелев — не сошел. Зато сумел художественно изобразить сознание героя, находящегося в бреду и полубезумии: сдвиг времени и пространства, прерванные логические связи, странные выводы. То реалии первой мировой войны, то какая-то... Южная Америка; компания шпионов и страх за казну; оргии с гашишем и дорогими винами, а в конце — не то больница, не то тюрьма.

И все это тоже было, и все это наблюдал Иван Сергеевич Шмелев, закончивший свой рассказ 9 мая 1922 года, уже по приезде из красно-бело-красного Крыма в нэповскую Москву. Приведем в качестве своеобразного комментария следующие наблюдения очевидцев:

---

[1] Шмелев И. С. Письмо С. И. Кусеву-Оренбургскому от 4 февраля 1921 г. — Архив А. М. Горького. ПТЛ-16-59-1, любезно отпечатано Л. А. Спиридоновой.

[2] Шмелев И. С. Письмо К. А. Треневу (без даты). — РГАЛИ, ф. 1398, оп. 1, ед. хр. 36, л. 2.

Вот Крым: «...целый ряд нездоровых явлений, мелкая и крупная спекуляция... Атмосфера загнанности, сменяющихся надежд и страхов способствовали возникновению самых фантастических слухов: об объявлении царя, о прибытии немецких аэропланов или о выходе в поход казачьей армии во главе с ген. Красновым. Возлагались огромные надежды на новые, более или менее серьезные изобретения. Так, например, 27 июля Совет при главнокомандующем ассигновал «не свыше шести миллионов рублей на устройство опытной станции» для испытания изобретенного инженером-поручиком Ф. М. Синицыным «генератора вынужденных незатухающих колебаний для радиотелеграфных станций»[1].

А вот и Москва: «В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают <...> гладкое хайло — новую буржуазию». «Нэп жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив, и пуглив, и нахален, когда можно»[2].

Что же касается основного сюжета рассказа, то только на первый взгляд он весьма далек от реальности. Это — изобретение (в числе других названий — «Последняя система») сумасшедшего полковника: волны лунного света способны нейтрализовать силу черных волн «радиокрови»; и бунт в сумасшедшем доме. Критика сразу отметила перекличку с известным рассказом Э. По «Система доктора Смоля и профессора Перро». Но отметила она и другое — злободневность сего безумного изобретения. Р. Киплинг писал Шмелеву: «One begins though it to comprehend in some small measure the deeps though which your land is passing»[3]. А.В. Амфитеатров, анализируя ситуацию в Советской России, сравнил Ленина с сумасшедшим полковником и заметил, что все ЧК заражено массовым безумием[4].

Нам, однако, кажется, что здесь не все так однозначно. Слишком уж симпатичен рассказчику сумасшедший полковник, слишком неприятны подчеркнуто здоровые люди. Не есть ли борьба лунных лучей с «радиокровью» — отражение борьбы белых и красных в общем безумии гражданской войны? Шмелев естественно должен был прибегнуть к аллегории: он писал рассказ в России и для России, и впервые «Это было» печаталось в московском литературно-художественном сборнике «Недра» (1923. № 1).

---

[1] Росс Н. Врангель в Крыму. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1982. С. 304, 308—309.

[2] Шмелев И. С. Письмо И. А. Бунину от 13/23 ноября 1922 г. — Цит. по: Устами Буниных. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. Т. 2. С. 100.

[3] «Прочтя ее, начинаешь хоть в малой степени постигать те бездны, через которые проходит Ваша Родина» *(англ.)*. — Цит. по: Сорокина О. Н. Московиана. — М.: Московский рабочий, Скифы, 1994. С. 197, 229.

[4] См.: Амфитеатров А. В. Свирепые больные//Возрождение. 1927. № 673. С. 2—3.

Следующие произведения из настоящего тома созданы уже в эмиграции. Только «Музыкальное утро» (впервые: Звено. 1923. 19 февр. № 3) набрасывалось еще в Крыму: в отделе рукописей РГБ хранится вариант рассказа с датой: «2 окт. 1920», заголовком «Колыбельная песня. Музыкальное утро» и подзаголовком «Будущим гражданам детям». Начало, сюжет, порядок следования эпизодов, портреты героев (их только зовут по-другому: сероглазый Сергей, кареглазый Левка), тексты песен в этой рукописи — те же. Но — меньше географических названий, политических примет времени, имен собственных (нет указаний мест, куда заходили двое, не называется Гуляй-поле, столица махновцев), нет разговоров с дрогалем и Гельбрасом. Это тоже понятно: рассказ писался в весьма смутное время, перед эвакуацией белых из Крыма (описана зима 1919/20 года, когда морозы доходили до — 22°), при живом еще сыне Сергее: отсюда более мягкий тон и светлые краски «Музыкального утра».

В остальных крымских[1] рассказах, как и в «Это было», Шмелев предстает скорбным и трагическим писателем. В «Каменном веке» (впервые: Современные записки. 1925. № 25) все географически точно: Алушта с Космодамианским монастырем в окрестностях, с горами Чатыр-Даг (на ее плато — пещера Бинь-Баш-Коба, «пещера тысячи голов» с огромным количеством черепов, и Суук-Коба, «холодная пещера»), Демерджи со скалой «Бюст Екатерины», Аю-Даг, похожий на склонившегося к морю медведя, Бабуган, Кастель... Но герой, находящийся на грани безумия, теряющий чувство реального времени; стиль, передающий «поток сознания» главного действующего лица, — все напоминает «Это было». Интересно, что в основе сюжета лежит какая-то действительная ситуация. В «Материалах жизни» (1922) под пунктом 46 значится «Черная кошка и лужа (Убийство)»[2].

В «Гуннах» (впервые: Возрождение. 1927. № 658) описаны так называемые «вторые большевики», с апреля по июль 1919 года продержавшиеся в Крыму, при этом Керченский полуостров (поселок Ак-Манай находился в самом узком месте при переходе на полуостров) все время оставался в руках белых. Здесь уже трагедия гражданской войны показана без всяких аллегорий.

А вот «Панораму» в газете «Возрождение» сначала «Маковский не хотел печатать, ибо ему «не позволяет редакторская совесть давать такой мрак читателям»[3]. В конце концов рассказ все-таки был напечатан в этой газете (1928. 7 окт. № 1223) вслед за «Туманом»

---

[1] К сожалению, даже для беглого обзора рассказов, навеянных «среднерусскими» послереволюционными впечатлениями Шмелева, у нас не хватает материала. Документальная основа «Кровавого греха» будет ясна из статей 8-го тома.

[2] Шмелев Ив. Материалы жизни. — ОР РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 8.

[3] Муромцева-Бунина В. Н. Дневниковая запись от 16 февраля 1929 г. — Цит. по: Устами Буниных. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. Т. 2. С. 198.

(1928. 3 апр. № 1036). Причины проволочек на самом деле тут были несколько другие – об истории «Возрождения» мы скажем ниже. Но рассказ действительно очень горький. В нем отразилось отношение Шмелева к интеллигенции, которое составилось, видимо, еще в Крыму. Во всяком случае он писал в 1922 году: «Сил нет — как наши интеллигенты даже могут жить свиньями! Зачерствел и опоганился русский интеллигент! Никогда не любил я нашу болтливую, лживую, мелкую, себялюбив. интеллиг. Теперь вижу ее оголившейся. И куда мне больше по сердцу еще не нюхнувший «культуры» простяк-человек». У него все прямолинейней и проще. И скорее дороетесь до его души. Ему простишь все»[1].

Что же касается цикла «Крымские рассказы»: «Стенька-рыбак», «Однажды ночью», «Ентрыга» (соответственно: Иллюстрированная Россия. 1936. 18 апр. № 17; 30 мая, № 23; 20 июня, № 26), из 2-го тома настоящего собрания сочинений к нему относятся «Крест» и «Виноград» — он написан о С. Н. Сергееве-Ценском и, вероятно, докторе Шипине. Ситуации здесь тоже реальные: убийство работницы на ферме, а в «Материалах жизни» под пунктом 56 значится: «По венерич. надобности» — явно о рассказе «Однажды ночью». Шмелев вспомнил крымские страдания, словно предчувствуя новую потерю — 22 июня 1936 года скончалась жена писателя. Смерть ее была страшным ударом для Ивана Сергеевича. Он отвечал на соболезнования: «Мне больно и сил нет писать. Спасибо за ласку, за утешение. Чувствую минутой, что Оля со мной, как волна накрывает покоем, — и опять, отчаяние <...> Не дай Бог пережить любим. человека! А мы... 41 год не разлучались, да 5 лет до того были любящими, юными...»[2].

Эти чувства — скорби, тоски и отчаяния, а также полубезумные герои, сдвиг пространства и времени, нарушение логики, определенные символы (луны, крови в «Это было», камня в «Каменном веке») — все это черты экспрессионизма. Сей стиль безусловно был присущ Шмелеву, особенно в начале 1920-х годов, потом он постепенно исчезает. Совершенно справедливо критик А. Я. Левинсон вспомнил «Красный смех» Л. Н. Андреева и «Четыре дня» В. М. Гаршина, говоря об «Это было»[3]. Экспрессионизм был свойствен не одному Шмелеву в первые послереволюционные годы: многие произведения о гражданской войне и революции написаны в подобном духе. Впрочем, эта тема лежит уже вне направления нашей статьи — нас интересует сейчас скорее фактическая, нежели литературоведческая сторона дела, поскольку мы подошли к публицистике Шмелева.

---

[1] Шмелев И. С. Письмо К. А. Треневу от 27 марта 1922 г. – Цит. по: Встречи с прошлым. Вып. 8. – М.: Русская книга, 1996. С. 175.

[2] Шмелев И. С. Письмо В. А. и Б. К. Зайцевым от 10 июля 1936 г. – ОР РГБ, ф. 1623, оп. 2, ед. хр. 7.

[3] См.: Левинсон А. Я. Шмелев//Звено. 1923. 5 мар. № 5. С. 2.

...Переехать из Берлина в Париж в январе 1923 года помог Шмелеву И. А. Бунин: «Визу достать в Париж очень трудно, но думаю, что достану мгновенно»[1]. И достал. А также устроил сбор средств в пользу Шмелева, рекомендовал его литератору М. О. Цетлину, редактору ежемесячника «Окно», а затем консультанту журнала «Современные записки», и политику, публицисту П. Б. Струве, редактору журнала «Русская мысль», позже — газеты «Возрождение»[2]. Таким образом Шмелев познакомился и с «левыми», и с «правыми». Дважды — 13 марта и 11 апреля — он посетил Республиканско-демократический клуб[3]. Но выбор сделал в пользу Русского Национального комитета под председательством богослова и политика А. В. Карташева — по поводу предполагаемого сборника от этого комитета Бунин писал: «У меня проводит лето Иван Сергеевич Шмелев. Он уже сжег свои корабли, уже написал яростную статью для сборника А. В. Карташева»[4].

Однако первой темой Шмелева, над которой он начал работу как раз летом 1923 года в гостях у Бунина, оказалась тема: Россия и Европа. Никак напрямую не связанная с борьбой партий, она вообще стала первой темой русских эмигрантов. Андреев еще в 1919 году закричал свой «SOS» на всю Европу, скорбя, недоумевая и предупреждая иностранцев — большевизм заразителен. Через год А.И. Куприн в хельсинкской «Новой русской жизни» писал о том же, замечая, что мир уже готов к торговым соглашениям и компромиссам с советской властью[5]. В 1922-м Д.С. Мережковский в «Царстве Антихриста» обрушился на «буржуйско-большевистский заговор против всего христианского человечества». У Шмелева в эмиграции эта тема впервые зазвучала в «Солнце мертвых». Отсюда произошли его дальнейшие статьи — первая из них «Глаза открываются» (1924) о том, что мы сами виноваты в европейском отношении к нам.

По мере того как Европа выгодно торговала с большевиками, Шмелев писал свои статьи. В «Диком поле» (1924) — о деятельности известного полярника Ф. Нансена, Верховного комиссара Лиги Наций по делам русских беженцев (так называемый «нансеновский паспорт» русских эмигрантов стал для них притчей во языцех по тем сложностям, которые причинял). В «Открытом письме Томасу Ман-

---

[1] Бунин И. А. Письмо И. С. Шмелеву. — Цит. по: Сорокина О. Н. Московиана. — С. 154.

[2] См.: Сорокина О. Н. Московиана; Струве Г. П. Из истории русской зарубежной литературы//Записки Русской Академической группы в США. — Нью-Йорк, 1968. Т. 2. С. 61—109.

[3] См.: Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни 1920—1940. Франция /Под ред. Л. А. Мнухина. — М.: ЭКСМО, 1995—1997. Т. 1—4. Далее общественная деятельность Шмелева дается в основном по материалам этого издания.

[4] Бунин И. А. Письмо Г. П. Струве от 14/27 июля 1923 г.//Минувшее. 1996. № 19. С. 245.

[5] Хеллман Б. Александр Куприн против советской власти//Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 138—142.

ну»[1] (1928) — о распродаже русских сокровищ на аукционе у Лепке в Берлине. Здесь надо сказать, что русских писателей особенно больно ранило «писательское» же признание большевиков. О позиции Р. Роллана, Г. Уэллса, А. Барбюса высказывались и Бунин, и Амфитеатров, и Мережковский, и А. Ф. Даманская, и филолог Н. С. Трубецкой[2]. О том же статьи Шмелева — «К писателям мира», «Похоть» совести», «Анри Барбюс и Российская корона» (все — 1927).

Но как же он надеялся, что хоть что-нибудь изменится! Как благословлял оставшихся верными России югославов, принявших наших инвалидов как своих, давших возможность русским детям получить образование — больше всего начальных русских школ было в Югославии. Этой стране Шмелев посвятил несколько статей: «Событие» (1928) — о съезде русских писателей, проходившем 25 сентября — 1 октября в Белграде; сам Иван Сергеевич там не присутствовал по болезни. «Ты победил, Галилеянин» (1934) — о гибели короля Югославии Александра Карагеоргиевича, убитого хорватскими террористами 9 октября 1934 года. 28 октября Шмелев выступил на собрании в память убиенного. «Письмо патриарху Варнаве Сербскому» (1935).

Временное ухудшение англо-советских отношений в конце 20-х годов вызвало появление статьи «Лед треснул?» (1929). Это уже чисто шмелевский поворот в теме: Россия и Европа.

Но мы остановились на лете 1923 года, немного забежав вперед. По приезде 5 октября из Грасса Шмелевы всю зиму и весну 1923/24 года живут в Париже, на квартире племянницы жены, Ю. А. Кутыриной. По ее воспоминаниям[3], среди частых гостей Шмелева — писатели В. Н. Ладыженский, Куприн, Саша Черный. Последние два — активные сотрудники «Русской газеты в Париже» (1923—1925). Менялось название издания — «Русская газета», менялся состав редакции, но неизменным ее редактором оставался публицист А.И. Филиппов. Французский журналист С. Лозан так описывает условия, в которых создавалась газета: маленькое помещение винного погребка... разговоры с Куприным и Филипповым, который с гордостью сообщает, что у них сотрудничают лучшие русские писатели (туда действительно писали Бунин, Куприн, Шмелев, Саша Черный, А.Т. Аверченко, И.С. Лукаш, В.В. Шульгин)... наконец, типографская «кухня»: «Сильным рывком бывший гвардейский офицер потянул тачку и пропал с нею в ночи, унося четыре тяжелые

---

[1] Т. Манн не стал вмешиваться в происходящее, но отношения обоих писателей оставались прекрасными. — См.: Кутырина Ю. А. Переписка И.С. Шмелева и Томаса Манна//Мосты. 1962. № 9. С. 314—324.

[2] См.: Казнина О. А. Русские в Англии. — М.: Наследие, 1997. С. 106—112.

[3] См.: Кутырина Ю. А. Воспоминания. — Архив Музея И. С. Шмелева в Крыму.

страницы из свинца, над которыми все эти люди работали 12 часов и вложили, я не знаю, какую смесь и пота, и души»[1].

Для «Русской газеты» написаны едва ли не лучшие (во всяком случае, программные) статьи Шмелева: в 1924 году он достаточно много сил отдает полемике с идеологическими противниками газеты: с изданиями политика, публициста П.Н. Милюкова и эсеров (соответственно с газетами «Последние новости» и «Дни»). Его статьи: «Слово о Татьяне», «Крушение кумиров», «Пути мертвые и живые», «Большой без козырей», «Болезнь ли?!» — весьма злободневны и полны конкретных политических намеков. Так, Шмелев рассматривает доклад Милюкова по национальному вопросу, сделанный в Смиховском народном доме, и прения вокруг него — выступления украинцев, грузин, белорусов и представителей Союза горских народов: все они выдвигали лозунг «самостийности»[2]. Негативно оценивает политику «возвращенства»: лозунг «засыпания рва» между СССР и эмиграцией, провозглашенный лидером энэсов А.В. Пешехоновым и публицисткой Е.Д. Кусковой[3]. Говорит об отклике левой эмиграции на советские преследования и т. д. Достаточно прозрачны намеки на А.Ф. Керенского, бывшего главу Временного правительства, редактора «Дней».

Шмелеву, конечно, отвечали. Ряд критических отзывов вызвал вечер «Миссия русской эмиграции», на котором Иван Сергеевич (наряду с Буниным, Карташевым, Мережковским) произнес речь «Душа Родины». В одном из этих отзывов — статье С. Л. Полякова[4] — именно Шмелев рассматривался как глашатай целого эмигрантского направления, которое идеализирует прошлое России и во всех бедах считает виноватой русскую интеллигенцию. Статью «Слово о Татьяне» сам Милюков вспомнил через шесть (!) лет, говоря о «бывших людях» и причисляя к ним Струве, генерала Е. К. Миллера и Шмелева[5].

Вместе с тем Шмелев вовсе не был «непримиримым». Действительно, говоря о вине интеллигенции — ее ненациональности, попус-

---

[1] Цит. по: Куприна Кс. Куприн — мой отец. — М.. Художественная литература, 1979. С. 152.

[2] См.: Национальный вопрос. Доклад П.Н. Милюкова в Праге 17 апреля 1924 г.//Последние новости. 1924. 25 апр. № 1229. С. 2; Ан-ов Н. Национальный вопрос. Прения по докладу П.Н. Милюкова//Последние новости 1924. 26 апр. № 1230. С. 2—3.

[3] Изложение полемики «Дней» и «Последних новостей» по этому вопросу см.: Яковлева Т.А. Пути возрождения. Идеи и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милюкова и А.Ф. Керенского. — Иркутск: ИГЭА, 1996. С. 103—105.

[4] Отклики на вечер 16 февраля см.: Вечер страшных снов; Голоса из гроба //Последние новости. 1924. 20 февр. № 1174; Поляков С. (Литовцев С.). Апостольство или недоразумение?//Последние новости. 1924. 21 февр. № 1175.

[5] См.: Милюков П. Н. Листки из дневника. Бывшие люди//Последние новости. 1930. 11 июля. № 3397. С. 2.

тительстве большевикам, атеизме, он скорее скорбел и сожалел, нежели громил и обличал. Он писал о прекраснодушии, маниловщине, самых благих намерениях своих противников. Партийные расколы ему глубоко претили. Он писал Г.А. Алексинскому, одному из временных редакторов «Русской газеты», что его беспокоит «наша незадача российская» — различные правые и левые группировки[1]. И шутливо — эсеру М.В. Вишняку из «Современных записок»: «Правда, друзей у меня мало в левых кругах, но... <...>. А посему, протягиваю Вам правую руку (несмотря ни на что!) в надежде, что... и т. д.»[2].

И «политическим противником» у левых Шмелев не считался. Он мог печататься в «Последних новостях» и даже под одной «шапкой» с Милюковым (воззвание «Срок платежа». 1936), — однако обратим внимание, г д е он публиковал свои программные статьи, а г д е — лишь заметки, воззвания, заявления (с этой целью мы и ставили непосредственно после публицистических текстов Шмелева их выходные данные[3]). «Последние новости» вместе с рижской газетой «Сегодня», где перепечатывались многие произведения Шмелева, отметили на своих страницах шестидесятилетие писателя. Наконец, сам Иван Сергеевич с некоторым удивлением писал: «Как меня щипали (в «Последних новостях»), пока... Сам же Милюков не сказал: «Шмелёв — есть Шмелев». И просил меня еще в 37—8 годах дать для журнала «Русские записки» рассказ или роман. Он был *мой* читатель! Да!!! — узнал я»[4].

...Национальную, консервативную, умеренно монархическую линию «Русской газеты», которая писала: «Наша цель — Россия. Та Россия, которую веками строили наши предки и которую так безжалостно разрушило наше поколение»[5], — продолжила парижская газета «Возрождение» (1925—1940), первые годы выходившая под редакцией Струве. «Возрождение» было создано на деньги нефтепромышленника А.О. Гукасова для созыва всеобщего Зарубежного съезда, поддержки РОВС, выработки идеи, объединяющей эмиграцию. Программной в данном случае была статья Струве «Вождь» в связи с его беседой с великим князем Николаем Николаевичем. Шмелев поддерживал идею Струве: «...народ болеет именно — без Вождя, без средоточия своим неясным устремлениям, без оплота правды... Вокруг Вас должны сплотиться люди русские, лучшие люди русские,

---

[1] См.: Ш м е л е в И. С. Письмо Г. А. Алексинскому от 15 декабря 1926 г. — Цит. по: С о р о к и н а О. Н. Московиана. С. 192.

[2] Цит. по: В и ш н я к М. В. Современные записки. Воспоминания редактора. — СПб.: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1933. С. 134.

[3] Большинство статей печатается по: Ш м е л е в И в. Душа Родины. — Париж: Изд. Русского научного института, 1967.

[4] Ш м е л е в И. С. Письмо И. А. Ильину от 9 июля 1947 г. — Цит. по: С о р о к и н а О. Н. Московиана. С. 306.

[5] Передовая статья от 23 апреля 1924 г. — Цит. по: И в а н о в А. С. // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918 — 1940. — М.: РАН ИНИОН, 1998. Т. 2. Ч. 3. С. 233.

закваска русская, и великое тесто примется отлично и высоко поднимется»[1].

К сожалению, Зарубежный съезд, который состоялся в Париже с 4 по 11 апреля 1926 года, не объединил эмиграцию (при том, что крайне правые и крайне левые на съезд изначально не явились), а еще более расколол. Образовались два объединения — Центральное и Патриотическое, и Струве, разойдясь с Гукасовым по политическим мотивам, ушел из Центрального объединения и из газеты «Возрождение» в августе 1927 года. Вместе с ним ушло много сотрудников — начиная с Бунина и кончая И.А. Ильиным. Зато пришли Мережковские, Б.К.Зайцев, большую роль стал играть В.Ф. Ходасевич...

Шмелев остался. Он объяснял Бунину, «что не уходит из газеты, национальный облик которой необходимо сохранить»[2], и — более подробно — Амфитеатрову: «Но, увидим. Все эти «модернисты»: Ходас., Мережковск., Нина Берберова — жена Ходас. <...> и как тут «вязаться» Ренникову, мне... — мешанина порядочная. ...ей-ей, не знал, что войдут Мережковские. Впрочем, если сии старцы будут действит. ПОЛЕЗНЫ... — готов тянуть»[3].

И тянул около двух лет. Терпел редактуру С.К. Маковского, на которого жаловались Б.А. Лазаревский, Куприн, Ладыженский; терпел, когда выкинули тридцать строк из его статьи «Русский колокол» о кризисе современного искусства. Дважды пытался исправить положение: ходил лично объясняться к Гукасову и Ю.Ф. Семенову, новому редактору «Возрождения», заверившим его: «Этого больше не будет, вы же наш столп!» Как вице-председатель Союза русских писателей и журналистов выступил на собрании в конце 1928 года, говорил «о безобразиях и обидах писателям, мне, Амфитеатрову, Чирикову и др., систематически наносившихся Маковским. Гукасов вздумал смягчить мой бой и дал нам неожиданно обед. Я не ел по режиму, но извинившись, поднес после сладкого — горького... и по 15 пунктам всего коснулся. Благородней других были Гукасов и Семенов (все на себя принявший!»[4].

В 1929 году разрыв все-таки произошел (об обстоятельствах — см. письмо в «Россию и славянство», газету (1928—1934) Струве, уделявшую много внимания литературе. Там были напечатаны многие рассказы и статьи Шмелева. О «Возрождении» он с горечью писал Амфитеатрову: «Или — национальная газета, с ЛИНИЕЙ во всем, или кормежная лавка для ловких скотов, которым некуда девать время.

---

[1] Шмелев И. С. Письмо П. Б. Струве от 21 июня 1925 г. — Цит. по: Струве Г. П. Из переписки И. С. Шмелева с П.Б. Струве и К.И. Зайцевым //Мосты. 1958. № 1. С. 402.

[2] Цит. по: Кузнецов Г. Н. Грасский дневник. — М.: Московский рабочий, 1995. С. 39.

[3] Шмелев И. С. Письмо А.В. Амфитеатрову от 19 декабря 1927 г.// Слово. 1992. № 11/12. С. 61.

[4] Шмелев И. С. Письмо И. А. Ильину от 23 декабря 1928 г. — Цит. по: Сорокина О. Н. Московиана. С. 201. Там же — вся история этих двух лет. С. 199—200.

Позор, мы спим, мы все еще наслаждаемся звуками и «изысканиями», мы — то есть ОНИ — все еще в Питере до войны!»[1] Шмелева же в конце 20-х годов волновала совсем другая тема — тема «отцов и детей» эмиграции.

В сущности, он обращался к ней с первых лет изгнания. Статьей «Болезнь ли?!» еще в 1924 году Шмелев подхватил дискуссию о национальном самоопределении молодежи, широко развернувшуюся в эмиграции[2]. Писатель выступил здесь на стороне «детей», также считая, что старшее поколение предало, проговорило Россию, и молодым пришлось своей кровью искупать их грехи. Он писал о чувстве русского, родного; о религиозности («Как нам быть?». См. т. 2), о необходимости выработки характера, твердости (две речи «К родной молодежи», 1928)[3]. Эти три статьи были опубликованы в журнале И. А. Ильина «Русский колокол» (1927—1930), и в них чувствуется влияние — волевой напор — главного редактора. Обычно Иван Сергеевич более мягок, он подчеркивает, скорее, страдания, жертвенность, «крестный подвиг» молодых. Это видно из множества шмелевских воззваний, призывов, заметок о судьбе бывших добровольцев в эмиграции. Он был близок военным кругам, поддерживал Лигу Обера — Лигу по борьбе с III Интернационалом, созданную в 1924 году по инициативе швейцарского адвоката Теодора Обера, защитника убийц В.В. Воровского на процессе в Лозанне. Принимал участие в вечерах Союза галлиполийцев, национальной организации русских разведчиков, Общества помощи учащим и учащимся. На многие вечера добровольцев присылал свои книги. Печатался как непосредственно в военных изданиях: «Русском инвалиде», «Добровольце», «Галлиполийце», «Часовом», так и в «России и славянстве», и в «Возрождении», куда вернулся в 1934 году и оставался уже вплоть до закрытия газеты. Его чувства по этому поводу выражены в речи к десятилетию газеты (обращаем внимание на замечание современного исследователя, что «Возрождение» Семенова со временем поправело[4]).

---

[1] Шмелев И. С. Письмо А. В. Амфитеатрову от 17 ноября 1928 г.// Слово. № 11/12. С. 64.

[2] 1 марта 1924 г. М. А. Осоргин сделал доклад «Трагедия молодых» в Республиканско-демократическом клубе. — См.: Последние новости 1924. 8 марта. № 1189. Противоположная позиция — см.: Шингарев В. Трагедия «отцов»//Последние новости. 1924. 9 апр. № 1216; Туринцев Ал. Неудавшееся поколение//Дни. 1924. 5 сент. № 556. О позиции редакций этих газет см.: Об отцах и детях//Последние новости. 1924. 13 апр. № 1220; Петрищев А. Тучи нерассеявшейся бури//Дни. 1924. 14 сент. № 564. Дискуссия разгоралась...

[3] В мае 1928 г. Шмелев был приглашен в Белую церковь в Югославии, чтобы напутствовать выпускников Мариинско-Донского института для девушек и Кадетского корпуса для юношей. Из-за болезни поехать он туда не смог, но послал свои речи. (Сведения взяты из кн.: Сорокина О. Н. Московиана. С. 194.)

[4] См.: Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. Т. 1. — Ставрополь: Кавказский край, 1992. С 131.

...Но вообще в 30-е годы ситуация в эмигрантской печати достаточно изменилась. Полемика между левыми и правыми постепенно стихала. Все реже появлялись серьезные передовые статьи, не говорилось уже о пораженчестве, примиренчестве, законности советской власти. Только фашизм обсуждался весьма бурно, но как раз о нем Шмелев писал мало[1]. В целом же газетные передовые становились все более похожими на информации, первые страницы заполнялись перепечатками из иностранных газет[2]. Меняются и темы публицистики Шмелева.

Все чаще он выступает как художник-критик, нежели как идеолог, общественный деятель. Впрочем, с самого начала писатель принимал участие в литературной жизни эмиграции: состоял в парижском Союзе русских писателей и журналистов, был членом Общества друзей «Современных записок». С его интересом к молодым неоднократно посещал Общество русских студентов по изучению и упрочению славянской культуры, Союз молодых писателей и поэтов, Клуб молодых литераторов, народный университет. В 30-е годы он просто стал больше писать на литературные темы.

Особенно ярко его отличительные черты видны по сравнению с Буниным — именно потому, что их общие эстетические взгляды очень близки. Но Шмелев практически не говорит о том, чего не любит (исключение — ответ на анкету о Прусте, однако тут тема была задана не им). Жалеючи и достаточно спокойно, не переходя на личности, он отзывается о советской литературе. Наконец, даже когда дело касается близкого ему человека, он пишет далеко не все. Достаточно сравнить его статью о Бунине с горестным недоумением в частном письме Амфитеатрову: в своей нобелевской речи Бунин ни словом не обмолвился о России[3].

Сам Шмелев о ней не забывал никогда. Говоря о критике Ю. И. Айхенвальде (1928), он подчеркивал его служение России, называл великую цель искусства — «воплощение Бога в жизни, воплощение жизни в Боге». Если речь шла о П. М. Пильском (1931), редакторе «Сегодня», то писал о его вкладе в родную культуру. Если об Амфитеатрове (1932) — то о родной речи, подобной раздольной русской реке, о метком народном слове, об «учительной» нашей литературе. Если об Ильине (1937) — то о тайне искусства, об искусстве как «священном роднике». Если о поэте И. И. Новгород-Северском (1943), муже Кутыриной, — то о радости творчества, о раз-

---

[1] Как в предвоенные годы, так и в оккупации — см. его ст. «Необходимый ответ» (1947), поводом к которой послужило выступление не только радио, но и газеты «Новое русское слово» 24 апреля 1947 г. Тогда за Шмелева заступились многие — Г. П Струве, Кс. В. Деникина, В. А. Маевский, А. В. Карташев, В.Ф. Зеелер...

[2] См.: Яковлева Т. А. Пути возрождения. Идеи и судьбы эмигрантской печати П. Б. Струве, П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского. С. 146–147.

[3] Шмелев И. С. Письмо А. В Амфитеатрову от 19 декабря 1933 г.// Минувшее. 1997 № 22. С. 574–575.

ном искусстве «вдохновения» и «необузданного поползновения», повторяя свою излюбленную мысль Пушкина.

В сущности, Шмелев говорил о том же, что и в «большой» своей публицистике — о душе Родины, о ее стремлении к Христовой правде. Для всей русской культуры, для русского просвещения — главный девиз, выбитый на университетской церкви св. Татьяны: «Свет Христов просвещает всех». Так мученица Татьяна связалась для него с пушкинской Татьяной. В своих высказываниях о наших великих писателях Шмелев столь же современен и злободневен. Кажется, не имея возможности для открытой полемики или не желая ее продолжать, он развивает свои взгляды в статьях на литературные и даже литературоведческие темы.

Первый «великий» для Шмелева — Пушкин. Пушкин вообще стал своего рода знаменем русской эмиграции, «непреложным свидетельством единой России»[1]. День русской культуры отмечался в день рождения поэта. К столетию пушкинской гибели готовилось 119 комитетов не только в Европе, но и в Китае, Южной Америке... Во Франции на торжественном заседании Пушкинского комитета 11 февраля 1937 года выступали Шмелев, Мережковский, Карташев (Иван Сергеевич также выступал в мае 1937 года на пушкинских днях в Праге).

Эмигрантский подход к Пушкину был достаточно идеологичным. И Шмелев в своих статьях поднимает темы: Пушкин и добровольчество («Сынам России», 1937), университет и русское просвещение, западники и славянофилы («Мученица Татьяна», см. т. 2; «Верный идеал», 1936). Речь же его 11 февраля имеет прямую ориентацию на пушкинскую речь Достоевского. Современные исследователи отмечают, что две традиции в пушкинистике — Тургенева и Достоевского — продолжались в эмиграции. Наиболее ярким выражением первой была книга Милюкова «Живой Пушкин»; большинство же, в том числе и Шмелев, шло за Достоевским с его темами: «пророческое» явление Пушкина; смирение как единственный путь к подлинной свободе; «всечеловечность» и «всемирность» Пушкина и русского человека вообще; Пушкин — русский национальный поэт; назначение русской души — «изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» и т. д.[2]

Второй «великий» для Шмелева — Чехов. Непосредственным поводом для двух статей о нем послужила возможность составить сборник для швейцарского издательства и снабдить его предисловием (Anton Tschechov. Meinsten novellen. — Zürich, 1946). Интересно, что выбрал Шмелев: «Палату № 6», «Даму с собачкой», «Скучную историю», «Студента», «В овраге», «Святой ночью», «Свирель»,

---

[1] Кибальник С. А. Непреложное свидетельство единой России // Волга. 1989. № 6. С. 3–4. Далее оттуда — материал о праздновании.

[2] Филин М. Д. От составителя//Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. — М.: Эллис Лак, 1998. С. 9.

«Степь», «Мисюсь» (так был назван «Дом с мезонином») — конечно, наиболее близкие ему произведения. Разбор «В овраге» заставляет вспомнить «Солнце мертвых»; «Студента» и «Святой ночью» — «Лето Господне» и т. д. В своем чеховедении Шмелев также продолжает определенную традицию, начатую философом С. Н. Булгаковым в речи «Чехов как мыслитель» (1904) и подхваченную в эмиграции литератором М. Курдюмовым (псевдоним М. А. Каллаш) книгой «Сердце смятенное» (1934), — Чехов как религиозный писатель.

На Курдюмова Шмелев прямо указал в черновике первой статьи[1] (1945), перекликаются и начала, и некоторые выводы. Если Курдюмов пишет о Чехове: «...центр тяжести для него отнюдь не в язвах общественного строя, как принято у нас было прежде выражаться, а в какой-то более высокой и абсолютной оценке людских действий и побуждений. Чехов прежде всего участвует и изображает *зло, как грех;* окутанность жизни грехом, порабощенность человека греху»[2], то Шмелев подхватывает: «О Грехе-Зле, о распаде жизни через Зло-Грех, о страдании... — главная тема Чехова». Шмелевская характеристика — более горькая, чем у Курдюмова, несмотря на такие светлые слова о Мисюсь из второй статьи (1947), ответ читателю-иностранцу. Она была сразу (первая статья — уже посмертно) опубликована в «Русской мысли», последней газете, в которую много писал Шмелев и где им очень дорожили.

И, наконец, Достоевский. О «Зле-Грехе» Шмелев пишет и когда рассматривает Достоевского, изобразителя темных сил в человеке, соблазна греха. От ранних упоминаний в «Крушении кумиров» (об этой статье см. т. 2), «Христос воскресе!» (1924) до «Мученицы Татьяны», «Верного идеала» (1936) и большого предисловия к «Идиоту»: «F.M.Dostojewski. Der Idiot. Roman. — Zürich, 1951», вышедшего впоследствии отдельной брошюрой[3].

В некоторых своих положениях Шмелев, подобно многим зарубежным литераторам, идет за философом Н.А. Бердяевым, который называл Федора Михайловича пророком грядущей катастрофы (в книге «Миросозерцание Достоевского», 1923). Есть у Шмелева и свой интерес: он расценивает «Идиота» как попытку «религиозного романа», сам собираясь писать «Пути небесные» как «духовный роман». По его письмам видно, что рассуждения об Аглае Епанчиной, о ее матери («О, какой удавшийся Достоевскому образ, эта «генеральша». Вот — закваска подлинно-русской женской души!»[4]), о Соне Мармеладовой переплетаются с размышлениями о героине «Путей небесных».

---

[1] Сопоставление черновика и окончательного варианта см.: Осьминина Е. А. Две статьи И. С. Шмелева о А. П. Чехове//Русская речь. 1995. № 1. С. 49.

[2] Курдюмов М. Сердце смятенное. — Париж, 1934. С. 66.

[3] См.: Шмелев Ив. О Достоевском. — Париж, 1956.

[4] Шмелев И. С. Письмо Р. Г. Зоммеринг от 3 августа 1947 г. — Цит. по: Келер Л. И. С. Шмелев о себе и других//Русская литература в эмиграции/Под ред. Н. Полторацкого. — Питтсбург, 1972. С. 235—236.

Современные исследователи отмечают, что в эмиграции было сравнительно немного биографических работ о Достоевском[1]. Шмелев включает биографию писателя в свое предисловие, и наиболее сильные строки тут — о страданиях Достоевского. Иван Сергеевич знал, о чем пишет — у него был свой страшный опыт страдания. И думается, здесь причина того, что в эмиграции именно Шмелев считался продолжателем Достоевского. Как писал Амфитеатров: «Да, Шмелев, конечно, глава и вождь «достоевщины» в современной литературной эпохе, но «достоевщины» в новом издании, пересмотренном и дополненном. Ибо она пережила Великую войну и русскую революцию и видела, и на шкуре своей претерпела неистовство «бесов», когда они, предвиденные и предсказанные Достоевским, вырвались из ада и забушевали над опозоренной и в кровавой грязи захлебнувшейся Русскою Землей.

Страдальческий вопль Шмелева производит тем более острое впечатление, что вырывается он вовсе не из груди титана, а скорее из груди ребенка, за что-то брошенного капризом судьбы в переживание чудовищной трагедии, тогда как ему и хочется, и следовало бы жить и творить в обстановке идиллии»[2].

Составляя настоящий том, мы просто собрали доступные нам эмигрантские произведения Шмелева, не вошедшие в предыдущие тома, просмотрев его книги, а также газеты в собраниях РГБ, ГАРФа, ГИПБ, ИНИОН. И в предисловии, не имея возможности для комментария, лишь стремились рассказать, как это было. И когда все само собой составилось, стало еще раз ясно, что было все это горько, страшно и больно. Если публицистика Бунина, по меткому выражению современного исследователя, «страстное слово»[3], то статьи Шмелева — крик боли. И страдания, и сострадания ко всем погибшим и погибающим русским людям.

Да, он написал очень светлые, добрые, гармоничные романы о России. Но, видимо, мы никогда не должны забывать, как ему доставался этот свет и как вообще этот свет достается всегда. Говоря словами самого Шмелева (не зря его друг Ильин поставил их эпиграфом к книге об Иване Сергеевиче): «И пришло это сияние через муку и скорбь...»

Елена Осьминина

---

[1] Обзор эмигрантской литературы о Достоевском см.: Белов С. В. Национальное достояние России//Русские эмигранты о Достоевском. — СПб.: Андреев и сыновья, 1994. С. 5—19.

[2] Амфитеатров А. В. Литература в изгнании//Новое время. Белград, 1929. С. 26—27.

[3] Михайлов О. Н. Страстное слово//И. А. Бунин. Публицистика 1918—1953 гг. — М.: Наследие, 1998. С. 5—20.



РАССКАЗЫ

ЭТО БЫЛО

(Рассказ странного человека)

I

Я прекрасно знаю, что *это* было.

Меня захватывало блаженством ужаса, крутил вихрь на грани безумия и смысла...

Случилось *это* во время прорыва под М... Кажется, тогда... Нет, я буду говорить определенно, — это дает уверенность: *это* случилось тогда. В тылу у нас очутилась немецкая кавалерия, — и фронт сломался.

А вот что раньше.

Месяца два перед тем меня засыпало взрывом немецкой мины. Двое суток пролежал я в земле, под счастливо скрестившимися надо мной бревнами, как в гробу. Откуда-то проникал воздух. Над моей головой ходили в атаки, прокалывали друг друга, поливали мою могилу кровью. Иногда мне казалось, что я слышу хрип немца: «тайфэль... майн готт...», рычание родной глотки, исступленно-гнусную брань и молитвенный стон...

Этот участок фронта, изрытый кротовьими ходами-гнездами, с подлой начинкой из нитров и толуолов, как сыр швейцарский ноздрями, раз пять переходил из рук в руки в эти два дня. Пьяная смерть разделывала надо мной канкан. Я приходил то в отчаяние, то в безумный ужас... пытался задавиться на ремешке от брюк и терял сознание... проклинал и молился... Я — молился! Кусал пальцы, рвал волосы... заводил часики на руке, кричал ура... До тошноты, до полного отупения, — чтобы не потерять рассудка, — твердил: «*а* плюс *б* в квадрате — равняется...» А надо мной топотали и топотали, ревели, рычали и кололи друг друга.

Это очень чудно́ — следить за войной из гроба! Приходят веселенькие мысли... Будь при мне «гнездышко» пудов на пять, — с каким бы восторгом взорвался я вместе с этими шимпанзе и гориллами! Я вспоминал моего милого сеттера,

рыжего «Гомо», — увы, разорванного гранатой, — как он, с фляжкой на шее, разыскивал ночью раненых... Воистину, он был выше этих!

Из моего «гроба» я ценил глазами потустороннего...

Наконец, пляска кончилась. Наплясали гору человечьего навоза, выбили немцев... Ночью тихой услыхали мой стон, и... я поехал в продолжительный отпуск.

Два месяца! Славное было время... Чудесно провел я эти два месяца! Это был солнечный, тихий сон...

Я жил вне обычной жизни, я жил и — не жил, и... я был неопределимо счастлив. Такова жизнь блаженных...

Для меня уже не существовало женщин, словно я отдал земле всю силу. Пустынники понимают прекрасное...

Машинки в юбках, для выделывания болванов будущего! Раскрашенной канарейке, щебетавшей о чем угодно, от Фурье и Бергсона до футуристов и абортизма, — она прошла полтора факультета и санитарные курсы, — стороннице «свободной любви» я, помню, сказал серьезно:

— Таких же взглядов и мои молодцы-саперы! Они вас поймут. 35-й саперный, фронт...

Она... расплакалась!

Чудесное было время. Я жил цветами...

Бывало — вьюнок развесит тысячи колокольчиков, всех тонов, парадом встречает утро. А душистый горошек... этот — семейный, усатый, цепкий! подремывает себе на тычинах, выпустив пестрые стайки своих мотыльков — поиграть на солнце. С утра до ночи страстно полыхают огни, несгорающие костры настурций... Левкои покоят глаз девственной белизной, а резеда весь сад заливает неуловимым своим дыханьем — музыкой под сурдинку...

Мало еще знают цветы, таинственный их язык и — душу!

Слыхали ли вы, как органно звучат бархатные голоса георгин? как солнечно-звонко кричат красные маки и детски лепечут маргаритки?

Я целовал ласточек на лету, бабочек над цветами, столбики суетливой мошкары в тихом вечернем свете. Я завел кротких кур, важно покойных палевых кохинхин, этих себя уважающих дам в перьях, даривших мне чудесное — «всмятку». Разговаривал о философии жизни с уравновешенным петухом, отвечавшим мне вежливо:

— Все проходит, мой друг... все — пустяк.

Любовался озабоченными маменьками-индюшками, деловито поглядывавшими зеркальным глазком на небо, вывернув

голову: — дождя не будет ли? Я узнал маленькие секреты этой удивительной мелюзги, их наивную простоту переживаний, покой и трепет солнечных радостей, их мистический страх в сумерки, когда они хотят и боятся отдаться ночи, вытягивая в темноту шейки. А ласки сколько, ласки и радости перед человеком-другом!

С отвращением вспоминал я рёв — рык, влажное — тррр... — от вспоротого брюха и топот подкованных орангутангов... животную вонь пота, шмыганье сопливых носов и зоологические «искания»...

Заглядевшегося на меня индюка я спрашивал:

— О чем, брат, думаешь? Че-ло-век... — это звучит... гордо?

Пыжился-багровел индюк, откатывался, словно на колесиках, кругами, возил по земле рулями-крыльями:

— Вот э-то... — гордо!

Милый гордец!

Я целовал эти разноглазые птичьи головки, без грязных думок, все разные, все — знающие самые недра жизни. Их нюх, конечно, выше Бергсона.

Я ласкал глазами пегонькую телушку, зашедшую к вечеру на далекий бугор, раздумавшуюся от тугого брюха. Она задумчиво смотрит в потемневшие вдруг поля, осматривается пугливо-недоуменно — это что? ночь?.. — и детской еще трубой пускает ночи свои испуги.

Я слышу голос вечерней бабы:

— Милуша-Милуша-Милуш!.. Чево ты тама... иди, не бойся...

И чую я, как ласка животным шелком связывает обоих.

Но вот и конец. Меня призывают продолжать, говорят, что нервы мои в порядке, и я могу опять разделывать под орех.

Жаль, что я не маленькая зарянка, владелица чудесной квартирки на старой липе, с электрическим освещением в июльские ночи, когда небо играет пудовыми шарами. Почему не могу я сновать по садам на крыльях бесшумных, присаживаться на жасмине и спрашивать сумрачного человека на подоконнике:

— Я-не-та-ка-я?.. я-не-та-ка-я?..

Я прощаюсь, растроганный. Индюку говорю, что индюк — царь природы, и он кружит от гордости автомобилем. Петуху признаюсь, что теперь вполне разделяю его философию, — все проходит! Телушке советую не бояться ночных полей и вырасти в молочную гору. Сыплю всем пшена и гороху досыта и шепчу солнцу: Храни детей!

Говорю коротенькое словцо цветам-сироткам и смущенно сую под плащ глупую шашку. Прощай, тихое небо, прощай! И ты, вольное солнце, проснувшееся за лесом, прощай... Кто это — будто зовет меня? Ах, зарянка... Счастливая, будешь в тишине жить...

Меня провожает мудро-унылым глазом старуха — кобыла, с отвислой губой, — «Матрона» — словно хочет сказать: «эх, зря! оставайся-ка лучше с нами... столбунцы будем есть, сныть сладкую!..»

И знаете, что сказал я тогда этой мудрой старушке?

Я плотно сел в тарантас и сказал в тугую спину Антона:

— Но если я еще не дорос до вашей свободы, мадам! Если я до ужаса боюсь смерти, страха ее боюсь, и потому... лезу к ней в лапы! Вам, мадам, этого не понять: это звучит... гордо!

Вот закрою глаза — и так ясно слышу: сочно похрустывает кобыла, отфыркивает в довольстве... постукивает на колеях тарантас, прощально поет петух... Какие облачка стояли над головой, с золотисто-розовыми краями! А в длинной аллее, за липами, дремали еще в кустах тени последней ночи... Вотъ-вот проснутся...

Не воротишь.

II

Снова грохот колес, водовороты на станциях. Снова мешки и мешки, котелки и штыки, рёв и рык, и несмолкающий скрёб тысяч и тысяч ног, все отыскивающих верную дорогу. Грязные стаканы на липких столах, женщины, с блудливо-обещающими глазами и кровяными губами трепаных кукол. Ночлеги в логовах, с граммофонами там и сям, с гиком молодых лошаков, с визгами баб, потерявших солнце. Гроба и носилки полевых госпиталей; схватки обозных у переправ, казаки, с крадеными коврами на руке, с пузатой розовой вазой, втиснутой в торока с сеном; разрываемые на части станционные коменданты, посылающие всех к чертовой матери... — плеск и хлябь человечьего наводнения.

Запах кровавых полей проникает в меня до недр, и уснувшая было сила начинает шуметь и звать. Я вспоминаю болтливую канарейку и жалею, что ее нет со мной. Подхватывает меня... захлестывает волна кровавого прибоя: здесь скат...

Где-то задерживаюсь, кручусь в веселом саду, в пропыленных акациях, укрывающих голоту и бесстыдство туманной восточной женщины, сбежавшей с помоста из ящиков и бочон-

ков, где она совала в себя змей-шипучек и обвивала жирной рукой в индийских браслетах позевывающую пасть бородатого тигра в клетке. Смеюсь, как на солнце после болезни, на колченогих скрипачей в рыжих фраках, наяривающих зудливое. Пью с подлецом-импресарио, от которого несет одеколоном и чесноком, и которого губы подозрительно сини. Вечером режусь «в железку» с интендантами и жидком, называющим себя почему-то Михель-и-Анджело. Он курит ноздрями, хлестко рассказывает анекдоты и разом выбрасывает четырех тузов пик. Выкручиваюсь в смертельной тоске, — с чего?! — частенько спрашиваю запыленное небо: — «а что-то теперь мои дамы в перьях?» — и мне до слез хочется поговорить с петухом.

Вспыхивает во мне огневая мысль, рвущая все слежавшиеся, вялые мысли, — и я кричу в эти рожи, лакающие пиво и бессарабское:

— Хрюкайте же, скоты! вставайте на четвереньки, ревите, лайте! Довольно в человеков играть! Или сумасшедшая мысль взорвет все! Мысль все порвет и сожжет!

Увы! Никакая мысль не могла бы сжечь их и этот проплеванный садишко. Они благодушно хлопали меня по плечу, чокались пьяно и, потирая пропотевшие лбы, зевали:

— Гроза будет... За девчонками, что ль, послать?..

Я с тоскою гляжу в запыленное, без звезд, небо и призываю сказку.

Я покупаю у оборванца-цыгана укротительнице-тигрице редкостное Распятие, из слоновой кости, в серебре чеканном, столетия благословенно дремавшее в родовом замке, обласканное мольбой голубых очей, обвеянное ароматами светлых волос красавицы польки, изнасилованной войной, — и на моих глазах, бесстыжая человечья машинка, эта мамзель Тюлю, родившаяся растленной, со смехом пьяной сучонки колет моим подарком орехи, как молотком!

Перед фронтом я отыскиваю в себе ошмётки веры. Рвавший людей в куски, я возмущен, взбешён, осыпаю мамзель Тюлю самой солдатской бранью, вырываю у ней Распятие и дарю Его... грязноносой дочке хозяина сада. Потом... — примирение, тигр, вдруг оказавшийся парикмахерским подмастерьем из Черновиц, — вот она, сказка-то! — безумства на мертвом тигре-ковре, среди резиновых змей-шипучек, — бред-обман убиваемой правды жизни...

А чего стоит она, линючая правда жизни!

Все это — подготовка к военному бремени, может быть — к повторению «гроба».

Но пена еще не кончилась.

До фронта еще верст семьдесят. Я вызываю со станции моего мальчугана-шофера Сашку с машиной. Он привозит веселенькие вести: немцы опять зарылись в моем «гробу», опять ведут ходы, пускают из миномётов «лещей», а вчера разорвало моих семерых бомбой с аэроплана...

— Опять выбьем! — говорит Сашка, краснорожий, сытый, шарящий по тылам «за пряниками».

Затылок у него крепкий, несокрушимо-уверенный, всегда успокаивающий меня.

— Не твоими боками только.

— Хочь и моими! Андеференто.

Катим...

Перед поворотом на Б. — Сашка начинает ёрзать рулем и играть скулами, — скулы у него еще лучше затылка, с глянцем! Едем тише, на перебоях. Машина начинает покашливать. Сашка ругает масло, бензин, магнетто. Зеркало души его — затылок — как будто начинает потеть, бойко играют скулы...

— Да что такое?..

У поворота машина оседает с ворчаньем, Сашка слезает и начинает нырять под кожух. В промежутках я слышу, что в прошлый заезд забыли у казначея запасные части, и надо бы, вообще говоря, ремонт. Он кряхтит под машиной, лёжа на брюхе, стучит ключом и сопит. Я понимаю, что ему хочется в Б., где у него пряничная девчонка.

До Б. — верст тридцать, в сторону от большого тракта.

Манит и меня в Б., прохладный покой холостяка-приятеля, лет на двадцать старше меня: отоспаться на турецком диване, под «Пашой с кальяном», есть литовскую ветчину, пончики и хрусткий «хворост»; хочется золотистой старки из подвалов «самого Понятовского», ласкать пальцами пузатые потные кувшинчики со столетним медом, с бальзамами, с вытяжками, со знаменитым «детским дыханьем», от которого грезы наваливаются туманом, — и открывается мир нездешний. Старикан — казначей обязательно заколет тельца, а котлеты прикажет Зоське вымочить в сливках и обвалять в грецком орехе.

Я поглядел вокруг... Равнина-даль, с подымающимися синеющими лесами — к фронту. Дубы... Охватила тоска, предчувствие пляски смерти. Одинокий «фарман», как ворона над

полем, — далеко, неслышен. И вдруг, на сиротливом кусту, пичужка — как будто спрашивает меня:

— Я-не-та-ка-я?.. я-не-та-ка-я?..

— Нет, ты не такая!

Вот тут до тоски захотелось уюта. С головой бы накрыться беличьим покрывалом — роскошью казначейской! Упиться «детским дыханьем», — и уйти в нирвану...

Я соблазнил себя казначейской ванной, — когда-то ее увидишь! — мягкими туфлями из ангорского кролика, в которых буду бродить целый день, — целых два дня! — выходить в белье на крылечко, кликать цесарок и корольков и швырять золотистый горох моченый...

О, если бы на пустынный остров! Тишины бы только...

— Уж ухлопаем мы машинку! — мрачно говорит Сашка.

Он отлично знает и мои колебания у своротa.

— А не повернуть ли, Сашка?..

Он старательно работает насосом — весь в деле, но скулы его играют.

— Андеференто!

— На Б.!

Машина — ревучий вихрь, рвет и сверлит воздух. Падают за нами столбы, стреляет щебнем... Играют желваки за ушами у Сашки. Поет мотор скоростями, позвякивает срывно... воет железо в вихре...

III

В обители казначейской закрутило меня бучило... Экзотика!

Представьте: Италия, Греция, Аргентина... — тут! в глухом и затхлом городишке литовском! Правда, — то же, что Турция над табачной лавкой, на вывеске какого-нибудь живописца-пропойцы, или Ямайка на ромовой бутылке... Но... старка! но... «детское дыханье»! Дети из лоскутков создают сказочные наряды.

О, хрупкая человечья машинка! Через гашиш она видит арабские сказки в помойной яме.

Какой силой волшебной нанесло их туда, трепаных и потертых, линючих детей экзотики, на старку пермяка-казначея?

Меня крутило... Я слышал чужую речь — певучую речь и гортанный говор. Цирк ли то был заблудший, факир ли из Индии дотащился до городка, чтобы открывать будущее, разорвать заказанную завесу?

Я видел рожи... Они плясали перед глазами, как бывает в кошмарном сне, — вздувались и опадали, расплывались в гримасы и улыбки. О, эти улыбки ряженых обезьян, пощелкивающие пасти!

Нет, не бред это был... Это бы-ло! Я и сейчас еще слышу запах человечьего стойла, едкого пота вочеловечившейся гориллы-пса, сладко томящий запах бананов и ванили... Тут нет ничего смешного. Да, гнусное стойло и... бананы!

Кто они были? какого племени? Не то поляки, не то... Итальянец, как будто, был... Да, сеньор Казилини... Еще бы без итальянца! Вечный город, сады Ватиканские, Капитолий и Колизей, форум Трояна и термы Каракаллы... пинии, арки и акведуки, холмы в колоннах, башня-замок св. Ангела... — выплыли для меня из красного галстуха в сальных пятнах, с зеленым жучком-булавкой, из тугого кривого носа и усов — черных щеточек-ёршиков, с этого шершаво-угристого лица коричневого шагреня. Лазурные волны заплескали в меня из горячих, но сонных, в истоме, глаз, с голубоватыми переливами от белков. Неаполитанской остерией полыхнуло от обшарпанного малинового жилета в бархатных шашечках, от гнусно болтающейся цепочки, с кучкой брелков-гремучек, с неизменной похабной панорамкой, — прокислым вином и прогорклым маслом и... сладким духом перезрелого апельсина...

Опять фантазия?.. А знакомы ли вам тонкие струйки вагонных купе в экспрессах, где теряют свой эпидермис человечьи сливки? только — сливки? Дыхание элегантных женщин, смешанное с симфониями духов Парижа и Лондона, неуловимая эманация бриллиантов и глаз, мелодия слов изящных, слабый запах увядших роз, ананаса и шоколада? Ароматы шампанского и шабли, шамбертена и сигарет самых тонких... — этот непередаваемый эсс-буке человечьего превосходства? И в этом «буке» стоит, все пропитывает собою, тоже неуловимый «буке»... человечьей гнили!

Грек еще был — топтался на мягких лапах, с повислым усом, невыспавшийся от века, чревовещатель и «рахат-лукумщик» для фронта. Подавал с потолка голос:

— Кали-мера!

Приближал ко мне выпуклые глаза-маслины и надувал вялые щеки, поплевывая фисташкой:

— Вазьмытэ напрымэрь... циво это?..

Пискляво-тонкий был его голосок, и полон был его дряблый рот фисташками, зеленоватой кашицей.

— Вазьмытэ напрымэрь...

И еще... Аргентинка! Чудесная человечья самка.

Высокая, роскошная в бюсте, тонкая в талии, в бедрах широкая, суживающаяся книзу в иглу, стройная, черноглазая, медноволосая, с носом-пуговкой и обжигающим взглядом вороньих глаз хищных, с усиками и родинками, где нужно. А носик — пуговкой! Кто бы мог подумать, что в этой пуговке был конец запутанного клубка! Потом поймете... Знайте одно, что забавница-жизнь неизмеримо богаче самого буйного фантазера, знайте. И не говорите: не может быть. *Все* может быть! Я знаю.

Да... Аргентинка. Белая шея-столб, в золотисто-розовой пудре, в бархатно-нежных складках, в кораллах, обвитых жемчужным золотом, с крестиком в изумрудах — в вырезе черного шелка.

Она ходила — играла, откидывая и свивая у ног черного шелка трен, в колесе-шляпе из султанского страуса, с ресницами и бровями, которые могут присниться только.

Она говорила — пела:

— О, кабаллеро!.. о, кабайеро!

Не могу передать игру этих слов щекотных, искрой пронизывающих нервы. Она умела! Даже старикан-казначей захлебывался в истоме и хрипел мне в ухо:

— Она меня... не могу... щекотно! О, кабайльерро!

Только это, одно это слово, — и сыпучий, и звонкий-звонкий, как мелкое серебро, смешок сиплый... Такой... не сиплый, нет... Нет такого в языке слова, чтобы передать звук этого смеха женщины, намекающего интимно. Не кольца ли это ее смеются, сверкающая броня на пальцах? Пахло бананами от нее, — бананами и душной ванилью. Было от нее знойно и влажно, как от нагретой палящим солнцем морской лагуны.

В дымке туманной сновали передо мной лица. Не призраки. Смотрите сюда... Видите на руке царапину, этот шрам беловатый? Это она, играя моей рукой, шутливо провела перстнем... запятую!

Схватила мою руку и сказала:

— О, кабаллеро! о, кабайеро!

И... черкнула. Черкнула, плотоядно стиснув мелкие зубки.

А ее накрашенные губы, изогнутые негой! А переливающиеся, играющие складки шеи! Змея, питающаяся кровью...

Романтика? Погодите — узнаете.

Откуда, зачем они?

А не все ли равно — откуда! Война вытряхивает человечьи укладки, метет человечью пыль.

Когда раньше слыхали вы столько прозваний гнусных, человечьих меток?! Подлых и страшных меток! Я знаю теперь, что есть человек, который подписывался — Убей! И подписывался с чудесным росчерком! Я видел людей с отметками: Змий-Змиевич, Гнус, Гнида, Плевок-Божий!

Я не выдумываю. Я знаю.

— Откуда, зачем они, *эти?!*

Сияет казначейская лысина:

— Эх, дружище! Люблю диковинки! Заявились вчера, сняли у меня антресоли на недельку. Представления будут делать, ка-ба-ли-сти-ку! Да где-то багаж застрял. Народец занятный, со всего света. О, кабайль... еро! Ффу-ты — ну-ты!

А она кто же, медноволосая Аргентинка? У ней вороньи глаза, и зубки, как мелкий жемчуг... Аргентинка, а носик... пуговкой!

— Что? Гадалка!

Да, она — гадалка. Она знает конец войны.

— Она, понимаешь, знает... зна-ет! — чмокает казначей загадочно. — Голова мутится... Прилипла и прилипла, навязалась: «я так уста-ла...-а у вас тут так ти-хо!» По-русски не понимает, а так, на пальцах... Наволокла ликеров... Говорит, шельма: «о, кабайеро! Ффу-ты — ну-ты!»

Петухом ходит казначей, даже розовым маслом пахнет. Показывает гостям пермские меха, про сибирское золото, про уральские камни плетет нескладно. Хватает Аргентинку за золотые пальцы:

— Поедем, мадам Кабайльеро, за золотом! Накупим в Ирбите соболей-горностаев, ффу-ты, ну-ты!

— О, кабайеро! О, кабаллеро!

Все крутилось... День, и еще день — в чаду. Они не уходили, эта экзотика. Или и уходили? Не знаю. Была старка, озорная старка «высокого букета». От нее яснеют глаза и видят дали. Она приводит с собой глушь и сырь дубовых лесов и пущ, старые замки, охоты-пиры панов, девичьи руки-ленты, турьи чаши, зовы рогов далеких, костры в черных ночах, золотом шитые кунтуши, береты в самоцветных камнях и перьях... и музыку!

И ее, конечно. Слышен хрипучий голос казначея:

— Играй-играй, Яшка... играй веселее!

Вон уж и музыканты сидят в углу... Представьте — те же, что в веселом саду, в пропыленных акациях! Колченогие, в

рыжих фраках, с оттопыренными ушами, красными от натуги. Что же тут странного! Музыканты веселых домов и баров всегда те же, под всеми широтами, как затертый трактирный пиджак, как похоронные молодцы в цилиндрах... — кабацкая терпкая подливка!

— Играй-играй, Мошка... играй веселее!..

Играют до визга весело. Черный страус летает под потолком, фалда казначейская хвостом вьется. Звякает Итальянец брелоками, кажет грязную рубаху из-под малинового жилета. Только Грек усом в стакане ловит.

— Гей-га! — визг цыганский голосом Аргентинки.

Валится казначей — не казначей, — хрипучая перина на диване:

— Ффу-ты — ну-ты!.. З-зу-ди! Маису!

Опять зудят-томят скрипки — несут душу в простор нездешний. Все плывет, все колышется в томных звуках «Молодого Маиса»...

Вы знаете этот танец... в страсти которого пахнет тленом? Танец похоти истонченной, не желающей достижений. Танец все испытавшей плоти, которая жаждет смерти, как наслажденья! Танец совокупившихся змей на трупе! Да, это гнусный танец бессилия и... неутолимой страсти, истомный вопль оголтевшего человечьего стада самцов и самок...

Они плясали, умирали от наслаждения, эти змеи... Теперь я до яркости сознаю, что томило-мутило меня тогда, шептало моей душе: «готовься, скоро». Но это томление покрывалось явью. Уже тогда я — *знал! Знал* — и орал вместе с лысиной казначейской:

— Зу-ди! брраво!

Аргентинка слилась с Итальянцем... свились, как змеи, в истомном, погружающем в негу танго... безоглядно несущем к смерти. О, этот сладостный гной касаний! Порою мне становилось жутко — до тошноты, я закрывал искушающие глаза, пытался забыть настоящее, порывался пропасть куда-то... И... пропадал. И тогда — тогда плыла на меня в этих томящих звуках панорама...

...Душно. Пахнет теплой лагуной, илом, апельсинной коркой. Подымаются небывающие пальмы в лианах, бананы-столбы с листьями в добрую лодку. Парна́я, душная от гниющих растений ночь. Душная Аргентина... Вереницы, вереницы людей нездешних. Это все хозяева стад тысячеголовых... От них навозом несет, степями. На пальцах — слепящие корунды,

бриллианты, как чечевица. В красных галстухах — изумруды — змеиный глаз. Красной искрой вспыхивают сигары Гаваны. Висят туманные шары-жемчуга в деревьях... Похаживают в цилиндрах, важно, губастые широкобедрые негры в белофланелевых костюмах, с пунцовыми розами в петлицах, с золотыми набалдашинами на палках, водят — ищут сметанными белка́ми, пахнут конюшнями и сигарой, — думают туго свое, ночное. И тысячи, тысячи Аргентинок выкручиваются под молочными шарами, змеями обвивают губастых негров, прижимаются к брюхам скотохозяев, заглядываясь мутнеющими, истомными глазами на бриллианты, захлестывая шелковыми хвостами, заливая удушьем бананов и ванили...

...Вот оно, обезьянье семя, плевок Божий!

— О, кабаллеро, о, кабайеро!

Бред... Озорная старка! Она, или это вино в кувшине с печатью сургучной, это «детское дыханье», — вдвинули в комнату с красным, привычным полом приокеанскую Аргентину, с летающими огненными жуками, вспыхивающими от страсти — пфф-пфф-?

Больше, больше цветных стекляшек, лоскутьев пестрых, цветистой фальши пьянеющего мозга! Заткните глазеющие дырья трезвеннице святой, проклятой жизни! Смотрит она в меня кровавыми глазами!

— Играй-играй, Йоська... играй веселее!

— Заткните дырья! — слышал я резкий, звенящий крик чей-то.

И вот, душистые пальцы в кольцах закрывают мне рот, с журчаньем:

— О, кабаллеро... о, кабайеро...

На меня смотрит, топит в себе — Аргентинка... Нет, — акула. По-собачьи смотрит, зубками-гвоздиками. Акульей пастью в крови — смотрит, — мелкой костяной пилкой. О, какие чарующие глаза — зеленоватых морских глубин! какое атласно-белое брюхо — шея! Сожри, распили костяною пилкой!

Она тянется, тянется вся ко мне, глазами пьянит меня, протягивает к губам бокальчик...

— Сами настояци... барлиант! — падает с потолка голос.

С неба — голос! Ах, это сонный чревовещатель... Что за милюга-парень! Прямо — дядюшка водевильный. Я вижу горящие глаза Итальянца, крутящиеся волосатые пальцы... Ого, ревнует? Это очень занятно... Отелло в пестром жилете, с похабной панорамкой! А кто же она, из какой пьесы, какого

репертуара? Кармен... Юлия... Дездемона... или, как это... еще мировая склока?.. Прекрасная Елена! Маргарита!.. Все вместе же, черт возьми! все вместе! Бабий мираж тысячелетнего человечества, упершийся в... Аргентинку!

О, ты напоминаешь Клеопатру, Юнону, Беатриче... даже Минерву! Она ничего не знает! О, скромница! Она, артистка, — и не знает Беатриче! И лучше! Оставим наивность прошлого пустельгам-поэтам. Это они навязывали Пенелоп многоверных, ожидавших мужей годами... Это они болтали, что бывает любовь до смертного часу! Не понимали они толка в изумрудах и корундах, в ароматах бананов и ванили... Не знали они, младенцы, как чудесно воняет человечьим стойлом!

Она смеялась, прекрасная Жанна д'Арк... Я, конечно, тогда ошибся... Конечно же, Аргентинка! Говорил, что красота ее всемогуща, что она могла бы совершить величайший подвиг... например — Юдифи! или хоть Монны Ванны... Она могла бы сделать гораздо больше, чем все пушки мира... Если бы она была русской крови! Если бы я был поэтом — написал бы о ней величайшую поэму!

Как чудесно она смеялась! Мой язык казался мне мужичьим, а она так прекрасна!

Я пью — чокаюсь с нею, с Греком, с сеньором Казилини. Ведь мы все братья, бьемся общей рукой за правду...

Кричит-скрипит казначей:

— Брось, капитан, антимонию с маслом... Время — деньги!

Лысина казначея крутится над столом, — тасует карты! Что же тут настоящее? что не бред? Эта лысина — настоящее, это из Перми. И это зеленое сукно... А эти, *эти?!*

И опять голос — с неба:

— Вазьмытэ, напрымэрь... циво это?

И эти, запропавшие, золотые у казначея — подлинные, его, или... как? И Грек высыпает золотые! Фу-ты, какая пышность! Почему же нет дожа венецианского? Что еще нужно, какого вина теперь, чтобы дож явился? Да где же суть? Почему Итальянец похож на пса, даже стучит зубами?

— О, кабаллеро... о, кабайеро!

Я вбирал в себя Аргентинку, ее атласно играющую шею, медные волосы и акульи зубки. Сожри! распили костяною пилкой!

Что я кричал?... Да, я кричал казначею, что все это ложь, сплошь подделка, марево, мгла, туман...

— Марево! марево! марево!

Они смеялись. Смеялась даже пермская лысина простака-болвана, у которого таяли золотые. Грек подслеповато мигал гладившей мою руку Аргентинке, тянул сонно:

— Сами настояци барлиант...

Казилини передернул карту, но его поймал казначей и — странно — не рассердился! Только загреб все золото под себя, стукнул кулаком и сказал твердо, молодчина:

— А теперь играй веселей!

И Казилини не рассердился. Всех размягчила старка.

— Я не катель вам наклядка! — кричал Итальянец. — Я катель показиль мадам Мари нови наклядка!

Да кто же они? — спрашивал я себя. — Пермь, лысина — это верное, наше... Но эти, *эти?..*

— Марево — и все тут! — весело хрипел казначей. — И война, капитан, и все твои ужасы — марево! Настращался в своем «гробу». А ты пей-плюй, не пужайся! Пей, главное дело... Мадам Кабайльеро, правильно?

И вдруг...

— Война скоро кончится, обязательно!

Она сказала? Аргентинка?! Она, так по-московски: «обя-за-тель-но»?! Так что же, наконец, это?! почему — Аргентинка, акульи зубки, духота бананов и ванили?!

Нет, я сброшу эту наваду! Я хватил по столу кулаком и крикнул в этот туман проклятый:

— Да кто же вы, наконец?! Здесь зачем, на красном полу, в паршивом городишке?! У вас бриллианты и золото! изумруды — змеиный глаз! К черту бананы и Аргентину, все ложь!

Они — смеялись! Она, прекрасная, щекотала мне шею теплой медью-шелком, шептала страстно:

— О, кабайеро!

Из ее морских глаз глядела на меня душная Аргентина, ночная тайна летающего огня, влекущая счастьем к смерти.

— Баришни... сладки товар... ряхат-лукум! — сказал Грек. — Война, а тут ты-хо... и ми тут... ты-хо!

И опять глухой голос — с неба:

— Война... скора... фи-фи!

И сонный Грек перекувырнул что-то пальцем.

И Казилини сказал, потирая обезьяньи лапы:

— Фи-фи!

И резко свистнул.

Был это миг блаженства: глаза ЕЕ, льющие змеиные чары всех женщин мира! Такой она мне явилась...

Было ли это от ее «ликеров», которые стряпал дьявол, или это бурно вернулась из моего «гроба» покинутая там сила, — не знаю. Великий Соблазн выбрал себе личину — Аргентинку! Она разняла меня по суставам, ядом меня поила, и... странно, я чувствовал в ней родное. Кровь ее рвалась к моей крови, и тогда... тогда я почувствовал в себе — зверя. Она могла бы вести меня за собою на что угодно! Она могла бы стянуть в себя все бесценные камни мира, к ногам повалить все царства! Сгноить и растлить живущего в мире Бога!

Лихо кричала Аргентинка-вакханка:

— Гуляй, кавалер!.. трын-трава!

И этот выкрик из публичного дома, этот бульварный выплевок — «кавалер» — в ее губах, искривленных негой, был тогда для меня, как влюбленный шепот. Хотел бы я, чтобы *это* повторилось. Нет, не надо. То были впервые крикнувшие во мне «недра». Они вспучиваются в войне, в революции и... когда отравляет самка... Надо убить инстинкты, иначе все *небо* — к черту! Человеку надо уйти в пустыню и... вновь выйти!

— Гу-ляй! — орал ошалевший казначей, хватая ее за пальцы. — Она гадалка! Ей ни-чего не жалко!

Да, гадалка. Недавно нагадала она *там где-то*, и ловко мы *погасили* две батареи немцев и *стерли* три батальона стрелков-баварцев...

— Гей-га! Лихо?!

Играли ее акульи зубки.

— Гуляй, кавалер! трын-трава!

И она выпила золоченый бокальчик старки.

— Все-то мы пор-рядочные скоты! — возгласил казначей, сгребая золотые, не считая. — А посему... прошу ужинать! Вот и солнце!

IV

А солнце уже покачивается над забором — вышло из-за тумана.

Стол, — умереть можно. Как работали акульи зубки! Как рвал мясо зубами Итальянец, и чавкал салат-оливье подбодрившийся Грек! Как сердито бурлил розовый мед в стопках, смачно булькало в глотках! славно играл хрусталь розовым солнцем утра! Как кричали петухи по всему городу, и, — странно, — тревожно лаяли собаки!

— Стойте... лают собаки!.. во-ют... — настороженно сказал казначей. — Вы слышите?.. Как будто, гремят повозки?.. Гремят повозки...

И вдруг, в окне — вихрастая голова парнишки и рука с бумажкой:

— Телефонограмма! немцы!..

Как бомбу бросил!

Казначей — мешком в кресло, посинел, налился... Иностранцы икру в рот вмазывают, как шпатлюют... А я... Прорвались немцы? Бред, марево! Пошутил парнишка...

И взорвалась бомба!

Ахнул казначей, рванул у ворота, хрипнул:

— Теле... фоно... «Эвакуироваться... немедленно?.. направление...» Не понимаю... Что такое?..

Он тряс бумажкой, водил глазами, вздувался жилами... И вдруг, выпучив глаза, крикнул:

— Про-дали! Измена!! Вон! вон!! вон, скоты!! все вон!!

И пустил салфеткой в глазевшего на него Грека.

— Сюма сасель... — развел Грек руками, повел усом.

— Ха-ха-ха-ха... — рассыпалась Аргентинка смехом.

Через марево мне блеснуло. Нюхом животного важное я постиг, — близкое смерти. Острием долгим-долгим, вытянувшимся оттуда, где плясали в крови, пронзило сердце... Я уже рвал проклятую паутину, пытался схватить скользившую от меня тень тайны. Она была здесь — я *знал*.

— Пьян... ничего не соображу... — путался казначей с салфеткой, тер кулаком глаза. — Капитан, что же это?!.

Я уже разорвал паутину, хватал ускользавшую от меня определенность... Казначей окатил голову из графина, графин — в окно.

— Капитан, действуй! Немцы в тылу, а у меня на руках миллионы, резерв!!.

Я впивался глазами в Аргентинку, вытягивал из нее тайну... Я поймал-таки заметавшийся мышью взгляд и крикнул этим, уж слишком спокойным комедиантам:

— Документы!!

Это был для них, очевидно, привычный окрик. Они поднялись с сознанием важности порученного им дела, как бы с сожалением к моей неосведомленности.

— Документы?!

У них были чудесные документы, с печатями всякого сорта, даже из легкоплавкого металла по холстинке: и высокой гарантии фотографические снимки, и специальные шифры, и несокрушимые аттестаты. У них было самое изысканное куррикулюм-витэ, у этой человечьей пены или... сути? Это были

герои, мученики, подвижники... Они отдавали себя за... родину!

— Вы?!! мещанин города Минска?!! — крикнул я Итальянцу. — Города Минска, и... Итальянец?!!

Ну да, самый подлинный Итальянец, до грязных ногтей, в которых есть еще и теперь следы макарон с помидорами, пожиравшихся им в Неаполе, в самом настоящем Неаполе, на скате Монте Кальварио, где известная Виа Рома. Ну что?! Весь Неаполь у него в жилетном кармашке, на цепочке, где похабная панорамка. Вы понимаете, что я думаю? А этот профиль высокой крови! А это звучное имя: Чезарро-Джиузеппо-Паллавичини! Вы понимаете, что я думаю? Но если этого мало, — он — понимаете! — жертва!! да-с, жертва проклятых немцев, выходец с того света, восставший из гроба — «гамбургской плавучей тюрьмы», — если сеньор желает! Он, — сверх того — это вы поймете потом, — гражданин города Бостона, того Бостона, который пока по ту сторону океана! Вы понимаете, что я думаю?! Он умеет глотать и сажать — «куда нужно»! — шпаги, играть ножом, как кореец, ловит на веревку петлей, изготовлять страсбургские паштеты и служить обедни на выбор: в Москве, Неаполе и... в Берлине! Вы понимаете, что я думаю? Ну что?..

Он острил, как уличный мошенник, собирающий болтунов-зевак. И... он пугал меня, этот тугоносый итальянец неведомой крови, гражданин всего мира. Потомок Брута, Нерона, Пилата, Цезаря?.. Гарибальди, быть может, его же корня? Все может быть. Ветвисто человеческое древо... ох, ветвисто! Он смотрел помутневшими глазами, уставшими от тысячелетий мировой жизни. И галстух его устал, и жучок в галстухе...

Все имели первосортную броню — до крестика в изумрудах, подарка из... Ка-би-не-та!

А тот, с дремлющими усами? Этот, пожалуй, проще...

Чревовещатель и рахат-лукумщик для фронта. Яснее? Ну, поставщик сладкого товара... Еще яснее?! Но кто же не знает «сладкого товара»?! «живого барлианта»?!! Нет, не только. Он — импортер галлипольского масла, строитель храмов на Старом Афоне, житель Пирея, Тимос Чирикчиадис, почетный гражданин Кальвадоса, — а это у берегов Ламанша, — за то, что он полезный лошадник, а там известные нормандские лошадки, — почетный член Промышленной Палаты в Александрии, почетный член Армии Спасения в Бирмингеме, он же и корреспондент торгового отдела «Таймса», он же... Нет, не помню.

А она, одуряющая глазами и ванилью, Аргентинка? Она... Она дарила свои ночи... принцам!

— Это зе барлиант... розови барлиант, тисяца карат! Циво это?! — покачал пальцем Чирикчиадис.

Она была первосортного мяса, дочь Руси, натянувшая душную кожу Аргентинки. Она — великая гадалка-артистка — между прочим. Она дарит людям счастье.

— Ну да, из Тулы. А приятно сказать: о, кабаллеро! Это не воняет самоваром.

— О, конечно, сеньора!

Тула пустила ее на свет Божий заманчивым пряником с ванилью.

Меня словно встряхнуло «Тулой», и я нашел ускользавшую от меня определенность.

Казначей... Его потрясли эти печати и миссии «высокой цели». Он принялся подтягивать брюки, утончил голос и даже, чудак, засыкал. Он сунул Казилини телячью ногу и извинился, что теперь он уже не хозяин, что дела требуют от него, — сами видите, — величайшего отречения... Он едва стоял на ногах, хватал меня за руки и молил не покинуть его «в такое отчаянное мгновение ока». Плел что-то о депозитах, резервах и неотправленных в срок «критических запасах». Он метался по комнатам, плевался на ошалевших чиновников, погружавших на подводу связки бумаг и ящики, звонил в онемевший телефон...

Я искал Сашку гонцами по городу, — не было ни Сашки, ни машины. Наконец, удалось связаться. С «узловой» отвечают: гонят эшелон за эшелоном, и мои саперы еще ночью прошли на Д. В городе ни одной машины: в стороне от большого тракта, затишье, завод. Городишка жужжит, как разбитый улей. Два дня, как прорвались немцы, — и где-то близко!

Это уже не марево... Это подлинный пенный вал кровавого прибоя, и мы — на нем. Вон они, щепки!

Мимо окон несутся в гуле горы человечьего скарба, который еще кому-то нужен, — пузатые перины, ликующие на солнце самовары, звонко смеющееся стекло, гогочущие гуси, — их и теперь не хотят отпустить на волю. Все вместе — куда-то к черту! Ревут и свистят радостные мальчишки: — новое! Воют и причитают сорванные с уклада бабы, спасающие свое племя в тряпках. Сияют тазики, в зайчиках, ворчит железо в колесном грохоте, — все летит, движется и ползет, и только одни мудрые коровы тянут назад, упираясь рогами в камни. Все то же, — переселение народов... Пора привыкнуть.

Казначей-таки погрузил подводу. Пошатывается — вопит:

— Да где же твоя проклятая машина? Ты же пойми! При мне чемодан с миллионами! Не могу же я довериться подводе! Ведь я присягу...

Он, чудак, еще трепыхался на последних винтах, — его еще не сорвало! А мне... мне было странно покойно, безразлично. Не хочу никаких валов и скатов...

— Мне теперь все равно, казначей.

Не все ли равно, где видеть рожи! К чему мотаться? Стать гражданином хоть Ямайки, или уйти к Маори... Можно и там найти Тулу. Все — только призрак. Всюду есть тихие пичуги, и везде они спрашивают с укором: «я-не-та-ка-я?» И верные, хозяйственные индюшки, поглядывающие зеркальным глазком к небу: дождя не будет?

Хотелось крикнуть:

— Да пожжет вас серным дождем, обезьянье семя!

Удушьем стала для меня человечья осклизь — плевок Божий! Где-то еще остались чистые плотички... Что толку! Придет череда — разбухнут, натянут акулью шкуру, вправят в хайло́ костяную пилку и выправят — для хода — первосортную броню, с печатями — где нужно. Все — подлый призрак, все переливается в бред-правду...

— Теперь мне все равно, казначей.

Он не унимался, чудак; он даже топал и грозил кулаками:

— А родина?!! Это же преступно!..

— Родина есть — прекрасное слово, казначей! Она — в хрестоматиях и на устах поэтов! Какие же мы с тобой поэты? Родина... это — отдача жизни. Родина... это любовь до смерти!

— Но ты же герой! ты в «гробу» сидел за эту ро-дину! Я пьян, но чувствую долг... миллионы надо спасать, для родины!

— Родина-родина-родина! — крикнул я, готовый его ударить. — Что есть родина, казначей? Кто из нас знает это?! Это толь-ко сло-во! Молчи, я знаю! видел, казначей!! Там, и там! Что есть родина, казначей? Спроси-ка этих! Аргентина в Туле, Бостон в Минске, Неаполь в Гвадалквивире, а Кальвадос... в Самаре!

— Ты пьян, старина! — плакался казначей, размахивая чемоданом. — Это от «детского дыханья»... Ну, а эти что же? Милорды, а вы что же не в дорогу?!

А что «милордам»! Они уже закусили. Они — стальные. Они даже не дремали. Аргентинка с Греком играли на коленях в «двадцать одно», а Итальянец лежал на диване, как в пансионе, и курил гавану.

Шипел казначей мне в ухо:

— Да уж не мазурики ли они, капитан...

— А документики-то, «высокой цели»!

— Всякие документики бывают... Что-то они тово! Сняли у меня почему-то антресоли...

— Как у официального лица, казначея! Тут прочнее и... безопасней...

Казначей выпучил рачьи глаза, не понимая. Дались ему его миллионы!

— Не к миллионам ли подбирались, да сорвалось! Для меня это совершенно ясно! ясно!!

Я попытался нащупать его мысли:

— А если у них больше твоего, казначей? Если это торговцы самым ходким товаром... кровью?!

Казначей выпучил рачьи глаза, — не понял! — и сказал плаксиво:

— Нет, тебе надо проспаться... Стой! Теперь все ясно! Это *их* ловушка! это они нарочно угнали машину... тут нечисто!

И он кинулся на Итальянца:

— А вы что же?! С немцами в «железку» хотите, «новой наклядкой»?

— А-а-а... — зевнул в него Итальянец.

А Грек отмахнулся, сонный:

— Ми... истрюкци.

— Поезжай на подводе, казначей... спасай свои миллионы... — сказал я одуревшему казначею. — Не придет машина — останусь. Мне теперь все равно.

Для меня как бы не существовало сути. Не калейдоскоп ли все это, арабески из пустяков стеклянных?

А ну, проверим!

Я прилег на кушетку и поманил к себе Аргентинку. Она подошла охотно.

— Ну... — сказала она томно, колыша грудью.

— Прекрасная Аргентинка! — сказал я ей, подавляя желание посадить ее на кушетку. — Вы — из Тулы... Тула есть родина! — крикнул я, овладевая собой.

— Как это... скучно! — протянула она игриво.

Тогда я в бешенстве крикнул:

— Для вас... что есть родина?!

— Тула! — сказала она задорно.

— К черту игру! — крикнул я, сдерживаясь, чтобы не ударить в накрашенные губы-поцелуи, и увидал наклонившуюся ко мне лысину казначея.

Он слушал, навострив ухо. Она впивалась в меня позеленевшими, решительными глазами. Я выдержал этот властный натиск, в котором была и отдающая себя страсть-ласка, и угроза... смертью.

— Я *знаю*... — Да, я знал это нюхом животного и поручился бы головою! — Я *знаю*, что вы... про-да-ете родину! Родину продаете!! — крикнул я ей в лицо, выхватывая наган. — Я могу вас убить! и *должен!!*.

Я впивался в эти глаза зеленоватой воды... Они не моргнули, не загорелись, не погасли. Они... ласкали! Никто не пошевельнулся. Грек дремал над телячьей ногой. Итальянец курил сигару. Не бред ли это? и это ли я сказал? *Это*. Я видел по испугу казначея: он открыл рот и показал золотые зубы. А она, Аргентинка? Она смеялась акульими зубами!

Она сказала-швырнула:

— Проспись, мальчик!

Я завертелся на острие, куда швырнула она меня этим — «проспись, мальчик!» Этим цинизмом или... геройством?.. «Тула» выделала таку-ю!! Она убила меня. Смехом акульих зубов и злобой в глазах — убила.

Во мне шевельнулось, укусило меня сомнение.

Я не ошибся тогда. Я же видел, как она выла и извивалась под петлей, как болтался ее шелковый хвост акулий, хвост в клочьях! Это было потом. Но это *было!*

Да, сомнение меня укусило. И все же — я *знал, кто* это. В это время взрывались мосты на тылах нашего фронта.

Волной грязи хлестнуло в меня, и я крикнул:

— Прочь, человечья падаль!

Она смерила меня нагло:

— Тише, малёнчик!

Почему я не убил ее в этот миг?..

Во мне взметнулось два чувства: похоть и отвращение. Столкнулись с такою силой, что я обратился в нуль. Я лопнул, сложился, как шапокляк с удара.

— Пропадем! — кричал казначей, — что делать?!.

Он был положительно великолепен. То его вскидывало на гребень, и он закипал пеной: топал на невозмутимых «иностранцев», бил себя в грудь и отдавал кому-то распоряжения. То проваливался в пучину: падал в кресло и бешено растирал лысину салфеткой. Он даже облачился в мундир со шпагой, нацепил ордена и то и дело высовывался в окошко, словно ожидал невесту.

Шум в городке затихал. Пробило полдень. Но казначей не терял надежды: уложил в корзину закуски и бутылки и наказал Зоське хранить квартиру.

— На антресоли! — скомандовал он гостям лихо.

Они и не пошевелились.

— Мы сохраним вам берлогу, дурак лысый! — крикнула Аргентинка.

Казначей поперхнулся, присел и прикрыл лысину салфеткой. Все перевернулось вверх ногами. Сейчас наплюют нам в глаза...

— Вон отсюда, скоты!

Я их выгнал, пригрозив наганом. Этот язык они хорошо знали.

Слышим — идет машина, ревет сиреной, тревожно кашляет: клёк-клёк-клёк...

— Спасение! — завопил казначей, — ура!

Подкатил Сашка под окна, завыл сиреной. Круглая морда — свекла, фуражка на затылке, на груди бутоньерка с жасмином... Не шофер — шафер! Оправдывается-бормочет:

— Виноват, ваше вскородие... Невесту маленько сэвакуировал...

Невесту! Эти, широкоскулые!.. Как мак, горит от стыда: всегда был исправный.

— Рвут мосты по тылам... торопиться надо...

А?!! Теперь — торопиться надо! Погрузил я своего казначея с чемоданом... И развезло же его, — как грязь! А фигура... — пузырь в мундире, при орденах. Крикнул Сашке:

— Вперед! час сроку!!

И засверлили!..

V

С дороги! всё с дороги!! Гу-гу! клёк-клёк-клёк!..

Полетели возки в канаву. Коровьи хвосты, и визг, и ругань, и пыль такая — пожар! Несокрушим затылок, моя опора — успокоение, недвижны скулы: сиди покойно. Собака ли взвизгнет — тряпкой летит в канаву, воз ли повалится на крутом — кривом повороте, баба заверещит, прихватывая ребенка, — недвижны скулы, несокрушимо вдумчив затылок; разве только круто вскраснеют уши...

С дороги! всё с дороги!! Гу-гу-у!..

Казначей о бочок бьется, разинув рот: разжал ему золотые зубы вихрь-ветер. Задохся, козырек натягивает, взмолился:

— Пронеси, Господи...

В ногу мою вцепился, посинел с натуги...

Мчит меня бешеный вал на гребне, лих его гон железный, летят со щебнем думы за верстовые столбы... — все ясно. Вон оно, стадо пасется, не зная ни тех, ни этих. Вон она, кроткая даль, — всех принимает лаской. Мчится на нас придорожная береза... Прощай!.. Прощай, старик... Зажимает уши в ужасном реве...

С дороги! всё с дороги! Гу-гу-у-у-у...

Все позади осталось — переселение народов. Пустыня-даль впереди, вольный ветер...

Тревога? Затылок дрогнул... Ходу сбавляет Сашка, остановил машину...

Да что такое?!

Смотрит на меня — Сашка не Сашка: серое лицо бормочет:

— Бензин кончается...

Расстроился с опозданья — в квартире у казначея запасный бидон оставил! Словно ударил в сердце.

— Назад!

— Никак не хватит. Больше двадцати верст покрыли, а бензину и на десять не будет, без подъемов...

И машин позади нету. Что же делать? И вдруг казначей:

— Есть! Знаю!! Где-то госпиталь должен быть, поворот налево...

Смотрю на него: совсем пьяный, и глаза побелели. А он свое:

— В семи верстах, в сторону... госпиталь, как будто...

Путает что-то: ассигновки какие-то, доктор на машине приезжал, в карты звал...

— Есть поворот, — подтверждает и Сашка. — В леса поворот будет.

— Там-то и госпиталь! В лесах экономия... как ее?.. «Звишки» либо... «Звашки»!

— А где госпиталь, там и бензин. А надо торопиться, — настаивает Сашка. — Кругом шпионы напущены. Штабные на станции говорили: важные какие-то усклизнули! Наши, будто, агенты были...

Ахнул казначей. Схватил меня за плечо, задохнулся:

— Вот... говорил!.. Ясно!.. Тихое-то место...

Для меня все теперь было безразлично. Мне открывалась тайна... Помогать жизни?.. Я теперь достаточно подготовлен, чтобы не творить иллюзий... А этот лысый...

— Предпринимай же! — орал на меня казначей. — Нельзя оставить!

Сашка смотрел болваном.

— Иди и возьми! — крикнул я казначею.

Постояли-пождали. Угол глухой, в стороне от большого тракта, леса́. Ясно одно: надо достать бензину.

Доезжаем до поворота. Столб. Мощеная дорога в лес, и на столбу стрелка: «Завилишки».

— Вспомнил, — говорит казначей. — Это и есть то самое, «Завилишки». И там-то госпиталь!

Едем наудалую. А если эвакуирован? А не все ли равно! Длится, длится кошмар проклятый... ставит все новые декорации. Вот и они, какия-то таинственные «Завилишки»...

Лесом дорога, сосной. Сосны мачтовые, под небо, красавицы. Парк в природе. Сквозит коридорами палевый полумрак. Сойти с машины и идти, идти, пока сил хватит. Идти, не думая, забыть все. Лечь и уснуть в живом храме, под стуки дятлов, прислужников красноштанных, в траурных мантиях, под тихие золотые ленты солнца. Пахнет ладаном теплым, под сводом дремотно гудит орган, колокола чуть слышны... Зачем я не был здесь раньше! Прощайте, старые сосны... прощайте! последнюю песню играй, орган! последнее целование... Смерть идет к вам в огне.

Если бы там остаться! Тишина усыпляющими глазами ворожила моей душе, и тогда, тогда только почувствовал я до боли, что устал я смертельно, что я — не я.

Стоят дремотно-розовые колонны, а под ними густой-густой мох, бархатные зеленые подушки. Я жадно смотрел на них... Вот где тишину-то слышно!

Охватывало лаской Великого Покоя. О, лес волшебный, сонное царство сказки!

Всех охватило благостное безмолвие. Казначей снял фуражку и завздыхал:

— Воля Божья. Привелось напоследок такую красоту увидеть... Всю жизнь о лесе таком мечтал, и всю жизнь чужие деньги считал...

Едем тихо, дорога в ямах. Прохлада, свежесть.

— Клёк-клёк..! — вспугнул Сашка лесную глубину — тайну.

Тревогой побежало в бору... — и я, и казначей, оба крикнули, словно от острой боли:

— Не надо!..

Глубь — тишина — тайна. Рябина горит в луче — улыбка бора. Сырость в лицо — овраг...

— Человек в канаве!..

Мчит машина — не разобрать! Эх, спросить бы... Время не ждет, летим. Втягивает глубина — тайна...

Стоп!.. — Сашка остановил машину.

Поперек дороги канава, свежая перекопка. Столбик с дощечкой — «охота воспрещается», а под дощечкой — бумажка.

Сошли, чтобы не поломать машину, — и я читаю: *О.Л.* — выведено крупно тушью, а внизу помельче:

«Воспрещаю дальнейшее следование на основании кодекса *О.Л.* Полковник...»

Подпись вытянулась в неразборчивую черту и росчерк.

— Что же это значит: *О.Л.*? — спросил я слепую подпись.

— Да Окружное Лесничество, это ясно! — сказал казначей уверенно. — Впрочем... Ну, конечно... Окружной Лазарет?!.

— Таких не бывает, казначей.

И вдруг казначей странно хрипнул, словно его сдавили, и показал пальцем:

— Полумесяц!.. Полумесяц сверху!!.

Да, вверху бумажки лихо был выведен тушью красивый полумесяц.

У казначея дрожали губы. Он впивался в мои глаза и шептал чуть слышно:

— Неужели турки, капитан?.. Ведь они с немцами, и это ихний полковник! Мы в плену... Конец, ясно.

Он как будто всплакнул и опустился у столбика.

— Ни шагу дальше... — бормотал он тревожно. — За себя не страшусь, но обязан исполнить долг... При мне казенные деньги! несу ответственность перед... законом! Их надо спрятать.

Он растрогал меня, чудак. Он взирал на меня с надеждой, что я укажу выход. А мне... мне стало странно легко, знакомо: ну вот, опять наплывает марево, волшебный лес начинает приоткрывать тайны... Ведь это же сон мой длится, а настоящая моя жизнь остановилась еще тогда, в те странные ночи «гроба». И я — вовсе не я. Да кто же? Ну да, я, прежний, остался, конечно, там, под этими бревнами, где плясали в крови и рёве. Я сказал:

— Как ты думаешь, казначей: я ли это, на самом деле? Что-то со мной творится, не понимаю...

Он посмотрел растерянно.

— Этого еще не хватало! — закричал он, в тревоге. — Нечего дурака валять! Выбираться, капитан, надо. Ты человек находчивый, я в тебя всегда верил...

Его уверенный тон подействовал. Я совладал с собой и почувствовал себя в жизни. Довольно проклятой мути! Все это — жизнь и суть. И какие тут, к черту, тайны!

— Бодрись, казначей! — крикнул я. — Нет никаких призрачных жизней, никаких тайн! Все очень просто и гнусно, друг! Какая тут, к черту, тайна? Смотри: почерк — идеально писарской, с росчерками, штабной самый! Я даже и рожу этого писаришки вижу... — угреватое рыло, косой пробор... Самая настоящая суть! Видишь, — «полковник» даже под рондо пущено, в знак почтительности к начальству! А полумесяц... такой-то веселый серп! Просто — игра ума!

— Все это, пожалуй, верно... — нерешительно сказал казначей. — Ну, поедем... Только что же такое эти *О. Л.* — то значат?

— А не все ли тебе равно? Охрана Лесов, Окружное Лесничество... или даже хоть бы и — Осел Лысый?! Что мы теперь теряем?!

— Казенные миллионы! — сказал казначей строго. — Но все равно.

Мне хотелось шутить. Я взял старикана под руку и потащил в машину.

— Во сне — так во сне! Выходи, все лесные тайны! Вперед!

Едем дальше. Только уж не мчит Сашка, а крутится. Дорогу будто нарочно коверкали: то пень лежит, то слега поперек, то яма. Сашка ворчит — потеет его затылок. Останавливает машину... Поперек дороги натянута веревка, а на ней... простыня с клеймами: — *П. Г.*

Смотрит на меня Сашка, играет скулами: что такое? Но теперь это было ясно, и казначей крикнул весело:

— Да это же белый флаг! Значит, не успели эвакуировать и дают знать, чтобы не стреляли. Эх, лучше бы красный крест! А *П. Г.* — Полевой Госпиталь!

— Теперь бы бензину только — через полчаса на узловой будем! — сказал Сашка. — Вон он, и госпиталь!

Впереди лес раздался, и я вижу: глухие, высокие ворота с каменными столбами, чугунные на них вазы, и двое — с ружьями. И тишина, сон... Прямо — волшебный замок.

Но... почему вдруг остановил Сашка? А казначей меня за руку:

— Луна!! Луна там... Господи... что такое... луна?!.

Смотрю и не понимаю. Вижу только: белое полотнище над воротами, как плакат. А казначей теребит меня за руку, не в себе:

— Есть или нет... луна? Что такое?!.

А я близорук, не вижу... но по голосу казначея понял, что что-то странное... Слышу — читает Сашка:

От-дел... Лу-ны!..

Повернул свою морду и глядит стеклянно... Да что такое?!!

К черту! к черту этот мираж проклятый! Дурацкие шутки?..

Я командно крикнул:

— Открыть ворота!

Ни шёлоха. Стоят часовые — камни. Сашка в сирену взвыл, — завыло в бору, заклёкало. Стоят, как мертвые! Прямо — волшебный замок.

Я крикнул Сашке — вперед! Нащупываю наган, на случай... Черт!.. у казначея оставил, на кушетке! Э, к черту! Крикнул сфинксам:

— Открыть ворота! Буду стрелять!!.

Тогда один из солдат крикнул что-то невнятное и вскинул винтовку на руку... Крик казначея, — и вдруг... словно сорвали калитку, — а забор высокий, глухой, — и появляется... великан!..

Сказка...

VI

Представьте: человек, без малого в сажень, и все — в пропорции. Матово-бледное лицо, черная борода-красавица, нос орлиный, запавшие, острые, огневые глаза-сверла. Страшно худое лицо — воск тонкий. Высокие сапоги, офицерские штаны, боевая кожаная куртка с полковничьими погонами, и по груди — высокие боевые ордена. Взгляд такой, что связывает волю и может приказать все, до смерти.

Я привстал отдать честь, — и сел, словно меня прихлопнуло. На голове полковника был... медный тазик! Да, вроде плевальницы! Как шлем. Подвязан ремешком у подбородка. В руке — наган! И этот наган двигался, нащупывал нас черным, неотвратимым зраком.

Секунды... или минуты? Это длилось...

Я смутно слышал, как стучал над головой дятел, как тяжело сопел казначей, скрипел кожей подушки, сползая в ноги... стрекотала, — потыркивала нетерпеливо машина...

А наган все нащупывал... Поискал — и медленно, нехотя, опустился. Раздумчиво как-то опустился, словно подумал: «мы еще поглядим»...

Я снова привстал. И только хотел сказать, как резкий приказ наганом:

— Сидеть!

Острый, бешеный взгляд полковника связал мысли. Я опустил глаза. Как сквозь сон, видел я ужас на лице казначея. Он хотел испариться. Он весь словно сложился, сморщился, мутным глазом высматривая из-за чемодана, и отмахивался: назад! назад!!

— С руля!

Как сталь по камню. Сашка руки с руля: раз-два!

Сидим, как связаны.

Смотрю, — из-за полковника высунулся, как грибок из-за пня, тощий, вертлявый, бритый... человек-обезьянка, с сероватым лицом в кулачок, в долгополом гороховом халате, с синей папкой и карандашиком. Адъютант! Досиня бритая голова, узкий, заросший лобик мартышки. Он впивается в нас мышьими глазками, водит носом, крысенок, нюхает воздух, преданный раб, готовый на все. Часовые, как истуканы. И тишина, тишина... Только дятел стучит-стучит да тяжело сопит казначей...

И вот, с наганом у шва, с вытянутой левой рукой, идет полковник к машине. Лицо — тревожно-восторженное, как бы озаренное открывшеюся нежданно мыслью. В глазах — радостная тайна, *своя* тайна. И отрывисто, через зубы:

— Ждал... признал по звуку... консонанс! — и щелкнул по тазику. — Влияния слабеют с утра... *Их опыты...* — подмигнул он кому-то через наши головы, — напор-ролись на контрвлияния системы полковника Ба-букина! Мы *почти спасены...* зависит от солидарности! Имейте это в виду! Враги не спят!! Прохоров!..

Его пристальный, липкий взгляд усыплял, связывал мою волю: ложилась на глаза сетка. Писарек вытянулся и зачеркал по папке.

— Так точно, ваше вскородие! «Враги... не спят»!

Я понял. Далеко, конечно, не все. По телу пробежало мурашками, и сознание полной безвыходности связало остатки воли.

— Что же молчите, как мочало?! — резко крикнул полковник, дернув наганом. — Рапортуйте же, наконец, не бабьтесь! Как и что? Связь налажена?... Данные мне подайте! Что луна? как?.. Я вас спрашиваю, сношения установлены, черт возьми?!.

Что сказать?.. Но сказать было нужно. Взгляд полковника требовал и грозил. Усилием воли я прорвал липкую сетку оцепенения, привстал и, руку под козырек, отрапортовал первое что попало:

— Связь налажена, господин полковник! С луны... дают консонанс!..

— Ка-кой консонанс?! — крикнул, передернув лицом, полковник. — Вы что-то путаете!..

— Консонанс, господин полковник... — нащупывал я колеи его мысли. — Для нас это совершенно ясно! С луны поданы знаки, и...

— Ага! Дело идет на лад... Главное, — *там* известно, что мною приняты меры! Это должно ободрить... Перелом уже наступил! Влияния слабеют с утра, и уже вчера свет был ярче! *Им* не удалось окончательно погасить *её! Она* оживает и дает знать... *Они* таки напор-ролись! Из Пулкова?..

— Так точно! из Пулкова, господин полковник! Сейчас же должны обратно, но нам нужен бензин. Жду ваших распоряжений.

Я, как будто, попал в колею его больной мысли. Всего я не понимал, но главное было ясно: он здесь командовал.

— Бензин!?! Странно... — тревожно-невнятно протянул он, подозрительно вглядываясь в меня. — Вы, очевидно, не в курсе дела...

— Господин полковник! — уже решительно сказал я. — Мы спешим в... Пулково! И бензин нам нужен дозарезу... — И тут мне пришло на мысль ударить тревогу: — Имейте в виду, что и Марс не совсем в порядке!

Я не ожидал такого эффекта: полковник досера побледнел и взметнулся:

— Марс?! Как, и Марс также?!. О, дьяволы!! — погрозил он наганом. — Я это упустил из виду... Но... быть может, не *опыты* здесь? может быть... кометы близко прошли или... Как у вас думают? Да говорите же, не тяните!..

Игра захватывала меня. Безумие заражает, и я поддался ему безвольно. Во мне бешено бился смех, смех над самим собой, над этой проклятой жизнью, которую называют сутью. Мне хотелось прорвать эту грязную оболочку ее, в которой томился я, за которой мне мог открыться — и открывался уже намеком — новый, чудесный мир сказок и сновидений, пусть хоть из пустяков стеклянных.

И я поддался:

— Вы угадали, полковник. Вы, очевидно, чудеснейший астроном. Кометы прошли, я имел случай их наблюдать: Италия, Греция, Аргентина... Возможно, что они оказали на Марс влияние...

— Капитан, опомнись! — дошел до меня сдавленный шепот казначея.

Полковник что-то обдумывал.

— Возможно... но в данном случае нечего опасаться. Это не *опыты!* Все дело — в луне! Жизнь жива лишь *ее* тихим светом! Значение Марса совершенно ничтожно, нуль!

Прохоров повторил, с карандашиком:

— Совершенно... ничтожно-с... нуль-с!

Но я продолжал бороться:

— Господин полковник, прикажите дать нам бензину! Мы спешим продолжать опыты!

— Кто вы?! — в бешенстве закричал полковник, хватив кулаком по кожуху машины. — Подлец или сумасшедший?! Или вы, несчастный, не знаете, *кто* сейчас делает *эти опыты?!* Враги! Враги жизни и человечества! Они поставили аппарат... аппарат крови!!...

Он высверливал меня взглядом, подавлял бешенством. У меня дрожал голос, в этой «игре», когда я выговорил невольно:

— Я обмолвился, господин полковник...

— Обмолвился?!.

— Я не так выразился, господин полковник. Мы спешим продолжать исследования луны... по вашей системе...

— Странно...

Полковник издал неопределенный звук носом, — что-то злобно-насмешливое, — перекосил рот и отошел от машины. Стоя вполоборота, он быстро поправил в нагане и скомандовал часовым:

— Стража, открыть ворота!

Часовые — у одного оказалась палка вместо ружья — сейчас же ворота настежь. Сашка продвинул медленно, косясь на наган полковника. Момент был жуткий: полковник оставался за нами, и ему ничего не стоило нас убить. Наконец, за нами раздался командный окрик:

— За-крыть ворота!

Ворота захлопнулись с оглушающим грохотом. Мы попали в кошмар.

VII

Перед нами была старинная, запущенная, когда-то богатая господская усадьба, обнесенная высокими стенами, — с бойницами, как в монастыре. Огромный двор-луг, приятный глазу ковер зеленый. За ним, под стенами, каменные службы,

белые, с черными пятнами затворов, с гнездами аистов на коньке.

Высокий, в три яруса, с бельведером, дом-замок, с круглыми башнями на углах. Дом этот выходил глаголем: крыло смотрело на нас, к воротам; фасад, в высоких колоннах, тянулся справа. В колоннах — ступени, из мелового камня, широкие, как в соборах. Все было крашено в удручающе желтый цвет, и в этих желтых стенах — огромные, словно двери, окна в черных, траурных, переплетах.

За чугунной решеткой — заглохший вековой парк: дубы и липы. На середине луга-двора — исполинский дуб, с облупившимся, когда-то пестрым, Распятием и чугунной скамьей вокруг.

В таких замках бывают подземелья, истертые плиты; в стенах — ржавые кольца, — давно отшедшее.

На широких ступенях, между колоннами, кучка сизоголовых, в халатах, хлесталась картами и галдела. Один стоял на коленях, глядел в ведерко и часто-часто крестился: что-то он там видел. По всему лугу валялись скореженные железные койки, вспоротые сенники-матрасы и одеяла в клочьях. Опустив головы, блуждали люди в халатах. На скамье, под дубом, стояли иконки с банками от консервов, и какой-то высокий и тощий, голова редькой, окрутившись газетами, переступал с ноги на ногу и отпевал кого-то...

Сашка подал к колоннам, и мы услыхали полковника:

— Стоп! Смиррно!

Из выбитых окон дома совались головы, желтые пятна лиц. Мотали тряпками, простынями. Очевидно, встречали нас.

Сашка повернул голову, повел на меня, по-лошадиному, — косым глазом, словно пытал — что дальше? — и глухо ворчнул:

— Влипли.

Казначей... Казалось, что он уснул. Но он все так же сидел с своим чемоданом, как сполз, и пытался что-то сказать, высматривая полковника. Я разобрал одно слово: «вертится».

Полковник остановился недалеко от машины и, поматывая наганом, закричал на крышу:

— Сидоров! Музыкант! Как?! влияния есть?..

Я поднял голову. На самом карнизе, двое, в халатах и жестянках на голове, держались за телефонную проволоку и орали хрипло, наперебой:

— Оказывает, ваше вскородие! Их благородие, поручик Куроедов расчисляют!

Полковник задергал глазом и заметался:

— Признаки! Признаки мне давайте! Поручик, есть? есть влияние? рапортуйте же, черт возьми!

К самому краю, не боясь сорваться, подошел худой, бледный юноша, в черном халате и тазике, как у полковника. Свесил ноги, уселся и закурил. У меня захватило дух: закружится голова — сорвется! Но тот спокойно покуривал, а полковник метался, размахивая наганом:

— Извольте соблюдать дисциплину, а не курить! Рапортуйте-с!

Юноша поднялся, взял под тазик и сказал устало:

— Заметно слабей, господин полковник. Мы противопоставили контрвлияние. Провода подняты еще на пятнадцать, площадь защиты расширена. Щиты действуют хорошо. Идея в основе верна, но лучше бы шелковые...

— Перебиваете мои мысли! — замахал на него полковник, прислушиваясь внутри себя.

Поручик сел, упершись босыми ногами в желоб, и стал курить. Сидоров и Музыкант вытягивали один у другого простыню и гремели по крыше.

— Лучше бы шелковые, господин полковник!

Полковник дернулся и щелкнул по тазику раз десять — видимо, в раздражении:

— Я же приказывал достать шелку?! Под арест пойдете! Сейчас же командировать Музыканта, от моего имени! Обязаны дать!! Написать от моего имени Главному Интенданту, подлецу! Ерничество, кумовство! Дать им, наконец, взятку!! Дело идет о спасении России, человечества, а они высчитывают гроши! Моя система абсолютно верна! Это гениальнейшее открытие, и вот результат! — показал полковник на нас наганом. — Они из Пулкова! и привезли кон-со-нанс!! Мы спасены! Ур-ра-а!..

Все, на крыше и на крыльце, что было силы, закричали: ура-а-а!

Это давно не слышанное «ура» искрой пронизало меня, и я едва удержался, чтобы не закричать с ними.

Казначей выставил голову и пытался что-то сказать. Но я разобрал опять только одно слово: «вертится». Очевидно, с ним было плохо. Сашка сидел копной, и его тупо-стеклянный глаз пучился, силясь постичь — в чем дело?

Я... я не пытался постичь. Я уже все постиг. Самая суть, самая верная, «здравая» суть была столь гнусна, что я счаст-

лив был бы ее лишиться. Пусть затопит ее сверкающий мир сумасшедшей сказки! Он творился во мне, этот чудесный мир, втягивал и манил в себя. Меня начинало захлестывать, мне начинало казаться, что там, на крыше, делают что-то важное. Тревожно-деловой тон полковника путал мысли:

— Добавить щитов с запада и с севера! Главное, с запада! *Они* пользуются магнитными возмущениями, чтобы сбить нас с толку... Не выгорит! Пони-маете... — строгим шепотом обратился ко мне полковник, — последние дни я постиг, наконец, *их* тайну! Луна... начала слабеть! вянуть!! Неужели вы там не замечали! Замечали?..

— Как же, как же, господин полковник... — поспешил я ответить на его жесткий взгляд. — Очень замечали и... недоумевали!

— Га! — подмигнул он самодовольно. — Можете быть покойны... Это *их* последнее напряжение! Бы-ло! Огромный аппарат *опытов*... — Это слово полковник произнес с величайшим презрением, как что-то в высшей степени омерзительное. — Я передам вам мои доклады и главный трактат — «Работа кровью». Это произведет полнейший переворот в психологии и гистологии нервных центров! Отвезете в Пулково и сейчас же опубликуете от моего имени! Дело не в Нобелевской премии, понятно... Перед этим бледнеет все! Я, полковник Николай Бабукин, нашел спасение человечеству! Ему грозило превратиться в зверей... Хуже! Оно должно было пожрать себя! Поняли?!!

— Слушаю, господин полковник. Но с этим надо спешить...

Меня искушала мысль: сказать, что прорвались немцы? Я не сказал. Почему? Я не мог уехать, не узнав, что же произошло здесь. Я не мог оставить этих несчастных счастливцев, — они же были счастливцы! — бросить на произвол, на милость бешеного врага. Я хорошо знал, что могло бы случиться с ними при встрече с первым кавалерийским отрядом. Я не мог покинуть полковника и этих сизоголовых: они не сумели бы даже сдаться! И еще: меня как будто захватывала игра. В этом хаосе перевернутой жизни притуплялась тревога. Перед желтым домом, за этими монастырскими стенами, гасла мысль, что где-то здесь бродят немцы и все еще где-то идет война. Все это было давно-давно. А здесь — лес волшебный, сверкающий мир сумасшедшей сказки...

— С этим надо спешить, господин полковник! — повторил я.

Полковник меня не слушал.

— Успеете! Не перебивайте меня!.. Вы должны все узнать и получить инструкции. Не перебивайте же мои мысли! Достаточно того, что здесь... — показал он на ухо, — *они* перехватывают мои планы! Вы еще не знаете всей гнусности, на какую способен человек, потерявший душу! Я один, один я борюсь за всех и принимаю страдания! Так вот... *Они* поставили дьявольской силы двигатель, радиодвигатель, работающий кровью! Кровью — это последнее слово *их* техники, *их* науки. Вы увидите чертежи... Два гигантских стальных цилиндра, две страшных башни — наполненные кровью! Кровь накачивают в них под страшным давлением! Свежую, горячую кровь, в которой еще плавают темные мысли и чувства... жгучие, человечьи, чувства! Страстные чувства плоти! Не человеческие, а чело-вечьи! Не смешивать! Эту кровь *они* насыщают радием... понимаете, этой звериной силой, в которой сплотилась, слеглась от мириадов веков вся земнородная сила, духу враждебная! И вот начинает кипеть «радиокровь», черная сила, звероэнергия... Ее черные волны — они поглощают свет! — *они* бросают на нас и... — полковник ударил в грудь, — убивают ду-ши! Души мертвеют! Все светлое... — его голос дрогнул, — все ценнейшее, что есть в человеке, гаснет... Умирает божественное начало! Но еще остается спасение: лунный свет... тихий, кроткий небесный свет ночного стража земли! Друг поэтов — душ чутких! друг страдальцев, кому нестерпимо — волнующее страсти солнце! Когда месяц в небе, я ему тихо-тихо шепчу: «гуляй, тихий... гуляй, ночной...» Его ультразеленые волны — они еще неизвестны физикам, этим самоуверенным, узким матерьялистам, их отрицающим, — вдребезги разбивают, проглатывают волны черной «радиокрови»! Я создаю новую физику, — «психофизику»!.. Но последние дни *они* усилили *опыты*, и луна стала блекнуть! *Они* стали ее вы-са-сывать!! Волны невероятной силы! Нам грозило превратиться в машины, в покорнейшее орудие *их* воли! в двуногих зверей земли! Шла гибель! Во имя высокого назначения человека, во имя Бога, в человеке живущего, я взял на себя этот тяжкий подвиг. Свыше мне предуказано — спасти мир! И я принял. Я взял этот крест, на котором начертано: «Сим победиши!» И я... я побеждаю! — крикнул полковник сдавленным голосом, приближая ко мне обезумевшее лицо. — Смерть человекоубийцам! смерть! смерть!! Крови у них довольно, но они... га! они таки напор-ролись на контрсистему полковника Бабукина!...

Взгляд полковника вливался в мой мозг и связывал мысли. Наплывало оцепенение, и гасла воля. Но я боролся. Я хватался за слово — бензин! Это был, как будто, устой в водовороте спутанных мыслей. И я крикнул, словно боялся пропасть, истаять:

— Дайте же нам бензину! бензину дайте!!

Полковник пожал плечами.

— А-а... пустяки вы болтаете! Бензин — бензин! Весь бензин приказал я вылить в канаву! Его нет ни капли. Бен-зин! Этот подлец-бензин отравлял!

Странно — меня это нисколько не удручило. Но казначей завозился и крепко сдавил мне ногу.

— Да выручай же... — прохрипел он.

Сашка заерзал скулами и сказал в пространство:

— Хоть бы керосину дали...

— Но как же нам быть, полковник?

— Подчиняться распоряжениям!

Тут я сделал попытку:

— Ну, а если немцы прорвали фронт, и нам надо спасать себя и... — вашу идею... вашу великую идею, полковник?

— Не забывайте, что я на посту, капитан! Только *теперь* и *здесь* идея моя в движении и творит! — раздраженно крикнул полковник. — Не болтайте же глупости и не бабьтесь! ***Им*** совсем не до этого, не до фронтов! Фронт — для отвода глаз! ***Им*** нужно порабощенье духа! Я знаю их со-ци-альные вертушки! их прикрышки! В основе-то шахер-махер! Законопатить душу и ездить на рабьих спинах! Не понимаете?.. Теперь они сбиты с толку! ***Их*** аппарат *опытов* стал шалить! Понимаете?! *Они* все ищут мою контрсистему, но... это не-уло-вимо! — хитровато подмигнул он. — Мы теперь в безопасности, и система в полном ходу. Самое вредное обезврежено! Оно — там! — указал полковник на службы, перед которыми висели простыни на веревках. — Удивлены? Га!! Дельце таки обделано. *Они* всюду имели шпионов! Здесь, понятно, особенно. Чуяли, где собака! И наш якобы доктор, якобы Михайла Семеныч, — Ми-ха-ил! Михайла!! — Богоносное, русское имя — святонародное имя! — на самом деле, это *их* берлинский агент Сименс-Гальске. Происками меня сняли с фронта и посадили в этот дом сумасшедших, где обманно томилось много невинных жертв, не желавших звериной жизни. Я посылал доклады — шпион перехватывал их. Я умолял, бился головой о стены... — шпион пожимал плечами! Я пытался

покончить с собой — негодяй грозил запереть меня в изолятор! в и-зо-лятор!! Вы пони-ма-ете?! Тогда все пропало!.. гибель грозила России! человечеству!! А мне требовался пустяк... щиты! Волны «радиокрови» *они* концентрировали на мне, чтобы поразить главный центр! У меня был один только щит — моя простыня!.. Я мог только спасти себя... И вот... *они* таки напо-рolись!..

У меня рябило в глазах от напряженного взгляда полковника. Его неподвижные, расширенные зрачки, в матово-жирном блеске кровянистых выкаченных белков, связывали мысли, усыпляли.

— Я решил действовать, — продолжал полковник, приближая лицо и фиксируя меня взглядом. — У меня были люди, люди — тончайшей душевной организации, готовые идти за мною на все! Когда я открыл им тайну грозящей гибели — их охватил ужас! Самый пылкий из них, самый нежный, величайший из математиков духа, — он создал систему, в сравнении с которой Коперник показался бы бездарью... таблицы духовных координат! — это капитан Токарёв! Он не вынес этого ужаса и перерезал жестянкой горло... Но будем смотреть спокойно... подвиг требует жертв! И вот... мои друзья — поручик Куроедов, этот скромный серый герой Прохоров, — показал наганом полковник на адъютанта, отвернувшегося стыдливо, — се че-ло-век! — еще... капитан Корин... сейчас он занят в комиссии... и трое еще... мы совершили!.. Мы свершили!! Мы взяли власть! Я разработал план. Ночью порвали телефон, захватили двух сторожей, сняли дежурных... — без капли крови! — и вот... схватили шпиона в постели... и с ним... сестру! У негодяя хватало и на любовные мерзости! Каков мерзавец! Кто бы мог думать, что милая Аничка... Теперь все они обезврежены и изолированы вполне. Они — там!

Полковник наганом показал к службам.

— Пока. Комиссия спешно ведет работу.

— Что вы с ними хотите делать? — спросил я, стараясь казаться равнодушным.

Полковник с изумлением оглянул меня.

— Что за вопрос?! Они понесут заслуженное! За кровь ответят они!!

И его голос зазвенел сталью.

— Извольте сидеть! — крикнул он, предупреждая наганом мою попытку открыть дверцу машины. И понизив голос: — Этот широкорылый... хорошо вам известен?..

— О, да, господин полковник... вполне надежный, девственный, так сказать! — поспешил я успокоить тревожную подозрительность полковника и даже придал голосу некоторую таинственность: дескать, и мне понятно, почему должен быть надежен шофер.

Сашка, кажется, не совсем понял, что дело идет о нем. Но он был в возбуждении: надувал щеки, шевелил скулами, делая быстрый выдых, — обычный прием, когда сильно расстроится.

— Смо-трите... фигура странная! И эти... слишком мясные зубы... Да, так вот... И вот результат! Всего только сутки — и влияния ослабели! Как у вас там, поручик?

Поручик дремал на крыше. Он лениво поднялся и доложил:

— Все в порядке, господин полковник. Прикажите давать обед.

— Бросьте ребячества! — с укором сказал полковник. — Их еще хватает на пустяки! В момент возрождения человечества, когда из этой цитадели — указал он на желтый дом — потекут во весь мир животворящие токи моей системы, — они думают о еде! Ну, это скоро пройдет. Вчера прислали отравленный хлеб, но я захватил агента-подводчика. Сегодня уже не везут хлеба! Вы по-ни-маете?! И что же?! Сколько было вчера и сегодня на перекличке?

Прохоров вытянулся, отступил на четыре шага и доложил отчетливо:

— Ваше высокоблагородие! Вчерашнего числа, по вверенному мне Отделу сопротивления гибельного влияния... — он запнулся, растерянно моргая, как запуганный экзаменатором ученик, — волнений врагов человечества! налицо оказалось сто семнадцать нижних чинов, обер-офицеров два, штаб-офицер — один! Сегодняшнего числа: нижних чинов — тридцать один, обер-офицеров — два, штаб-офицер — один!

— Безнадежные откололись. Ну, погибнут! — крикнул полковник, и его глаза загорелись. — Сегодня один выбросился там... увидите результат. Впрочем, это все частности...

Я услыхал сдавленный шепот казначея:

— Ужас... ужас...

VIII

У меня путалось в мыслях...

Да что же, наконец, творится? Что это: марево или суть? И что это за разгром весь этот, и что такое эти борющиеся с призраками люди?

А может быть, это вовсе и не разгром? *Там,* в огне и в крови, в рёве и пляске штыков в живом мясе, в громе и свисте бешеного железа, — разгром или созидание? А здесь... все то же ли «марево», как в городишке, на фронте, в моем «гробу»?

Безумный полковник говорит такие слова, каких не слыхал я давно, не слыхал ни от одного человека на фронте:

— Человечество попало в тиски — и рвется. Столкнулись светлые тени будущего и теперешние скелеты... И вот, облечение новой плотью идет кроваво... *Им* нужна только плоть! Я... я дам новую душу — тихим, небесным, светом...

Почему же я должен признать полковника безумным? Он ведет облечение новою плотью, рвет старую плоть, и его душа истекает болью. Разве это — не суть? И какой еще «сути» нужно?

Начинало казаться мне — и было! — совсем реальным: идет борьба нарождающейся «новой сути» и старого «марева»... Это чудесно. Прорывается новорожденная мысль, рвет и ломает устоявшиеся пути привычного.... — и отсюда хаос, хаос... Идет эта борьба, и я в центре этого вихря, этого столкновения, и болезненно выдираюсь. Теряю сознание привычной «сути»....

Но эта привычная «суть» еще давала о себе знать, еще держала. Она успокаивала, как милая пичуга на кустике, как туфли из ангорского кролика, крашеный пол и чудесная старка казначея... Ах, где вы, мои тихие дамы в перьях, телунька на бугорке, пестрые колокольцы вьюнка в утреннем тихом садике... восходы и сумерки, — никому не мешающая, ничем не пугающая, такая понятная, чистая суть человеческой, моей жизни?.. Не хочу никаких новых рождений и «продираний».

Эта привычная «суть» еще давала о себе знать, и от этого было легче. Она оставалась для меня в казначее, в Сашке, в его верном, «успокоительном» затылке, за которым все просто, «андеференто», — пряничные девчонки, «выбьем», плевать!..

Полковник сделал наганом знак: сойти!

— В дом пока незачем... Да! Истукан этот, ваш шофер... вы уверены в нем? — шепнул мне баском полковник, тревожно-враждебно косясь на Сашку. — Это очень важно для *нас!* Вы уверены?

— Я уже имел честь, господин полковник...

— Такое... животное рыло!.. Скулы и румяная морда... морда! У *них* все — в морде! И тот негодяй, Гальске... проклятые розовые щеки! мя-со проклятое!! Только мясо! кровь черная!!. Я *их* распознаю чудесно. Вы поглядите — *мои!* Они утончились, облагородились... — и их признают боль-ны-ми! О, подлецы! Ну, идемте...

— Скажи ему про немцев, спасай положение! — хрипел казначей, выбираясь опасливо на сиденье. — Он заговорит всех, туманный...

— Хоть керосину нет ли... — испуганно кинул Сашка.

Говорить с полковником было бесполезно. У меня было другое в мыслях, я обдумывал один план... Но, спутанный призывом Сашки и казначея, я опять попытался:

— Господин полковник... о вашем великом подвиге мы должны немедленно уведомить Пулково и весь мир... Дайте же нам хотя бы... керосину!..

Я чуть не расхохотался. Этот проклятый смех бился во мне, смех надо всем — над этим циклоном «сути» и «марева». Человечество... и — керосин!

— Бросьте вы пустяки! Все уничтожено! — раздраженно сказал полковник — Бензин то же, что керосин... их формулы очень близки. Пока... вы необходимы мне здесь. Здесь — центр! Концентрируя силы, мы будем бить отсюда по периферии! Пони-маете?! Прошу...

Он вдруг схватился за голову, не выпуская нагана, и застонал:

— Что они со мной делают! *Они* не хотят снять подлый микрофон! все еще эти ужасные голоса... Но все это скоро кончится. Живей, идемте...

Мы сошли с машины. Казначей засопел, стараясь вытянуть чемодан и тревожно мигая мне.

— Что такое?.. что за чемодан?!. — тревожно крикнул полковник, отскочив в сторону.

Я не нашелся сразу, но казначей таки вывернулся удачно:

— А... а... а...

Он смотрел в ужасе на полковника, с разинутым ртом и вывороченными глазами. Он даже поднял фуражку, обнажив мокрую лысину, и беспомощно акал, как младенец, шевеля языком. Куда девалась чудесная его бойкость, на крашеном, верном, полу, с одуряющей Аргентинкой!

И вдруг — гениально-простая мысль вырвалась ласточкой:

— Ассигновки!.. для помощи!..

— Ассигновки?!! — так и вспорхнул полковник. — Наконец-то! Чего ж вы молчали, друг?! Давайте, сейчас давайте!

Полковник схватился за чемодан, но... казначей ухватился крепко. Взметнулась его «стихия»!

— Я... ка... казначей, собственно... и буду выдавать по инструкции... пришлите формальные требования...

Это далось ему очень трудно. Но, должно быть, его измученное лицо, с натеками под глазами, пришлось по душе полковнику: лицо одухотворенное! Полковник выпустил чемодан и сказал приятно:

— Казначей?!! Чудесно! Это как раз мне и нужно! Какая предусмотрительность! — восторженно закричал полковник. — Назначаю вас старшим казначеем всего Отдела! Теперь карьера вам обеспечена... похоже, вы карьерист? Немножко?..

Какова сила ассигновок! Даже такого они сделали галантным.

— Не... множко... — выдавил из себя казначей, ворочая на меня глазами.

— Вам представляется возможность... необходимо реорганизовать финансовую систему! У меня гениальный план... Руководящие указания получите вы от... Прохорова и завтра же подадите доклад в комиссию капитана Корина. Идемте...

И поманил наганом.

Вы представляете физиономию казначея! Его посиневшее от волнения, страха и усилий лицо — он едва волочил чемодан — сплошь покрыло крупными каплями, словно его хватили из брандсбоя, он затрепыхался на месте, как подбитый, и потащился за нами, не издав ни звука.

Сашка хотел остаться в машине:

— Ваше вскобродие! Разнесут на клочья... — взмолился он, отмахиваясь от писаря.

Он показывал «мясные» зубы...

— Молчать! — гаркнул полковник так, что казначей выпустил чемодан, а толпившиеся, в гороховых халатах, рассыпались в птичьих криках. — За мной! К машине — стражу!

Сашка сделал губами — ф-фу! — и побрел покорно. Я чувствовал, что все дело во мне, что я должен собрать всю волю и отыскать выход, выход — во что? В то, во что я уже не верил?.. что мне было совсем не нужно? И все же, я прикидывал, как овладеть полковником. Этот гигант с наганом был не по силам мне одному, но надежда на Сашку была слаба, а казначей едва стоял на ногах.

— Идемте, идемте! — торопил полковник. — Они сегодня не ели и потому немного возбуждены, — показал он на дом, откуда слышался вой. — Надо же поступаться во имя высшего! К тому же я все более убеждаюсь, что это дурная привычка — есть каждый день... Я уже другой день не ем — и чувствую себя превосходно. А дано знать в Севастополь и... Владивос-

ток? Ага... Спасибо, спасибо! — сжал мне руку полковник. — Я всегда верил в Пулково... Мне нужны люди, да.

Он почти бежал на своих длинных ногах, верткий, упругий силач-спортсмен, увлекая движением. А, все равно... Жизнь давно стала на голову, и никто не мешает. Сейчас нас захватят немцы, свяжут полковника, нас... Ведь и нас коснулось разгулявшееся безумие... Почему же — безумие? Одно стоит другого! *Там* — в клочьях живое мясо... здесь... полковник Бабукин проводит свою «систему», по-своему! Одно стоит другого! Алло!..

Мы прошли за полковником в тихий парк, за чугунную бурую решетку. Чудесна она была, слитая из зверей, — медведей, волков, кабанов, рысей, лисиц и оленей в дебрях, за которыми гонится человек... Какая чудесная работа! Шутник художник показал таки силу человечью! Голый человек в дебрях порол брюхо кабану, давил за язык медведя, катался по земле с рысью, в обнимку плясал с волками... Чудесной силы была свитая из зверей решетка!

Вышли к боковому фасаду замка, в заросли бузины, сирени и волчьих ягод...

Полковник ткнул в куст наганом:

— Вот... Одинцов не преодолел — и выкинулся! — ткнул наганом полковник кверху. — Но... без жертв не обходится... Прибрать! А Гудёнку взяли из водоёма?

Прохоров задергал бровями:

— Никак нет, ваше высокоблагородие! Охотников не находится...

— Ослы! Что ж вы, настой из Гудёнки будете лопать? О-слы!.. Ослы не поймут того, что если один идиот отравленный вваливается в бассейн, то они все отравятся, если не вынуть вовремя! Два неприятных случая... Но что все это в сравнении с тем, что могло случиться!..

Я слышал его болтовню, но слова не доходили до недр. Я не мог отвести глаз от точки, в которую обратилась, к которой теперь свелась для меня вся жизнь: куст бузины, и в этом кусту... ноги! Синие, тощие, жилистые, с желваками и шишками, с кривыми ногтями, — ноги неведомого зверя... Они смотрели грязными пятками — в небо!

— Не преодолел Одинцов! — мрачно сказал полковник.

Подштанники сползли, и болтались тесемки. Голова застряла в кусту, у корня, под накрывшими полами халата. Казалось, что кто-то, шутя, полез за птичьим гнездом и для общей

потехи стал в кусту на голову, болтая пятками. Но пятки были недвижны, мертвы. То был знак поставленной на голову жизни. И очень удачный знак!

— Почему же не помогли? оставили? — спросил я полковника спокойно.

— Не говорите чушь, капитан... Теменем, на острый пенек! Желал бы я вам попробовать!.. — что-то соображая, сказал полковник. — Следствие я закончил... Вон, из того окна!

— Вертится... — застонал казначей, — мне дурно...

Он сел в крапиву, на чемодан, и закрылся руками.

— Спокойствие! Подтяните нервы, не бабиться! — крикнул полковник. — Готовьтесь к жертвам! Прибрать!

— Дура-а-ак!.. — раздался сверху злой и писклявый крик, похожий на птичий, и к нашим ногам упала жестянка от керосина.

Из верхнего этажа высматривало остренькое лицо, похожее на хорька, дразнилось, высовывая язык.

Полковник погрозил наганом, — и лицо спряталось.

— Неприятная частность, но, в общем, успех громадный! Все неспособное к жизни нового духа — отвеется... Останутся совершенные, которые пойдут... до конца! Стойте... *он*... опять это *он*, несчастный... — тревожно вдруг зашептал полковник, прислушиваясь, и его лицо посерело. — Умейте владеть собой... это *он*... слишком резко воспринимает идею... односторонне... ищет убить... Зверя! Начитался этого Апокалипсиса и... извращает мою систему... Придется положить из нагана...

Он поправил в нагане, — поставил «огонь», должно быть. Я схватил его за руку...

— Полковник...

Полковник рванулся, обжег глазами... и я услыхал режущий холодком, подкрадывающийся голосок за кустами:

— Могу по-брить... могу по-брить...... — и мелко-сыпучую, равнодушную, гнусную брань-бормотанье.

От этого мертвого голоска и равнодушной брани веяло жутким до тошноты: неотвратимым, постыдным.

К нам подбирался тропкой коротконогий, большеголовый, с водяночным лицом-волдырем и выкатившимися пустыми глазами. Глазастый нарыв какой-то. Он приседал, кривлялся, сыпал мелко похабной бранью, а глаза были неподвижны, как выпуклые стекляшки. Подкрадывался к нам с бритвой, с жестом привычного парикмахера.

— Дойду, достигну в душу... — через зубы, как сонный, сыпал-цедил волдырь.

Полковник заметался на месте, размахивая наганом:

— Скажите ему «мерси»! — в панике зашептал полковник. — Мешает... распугал всех... унес у этого негодяя... Гальске... тот раз... не могут отнять бритву...

— Могу по-брить... могу по-брить........ — подкрадывался волдырь, водя по воздуху, как бы поддерживая двумя пальцами чей-то подбородок, а другой рукой, крадучись, подводил бритву.

Я отступил перед этим мертвым лицом в усмешке, перед слепою смертью. Она вежливо и упрямо искала жертву, — слепо и гнусно-вежливо... Позади меня шарахнулся казначей и упал со стоном в крапиву, — я слышал, не сводя глаз с поблескивающей холодком бритвы.

— Мерси!.. мерси!!. — закричал я, стыдясь мучительно беспомощности ли своей или подлой насмешки над человеком...

Это было магическое слово, это «мерси»! Слово великой силы! Оно — творило! поставило, как бы, стену! Волдырь ткнулся об эту стену, подался, его синие губы раздвинулись в улыбку, в улыбку черепа, и... он присел, вытянув ногу назад, делая как бы реверанс.

— Не стоит благодарности из такой малости...

Он произнес это очень значительно, как Великий Жрец, Понтифекс Максимус, поклонился галантно, как парикмахер, и, стыдливо запахивая полы халата, задом ушел в кусты.

Сашкин голос шипел мне в ухо:

— Взять их, ваше высокобродие...

— На р-руку! — крикнул полковник подходившему к нам солдату, которого Прохоров толкал в спину. — Кто тебя снял? Прохоров?...

Солдат глядел исподлобья, тупо, суясь руками. Он был страшно худой, долговязый, — как говорится, растяпистый. Он бесцельно совал руками, вихлялся, как резиновый прут, и жевал пустым ртом: испортилась в нем машинка.

— Кто тебя снял? — повторил полковник.

— Сево-о?.. нисево... — шепеляво сказал солдат. — Себа не даваи... Давай себа!..

Он смотрел на полковника, словно побитая собака. Испорченная машинка требовала себе хлеба!

О, проклятье! Кто, или что наложило печать гориллы на этом последнем звене природы? Где они, величавые мудрецы, вдохновенные творцы мысли? В какой страшной пучине бре-

дут они, в чаще путей звериных! В кошмаре, меня кружившем, постигнул я терявшейся мыслью, как страшно и одиноко быть драгоценности человеческой, вдохновенным творцам божественной мысли. В пустынях бродят они, над безднами, не охраняемые ничем. Тысячи тысяч звериных лап, тысячи тысяч пастей стучат зубами... Как же нужно хранить, стальными стенами оберегать чудесные единицы человечьего стада, прорывающие звериную кожу, свершающие облечение плотью новой! Пустыню, бездну они призывают: в небо!

— На р-ру-ку! — бешено крикнул полковник, хватая за штык винтовки.

Солдат зацепил прикладом полу халата, показал волосатые ноги-кости и попытался взять — вспомнить — «на руку». Крикни ему полковник: коли! — он не задумался бы проткнуть любое. Смотрел на меня исподлобья, пугливо-злым взглядом идиота...

— Приходится охранять идею... — тревожно бросил полковник. — На пять шагов назад! — крикнул он Сашке. — Еще! еще! Прохоров, отведи назад этого красномордого! Вы в нем уверены? — понизил голос полковник до шепота. — Обратите внимание на скулы... *Они* его обра-ботали! Зубы слишком белы, мясные...

— Это вполне надежный, простой и добрый парень, полковник...

— А как вы думаете? У *них*, у *этих*, что́ работают кровью, мало добрых парней?! Вот это полено... — ткнул он ногой в колоду, — злое?... А им можно расколотить черепа тысячи Аристотелей и... Ньютонов!! Добрые парни, с мясными зубами и красными мордами! Тебе говорят — десять шагов назад!.. Влияния еще не убиты... Этот Васильев, который всех распугал, немножко, конечно, тово... понимаете? Но я знаю, что он единодушно со мной отыскивает виновных... тех мерзавцев, которым нужно... которые дерзают убить живую человеческую душу! Вот почему он уважает — «мерси»! Он — чуткий! Математиков путают с психологами! А мы, психологи... А полномочия ваши?..

Было сказано неожиданно, но я нашелся. Полковник любил уверенный тон.

— Я их отправил почтой, чтобы не перехватили в пути, господин полковник!

— Почтой? А это умно, пожалуй... Ну, идемте... Прохоров, возьми ключ. За ним!

IX

Мы вышли во двор, сопровождаемые полковником и солдатом, и подошли за Прохоровым к длинному каменному сараю, сплошь завешанному простынями на веревках.

— *Здесь*... — значительно произнес полковник заметно волнуясь. — Осторожней!...

Мы остановились перед широким черным затвором, с тяжелым замком.

Полковника охватило сильнейшее беспокойство: он вертел наганом и дергался. Здесь был очень опасный пункт: сидел берлинский агент Сименс-Гальске с подручными.

— Возьмите платок и дышите, как через маску... — тревожно шептал полковник, прижимая платок к губам. — Сейчас вы услышите этих гадов... Прохоров, отпирай...

Прохоров отворил сарай, полный доверху всякого хлама: ящиков и кадушек, птичьих садков, коек, разбитой мебели... Пахну́ло гнилой капустой. Потом, закрестившись, с усилием поднял дубовое творило подполья и отскочил в испуге. Еще острее пахну́ло на нас гнилью.

— Слушайте... слушайте... — шипел за спиной полковник.

Я потянулся с порога — заглянуть в люк, увидал, что он затянут холстиной, как пчелы в улье, и сейчас же меня рвануло назад. Полковник дернул меня за френч.

— С ума вы сошли?! Слышите этот ужасающий запах гниющей крови?!! Этот ужас!.. Остатки проклятых *опытов*... Проклятые продолжают даже в яме! Чувствуете, как нижет!..

Прижимая платок к губам и ноздрям, он ворочал глазами в ужасе, нырял наганом то к подвальному люку, то в нас... Лицо его взмокло и посерело. Подвал мучил его и все же тянул к себе.

— Задержу следствие, пока не снимет *он* микрофон... — через платок закричал полковник, словно из-под земли. — Голодом заморю, заставлю! Хотят читать мои мысли! убить идею?! Убью я сам! Знайте, гады... я, я подымаю человечество, а вы хотите его приплюснуть, убить душу живую? стереть лик Божий?! Слышите?.. слышите?!. — дергал меня полковник. — Они продолжают, гнусы!.. гудят... пускают волны... Вы слышите?!. Смотрите, как *оно* дышит... дышит... яйцо гадючье...

Оно ходило, дышало, опадая и подымаясь плавно, это бельмо подвала, натянутая на люк холстина... Не холстина, — живая пленка.

Это было безумие...

Из глубины подвала тянулись тяжелые вздохи, шорохи... Это было безумие... Оно выползало оттуда в тяжком запахе человечьей гнили, в хрипе и вздохах, в заглушенном вое, в выкриках-писках, в воплях... Оно выползало, ширилось, выдавливало собою набитую холстину, начинало владеть и мною... Мысли мои мешались... То мне казалось, что в удушливой тьме подвала, в грязи, свалены в кучу, скручены так называемые *здравые* люди — доктор, сестры, солдаты... Здесь, наверху, безумие! И это безумие разгуливает с наганом! И мы, трое, — здравые же и мы люди! — были бессильны. То была жизнь-абсурд. Я сознавал отчетливо: двинься я — полковник не задумался бы с наганом, а солдат-идиот приколол бы меня штыком. Но мгновениями я терялся: там, в подвале, и есть настоящий ужас, пугающий жизнь, поражающий ее насмерть. Ужас полковника, захвативший меня безвольно. Ужас людей, творящих земное дело, творящих кровью... Они, сидящие там, в затхлой грязи и гнили, люди звериного лика, они убивают живую душу, рожденную тихим, небесным, светом... хватают и душат проблеск души свободной, давят ее человечьим мясом, топят в человечьей крови...

Проклятые...

Кто сказал это слово?... Я ли его сказал?..

— Проклятые... — глухо сказал полковник.

— Полковник... освободите!.. — различил я измученный женский голос. — Мы умираем... мы голодны... это бесчеловечно!... У нас затекли ноги...

Да кто же, наконец, там, в дыре?!.

Лицо полковника повело злой усмешкой. Он слушал, слушал...

В дыре путались-бились жалобные, молящие, укоряющие голоса-стоны:

— Николай Васильич... стыдно!.. больно за вас!..

— Помилосердуйте... ваше высоко...

— Найдите же в себе силу мысли! Коровкин уже помешался... Вы же интеллигентный человек...

— С нами, с вашими сестрами так... Мы все отдавали страдающему народу!..

— Слышите эти льстивые, змеиные голоса? — гудел за моей спиной голос полковника.

— Даю честное слово, полковник! — раздался мужской, бархатистый голос, — я предоставлю вам полную свободу...

ваши доклады перешлю министру!.. Полковник, вдумайтесь же!..

— Сименс-Гальске... дает... честное слово! — хрипел голос полковника. — Перешлет мои доклады... ко-му?!.

— Ослобоните, ваше высокоблагородие! Ради детей-сирот...

— Фершал не в себе стал...

— Дико, дико... Николай Васильич! Культурный вы человек... и так дико!.. У нас Коровкин...

Кошмар... Они, знавшие, что такое полковник, которого они запирали в изолятор, они взывали к его силе мысли! Взывали от сердца, от всей души... Это был бред, кошмар...

Полковник слушал, как чудесную музыку. Пил наслаждение, муку, — было видно по его вытянувшемуся лицу в усмешке.

— Клянусь душой, мы разделяем ваши мечты, полковник! — истерично выкрикнул женский голос.

— Верую! верую!! согласна... Господи, я согласна!..

— Вы слышите, каков голосок сирен! — злорадно, дрожащим от наслаждения голосом гудел полковник у моего уха.

— Ради всего святого... у меня лихорадка... мы признаем... Коровкин заболел... фельдшер...

— Ага! Вы губили, проклятые, а я спасаю! спасу!!

— Так точно, ваше превосходительство! Губили-загубили... Принимаю спасение-крещение через вас! Изведите душу мою! Душу изведите, душу!! душу!! душу!! черт в душу!..

Это был голос гибнущего, теряющего рассудок.

— Слышите же... Никифор Иваныч заболел! Поймите же, полковник! Фельдшер Коровкин заболел здесь!.. психически! потерял рассудок!.. — визжал надрывающийся женский голос. — Хоть его-то выпустите!

— Душу изведи, душу! душу! душу!.. черт, черт в душу!!.

— Два дни не емши... Господи... ослобоните!..

— Вы умнейший, чудеснейший, Николай Васильич! У вас огромное сердце... я вас так чувствую!..

— Мы все чувствуем ваше влияние, полковник... — выделился надеждой бархатный баритон — должно быть — доктора. — Серьезно... заболел душевно Коровкин... Освободите же нас!

— Агент и шпион Сименс-Гальске! — придушенно закричал полковник. — Заочный суд скоро выведет вас... на чистую воду! Из моих теперь рук не вырвешься!.. Смерть человекоубийцам! смерть!

— Боже мой!.. мы умрем... Полковник... лучше убейте сразу... вашу Аничку... как я за вами ходила!.. убейте сразу!..

— Самая гнусная из... семя поганое!!.

— Господи...

Тут я не выдержал... Я крикнул, забыв всякую осторожность:

— Я свежий человек, господа... и помогу полковнику!..

У меня захватило дух: стальная рука полковника сдавила горло. Я вырвался из его клещей и увидел направленный на меня наган.

— Ни с места! С ума вы сошли?!!.

Его кровяные, бешеные глаза снова меня сковали. Помню зеленое лицо Сашки... казначея, сидевшего на своем чемодане, привалившегося лысой головой к стенке...

— Полковник... я хотел лишь... покончить с этой ужасной сценой... Довольно! — крикнул я в черный зрачок нагана, не владея собой.

Видавший на фронте смерть, с ней игравший, я оказался таким бессильным перед полковником...

— Закройте эту дыру! — крикнул я в ужасе, прямо в зрачок нагана. — Мне страшно слушать...

— Закрыть! — приказал полковник. — Ага... вы поняли, наконец? Да, страшно...

Он доверчиво заглянул мне в глаза и даже снисходительно улыбнулся.

Прохоров грохнул творилом и попрыгал, чтобы было плотней.

— Они хотят есть! — усмехнулся полковник, показав зубы. — Есть они все равно не могут... они хорошо спеленуты. *Им*, давать, чистый, хлеб!!. А скольких они уже отравили! — полковник приблизил ко мне истерзанное лицо, — Одинцов, Гудёнко... И это... си-стема-ти-чески! Они вливали в хлеб токи! Последнюю доставку я приказал свалить в отхожее место, а несчастные растаскали все! И вот результат: осталось всего три десятка! Остальные погибнут!

Полковник проверил замок, оправил «щиты» и показал мне на дом наганом:

— Инструкции получите там. За ним!

X

Мы прошли в дом в строгом порядке, как арестованные: Прохоров впереди, за ним деревянный Сашка и несчастный

казначей с чемоданом, рядом со мной солдат, державший винтовку «на руку», и позади — полковник.

Я шел и настойчиво говорил себе: надо! надо кончить! Я не думал о немцах: их не было. В ушах звенели и выли голоса преисподней. Да, надо, надо! Но как?! Я утратил способность соображать. Являлась дерзкая мысль и гасла.

В приемном зале, под темный дуб, с рогами оленей и головою зубра над дверью, — когда-то здесь пировали крепкоголовые! — за длинным белым столом сидел в кожаном кресле тощий чернявый человечек, в парусиновом кителе и погонах артиллериста, с волосатым лицом, — жучок, — и старательно строчил что-то. Даже и головы не поднял. Перед чугунным камином-исполином, изображавшим берлогу, лежал грузный, раздутый водянкой рыжий солдат, в халате, лежал на полу брюхом, и быстро-быстро, словно мельница в бурю, листовал «Ниву» в переплете, — видимо, наслаждаясь делом.

— Следственная комиссия... — сказал полковник. — Как, капитан?

— К черту-с, к черту-с... — озабоченно бросил капитан, не поворотив головы и продолжая с жаром писать что-то.

То были нотные знаки, параболы, формулы, нотабене...

— Не ловчиться, капитан Корин, не ловчиться! Извольте кончать сегодня же! Вести из Пулкова!..

— К черту-с, к черту-с! — швырнул капитан в работе. — Без логарифмов я не могу-с, не циркуль-с... не машина-с...

— Гениальный чудак... — пожал полковник плечами, — но работает, как машина! Единственно правая рука... Сюда!

И показал мне — на лестницу.

Всюду были следы разгрома: обрывки и переплеты книг в золотых обрезах, распоротые кресла, солдатские кружки и манерки, солома, лоскутья, рваные одеяла, — и всюду плавал нежный, чудесный пух.

В верхней палате три огромных окна были завешаны простынями, и человек в розовой рубашке, с волосатыми ногами гориллы, старался завесить последнее. Очевидно, выполнял приказ о защите. У него не клеилось дело: он впустую стучал ножкой от койки и все попадал по пальцам.

— Не так, дуралей, не так! — бешено закричал полковник. — Не так, тебе говорят, не так! Щелей чтобы не было! щелей!! Выше, выше, осел!

Несчастный был совсем коротышка, едва доставал ножкой до переплета рамы.

— Не так! — зарычал полковник.

Он швырнул в азарте наган на койку и вспрыгнул на подоконник.

— Молоток, осел!..

Но «осел» был упрям и зол. Он не хотел отдать своей ножки, и на подоконнике началась борьба. Задребезжала рама... К счастью, она была заперта. Солдат с винтовкой безучастно смотрел на возню.

Я сейчас же схватил наган, вырвал у солдата винтовку и крикнул Сашке:

— Бери!..

Разом мы схватили полковника за ноги, стащили и навалились. Он ударился головой-шлемом. Простыней мы спутали ему ноги, связали руки ремнем и положили на койку. Он был без чувств. Ввалившиеся глаза были закрыты, на побелевших губах пузырилась пена, тяжело хрипело в груди...

— Теперь бензину... — осклабясь, промолвия-передохнул Сашка. — Больше часу проканителились...

Больше часу?!. Не знаю, я потерял время... Но... что же теперь?.. Я потерял и волю...

Я осмотрелся, — тихо. Итак, я стал командиром?..

— Слушать моей команды! — крикнул я... Прохорову.

Он вытянулся у стенки. Его губы дрожали, и серое лицо-кулачок, лицо мартышки, выразило безумный ужас.

— К черту нервы! — закричал я на казначея. — Действовать надо, а не хныкать!

Казначей трясся на чемодане, закрыв руками лицо. Во мне кипело, как когда-то бывало *там.* Я готов был его ударить.

— Что же теперь?.. — спросил он меня покорно. — Что же надо?..

Что надо... Я не знал, что надо... Что, в самом деле, надо? Смотрел на меня Сашка с винтовкой...

— Бензину надо... — опять попытался он.

— Иди к черту! ищи... к черту!..

Во мне кипело. Я готов был размозжить ему башку, деревяшке! Он в самом деле пошел искать. Голоногий солдат забился под койку, в угол.

Да... что же надо?

Я услыхал хрип полковника. Он пришел в себя и глядел мутным, отыскивающим взглядом. Я наклонился...

— Вы меня слышите, полковник?..

Он остановил на мне пустой взгляд, что-то во мне отыскивая, что-то, как будто, припоминая... Потом этот взгляд стал наполняться, затеплился, загорелся, вспомнил... нашел *свое,* — и на его мертвом лице вылился ужас и отвращение... Губы зашевелились, и я разобрал невнятное бормотанье:

— Про...лятые...

Я смотрел на него... Нас связывало великой болью. Эту боль носил я в себе, чувствовал в нем, в этом скрученном теле, в мутневших глазах и тяжелом хрипе. Я уже не мог удержать эту боль в себе. Я ее должен выкинуть... С нею жить невозможно, или что-то должно сломаться.

Я с тоскою и жалостью смотрел на его осунувшееся лицо — лицо аскета... Безумный... Здравый... Что же значит это почетное слово, это гордое слово — здравый?! Сломалось что-то в полковнике, сошло с накатанной подлой колеи... и бродит, и ищет новой... с болью великой ищет, разрывая привычное... Я тоже хочу искать...

Но что же делать? Да, адъютант этот...

Он все так же стоял у стенки, навытяжке, словно его поставили на часы. Мне его стало жалко. Я ласково поманил его и приказал состоять при мне адъютантом.

И он стал адъютантом!

— Прохоров, ключ!

Он суетливо подал. Но что же дальше? Да и зачем нужно — дальше?... Да, надо идти *туда*...

XI

Казначей смотрел на меня свинцовыми глазами уснувшей рыбы...

— *Туда,* казначей!..

Мне пришлось взять его за плечи и встряхнуть.

— Марево... — сказал он изменившимся голосом и... заплакал.

Он все сидел на своем чемодане, уставясь в невидимую точку.

— Спасай казенные миллионы! — крикнул я на него и — поставил на колею.

Под его ясной лысиной мозг был крутой и крепкий, без этих тонких извилин, которые легко рвутся. Он прихватил чемодан и покорно пошел за мною.

— Капитан Корин! — объявил я внизу «жучку», — занятия отменяются!

Он, упорный в своем, послал меня: к черту-с, к черту-с!

А теперь — Сименс-Гальске с подручными!

Мы сейчас же освободили здравых, — дрожащих, жалких... Истерично рыдали сестры:

— Христос Воскресе!.. Бо-же, Бо-же!..

Они хватались за головы, смотря на разгром, приходили в себя и опять закатывали истерики.

Истомленные, пошатывающиеся санитары растерянно оглядывали двор-луг, не зная, за что приняться. По-бабьи причитал-плакал крепыш повар:

— Света виденье, родимые мои-и... света виденье-е...

Крепче всех оказался доктор. Его тугие, тронутые сизой щетинкой щеки, даже не потеряли румянца-глянца. Его маленькая круглая головка бойко повертывалась туда и сюда, оглядывая разгром, и когда оглядела, ловко сложились губы, и он только свистнул:

— Здорово, под орех! Вот те и наградные...

По его лицу пробежало тучкой и сейчас же сплыло. Он побрился — у него нашлась запасная бритва — помылся, глотнул спирту, привел в чувство сестер, прикрикнул на санитаров и велел собирать больных. Он был странно спокоен, — будто ничего не было.

Я сообщил ему, что немцы прорвали фронт. Он только пожал плечами:

— Все возможно... Теперь все понятно: телефон порвали, про нас забыли. Дело обычное. Никто и не виноват! *Этих* было у нас... двести тридцать. Все, понятно, погибнут.

Я вспомнил те же слова полковника... Только тот говорил не так.

— Так что же нам теперь делать, доктор?

Доктор только пожал плечами. Сашка тоже смотрел спокойно: он все обшарил и примирился.

— Будем курить, капитан. Утро вечера мудренее.

Мы сидели на чугунной скамье, под дубом. Смотрело на нас облупившееся Распятие. Смотрело и на разгром, с нами. Вот она, жизнь, ставшая вверх ногами! Эти исковерканные койки, распоротые сенники-матрасы, сорванные с петель двери и окна, в солнце сверкающие осколки, — все, казалось, кричало нам:

«Бунт восставшего человечьегó мозга!»

И тогда мне блеснуло... Я только намекнул доктору:

— Смотрите, они... смеются!

— О чем говорите, капитан... кто смеется? — не понял доктор.

— Все это... — вещи, деревья, камни... Глядите, как они разинули рты и пасти...

Он не понял. Он оглянул меня, как обычно оглядывал своих беспокойных пациентов.

— Из какой это оперы? — спросил он.

Я хлопнул его по ляжке, по плотной и звонкой ляжке, и посмеялся:

— Какой вы еще сдобняга, доктор!

Так мы сидели на чугунной скамье, под дубом. Смотрело на нас облупившееся Распятие с отвалившейся нижней губой из алебастра. Только теперь бросилось мне в глаза, что Его рот разинут, погасли облупившиеся глаза, ослепли, и Он страшно, немо кричит — от боли...

Этого я не сказал доктору: жалко было делиться тайной...

Так мы сидели на чугунной скамье, под дубом. Смеялись от солнца радужные стекла, века видавшие. Бледные сестры что-то налаживали, бродили. Санитары собирали осколки жизни, разыскивали больных. И вдруг, с крыши, — робкий, просящий голос:

— Доктор, позвольте слезть...

Этот робкий и нежный голос ударил меня в сердце. В душе я крикнул:

— С ними! хочу с ними!!

— Слезайте, поручик... — безучастно ответил доктор. — Этот совсем тихий.

Неподалеку от нас сидел на траве толстяк фельдшер, торопливо рвал лопухи и разговаривал сам с собой:

— Не так-то просто-с... Нет-с, полковник Бабукин знает... Не так-то-с просто-с...

— Нарождается новый номер... — сказал про него доктор. — Так вот и очищается человечество. Я верю в отбор.

Это был редкостный образец здравого человека, с удивительно чистыми глазами, с румянцем в меру, с гребеночкой в боковом кармашке. Это был вполне здравый, с крепкими белыми зубами, как у Сашки. Были даже и скульца, как у Сашки. Тот стоял у машины и закусывал из казначейской корзины. Казначей куда-то пропал, странно: должно быть, прятал казенные миллионы...

Доктор осведомился, как и что, когда и откуда прибыли, записал в книжечку — на случай, узнал про наши запасы и сказал удовлетворенно:

— Это теперь очень кстати. Если раньше не потревожат, закусим, вывесим белый флаг с красным крестом и скажем

вежливо: «мы сдаемся». По-ихнему будет: «немен-зи-гефанген!» Значит, выпали из войны. Финита!

Потом... Я плохо помню подробности. Ну, полковника развязали, вспрыснули морфию, и он скоро уснул. Его оставили там, в верхней палате, в боковом флигеле. Я остался с ним ночевать... Много думал...

XII

Пала ночь. Все затихло. Что же нам скажет утро?..

Я сидел у окна, слушал голоса ночи. Она молчала. Далекие, редко, глухо, били орудия. Рядом — хрипло дышал полковник. Какие кошмары пришли к нему? какие демоны крючьями рвали сердце?..

Стоит ли мучиться, и во имя чего, кого? Не хочу и не буду мучить себя «во имя»! Слишком много знаю, видел и пережил... Хороша парковая решетка... художник понимал дело! Вон на дубу — Распятый, облупился, рот потерял от крика... Нет, не буду и не хочу с *ними*... Прав доктор: очищается человечество, великий отбор идет, смеются-зевают камни... Это они грохают так мерно, нащупывают «мясо»... Очищается человечество! Меньше и меньше будут мучить себя «во имя»... Скоро люди науки, люди трезвого смысла, давшие миру «толуолы», откроют величайший секрет — заряжать человека мозгом, тугим и крепким! Великое торжество близко. Страшно же, черт возьми, горилле давать хрупкую, человеческую, душу! Тогда, наконец, смело и гордо назовет себя человек — гориллой!..

В лунном свете, залившем двор и белые стены, грезились мне волнующиеся тени, тени... Что за тени? Там и там скользили они неслышно. Что за тени?.. Несчастные ли, в которых жила когда-то человеческая душа, хрупкая, слабенькая душа, смятая оболочкой зверя? Или это призраки чистых людей тихого света, еще не родившихся на земле?.. Не являюсь ли я счастливым свидетелем тайны тайн? Быть может, то зачинались в ночи неясными очертаниями теней скользящих прекрасные люди будущего?..

Я слышу тонкий, трусливый вой и яростное ворчанье... Нет, не грядущее обновленье это. Это *они*, бродящие по ночной пустыне. Нет еще на этой земле силы таких зачатий... В крови зачатое будет звериным крепко, не будет лопаться и дрожать, не будет мучить себя «во имя»...

Я слышу и храп, и соп. Это казначей спит — не грезит. На его гладкой лысине ясно играет месяц. Он спит спокойно: зарыл таки чемодан под щепой, в сарае.

И Сашка славно храпит, рядом с полковником, пожелав ему снов приятных. Сказал, укладываясь, вещее, свое, слово, — таки осилил:

— Эх, без ума не сойдешь с ума!..

Как и Сашка, полковник был теперь от этого застрахован. Он уже — факт и суть.

Я сидел у окна и слушал. Сидел и грезил... Полный месяц подымался выше, стерег землю. «Гуляй, тихий... гуляй, ночной!»

На заре, только-только стало подыматься солнце, услыхал я впросонках резкий сигнал трубой. Я вскочил и глянул за занавеску. И тут, наконец, поверил, что передо мной самая настоящая суть, как казначейская лысина.

Галопом влетел во двор кавалерийский отряд, человек в двадцать, на крепких рыжих конях, на медных конях, — в железе, сукне и коже. Впереди — мальчик, в серебряной каске, со свежим лицом, как румяное яблочко. Он взмахнул серебряной саблей к полотнищу над воротами и закричал кому-то:

— Что и кто здесь?! Я спрашиваю, что *это?!.*

И показал саблей к полотнищу на воротах.

Из окна флигеля открывалась поразительная картина.

Солнце играло красным, ранним, огнем на серебре и меди, на тяжелых, взмокших конях, на ремнях, на ружьях, на тугих ляжках, на шпорах, на сапогах... На нижней плите крыльца стоял доктор, в накинутой шинели, с полотенцем на палке, и говорил своим голосом, очень четко:

— Нэмен-зи-гефанген! Мы сдаемся, господин лейтенант! Мы — под Красным Крестом!

— Чер-рт... я спрашиваю, что *здесь?!.* — кричал мальчишески-звонко немец. — Что такое... лу-на?!.

Доктор ответил, отчеканивая слова:

— Здесь, брошенный всеми, дом сумасшедших... Просим вашей отзывчивости.

И знаете, как отозвались на это люди в железе, сукне и коже, на крепких рыжих конях, на медных конях, всё круглоголовые свежие крепыши в касках?

Они хохотали... хохотали, как сумасшедшие... С ними хохотал бор, потерявший тайну, хохотали тихие недра, хохотали пустые сараи и разбитые чердаки. Хохотала настоящая жизнь, зычная, полная крови жизнь, не сбивающаяся на бред, не знающая сомнений. Знающая одно: я — жизнь!

И вдруг, в этот оглушительный грохот глоток и пустоты, к морде передового коня скользнула приземистая, серая тень... — и молнией полыснула бритвой...

Бац!... Вахмистр-усач в упор положил ее. Завертелось в глазах... Копыта вздыбленного коня, сверкнувшая сабля, каски, сабли, сабли... и на росистой траве, в лиловом серебре солнца, — серый, вздрагивающий комок... Копыта, лошади на дыбах, и сабли...

XIII

Тут наступает провал... Я почти ничего не помню. Как будто круглые лица, в касках.. округленные глаза, в огне... тонкие голоса, — сестер!.. Да благословенна будет Рука, задвинувшая заслонку! Я ничего не помню...

Приходили ночи в окно, с огнем и громом. Должно быть, били орудия. Знакомое лицо... — Сашка? — являлось и уплывало... И кто-то, чужой, стоит и стоит с обнаженной саблей...

Прорывает мои потемки огонь и треск, будто рушится все кругом, и я отчетливо вспоминаю раскатистое — ур-ра-а-а... — сыплющееся в окно, с воли... Оно вырывает меня из тьмы.

Помню бородатое казачье лицо, сладкий коньячный дух и волосатую руку, протягивающую жестянку с мармеладом. Оно гладит мой лоб, курит трубку и говорит что-то очень веселое, чего я никак не могу понять. Я узнаю слова, но не могу понять смысла:

— ...бросил наш корпус!.. артиллерия хорошо крыла... угробили!... мы ловко дыру заткнули... и крысы попали тепленькими! Веселенькая охота...

...Крысы... Какие крысы?

Вот, наконец, и Сашка: сияет его лицо.

— Немцы, ваше высокобродие... Наши казачки накрыли!

Я помню ласковую сестру, светлую русую головку. Милые, родные глаза, девушки русской... Помню чудесно сверкающие кристаллы в стаканчике, ледяные кристаллы. Они льются в меня, я вытягиваюсь, тончаю... весь я — звонкая, сверкающая струна...

И опять пробел...

Как будто город... вечерние улицы, огни. Высокие своды, портреты в золотых рамах, длинный стол, под зеленым сукном. За ним много военных, куча бумаги, ружья... Как будто, суд. Да, конечно. Что это, сон мой длится? Опять все то

же — Италия, Греция, Аргентина? Толпа казаков с лихими вихрами, огневыми глазами степных орлов... Казначейская лысина! Она трется у моего локтя и бормочет — шепчет: «конец, капитан... конец». Итальянец стучит себя в грудь, говорит-говорит-говорит... Аргентинка... Нет Аргентинки! Простоволосая баба кричит визгливо:

— Помилосердуйте... родненькие мои...

Что это, сон мой длится?

Усатый старик, в боевых орденах, с черной заплаткой-повязкой, кривой и зоркий, высоко подымает бумагу с печатью, пальцем по ней стучит... Я слышу звериный вой:

— Помилуйте, родненькие мои!..

Потом... нет, не помню. Я видел петлю, и шелковый хвост в клочьях, и казачьи вихры лихие, и... веселую лысину довольного казначея. Это я хорошо помню. Неведомая рука открыла заслонку и показала. И опять закрыла...

Месяцы протекли или годы? Я часто путаю время. Я знаю, что были зимы, дожди и грозы, и — много страшного. Но — странная эта штука, память! Она у меня или необычайно ярка, или, местами, в дырьях. Я помню все минуты одного дня, а то — проваливаются годы... Доктора уверяют, что мне надо серьезно полечиться, тогда вернутся ко мне и провалившиеся годы, что со мной бывают, так называемые — «люцида момента»! Полечиться... уравнять память? Не желаю! Довольно с меня и — «люцида момента»!

Вот и опять я тот же, и могу бойко рассказывать. Я все сознаю, все помню... За исключением... но что об этом! Все складочки и пупырья на шее Сашки, все морщинки земляка — казначея, все слова, какие сказал я в жизни... за исключением! Но исхудал я страшно, как видите...

Давно отшумела война, и я в глубоком тылу, таком глубоком!.. И я ничего не знаю, не вижу жизни. Не знаю, не уясню, — в больнице ли меня держат или... еще где? Мне совсем не дают газет, а письма... мне не дают и писем! Впрочем, одно имею, — от казначея! Как попало оно ко мне, не помню... Я нашел его на столе, после ухода немого парня, который приносит мне иногда обед. Я пробовал с ним беседовать... Он иногда послушает, ухмыльнется, и — ничего не скажет. Впрочем, недавно сказал, но только одно слово:

— Скоро.

Он напоминает мне моего Сашку: такой же скуластый, плотный...

Да, на днях... меня повели по коридорам, провели вверх и вниз и оставили с глазу на глаз с неприятным человеком. На столе лежали два револьвера. Но разговор наш был до того необыкновенным, бессмысленным, что мне трудно рассказывать. Меня хотели заставить вспомнить, где и когда я был за все эти годы! И не был ли я на службе у генерала Эн? Что же я мог ответить! Я только и мог сказать, что ровно ничего не помню за эти годы. Тогда меня заставили написать все, что знаю... И вот я пишу *это*. Мне часто мешают господа, называющие себя докторами. Они садятся вокруг меня и задают неожиданно самые глупые вопросы, стараются поймать на чем-то... Пожимают плечами, что я ничего не знаю и не помню... А вчера один стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Это все скоро кончится!

И прекрасно.

Итак, я — в глубоком тылу. Но где полковник Бабукин? Странно, никто не знает. Где хоть Сашка? И о нем не знают... Все вытряхнулось куда-то, кануло... Представление кончилось! Должно же хоть где-нибудь оставить след свой! Неужели только в этой неверной машинке, в моем мозгу? Для чего-то уверяют меня господа, которые приходят ко мне и читают мои записки, — доктора они или не доктора? — что это все моя симуляция и фантазия! что если я так отчетливо помню даже мельчайшие происшествия из *того, что было*, почему я так «глупо» настаиваю на том, что мне, будто бы, совершенно неизвестно о «самом важном», о... Но тут они говорили до того странное!.. Не сон ли это? Ничего не могу понять...

Уверяют, что это мое притворство, моя фантазия... что я *должен* знать очень многое! что *было на самом деле!* Или они за меня боятся? хотят меня успокоить?..

Нечего за меня бояться. Я перенес болезнь, и теперь, если будут кормить получше, оправлюсь быстро и опять поведу работу в университете: я же подававший надежды физик, бывший ассистент покойного Лебедева!

Вот чудаки: фан-та-зия! Я могу показать письмо самого правдоподобного человека, моего пермяка-казначея, с самой подлинной лысиной во весь череп! Впрочем, я сам начал было сомневаться... Но вот, получил письмо. Он, оказывается, уже не считает деньги, а... клеит пакеты и продает на базаре хлам! Вот чудак!.. Но и он не знает, где полковник Бабукин. Но *не* говорит, что *никогда никакого* Бабукина *не было!* Напротив, можете прочитать: «...лучше не думать обо всей этой чертовщине и о том черте с тазом на голове»!!!...

Сегодня я покажу *им* письмо. Пусть хоть спишутся с казначеем. Он *им* скажет, какая это фан-та-зия!

Неужели я видел казначея?! Он самый, самый! Только страшно обрюзг, и под глазами натеки висят мешками. И лысина та же, только, пожалуй, не так сияет...

Мы столкнулись у неприятного человека... И, глядя в глаза друг другу, вспомнили про былое. Полковник Бабукин *был!* Это подтвердил казначей и для чего-то добавил, что и *тогда* моя голова была не совсем в порядке!

Нам не пришлось побеседовать: его повели налево, меня — направо. Впрочем, неприятный человек заявил, что завтра опять увидимся.

Если бы и полковник Бабукин появился! Я был бы счастлив. А хотелось бы встретиться, поговорить по душам... Правда, в его системе многое хаотично и подсказано больным мозгом, но гипотеза интересна... «Ультразеленые волны» эти... Они неизвестны физике, и это, конечно, — нонсенс, но... надо, серьезно надо заняться этим вопросом. Влиять на нервные центры! Ведь это — мысль! Рассуждая логически... — мы знаем силы, убивающие нервные центры, — силы гасящие... Почему же не быть другим?! силам, которые заряжают души небесным светом! Только *это* может перевернуть «естественный» ход вещей. Я верю. Иначе — не стоит жить.

1919—1922

ИЗ «КРЫМСКИХ РАССКАЗОВ»

МУЗЫКАЛЬНОЕ УТРО

I

Время было тревожное.

С Севера гнало беженцев. За ними бежали страхи. С вольных степных просторов — с богатой хлебом и салом Харьковщины, с полтавского чернозема, с Кубани, с Дона.... — совсюду бежали безоглядно, чтобы уткнуться в море. Казалось, не будет страха на берегах: там море ласково шепчет, солнце любовно греет, и татары-ленивцы похаживают себе с корзинами груш и винограда.

Не было здесь ни груш, ни винограда. Стояла в Крыму зима, какую никто не помнил. Густые тучи завалили солнце, в горах сыпало снегом, на берегу лили ливни. Море было свинцово, строго, — швыряло пену. Грязью текли дороги, и сумрачные татары затаенно сидели у очагов, поджидая «султана с пилимотом».

Перешеек и Сиваши — единственная дорога к морю. Ее держала горсть смельчаков, годы не знавших крова: бились у Перемышля и на Стоходе, на Кубани и под Одессой, на степях Предкавказья, на путях шахт донецких... Сколько их было на Перекопе — неизвестно. Знали одно: бьются. И еще знали, что там морозы.

Эту весть несли вереницы уток. Голод сбил их с замерзших вод Сивашей, и они тянулись и днем, и ночью. Они гибли в метелях на перевале, в снежных лесах; бились в горных щелях о скалы, — и добивались моря. Их тянуло туда, откуда раньше светило солнце.

Эти жалкие стаи болотной птицы сказали ясно, что соленые Сиваши замерзли.

Сиваши замерзли!

Каждое утро приносило страхи:

— Красные прошли по льду!

— Наши отходят в горы!

Но каждое утро белая телефонограмма ободряла:

«Сиваши замерзли. Герои держат».

За стаями диких уток несло снеговые тучи. Ревели в горах, в сугробах, автомобили, зовя на помощь. Потерявшая корм лесная птица спускалась с предгорий к морю, шныряла по голой гальке, билась ночами в окна, пугая робких. Дрозды, с оранжевыми носами, давались в руки, совались в пустые дачи. Голубые сойки шарахались по кипарисам. Жалобно блеяли отары, выли овчарки, и растерявшиеся чабаны жгли на горах костры.

Все в природе смешалось, потерялось. Люди с тоскою глядели в море, но оно было совсем пустое. Оно било валами, шипело пеной, швыряло грязью, и только одни бакланы скользили черной цепочкой, выискивая добычу.

А в этом хаосе, тоске и страхе, в неустанном ливне, с утра и до поздней ночи, стреляло-бухало там и там, по речкам и побережью: ба-бах... ба-бах!.. То — невесть откуда взявшиеся охотники били в пьяном азарте отяжелевших уток.

Но жизнь умирать не хочет. И хоть было невыносимо, и многие думали о смерти, лишь бы уйти от страха, в городке у моря плелась привычная сетка жизни: покупали и продавали, сидели по кофейням, писали в пространство письма, пробирались через снеговые перевалы, лечили в лазаретах, учили детей в школах...

Еще оставались в хаосе люди, думавшие о детях. Настоящее было страшно, а будущее?.. Это — дети.

И вот, чтобы детское сердце не очерствело, а ухо не привыкло к стонам, к грому железа и звериному вою жизни, в городке у моря учили детей и музыкальным звукам. Учительница-чудачка настойчиво твердила:

— Надо, надо оставаться человеком!

Не до музыки теперь было. И все же, с нотами в рваных папках, ходили дети по раскисшим дорогам к дому, на берегу, где помещалась школа. Там, в гулком зале, разыгрывали они нетвердыми зябкими руками гаммы, разучивали вальсы, тихие песни и молитвы. Еще не знающие вражды, — русские, греческие, еврейские и татарские дети. А чтобы связать их сердце с живой и жестокой жизнью, учительница решила дать «музыкальное утро», чтобы сами дети послужили своим искусством жизни.

И вот, на стеклянных дверях городского дома — «Ялы-Бахча» — появилась рукописная афиша:

МУЗЫКАЛЬНОЕ УТРО
ДЕТИ – ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ

Но день для «Утра» выдался особенно ненастный. Дождь проливал потоки, море било валами в шторме, на улицах было пусто. Только бакланы тянули свои цепочки, да заслабевшие, оглушенные утки метались в мути, в грохоте одуревших ружей.

— Ба-бах... ба-бах...

И падали тряпками в мутно-дождливой сети.

Но дети пришли, чтобы дать свое маленькое «Утро».

II

В этот день бродили по городку двое.

Кто они были?.. Отставшие ли от своей части, выписанные ли из лазарета и теперь пробиравшиеся к коменданту? или докатившиеся до моря, через горы, с полей российских, без цели и без причала, дезертиры, — кто скажет? Одно было в них ясно: это были русские солдаты.

На них были солдатские шинели, вещевые мешки, потертые серые папахи и крепко подкованные «броненосцы» — нерусской справки. На одном — пуговицы со львом и единорогом, на другом — с двуглавым орлом в короне. Лица их были молодые, тугие, выдубленные ветром, прожаренные солнцем. Кто их знает — с кем и за что бились они за этими горами? А они бились: у одного краснели на рукаве нашивки, у другого — пулевой след на шее.

Были они подлинно русской кости. Один — высокий и ловкий, с теплыми карими глазами, с Украины или Донской степи, с говором мягким, южным; другой — округлый, с бойкими серыми глазами ярославца, а, может, и орловца. У обоих были за плечом винтовки.

Кто они и зачем, — никто не скажет. Может быть, вышли из лесов крымских, выбитые снегами, — у моря отвести душу? ушли и от красных, и от белых, обменивая звезды на кокарды и кокарды на звезды? А может, и от самого Махно пробились — глотнуть моря: все возможно. За что они бились за горами? Что было дорогим их сердцу? Какому Богу они молились? И стоит ли их изба-хата под родимой кровлей, и жива ли их мать родная, и есть ли у них родное?..

Никто не скажет.

С зари их видели на базаре, как они валили в свои карманы вяленую кефаль, соленые помидоры, дымлянку-грушу и кус-

ки сала. Как жевали они овечью брынзу, тянули, задрав папахи, кислый катык из крынок, рвали шашлык зубами. Потом видали их в погребке у Хилиади, у подвала Подшивка, в кофейне Умерова-Гафара, на постое у Али Керима, где они торговали бурку. Меняли они за кольцо с камнями у Алиева, садовода, суконные портянки и кинжал черкесский; за бинокль, у аптекаря Минца, полотенце, гребень и кусок мыла... Видели их и на пустой дороге, у маяка: тянули они под ливнем из бутылок розовый аликанте, дорогое вино — не по солдатам, а бутылки били о придорожный камень, на котором расклеивались афиши. О себе они мало говорили: идут на этот... на Чусарак какой-то!..

Не знали на берегу никакого Чусарака.

— Може, вам на Хведосию надо?

— Нет, нам за горы подаваться надо! — говорил высокий.

А сероглазый ругался:

— Чего нам... горы! Обязательно на... Чусарак надо!

— А може, вам, други, на Байдары... на Тушан-Базар? на Гурзуф, или еще на Судак надо?

— Знаю я, им на Карасу-Базар обязательно нужно! А то на Бахчисарай, може?

Задумывался сероглазый, слюнил затрепанную бумажку-книжку:

— Не... нам на этот, на Чусар-рак надо!

Не знали на берегу никакого Чусарака.

В полдни видели их у моря, где они опять пили и хотели настойчиво купаться. Но было бурно, море швыряло камни. Потом они палили по бакланам, били по уткам пулей и били метко: хваткие были у них глаза и руки. Потом были они у моста, в ресторане «Веселая Прохлада»; а когда вынырнули к «Ялы-Бахча», их лица были словно после хорошей парки, и глаза застилало мутью. Они путали тяжелыми ногами, подавались вперед в обнимку, состукивались винтовками и головами, и выбрасывали из себя песню:

— Взвейся... с-соколы... орлами!..

На мосту глядели они долго в бурную, в пене, речку, ворочавшую камни, гоготали:

— Во, мельница-та... й-их ты-ы!

Их поливало ливнем, но они и не замечали. Они сели на перила моста и, покачиваясь в обнимку, затянули новую песню, слышанную, может быть, в Одессе:

Вчерась мы семечки лузгали,
Под вечер, в очень поздний час...
И вместе с шкурками летали
Огни из ваших чудных глаз!..

Старик татарин, гнавший осла с дровами, покачал на них головой, отошел подальше, остановил осла и пожалел их, крикнул:

— Башка разабъешь!

Они разом выкинули из глоток:

Он-на мне прря-ник... подар-ри-ла,
Спечен, как видно, на меде-е!..

Старик покрутил головой и погнал осла.

Ему понеслось вдогонку:

Я не посмел его пошамать,
И за-ховал... себе-е... в груде...

Дождь припустил такой, что оборвал песню, и оба сердито поглядели в небо. Кругом палили.

— Пал-лят, едренать!.. — сказал сероглазый с сердцем. — На фронт их надоть... Счас махану!..

Но высокий не дал ему винтовку:

— Пашка... подаваться надо...

— Поспеем на погост...

— Чьи таки будэтэ, хлопци? — сторожко спытал их проезжавший дрогаль. — Товарышши, чи? Красные-то, бачуть, блызко? а?..

— Морские черти... к винцу прижухнулись! — сказал сероглазый, щурясь. — Сказывай, гинералов ай камисаров надоть?!. В-веку твоего... п-пять сикун!..

Потянул винтовку, но другой не дал.

— Хлебушка бы нам... — пугливо сказал дрогаль, — а то без надобности, шо будэ...

В пансионе на «Вилле Роз» колокол пробил раз, возвещая обед, и они двинулись к «Ялы-Бахча», рассчитывая, что в таком большом доме непременно должна быть кофейня или виноторговля. Но в «Ялы-Бахча» по случаю воскресенья лавки были закрыты, и чахоточный еврей Гельбрас, торговавший карандашами, сказал им оторопело:

— Ну и тут же гимназия! ну и никакого тут вина нету...

— Под Катеринославом не был? Махны не нюхал?!.

Они выругались и пригрозили. Гельбрас сейчас же запер и даже приставил ставни. Они остались в дожде, на пустой панели.

Теперь... куда же?..

— К горам подаваться надо... — призывал высокий.

Мимо них шмыгнула в стеклянные двери барышня, и сероглазого качнуло к двери.

— Му... зыка... а-а... — читал он, стараясь отколупнуть афишку, но она была за стеклом двери.

— Му-зы-ка?.. — дернулся высокий и навалился на сероглазого. — Айда... на музы-ку...

И, цепляя винтовками за косяк, громыхая подковами, они полезли на музыку.

III

Они ввалились в гулкие сени, громыхая железными ногами, заражая воздух перегаром. Сидевшая у столика дама в шубе схватила деньги.

— Нельзя!!. Нельзя!!.

Она махала на них руками, смотрела глазами, увидавшими привидение: дик был их вид и страшен.

— Игде тут... му-зыка?..

Музыка отозвалась сама: где-то играл рояль.

— Му-зыка!.. — сказал с удивлением высокий, и по лицу его поползла улыбка.

Дама смотрела в ужасе. Э т и х, пустить, к детям?! С этими... ружьями! И от них так ужасно пахнет!.. Это было немыслимо.

Она пыталась им объяснить. Они настаивали:

— Извольте давать... билети!

— Уходите, уходите! — просила дама. — Дети боятся, и...

— Мы детёв не тронем... желаем му-зыку! Извольте выдавать билети!

— Да поймите же, — умоляла безнадежно дама. — Здесь только дети, де-ти! Они дают концерт для несчастных детей, сирот! Теперь столько сирот, от этой ужасной войны...

— А-а-а... си-роты! — взвыл сероглазый радостно. — В таком разе, извольте выдавать билети! По случаю, которые... си-роты... трребуем!

— Вы думаете... занарошку мы, мамаша? — вступился, наваливаясь, кареглазый. — Извините-с! Мы желаем... Пчем билети?...

Они напирали на стол, душили ее винным перегаром. Она видела огоньки их глаз, задернутые вином, усталостью, всем, что они видели и делали, — кровью, которую они, конечно, лили? Они разевали на нее рты, сверкавшие белыми зубами, а за плечом помотавались винтовки.

6*

— Но для вас это же будет до-рого!.. — пробовала она настаивать.

— Для нас... ни-чего не дорого! Шесь билетев! — махнул сероглазый полой шинели и вытянул тугой сверток. — Получайте... по семь билетев!..

Были там желтенькие и зелено-красные керенки, розовые романовки и донские. И карбованцы, и трепаные австрийские, и с немецкими орлецами, и совсем еще новенькие, с молотком и серпом, здесь еще не известные.

— По десять билетев на душу... на си-рот!

— Как хотите, я не могу! Вы... нетрезвые, а там де-ти!..

— Вот дык-так! — попятился даже сероглазый. — Это я-то!.. Ды я, ежли я пьян?!. Андрёшка! Скажи ей, едренать... чего я могу, как я пьян! Я в Гуляй-Поле... о-ё-ё! Да я щас на сто шагов... В который вам глаз, скажите?!. Вот дык... пья-ный!..

Они настаивали, что сейчас они в самый раз, самая им пора музыку слушать, что они каждый день кровь проливали... за р-ро-дину!

Сероглазый совал в нос даме рукав шинели:

— Глядите-извините... кровь запечёна, не смываю... За это хресты вешали! Извольте по десять билетев, за си-рот! Желаем музыку!

Они сняли винтовки, показывали, что патрон «утоплен», что они — «ничего»... А музыка призывала, манила, нежила...

Они стучали прикладами и подковами, они грозили, и повторили не раз — буржуи!

— Да кто же вы, наконец?!. — выкрикнула она, теряясь. — Чьи вы?!.

— Свои... — сказал сероглазый вздохом, закидывая за плечо винтовку. — Куда ни придем — свои!..

— Свои?.. — повторила дама.

— Такая... наша дорожка выдалась... А что?

Передалось ей что-то в этих словах, в этом усталом голосе.

— Хорошо, — сказала она, решившись. — Я вам верю. Вы будете слушать музыку. Но помните: там — де-ти! Вы будете вести себя тихо. Эти... ваши... вы оставите здесь.

— Невозможно... навсягды должны с нами!

— Я не пускаю! — сказала дама решительно.

— Ишь ты, хра-брая за забором! — усмехнулся оскалом сероглазый, но кареглазый сказал, мигая:

— Она... не укра-дет...

Дама приказала отнести ружья в комнату, в коридоре, и замкнула. Это сероглазому не показалось:

— Без е е не пойду! Давай винтовки!..

— Вы... бо-и-тесь?!. — чуть усмехнулась дама.

Он?!.. Это Пашка-то Лютый боится?!. Да пусть она спросит округ всего Гуляй-Поля, и в Каменке, и.. по Криворожью, про Пашку Лютого!

— Сам наш батько!..

Но тут кареглазый дал ему крепко в спину.

— А билети? Нет, не имеете права отказывать. Получите за двадцать штук. Как так — чьи?!. Какое кому дело, раз самые настоящие! За что плачено — на них не пишут.

Сероглазый выбрал «чистенькие». Почему такое, де-шево, по десятке только?!. Дешевле хлеба! Тогда... полсотни билетов, никак не меньше!

Она не решалась брать. Но он сунул ей в руку пачку, выхваченную без счета, и она повела их по лестницам, упрашивая, чтобы не так стучали. Они старались. Музыка лилась к ним из гулких коридоров, катилась на них серебряными шарами.

Дама остановилась перед дверью и шепнула:

— Вы обещали мне! Помните, что здесь — дети.

И они увидали музыку.

IV

Они вошли на носках, и все же шум пришел с ними, будто вкатили камень. К ним обернулись испуганные, показалось даме, детские лица... — и, не решаясь дойти до задней скамейки, стоявшей в огромном пустынном зале, — сделав два шумных шага, они чутко попятились и прислонились к стенке.

Смотрели на них светлые детские лица, — глаза.... глаза... И они смотрели... поверх этих глаз, вперед.

За этими ясными глазами, за темными и светлыми маленькими головами в розовых, голубых и белых ленточках, впереди, на помосте, стоял черный ящик рояля, с черным крылом над ним. На стуле, на стопке книг, сидела девочка в белом платье, свесив белые ножки в туфельках, и бегала-бегала тонкими ручками по черно-белой доске — делала музыку...

В папахах, хмуро смотрели они от стенки. Туманно, сонно глядели в огромный пустынный зал, глядели в ряды скамеек, на которых сидели дети. Бедно одетые, с худыми бледными лицами, дети-сироты, дети неведомо где, неведомо как погибших матерей и отцов, кинутые войной в пространство. Были и еще дети, не потерявшие крова, приведенные матерями и сестрами. И все смотрели на этих двоих у стены, с бурыми лицами...

Музыка продолжалась. Перестали смотреть глаза...

Тихая музыка....

То была колыбельная песенка, простая, которую все знают, слышали в детстве все. Про котика-кота, про серого волчка и ракитовый кусточек, про сон-дремович... — забытое родное, без слов знакомое. Не могли и они не вспомнить... Когда-то и они засыпали у материнской груди...

Сказала ли им что эта родная песня? Закрыла ли дремою шумный разгул просторов, бездорожья? Звала ли с собой, куда-то?.. Никто не скажет.

Они опустили головы. Слушали, глядя в землю, под мерный рокот швырявшего за стеною моря...

Кончилось... — и они проснулись. Они вскинули головами, тревожно-бойко, — так вскидываются степные птицы. — и высокий толкнул плечом:

— Айда?..

— Айда!..

Опять смотрели на них глаза.

Стараясь не зашуметь, они продвинулись боком к двери.

— Куда же вы?.. Ведь еще же будет!.. — зашептала следившая за ними дама.

— Нет, будет.

По коридорам и лестницам, поматывая мешками, громыхая, словно катили бочку, они скатились в гулкие сени, схватили свои винтовки и вывалились на волю.

Лил дождь. Палили охотники по уткам.

— Куда?.. — спросил кареглазый, озираясь. — К горам, что ли, подаваться?..

Сероглазый окинул таившиеся в дожде дали, чуемые за ними заваленные снегом горы, прикинул что-то...

— К горам. А там... на степу ударим. В случае, в Саблах сомкнемся.

И повернули к горам, спрашивая порою не знаемую никем дорогу — на Чусарак.

Февраль, 1923 г.
Париж

СВЕЧКА

(Рассказ управляющего)

I

Представляете вы себе экономию... — так называют у нас на юге, — ну, в десять тысяч десятин, сто квадратных верст? Так вот, наша Стар-Новка — сорок тысяч. Тридцать два хутора, сахарные заводы, конские, овчарни... Шесть тысяч пар волов, бывало, выедут пахать... — карти-на! Тысяч пятьдесят рабочих проходило за год, со всех концов России... Сколько недоразумений, мелочишек, а я — главноуправляющий, а экономия-то княжая!.. Представляете положение?!. Кругом — убийства, партизаны, банды... — каждый хулиган мог выдумать обиду и свести счеты... без риска! Ведь все они — герои, а я — пот-кровь сосал!.. Благоразумие толкало меня бежать. Но сознание ответственности за Стар-Новку, — это же наша гордость! — отчаянные просьбы управляющих, упрашивания рабочих... — многие из них здесь родились и Стар-Новку любили, как свою, гордились ею! — и чувство долга... — еще мой отец и дед ею управляли, — все это вынудило меня остаться. Семью я вывез на Кавказ. Четыре раза брали меня «на мушку», сколько я раз скрывался, и только счастливый случай, уцелевшая в людях искра, — меня спасали. Самые отъявленные... — вдруг проявляли великодушие! Зверь Матяш, перетопивший в наших прудах больше пятисот хлеборобов гетманщины... Ну, об этом после, а вот — про... свечку.

При первых большевиках, — власть при мне сменилась восемь раз! — я очутился на советской службе: Стар-Новку решили сохранить, как образцовое хозяйство. Я же и писал доклад об этом. Ко мне приставили матроса Гайку. Понятно, он ничего не смыслил, был грубоват, но, присмотревшись, понял, что и я нужен — для чего-то. Он больше рыскал по подвалам, ревизовал бутылки, и все нашаривал, — да де-жь воны, червонци?!.. Все банды добивались, — куда я «поховал

червонци?!» Легенд ходило о наших кладах..! Были комиссии, искали подземелье со стародавними червонцами, «от самого Мазепы»! «Червонци», конечно, были, — в недрах! — их можно было добывать трудом и знанием... Так и говорил я всем. Никто не верил.

Придет, бывало, Гайка в мой кабинет, развалится...

— А що наши дела, Лексей Семеныч... мабуть, шумять?..

— Проверьте, товарищ Гайка!..

Усмехнется, — понимает. Для прилику — за телефон...

— Подтяну их трошки... ще больше уважения вам будэ! — Давать мине хутор... — поищет на потолке, — удвадцать семь!.. — самые мои года... — Я тэбэ що кажу?!. у-двад-цать... сем!! Расчухала... Хто дли тилихвона... товарищ управляющий?.. С вами говорит инструктор, товарищ Гайка!.. Що у вас там робють?.. ле...хция?!. що-о?!. си... лехция?.. Погодьте трошки... Що це бачить, Лексей Семеныч, — си-лехция?!. Ага... Слухаете?.. Значить, у вас нашшот... семенов!.. Так. Що-о?.. Ну, в эфтим деле Лексей Семеныч распорядится, я на него вполне... располагаюсь! Ага... Що-о?!. А прочее там... все в порядке?.. Що-о?.. Ну, айда... сам завтра погляжу...

Ох, это — що-о! Так в ухе и засело, на все лады. Да Гайка... — самый невинный это. Ухмыльнется, потянется... — перекусить пойдет. Боровом у нас разъелся. Мой повар все завтраки ему готовил — галушки да котлеты!

И все-то, как саранча...

Бывало, — давали к празднику полиции, почтовым, по станциям... Становой знал свою сотнягу, урядник — красную... пустяк. А тут!.. То — корову, для приюта! — индюшек, кур — без счету... То — сливок по ведру, масла — пудами... «в ударном порядке» исполкому — пять штук баранов, сахару мешками... Саранча жрала-жрала... Экипажи растаскали, заводских лошадей облюбовали — кто повыше... Амазонки объявились, на отдых наезжают, — «после усиленной работы»! — капризы, требуют, мандаты эти свои суют, грозят!.. Тысячи властей явились... шваль такая, пшеницы от капусты отличить не может, — лезет жрать в Стар-Новку! Тут уж и рабочие познали... — так наглядно! уж и им обидно стало. Хоть и сдали они в работе, а все-таки тянули... а тут! И чтоб по-чет еще! Както остановил одну, попалась мне на глаза, — в цветник заехала! — представьте, еще кричит:

— Вы кто, товарищ, здесь будете?!.

— Я-то, — говорю, — хоть и не товарищ, а берегу народное

добро, и главный я здесь механик. А вы вот — *вы* кто здесь будете?!.

Не поняла!

— Ну, так и ступайте к своей машине, — говорит, — а не командуйте!

Родственница какого-то наркома, «с уполномочием от центра»!

А князья, бывало... — как в гости приезжали! Тихо-вежливо пройдутся, благодарят... Служащим, рабочим... — подарки, день отдыха, — посетят все школы, руку подают учителям, спрашивают — довольны ли? Во-спитанность какая! А в газетках-то, бывало, корреспонденты нас полощут: «эксплоататоры...!» А зна-ли, что все доходы в Стар-Новку мы валили! Клад собирали для поколений, для России... Досталось теперь... кому?! Из благородства, из чести так поступали... Ну, теперь зато «писатели»-то те пришли лущить, довольны, чавкают... Специалисты-иностранцы поражались, книги о нас писали... Рабочие гордились! «мы — стар-новцы!» Хуторяне богатели нами... — скот какой был по округе! Земство через нас гремело, не знало дефицитов!.. Взгляните, что — теперь! Я князьям, в приезд, давал обед. Они — ответный, мне... Нет, кошмар!.. Прознали про оранжереи, — персиков подай, белой сливы, шпанских вишен... — да при-ме-ров чтобы! Корзинами таскали. Про ананасы прочухали, — сейчас комиссию: «буржуазная затея, прикрыть!» Попробовали под коньячок, — «хорошо, центр запросим». Телеграмма... — «предмет экспорта, обратить внимание, для экспертизы выслать»!.. Ну, урок наглядный: отношение к России!

II

А мои князья застряли на Кавказе.

Слышу — крутить что-то начинают со Стар-Новкой!.. Яков Исаич прибежал, старый наш агент по хлебу, поэт своего дела и знаток. Стар-Новку любил как колыбель, — вырос на ней и детей поставил, работал честно...

— Что я вам скажу!.. туча на нас идет!! Стар-Новку-то нашу смаклеровать хотят, крутят чего-то!..

И рассказал: составилась компания, — люди в наших местах известные, и с капитальцем, — и варят дельцо на хаосе... А уже были слухи, что немцы подвигаются... Иностранный капитал ввернулся — зацапать русский жемчуг. Сперва я не поверил. Он другой раз прибегает, чуть не плачет:

— До завтра мне не дожить, если я соврал! Запродажную на днях подпишут в Кисловодске!

Так мне тут больно стало!.. Неужели князья решатся?! Посылаю запрос, с нарочным. Только послал, — письмо от них, с нарочным! Князь пишет, что уезжает за границу, думает продать Стар-Новку хоть за что-нибудь... дают пять миллионов, но... — «без вас решиться не могу, ответьте!» Пять миллионов тогда... ну, тысяч триста, а наша Стар-Новка, уж плохо-плохо, — миллионов восемь, на прежние! Жемчужина... Соблазнили князя, что половину дают фунтами.

Ножом меня ударило!.. Поколениями ее создали, русской силой... и — иностранцам! В тот же день послал князьям ответ: умоляю — не делать, имею данные... — «сохраните честь Стар-Новки!» А документы у меня хранились. Князья мне благодарность: «горячо ценим преданность, были в расстройстве!..» Про мое вмешательство узнали, да и князь пошутил: «Наш Алексей Семеныч нам не разрешает...» И вот, ко мне явился представитель, адвокат:

— Пять тысяч фунтов?..

— Стар-Новка не продается.

— Десять..?!..

— Наша Стар-Новка не продается! можно разорить ее, но не купить.

— Пятнадцать... чек на Лондон... и — выезд за границу!?..

Бог дал мне силы.

— Не продается!.. — крикнул я в бешенстве.

Тут он:

— Англичан вам жалко?! Сделка юридически порочна... при реставрации, конечно, Стар-Новка вернется, деньги князья вернут... куртаж тут только, и выход вам!..

Я показал ему на дверь, — слов не было...

Скоро явились немцы, князья мои уехали в Париж... Потом — все полетело, и гетман, и Петлюра... Столько пережито, что все романы — пустяк в сравнении... Большевики опять оставили меня в Стар-Новке. Гайка пропал, явился «ученый агроном», но без диплома. Этот совался всюду, а понимал не больше Гайки. И началась тут травля!.. Доносы за «саботаж», за связь с князьями, — им я берегу «яичко к празднику» — за... утайку документов!.. за разложение рабочих... Яков Исаич прибегает, плачет:

— Хотят нас скушать, что сорвалось! Я знаю!.. Обыск вчера был у нас... но что я, маленький человек, могу знать?! И я

сказал, что наша Стар-Новка — наша, мы на ней родились и на ней умрем... и мы должны ее беречь, как хлеб!..

Я написал земкомиссару все откровенно. Он был сравнительно приличный, и агроном... А там свое ведут, «тройка» налетела:

— Где документы на экономию?..

— У владельцев...

— Сутки сроку, а там!..

Рабочие вступились, телеграмму: «Стар-Новка в опасности, просим охранить нашего старшего товарища!» За-гнули!! Допросы, меня — в чека... Мои стар-новцы — делегатов!.. Тогда еще с рабочими считались. Меня отвоевали, встретили с цветами, с музыкой...

С месяц прошло, — в газетке появляется заметка — «Змея в Стар-Новке». Пишут: «Между рабочих прогрессирует упорный слух, что управляющий скрыл от рабоче-крестьянской власти фамильные драгоценности сановных крепостников на тридцать миллионов золотом! Пусть знает паразит аристократии, что мозольный кулак труда бьет верно!» Подписано, конечно, — «Старый рабочий»! У меня эти заметки «старых рабочих» сохранились... Показал рабочим. Говорят:

— Что ж, Алексей Семеныч... верите?..

— Вам — верю, — говорю, — а — «старому рабочему» не верю...

Посмеялись загадочно... Прислали депутацию ко мне: «подлог и клевета на нас!» Послали письмо в газетку. Не напечатала! Еду в исполком с заметкой...

— Без огня дыма не бывает! — говорят.

— А рабочим вы верите?..

— Смотря... каким...

— Тогда — отставьте!

— А, вы на этом сыграть хотите? саботаж?! Извольте ехать и дожидаться!

Тут и работай! На глазах все гибнет...

Представляете вы всю сложность руководства такой огромной экономией? У меня минуты на счету... тридцать хуторских докладов, ежедневные объезды... каждый час я должен знать, где что идет, — хозяйственный план сложный и тончайший, до волоска в хронометре, где соринка может вызвать остановку... А сколько заседаний, по отраслям! На завтрак мог я тратить только семь минут... засыпал в кресле, с газетой, чтобы через пять минут вскочить и ехать! Три машины стояли в

главных пунктах наготове, на случай неисправности моей, центральной... а когда выходил к кофе, оно было уже налито, и бутерброды порезаны на ломтики... Это не шутка и не чудачество. Все рассчитано до четверти минуты, и подъезжал я к поезду, когда давали третий звонок. По дальним хуторам, где дороги хуже, стояли кони под седлом и тройки... Иначе я не мог бы охватить до корня все огромное, эту великую симфонию хозяйства!.. Даже Гайка, приглядевшись, сказал однажды: — «ну, вже и пе-кло вам!» Он сметкой понял и стал снимать фуражку и тянуться. Надо видеть!.. Это так же сложно, как править государством. Впрочем, иные думают, что надо только уметь болтать и отдавать приказы по телефону...

Через два дня — обыск. Разворотили полы в Дворце и в Главном Доме, у меня. У меня полы срывали раз пять, — просил уж: наложите хоть печати!

— С Княжого Двора — не отлучаться, под страхом...

— А как же на хутора мне выезжать?..

— Не волнуйтесь... — говорят, — можете и дальше выехать!

Перед вечером ко мне пробрался наш конторщик, коммунист карьерный:

— Алексей Семеныч, уезжайте... может быть налет!..

Горничная Глаша прибегает:

— Барин, барин... на вас хотят курячовцев напустить... хотят прикончить... миллионы вы, будто, заховали... С конного сейчас сказали, что курячовцы там, пьяные... кричат — клады ночью пойдем шукать с-пид пана-управителя!..

А Куряч у нас недавно объявился. Перед войной работал в кузнице, и его прогнали за поджог омета. Он пропадал, — и вот, недавно, заявляются ко мне, матросом, и выпивши:

— Что, Лексей Семеныч... признаете?... теперь вы уж в нашей власти!..

А я ему спокойно:

— Я и не убегал от вас!

Это его — с коня долой.

— Знаю, что храбрые... Да на вас сердца мы не держим, меня не опасайтесь... Жалованья даже тогда не приказали удержать... через вас обиды мне не было! Я вас даже уважаю, по работе... и черда-чок у вас!.. Ну, только то-чуть на вас зубы... моих сбиваютъ!..

Поговорили мирно, и он ушел, — замял папироску об диван. И вот теперь?!. А позапрошлой ночью, на восьмом хуторе, где служил Куряч, убили управляющего, — с выбитыми глазами

нашли за кузницей. Все говорило, что хотят прикончить втемную, чтобы не раздражить рабочих: налет бандитов, — власть ни при чем!

Надо было бежать. Сил уже не хватало.

III

К ночи верный мой кучер подал пролетку в парк, повар вызвался проводить.

Меня довезли до Ступенева, маленькой станции на перегон за нашей, — на Стар-Новке, всегда толпились из экономии. По округе меня хорошо знали, и на всякий случай я оделся под прасола. В Ступеневе повар взял мне билет до О., мы братски простились, и только подошел поезд, уже в темноте, я быстро вскочил в вагон. Это был старый вагон 2-го класса, совсем облезлый, — классов тогда, впрочем, не различали. Пассажиров, к счастью, было не так уж много, — поезд был не прямой, — и освещения ни малейшего. Храпели во тьме, а кто — невидно. Меня вряд ли могли узнать. Впрочем, да... Когда я проходил у станционного фонаря, мне показалось, что кто-то меня толкнул и пристально заглянул мне под нахлобученную шапку. Невольно я отшатнулся, почувствовав что-то гадливое, — в лице ли или в манере этого человека... будто увидел гадину, — оглянулся, и мне показалось, что тот быстро вошел в служебное помещение. Тогда я особенного значения этому не придал.

Поезд пошел. В О... я рассчитывал затеряться. Бороться дальше было бесцельно, а надежные знакомства у меня были. Я сидел в уголке и страшно завидовал храпевшим. Как будто солдат спал против меня, заняв всю лавку. Помню, как булькало у него во рту, и едко воняло самогоном и конюшней. Рядом со мной сидел кто-то, головастый, и все вздыхал. Тьма была полная. Думалось о семье... Она счастливо перебралась в Константинополь и, конечно, боялась за меня. Помню, разобрал я во вздохе моего соседа: «Господи, Боже наш...» Это меня укрепило, — родная душа рядом!

Перегона через три прошел с фонариком старичок кондуктор и все присматривался к углам. Он метнул мне в лицо фонариком и пригляделся. А может быть, мне и показалось. Против меня, действительно, сладко храпел солдат, лицом в диванчик, а рядом со мной дремал старенький батюшка, опустив голову в тяжелой шапке на грудь. Кондуктор пошел обратно, освещая углы фонариком. Около нас он приостано-

вился, провел светом по сапогам солдата, со шпорами, перевел к голове, на серую папаху, и ловко метнул в меня... Я невольно вздрогнул и отшатнулся, а луч стрельнул по потолку, на сетки, упал назад, где торчали мешки, ноги и головы, и на мгновение осветил старческое усталое лицо кондуктора, лохматые седые брови... И тут я узнал его, старейшего по дистанции. Конечно, он тоже узнал меня. У меня был отдельный вагон-салон, — от экономии, — и, понятно, всегда с почетом, все из бригады знали... Старик опять пригляделся к храпевшему солдату, наклонился ко мне, шепнул: «перейдите-с...» — и поманил. Я понял, что он хочет получше меня устроить, и отказался. Тогда он значительно заморгал. В этом морганьи строгих бровей и в серьезном лице его я почувствовал что-то важное и осторожно пошел за ним.

В вагоне была полная тьма, а старик еще и прикрыл фонарик. Он провел меня к поперечной стенке, делившей вагон надвое, неслышно повернул отмычкой, протолкнул меня в темноту, вошел за мною и бесшумно запер.

— Поспокойнее вам тут будет, Алексей Семеныч... — сказал он шепотом и открыл фонарик.

Это была каютка, шага полтора в ширину, с окошком — его отделеньице, должно быть. В противоположной стенке была другая дверь.

— Только уж огоньку не зажигайте, а то в Пурикове ломиться как бы не стали!

Он влез на лавку, вынул из стенного фонаря свечку и сунул в карман.

— Сидите ти-хонько-тихонько... никак себя не оказывайте, хоть бы и стучаться стали! И от окошечка лучше подальше... и уж не курите-с!.. — шепнул он торопливо, вышел через другую дверь и замкнул без шума.

Я остался один во тьме. Ночь была черная, осенняя. Все произошло так быстро, что я даже и не поблагодарил за доставленное удобство. А растрогал меня старик. Ясной тревоги у меня не было. Осторожность его была понятна: стеснялся оказать внимание «буржую», — народ-то какой теперь! Мысли у меня были самые мрачные, а тьма еще больше удручала. Поезд чуть полз, до О... было еще неблизко. Я прилег на лавку, облокотился на кондукторский сундучок, но уснуть не мог, — всякое лезло в голову. Очень курить хотелось... Когда закуривал — приметил перед окошком на столике огарок, четверть вершка — не больше. Зажгу-ка, — думаю, — на минутку, приве-

ду в порядок дневные записи, — это вошло в привычку, — только бы уйти от мыслей. Зажег, достал записную книжку, — и тут меня стала одолевать дремота... Все вдруг отяжелело во мне, словно свинцом налило, — последние ночи я совсем не спал, — и я заснул, как мертвый. Мелькнуло, помню: «А ведь надо потушить огарок...» — но сон ударил, и я погрузился в небытие...

IV

Пожар испугал меня!..

Меня встряхнуло, как электрическим током, и ослепило. Я вскочил, увидал мелькнувший за окном огонек и услыхал громыханье стрелок... Огарок метнул последний синий язык и потух. Должно быть, это пыланье потухавшей свечки меня встряхнуло, нежданные взрывы света... Ровно гори свеча, — вряд ли бы я проснулся. Сердце колотилось в непонятном страхе, как всегда — от внезапного пробуждения. Давило тьмой, и тяжко воняло гарью. А огоньки за окошком мелькали чаще, а стрелки стучали громче: поезд подходил к Пурикову.

Из темной щели, почему-то боясь окна, я увидел слабо освещенную беловатую станцию... Куда-то бежали и орали партизаны, — я их узнал сейчас же, — пьяный вооруженный сброд, в пулеметных лентах, с винтовками, с болтающимися гранатками, в папахах, в собачьих шапках, в полушубках и волчьих куртках... Грохот сапог и рев глоток... И вдруг, под самым моим окошком, вырвался сиплый окрик:

— Сзаду!... сзаду там, оцепляй!...

Облава?!. не меня ли?..

Этот подлый вопрос — всегда! Тогда всюду ловили по дорогам, вышаривали вагоны.

Голоса стали налетать отчетливо:

— В Ступеневе о н садился... рыжая шапка!..

— Черти!.. на заду глядите!..

Ясно, меня искали!.. И тут я вспомнил заглянувшего мне под шапку.

Я дальше подался от окошка — и заметил другое, между дверями. Вагон был странный, — очень, должно быть, старый. Я присел на полу, стараясь сообразить, что же теперь мне надо... — но мысли рвались и путались. И среди этой путаницы все же была одна совершенно цельная мысль — чувство... словно бы облегчение: «сейчас все кончится! скорее бы только...»

Вдруг, слышу, — сиплый свирепый рев:

— Товарищ кондуктор!.. старновскаго управителя — сволоча видал?.. где?!.

И я разобрал голос кондуктора:

— Видал... в этом самом вагоне ехал!.. А может, что и сошел... за всеми не углядишь, сколько народу едут!..

Голос был деловой, усталый и недовольный.

— Фонарь дай!.. дьявола тут увидишь... беспорядки!..

— А что я, товарищи, могу тут!.. освещения не отпускают... — возвысил голос кондуктор. — Нам самим приятней, как...

Голос замер, — и тут же зашумели в конце вагона:

— Но-ги подбери!.. В рыжей шапке, высокий... не видали?..

— Да мы спа-ли, товарищи...

— В угле там... кто? Прими мешок!.. но-ги подай! шукай под лавкой... Тут кто... поп?.. Товарищ поп, не видал, с черной бородкой, в рыжей шапке?..

Отозвался робеющий стариковский голос:

— Что-то я внимания не обратил, братцы... дремал, извините... ослаб... Был, думается, какой-то... да давно уж сошел, как помнится... да-вно!..

Рядом затопали, и дернулась ручка двери. Во мне все натянулось и замерло... — ну вот, кинусь и буду бить кулаками в дверь! Это ужасное состояние, как перед пропастью... сильнее только! И тошнота... То самое, когда водили меня на мушку. Слышу за дверью жесткий, с запалом, голос:

— Чего заперто?!. Кондуктор, чего у тебе заперто?!. отпирай!.. — и ручка двери запрыгала и заскрежетала бешено.

— В другую эту половину, товарищи партизаны... — сказал спокойный голос кондуктора. — Только с другого уж вам конца придется, замок попорчен...

И ручка опять заерзала.

— Пу-скай, черт старый... счас сломаю!.. — услыхал я ругань и пыхтенье, дверь затрещала от удара, и ручка опять задергалась и заскрежетала.

— Ваша воля, ломайте... Раз не чинют!..

Грохнуло сапогом, прикладом, матерщиной, — но старая дверь держала: в старину крепко строили!

— Дьявол у вас тут... чинит!.. — хриплым запалом рвалось за дверью... — Штык... Хоменко?..

— Да я ж вам говорю... с того-то конца скорей!.. там, думается, сидел!.. — заторопил кондуктор, и я услыхал, как заскрежетали железом в скважине. — Я еще им сказал... свечей нам не выдают...

— Сволочи!.. штык испортил... — с облегчением услыхал я, и в скважине затихло.

— ...а они обижаются, почему такое... в рабочем управлении, а свету не дают!.. Это, говорит...

— Будет ему зараз свет!.. — отозвался удаляющийся голос, а кондуктор за ним:

— Это, говорит, разве порядки?!. Я, говорит.. — разобрал я тоже удаляющийся голос кондуктора и за ним брань:

— Будут ему... порядки!..

Скорей бы только!.. Сил уже не хватало. Будь со мной браунинг, — шесть в дверь, седьмую — себе! Вот как бы было...

Слышу — уж с другого конца шумят... Опять:

— В рыжей шапке?.. с бородкой?!

— Ну, чего спать людям не даете... чего тут в теми углядишь... ни каганца, ни алехтричества!..

— Чего там, за мешками?!.

— Да вы не шибко, товарищ... чего за ногу кобыняете?!. Що ж такэ... спартизан! Мы сами спартизаны, матяшинцы!.. Не вмеете вы ловить... Носовцы?..

— Ну, носовцы... а шо?..

— А вот... чубары гораздо! блох вам ловить!.. Пана якого?

— Старновский управитель все деньги с економии увез, двадцать милиенов, сволочь!.. депешу дали... Курячовцы, черти, в кулак свистят... с бабами заигрались...

— Ну, е г о вам не поймать!.. Из-под нашего ушел...

Я слышал каждое слово. После я увидел под потолком отдушину-решетку. Голоса приближались... и вдруг, голос кондуктора:

— Стойте, товарищи... вспомнил! Тому три перегона, на площадке его видал... у третьем классе, и чемоданчик с ним... не так чтобы велик, а...

— Ну?!.

— В горку идем, 67-я верста, подъем... поезд-то чуть идет... он, пожалуй, и соскочил... места-то ему известны..

Брань, удар в дверь ногой, — и загремела другая ручка.

— Давешняя-то, говорил-то... замок испорчен!..

— Ладно, не втикет!..

— А может, еще в третьем хоронится... Я еще его спросил, — куда это вы, на ночь?.. Он — молчок... знает нашу железную бригаду, первая мы опора, — не доверяет!..

— Не втикеть от нас, запетлим... оцеплено!..

— Где уж! всякий его укажет.. — сказал кондуктор, и голоса заглохли.

Я прижался к полу и ждал... Поезд стоял, стоял... стреляли где-то, орали, лазили под вагонами... и никому в голову не пришло — пересчитать окошки! Тогда бы они поймали ускользавшее и нащупали мою щель...

Колокол, наконец... вольные три удара! — и поезд двинулся.

V

Я присел, в изнеможении, на лавку... помню, прижался к сундучку, с какими ходят кондуктора... вспоминал встревоженное лицо, суровые седые брови... Так протянулись четыре перегона. Глухие, ночные станции, во тьме... нигде ни огонька. Ночь тянулась...

Вдруг, — слабое царапанье, гулкий за стенкой храп, — и вот, бесшумно открылась дверь и так же тихо замкнулась. Освещая сверху фонариком, стоял передо мной с хитроватой усмешкой старик кондуктор...

Я его молча обнял, а он шепнул:

— Теперь доедете. Слыхали?!. Беспокоить вас не хотел... а когда еще Сагуново проезжали, телеграфист шепнул... — депеша со Ступенева была, в Пуриково, носовскому отряду... взять вас живого-мертвого! Носовцы рва-ли!.. как уж милиёнов-то им хотелось!.. Куряча, говорят, купил! Куряч за него, а то бы давно прикончили!.. Так рва-ли!..

— А если бы меня нашли?.. — спросил я старика, — вам тогда?..

— Ну, сказал бы... хорошего человека пожалел! В шею бы, может, дали... только и всего. Вам бы вот нехорошо было. Да разве им догадаться, дурачью! — сказал он весело, — глаза-то разгорелись, тычутся, дьявола!..

За меня... Куряч!.. Но кто же депешу дал?!....

И тут я вспомнил вглядыванье под шапку и гадливость. Кто-то устроил провокацию, бросить меня хотел в расправу диким, не знавшим меня носовцам... Кто?.. По совести, — не знаю. Правда, мешал я многим... Стар-Новку берег. Сил не хватило...

Стало рассветать, когда мы подъезжали к О... В рассвете я увидал расплывшуюся пленку догоревшей свечки, с запекшимся черным фитилем. С этим беловатым пятном была связана моя жизнь... и, быть может, с той свечкой, что убрал от меня кондуктор, и — с тем огоньком, который теплился в его душе... Где-то теперь старик?..

В О... я затерялся. Много было всего.

Теперь — на французском юге, с семьей. Здесь покойно. Но где же найти... размах?! Я двадцать лет огромное творил... Стар-Новка наша!.. ах, была какая!.. какие горизонты открывались... Я перестраивал ее на новое хозяйство, сокращал волов, тракторы вводились... А сколько было в нее засыпано!.. Уж как трепали, — а она жила! Теперь... — не знаю. И еще чего-то не хватает, — родного огонька не вижу. Столько за эти годы перевидал, народ наш знаю, соли пуды с ним съел... — и вот, скажу: злое в нем подняли и — затопили! Перед смертью не раз стоял — и сколько видел, как в самом даже безнадежном, в самом отпетом человеке... и вдруг, каким-то чудом, чистый огонек затеплится, засветит в нашей кошмарной ночи!... Неужели и его погасят?!. Ну, тогда и Стар-Новки мне не надо...

Июль, 1924 г.
Ланды

СИЛА

(Рассказ спасенного)

I

Было уже решено и подписано, — и прощай, Вася! Сила меня спасла. Слыхали, может быть, про известного у нас, на юге, борца Ку-де-Пре? Нет, не француз. На афишах его так писали, а был он самый российский, по прозвищу «Куды-Прё»! Его-то я чуть было и не ввалил в могилу, хоть я и тощий, как видите.

Наши подходили к П., фланг уже завернули. «Товарищи» начали сматываться, тащить. Картина известная: по ночам повозки, после шести — не выходить, под страхом расстрела, вранье о разгроме «белогвардейской сволочи», загадочные лица обывателей, — словом, завтра служи молебен, сдирай декреты и подводи баланс.

Вдруг, перед вечером, прибегает ко мне дама, в слезах:

— Ради Бога, спасите!.. Мужа, офицера, арестовали, и еще двоих, грозит расстрел... забрал сам Антипкин к себе в поезд, а поезд вот-вот уйдет... Вы с Ку-де-Пре хороши, а он с самим Антипкиным обедал... Ради всего святого!..

А, действительно, Антипкин, прямо, в любви объяснялся Куды-Прё:

— Нас, — говорит, — только двое: я да ты!..

Через него кой-кого и спас Куды-Прё.

Шел в чеку прямо, с куртками — по-приятельски:

— Да, черти эдакие... человечка бы выручить, сродственника! Спокою не имею, на борьбу нет расположения!..

А то со здоровенной мухенцией ввалится:

— Самого Беспятого подавай!

Обожали! И развлечения доставлял: костыль в стену мизинцем вдавит, кулаком кирпич из угла высадит, — симпатию вызывал большую. Много было у него поклонников — матросов. Громадина, сивоусый, плечища, как ворота, тарелку рукой захватывал, а голос — бубен. С Дону родом. Из земли

породился, как Святогор. Любого — на лопатки в две минуты. Самолюбие и задело у главного палача, — тоже из борцов был. Самому не охота, так он свою знаменитость выписал: страшный был человек, латыш, в Ялте потом прославился. Ну, и был парад. Мне еще раньше Куды-Прё признавался:

— Устрою ему бинифис!

И устроил. Сперва дался. Стал его тот под себя давить, голову зажал в локоть, глядим — про-пал наш Куды-Прё... Ниже да ниже, набочок погнулся, судья уж свисток к губе... а он как перехватит на бра-руле, на «мост» сразу поставил, да через голову, об землю, — на все четыре лопатки! Русскую славу поддержал. Наши ора-ли!.. Чуть до наганов не дошло. Антипкин публично расцеловал, матросы качали. Тут уж и все признали — нигде ничего подобного... в Америку везти можно. Тут Куды-Прё и загордел:

— Поеду по всему свету, капиталы наживу. Покажусь в Москву, для славы меня отпустят.

Все тут — не уезжай, незаменимый ты спец, запишись в партию, мы тебя сами в Москву представим, как продукт славы! А он хитрый:

— Грамоте обучусь — и запишусь!

Фамилии подмахнуть не мог.

И пошла ему масленица. И сала, и ветчины ему шлют, и коньяку... Дамы ихние на автомобилях к нему катают, цветы посылают, — в «Грандотеле» он два номера занимал. Всегда у него конфеты шоколадные, горстями ел. Ходит куда угодно, рассуждает про все свободно, на патруль попадет, пьяный, — кроет! И ничего, смеются:

— А, Куды-Прё!..

Черкеску малиновую завел, папаху белую, пушистую, кинжал в серебре, шея шелковым шарфиком голубым замотана, газыри серебряные, лицо, как сырая говядина, сивые усы хвостами, — красота! Идет по улице, а за ним, как река, духами... И добрый был человек, бессребреник.

Мы с ним по душам сошлись. Я — цирковой гимнаст... По правде сказать, вовсе и не гимназист, а... обстоятельства времени. Влип через тиф, не успел из города драпануть, два месяца в подвале мокриц считал, и пришлось смыться: паспорт мне достали германского подданного Готтенштара. А я Иваньчиков, и три Георгия у меня, из подпрапоров производством. И по лошадям я специалист, — помощником тренера жил раньше у герцога Мекленбургского, в знаменитой Пурловке. На ло-

шади мне — что коту на койке: могу на голову становиться и на карьере сажусь, как перышко. В цирк пристроили. Полковник там был Одинцов-Одиссейский, из конногвардейцев, по специальной части, под англичанина Биклея. С ним и работали. С «отдельщиками» он компанию водил, и всегда в курсе дел. По-английски чешет, и всегда с трубочкой, сладкий табак курил. В цирке мы и сдружились с Куды-Прё, братья стали. Пел я хорошо хохлацкие песни, этим его и взял. А по-немецки я хорошо умею: у нас, на заводе, ветеринаром вестфалец был, с ним взаимно и обучились.

Вот дама и умоляет:

— Спасите, борец все может... слово только Антипкину...

Как откажешься, если хоть какая-нибудь возможность? Побежал я к полковнику Одиссейскому, предупредить. Прибегаю в цирк, — афиши расклеены, представление-гала, «Пожар Европы». Завтра, думаю, «пожар» будет! В цирке пусто, только в кассе наша одна сидит, мадмуазель Алюэт, наездница с горящими обручами, дивной красоты! И что только она вытворяла... — из высшей аристократии! Один партиец из-за нее застрелился, от любви. Но как Мадонна! А по паспорту — «американка», не подъедешь! Про нее да про полковника фантастический роман написать можно. Вот она и говорит:

— Дядя у моста с птичками, идите скорей туда!

А улыбка... Подвигнет на смертельный подвиг. С какими птичками?..

Бегу к мосту. А через него путь отступления, на вокзал. Гляжу — рваный старик со снегирями: на палке клетка с билетиками и пара загаженных снегирьков, как полагается. Михрютки наши судьбу пытают, а он им закручивает! Покатываются. Ни за что бы не узнать: глаз кривой, руки в коросте, в рваных ботиках топчется — завалященький старичонка! А то, в цилиндре, грудь колесом, — лорд английский! А по мосту шумят уж. И из коршунья некоторые уж смываются. Контрольный пункт на мосту: следи, кто в городе затеряться думает, для специальной цели. Полковник наш всех их знал.

Повыждал я, как он поосвободился, — билет затребовал и в двух словах все. А ему уж известно, что казаки ожидаются ночью, с северного охвата, должны линию на К... закупорить.

— Действуйте, но с крайней осторожностью! — говорит. — Что-то они пронюхали, «нить» какую-то получили, нащупать только не могут. Решите с Куды-Прё и немедленно смывайтесь. Пароль такой-то.

Заколебался я тут: не смыться ли? Завтра финал торжественный, а ну-ка сыграешь в ящик?

— Попытайтесь. Если их до полуночи не угробят, может и выгореть. Впрочем, я вас не связываю.

Рискнул — погнал к силачу: не застану — руки умою. А сердце взмывает... Господи, завтра освобождение... только бы казаки не опоздали!..

Прибегаю в «Грандотель», а от него мадамочка в мехах выскочила, очень верткая, губы кровью накрашены, лицо в мушках, — и двое михрюток чемоданы за ней волокут. Ясно — крылышки подвязала, на отлете. А он сидит у себя, в дезабилье, в голубой шелковой рубахе, напудренный, как пекарь, до глаз, и коньяк дует под соленый горох.

— Сматываюсь и я... — говорит. — Моя цацынька слово с меня взяла, нипочем не отпускает, как репей! Влюбилась, стерва! Один уж чемодан отправил, пропадай моя голова!..

— Значит, — говорю, — изменником хочешь быть?

— Да я, — говорит, — у политике вашей не понимаю. Может, она и вредная, а любит меня ужасно, и красавица с огнем! Дом мне в Москве подарить обещалась... Всем вертит, по фамилии Лаката! Она меня в чемпионы мира произведет, чертом сейчас клялась на подушках, язва! Не могу без ее, никак! И коньяк пить умеет, шельма. За границу хочет везти, как я самородный... икзимпляр!

Сильно он был на взводе. Подумал — куда с таким? Да защемило что-то, о тех вспомнил. Говорю:

— Черт с тобой, изменяй России!.. Но невинных-то хоть спаси, героев! Пустяки тебе стоит, а за это тебе зачтется!

Стал ломаться:

— С меня нельзя строго спрашивать, я самород искусства... и радость всем доставляю беспартийно. Она мне все объяснила... и мы создаем новую хворму...

Совсем одурел, дурак. Говорю ему:

— И меня теперь предать можешь? Иди, доноси твоей...

Зацепил его этим здорово.

— Я им не продался. Я возля их хожу, чтобы людей спасать!

— Вот и спасай... троих вот-вот угробят...

— Нет, этих не выпустят. Она мне по секрету говорила, что нить нашли, заговор идет. И в трубу к утру вылетают. Меня Антипкин еще намедни в поезд звал!

Стал я его умолять, во имя правды:

— Настоящая-то сила, когда людей от смерти спасают, а не бра-руле. Употреби на дело филантропическое!.. У них дети, матери, Россия... а ты с подлой бабенкой занимаешься! Ведь и ты православный, русский... и у тебя мать была... Вспомни, спаси, — и во всех газетах пропечатают, и на афишах, и за границеи везде прославишься!..

Донял.

— Ладно, — говорит, — допью, и поедем. Только, чур, вместе, мне с тобой веселей.

Подумал-подумал — надо! Смываться время, а тут — в самое пекло, к ним. Допил, поехали.

II

У него казенный извозчик был. Приезжаем в гостиницу, где Антипкин квартировал, — выехал в неизвестном направлении! Туда, сюда, — нет, на линию отъехал! Пропускают, но уж не интересуются, крылья чистят. Учу его поумней как объясняться. Развития в нем мало, одно долдонит: невинных иду спасать! Ходит дерзко, кулаками машет:

— Ужасная во мне сила, хоть рельцы рвать! Это она меня так взбодрила, от любви!

Чуть винтовкой дорогу загородят, — пальцем отшвыривает. Все его знают, фамилия выдающая. Узнали: на третьих путях стоит поезд командарма, и те трое там, в товарном вагоне; нить найдена, вот-вот всю организацию накроют, а пока следствие, из центра важный руководитель. Хожу за ним бодро, а ноги... — будто по змеям ходишь! Махнули на вокзал. Один подлетел — назад!.. Куды-Прё ка-ак рыкнет:

— Ка-ак так, назад?!. Читай, товарищ!..

Прочитал, — винтом:

— Пожалуйста, товарищ Куды-Прё... только товарищ Лаката минут десять как отбыла в Москву...

А это был пропуск, личная ее карточка.

— Еду! Важное имею к командарму... мой секлетарь!

Как в рыло плюнул. Прошли, а там у каждого столба стража. Все его знают, кричат — смеются:

— А, товарищ... Куды прё-о?!

Чуть что — бумагу к носу, а в ней: «Во всякое время дня и ночи, для личного доклада»! «Докладывали» они с Антипкиным. Я руки потираю, — в два счета освободим, а завтра Пасху петь будем.

— Не застану — по прямому проводу добьюсь! — кипит Куды-Прё, решительности набрался.

Хожу смело, у товарищей прикурить прошу, «данке зер» говорю, — больше доверия. Вышли на третий путь. Поезда под парами, со всяким добром, — кресла бархатные, сундуки, — трофеи эвакуируют. Из вагонов головы суются, хоть и зима, такой оживленный разговор... Дураки на фронте бараньими головами рай себе добывают, орудия близко бухают и пулеметы шьют, — а тут сахаром да мукой орудуют, грабельмейстеры на отлете.

— Поезд мне товарища командарма?! — орет Куды-Прё, бумагу к носу.

Солдатишки мотают — вон! Поезд легкий, и при нем два товарных вагона было. Подходим к одному. Двое, с винтовками, семечки лущат. Зубы заиграли:

— А, товарищ Куды-Прёшь! с нами?

— Натурально с вами, с чертями! Чего у вас тут, какие бралиянты?..

— Концанеры, офицерьё. Ночью с кульерским им.

А те слышат. Куды-Прё понял и говорит, чтобы духу им придать:

— За ними и пришел. В два счета выхвачу... приятели мои!

Язык-то у него уж мокрый.

— Навряд отпустят, решенные. Некогда тут возиться с ними, в пути им пересадка будет.

— Навряд?! Раз чего захочу — горы повалятся!

А тут дрезина груженая стояла, пудов на тридцать. Лапой за передок и поднял!

— Налево аль направо... ну?!.

И напугал, и обрадовал. А там главного кого-то имущество было, мешочки с сахаром. А из вагона подкашливают: спасите!

— В минт ослобожу, раз плюнуть! Эх, — говорит, — цацынька моя отлетела, а то бы все замки посыпались! Я на ее прием знаю!

Прямо, — таким герольдом! Прет к вагону, где провода, как пауки в окошке. Часового повернул, как папироску...

— Узнаёшь, товарищ?.. — и слово загнул — знак восклицательный! — Как так — не приказано?! А я слово знаю!..

На ухо и шепнул. А это она ему секретный пропуск доверила. Только для особ первого ранга такой у них знак имелся: пропустят в самую экстренную минуту.

— Понимаю, и можете сажаться, а сюда нельзя. Товарищ командарм на позициях, а тут помзамком!

— А-а, подзамком? Его-то мне и надо! Я ему, коту, головомойку сейчас устрою!

Тот и рот разинул.

— Продул ему, собаке, пять тыщ в железку, пусть теперь живым товаром уплатит!

А солдатишка все упирается:

— Под страхом расстрела не могу, самолично товарищ помзамком наказали!

— У Сашки да позволения мне просить?!. — в раж вошел, глаза кровью налились. — Да я вас обоих с помзамком расстреляю! В Москву ей сейчас ахну, она!..

За кинжал хватается, напирает...

— Тут жизнь зависит!.. чрезвычайная важность, под расстрел!..

Напором покорил. Шипит-шепчет, словно тайну какую знает.

— Проходите, коли так...

Шасть Куды-Прё на подножку, я за ним. А там звонки трещат, телефоны пищат... Идем, как первые комиссары, а в ногах ртуть, — унесло бы куда подальше! В пасть влезли в самую. А Куды толкается, кто навстречу... Знают его, поглядывают странно, а он все на ухо, морду крючит:

— Важное дело, к докладу... вопрос жизни!..

Плетет-хитрит, и глупо у него выходит. Человека четыре курили в первой половине, насторожились. Да раз часовые пропустили, значит, — особый пропуск имеется. А тот чисто подзатыльниками швыряет:

— Где у вас подзамком? Запрятали, чисто золото какое!

Знакомого матроса облапил, шепчет:

— В Америку с ней, с!.. Полны чемоданы бралиянтов!..

Как рыба в воде, а язык по зубам цепляется. В половине вагона стенка, а за ней оперативный кабинет. К дверям!

— Гляди, — говорит, — Васюка, что я с Сашкой сейчас устрою!..

И всей пятерней в дверь — ляп!..

III

Ляпнул настежь, — электричеством так и полыхнуло! Карты на стенах, провода-телефоны, стол под красным сукном, по стене китайцы или какие-то азиаты, как мумии... — в момент мелькнуло. А за столом, с телефонной трубкой, в черной коже... черт!!. Ну, бес или там чертенок... — только не человек!!

Искрой как вскочит, визгнет!.. Мать ты моя-а!.. В ушах вот сейчас стоит. Маленький, жигулястый, на шильце жильца, — скок! Трубкой об стол, — в куски!.. За наган! Глаза шариками, толстые губы в трубку, и такой страх в глазах... — нож вот словно ему воткнули! Усики — на губе две мухи, весь туго-натуго, — вот взорвется! Лицо гороховое, щеки в синьке, кожа на нем блестит... И так он заверещал...

Не приказано никого, и вдруг — махина, под потолок, да в папахе, да с кинжалом, и газыри — кубанец! Да с глоткой:

— Достал-таки тебя, черта!..

В дверях он гакнул. Только всего Куды-Прё и мог...

— Кто?!. к-как?!.

Визжит-верезжит, — в голове у меня погасло. Наган схватил, рука ходенем, ка-ак по столу брякнет, — бах! — сорвалась собачка, в потолок!

— Взять! обыскать!..

Визгом залил! А глазами, как шильями, так и пришил на месте. Ничего подобного не видал, — страха такого и злости бешеной. Змея вот разве, когда от страха на человека прыгнет.

Рассказываю я долго, а всего момент было. Закаменил! Я — за Куды-Прё метнулся, — а я ли не повидал на войне! — а он — ни звука. Паралич наскрозь! Ну, задумались вы, идете... — и вдруг, собачонка — вввяк-вввяк-вввяк!.. — визгом ошпарит! Ну, и упало сердце!

В окошко, на стекло визгнул, как под ножом!

— Рота!.. ко мне!!..

Ро-та! Азиаты, стража... — полон вагон. А тот дребезжит, — такую панику развел-поднял!..

— Кто? как? шпионы?!.

Такого страху нагнал со страху, а Куды-Прё — как умер. Карманы нам выворачивать. Нашли пропуск всемогущий, показывают...

— Подлог! — кричит, — нить у меня в руке! Организация!!.

Опять нить! Объясняют, что известный это борец...

— От них!.. покушение на меня уж было!

Карточку Лакаты нашли, а тот свое:

— Краденая! Часовых под расстрел!.. Подкуплены! У меня нить! Осадное положение!..

Ну, онемели, как с электричества! Знают, чем пахнет. А Куды-Прё — ни меме. Усыпило, как магнетизмом... как в летургии! Я, было, начал: «Ми ошень прошли просиль... тафарисч Антипинт»...

Ку-да! Слова не дал сказать, засыпал дробью... — тра-та-та-тра-та-та..., — в голову, в голову, до мути! Закачал!

— Антипкин за халатность убран!.. сотру железной метлой!.. я... я... я... всех... полномочия сверхъестественные!..

Покрыл! Верховные, что ли, хотел сказать. Уж после мы узнали, что утром только нового командарма назначили, на место Антипкина, а это его помощник, политком, товарищ Радий, для разделки при отступлении. А Радий — для красоты слова. А настоящее его имя — черт его знает кто! И самый-то завалященький из себя, человёнок, но злой змейски!

Его осторожно успокаивают, что, мол, знаменитый это русский борец, любимец, а я — любимый циркач-наездник, немецко-подданный! Ку-да! Никак не сдает. А, может, и самолюбие, — страх-то утих, как нас наганами обложили. Свое долдонит, словно скорлупу хряпает:

— Сорву маски! Дуракам головы морочат, меня на кривой объедет! В мой вагон... командарма.. впускать шпионов!..

Страхом своим начуял! А полномо-чия у него были!.. Потому все и жались. Попади мы на человека, ну, обложил бы или в шею велел дать... генерал-то бы боевой или хоть Антипкин! А тут — на больной зуб попали.

— Караул — трибуналом, а этих — к т е м!

Тут и произошло. Молчал-дышал Куды-Прё... — что уж там в нем варилось... — очнулся. Руку так поднял на того, в куртке, кулачище с графин, шаг ступил, — так с ним и колыхнулись, которые его держали. Как тот взвизгнет-заверезжит, руки вскинул, позеленел... Схватили Куды-Прё, облепили, как мухи кость. Обмер — дался, а то всех бы пришиб с удару! А просто: хотел Куды-Прё объяснить, а у него так вышло, по привычке: все, бывало, кулаками сучит, когда мысли какие в нем возникнут. А ни слова так и не обнаружил, от сотрясения.

А тот залился!..

— Меня?!. Свидетели!..

Схватил карандаш, блокнот, — чиррк, — красным: «Обеих расстрелять!» Печатку свою из кармашка... блеснул кожей... — тук! Готово, на тот свет!

Не помню, что он еще скрипел. На губах пена пузырями... Затошнило меня, холодом по ногам, к затылку... — и поволокли они нас, как баранов. Ну, шевельнись Куды-Прё, — и все бы в панике полетело. Замешались бы в темноте, в составах. Уж и казаков ждали, все в расстройке... И потом любили все Куды-Прё, нарочно бы убежать дали.

Но онемел Куды-Прё, как бревно.

IV

Приволокли к вагону, где те сидели, и замкнули. А тот и у вагона вопит:

— Я вам не Антипкин! я вам покажу растяпку! Ночью!..

Сидим на полу, темно. Продушина закрыта, и в нее через щелку лучик только от фонаря. Пригляделся: сидят в углу трое, горемыки. Стали шепотком спрашивать, а Куды-Прё лег на полу во всем параде — и хоть бы слово. Тяжело так дышит, будто камни ворочает. Объяснил я, как дело было. А они мне:

— А мы-то надеялись. Теперь — конец. Из города вовремя не выбрались, на регистрацию офицеров не явились. Взяли нас, как шпионов.

И стали мы ждать смерти. Каждый в себя ушел. Не верилось, что вот, через час-другой... Мысли гонишь. Как опять э т о в голову... — в пот! Схватишься за лицо, трешь-трешь... — бежать! Ткнешься в стенку, а за ней:

— Сиди! Стрелять буду!..

Стал я Куды-Прё шевелить:

— В себя-то хоть приди... какое наше положение!..

Глупые, понятно, слова. Молчит, дышит. И те стали допрашивать, чтобы хоть отвлечь мысли:

— Как же это вы, Куды-Прё?.. И связи у вас, и сила... Недоразумение же вышло... что же вы молчали?!.

Растревожили его, очнулся.

— Визгом меня зашиб... никогда не пугался, а тут... всю силу из меня вынул, помрачил... Плевком бы перестегнул, а тут... голосом меня закричал-заворожил, очумил... У него глаз вредный, вот как у кобелька зуб бывает...

И повалился, ни слова.

С час прошло — орудия ближе забухали, пошла тревога. Поезда бесперечь уходят, шум-гомон. Чуть позатихло, как — опять е г о голос у вагона:

— В три часа утра... как отойдем в базу! Товарищ Сныга, караул сменить, троих назначьте из «отдела»!

Это уж — чтобы помучить больше.

Объясняю Куды-Прё, что вот, в три часа утра в исполнение приведут. Ни слова. Голову руками охватил, дышит. Один офицер и говорит душевно:

— Простите нас, братья! Из-за нас погибаете...

От этих горячих слов зарыдал я. Стал им руки пожимать, обнимать. Сбились все в кучку, как самые близкие, родные.

— Братья, — говорю и плачу, — наши сегодня в город войдут, все уж на отлете... и не привел Господь дождаться... Так встретим же смерть за Россию с честью!..

Такая скорбь, ужасное настроение! Не мог удержаться, зарыдал. В эту минуту они для меня ближе самого родного стали, хоть я и не видел их. Сидим, каждый свое таит, последнее на сем свете. Страх страшный молчание это было... А Самсон наш лежит одиноко, тоже своим чем-нибудь томится. И так мне его жалко стало! Как ребенок беспомощный, безответный. Какое в нем просвещение культуры?!. Со слов чумеет... И говорю от сердца:

— Петя, брат мой несчастный! Жизнь наша земная кончается, молиться надо... легче будет.

Вошло в него мое слово, отозвался:

— Ах, Вася... не умею я молиться... «Вотчу» всего и знал, да забыл. Ты уж за меня помолись. Жил я как в темноте... упустил время... И еще бы пожил, на море бы пошел, опять грузчиком... на солнушке бы...

Да как захлюпает!.. Схватил я его за плечо: молчи! не давай радоваться злодеям! Все мы его обступили, утешать. Совсем расклепался, ни-куда. Несколько обошелся, заговорил:

— Главного греха на мне нет. Раз только персюку в Новороссийске хребет повредил, да то давно было, как еще не умел по правилам французской борьбы. Курей не резал... Я крови боюсь, на войне обмирал, меня потом в обоз взяли.

Стали его жалеть:

— Сила какая — и так вы сдали! ни слова не сказали! Ну, мы — золотопогонники, за родину боролись...

— Да... визгом о н меня зашвырял! У меня против этого силы нет. Я могу по честной борьбе, в открытую... или поднять чего... Смотреть на меня — и в силах я, глядеться, а — мирной! Я сперва грузчиком был у Новороссийске, там меня и прозвали Куды-Прё... там и напрактиковался мяться, и словам выучился... Стали меня там на заборах печатать — Пьер Кудипрё, будто я знатного роду... это уж как я в славе стал, настоящего француза положил! Для заманки стали, чтобы для публики... А то не признают!..

Помолились мы с ним. Прочитал я молитвы, какие мог, ему за собой говорить велел. Будто полегче стало. Слышим — опять суетня по линии. Орудия совсем близко, вагон дрожит, а пулеметы совсем у станции шьют-строчат. Слышим — кричат голоса по линии:

— Пары давай... Казаки в городе, у моста!

Тут нача-лось!.. Мелькнуло мне: ну на К. линию-то закупорят? Сказал я офицерам...

— Нам не легче, в последний момент прикончат. Но у нас уже решено — не сдаваться! Выхода нет... Как откроют — ахнем! Хватай винтовку у первого и... Ночь, паника... — удаться может. Куды-Прё, можете нам помочь?

— А как?.. — спрашивает. — А-а... Это я могу, не дамся лёгко...

Стал я его горячить, как себя показать, когда вагон откроют. Приободрился:

— Ахну! — говорит. — Эх, его бы Господь нанес!.. Значит, я спереду пробью, за мной трафься. Под мост, в слободку, — там меня все покроют! Полоску бы мне какую или рельцы отрезочек?..

Решили момента ждать. Опять его голос, слышим:

— Не делать паники! Приказываю планомерный отход! Товарищ Сныга, помните... на первой остановке, на 27-й версте!..

И тут допекает! Куды-Прё так и вострепетал:

— Его бы Господь насунул... с собой бы его узял!

V

Знал я эту 27-ю версту, где полигон был раньше: гулять ездили с Куды-Прё, дубки у речки. Обсудили мы положение: там попробуем ахнуть, места пустынные.

К часу ночи было. Застукали наши вагончики, — к смерти едем. Стал опять горячить его:

— Спишь, что ли? — говорю Куды-Прё, — конец приближается!

— Нет, разное думаю. Не чую ничего, занемел...

Тут мне в голову вдруг вскочило...

— Стой! Может, ты нас спасешь?..

— А как?.. Чего от меня... указывай, а я без ума...

— Вагон пошатай, попробуй... доску не выдавишь?..

И офицеры ухватились:

— Попытайтесь, Куды-Прё... Все равно смерть, 99 процентов!

Задышал, слышу, заволновался. Подыматься начинает, сопит...

— Могу, — говорит. — А чего дальше будет?..

А поезд идет — гремит, голоса не расслышишь. Пошел Куды-Прё по стенке шарить. Дверь потрогал.

— Упору нет, а болток с нажиму бы вылетел! Знакомое дело, сколько отпирал, бывало. Ломок бы хоть самый плёвый...

Повозился-повозился у двери...

— Не за чего узяться...

Подошел к задней стенке, где стояки, а между ними досками забрано. Плечом нажал — затрещало. А за стенкой площадка тормозная, и караул на ней:

— Смирно, — орут, — стрелять будем!..

Стихло. Совет собрали. Рукой слышу, — дрожит Куды-Прё, как паровик на парах, сопит — шепчет:

— Сейчас меня допускайте, могу... с одного маху смою, не расстреляются... А там — спасайся!

Так и решили. Только офицеры настояли с передней стенки попробовать, где нет площадки и прыгать вперед удобней. А на Куды-Прё нашло:

— Враз с дьяволами смою... и винтовки у них возьму! Берусь!

Насилу уломали: риск, тревогу выстрелом поднять могут! Попробовали в переднюю стенку постукать — тихо. А поезд гремит-торкочет...

— Ну, берусь... — говорит Куды, — Господь бы на землю вынес!

Притиснулся ко мне, усами поцеловал накрепко.

— Ах, браток... опять в себе силу чую!.. Спасибо, родной, теперь уже мне ничего не страшно!..

Я ж его и всадил, а он — спасибо! А это — землю он под собой зачуял.

— Братишки, — говорит, — ручаюсь безотказно, ход дам... а какая кому судьба... уж простимся братски!..

До слез пронял. Обнялись мы все, руки пожали накрепко... — ужасно страшный момент, последний риск!

Чую — перекрестился. Пошел к передней стенке, где буфера...

— Крепчей за меня держись, как бы мне под вагон не вымахнуть... Под стоячок наддам — враз должна вылететь. За ногу прихватите... Да чтобы слобода мне...

Силу свою знал.

— Ну, час добрый... берись!..

Вцепились мы ему в ногу. Вот он примерился, покачался, замер... — да весь как у-хнет!.. мать ты моя-а!.. Трахнуло, как из пушки, стояки к черту, стены уж нет, ветром на нас морозным, звездами... — чуть его ухватили... На буфера грудью вымахнул, папаха под колеса — миг один! А поезд в горку, на 12-й версте было... Вскочил на буфера — рраз, под откос!..

Я — за ним! Свету невзвидел, как завертело меня с откосу, да в кусты, да через кусты... Ничего. Мягко, снегу было порядочно. Голову тру — цела, а красный огонек на хвосту — эн уж где!..

Чудеса, — никакой тревоги! Спали, что ли, или уж нам громом-то показалось, нервы-то натянулись?.. Чистая же была работа! Как пробку вышиб!!.

Затих поезд, ночь звёздная, в морозце. Стал я свистать легонько. Куды-Прё близко отзывается, бежит... Схватил меня на руки, расцеловал. Оба плачем... Свистать стали — отзываются. Да все помаленьку и собрались. Все целы, один плечо только вывихнул. В таких случаях человек на крыльях несется, ангелы все работают. А шапки, понятно, растеряли. Да тут уж и не до шапок. Глядим — снизу поездишка гремит, четыре вагона, без фонаря.

— Бегут!.. — как гаркнет Куды-Прё и кулаком погрозился. — Теперь, — кричит, — я по-нял!..

Признал я место. Повел на хутор, версты две было, — Пимона Щучки хутор. Ночевал, бывало, у него с охоты. Собаки залились, гляжу — хозяин, у двора дежурит, время тревожное. Объяснил я, что из города смылись, перемена власти, казаки линию закупоривают, до них бы продержаться, часа на два. А что с поезда убежали — не говорю. Поскреб в голове Щучка, повел нас в гаёчек, в клуню, завалил соломкой. Офицеры дозор поставили. И забыли мы, что шапки там наши, и следы на снегу — дорога верная. Да ночь глухая, да и спешат, линию как бы не перехватили. А то бы...

Часа три просидели — бежит дозорный:

— Кони и голоса!..

И уж слышим, к хате:

— Есть такой-растакой? Сказывай враз!..

А это разъезд казачий. Сейчас — объяснение, допрос. Дорогу на десятой версте перехватили, чуть черт-то тот проскочил. А город под утро заняли.

Ну, уж и праздник был! Куды-Прё на руках носили, представили начальству... Тут он и определил позицию: взял винтовку. Забыл, что курицы не мог зарезать. На совесть дрался. Вместе и Мелитополь брали, и на Сивашах стояли. Там меня ранило, эвакуировали в Ялту, а он бился. Потом о нем затерялось. Если остался там, знаю: живым уж теперь не дастся.

Сентябрь, 1924 г.
Ланды

КАМЕННЫЙ ВЕК

I

Безрукий — правую свою руку он потерял еще в бытность слесарем, в Одессе, — перебрался на Южный берег и занялся более легким делом: водил приезжих по дачам и пансионам, показывал земельные участки, провожал на прогулках в горы, выискивал у татар разную старину, — оловянные кувшины, дедовское оружие, в серебре чеканном, ковры и чадры, — словом, кормился гулевой публикой. Хорошо научился по-татарски, был сметлив, услужлив, ловок и сделался для приезжих прямо необходимым человеком. Приезжавшие отдохнуть и погулять желали развлечений, а Безрукий умел потрафить. Да в иных делишках как-то и удобней было иметь с ним дело, — будто и не человек выходит: одна рука, и уж очень рыжий.

По округе его все знали и так и называли — Рыжий, за огненные бакенбарды, под англичанина, — а то и совсем приятельски: Рыжая Обезьяна. Правда, красотой он не отличался: был носастый, коротконогий и косолапый, уши торчали лопухами, челюсти сильно выпирали.

Такой был случай...

Как-то один профессор заспорил на веселой прогулке с батюшкой о теории Дарвина, вытащил Безрукого напоказ и при общем смехе — смеялся и сам Безрукий — определил:

— Ну, глядите!.. Явные черты почтенных предков!..

И все признали. И батюшка даже согласился:

— Ммдаа... признаться!..

А нагрузившийся архитектор, для которого наломал Безрукий сталактитов из пещеры, дал ему три рубля и расцеловал в утешение:

— Наплюй, Рыжая Обезьяна... В сущности говоря... все... скоты!

С того случая и установилась кличка.

И хоть был он уродлив и калека, а обзавелся семейством. Тройка у него детишек подрастала, все рыженькие — в него. И капитальцу сколько-то отложил, собирался собственный пансион наладить и даже имя ему придумал — «Веселый Век» — и выйти, как говорится, в люди. За войну и совсем окреп, совершил уже запродажную на домик, — как вдруг начавшаяся нежданно смута спутала все расчеты. Запродажная полетела, капиталец из банка не выдали, банки все сразу кончились, — словом, вся жизнь перекувырнулась и встала на голову. Веселая публика вдруг пропала, а заработать и с двумя руками стало негде. Он было сунулся за пособием к новому начальству, трудовому, — все-таки бывший слесарь, и без руки! — но его просто выгнали, как «позор пролетариата». Так ему и сказал заменивший полицейского пристава мальчишка с револьвером. А он, правду сказать, надеялся...

Пришлось цепляться за что попало. Он было взялся охранять дачу, брошенную сбежавшим хозяином, рассчитывая, что теперь затеряется хозяин, и дача станет его, повертелся с годик, выменял и проел, что уцелело в даче, до самой крыши, и до того, наконец, добился, что пришлось ловить кошек на западню, — слесарство-то пригодилось! — но и кошки скоро перевелись. Последнее, что у него осталось, — драповое пальто, он выменял на хлеб — детям и очутился к зиме в трепаном сюртуке, после хозяина-дачника, когда-то очень шикарном, и в шляпе-панаме, внушавшей, бывало, доверие приезжим, теперь тоже потрепанной и даже для него жуткой напоминанием о прошлом.

Пошли слухи, что уже помирают голодной смертью, но Безрукий не верил в такой конец. От веселых господ, с которыми ездил в горы на пикники, — а сколько было всяких профессоров! — он кое-чего набрался. Говорили душевно, начистоту, — под небом! Это когда еще голыми дикарями жили, в пещерах хоронились, — как вот под Чатыр-Дагом, Тысячеголовая Пещера, там и теперь человечьи кости и черепа находят и даже растаскивают их на память, — в древние времена, когда люди камнями бились и камням молились, — тогда, действительно, было страшно. Потому-то — «Каменный Век» и называется. А теперь — какая культурная цивилизация! Человеческий голос за тысячи верст слышен, про всякие звезды всё известно, и из одного воздуха все добывать можно, и даже сахар! А работать будут только одни машины. Многого понабрался Безрукий на прогулках, когда, на веселом огоньке,

на кизиловом пруту, поджаривал шашлычки из молодого барашка, и, со стаканчиком красного, сам весь красный, довольный, что живет в такое славное время, с такими образованными людьми, подкидывал к общему тосту и свой рев-голос — во славу еще лучшего будущего.

Помереть с голоду ему и детям?!. Немыслимо. Не допустят. Совсем недавно какие знаменитые господа говорили отчетливо, что постигли теперь все тайны, покорили всю силу земли и скоро раскроют небо! Безрукий любил послушать, душа горела... И было это совсем недавно, даже вот самая та панама!..

И кругом было — как совсем недавно. Те же стояли горы, все ласковые, все разные: голубые, золотые, синеющие к ночи. Те же на них дремлющие леса, и орлы над ними. На яйле ходят барашки, в море гуляет рыба. И виноградники, и дачи, и дороги, — правда, теперь пустые...

Все это было. Но у Безрукого дошли последние запасы, и ему стало страшно. Он перезанимал у знакомых татар что можно, но круг сжимался, и, наконец, сдавило. Стало ясно, что смерть приходит.

Оставалось последнее — сходить в горы, к дорожному сторожу Григорию Сшибку. Правда, надежды на Сшибка было мало, как на камень, — от слез не треснет. Но бывает, что заговоришь и с камнем.

II

Со Сшибком у Безрукого было старое знакомство, деладелишки. Возил, бывало, Безрукий веселых господ к «Торчку», к высокому камню на опушке, неподалеку от дорожной казармы, — «глядеть луну». У Сшибка брали вина и молодого барашка, были у него красавицы дочки, а может быть, и не дочки, — Безрукий в метрики не глядел, — наливали гостям в стаканчики... А в прохладной казарме было с приятностью ночевать на горном душистом сене и встретить в горах утро. В те времена немало таки перепадало Сшибку. Знал Безрукий, кого повести ночевать в казарму, кому намекнуть про девочек-хохлушек, что вот, с неделю, приехали погостить к папаше «с-пид Катэрынослава». Понятно, гулять теперь на луну не ездят, и дочки куда-то сплыли. Но казарма и Сшибок — были.

Встретил как-то Безрукий Сшибка, на берегу, у моря. Вспомнили прежнее, поговорили...

Забирал Сшибок у татарина на базаре соль.

— Пищишь, Рыжий?.. — швырнул обычно, через плечо, Сшибок.

— Запищишь... другой месяц с детьми без хлеба...

Быком поглядел Сшибок, как отмерил.

— Хлеба нема — соль лопай. Вот и покуповаю. Що?.. — повел он по-лошадиному, белками, — шляпа одна с тебэ оста́лась да букиньварды... як у кобеля хвист! С господишками бы тикал, а ты с дурнями скулить остался?..

Безрукий поостерегся спорить: все надумывал, как бы заговорить о хлебе.

— Что ж, с господишек и тебе перепадало... — сказал он робко, — каждому человеку надлежит питаться...

— То воно у старину було, у глупое время! А тэперь... каждый и шоб трудом... камнем а то колом! — усмехнулся усами Сшибок. — Лихо же твое дело, слесарь... Уси замки посбивалы, а новых повесить не на чого!..

«Сыт, коли зубы скалит», — подумал в сердцах Безрукий, а сказал покорно:

— Главное, рука у меня одна...

— У волка и той нету, а воет весело!

— Все ты веселый, и шея, что у быка! От тебя все отскочит...

— Було́, ще и бодался! А тэперь и сам на роги попался.

Безрукий оглянул его с бараньей шапки до сапог: все такой же, — верстовой столб, чугунный!

— Некому тут с тобой ровняться... — польстил он Сшибку, надумывая о хлебе. — И теперь на горах живешь, ни перед кем головы не клонишь...

Тут он вспомнил про важное и таинственно заморгал Сшибку.

— Еще чого?..

И прежде, бывало, не любил Безрукий, как выкатит тяжелые глаза Сшибок, а тут и совсем перепугался.

— Да так... болтают...

— А ты... добалтывай! Чего такое?..

Мигнул Безрукий: подальше отойти надо, татарин слышит.

— Из дружбы, Григорий, предупреждаю... На Перевале, будто... шибко обижать стали?..

— Ну?!.

— Ну... и тебя словно называют... зря, понятно...

Повел Сшибок зубами, потер, как лошадь.

— На-зы-ва-ють?.. — сказал он глухо, метнув бровями, — подалась даже шапка. — Награбили с господишек, прожрали, дохнуть... а я — гра-блю?! Кто это тебэ говорил... я тэбэ уважу?

Понял Безрукий темное в глазах Сшибка. Дрогнула в нем душа, шепнула ему: не надо! Но Сшибок держал клещами:

— Кто тэбэ... говори! уважу?..

А голод сказал: даст хлеба! И сказал Безрукий, что говорил так про Сшибка старый печник Семен Турка. И понял, что губит человека.

— Семен Турка... Ладно! Вот, на Кузьму-Демьяна, последнего барана режу, солить буду! — объяснил про соль Сшибок. — Заходи у гости, Рыжий... поделюсь требушинкой. А там... подыхать будем!

— Конь па-дыхал, кароши чилавэк па-мирал... а твой деньга балшой, пашаница в камни ховал, наш турэцки золото татар мынял! — жилами закричал татарин, языком зацокал: — Це-це-це... па-дыхал?! Весь горы знают, какой правда!..

Зашумел Сшибок на весь базар. И пустой был базар, а ближний народ собрался. Поднял Сшибок черный кулак, как молот, и грохнул о прилавок, — запрыгали все гирьки.

— Горы знають?! А того знають, где кровные мои гуляють?! Уси капиталы девчонки-сучонки мои позабырали, с господишками за море укатили!.. Зна-ють?! Тэпэрь с голоду подыхать приходить?..

— Издох мышь на мука, весь мышь плакал! — кричал татарин. — Па-гади... я тебе сказал!.. Пришел лигушк к маравей, га-лодни...

Не дал ему говорить Сшибок:

— Уси добрые люди знають, какие у мэнэ дочки... до последнего кругляка позабырали! Вот этот человек знает, Рыжий... Ну, какие у мэнэ были капиталы? Ну?!.

— Да какие ж у вас могуть капиталы... трудовые! И те в викуацию позабирали... — поддержал Безрукий.

— Па-гади, я тебе сказал... Пришел лигушк к маравей...

Опять не дал говорить Сшибок:

— Какой мыш на мука подох? Татарский!.. Измору нашего ждете, коневья жила?! Мы с голоду подохнем, а гололобые в шиш-беш свой играть будут, нашими костяками у кофейнях? Я двадцать годов камень этими вот бил, дороги чертям чинил... а они теперь на моей крови кататься будут?..

А люди поддержали:

— Известно, теперь нас всякий татарин обидеть может!

— Йёххх!.. — крикнул татарин сердцем. — Ну, какой твой правда?! Все жил, руски жил, татар жил... Я видал, кто жил-обижал! Теперь стал-падыхал... татар обижал?! Йёххх!..

Понес соль Сшибок. Безрукий за ним поплелся.

— Есть у меня, Григорий, брюки замечательные, черного кастора... от старинного времени, когда еще с господишками гулять ездил...

— Подарить мне хотишь, чи що?

— На мучку бы посходнее выменял...

Круто остановился Сшибок, так и ударил взглядом.

— Ты чого мэнэ голову морочишь... ты що, смеешься?! Сказано тебэ, рыжий черт... во-от дошло! Шо я вам, дьяволам... мырошник сдался?!

— Да я по дружбе... — поник головой Безрукий, — хорошему бы человеку... Татары за ничто схватят! Понесу завтра Амиду, набивался...

Шагал и шагал Сшибок.

— Семен Турка?.. И люди были?..

— Которые тут слыхали... Ну, я ему... Сколько, говорю, годов я этого человека знаю... говорить так оскорбительно не годится! А которые грозились. Мы, говорит, с солдатами дознаем... коротким правом...

— Поглядим, у кого короче! Собаки-воры... Я ихних никаких правов теперь не знаю! Сидел на горах — и буду! Чего за хлебом ко мне на карачках ходят?.. Почему допрежде не голодали, собаки хлеба не поедали?.. Ку-да его, суки-ны сыны, прожрали?! Да их, проклятых!.. — скрипнул зубами Сшибок, — пущай уси до единого подыхають, як черви на дороги... Попировалы, тепэрь у хряка лизать горазды! А, растереблю всю муру, на степу подамся, на родину... мне на степе вольней будеть. А ты, в случае чего... уважу.

— Да я... я, Григорий... от древнего времени... черного кастору... — обрадовался Безрукий, до слез проникся.

— Ладно, загляни на Кузьму-Демьяна. И брюки мне, пожалуй, необходимо важны, на родину не в чем ехать, оборвался... — сказал Сшибок, поигрывая глазами. — Заходи. Может ще и бутилочка найдется... на прощаньи! Бывало время...

Суров был Григорий Сшибок, душою темен, а видом — цыган цыганом: высокий, огнеглазый, черный, торчками брови, рука сухая. Знал Безрукий, что звонкое золото любил Сшибок, турецкое и наше; что ходили у него барашки с татар-

скими на яйле. Менивал у него на муку Безрукий всякого добра с хозяйской дачи, — Сшибок всему находил место. На берегу с голоду помирали, а он сидел на горах, и жалованья ему уже не платили, а он жил и жил бобылем в казарме.

Расстались они дружно.

И хоть никаких штанов не было, и сказал про штаны Безрукий, только бы зацепиться, — все же пришла надежда. По старому-то знакомству хоть полпудика ячменьку даст Сшибок: и на родину уезжает, и обещал требушинкой поделиться...

Стало уж и совсем круто. С неделю жили одним пареным кизилом, и Безрукий почувствовал, что слабеет. Наконец, дождался: подошло первое число ноября, Кузьмы-Демьяна, — идти на поклон к Сшибку. Раз уж он поднимался к нему, на девятую казарму, на двадцать третью версту, за Перевалом, — и не захватил дома.

И вот, на Кузьму-Демьяна, когда собирался Сшибок барана резать, пустился Безрукий за требушинкой в горы.

Тому с неделю убили на Перевале старого печника Семена Турка: камнем убили в голову, ограбили и раздели. Нес он муку со степи.

Страшно было Безрукому идти к Сшибку, давило душу. Но голод гонит. И про брюки, черного кастора, вспомнил...

«Скажу... нес, да на Перевале отобрали...»

Подумал: да чего же на мучку выменять? — не даст так Сшибок. Не было ничего. И взял он для прилику, чтобы не совсем стыдно было, последнее, что у него осталось, — паяльник. Все лучше, чем с пустыми руками.

С голоду все темнеет. И в голове темнеет.

III

Вышел он до зари, — еще ярко горели звезды, еще и не начинало светлеть в море. От смутных, спутанных ночью гор — валило тугим и студеным ветром, мотало старые кипарисы. Надел на себя последнее, что осталось: хозяйский сюртук, замызганный и в заплатках, неизносную свою панаму, штаны дерюжные, — из сахарного мешка справил, — и когда-то шикарные, на шнурочках, когда-то оранжевые штиблеты, теперь разбитые до гвоздей и замотанные бечевками. Нес в мешке медный паяльник да крохотную ячменную лепешку. Навязала ему жена детскую долю, — а то заслабнет.

Трудно и зябко было идти в ночь, на ветер, прохватывало до кости и душило, а дороги за двадцать верст, и все — в гору. Но он подвигался твердо, отмеривал шаги счетом.

Чем выше взбирался он по белевшей извивами дороге, больше бледнели звезды, зеленело-яснело небо, ширилось и светлело море. Горы выходили из ночи и придвигались.

Прямо — дымный в рассвете Чатыр-Даг, великая каменная Гробница. Пустота — в глубине его. Слышно, когда кони стучат копытами. Знал ту гулкую пустоту Безрукий, — провалы в камне. Лежит в Гробнице каменный великан, вытянулся в полнеба, сложил на груди руки. Четко виден на озаренном небе. Все такой же. На голой груди его горели костры когда-то, дремали у ног отары. Страхом теперь от него тянуло, тоскою камня.

Правей — веселая Катерин-Гора. Всю дорогу будет она кружиться, показывать пышную грудь и гордую голову Царицы, с крутым челом, круглоликую, с пышными волосами, в диадеме. Всю дорогу будет она вертеться, мутить душу.

К морю — хребты Судакские. Синевато белеют жестью. Один за одним, — цепи.

На сумеречной, глухой дороге, перед неохватными горами, Безрукий почувствовал безнадежность. Даль какая!.. Не добраться. Камень, да пустота, да ветер. Человека не видно. Петухов по заре не слышно.

А день уже занимался.

Море начинало мерцать в тумане розовато-зеленым, рассветным, блеском. Стали оживать горы, играть тенями.

Любил горы Безрукий, но в это утро он уже ничего не видел. Одно видел: серую пыль дороги. Шагал и шагал на ветер, одно и одно думал: хватит ли сил до Сшибка. И все казалось: длинней и круче стала проклятая дорога. А глаз привычно хватал знакомое, в долинах и по высотам, где потрескивали костры когда-то и шипели куски баранины, — в бойком вершинном ветре.

На шестой версте Безрукий остановился.

Шума...

По темным кручам пузырилась серым камнем, желтела глиной, лепилась гнездами Шума, татарская деревня. Несло от нее дымом, мучною гарью.

Пекут лепешки?.. жарят баранье сало?.. Есть еще в Шуме богатые татары.

Тихо было в деревне, — только водой играло в многоводной Шуме. Не слышно было бойкого торкатанья осенних мельниц, раннего скрипа дровяной мажары. Тоской безлюдья тянуло с пустой дороги. Кое-где только, на плоских кровлях,

маячили татары — на молитве. Тускло отблескивая зарей, пузато глазели в небо великие корчаги-печи. Ни одна не дымила, не курилась. Не пекли хлебы в многоводной Шуме.

Безрукий миновал притихшую в утре Шуму и сел у камня, у заколоченной кофейни, под орехом.

Знакомое было место: поили коней, бывало, и ели чебуреки...

Жестянка еще висела:

Кофейня Дюльбер Хаджи Мамут Асафа
Шашлыки
Чебуреки.

Трепало жестянку ветром.

Безрукий вспомнил, как был здесь совсем недавно, подымался на Перевал, к Сшибку, и не застал дома. Отдыхал и тогда у камня, под орехом, и вел беседу с почтенным хаджи Мамут Асафом, — про Сшибка и про пшеницу.

Или — не был?.. Или — во сне то было?..

Жаловался, будто, старый Мамут на Сшибка, повторял все — «жадный, рука сухая!» Жаловался, как ходил покупать у Сшибка мешок пшеницы, отдал последние турецкие золотые, — кровь жизни. Жаловался еще, что отняли у него пшеницу на Перевале, — последнюю кровь жизни. Жаловался еще, что опять с берега приезжали, золота добивались, убивать грозились, последнее позабрали, что осталось: и пару коней, и персидские седла, и серебряные уздечки, и кукурузу. Сидел, погнувшись, на порожке пустой кофейни, и все потирал у сердца. А с гор дуло.

— Шашлыки
Чебуреки... —

Увидал Безрукий на жестянке, — и ему вспомнился крепкий чесночный запах шипящих в бараньем сале чебуреков. Вспомнился до того ярко, что от голода замутило и пошло драть по кишкам когтями. Потемнело, позеленело в глазах от боли, — он пригнулся и затих у камня...

Уснули боли, — и он увидал желтую сень ореха, а на пороге пустой кофейни — почтенного Мамут Асафа.

Скучный, в сером халате, сидел Мамут, руку держал у сердца. Пожелтел и больше подсох Мамут. А видел его Безрукий совсем недавно...

— Селям алекюм, хаджи... — ворочая языком, как камнем, проговорил Безрукий и приложил руку к сердцу.

— Алекюм селям, — печально сказал Мамут. — Куда ноги твои глядят? Дорога — камень. Камень крепкие ноги любит, слабые не пускает...

— Не дойти, заслаб... — дремотно сказал Безрукий. — А надо. Никак нельзя не идти... дети...

Стал говорить Мамут, как совсем недавно, когда шел Безрукий на Перевал, к Сшибку, а Мамут сидел на пороге своей кофейни и потирал у сердца. А с гор дуло.

— Плохо, плохо. Скучает сердце. Незачем отпирать кофейни. Ни товару, ни проезжих. Добрые люди не ездят по дорогам. Пришли волки, грызут до сердца. Злая вся жизнь стала. Коней взяли, барашков взяли, седла в серебре взяли, последний мешок кукурузы взяли. Кровь жизни взяли. Хлеба нет — ничего нет. И в Шуме плохо. В бедных домах лежат камнем, в богатых не спят, боятся. И татары ворами стали. Скоро убивать будут. Скоро всем смерть будет.

От слов Мамута Безрукому стало страшно, и он заторопился.

— Никак нельзя не идти... дети. А то лежал бы. Иду к Сшибку, на девятую казарму, на двадцать третью версту... Барашка обещал резать, требушинкой поделиться... Дал бы хоть трошки хлеба...

Поник головой Мамут, потер у сердца.

— Камень. Камень не дает хлеба. Сшибка все горы знают. Рука сухая. Знаю Сшибка, пшеницу запрятал в камни... Золото ему за хлеб носят. А чего ты несешь?..

— Несу...

И Безрукому стало стыдно.

Он пошарил в пустом мешке, вынул паяльник и стукнул клинком по камню.

— Вот, несу...

Покачал головой Мамут.

— Железо ему несешь. Золото ему носят!..

— Паяльник это... — уныло сказал Безрукий. — Орудие для хозяйства. Еще с Одессы, от древнего времени, когда паяли... Рубль серебром стоил, на пуд хлеба!..

— Железо ему несешь... — повторил Мамут. — Зерна́ не бросит, рука сухая. Черный он теперь ходит, ищет... всю пшеницу забрали у него из камня... всё забрали...

— Все... забрали?! — в страхе вскричал Безрукий. — Кто тебе сказал, хаджи?

Отворотился Мамут, будто глядел на горы.

— Хаджи?!.

— Сам говорит... вон он!

К горам поглядел Безрукий. Пустые стояли горы. Не было нигде Сшибка.

Солнце встало над Судакскими цепями краснотуманным шаром. Улегся ветер. Бурлыкала вода в камне. Дремалось под золотым орехом...

— Надо... надо идти... — через силу сказал Безрукий. — Что-то как кости ломит... А надо... дети...

Он потянулся сладко и привалился к камню...

Подошел к нему Сшибок, высокий, в высокой бараньей шапке, лицом черный, худощавый, жесткий. Повел жутко, по-лошадиному, белками.

— Давай паяльник!

Взял паяльник и крепко ударил в камень. Брызнули в глаза искры, раздался камень, а там — насыпано и насыпано пшеницы! Затрясся Безрукий, запустил руку по плечо в сыпучую пшеницу, закрутил — закрутил дотуга... Потекла пшеница промеж пальцев, — перловая, золотая...

Ушел Сшибок в кофейню, за Мамутом. Из темной кофейни полыхало горячим чадом...

Хотел Безрукий пойти за ними, толкнулся и ушиб голову о камень. Осмотрелся...

Желтая сень ореха, за ней — синее, дневное небо. Не было на пороге Мамута. Закрыта была кофейня.

И не знал Безрукий: был ли Мамут и говорил ли, — или привиделся, как Сшибок и пшеница.

Солнце стояло высоко над морем, текло золотым потоком сквозь сень ореха, — струилось в камне, рябило в глазах от света. С Шумы тянуло густою гарью, будто пекли лепешки на бараньем сале или палили кости.

— По солнцу во-он бы теперь где быть! — оглянул Безрукий рыжие леса под Перевалом.

И поднялся.

Багряно-золотые чащи лесов под Чатыр-Дагом пылали на полном солнце. Сквозь дымку, дневная, солнечная, вся голая, нежилась сухим камнем веселая Катерин-Гора, еще не обернувшаяся царицей.

IV

Под высокой крутой скалой, рыжей на синем небе, в гуще кустов, к дороге, влажно шумел источник.

Знал Безрукий слова из золотых жилок на сером камне, — живые слова Корана. Спали слова на камне, и не вспомнил про них Безрукий. Припал к камню горячими губами. Пил сладко, долго...

И вдруг увидал в ажине: серая курица... глядит красноватым глазом!

Он поднял камень...

Глядел из ажины камень. Краснел ягодою шиповник...

«В глазах рябится?» — оторопел Безрукий, приглядываясь к камню.

И его охватила слабость.

Он дотянулся рукой до камня: камень! И за ажиной — камень, стеной поднялся. Синело над нею небо.

Он присел у воды, подумал, — и съел лепешку. Сладко шумел источник...

В дреме шепнуло:

«А надо идти, надо...»

Не было сил подняться. Но он одолел слабость.

Ломило глаза яркой, сухой дорогой, — кололо солнцем. Кусты и камни манили прохладной тенью, но он подвигался, меряя шаги счетом. Все камни были похожи, все кочки щебня, поросшие колкой сушью, все серые вешки телеграфа, на ржавых рельсах. Кусты дубняка и граба — все были рыжи, шершавы, сухи, — томили сушью.

Катились на гальке ноги.

Ржаным караваем лежал при дороге камень. Признал Безрукий: смотрели отсюда море! Великой синью дремало оно на дали. Но он не взглянул на море, а заглянул вперед, кверху.

Чатыр-Даг мягко светился лоском осенних пастбищ. Россыпью редких камней серели по ним отары. Струилось марью над рыжими лесами, дымилось ладаном у Гробницы. Вправо — веселая, золотая, на синем небе, нежно курилась в солнце рождавшаяся из камня Гора-Царица. Перед нею парили орлы тенями.

Все камни глядели мягко.

Безрукий тащился по жаркой пыли, валился на острый щебень, поросший сухим бурьяном. Звенело в сухом бурьяне. Лежал и глядел на море. Осело оно, катилось туманной далью, синело в ветре.

Глядел на берег...

Белелись внизу скорлупки. Вывелись, улетели птицы, — одни скорлупки.

Туманный берег...

— Куда девалось?!.

К горам поглядел Безрукий... Даль, высота какая!..

— Не подняться...

Гора-Царица казала золотой гребень. Скоро, живая, взглянет. Вихры и щели, где когда-то жарились шашлыки, — пропали. Знал Безрукий извивы-петли, — много их будет по дороге! — и совсюду видна она, обманывающая близью. И за Перевалом — та же. Так же будет кружить-вертеться, манить и томить далью.

А люди — куда девались?

Одна дорога. Пустые петли. Ни единой букашки-точки. Ни постука. Ни звука.

Леса.

С провалов, с глубоких балок, из золотистой глыби, где дна не видно, — тянулись буки. Гладкие их стволы казались — из серебра литыми, звонко сияли солнцем. Сквозь золоченые их короны синью дымилось море, серо глазели камни.

На перекрестке лесных дорог тропы сбегали в балки. Безрукий взглянул на солнце: пошло за полдень. Дорога томила сушью, тропы манили тенью. Тропами ближе...

И он повернул на тропы.

Тропы терялись в балках, ползли на взгорья, вползали в чащи. Чащи душили мятой, взгорья горели камнем, томили жаждой.

Безрукий валился в балки, всползал на взгорья. Тропы опять сползали...

С гребня открылось море — едва синело, курилось дымкой, пустело далью...

На золотистом море широковерхих буков — на золотой порфире, Гора-Царица лежала грудью, — близко-близко. Знал Безрукий эту обманку камня. Великая до нее долина — провалы, леса, балки. Над ними орлы летают.

Помнилось: где-то вот тут — Ай-Балка, четыре версты до Перевала, а в ней — источник.

И он свернул поискать источник.

Опять и опять скатывался он в балки, всползал на взгорья, — не было нигде Ай-Балки.

Он взлез на высокий камень, откуда далеко видно. По рыжему дубняку синело. Полоска дыма?..

— Чабаны? — спросил он полоску дыма.

И понял, что там-то и есть Ай-Балка.

Он вспомнил глухую прорву, выбитую потоком в камне. Знали ее одни чабаны. Сюда он редко водил приезжих — смотреть «Три Камня». *Покоем* стояли камни. Шайтан поставил! — сказали ему чабаны.

«Чабаны... А где отара? Отары пасутся выше... а тут все чаща...»

Не было силы думать. Вода в Ай-Балке!

Опять он спускался в балки. Терялась полоска дыма. Вползал на взгорья — синела полоска дыма. Дикий кизил, ажина, цапкое держи-дерево, все обитатели горных балок рвали его за платье, выхватывали заплатки. Корни, пеньки и камни, спавшие в сухих листьях, путались под ногами, били. В ушах стучало гремучим треском, будто пропавшие на зиму цикады опять явились. И молодые орлы, сорвавшиеся с Царицы, швыряли веселый клекот. Совсюду блестело — красным, зеленым, желтым, — последним осенним блеском, — ходило в глазах волнами.

Безрукий остановился... Горько запахло дымом?.. Ноздри его зашевелились. Тянуло горелым салом?..

Он лег на взгорье.

Прямо из-под него, с таившейся за кустами балки, тянуло густой гарью, — горелым мясом?..

— Чабаны... дадут кусочек... — принюхивался он к гари, — чабаны не откажут. Душу бы отвести — напиться... До Перевала теперь близко, а там и Сшибок...

Пугало его молчанье балки.

— Чабаны... а где ж овчарки?.. Овчарки должны бы чуять...

Безрукий дополз до гребня, вытянул за куст шею...

Через сквозившие сучья граба обрыв на той стороне кручью своей напомнил, что это и есть Ай-Балка.

— Чабаны?..

В глухой глубине Ай-Балки, «Медвежьей щели», дымился костер у камня. Сидели двое, в бараньих шапках. Жарилось на огне баранье мясо, — сладко тянуло чадом.

Безрукий закрыл глаза... — баранье мясо!

— Уж не мерещится ли опять? — подумал.

Опять заглянул, — все то же: курился костер у камня, пахло горелым мясом, сидели двое — в бараньих шапках.

Чабаны?..

— Не чабаны...

По одежде — то были не чабаны.

Не было бараньих курток, с серебряными застежками — гремками, круглыми и тяжелыми, как яйца, ни длинных,

крюками, палок, — хватать баранов; ни цветастых рубах под кафтанами. Не лаяли чуткие овчарки. Не слышалось голосов отары.

В тревоге смотрел Безрукий... Не знал, — окликнуть?..

— Бандиты?.. Теперь по горам их много...

Смотрел — боялся. Тревожно взглянул на солнце: ушло далеко за полдень.

Подумал: а что — бандиты! еще накормят...

От сытного дыма замутило, — и он, хоронясь за грабом, робея, крикнул:

— Братцы!..

Сидевшие у костра вскочили.

Высокий, в бараньей безрукавке, схватил винтовку. Другой, с рукою на повязке, сверкнул кинжалом. Вытянув шеи, искали они по гребню балки...

«Чего-то берегутся?» — думал Безрукий, в страхе.

— Кто там? — тревожно отозвалось из балки.

Окликнул высокий глухо и вскинул ружье — на гребень.

— Свой... — ответил из-за куста Безрукий. — Меня все татары знают!

И показал на пустой рукав:

— Вот, глядите...

Знали его хорошо под Чатыр-Дагом: красно-рыжий, как садовый кизил, безрукий.

— Сходи... твою мать!.. — крикнул, виляя ружьем, татарин.

— Братцы!..

И Безрукий упал за грабом. Хлопнуло гулко снизу и раскатилось в балках. Срезанный сучок граба хлестнул по лицу с визгом.

— Сходи!..

— Братцы... не обидьте!.. — поднялся из-за кустов Безрукий.

— Сходи, собака!.. — крикнул другой татарин, грозя кинжалом.

Оба следили, как он валился кустами в балку. Сыпались за ним камни.

V

Сорвавшись с последнего уступа, Безрукий упал на гальку и, шатаясь, пошел к татарам. Высокий держал винтовку.

— Один? — спросил он с усмешкой.

— Один... безрукий...

— Чего тебе здесь дорога?!.

— Воды поискать свернул... Меня все татары знают.
— Куда идешь, шайтан?
— За хлебом, на девятую казарму... к Сшибку...
— К... Сшибку?!
— К нему...
— Йейййй! — словно завыл татарин, блеснув глазами. — К собаке?!

Другой подошел вплотную, пряча за спиной руку, — готовился что-то сделать. Безрукий поймал его нехороший взгляд и закрылся мешком от страха.

— Не обижайте... — взмолился он, стараясь поймать их взгляды; но взгляды были неуловимы.

Но он понял: без слов решали его судьбу татары. Решил высокий:

— Погоди, узнаем.

Другой отошел покорно.

— К Сшибку? — спросил высокий. — Идешь... к Сшибку?
— Голод погнал... за хлебом...
— Хлеб с ним, собака, делишь?.. — прыгнул к нему татарин, взмахнув кинжалом.

Безрукий метнулся по-собачьи, упал и завыл от страха. Панама его свалилась.

— Падаль! — пнул татарин ногой и поднял камень.
— Постой, узнаем! — опять удержал высокий.

Безрукий и не видал, что было.

Когда затихло, он поднял голову от земли, нашел и надел панаму. Страшное прошло мимо. Татары сидели у костра, курили. Шипело на углях мясо, дымок курился...

Безрукий потер глаза, — все то же: камень, татары, мясо...

Крепкие были парни. Высокий, с красивым лицом татарина генуэзской крови, — знал различать Безрукий, — загоревший до черного блеска меди, вертел над углями шомпол с кусками мяса. Через всю его щеку и по шее тянулся кровавый шрам, присыпанный чем-то серым, — порохом ли, золою. На нем была синяя куртка под безрукавкой, синие штаны в обтяжку, щеголеватые сапоги желтой кожи, с хлыстом за голенищем, и барашковая шапочка джигита. На руке, в которой он держал шомпол, сиял широкий золотой перстень, с бирюзой в голубиное яичко.

Этот широкий перстень напомнил что-то, и лицо татарина показалось Безрукому знакомым. Но где он его видел — не мог припомнить. А где-то видел?..

Другой, кряжистый, широкоплечий, был настоящий монгол, скуластый и косоглазый, с размятым, ноздрястым носом. Лохматая папаха, серого барана, задвинутая за выбритое темя, лихо сидела на затылке. На нем были нанковые штаны, зеленая, солдатская, рубаха, подтянутая уздечкой, в серебряном наборе, обмотки и горские постолы из сыромятной кожи. Он сидел, привалившись к камню, и все пожимал и гладил подвязанную руку: должно быть, сильно она у него болела.

Безрукий понял, с какими людьми столкнулся.

— Поранились, напоролись где-то...

Из-под куста, за камнем, выглядывали чьи-то ноги, босые, в раскрученных обмотках, и ерзали, как от боли. Слышалось, — будто стонет? Безрукий увидал ерзавшие ноги, ясно услыхал стоны и понял, что это *ихний,* — больной или раненый товарищ.

«Бандиты, — подумал он, — берегутся чего-то в балке».

Татары сидели молча. Шипело на углях мясо. От острого его духа больше томила жажда.

— Попить бы... — с трудом выговорил Безрукий и сделал горлом, как будто его душило.

— В море поди попей... — сказал скуластый, ощерив зубы, и поглядел по-волчьи.

Татарин с перстнем тоже показал зубы, усмехнулся, достал из куста бутылку, налил вина в жестяную кружку — и неторопливо выпил.

— Поднес бы, да самим мало! — подмигнул татарин — и кого-то опять напомнил. — Много ты вина попил, знаю...

«Татарин, а вино дует!» — подумал завистливо Безрукий и поглядел на татарина с мольбою.

— Братцы...

Татарин блеснул зубами, налил еще и понес за камень. Ноги быстро заерзали, словно от жгучей боли, и послышалось, как глотает.

Ноздри Безрукого зашевелились, глотку его схватило спазмой, и он опять сделал горлом.

Татарин вернулся из-за камня, взглянул с усмешкой, налил еще — и протянул монголу. Тот пригубил и выплеснул за камень.

— Попить, братцы... — робко сказал Безрукий и приложил руку к сердцу, как делают татары, но татарин не захотел слушать.

— Что, Рыжая Обезьяна... — сказал он злобно, — все еще по горам гуляешь? с приятелем-то все дружишь?..

От его голоса у Безрукого зашлось сердце. Он понял, что татарин его знает; но кто он такой, — так и не мог вспомнить.

— Что у тебя в мешке? какие несешь подарки? Друзьями были! Молчи, знаю!..

— Никак нет... не были друзьями... — робея, сказал Безрукий. — Грабил он меня только... Спросите кого угодно, горе злое к нему погнало... голод...

— За хлебом к нему идешь?

— За хлебом...

— А хлеб он сеял?!.

Безрукий смолчал; не понял: к чему это спрашивает татарин?

— Ты отвечай!.. Хлеб он... се-ял?!.

— Да нет... запасцы у него, сказывали, были...

— Ты все знаешь... А знаешь, дорого ему хлеб-то достается? чем он за него платит?.. — через зубы сказал татарин. — Должно быть, дорого! Золотом за пшеницу получает... Не знаешь?

— Не знаю.

Татары засмеялись, и от этого смеха Безрукому стало жутко. Он отмахнулся головой, — да *верно* ли все, что видит? — в испуге вспомнил, что там его ждут, у моря, поднялся и попросил робко:

— Дозвольте идти... братцы... Дети! с голоду погибают!..

— Нет, уж ты посиди немножко, потолкуем... еще обедать будем... — мотнул татарин на шомпол с мясом. — Пришел в гости — садись к обеду! Так бывало.

— Братцы... — начал было Безрукий — и поперхнулся спазмой.

— Погоди, все будет. А ты как же... с пустым мешком да к нему за хлебом? С пустыми руками только к друзьям ходят. Как же, не друзья вы? Или золото несешь, в мешке-то?.. Покажи, посмотрим... Ну?!. — поднял татарин шомпол.

— Вот... последнее ему несу... — сказал, застыдясь, Безрукий и вытряхнул из мешка паяльник.

— Мо-ло-ток!.. — крикнул джигит монголу.

И оба засмеялись.

— Паяльник... — сказал Безрукий, — орудие для хозяйства. Нет у меня ничего больше, все проели...

Он сунул в мешок паяльник и заплакал. Высокий татарин усмехнулся:

— В голову молотком бить хочешь? Бей собаку!..

— Он и сам собака! — крикнул монгол. — На одну падаль ходят... Чего с ним думать?!

— А погоди, узнаем... Рыжий хорошо придумал, — в голову бить хочет! А знаешь, где золото он хоронит? Друг все говорит другу... А? не знаешь?..

— Разве у него узнаешь... — сказал Безрукий, стараясь свести разговор на шутку, но у него не вышло: губы разъехались, и он захныкал.

— Ревешь, баба? А хлеб когда делили... небось, смеялся?.. Ничего не знаешь? И золота сколько у него — не знаешь? На нас хватит? Опять не знаешь!.. А ты спроси-ка? Или и тебе не скажет?..

— Он нипочем не скажет... Да я с ним разве?

— Я тебе дам совет. Говорить не станет, — немножко его за горло... Можешь?

Татары засмеялись.

— С ним мне трудно, с одной рукой... — сказал, подлаживаясь, Безрукий, и у него захрипело в глотке. — Попить дозвольте... братцы... голова мутится...

Татары не слыхали.

— Трудно! С молотком не трудно.

— Сами, небось, слыхали, какой... рука сухая...

— А ты — молотком в затылок! да постукай! Скажет, собака, где у него зарыто!..

— У него, говорил... дочки все золото забрали... за море укатили...

— Дочки? В него, золото тоже любят... Небось, плачет? — засмеялся высокий, мигнул монголу. — А ты вот как... ты язык ему потяни, клещами!.. Ска-жет. А не скажет... — гвоздь загони в коленку, вот в это место... — показал татарин, — да не сразу! Скажет!! Вот мы к нему скоро побываем... Так ты к нему... за пшеницей?

— Хоть ячменьку бы... Братцы!..

— Проси пшеницы, у него пшеницы много. Сколько ему на Перевале уродилось... собирал мешками! Сыпать некуда стало — в камни валит! Как же ему с приятелем не поделиться?

Взглянул татарин, — и у Безрукого упало сердце.

— Никакой я ему приятель... кро-шки никогда так не дал! Голод к нему погнал... Не даст — подыхать придется...

— Подохнешь раньше! — сказал монгол.

Не понял его Безрукий.

— Детей жалко... всю душу истомили...

Свет заволокло мутью, откачнуло, и Безрукому показалось, — дрогнула, будто, бурая кручь оврага и пошла на него стеною, а с неба скатилось солнце. Он вскрикнул и поднял руку — укрыться, что ли. Было это — одно мгновенье. Огненным шаром, швыряя пламя, солнце вскочило в небо, легло на рога граба; стала на место стена оврага. Синело дымком у камня. Каких-то двое, сидели в шапках...

Смотрел — и не понимал Безрукий: сон ли, явь ли?

Татары пошептались. Монгол кривился, поглаживая руку, — не соглашался с чем-то, махал кинжалом.

— После. Есть будем... — сказал высокий, снимая с углей шомпол.

Что-то соображая, он оглянул по гребню и тихо сказал монголу:

— Проводишь его из балки... после. А то... не найдет дороги.

И лицо его стало жестким.

Безрукий и не слыхал, что было. Валила его слабость, томила жажда. Он прилег на горячей гальке, глядел на огонь дремотно. Казалось ему, что он в дороге: яркие звезды в небе, хлещутся кипарисы в свисте, валит его с ног ветром; темные стоят горы, тянет от них горелым салом...

— Собака!.. Собака идет по следу!.. Надо! — крикнул монгол, споря опять о чем-то.

Безрукий от крика вздрогнул, открыл глаза, увидал — над костром струится, услыхал мясо, — узнал Ай-Балку. Солнце лежало на самом гребне, плющилось в рогах граба. Чернела под ним круча. Идет время...

— Братцы... идти надо... — жалобно попросил Безрукий. — Водицы найду, дозвольте... С самого утра во рту ни крошки...

Татары не слыхали.

VI

Высокий достал чурек, разломил надвое и дал монголу. Срезал с шомпола шашлыки.

Монгол забрал на кинжал и понес за камень. Ноги опять заерзали.

Потом татары принялись есть сами.

Безрукий жадно смотрел, как они смачно жевали мясо, закусывали чуреком, похрустывали сладким луком; как монгол ловко управлялся, одной рукой, шлепал дымящиеся куски ладонью, лязгал клинком по камню и кидал в рот с кинжала.

Смотрел на них по-собачьи. Рот его налился слюною.

— Ты по-нашему понимаешь, знаю... — почмокивая, сказал высокий.

— Понимаю. Сколько с татарами жил... бывало, водил приезжих, показывал пещеры...

— Татар обманывали, знаю!

— Нет, от меня татары доход имели... гостем принимали. Безрукого-Рыжего все горы знали. Спросите хоть в Шуме, у почтенного Мамут Асафа.. Друзьями были...

— Врешь, собака!.. — вскричал монгол. — Хаджи Мамут!

— Молчи! — оборвал джигит, налил вина и понес за камень.

И опять Безрукому показалось, что где-то его он видел.

Татары кончили есть и закурили. Солнце зашло за гребень, балку покрыло тенью.

— Идти мне надо!.. — опять попросил Безрукий. — Братцы!..

Татары не слыхали.

— Душа горит, попить отыщу... дозвольте!..

— Пойдешь к Сшибку? — спросил джигит.

— Некуда мне больше... помираем...

— Трудно тебе из Ай-Балки выйти! — сказал монгол. — Шайтан не пустит. Идем вместе!..

Он вытер кинжал о шапку и сунул в ножны.

В страхе смотрел на него Безрукий: сузил монгол глаза, — поблескивало из них беловатой искрой.

Высокий татарин отвернулся, глядел за камень.

— Айда! — крикнул монгол, вставая.

У Безрукого похолодели ноги. Он с мольбой поглядел на джигита, — джигит не видел.

— Вставай, говорю! — кричал — торопил монгол, — до Перевала тебе не близко... далёко живет Сшибок!

— Попить дозвольте! — отчаянно закричал Безрукий, — сам отыщу... родничок я знаю!..

— Родник высох, — сказал монгол, — *там* сладкая тебе вода будет... досыта пить будешь!.. Вставай, живо!

— Погоди... — удержал высокий и подмигнул монголу. — Верно, родник высох. Вина не хочешь?..

— Дайте! — крикнул Безрукий и заплакал.

Он ткнулся в гальку, бился в нее лицом, крутился.

— Барашка хочет!.. — засмеялся монгол, встряхивая его за плечи. — Барашка... хочешь?..

Безрукий взглянул, не понимая... — снится?

— Барашка хочешь? — спросил высокий и показал пустой шомпол. — Гостя-то и забыли!.. А чурека... хочешь?..

И показал кусок белого чурека.

Безрукий вытянул к огню шею...

— Дайте! — крикнул он не по-человечьи, приложил руку к сердцу и поклонился.

Голова закружилась, он качнулся и повалился навзничь.

Татары засмеялись...

— Надо ему... в дорогу! — мигнул высокий.

Он пошарил и швырнул Безрукому кость с оставшимся на ней мясом.

— Грызи, собака!

Кость попала Безрукому в колени. Он жадно схватил ее, обнюхал, сдул приставший песок и мусор и стал обдирать зубами. Зубы у него были плохи и шатались, но тут окрепли. Он рвал жилы, давился и взглядывал по-собачьи, исподлобья. Татары смотрели на него с усмешкой, но он не видел. Он быстро оглодал кость, выгрыз хрящи и серую труху мослака и высосал костяное масло.

— И собачьему куску рад... — сказал он, обсасывая пальцы. — Кошек ели, — и тех не стало. Сразу всего решились... Ни правды, ни закона... Страшную жизнь узнали... Чего же теперь-то будет?.. Хуже зверя стали...

— И будем звери! — сказал татарин. — Вот, и будем! по своему закону! своим правом!.. Ну?! — крикнул он, вспомнив что-то, — идешь... к Сшибку?!

— Дозвольте сказать... На берегу меня встретил... требует, — достань мне новые брюки, на родину уеду...

— На родину уедет?! Так и сказал — на родину уеду?!.

Татары переглянулись что-то.

— Уеду... И говорит... последнего барашка для прощанья буду резать... хочу с тобой требушинкой поменяться... Чтобы доставал я брюки... Вот и пошел я к нему... мучки, думаю, выменяю... А Мамут Асафов мне... поразил... говорит нынче... всю пшеницу у него из камней забрали, будто... черный весь теперь ходит...

— Черный ходит?.. — повторил татарин. — Мамут Асафов?!. Говорил тебе... Мамут Асафов?!. Когда говорил тебе Мамут Асафов?.. — быстро спросил татарин.

— Да на заре сегодня... в Шуме видел... у самой его кофейни, под орехом?..

— Врешь, кривая душа!.. — крикнул монгол, выхватывая кинжал. — Умер хаджи, тихий ветер его душе!..

— Как, умер?! — оторопел Безрукий. — Нет... не умер... я его на заре видел... у самой его кофейни, в Шуме?

— Не мог ты видеть! — крикнул — вскочил высокий.

— Нет, видел... у самой его кофейни видел... — растерянно повторял Безрукий. — Говорил с Мамутом! Нет... не умер... Своими глазами видел!..

— А, собака! — вскричал монгол, тряхнул головой по-бычьи, схватил кинжал и бешено пырнул в землю.

— Почтенный хаджи Мамут от горя умер... — благоговейно сказал джигит, смотря мимо глаз Безрукого.

И вдруг, — побледнел до пепла, схватил винтовку...

— Твои!.. проклятые его убили!.. Псы ваши!

Безрукий смотрел в обезумевшее лицо джигита — ждал смерти. Винтовка медленно поднялась, ходила... чиркнула кверху, — лопнуло сухо, с визгом...

— Постойте!.. — вскрикнул Безрукий, стараясь схватить винтовку. — Не убили! видел!!. Не убивайте!.. видел!..

— Не мог ты видеть! Почтенный Мамут умер!..

— Видел! Живой Мамут! Сам говорил мне сегодня... коней у него взяли!

— То раньше было! А после... последнее на Перевале взяли, бандиты ваши!..

Джигит опустил винтовку.

— Когда ты видел почтенного Мамута? Говори правду... или — пуля!..

И будто — страхом прошло по его лицу, тревогой.

— Вот, как перед Богом... Аллах видит... — давясь от страха, проговорил Безрукий. — Нынче, на заре видел! У самой кофейни... сидели, говорили?..

Словно спрашивая себя, говорил Безрукий, и с каждым словом уверенность его слабела.

— ...Полный уж день был... под его орехом... ясно видел...

— Ты... ясно видел?.. — впивался в глаза татарин, — ясно видел!?.

— Да... как тебя вижу... ясно видел?!. — растерянно повторил Безрукий.

И вспомнил, что и Сшибка видел, и пшеницу... и серую курицу в ажине?

Да что же он *верно* видел?

Всполошный крик из-за камня вспугнул тишину Ай-Балки. Татары оглянулись. Крик перелился в стоны. Джигит поглядел за камень. Стихло...

Безрукий смотрел, как бились-крутились ноги.

А это — *верно?..*

Смотрел на татарина, на камень, на кручу балки. Исподлобья глядел на него монгол, сонно дымились угли.

А это — *верно?..*

Безрукий потер глаза, — лежала на глазах сетка.

Или во сне — все это?

Опять стоял перед ним джигит, опять говорил тревожно:

— Ты... видел?!.

— Я тебя... вижу? — сбрасывая сонливость, слабость, спросил Безрукий странно глядевшего на него джигита. — Как... живого видел... Сидел на порожке, у кофейни... руку всё прижимал, к сердцу... Совсем живого... — как во сне бормотал Безрукий.

— Руку прижимал... к сердцу?!. — крикнул джигит, пугая.

Безрукого оглушило криком.

— Господи! Я же тебя... вижу? Ясно видел... руку держал, всё потирал у сердца... жаловался, что болит сердце...

— Болит сердце? — издалека, будто, сказал татарин. — А ты... почему ты знаешь... про сердце?!. Прижимал руку?.. Две недели, как хаджи умер... Лжешь ты! — крикнул татарин исступленно, — ты его не мог видеть!..

— Видел... — прошептал Безрукий, ощупывая камни. — Мамут умер?.. что же это... душа его мне явилась?

Плыли на глаза пятна, сливались, накрывали. Безрукий быстро потер глаза... — все то же: балка, дымок, татары...

— Душа... явилась?! — всматриваясь в кого-то, тихо сказал татарин, и лицо его стало мягким. — Тебе... явилась?!

— Собаку слушай! — крикнул монгол, — айда!..

— Сиди!.. — крикнул ему татарин. — Ты... видел?!. — схватил он Безрукого за плечи, — как ты видел?.. Говори правду, нужно! Тебе нужно!.. *Как* ты видел?..

И он опустился рядом, скрестил ноги.

— Не трону тебя... скажи правду... видел?..

— Да я же... самую правду... видел!.. — во сне говорил Безрукий. — Как же ты говоришь... Мамут умер?

— Сейчас говори... видел?!..

Татарин вскочил и опять побледнел до пепла.

— Не мог ты видеть!..

— Я тебе говорю! — крикнул — вскочил монгол, — на Перевал ему надо!.. Оба они собаки!.. Идем!..

— За-чем?! — закричал, вне себя, Безрукий. — Зачем неправду!.. Я почитал хаджи, святого человека... такого по горам не

знаю... Справедливый хаджи!.. На самой заре, у кофейни видел!.. говорили! Да что же это... душа его мне явилась?

— Как с тобой говорил хаджи? какой был хаджи?..

И Безрукий сказал, как видел Мамута под орехом и о чем говорил с Мамутом.

— Как вот... живого видел!.. Постарел только шибко и похудал... и скучный...

— Скучный? — тревожно спросил татарин.

— Скорбный... — повторил Безрукий и увидал: голову преклонил татарин.

— Почтенный хаджи от черного горя помер... — тихо сказал монгол и тоже преклонил голову. — Черное горе сердце его убило...

Татары сидели молча, преклонив головы. В глухой тишине Ай-Балки явственно отдавались стоны, тянулись из-за камня; да в угасшем костре потрескивали угли.

— Всех убило... — сказал Безрукий.

— Молчи, падаль! — крикнул монгол, взрываясь. — Святой был хаджи... а ты — собака!..

Безрукий поник и поглядел на джигита. Лицо джигита угасло, потемнело, между бровями легла морщина, — и тут-то Безрукий вспомнил, на кого был похож татарин: на старого Мамута! И перстень Мамута вспомнил, с памятной бирюзой в яичко, и взгляд Мамута, и его усмешку. И понял, что Усеин это сын Мамута.

Знал его Безрукий еще мальчишкой, у отца в кофейне, брал его при конях в горы. Но это в давнее время было. Столько всего случилось! Ушел Усеин в солдаты, изменился. Был татарчонок, худой и рваный, — вырос теперь в джигита, — не узнаешь.

Признал Безрукий. Но что-то ему сказало, что узнавать не надо.

— Идешь к Сшибку... — нарушил молчание татарин, будто на свои мысли.

— Некуда мне больше... Чую, не даст он хлеба...

— Не даст хлеба? — усмехнулся нехорошо татарин. — Чуешь?.. Ну... даст мяса!

— Обещал... требушинкой поделиться...

— Требушинкой? А требушинки не даст?

— Не знаю... — растерянно поглядел Безрукий.

— Тогда... вытряхивай из него! вот, молотком-то! Бери за горло!..

— Закон не дозволяет...

— Бей! — бешено закричал татарин, ожег глазами. — Теперь никакого нет закона! Хлеба нет — закона нет, бей!..

— Йейй! — вскрикнул дико монгол и провел по кинжалу пальцем. — Айда, на Перевал тебе надо!..

От его вскрика и от того, как провел монгол по кинжалу пальцем, Безрукого пронизало дрожью. Он с мольбой кинулся к джигиту, но джигит оттолкнул и погрозил монголу:

— Без тебя выйдет!

Монгол вздернул плечами, осмотрелся...

— Собака идет по следу!.. убей собаку!.. — яростно закричал монгол и погрозил на море. — Из одной стаи падаль!..

Джигит думал.

— Знаю! — сказал он властно. — Сиди, знаю.

— И я знаю! — крикнул монгол, сжимая больную руку, и сел у камня.

Безрукий понял глаза монгола. Мысли его мутились. Он закрыл рукою глаза и попросил чуть слышно:

— Не мучьте... водицы дайте...

Джигит думал.

— На заре сегодня... ты говорил с Мамутом?

— Говорил...

— И хаджи сказал... — не даст *тот* хлеба? — с усмешкой спросил татарин. — Так и сказал, — камень?!.

— Сказал... камень не даст хлеба...

— Камень?!. И еще сказал?

— Да, камень. А еще... что сказал? Да... черный ходит, пшеницу у него всю...

— Так и сказал... — черный?!.

— Так и сказал...

— И — всю пшеницу?

— Все забрали...

— Святой хаджи!.. Помни! Святой хаджи!..

И лицо джигита посветлело.

Он взял из куста бутылку, отбил шомполом горло и налил в кружку.

— Пей. Святой хаджи!

Безрукий подполз к огню, — как и на пикниках когда-то, — и, расплескивая, взял кружку. Он хотел сказать что-то, но — с жадностью, залпом, выпил — и задохнулся.

— Пей! — налил еще татарин.

Безрукий выпил и закрутил головой, от наслажденья.

— Пей — и помни! Святой хаджи!.. — вылил ему последнее татарин.

Глядел на Безрукого монгол от камня, узил глаза, поглаживал — давил руку... Но Безрукий его не видел. Он ничего не видел. Рот его растянулся, глаза блуждали.

— Иди!.. — крикнул к горам татарин.

Безрукий сидел — не слышал. Вино унесло тревогу, связало ноги. Вино бодрило. Балку налило солнцем. Хотелось сидеть на людях. Хоть и ругались, а ничего — жалеют. Раньше в солдатах были, теперь — бандиты... Теперь уж и все — другие! Свои, из Шумы... Что-нибудь и еще уделят.

— Покурить бы, братцы?

Но он ошибся.

Прыгнул к нему монгол и яро швырнул на землю. Безрукий видел, как рука сунулась за пояс, — и закрылся мешком от смерти... Высокий не дал: он пнул Безрукого сапогом и крикнул:

— Беги, падаль!..

Безрукий метнулся через кусты, не чуя за собой криков. С крутого откоса он сорвался и побежал вверх, по балке. Балка сходилась щелью, стены ее срывались. Он побежал по щели. Путались в ногах камни, намытый водою хворост. Узкая щель давила, кусты хлестались, цепляли, рвали. Щель, наконец, сомкнулась, вывернулась тропинкой. Тропинка юлила в чаще...

Безрукий и не заметил, как провалилась за ним Ай-Балка. Одно в нем билось — бежать и бежать надо. Он прорывался чащей, не разбирая, куда приведет тропинка, вскочил в забитое голышами русло спавшего до зимы потока, споткнулся, упал на камни... Как будто кричали сзади?

Он послушал: трещало в чаще? Страх погнал его дальше. Он поднялся с сыпучей гальки и явственно услыхал топот. Кусты рванулись, и на краю потока появился с ружьем татарин. Связало ноги, — и Безрукий остался на коленях.

— Стой! — крикнул татарин, целясь.

Безрукий стоял и ожидал удара. Путались в глазах пятна — плескавшееся за кустами солнце, желтые сапоги джигита... Они мелькнули, хряпнули голышами, побежали, остановились, вдавились в гальку...

— Ты! — запаленно крикнул, замахиваясь ружьем, татарин, — помни!.. слово скажешь, что видел... живым зарою!..

— Что ты... Усеин... что ты... — забормотал Безрукий, немея от его взгляда.

— Убью! — зубами крикнул татарин и замахнулся камнем.

Безрукий ткнулся. Тяжелый камень стукнул по голышам, рядом.

— Валялся бы в балке... падаль! — услыхал Безрукий запаленный голос. — Ради отца только... помни!..

Ноги захряпали по гальке.

Когда затихло, Безрукий осмотрелся. Пусто, плещется за кустами солнце.

Было?

Он схватился — и побежал по гремучей гальке. По каменному потоку длинно синели тени. Солнце тонуло за кустами. Застрявший в потоке пень корнями загородил дорогу, Безрукий ткнулся — и выбрался на откос, пугаясь рухавшего за ним камня.

VII

Скоро он вышел опять на тропы.

Вровень встала золотистая Катерин-Гора, снизу и по щелям уже охваченная тенью. Леса пылали теперь внизу. Влево — отступала громада Чатыр-Дага. Край Великой Гробницы затягивало мутью. Россыпью синих камней лежали под ней отары.

В зарослях дубняка и граба Безрукий приостановился, осмотрелся. Катерин-Гора показывала ему дорогу — на серые зубья Перевала. Когтями они висели на синем небе. Под ними леса желтели.

Он взял прямиком, на зубья, по дубняку и грабу.

Падали опять балки, вздымались взгорья, над ними вспыхивал там и там золотистый гребень Горы-Царицы, за серые камни крылся. Да где ж дорога?..

Лежал на пути великий камень, серым горбом вздыбался, — оброс дубняком и грабом, лежал в золотой постели. Безрукий припомнил камень: на пикники ездили, бывало, — Плевок-Камень. Сплюнул его Чатыр-Даг Великий, побил отару хвастливого чабана: «Моя отара весь Чатыр-Даг покроет!» Побил на глазах чабанов. Смеялись приезжие чабанской сказке, а старый чабан Бекир — нет мудрее его по Чатыр-Дагу! — не смеялся: на его глазах было.

И верно: даже ученые признали. Камень скатился сюда с Гробницы, вломился в чащу. Бешеный ход его все еще был заметен: протер по горам широкую дорогу.

Безрукий взлез на высокий камень — осмотрелся. Признал крутую дугу дороги, голую площадку Перевала и погнувшийся черный дуб, вытянувший на полдень побитую ветрами верхушку.

Это был Перевальный Дуб, — заветный, давний.

— Добрался!.. — с облегчением вздохнул Безрукий и лег на камне.

В голове мешалось.

Его давно мучили кошмары, сливались с явью. *Верное* — что же было? Он ощупал мешок, паяльник... Вспомнил, что идет к Сшибку, на девятую казарму, на двадцать третью версту, за требушинкой, за хлебом... Когда же из дому вышел? Вчера? сегодня?.. Не мог припомнить. Стал соображать время... — давно вышел! И ночь шел, и день — все шел. Ярко горели звезды, темные были горы, и дул ветер. Потом... — все солнце?.. Помнилась тихая деревня, на рассвете, Шума... Сидел под орехом, у кофейни, и говорил с Мамутом... А говорили, будто, что Мамут давно помер? Или — во сне все было?.: Помнилось, что сидел у костра, в Ай-Балке, и косоглазый, страшный, провел по кинжалу пальцем... Или — во сне все было? Бежал по щели?

Он еще чувствовал вкус вина, истомой томились ноги. Вспомнились желтые сапоги джигита и страшный голос:

«Валялся бы в балке, падаль!..»

Все вспомнил ярко. И понял, что ушел от смерти.

— Бандиты были... На Перевале грабят... Побоялись, что выдам... знаю... Живут в Шуме...

Стало страшно, — и он перестал думать.

— В горах еще хорошо живут... И хлеб, и барашка, и вино пьют... А — *там?*

Он посмотрел через леса, к низу.

Там — было мутно, сине, — как облака. Он дремотно глядел в туманно-сизую пустоту, где море мешалось с небом. И казалось ему: *там* — сны. Другая земля, не эта: — *тот свет*. Вспомнил, что там ждут дети, за этой мутью, — и сжалось тоскою сердце. И вдруг блеснуло: *туда* уже нет дороги...

И он перестал думать.

— Надо идти... — всполохнулся он, — солнце над Аю-Дагом, часа четыре...

К дороге он вышел на самом Перевале.

В него хлынуло свежим, перевальным, ветром. Всегда они здесь гуляли, — степной и — с моря.

На каменисто-голом, бесплодном месте стоял кривой перевальный дуб, побиваемый ветрами, заветный, давний. Редкие его сучья вытянуло на полдень и придавило, и сумерками казалось, что он, пригнувшись, бежит отсюда, закинув в ветер исхлестанные космы.

Здесь проходили степные орды...

За окаменевшие сучья дуба и ржавые гвозди-крючья, вбитые невесть кем, веками привязывали коней, веками раскладывали костры, — и уходили, оставив по себе память — с подножия принесенный камень. Тысячи их лежали на черном поле, — дымные камни походного огнища, омываемые дождями, заласканные ветром, — все нужные.

Ветер не позволял задерживаться здесь долго: к морю ли, в степь ли, куда-нибудь, — только не оставайся.

Безрукий не задержался.

Он сторонкой обошел дуб, место недавних веселых станов, оглядывая с жутью задымленные камни и головешки, раскиданные ветром. В этом черном кругу огнищ нашли недавно старого печника Семена Турка, убитого камнем в голову. Страхом тянуло с гари, давило душу...

У сгоревшей шоссейной будки, зиявшей пробоинами оконниц, на вершине, Безрукий приостановился: потянуло взглянуть на море.

Солнце уже прошло над морем и стояло теперь над Аю-Дагом, Медведь-Горою. Пригнулся Медведь на лапах — попить в море. Пил он, наставил ухо. Рыжая Кастель лежала под ним муравьиной кучкой, а темный, до неба, Бабуган тянулся за ним горбами, дремуче-дремучим лесом, откуда Медведь спустился.

Безрукий видел, что скоро начнет смеркаться, — дойти солнцу до Бабугана. Пятнышко полумесяца снежно белело над Судакскими цепями, к морю.

Спешить надо...

Дорога побежала книзу. Вечерняя Катерин-Гора близко горела медью. Розовая была на ней корона — высоким гребнем, округлые щеки ее пылали, голая грудь и шея дышали тенью. Над золотившимися вечерними лесами дремотно глядела она в долины.

Безрукий ее не видел. Вертелась под ним дорога, бежала винтами книзу, в золотисто-прозрачной тени осенних буков.

Глушью глядела безлюдная дорога. Совались в нее ущелья, валились в прорву, вползали в горы. Клыками, зубьями лезли

камни. Серые звери лежали за кустами — спали, — тугие бока, крутые спины. Каменными стадами стояли в сквозивших чащах. На острых горбах их, на грузных ногах, столбами, — жидко играло солнце. Пятнами, полосами, струились — бежали камни, грозили на заворотах, сверху, высокой стеной вздыбались. В прорывах — вдруг открывалось небо, пустело бездонной далью.

Башней выступил на дорогу камень.

Знакомое было место. В пологой балке — с дороги видно — лежала седая глыба. Выласкало ее дождями, и стала она похожа на могильный камень. Под глыбой бурлил источник.

Булькала вода звоном, кипела шумом. Эти живые звуки дошли до сердца, кинули в дни прогулок...

...Истомленные зноем кони сами бежали в балки, брызгали по воде, играли. В свежей тени орешин шумело веселым станом...

Безрукий напился в балке. Будто совсем недавно водил он сюда приезжих: осталась в кустах бумага, сияла в воде жестянка.

Глыба была все та же — могильный камень, с намазанными крестами — в память троих убитых.

Дорога пошла провалом, в высоких стенах камня. Черный мост мертво висел в ущелье: перебегала дорогу балка, — вправо, к подножию Царицы, влево — в долины, глушью.

Издалёка узнал Безрукий черные, в глубине, перила, черняво-золотые буки. Тянуло сырою глушью. Здесь проезжали молча. Прислушивались: шумит водою...

В это сухое лето не шумело.

Он узнал черные перила, вспомнил: трое где-то висят на буках, голые, черные, а кто — не знали.

Он тревожно спускался к мосту, прислушиваясь к шагам в ущелье, приглядываясь к букам. Темные, тихие, тянулись они из глыби, несли золоченые короны. Уронят, — только сорваться ветру.

Одни золотые листья...

И вдруг — увидел: висят на деревьях... тряпки?..

Тяжело висели. Затаивая шаги, он подошел ближе, увидал в тряпках ноги, темные головы, склонившиеся к дороге, разглядывающие на ней что-то...

Он пробежал под ними, поднялся в гору... *Они* висели, один за одним, как тряпки, в черняво-золотых буках.

И тут же забыл, за поворотом.

В прорыве падающих лесов открылся весь Бабуган на дали. Солнце катилось к его вершинам, леса по хребтам горели.

В сторону отошла глухая мажарная дорога, мигнуло над чащей камнем...

— Торчок! — увидал Безрукий.

Высокая глыба на опушке... Когда-то катали сюда на тройках, ночевали в казарме Сшибка...

В редевших буках белела стена казармы, чернело черепицей. Боковое окно, к закату, пылало солнцем.

— Добрался... — вздохнул Безрукий, завидя пылавшее окошко.

И сразу затяжелели ноги. А ну не застанет Сшибка?

В сквозившем лесу высокоствольных буков было до глуши тихо и золотисто-светло в этот осенний вечер. С глубоких балок тянуло усохшей мятой, прохладой, прелью. С нагретого за день камня струилось сухим жаром. Золотце на кустах сквозило.

Слева открылась луговина.

Облетевшие тополя стояли высокими столбами. Острые их верхушки пылали солнцем — над низкой белой казармой, с черными крестовинами окошек, над почерневшей крышей. На прибитой сухой куртине жидковато желтели мальвы, радостно-яркие, жаркие когда-то в забытое уже время, когда хлопотали здесь хохотушки-дочки и дарили их веселым гостям на память. Не слышно было Волкана, чуткой и злой овчарки, издалёка встречавшей лаем.

— Неужто опять ушел? — подумал встревоженно Безрукий, всматриваясь в тихую казарму.

Черная дверь казармы была приоткрыта щелью, пестрой стайкой стояли перед нею куры.

— Застал, дома!..

И Безрукий повернул к казарме.

VIII

— Берегется, заколотил окошки... — подумал он, подходя к казарме. — Один живет, в такой жути!..

Окна, — от двери по два, — были забраны изнутри досками.

Куры пугливо побежали за казарму.

— А курей держит, кормов-то еще имеет... — обрадовался Безрукий курам: не так все плохо! — Волкан опять как бы? — поостерегся он, выглядывая овчарку: прошлый раз насилу отмахался.

Дверь была приоткрыта щелью. Старые постолы валялись на плоском камне.

— Его обувка... — признал огромные постолы Безрукий.

Он не решился войти в казарму, а вежливо постучался гостем.

Не было на стук ответа.

Он повыждал, глядя на тополя, послушал, — тихо. И опросил через щель, негромко:

— Дома, что ли... хозяин?!

В пустой казарме отзвякнуло горошком.

— Не за нуждой ли вышел...

Он потоптался у двери, постучал ноготком по скобке, выжидая...

— Главное дело, нет Волкана?

Зная Сшибка, он постеснялся войти в казарму, — в такое время: подумает чего Сшибок!

— Не за водой ли вышел... родничок тут неподалеку?..

Он раздумчиво погремел щеколдой, послушал и отошел к дороге.

— Да как же это?..

Поглядел туда и сюда, послушал...

В насторожившейся тишине не было ни звука слышно. В высоком ущелье, за дорогой, тянувшейся в горы, бесшумно полз по кустам огненный блеск заката, вползал на камни. Далекими медными стенами громоздились они к подножию Царицы.

— Да куда его унесло, черта? — с досадой сказал Безрукий, смотря, как тянулись в ущелье тени, а терявшие солнце камни начинали синеть и меркнуть.

Холодом потягивало с ущелья, осенней ночью. Застукало четко-четко, отбило по камню молоточком. Это чеканка, птичка, выбивала вечерний час. Выстукала свое — и смолкла.

Тревожно стало: вот уж и ночь подходит. И он повернул к казарме.

Она синела, глядела строже, черными пятнами окошек. Желтые мальвы гасли.

— Смеркается... — сильней затревожился Безрукий и посмотрел на небо.

Над головой небо голубело мягко, к закату зелено золотилось, но за ущельем, за серым камнем, синело по-ночному, густо. Над меркнувшими коронами черных буков облачный полумесяц начинал наливаться светом.

— Светлая ночь будет... — подумал Безрукий, соображая, что месяц теперь над морем. — До полночи светло будет.

Он подошел к двери, поглядел в черную полоску щели, но войти все же не решился: и раньше не доверялся Сшибок, а в такое время... Еще рассердишь.

Шорохом побежало сверху, испугало... Упавший с тополя лист крутился-шуршал по крыше.

— Листа пугаюсь! — с сердцем сказал Безрукий и подумал: да не пьян ли Сшибок?

Это за ним водилось.

— Уснул у себя в закутке — и не чует?

Он приотворил дверь пошире, просунул голову в темноту и крикнул:

— Эй... Григорий?!

Не было опять ответа.

С сумеречного света в казарме было до черноты мутно. Чуть мерцало из бокового оконца, сверху.

Безрукий взглянул направо, где за перегородкой была теплушка, — стрельнуло в него зелеными глазами. Он метнулся и хлопнул дверью, словно его швырнуло из казармы.

— Проклятая... напугала!..

Он понял, что это кошка, — но страх остался.

Придерживая дверь за скобку, он глядел на темневшее ущелье.

Серые камни верха тонули в мути. Понизу, в глубине, чернело. Не было ни звука слышно: ни журчанья воды из балки, ни постука мажары, за версты слышной по вечерней заре в горах в такую сухую осень. Чуялась в тишине тревога. Давила жутью эта необычная тишина, беззвучная пустота, — тугая глухота камня. Ее и звери боятся — воют. Не любят и дикие чабаны: зачуяв ее, начинают травить собак.

— Жуть... — прошептал Безрукий, озираясь, — что-то и курей не видно?.. А были будто...

И не знал Безрукий, — не померещилось ли ему, как утром.

— Целую стайку видел? Покликать разве?..

Он покликал — и испугался звука. Пропали куры.

— Как же быть-то? — спросил он смутные тополя глазами.

Чутко стояли они на светлом небе, прислушивались как будто, собрав свои ветви к ночи.

— Не спит ли уж на задворках?..

Пугаясь шагов, он стал обходить казарму.

Боковое окошко, к Перевалу, не пылало, а лишь тускло светилось отблесками садившегося за Бабуганом солнца.

На задворках чернел колючей горою хворост. Отблескивая зарю, торчал топор на обрубке, лежала грудка дровишек-суши, будто только что бросили работу. На закопченных камнях огнища чернел котелок с водою, — плавал на ней листочек. Брошены на сушняк черная рубаха и портянки, стиранные, в морщинках. Видно по всему было, что Сшибок наскоро отлучился: в такое время не бросят добра на воле.

Безрукий напился из котелка, пощупал под золой землю, — давно погасло. Заботливо осмотрел рубаху... — добротная, ни заплатки, ластик; на муку если, — фунтов восемь. Приметил — под сушняком белеет! Нашел коробку из-под печенья, с веселых времен осталась... Разобрал на крышке, на обрывке —

«Чайное печенье»
(Смесь)

— синие буквы, веселым вавилоном, виноград, а кругом пляшут штучки, румяные, бугорками, как живые! Осмотрелся по сторонам и поднял крышку... Чудесное пшено было, золотое, — такого теперь не сыщешь. Втянул губами... Рассыпчатое, как сахар. И отсыпал в карман немножко.

— Кулешик на ужин варить будет... не откажет...

Подумал, ждал его Сшибок на Кузьму-Демьяна...

— Не за пшеницей ли пошел в камни, для промена?.. Запасов теперь дома никто не держит. Должен сейчас вернуться, тёмно...

Про обещанные брюки он не раз за дорогу думал — и надумал: бандиты на Перевале отобрали!

Он представил, как будет плакать, рассказывать про татар-бандитов, как убивать хотели, — и вспомнил жуткие глаза Сшибка.

— Не поверит, не даст пшеницы...

Показалось, будто собака лает?.. Он долго слушал. Не было ни звука слышно.

— В балке, может, чего заслышал... побег с Волканом?..

Думая о тяжелой встрече и о кулеше с салом, он присел на хворост, лицом к закату, и, пожевывая пшено, стал дожидаться Сшибка.

Здесь было веселее, чем — к дороге.

С задворков падал глубокий спуск, под ногами темнел дубняк, тускло светились камни, балки, дальше, валились

одна за одной в долину. На светлой дали чернел Бабуган горбами, лесистый, мягкий. Багрово пылало за ним небо, сулило назавтра ветер. Глубокая, на версты, долина затягивалась мглою. Но еще видны были рыжие купы поросли, светлые ряды нив, темнели шашками виноградники, белели разводами дороги, крапинками яснели дачки. Светлая плавала мгла в долине, яснел и яснел месяц, ложились тени.

Меркнущая долина и строгий, мохнатый Бабуган тревожили близкой ночью. Слева, из-за округлых лесных вершин, выглядывал камень Чатыр-Дага, в медно-лиловом блеске невидного заката, теплый. Скоро блеск сполз, потух, — и камень сразу похолодал, стал синим.

— Ну, как же быть-то? — спросил Безрукий потухший камень.

Фыркнул — испугал ежик, темным клубком покатился в хворост. Сидеть стало неспокойно, и Безрукий пошел к казарме.

На краю обрыва темнел сарайчик.

— Не там ли куры?

Он заглянул в сарайчик, увидал на полке шампанские бутылки, пузатые, смоляные... — вспомнил, как инженер путейский учил откупоривать их Ганку...

Не было ни дверки, ни насестов. Это его смутило.

— Да где же куры?.. Здесь бы должны вертеться, пора садиться. Целую стайку видел?

Он оглянул задворки, рогатый хворост, чернеющий котелок, пустынный, — и стало еще тревожней. Быстро темнело, накрывало.

Он пошел задней стеной казармы, глухим бурьяном. Одиноко смотрело окошко на задворки, — закуток Сшибка, где спали когда-то дочки. И оно было забрано досками.

Шурша бурьяном, Безрукий добрался до окошка и пригляделся в щели. Так, мутилось...

— Была тут у них печка... пампушки пекли девчонки, вареники гостям крутили? Она, печка... И самый его самовар ведерный... к печке?.. Еще и самовар все держит! Надежду имеет, значит... А строго берегется, и тут заколотился!.. — присматривался Безрукий к белевшей печке. — Продухи только вверху оставил. Живет тут, в жути!

Он обошел казарму и опять вышел на дорогу.

Пустая была дорога, темнела к ночи. Он долго стоял, все слушал. Ни шороха, ни звука. Поглядел туда и сюда, — пустая.

Оглянул казарму. Строже показалась она ему, синей и синей к ночи, с черными крестовинами окошек, под черным горбом крыши. Высокие тополя закутывались тенями, жались.

— Чего на дороге стоять, пойду прилягу... — решался войти Безрукий, — за что же ему браниться? устал человек с дороги... Все же люди!

Он решительно повернул к казарме и вдруг — запнулся... Пугливой стайкой бежали от двери куры.

— Да... откуда они, черт, ку-ры?!

Он ясно видел: черные, как одна, бежали за казарму куры. Как мыши, тихо.

— Куры?..

Он захотел проверить. Пошел, дошел до угла — и забоялся. Кусты за углом темнели.

— Откуда же они взялись?.. Не было на задворках... — подумал растерянно Безрукий. — Мерещится мне, что ли?

Два раза видел... И стало легче, когда придумал: конечно, куры, тогда убежали за казарму, а как пошел на задворки, вернулись к двери...

— В хате курей держит, вот и трутся...

Но он не вошел в казарму, а сел у двери, на камень. Широкий был камень плоский, совсем как жернов. Знакомый камень. Самовар раздувал Сшибок на этом камне. Нож, бывало, точил здесь Сшибок, когда заказывали господа барашка... И всегда сидела картинкой которая-нибудь из дочек, в расшитой цветной сорочке, в лентах, в звонких монистах-бусах, и вертко бежала в хату, завидя, что едут гости.

— Как же все хорошо было!.. — вспоминал, пожевывая пшено, Безрукий. — И все-то как сном пропало... Культура была какая, у всякого человека капиталы... И астрономы были! И медицина... и всякие товары, сколько хочешь... И все доходы получали, все с сахаром чай пили... А хлеба! Собаки не поедали!! Белый, рыхлый... пятак ситный?.. Последний самый, дармоед последний сало лопал! Нищие хлебом торговали... сам покупал, свиньям... Господи, да как же могло случиться? На горы иду... голый... за кусочком... И ни души единой...

В голове Безрукого замутилось, и он встряхнулся. Не сон ли снится?.. Зажгло в затылке, буравчиком засверлило, и побежали искры. Он встряхнулся, потер затылок... Дети!

И стало ясно, что это не сон снится, что ждут его погибающие дети, а он еще все в дороге. Когда же из дому вышел?

Горели звезды...

Он поглядел на небо. Начинали проклевываться звезды. На тех же местах, те же. Всегда были.

Поглядеть на камни. Камни гуще темнели за дорогой. Стал вспоминать дорогу. Одни камни...

Хлыстами чернели мальвы-рожи. Желтые на них пятна побелели. За Перевалом, вправо, месяц наливался ночным сиянием.

— Вот уж и ночь... — в тоске прошептал Безрукий.

Посвежело. Со степи, снизу холодом напирало, тугим, без ветра. Дальнее, над степями, небо казалось в туче.

— Кто это? — в страхе спросил Безрукий, заслышав шорох.

Клубком покатилось на дорогу. Ежик?.. Черный клубок приостановился, хрюкнул, черкнул дугою и потонул в ущелье. Безрукий слушал, как зашуршали листья, — тяжелое там возилось, громыхало. Или в ушах шумело? В темном ущелье мерцали тени, начинали ползти к дороге.

Окликнул кто-то?..

— Кто там? — тихо спросил Безрукий.

Как будто топнул? Показалось, — кто-то остановился, топнул... Кто-то за казармой ходит?

Безрукий насторожился... Сшибок? И понял, что бьется сердце. Нет, крадется? За углом крадется... Он тихо поднялся с камня, слыша, как поползли мурашки. Крутится листок по черепице, упал на камень.

— Лучше войду в казарму... — решил Безрукий и поглядел к ущелью.

Он уже нашарил скобку, как вдруг сорвавшийся где-то камень с грохотом выкатился к дороге.

Безрукий вскочил в казарму и хлопнул дверью.

IX

Шипеньем прыснуло из-под ног, сверкнуло зеленой искрой.

Безрукий вскрикнул — и вспомнил, что это кошка. Она метнулась к окну, на доски, повисла и сорвалась когтями. Вспыхнули из угла холодные огоньки, мелькнули и погасли.

— Проклятая!

Безрукий топнул и замахнулся в угол. Мелькнуло к перегородке тенью. Пугала жутью невидимая кошка.

Скоро он пригляделся. Признал заднюю глухую стену, белесую перегородку, за ней — мутный на потолке отсвет, от заднего окошка. В это окошко он и смотрел с задворков, в теплушку Сшибка, где спали когда-то дочки. Сквозь щели

досок-ставен и незабранные доверху окошки сумерки плыли мутью. Белелась закрытая дверь теплушки.

— Запер?!

Он увидал ясно — черный замок на двери. Его смутило...

— Ушел Сшибок?..

Он все еще прижимался к двери, словно боясь, что в нее толкнутся. Теперь уже не казарма его пугала, а темневшая дорога, тревожная мгла ущелья, чуткая тишина камня, — то, не знакомое никому, но чуемое всеми, что таится в молчании глухого места. В пустой казарме была все же живая тварь, кошка, которая и сама боялась. Она затаивалась в углах, прокрадывалась по стенке тенью, мерцала зелеными глазами, сторожила.

Темнела у задней стены скамейка, куча разваленной печурки. Дымовая труба свесилась с потолка глаголем. Было ясно, что Сшибок казарму бросил и перешел жить в теплушку. Только стол остался на своем прежнем месте, под окошком.

Безрукий глядел на стол... Лежала калабушка хлеба?

— Хлеб?!.

У него задрожали ноги, он метнулся — и вспомнил Сшибка. Но темная калабушка все закрыла. Он нащупал щеколду и задвинул, схватил чудесную калабушку, но она выскользнула из пальцев и стукнулась о кирпич пола.

— Ка-мень! — вскрикнул с отчаянием Безрукий.

Он потолкал ногою, — камень! Это был, похожий на калабушку, голыш-камень.

У него ослабели ноги, и острая боль схватила его когтями, как на дороге, утром. Он повалился на стол и замер. Но и сквозь боль помнилось ему что-то, смутно... Было на столе что-то? Он поднял голову, пригляделся — и увидал бутылку.

«А это... *верно?..*»

Он потянул руку, осторожно... Схватил бутылку. Не верил руке: бутылка?! Бутылка, и в ней тяжело плескалось, чудесным вином пахло... густым и крепким.

Он жадно глотнул, уже ничего не помня. Вино было сладкое, густое, — полная почти бутылка. Сразу утихли боли, ушла тревога.

— А, все равно подохну!..

Еще и еще выпил.

— И вино у него, и курей водит... и по дорогам грабит! Пшеница в камнях запрятана, мешками... Кто у него забрать может?..

Вино бодрило. Под ногу попала табуретка. Он поднял, но она упала, — было всего две ножки. Он присел на стол, взглянул на бутылку и еще выпил.

— Ну, ругайся!.. — сам с собой рассуждал Безрукий, — мне теперь ничего не страшно! Люди с голоду подыхают, а у него и аликанте, и барашка... За хлеб теперь любую душу купит! Как себя самоуверил, ничего не боится... пошел с дому, вино такое зазря покинул... Сейчас вернется, ну... скажу... ну, голову сыми, помирал от своей болезни...

Путалось в голове, — сон ли, явь ли?.. Слова подбирались сами, сыпались с языка, как спьяну. Мелькало, — что-то такое надо сделать, про Сшибка что-то, что-то про дверь нужно...

— Так и скажу: «Сколько тебе от меня перепадало? ты меня приглашал в гости, на Кузьму-Демьяна... полез к тебе через горы... ограбили на Перевале...»

Стало совсем спокойно: приглашал в гости, значит — муки уделит!

— Не может же насмеяться! Полез человек на горы... едва на ногах мотаюсь! А... Семен Турка?!. Я ему намекну деликатно, поймет, чего я знаю... А сколько я ему пользы всегда делал! Инженер путейский, которому Ганку сватал... с первого слова ему три красных, и за каждый приезд особо... Прямо — сыпал! И еще мыловарный заводчик, все лето с Маруськой занимался. Гостей рекомендовал самых ку-льтурных! Обязан и пуд отсыпать...

И ему показалось, что сейчас должен воротиться Сшибок, и нужно отнять щеколду. Вспомнилось темное лицо Сшибка, как трет зубами и как плечом поводит, а говорит — кулаками тычет, — и ему опять стало беспокойно.

— Не даст без променки Сшибок!

Шатаясь, пошел он к двери, чтобы отложить щеколду, — метнулось у стены тенью, резнуло искрой.

Кошка!

А он и забыл про кошку.

Зеленые глаза мерцали, гасли. Он вгляделся: у переборки жмется, черное пятно на мути. Следили за ним две искры, тревожно мерцали, ждали...

В жути, он замахнулся, топнул... Кошка метнулась тенью, швырнулась на окошко и опять сорвалась когтями.

— А-ты, проклять!

Искры сверкнули к переборке, опять следили. Безрукий схватил камень. Они погасли, метнулись за печуркой. Он

бешено бросил камнем. Они пропали, мигнули, — сторожили...

Не помня себя, он крикнул и бросился на искры. Ноги его скользнули... Его пронизало искрой, остановило жутью. Он вгляделся... Что-то у ног чернело. Он нагнулся, потрогал пальцем, — липкое что-то, как замазка... Его передернуло с отвращения и жути: пахло несвежей кровью. И вдруг он понял, почему здесь вертелась кошка...

Он старался оттереть палец, тер его о кирпич пола и с жутью глядел на лужу.

— Зачем лужа?

И вспомнил:

— Хотел на Кузьму-Демьяна барана резать!.. Здесь и резал, чтобы не увидали люди...

И ему стало ясно, зачем на столе камень: солил барана, а камень для гнетки нужен: и почему ушел Сшибок к ночи: понес прятать кадушку в камни, — теперь все прячут; и почему не видать Волкана: нажрался требушины, дрыхнет.

Он вспомнил, что надо отнять щеколду, пошел и остановился, замер... За дверью кто-то... шуршит по листьям?

— Ветер?

Ветер, сорвался с Перевала.

К ночи всегда поднимался ветер, менялся с денным — с моря.

Ветер валил с ущелья.

Тополя зашумели, запели щели. В черной трубе, глаголем, гудело, тарахтело. Тряхнуло дверью, задребезжало в окна, застучало, пошло холодом по казарме. Застукало по крыше черепицей.

Ветер ломился в двери, гремел щеколдой, — через казарму стремил в долину. Накатывало гулом — леса по горам шумели.

Безрукий слушал, как завывают щели и дребезжат окошки.

— На Перевале теперь захватит!

Студеный был ветер, зимний, похолодало сразу.

— Отпирать не надо... — решил Безрукий, прислушиваясь к ветру, — настежь расхлебестит, не удержишь...

Жуть на него напала. Прежде он не боялся ночи, не раз ночевал по балкам, а теперь боялся. Не людей боялся, а неизвестного, жути своей боялся.

Так и стоял у двери, прислушивался, как шумят тополя над крышей. Ступить боялся.

— Да чего ж это не идет-то?..

В казарме как будто посветлело. Стало хорошо видно, как качается на стене черная труба — глаголем. И развалившуюся печурку стало видно. И черный замок на переборке... И на потолке отсвет?

Безрукий взглянул на незабранный верх окошка — к Перевалу, и по светлому небу понял, что это месяц светит, — стоит, пожалуй, теперь над морем, к Аю-Дагу, — и времени теперь — часов восемь.

Он подошел к окошку у самой двери и пригляделся в щели.

Яснела на месяце дорога — бело. В зеленоватой дымке вставало за ней ущелье, смутно над ним, на дали, темнели камни. Все в ущелье струилось, волновалось, хлестались тени, мерцало, серебрилось. Листья несло через дорогу, на казарму, мышиные стаи мчались. Черные мальвы хлестали землю. Все за окном бесилось, трепалось, мчало, чертило небо...

Смотреть было беспокойно.

Он перешел к двери и стал напряженно слушать. Показалось, будто собака лает?

Он долго слушал, выслушивая шумы. Камни в горах стучали? леса валились? Долбило по казарме, в стены, трясло казарму. На миг стихало, и только шипели листья.

— Не идет-то что же?

Щелями дымились окна. Через верх бокового окошка, к Перевалу, месяц светил полоской. Стало видно в углу — горбатое корыто, мотыги, доски. У задней стены что-то чернело кучкой.

Безрукий подошел ближе, тронул ногой — и понял, что кирпичи выбраны из пола... Чернела ямка. Он сунул руку, пошарил в ямке... — гладкое место, как в печурке.

— Тайник?!

Его пронизало искрой...

— Золото свое прятал?!

Он перешарил в ямке, излазил вокруг печурки... — пусто. Вспомнил, как соль покупал Сшибок, как обещал требушинкой поделиться, звал к Кузьму-Демьяну, играл глазами... Вспомнил, как говорил Сшибок — на родину уеду!.. И его охватил ужас.

— На смех?.. Забрал капиталы и казарму бросил... велел заходить, на смех?! Нарочно и про бутылку?..

Он растерянно оглянул казарму, увидал кошачьи глаза...

— А... кровь-то?

Поглядел на дверь перегородки, подошел ближе... Побежали по спине мурашки, толкнуло в сердце... Он пригляделся к двери, тронул замок — и понял, что не заперта теплушка, что замок висит на одном пробое...

Он шатнулся, но дверь тянула. Он тихо приоткрыл дверь и остановился на пороге. Его толкнуло, и он сунул голову в темноту, зная, что здесь Сшибок...

X

Здесь был Сшибок.

Чернело на полу закутка, и Безрукий признал по росту, что черное и есть Сшибок. И только признал — спокойно принял, словно это было давно известно.

— Го-тов, Григорий...

Через незабранный верх окошка косая полоска света лежала на белой печке. Кудлатая голова чернелась, резко белели ноги.

— Го-тов... — повторил Безрукий, смотря на ноги.

Вышел и притворил теплушку.

Но только вышел — толкнуло его сзади. Он побежал к двери, опять услыхал ветер, увидал дымные щели в окнах...

— Бежать надо?

Шумы опять проснулись, трясли казарму. Камни в горах стучали, леса валились, хлестало в окна.

Он вспомнил про дорогу, о Перевале вспомнил...

— Ничего не добуду детям!..

И вдруг открылось, что ждать никого не нужно, что теперь все его в казарме...

— Пшеницу надо!

И только вспомнил, что теперь все его в казарме, — увидал кошачьи глаза и метнулся к двери. Но только отвел щеколду — швырнуло его и задушило ветром, облило светом. Он навалился на дверь, захлопнул и заложил щеколдой. Под небом было еще страшнее.

Зимний ветер летел со степи, бился о Чатыр-Даг, крутился. Швырял его Чатыр-Даг камнями. Рухался он в долины, крутил лесами, — новый, летел со степи. Знал Безрукий этот ноябрьский ветер: один никогда не ходит — нагонит тучи; на Перевале застудит стужей, накроет снегом. И жуть напала: не Перевала теперь боялся, а неизвестного, страха теперь боялся.

— С *ним* придется... Пшеницу надо... перегожу до утра.

Про бутылку вспомнил. Некого теперь бояться...

Вино его подбодрило.

Вспомнил, что пшено на задворках, рубаха, куры... самовар ведерный! Все забирать можно.

Но теплушка мешала думать.

— Позвал в гости! На Кузьму-Демьяна...

То, что за дверью — Сшибок, мешало думать. Притягивал его Сшибок: хотелось лицо увидеть.

Он подошел к теплушке и послушал... Как будто утих ветер, возится за перегородкой что-то?

Он напряженно слушал... Блеснули из темноты искры, — и он убежал в теплушку.

У Сшибка казалось ему спокойней. Он даже притворил дверку: жутко было в пустой казарме, где сторожили искры.

Черное, длинное — манило. Он нагнулся и стал выглядывать лицо Сшибка. *Теперь* — какое?.. Разглядывал он жадно. Узнал шершавую голову, а лица все не видел. Пригляделся, — и у него зажгло под волосами, прошло морозом... Темное пятно было, торчало из рта, — тряпка?.. Хотелось глаза увидеть... И он увидел. Мутно смотрели они шарами. Выкатившимися белками смотрел на него Сшибок.

Безрукий отвел глаза, узнал изодранную рубаху, залитую будто дегтем, — почувствовал, что стоит в липком чем-то... Он отскочил, оттопал, — и все высматривал, где же руки? Руки были подсунуты под спину. Ноги? Нашел и ноги. Запутаны веревкой. Одна согнулась и выставила колено: чернелось оно на печке.

Безрукого затошнило, когда он увидал колено. В глазах мутилось... Гвоздь был забит в колено!.. Так непонятно было: гвоздь — в колено! Он встряхнулся, чтобы прогнать виденье, — оно осталось: гвоздь был забит в колено. Он вытянул руку и потрогал, — туго.

Все в нем окаменело.

Он только что знал, что нужно: надо забрать пшеницу, на задворках забрать рубаху... Но увидал колено — и позабыл, что нужно.

— *Они* это! — вспомнил он про татар в Ай-Балке.

Вспомнил, что надо что-то?

— Закрыть надо!

Он увидал, что сенник свесился с кровати, и принялся натаскивать его на Сшибка. С одной рукой было не способно, но он-таки натащил на Сшибка.

Не стало видно.

— Что, Григорий... вот и самого убили! — сказал он тихо.

И заторопился — вспомнил: надо забрать, что можно!

Он перебежал в казарму, схватил бутылку...

Стало легче, — и он услыхал ветер. В двери ломились, — пугало, что прийти могут.

— Пшеницу надо!..

Он побежал в теплушку, перескочил через Сшибка, к печке, и начал шарить.

— Самовар... ведерный!.. Забрать надо... за пуд пшеницы...

Он швырнул самовар на Сшибка. Задел на шестке миску, — борщом запахло... Он выхлебал остатки. Нашарил жестянку с солью, пучок луку, кошелку с кукурузой...

— Да где ж пшеница?!

Он полез на скамейку, чтобы обшарить полки, но оступился и упал на Сшибка. Вскочил и кинулся из теплушки.

— Пшеница... где пшеница? Проклятые... все забрали... Что, Гришка? — закричал он к теплушке, уже не слыша ветра, — убили?! И людям не досталось!.. Так и погниет все в камне!..

Вспомнил опять татар в Ай-Балке, как жарили барана.

— И барашка взяли?!.

Он расшвырял из угла мотыги, швырнул корыто, — пустые бутылки оказались...

— Вино у него было?!

Вспомнил, что держал Сшибок вино в подполье. А где подполье? Помнилось, что в закутке. Пошел в теплушку, завернул по дороге в угол. Валялись доски... Темнело за досками...

— Кадушка? Солил барашка!

Из кадушки остро воняло салом, на дне плескалось...

— И барашка взяли!..

Он нашаривал рукой в рассоле, поймал отонку, цедил рассол через пальцы, вылавливал кусочки...

— Проклятые, все забрали!..

Трясло его лихорадкой, выстукивали дробь зубы.

— Да где ж пшеница?..

Он бегал по казарме, не слыша ветра, натыкался на рассыпанную печку, стукался в дощатую перегородку, словно его швыряло.

— Пшено, куры... — бегали за ним мысли, — скорей забирать надо, сейчас захватят... И самовар ведерный...

Он побежал к двери, но что-то его остановило...

— А где пшеница?..

И вдруг — увидал пшеницу! Текла она по ногам волною, ядреная, золотая, — шелестела. И он утонул в потоке...

— Идут!.. — крикнул над головой голос.

Он очнулся и опять услыхал ветер. Огляделся...

— Убили Сшибка?

И опять заметался по казарме. Схватил мешок со стола, вытряхнул из мешка паяльник, — и позабыл, что надо?

Стоял, раздумывая, а ноги бежали к двери.

— Соль надо... самовар ведерный...

Он разыскал отонку и кусочки, сунул в мешок и вспомнил, — что-то еще взять надо? Побежал в теплушку, принес лук, соль и кукурузу...

— Под хворостом все обшарить... прятал! Кур не найти, в кустах посели... светать будет, на пшено подманить надо!

Его уже не держали ноги. Он выпил вина — и вспомнил:

— Было у *него* вино в подполье!

Он опять побежал в теплушку, по стуку нашел подполье.

— А, проклятый!..

Как раз на твориле лежал Сшибок.

— И тут не даешь! — пнул он ногою Сшибка. — Ста-щим!

Он упал на пол, уперся ногами в Сшибка, спиной в перегородку. Не шевельнулся Сшибок.

Мелькнуло — тело, нельзя так с телом!..

— Стерво́... колода!.. — сказало ему другое, — сволочи те дознали... бросили, убежали... все дознали!.. подыхать швырнули!

Он бешено пинал Сшибка. Не Сшибка, а тех, далеких, которые всё дознали.

— Гуляли, убежали... Подыхай, собака!..

Не подавался Сшибок.

— Чем бы *его?* — старался понять Безрукий, чем бы отвалить Сшибка. — Черт... улегся... И мертвый, а замучил... а-а, колода!

И вдруг ему осветило, что в подполье-то и лежит пшеница. И понял, чем отвалить колоду.

Он побежал в казарму и разыскал мотыгу.

— Теперь подашься!..

Он всунул мотыгу под *колоду,* сам подлез под мотыгу, напружил спину... Вывернулась из руки мотыга, и он опрокинулся на Сшибка.

— Не даешь, проклятый!

Он задвинул мотыгу глубже, подсунул под нее коленку, плечом уперся — и передвинул Сшибка. Колодой перевалился Сшибок.

И только теперь разобрал Безрукий, что месяц заглядывает через верх окошка, лежит полосой на печке. Он посмотрел на месяц, — и этот месяц в глубоком небе сказал ему светом что-то. Он поглядел на Сшибка, вспомнил его, живого, и стал креститься...

— Прости, Григорий... Господь видит...

Черным затылком кверху лежал Сшибок, сучил вздутые кулаки, крест-накрест. Яснели они на светлой печке.

Вздутые кулаки, налитые черной кровью, были страшны. Безрукий закрыл кулаки матрасом и стал поднимать творило. Но не за что было ухватиться.

— И кольцо вынул, чтобы неприметно...

Ясно было, что здесь и лежит пшеница.

Он старался зацепить ногтями, но творило забухло, и только срывались ногти.

— За топором надо, на задворки?

И увидал мотыгу. Стал защеплять мотыгой. С одной рукой было не способно, мотыга не давалась. Наконец, защепил и поднял. Из черной дыры подполья понесло теплой гнилью.

Вгляделся — черно, ничего не видно. По краям ощупал, — и лесенки не оказалось.

— Огня надо...

Он пошарил в печурке спичек. Не было давно спичек, надо высекать кресалом. Не было ни камня, ни кресала.

— В кармане у *него* нет ли?

Он поглядел на Сшибка — и не решился. Лег на брюхо, спустил мотыгу, стал шарить по подполью. Переболтал всё подполье — пусто.

— И тут забрали!..

Он перещупал все дно подполья, зацепил за что-то и вытащил рваный войлок.

Не было и тут пшеницы!

— Под хворостом... на задворках?

И ему показалось, что стучатся? Он долго слушал...

— Опять... в окошко? Ветер?..

Ломился ветер.

Безрукий закрыл творило.

— Бежать... захватят...

И услыхал сквозь ветер — мяучит кошка? Он и забыл про кошку. Опять охватило жутью.

— Как же теперь... что надо?

Полоска лунного света передвинулась с печки на пол. Черные кулаки опять сучились.

Он выбежал из теплушки.

— Что же надо?..

Щелями дымились окна. По казарме носилось с воем, трогало за лицо, кружило. Черная труба качалась, скрежетала.

Стукнуло позади, скрипнуло с тонким писком...

Безрукий оглянулся и окаменел на месте.

Дверь теплушки приотворилась, запищала... стукнулась — и опять стала отворяться. В ее просвете мреяло что-то, шевелилось, — и вот кудлатая голова Сшибка высунулась в казарму...

— Ты?! Григорий!.. — в ужасе закричал Безрукий.

Видение помутнело. Теплушка отрылась настежь, и на белесой печке выступил черный угол.

— Коленка! — узнал Безрукий.

Он покрестился и закрестил теплушку. Стало легче. И только теперь он понял, что дверь отворяло ветром. Пошел и старательно притворил покрепче.

— На задворки лучше пойду, в сарайчик... пересижу до света.

Он пошел за мешком, оглядываясь на дверь теплушки. Как будто опять возилось, цапалось по стене, потряхивало дверью...

— Ветер?

Он неотрывно смотрел к теплушке. Постукивало дверью. Кто-то за ней возился...

— Сшибок...

Замреяло в глазах мерцаньем, вспыхнули снизу искры, — и Безрукий понял, что это кошка цапается у двери, что она *туда* рвется...

Он топнул и замахнулся в жути:

— У, ты... — по-гань!

Зеленые огоньки пропали, мелькнули за печуркой. Он кинулся к печурке, упал на разваленную груду и больно зашиб коленку.

— Убью, дьявол!..

И бросил кирпичом в искры. Кошка бешено заметалась, заурчала. Плясали ее глаза и гасли...

Безрукий схватил со стола паяльник, пригляделся — где кошка? Она таилась, но ее глаза сказали: опять у двери!

— У, проклять!..

Он подкрался к перегородке и изо всей силы швырнул паяльник. Звякнуло в доски с дребезгом и оглушило визгом. Тень побежала за корыто. Он увидал по тени, что подшиб ноги, нашел паяльник и стал подкрадываться к корыту. Кошка учуяла и заурчала злобно. Он подползал, затаивался и слушал. Она урчала протяжно, хрипло. Он швырнул кирпичом, послушал... — кошка таилась за корытом. Он подполз ближе, занес паяльник — и по удару понял, что попал удачно: молчала кошка. Он бросился к корыту и вскрикнул от страшной боли. Кошка вцепилась в руку. Он выдрал ее из-за корыта, ударил об пол и придавил ногою. Но она и под ногой вертелась, замерла на руке когтями. Он сорвал кошачьи глаза с руки и продолжал бить железом... Наконец, понял, что кошка лежит неподвижно, и отбросил ее ногой, как тряпку.

Сразу ему стало легче, словно убил свой ужас.

XI

Придя в себя, Безрукий опять услыхал ветер, — и опять поднялась тревога.

Он подошел к окошку и пригляделся в щели.

Черными столбами, до дороги, шатались тополя — тени, хлыстами хлестались мальвы. В дымном ущелье возились — мерцали камни, черно чертили по небу буки. Как сбитые птичьи стаи, кружились над ними листья.

— На Перевале теперь захватит!.. Кто теперь прийти может?..

И решил подождать рассвета.

Он допил вино, доел оставшееся пшено и бараньи крошки, — и стало валить дремотой.

— На столе лягу, лучше слышно...

В теплушке опять возилось, постукивало дверью. Ветром?.. Он вздрагивал, сваливал с себя давивший камень... Стук, показавшийся ему громом, свалил камень, он поглядел к теплушке: дверь отворило настежь, — и в ней мерцало.

— Не даст покою...

Он поднялся и запер на замок Сшибка. Стало легче.

Подумал: как бы не захватили, — за ветром и не услышишь?..

Чтобы лучше слушать, он переволок от стены скамейку и поставил у самой двери. В дверь сильно дуло. Он повесил мешок на скобку, лег на скамейку и стал слушать...

Ветер, ветер...

Дрематься стало, думалось — как убивали Сшибка...

...Пришли, должно быть, утром, — ночью не допустил бы. Застали на задворках, за работой. Знакомые татары... пришли покупать пшеницу. Солнце уже стояло, рубаху сушить кинул... Пошли толковать в казарму, вина поставил... Тут-то и оглушили камнем...

Он представил себе, как бешено отбивался Сшибок. Вспомнил подвязанную руку у монгола, кровавый шрам Усеина, ерзавшие за камнем ноги.

...Не давался, бился. Печку разворотили... Табуреткой бился... Убивать сразу не хотели, дознавались. Про золото добивались, про пшеницу. В коленку забивали...

Глаза слипались, но он не сводил глаз с теплушки. Мреянием в глазах мерцало, тянулось по потолку, в мути...

И вот кудлатая голова гукнула раз о стенку и затрясла казарму... Полезла выше, под потолок, выставилась и легла на стенке... Выкатившимися мутными белками Сшибок смотрел в казарму...

Беврукий вскочил, вгляделся...

Ветер?.. Ходил по казарме ветер. Белелось на потолке мутно, потряхивало дверью...

— Не даст покою... лучше уйду в сарайчик...

Долго ему мерцало.

Путаные сны кружили. С кем-то сидел в кофейне, красное вино пили, лили... По темным чердакам лазил, кромсал сало... Сучил кулаками Сшибок, с татарами ругался... А надо было спешить куда-то, да потерялась шляпа... А кони за дверью пляшут...

«Скорей, Рыжий!» — торопил голос Сшибка...

Стукнул под ухом выстрел?..

Безрукий вскочил на лавке...

Где он?.. Мутно дымились щели, по крыше топотали...

Он понял, что это ветер, узнал на потолке отсвет, белевшую перегородку, — и вспомнил, что он у Сшибка...

Донесло ветром выстрел?

И только подумал, что это по крыше, ветром... — отчетливо стукнул выстрел.

— Стреляют? От Перевала, будто...

Выстрел?

— Чабаны, может... Или... на кого напали?..

Он долго слушал...

Не доносило больше. Только дверь рвало со щеколды.

— Или... дверью?

Сильней бухало за стенами, — встряхивало коврами. Тополя не шумели, — выли. Визжало по казарме, дребезжало...

— Буря...

Он понял, что ветер перешел в бурю.

— На Перевале теперь творится! Кто теперь стрелять будет? Показалось...

И только прилег, — послышалось: будто, скачет?

Четко несло, от Перевала. Стихло. И опять чокот, ближе...

— Сюда скачет?! От Перевала... — оторопел Безрукий. — Камнем глушит, на заворотах...

Отчетливо стало слышно: карьером гонит, часто секут подковы.

Безрукий вскочил, прильнул к окошку...

Белела на месяце дорога, хлестались мальвы. Чокот несся от Перевала, справа.

И только успел подумать — а ведь это по *нем* стреляли! — как из-за камня на завороте вылетел черный конь, занесся передними ногами, черным столбом взметнулся — и помчал на хлысты, к казарме.

Безрукий присел от страха...

Топотом накатило, храпом — и стукнуло в дверь два раза...

— Отчиняй... Григорий?!.

Конь топотал за дверью, храпел страхом...

Стукнуло крепче, опять два раза:

— Да отчиняй!.. Григорий?!. Да я ж, Николай... с Тушан-Балки! — кричал запаленный голос.

Конь топотал за дверью, храпел, дыбился...

— Ушел... дьявол?!.

Щелкнуло крепко плетью, конь пересыпал дробью и взял галопом.

Безрукий прильнул к окошку.

Верховой вынесся к дороге, попридержал, послушал — к Перевалу, поднял коня и понесся книзу.

Камень с души свалился.

Безрукий признал объездчика-лесника с Таушан-Балки, под Чатыр-Дагом.

— Вместе ночными делами занимались... На кого-то попал под Перевалом!..

И его придавило страхом:

— А ну, захватят?!. Бежать надо...

Осталось в глазах, как конь на казарму скачет.

Он сорвал мешок с двери, заметался...

— С Перевала наехать могут... В камни куда приткнуться?

Вспомнил, — пшено взять надо, рубаху на задворках, — швырнул скамейку, сорвал щеколду... Его отмахнуло ветром, хлестнуло светом. Он пригнулся и головой кинулся к задворкам. Ударило его о стену бурей...

За казармой было куда тише. Месяц стоял еще высоко над Бабуганом, но уже шел к закату. Хворост трепало ветром, черные его рога мотались, выли. Черным пятном стоял котелок на камне, сиял топор на обрубке. Подбитой птицей прыгала по сушняку рубаха, трепала рукавами. Портянки унесло ветром...

Безрукий схватил коробку, содрал с сушняка рубаху. Долго искал портянки, — не белелось. Подергал — покачал хворост, — не запрятана ли где пшеница? Ободрал только руки о колючки. Тяжелой путаною горою лежал хворост.

— А где же куры?

Казарма белела жутко. В черном окне теплушки пустынно светил месяц.

Безрукий обошел окошко, покосился... взглянул в сарайчик. В сарайчике было пусто. Пошел к обрыву, долго шумел кустами, — не закричат ли куры? Швырнул камнем. Ветер сорвал панаму и унес за кусты в балку. Безрукий кинулся было за панамой...

Круто валилась балка, струились верхушками деревья, мерцали, серебрились. Тускло светились камни. Долина курилась мутью, молочной мглою. За ней Бабуган дымился.

Безрукий поглядел в балку — и повернул к дороге.

Вышел, — и его повалило ветром. Он выставил спину ветру, увидал синюю казарму, черное жерло двери, — вспомнил про самовар ведерный...

— Нельзя оставить!..

И про паяльник вспомнил: нельзя оставить.

Переборол жуть и вошел в казарму, — швырнуло его в казарму ветром.

Черная труба качалась, тарахтела. Теплушка рвалась с запора. Ветер плясал в казарме, гонял бумажки.

Безрукого охватило жутью, словно попал в могилу.

— Самовар... у *него*... ведерный...

Подошел к двери, постоял, подумал...

— Не донести... В хворосте спрятать разве?

И не решился.

Он долго искал паяльник, весь пол обшарил. Не мог оставить. Нашел наконец, паяльник лежал на кошке. Мелькнуло в мыслях:

— Хоть чего-нибудь детям будет...

Оглядел при свете на пороге. Худящая была кошка, черная, плоская, как тряпка. Посомневался: брать ли?.. Сунул в мешок, растерянно поглядел к теплушке, — не подождать ли утра?.. Перекрестился, сказал теплушке:

— Прощай, Григорий!..

И головой побежал к дороге.

Его схватило и задушило ветром, швырнуло в камни. В страхе он поглядел к казарме... Уходить ли?.. Толкнула его от себя казарма — черная дыра, в ней ветер... Осеребрясь краями, тополя ходили над ней столбами, выли.

Он кинулся головою в ветер и зацарапался, шаг за шагом, по беспокойно мерцающей дороге, по ерзающим на ней деревьям, по неподвижным теням от камня.

Вино еще в нем бродило, будило мысли: куда-нибудь ткнуться в камни, дождаться утра.

XII

Его заливало, топило ветром, крутило за полы сюртука, швыряло от камня к камню. Он пригибался, тащился боком, старался забиться в камни. Но ветер низал и камни. Это был буйный ветер, степной, разлетный. Он бился о горы грудью, не знавшей камня, — швырял его Чатыр-Даг в долины. С разлету рухался он на камни и переплескивал с воем к морю.

Как мошка, сдуваемая ветром, цапался по камням Безрукий. Все чувства его окаменели, — и только одно мерцало: куда-нибудь схорониться, ткнуться.

На светлой от месяца дороге бились — метались тени. Стаями мчало листья; камни свистели, выли; с балок глушило ревом. Взбитые бурей чащи, сбросив свои покровы, плясали в гуле. Спавшие за кустами звери — серые камни-звери — вздывали крутые спины, ревели, ломились в чащах. Каменные стада проснулись, топотали. Все струилось, металось, мчало. И опускавшийся к Бабугану месяц тоже куда-то мчался. Нагоняла его степная туча, дымила серебряными горами, тяжелая, снеговая, с обвисшим брюхом: вот-вот ударит о Чатыр-Даг и лопнет, — накроет снегом.

Безрукий ее не видел.

Дорога тянула в горы, крутила петли. На заворотах чернели камни — стояли, ждали. Сбросив свои короны, черные буки качались в балках, из черного серебра литые.

За поворотом, на светлой стреле дороге, чернело что-то, жутко храпело зверем...

Швырнуло за камни страхом. Безрукий присел, послушал: ясно, храпело зверем? Выглянул из-за камня... Лошадь? Черная голова вздымалась, мчало по ветру гриву...

На дороге лежала лошадь.

— Это по ней стреляли... — вспомнил Безрукий верхового, кто-то еще с *тем* ехал...

Выступил из-за камня и стал обходить лошадь.

Она увидала человека. Она забилась, блеснула зубами в храпе и рухнула головой в дорогу. Он уловил ее взгляд молящий, застывший в вывернутом глазу ужас, черную лужу на дороге, блеск месяца на ребрах, — и побежал от нее на ветер. Его свалило. Он повернулся спиною к ветру и снова увидал лошадь: кивала она ему, мотала гривой. Как будто манила его, молила лошадь.

И долго еще он видел, как кивала она ему, пока не закрыло поворотом.

Дорога вступила в балку, — и стало тише.

Слева — ущелье входило в горы, и в его дальней пасти, на синеющей по-ночному дали, дымною тенью встала недвижная Катерин-Гора, — смутная, легкая, ночная. Всю дорогу будет следить дремотно.

Безрукий ее не видел.

Он миновал теснину, с железным мостом, — глухое место. Не вспомнил даже, что где-то на буках — трое. Они висели, покачивались в ветре.

Выступил башней камень.

Знакомое было место. В пологой балке — с дороги видно — лежала глыба. Выласкало ее дождем и ветром, и стала она похожа на могильный камень. Здесь, бывало, поили коней и отдыхали. Под глыбой бурлил источник. Была глыба — могильный камень: стояли на ней три крестика, черной краской.

Безрукий узнал глыбу.

— Пережду до утра, зароюсь в листья...

Узнал и тропку.

Внизу, в дубняке и грабе, под сенью глухих орешин, было совсем спокойно. Месяц стоял над гребнем. В черной сетке лежала глыба, мерцали на ней деревья — тени.

Безрукий смотрел на глыбу...

...В солнечный, жаркий день, — все дни тогда были солнечные и жаркие, — спускались весело от пещер верхами и тут выезжали на дорогу. Под камнем бурлил источник. Шумели веселым станом в свежей тени орешин. Все становились на колени и припадали к струйке. Холодом обжигало губы, в груди ломило. А Безрукий, в чудесной своей панаме, покуривая сигарку, рассказывал приезжим, как против этого камня, на дороге, убили троих безвинно, — извозчика, почтальона и солдата, которые везли деньги. И, нюхом зная, что слушать об этом любят, шептал с подмигом:

— Ну, понятно... *они* это... для народного, как сказать, блага...

Слушатели загадочно молчали...

Он смотрел на черные крестики, как сонный. И вырвалось у него беззвучно:

— Проклятые... сбежали... подыхаем!..

Крестики показались ему — из дальней дали, загадочным сном мелькнули...

— Пировали тогда... Новая жизнь будет!.. Все открыли! Все убили!..

Было ли когда *это?*

Бульканьем из-под камня повторяло: *было... было...*

С ветра ли, от вина ли, — томила жажда. Он встал на колени, как бывало, и приник губами к бурливой струйке. Ему обожгло губы, как и раньше, и словно молнией осветило — восстало ярко, как весело пили эту воду, и так же в груди ломило...

Пил жадно, долго...

И вот встало над ним неслышно, вспыхнуло ярким светом, и погасло.

— Ты что за птица?!.

Крикнул командный голос.

Безрукий вскрикнул... Снова сверкнуло в струйке, озарило гнилые листья и чьи-то ноги... Крепкие сапоги мелькнули, — и погасло.

— Вставай! — крикнул суровый голос.

Вспыхнуло, ослепило... Безрукий узнал фонарик, приклад винтовки... Высокий стоял у камня, сильный...

— Красив молодчик! — сказал человек с винтовкой. — Ты кто такое? Откуда?..

Погас фонарик.

Безрукий молчал от страха. В глазах осталось: баранья куртка, баранья шапка, патроны, штаны с кантом...

— С тобой говорят, болван? Кто? откуда?..

— Попить... спустился... — стуча зубами, проговорил Безрукий.

И так и остался, на коленях.

— Нашел время!.. Бумаги? Не понимаешь, совсем младенец?.. от вашей, болван, собачьей власти?.. Документы!..

Безрукий как будто понял, кто перед ним с винтовкой. Он протянул, было, руку, — просить о чем-то? — но человек крикнул строго:

— Бумаги, от собачьей власти... имеешь? Через горы боятся сами... вам, болванам, носить дают, собаки! Документы?!.

Теперь он понял.

— Будь они прокляты... — вытянул из нутра Безрукий, — всю жизнь убили...

— Поешь складно. В мешке чего у тебя?

— Ничего-с... глядите...

Рука осветила лампочкой, рванула мешок, встряхнула...

— Кошка?! Зачем — кошка?..

— Кошка... — уныло сказал Безрукий, смотря на кошку.

Прыгнуло пятно света, блеснули оскаленные зубы, выдутые глаза, как стекла, и тут увидал Безрукий, как исполосовал он кошку.

— А зачем это вам, *товарищ*, кошка?! — насмешливо спросил голос. — Ходили на охоту?..

— Детям добыл...

— На котлетки... Прекрасно. Пшено — не надо. Рубаха... — берем рубаху. Поручений собачьих не имеешь? Документы!..

— Законный имею пачпорт... царский...

— Имей. И кошку можешь. Рубаху покупаем. В раю рубахи не полагаются. Чей-то еще и сюртучок имеешь? — прыгнуло пятно света. — Хоть и однорукий, а реквизнул, мерзавец! Шелковые когда-то отвороты назывались!..

— Берите-с... — покорно сказал Безрукий и отложил рубаху.

— Ну, как... живется в раю сладко? Сколько, небось, просился-добивался... — таки впустили? С кошечками играешь... Ну, забирай свою бliманжу, и — марш! — ткнул невидимый человек в кошку.

— Я с *ними*... не имею!.. — выкрикнул из последних сил Безрукий. — Лучше бы уж убили... сразу...

— За-чем же сразу? Сразу, брат, не прочувствуешь. А ты поживи, прочувствуй... Лазаря поете, как подыхать настало?..

— Брось, Вахабин... — сказал другой голос, и из-за камня вышел еще, с винтовкой.

Месяц еще светил над гребнем, в набегавших тучках, и в свете его Безрукий признал погоны.

— Гляди, капитан, бобра! — сказал Вахабин и брызнул светом. — Хорош молодчик?.. А ты погляди на рожу! махровый самый!.. самый что ни на есть... райский!..

— Нашел время... Замерз дурак, да еще безрукий! — устало сказал пришедший. — Пусти его, замерзнет...

— Изъятие излишков сделал, рассчитаться надо... — сказал Вахабин и свистнул трелью. — Рубаху нашему казаку добыли. Нет, каков, однако, мерзавец! Безрукий, а сюртучок себе реквизнул, осилил! Кошек по горам ловит, а из рая уходить не хочет!..

Безрукий поглядел жалобными глазами.

— Ваше благородие... все неправда! Чего мы можем?.. Оружие поотняли... шайка...

— Молчи, кошатник! — выругался Вахабин, стреляя светом, и Безрукий видел, как передернуло его скулы. — Поотняли?! Камнями бейся... раз у тебя жизнь отняли! Падаль, сукины сыны, жрете, а подыхать все боитесь?.. В навоз, все равно, пойдете! Детей уж жрете!

— Кому говоришь! — сказал капитан с сердцем. — Сматываться пора. Теперь ни одна собака не поедет...

— Они все такие, панихида... а как грабить!..

— Ваше благородие! — крикнул с отчаянием Безрукий, — я всякую культуру понимаю... разорили! Дети... трое помирают...

— Брось, поручик. С третьего поста сняты?..

— Сейчас снимаю. Я отходную ему читаю... Ты чего меня «благородием» величаешь? Кончилось благородное! — через зубы сказал Вахабин и помотал у глаз пальцем. — Узнали зверье — по-другому теперь начнется! На зверье — кнут да палка, чтобы твою «куль-ту-ру» не растоптали, дерьмом не завалили! Стой, за рубаху будет... Верховой попался?..

— Видел, версты четыре...

— Что, веселый?

— На, поправься... — сказал капитан, вытаскивая из-за борта фляжку. — Замерзнешь, голый...

Он отвинтил серебряный стаканчик, налил...

— За...мерз... — выстукивая зубами, прошептал Безрукий и принял стаканчик горстью: уже не владели пальцы.

Как огнем обожгло глотку и побежало жгучей струей по телу.

— Ваше... благородие... — задохнулся Безрукий, поперхнулся, — ко...ньяк?!. Знаю... я всю культуру!..

— Понимает культуру, шельма! — сказал Вахабин. — И чего расточаешь бисер перед свиньею!..

— Всю культуру... с профессорами обходился... из древнего времени... всегда гуляли... культуру признавали... Знаменитая была куль... тура!.. все хлеб имели...

— Пей, культура! — сказал капитан и налил другой стаканчик.

— Господи... из древнего времени!..

— Ай хорошего чего есть? — крикнуло из-за камня басом, и вышел бородатый казак в папахе.

— Да вот, купили тебе рубаху, Иван Коныч... теперь щеголяй на все! — сказал Вахабин, давая казаку рубаху. — Дашь ему чего... сала, хлеба!

— Живем! — усмехнулся казак, зевая. — Баловать их, сволочь... В боях, почтенный, потерял руку?

— Машиной оторвало, — сказал Безрукий, — из древнего времени, когда был слесарь...

— Сле-сарь?.. Знаю вас, сволочей... За слесарей вся заваroха вышла, работать сукины сыны не захотели! — выругался казак и пошел за камень. — Дайте ему раза, ваше благородие! Са-ла... — услыхал Безрукий из-за камня.

— Слыхал? — с усмешкой спросил Вахабин. — Кто говорит? На-род говорит... казачья воля! Семью оставил, хозяйство бросил, не захотел жрать кошек!

— Ваше благородие!.. Что мы?!. Профессора одобряли... для удовлетворенья!.. Сбежали сами... Я с ними обращался... по всем горам гуляли... всего открыли!.. Господи!

Коньяк разогрел его. Стаканчик с походной фляжки распахнул перед ним дверь в прошлое. Недавно, на пикниках, бывало!..

Облокотившись на камень, стоял офицер, в приплюснутой фуражке, такой знакомой, в гороховой шинели, с биноклем на ремешке, — курил. Его заросшее бородой лицо, совсем еще молодое, на месяце было смертельно бледно, устало, грустно. Печально смотрели его глаза, и Безрукому показалось, что человек этот его жалеет. И он пожалел его. Вдруг открылось, — отомкнуло ему вино? — что связывает его что-то с ними, что-то такое... — не назвал бы словом. Давнее?.. Что *это* — у

камня с тремя крестами — последнее от *той* жизни, — последнее прощанье. Вдруг осветилось ему в потемках, — и стало ему до острой боли жаль и себя, и этих, ушедших в горы, леса и камни, — и всё, ни за что погибшее. Впервые за эти годы, за эти страшные дни метанья постиг он бездонный ужас и понял, что *все* погибло. Это открылось ему не мыслью, а светом, из тьмы сверкнувшим. Вдруг подступило к горлу, хлестнуло в глаза правдой... Он вспомнил детей — у моря... — и зарыдал, заухал.

— Отставить! — крикнул, смеясь, Вахабин. — Так ты верхового встретил?..

— Так точно, видел...

— Ну, так скажи собакам, что болван со звездой в раю, под мостом, где «фонари» играют!.. Понимаешь?

— Понимаю... висят трое...

— Три собаки! И пусть лучше не посылают сволочь, которая нищих грабит... а махровые чтобы приходили, с собачьим документом! не прятались за болванов!.. По-нял?!.

— Понял...

— А семерых на автомобиле, с билетами... сам, скажи, поручик Вахабин... *снял!* Татарин, скажи, Вахабин! *Они* знают... И еще за ними остается! Хорошо запомнил?..

— Помню...

Казак вернулся.

— За рубаху больше ему не стоит, ношеная... — сказал он грубо. — Я б ему ни хера не дал, балуете их только...

— Пойдет ему на поминки! — ткнул Вахабин Безрукому чурек и сало. — Вспоминай, как... в аду едали! В раю расскажешь...

— Все бы отдал! — вскрикнул Безрукий, хватая сало. — Последние вы... в горы ушли... за нашу Россию бьетесь!.. за правду бьетесь...

— Да уж не за ваши сопли!

— Давай мешок, — сказал капитан, вынимая из пазухи ком бумажек, и бросил, как мусор, с маху. — Миллионером будешь, на собачьи собачьего хлеба купишь...

— Господи! — завопил Безрукий, хватая его руку, но тот отдернул.

— Сматываться, поручик!..

И все трое ушли за камень.

Безрукий глядел на глыбу, на светлое за ней небо. Хотел крикнуть... — не выскочило из глотки. Шумели над головой деревья, сновали по глыбе тени.

Было?..

Бурлил и бурлил источник: было... было...

— Эй! красавец! — донеслось ветром сверху. — Слушай, дурак... за-мерзнешь!.. За Перевалом... огонь!.. чабаны!.. Скажи... по-ручик послал... мурзак, князь... Вахабин!..

Безрукий невнятно крикнул...

Месяц зашел за гребень, темнело в балке. Кресты померкли.

Было? И верил, и не верил. Шумели над ним деревья, бурлил и бурлил источник. Валялся мешок, чернело пятно... Кошка?..

Он забрал в мешок кошку, увидал сало и кусок чурека на бумажке... Было!.. Он схватил сало и обнюхал, впился зубами... О детях вспомнил, сунул в мешок и замотал потуже.

...За Перевалом огонь?.. чабаны?..

Перекрестился и побежал из балки.

В ушах стояло:

— За Перевалом огонь! чабаны!

XIII

Ветер уже не бился о каменную плотину Чатыр-Дага: теперь он нашел дорогу и рвался за Перевал прорывом.

Безрукого гнало в спину, низало стужей, — несло на тугих крыльях. Мотавшийся за спиной мешок не мог защитить от стужи, рука застыла. Страшась уронить мешок, он вцепился в него зубами. Пугало его сомненье...

— А ну... не попадутся?..

Не набежит на огонь — замерзнет.

— С ними бы попроситься... дождаться утра... — вспоминалось ему о встрече. — Да нет, не верят... хоронятся где-нибудь в пещере... огонь разложат... Хорошо в пещерах, тихо... И всякие припасы... никто не доберется... Детей бы перетащить... жили бы себе да жили...

Мешались в голове мысли.

Да была ли встреча? Чувствовался во рту вкус сала. Зубами помнилось, как хрустело... И коньяком всё пахло. В ушах осталось: «За Перевалом огонь! чабаны!»

— И денег дали... два пуда купить можно?

Несло на тугих крыльях.

В глазах осталось — прыгающий круг света, сверканье струйки, светлый стаканчик с фляжки, комок бумажек...

Была встреча!..

И все казалось, что это из давней жизни.

Черными полосами струились кусты и камни. Дорога меркла, — месяц ушел за горы. Сзади, из черноты, густо валила туча, клочья ее светились. Сеяло тонким снегом, но Безрукий его не слышал. Он даже и ног не слышал: несли его деревяшки, попрыгивали, как спьяну. Он засыпал на бегу, — и встряхивало его испугом:

— Мешок?

Мешок колотился в спину, терло дерюжкой губы.

И вдруг проясняло мысли:

— Господи, что же это? Голый бегу... который уж день... все горы? Сейчас упаду, замерзну...

Стучало в ушах, как камни: огонь... чабаны!..

Кусты пропали, снегом блеснуло поле... Рвануло в гуле, — и Безрукий понял, что он на Перевале.

Ветер нашел просторы, рухался за плотину с ревом. Мчались по снегу камни великого огнища, выли. Пригнувшись, несся навстречу дуб, закинув в вихре исхлестанные ветви, — мелькнул чернотою в свисте...

И сбросило с Перевала вихрем.

— А где огонь?..

Дорога бежала книзу, черная пустота глотала, — и вот, глубоко во тьме, красновато мигнуло искрой.

— Огонь... чабаны!..

Черными полосами мчались кусты и камни. Искра мигала, гасла. В долины валились балки, чернело глубью. Качало небо великой тенью — смутной Горой-Царицей: дорога крутила петли.

Безрукий ее не видел.

Слева мигнула искра, мигнуло справа. Огонь вертелся, летел навстречу. Дымилось над ним сиянием.

— Огонь... чабаны...

Хлестало снегом, стегало глаза метелью, катило камнем. Казавшийся все далеким, огонь появился близко, у ног, в провале. Бурно над ним дымилось...

— Чабаны... на нижней петле!

Рвануло вперед надеждой. Невидный, смутный, стоял у дороги камень. Ударил камень — и Безрукий упал с разбегу.

Долго ли он лежал — не помнил. Крутило над ним метелью. Стегало воем.

— Огонь... чабаны... — сказало ему в метели.

Он поднялся, но его сбило ветром.

— Мешок свалился!

Опять его сбило ветром. Он пополз, обшаривая дорогу, но пальцы уже не могли нащупать.

— Сбросило ветром... в балку?

Ноги отяжелели, онемели. Он все же пополз на локте, выискивал, — где чернеет? Что-то чернелось на краю дороги? Куча щебня. Жужжало по ней бурьяном.

Безрукий дополз до края, заглянул в черноту провала. Гулом во тьме ходило — леса качались. Он поглядел на небо. Стояло на небе — тенью. Смотрела Гора-Царица, — темная, тихая, ночная. В небо за ней поглядел Безрукий, сказал беззвучно:

— Господи... погибаю...

Склонился к краю, — погнуло его ветром, — и увидал: у края, на снежку чернеет.

— Мешок?

Он потянулся, но не мог захватить рукою, — не схватывали пальцы. Он перегнулся в балку, схватил зубами... Зубы его нащупали дерюжку, впились, как в мясо, и, пятясь по-собачьи, он выволочил мешок из балки. Хотел подняться, но его повалило ветром.

— Огонь... чабаны...

Его задушило ветром. Он укрылся за кучей щебня, ткнулся губами в камень...

Хлестало, лепило снегом. Он смутно помнил, что где-то недалеко чабаны, и огонь совсем близко... что нельзя оставаться на дороге. Но его сковывало дремотой — камнем.

— Огонь!.. чабаны!.. — крикнул над ухом голос.

Он вдруг рванулся, поднялся на колени. Близко, на нижней петле, над темными кустами, сияло огненное пятно, дымилось... Он крикнул в черную пустоту за светом, и огненное пятно пропало. Прошло замиравшей мыслью:

— Огонь... чабаны...

И этот огонь стал искрой. Она погасла.

Его пробудило собачьим лаем. Лай по горам катился, с Гробницы Великана, гремел камнями.

— Овчарки? — прошло дремотно.

Сыпало, как камнями, — лаем, накатывало ближе, злобно.

— Разорвут... — пронизало искрой, под грудой камня. — Овчарки... злые... — подумал Безрукий безнадежно, чувствуя, что не сбросить камня.

Страх, что сейчас разорвут овчарки, вырвал его из мрака. Он знал овчарок. Чутье ли ему сказало — осталось от диких предков, или он вспомнил, что так учили его чабаны, — он втянул шею в плечи, подобрал под грудь руку и замер лицом в дорогу.

Словно сквозь сон он слышал, как яростно лаяли овчарки, драли когтями землю, прыгали у лица, дышали горячей псиной. И вот через лай донесся хриплый и жгучий чабаний выкрик, как будто защелкало бичами:

— Аррьчччь! Арьчь-арьчь-арьчь!

Лай оборвался визгом. Чабан выпрыгнул на дорогу, гикнул, как умеют одни чабаны, и яростно завертел палкой. Собаки отскочили с воем.

— Йеййй!.. Покажи руки!

Лохматый, похожий на огромную овчарку, чабан подскочил ближе, втянул носом, вгляделся — и тронул долгой крюкастой палкой, какой выхватывают баранов из отары.

— Йеййй, человек!.. айда!..

Овчарки опять рванулись.

— Йеййй, шайтан!.. — крикнул чабан свирепо и дернул крюком за шею.

Овчарки рванулись с визгом. Чабан закрутил палкой, крикнул свое, понятное только овцам, и дернул опять за шею.

— Ач-ча-ча-ча! — вырвалось из него рычаньем, и он подошел вплотную.

За ним — овчарки.

— Йеййй, человек! Огонь!.. — взвыл он над самым ухом, нажал на шею, подумал — бросить? — и что-то сказал овчаркам.

Они швырнулись с свирепым лаем.

— Аррьччь!.. — прыгнул чабан к овчаркам, поднял лежавшего за плечи и поставил. — Айда!.. Не можешь?..

Безрукий забормотал невнятно.

Чабан, наконец, дознался, что человек ничего не может. Он отогнал от мешка овчарок, забрал мешок, взвалил Безрукого на плечо, как взваливают барана, и, попрыгивая, побежал легко книзу. Скоро он свернул прямиком по балке, приметной ему тропинкой, и кустами спустился в котловину. Послушные его свисту, рассыпались по местам овчарки.

XIV

Под каменистым обрывом, в тиши от ветра, жарко горел костер. У стенки, на груде веток, на войлоке, спал под тулупом

старик чабан, надвинув на глаза шапку, — торчала седенькая бородка. В ногах у него лежала крупная овчарка, с крутым загорбком, похожая на волка. Заслышав шаги чабана, она вскочила, сделала торчком уши, втянула носом — и вдруг, с рычанием, вцепилась в мешок зубами.

— Гайть! — гикнул чабан, пиная ногою в морду.

Овчарка, рыча, пошла на место. Старый чабан проснулся.

— Что там, Алим? — спросил он в огонь, не видя.

Чабан свалил Безрукого у огня, подергал за полу сюртука, потрогал пустой рукав, тряхнул головой и засмеялся.

— Шайтан, без одной руки... голый! Собаки хотели рвать... Замерз, не чует!..

— С берега?

— С берега. Красная борода, как у шайтана! — смеялся чабан, толкая ногой Безрукого. — И шапки нет, потерял!..

— Знаю его, Безрукого... — сказал старый чабан, зевая. — Покупал прежде у меня барашков, водил с берега глядеть пещеры... А, волки!.. Прибавь-ка огня, Алим...

А потянул на голову овчины.

— Йейй, ты! шайтан!.. — кричал, расталкивая, чабан. — Проснешься!..

Он взял горящую головешку и сунул к носу. Безрукий повел глазами, — узнал огонь. Зубы его ощерились улыбкой, он вспомнил что-то и завозился, ошаривая землю.

— Жив остался?.. — крикнул, смеясь, чабан, суя головешку к носу. — Шайтан красивый!

— Ме...шок... — чуть слышно пробормотал Безрукий.

— Мешок ищешь?

Чабан вырвал из-под овчарки войлок, кинул Безрукому вголова мешок и накрыл с головою войлоком.

— С Перевала шел, а в мешке у него барашка... Чорх учуял!

— Бродят волки... — сердито сказал старик. — У себя все сожрали, к нам теперь на горы воровать ходят. Не отзывай собак, пусть их грызут до сердца!..

Чабан подкинул в костер сухого дуба, погрел на дыму руки и стал набивать трубку. Сидел на корточках, курил и плевал в огонь. Шуба завернулась на его груди крутыми волнами белого кудрявого барана, мохнатый воротник закрыл спину, шапка сливалась с ним. Казалось, — сидит у огня огромная кудлатая овчарка.

Ветер срывался с обрыва в котловину, крутил и хлестал снегом; порой ударял в костер, шибал дымом, взрывал золо-

тым столбом, срывал и уносил искры. Летели они золотым роем, тянули во тьму огневые нити. Но все реже и реже встряхивал — затихал. Порой доносило визгливый лай. Чабан прислушивался, вкладывал в рот два пальца и пускал резким свистом. Собаки отзывались. Чабан подымался, задирал голову и, напружив горло, железной глоткой кричал — аррьччь-аррьччь! Собаки отзывались по-другому. Набегало запаленное дыханье; шуршало за кустами, пробегало глухою дробью. За светлым кругом мелькали тени, из темноты совалась острая, волчья, морда с торчащими ушами, с точками огоньков в глазах, вздыхала и пропадала в мути.

Безрукий уже ничего не слышал.

Жаркий огонь костра плясал по войлоку языками. Дымился войлок. Спал чабан под тулупом. Спала овчарка в его ногах. Потряхивало в камнях ветром.

Чабан докурил трубку, позвал собаку особым свистом и пошел не спеша к дороге. Овчарка повозилась, поглядела на старого чабана, к огню взглянула, зевнула — и осталась.

— Гайть! — крикнул чабан настойчиво и свистнул резче.

Овчарка нехотя поднялась, уставила голову по ветру, послушала, передернула рваными ушами, перетянулась с визгом и потрусила лениво за чабаном.

Скоро донесло жгучее, щелкающее — аррьччь-аррьччь! — и страстный заливный лай, будто гонят собаки зверя. И с другого края, от верха, из-за обрыва, с невидимой отары, отозвалось задорно:

— Арррьччь!.. аррьччь-аррьччь!.

Это чабаны перекликались в тревожной ночи. Овчарки вели дозоры.

Две рослые белые собаки набежали снизу и встали за светлым кругом, высунув волчьи морды. Их красные языки дрожали, глаза горели. Они поглядели на спавшего чабана, потянули к огню носами, остановились в дрожи... Впрыгнули в светлый круг и бешено ткнулись в войлок. Оторвал их призывный свист, — и они понеслись к дороге.

Новый чабан пришел снизу, ввалился из темноты зверем, в черной овчине, наружу шерстью, седой от снега. Он легко подбежал к огню, будто на мягких лапах, отбил постолы от снега, встряхнулся по-собачьи, сбросил бараньи рукавицы, задвинул на затылок белую баранью шапку, — и юное, свежее лицо его, в густом румянце, открылось пылающему огню бойкими бровями, жарким и влажным ртом, и засмеялось

радостными, детскими глазами. Он протянул к огню руки, потянулся и позевал сладко. И вдруг — насторожился...

Послышалось ему что-то?..

Он поглядел тревожно на старого чабана, всмотрелся через огонь, приметил войлок...

Слышались глухие стоны, тяжелое дыханье...

Чабан подбежал, послушал — и поднял войлок.

— Ачь-чя-чя-чя! — вырвалось у него из горла.

Смутило его мертвенное лицо, чужое, с ввалившимися глазами, красная борода, как у шайтана. Он поглядел на спавшего чабана, подался и бросил войлок. Задумчиво отошел — и тут же забыл и замурлыкал песню.

— Гляди, огонь... — сказал старый чабан впросонках.

Чабан-мальчик заботливо оглядел костер, поправил головешки, подкинул сухого корня. Огонь проснулся. Чабан опять замурлыкал песню, сидел на корточках у огня, качался. Валило от него паром.

...Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли... гайть!
Джиль-джиль!..

Сонно журчала песенка. Красные языки огня поплясывали сонно.

Чабан стянул свою шкуру, остался в бараньей безрукавке. Шкуру расстелил вверх шерстью, попрыгал на коленях, играя перед огнем, как играют на месяце молодые зайцы, и повалился грудью, — принялся набивать трубку. Трубка его долго занимала. Он разглядывал на ней синий камень и медные разводы, и пестрый бисер на кожаном кисете. Разглядывал и дымок из трубки. Потом устроился поудобней, подпер голову кулаками, курил и думал. Черные глаза его неподвижно смотрели в пламя, слипались, спали. Угасшая трубка выпала, — он не чуял. Его голова поникла, свалилась шапка, закрыв огонь...

Снег валил хлопьями, сеял в костер дождем. Потише стало, и потеплело сильно. На кустах, за светом, налипли шапки, розовым от огня светились. Красные зайцы сидели под кустами. Последним валило снегом, — проглядывали звезды.

Потрескивало в костре, шипело. Стал засыпать огонь. Спал мальчик, — и старый чабан. Зимняя ночь тянулась...

Снизу, откуда пришел чабан, понуро вышла старая овчарка, встряхнулась перед огнем, перетянулась с визгом, вываливая язык, оборвала визг стоном, словно болели у ней все кости,

лениво поискалась, поерзала на спине, к теплу, и пошла умащиваться в ногах чабана.

— Спи, старая... — впросонках сказал старик.

Она простонала тихо и сунула голову в овчины.

Скоро вернулся первый чабан — с другого конца, снизу, бросил охапку суши.

Мальчик-чабан проснулся, заслышав вернувшуюся овчарку, надел свою шкуру, присел на корточки и опять заурлыкал песню. Без слов урлыкал, играя горлом.

— Злая ночь... — сказал пришедший чабан, приваливаясь к огню.

— Злая...

Урли... урли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

Слушал — слушал другой, — и в его горле заклотала песня, бурливая, как прыгающий в камнях источник...

Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

Пел и огонек с ними, и уркающий ручей в балке, рожденный снегом.

— Были? — спросил мальчик.

— Два следа на дороге. Пошли книзу.

Сидели молча. Чабан стал набивать трубку.

— Кто пришел? — показал мальчик, смотря на войлок.

— Шайтан, греться...

— Кто, Алим?..

— Собаки нашли. Бекир знает.

Долго сидели молча.

— С овцой баловал опять!.. Скажу Бекиру.

— Доил я... — сказал виновато мальчик. — Бекир сказал.

— Видел... Скажу.

— И я видел...

— Молчи, хорек! Я не порчу... подбавь огня!

Метнулись красные языки, забило дымом. Песня опять журчала в затихшей ночи.

Давняя была песня эта. Знают ее чабаны, а слов не знают. Песня воды и камня, и песня ветра, и песня травы звенящей, и полыхающего костра — под ветром. Горлом играют ее чабаны — живой струною.

Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

И громче уркало и журчало в балках.

С невидимой отары, за кустами, и за обрывом, выше, доносило овечье меканье и трепетное ржание баранов. Когда совсем унимался ветер, слышалось топотанье метнувшейся отары, и за ним — беспокойный, назойный лай.

— Чуял, внизу как гнали?

— Чуял... — оборвал песню мальчик. — У Гайды морда в крови. Рвали...

— Кровь по следу. С берега, воры. Бекир сказал: не отзывай собак, пусть их грызут до сердца. Теперь можно. Бекир сказал. Собака грызет волка...

— След к потоку?

— К потоку.

— А много крови?.. Погляжу утром.

— Заметет снегом... — сказал старший. — Вечером двое на конях барашка захватили... знаю? С Таушан-Балки, лесной. Устерегу ночью.

— Бекир ружье не даст.

— Мне не надо. Камнем. Козла убил... И его убью. Это у тебя чья трубка?..

— Нашел в Ай-Балке, у Трех Камней... Те забыли...

— Это Амида трубка, я ее знаю... Курил, видел... показывал Бекиру. Отдай Бекиру! Все из Шумы ее знают...

— Знаю.

Дремали. Спали.

Донесло шорох, рокот... Камень катился в балку?

Проснулись оба.

— Слышал?

— Слышал... к Дубовой Балке?

— Нет, к дороге. Ступай по кругу, через Чорохсу, где Большой Камень... Наперерез, балкой, Сухой Водою... Твой черед.

— Знаю... пойду.

Чабан-мальчик надел рукавицы, оправил нож и пошел своим кругом, в ночь.

Чабан подбросил в костер, стал дремать.

Кверху, с невидимой отары, яростно залились собаки. Старая овчарка дернула головой из-под овчины, поставила ухо, заворчала...

Чабан встряхнулся, послушал — и погрозил овчарке:

— Цааа!

Она вскочила, торчками уши, и затопталась, в дрожи...

Чабан слушал...

— Ачь-ча-ча-ча... йяй-йяй! — тревожно сказал он ночи.

Собаки гнали.

Овчарка подняла лапу и застыла, выкинув вперед уши. Хвост ее натянулся, дрожал пружиной. Она поглядела на чабана, спросила нетерпеливым визгом...

— Ца!.. — погрозил чабан.

Он выбежал за круг света, послушал и засвистал протяжно. Собаки не отзывались — гнали. Бараны за обрывом тревожно ржали.

— Гайть! — крикнул чабан овчарке.

Овчарка выкинулась к дороге, повела шумно носом; глядела, словно звала чабана. Чабан выпытал темноту, гикнул и побежал книзу. Овчарка заерзала на месте, потопталась за светлым кругом, повела мордой кверху, визгнула и, что-то поняв, свое, яро метнулась за чабаном.

Ночь наполнилась голосами, свистом, — заполошилась. Шарахнулась топотом отара, бараны заревели...

Старый чабан проснулся, послушал, как заливаются внизу собаки, раскатисто свистнул в пальцы и загикал. Ему ответили сверху, снизу. И он ответил. Узнал, что нужно, накинул тяжелые овчины и сел к огоньку — слушал...

— А, злая сегодня ночь!.. — сказал он со вздохом в небо.

Сидел, уставясь в огонь, недвижно.

Огонь приветно играл на его груди, расшитой шелками и каменьем, на серебре застежек мерлушчатого кафтана, в крупных, с яйцо, гремках, на чеканном серебре богатой опояски, на рукоятке ножа в коленях, на крепком глянце кожаного лица его, в черных и жарких еще глазах.

— А, злая ночь!..

Он набил черную, корневой черешни, выложенную затейливым серебром и лазоревыми камнями трубку, привешенную на звонкой цепочке к поясу, достал из огня голой рукою уголь и прикурил неспешно. Сидел и курил, нахмурив черневшие махрами брови, — сухой, горбоносый, зоркий. Смотрел на огонь и думал...

XV

Снизу пришел чабан-мальчик. За ним прибежали две овчарки: палевая, с подгаром, и — волчьей масти. Они поиграли,

покрутились, метнулись к войлоку, вынюхали мешок и стали грызться.

Старый чабан кинул головешкой. Собаки отскочили с визгом.

— Положи на камень! — крикнул он мальчику-чабану. — Барашки чуют. Волки-воры...

Мальчик положил мешок на выступ.

— Опять были? — мотнул чабан в темноту, книзу.

— Были. От Большого Камня собаки гнали... У Яя в крови морда...

— Куда гнали?

— Через Сухую Воду... Алим подозвал Чорха...

— Шайтан! Через Сухую Воду?!. Пустая голова твой Алим!.. Надо было на пересечку, заслать с Ай-Балки!..

— Чорх побежал с Ай-Балки, Алим подозвал, погнал на Сухую Воду...

— Мой Чорх умней пустой головы Алима... Помни, Чорха слушай... Мой Чорх до Палат-Горы услышит!.. Умней собаки быть хотите? Собака тебя старше... умней всей яйлы!..

Сидели и молчали. Сопела трубка.

— Волки, с берега... — сказал старый чабан огню. — Собака грызет волка. Бог велит...

Выстукав на ладони трубку, чабан сходил в куст, вымыл о снежок руки и посмотрел под войлок.

— Он, знакомый. Хороший был человек — волком ходит! На горы голый ходит... — покрутил головой чабан. — Пропали люди на берегу... про-пали!..

Поглядел на небо, как тучи бегут по звездам, и лег под свои овчины.

— Тепло будет. Завтра назад погоню, на яйлу... С шайтанами тут, с волками! Держи огонь. Да больше по верху слушай... переломился ветер... от верху будут!

И правда, начал ломаться ветер, — потянуло теплом, от моря.

Слышалось в затихшей ночи, как шлепало с кустов снегом, шорохами сползало с камня. Из-под войлока доносило хрипы, тревожное бормотанье. Слушал его дремотно мальчик, — сонное меканье в отаре, подкашливанье вожаков-баранов...

Лизавшиеся у огня овчарки насторожились, вытянулись за круг света. Сказало им в тишине что-то, — и они яро метнулись книзу.

Чабан-мальчик проснулся, схватил палку и побежал за обрыв, к отаре.

Старый чабан отвалил овчины и послушал. Брови его насторожились, заиграли. Уши выпытывали у ночи, ждали...

И вот, — острый, сверлящий посвист, — тревоги-спешки, — похожий на злобный клекот, донесся снизу...

Старый чабан отшвырнул овчины, вскочил, как мальчик, и выбежал за круг света. Совсюду били тревогу свисты. Чабан поднял над головою руку, провел ведомые ему дороги, как-будто мерил и ставил знаки, — тряхнул головой и обругался:

— А, злая ночь... шайтаны! ползут, волки!

Что-то наслушал, плечами передернул, метнул глазами. Ноздри его раздулись, втянулись сухие губы. Он бережно вытянул ружье из-под овчины, с выгнутым, как ступня, прикладом на вытянутой шейке, богато украшенное насечкой, широкотрубное, с долгим боем, старательно осмотрел при свете, поправил у замка что-то, вытянул из ствола затычку — пучок шерсти, побормотал у дула и, бережно взяв под мышку, тихо пошел к дороге.

Совсем с другой стороны, от низу, понесся пылкий собачий гомон. Собаки гнали. Лай оборвался визгом... На вскрик, похожий на человечий, ответил ярый чабаний выкрик — гойть-гойть!.. — древнейший выкрик чабаньей травли. Другой, визгливый, ответил выше... — и все покрыло звериным воем. Вой покатился влево, на низ, к дороге. Чабаны травили вперебивку, сверлили тревожным свистом.

Лай становился глуше, срывался, гаснул. Травля и свист затихли.

Стало слышно, как овцы пугливо звали. Бараны унимали коротким ревом. Слышалось — аррьччь-аррьчь-аррьчь!.. — приманивающее лаской, совсем другое, — глухое шараханье отары, топотанье, ворчливое тятяканье овчарки, сбивавшей к стаду.

Живые голоса затихли. Только звонко бурлила вода по камням да рухались снеговые комья.

И вот, к дороге, тяжело грохнул выстрел, и покатилось в балках. В насторожившейся тишине за ним, одним свистом спросил о чем-то... Другой — ответил.

И все затихло.

Старый чабан вернулся, принес барашка. Чабаньи глаза горели, шептали губы:

— А-а, шайтаны!

Он осмотрел у огня барашка, мотавшуюся его головку, — вынул кинжал и заколол у горла.

— Шайтаны-волки...

И подержал над огнем за ножки: следил — *берет* ли?.. Черная кровь стекала, огонь весело прыгал языками, — *принял*.

Барашки будут!

Кожаное лицо чабана посветлело, он вытер нож о барашка и убрал тушку в камни, чтобы не достать овчаркам. Потом заботливо осмотрел ружье, протер шерстью, всыпал пороху из бараньего рога на ладони, забил натуго шерстью, забил картечью, поцеловал у дула и бережно спрятал под овчины.

— Шайтаны-волки!

Он вытер о снежок руки, поел снежку, захватывая его в пригоршни, как святое, и сел у огня с трубкой. Суровое лицо его стало жестким, строже сдвигались брови, усы дрожали, — будто он спорил с кем-то или шептал молитву. Упорно смотря в огонь, он поднимал порой руку и грозил кому-то.

Выкатывая язык и бурно нося боками, пришла старая овчарка, ткнулась к огню и вытянулась с долгим стоном. Чабан поцокал. Она поднялась с трудом и ткнулась ему в ноги. Он осмотрел ей морду и потрепал загорбок...

— Ах, старый-старый... — ласково сказала он, закручивая ей ухо, — двенадцатую зиму носишь, трудно тебе! Лежи.

Овчарка куснула его рукав, лизнула в руку, потерлась о колени и улеглась со стоном. Он курил, почесывая ей за ухом. Она дремала, вскидывая порой глазом.

Подремывали оба.

Потрескивало за кустами... Старый чабан вгляделся: топталась в кустах овчарка.

— Це-це, Яя!.. Чего ты там стал... поди!

И прошло по лицу тревогой.

Повизгивая, приковыляла рослая белая овчарка, ткнулась к огню и, изворачиваясь всем телом, стала зализывать у зада.

— Ать, Яя!.. — мягко позвал чабан.

Она поднялась, жалуясь на боль визгом, и ткнулась ему в колени. Он увидал страшный разрыв по заду, достал из огня уголь, размял в пальцах, перемешал слюною и накрепко вмазал в рану. Повизгивая, она глядела ему в глаза, старалась лизнуть в губы. Он строго грозил ей пальцем.

— Ступай, здоровый будешь!

Она лизнула его в бородку и покорно пошла на место. Она легла за огнем, вытянув морду в лапах, поерзала-повихляла задом, устроилась, чтобы не так болело, и, уставясь в огонь, задумалась.

— А-а злая ночь!.. — со вздохом сказал чабан.

Вечер совсем улегся. Чаще тукало по кустам мокрым снегом шорохами сползало с камня. Следы за костром чернели. Громче и громче бурлыкало по балкам. Теплой волной тянуло — с моря.

Подняли головы собаки... Шорохом набежало, и запыхавшийся голос крикнул:

— Яя... вернулся?..

Мягким лохматым комом прыгнул с уступа чабан-мальчик. Лицо его разгорелось, черные глаза сверкали.

— Ну? — строго спросил чабан.

— Двое было... — восторженно начал мальчик.

— Трое... — сказал чабан.

— Двое?

— Трое. Ишак четвертый. Говори дальше...

— ...Подошел сверху...

— Ага?!. Тебе говорил — сверху будут?!. Переломился ветер!

— Сверху, от Долгой Балки... собаки его погнали...

— А ты? Побежал за ними, ишак?! Я говорил — сверху будут! Алим, голова-котел, тебя вызвал! Кого тебе слушать?.. Следов на снегу не видел?! От Долгой Балки на Кривой Камень следов не видел?.. Всю отару могли порезать!.. С берегу ветер, овчарки не могут слышать... Болтай дальше!..

— Алим вызвал... там другой полз снизу, схватил барашка, заколол барашка...

— Котлы пустые! Говори дальше...

— Яя не дал!.. *Он* ножом ударил Яя... Алим *его* камнем, в это!.. — на темя показал мальчик.

— Где Алим?..

— С *ним* возился... велел к тебе, по верху...

— Раньше надо по верху! — крикнул чабан, заерзав. — Трое было... Третий с Кривого Камня, у дороги. Тащил барашка. Окружили, волки, сманили собак книзу! Отбил... — мотнул чабан на уступ в обрыве. — Отару могли порезать! А, шайтаны!.. Дурак, сапоги надел, слышно было. В постолах бы... не услышал! Всю отару могли порезать...

— Стрелял ты... ушел?

— *У-шел... А тот?*

— Алим знает...

— А, злая ночь!.. — вскрикнул чабан, заерзал. — А *твой,* от Долгой Балки?..

— Собаки его погнали... крови по следу много. Травили долго... Алим отозвал после, чтобы к верху...

— Чорх сторожил по верху, котлы!.. Чорх *того* на меня выгнал!..

— Чорх? Чорх был на низу, с нами...

— Я говорю! После... я Чорха послал книзу! Травить велю до пустого! до... камня! Теперь пусть грызут до сердца... Собака грызет волка.

Пара волков-овчарок вернулась снизу, ткнулась к огню лизаться, но чабан гикнул — послал к отаре.

Они стали за светлым кругом, смотря на огонь, — просились. Он поднял палец и погрозил к отаре. Они пропали.

Снизу пришел чабан, принес заколотого барашка, бросил.

— Вот, шайтаны! — крикнул он виновато, хлопая себя по бедрам. — С берега, двое было...

— Трое... — сказал старый чабан, мотнул к уступу. — Всю отару могли порезать! Отбил.

— Ушел?

— Ночь знает. А *тот?*

Молодой чабан по-собачьи оскалил зубы.

— В балку упал, на камни.

— Мало собаки гнали! Я говорю! Не мешай овчаркам, овчарки знают!..

— Кровь по всему следу... в крови морды!

— Котлы! Не отзывать!! Палки хочешь? Отару у меня порежут, чем теперь жить будешь?! На берегу волки, всё сожрали! Закона теперь нет, закон сломали!.. мой закон! Собака грызет волка... Бог велит.

Еще четыре овчарки пришли следом, жарко нося боками. Качая языками, они упали перед огнем и принялись лизаться. Старый чабан поднялся, потрепал овчарок, оглядел морды и вытер о снег руки.

— Шумит хорошо... — прислушался он к ручьям по балкам. — Сойдет к утру, следа не будет. Тепло будет.

Поглядел на небо. Прочищало, больше яснели звезды.

— Сниму до солнца. Опять погоню на яйлу, ну, их... До большого снегу.

И лег под свои овчины.

— Обойдете — и ложитесь. Не придут волки...

Чабаны покурили, подремали — и пошли поглядеть отару. Побежали овчарки с ними. Яя повел в темноту ухом — и остался, вытянув морду в лапах.

Храпел чабан. Храпела в его ногах старая овчарка, вздрагивала во сне с визгом.

XVI

Еще далеко до света, старый чабан поднялся.

Туманно, мягко светили звезды. Парило от земли, теплело. Гремели ручьи по балкам, катились к морю. Курились кусты туманом, красно в огне чернели. Белые шапки давно упали, шорохи на камнях затихли.

Дремали у огня чабаны, надвинув шапки, уронив головы, — каменным сном давило. Теперь лишь одни овчарки несли дозоры.

— Поспите! — крикнул чабан, — один управлюсь.

Чабаны, тычась, полезли под овчины.

Старый чабан прибавил огня, забрал бараний мешок и пошел за водой в балку. Проснувшаяся с ним овчарка села к огню — чесаться: одолевали блохи, — тепло будет. Ставила уши, поглядывала на войлок и ворчала: тревожили ее стоны.

Чабан принес воду, поставил котел на камни, бросил красного перцу, чесноку и луку, всыпал кукурузной крупы и соли. Потом стал свежевать барашков. Тушки он обернул в шкуры, а требушину сложил под камень. Когда в котле закипело, он положил варить ножки и головку, — другую у огня оставил, — бросил еще сердечину, почки и печенки и стал помешивать свежей дубовой веткой. Когда опять закипело, он сбросил пену, всыпал толченого кизила и покрошил брынзы. Забило розовой пеной, потянуло душистым паром.

Сварив похлебку, чабан накрыл котел бараньей шкурой, умылся снегом и стал поджидать рассвета.

Безрукий всю ночь метался. Всю ночь снились ему огонь да ветер. Носило его по балкам, по дорогам, душило ветром. Стреляли из костра искры, палило жаром. Он старался уйти от жара, — стегало его из ночи снегом. Он отворачивался от снега, искал согреться, — палило его огнем, душило дымом. Всю ночь метался, — и снились ему всю ночь огонь да ветер.

Ночь отшумела и затихла, а ему всё казалось, что его душит ветром. Он много раз просыпался, видел сидевшего у огня чабана и не понимал — кто это. Швыряло его в балку, и ему казалось, будто лежит он на остром камне, а сверху давит. Он вскидывался от острой боли, выцарапывался из черной балки и снова видел: сидит у огня лохматая собака... И не понимал — где он?..

Когда забелело в небе, Безрукий признал у костра чабана, признал овчарку, синевшие по обрыву камни, услыхал рев барана — и понял, что здесь чабаны, под Чатыр-Дагом. Вспомнил, как сбросило его с Перевала вихрем, как огонь в черноте вертелся... И все вспомнил: что он в дороге, и еще далеко до дому. Все тело его ломило, все кости ныли, кололо в боку ножами, трепала лихорадка. Увидал черные, мокрые деревья в рассветной мути, синеющий снег за светом...

— Идти надо... — подумал он в бессилье, — а весь разбился... не подняться... У них бы отлежаться...

Он передохнул со стоном.

— Жив, голый? — поглядел на него чабан.

— Жив... спасибо тебе... — через силу сказал Безрукий, — без тебя погиб бы...

— Благодари не меня... а Бога. Послал на тебя овчарок. Не разорвали! Овчарки теперь злые, волка чуют...

Синели холодом на рассвете камни, дымком синело. Черные, выступили кусты из мути. Синело за ними снегом.

— Зачем на горы ходишь голый?.. — спросил чабан, смотря на Безрукого с усмешкой. — Или тебе все лето?..

— Нужда погнала, за хлебом... одежи нет ничего, все съели... — выстукивая зубами, еле сказал Безрукий.

— Как же это у тебя — нет одежи?! был богатый, покупал у меня барашков, ходил мурзаком! Помню, пояс у меня купил бахчисарайский... ханский... пять золотых стоил! Я все помню... Богатые, сильные с тобой гуляли... У них бы и попросил одежи, хлеба!.. Знакомые твои были... Смотрели, как барашки мои гуляют... горькую травку щиплют, а мясо сладко! Я все помню... А меня называли бедным! Где они, головы бараньи? И почему — такое?.. Ученые, мудрые люди назывались... А почему — такое?..

— Все пропали... — сказал Безрукий. — Вся теперь земля пропала... погибаем...

Покачал головой чабан, зацокал...

— А-а, це-це-це! Мудрые были, богатые были, на мягкой земле жили... Почему волки стали?!. Ваши чабаны были! Почему волки стали?! Умный чабан знает, куда гонять отару... чабан умный сторожит отару!.. Каждого барашка знает... Больной барашка болезнь приводит — коли барашка! Волк ходит у отары — убей волка!.. Куда ваши чабаны делись? Волки почему стали?..

Говорил чабан — стучали камни.

— Пошел на горы, голый... А дадут тебе хлеба горы?.. На берегу все сожрали, приходите воровать барашка?!.

— Я не ворую... — сказал Безрукий.

— Я все знаю. Кто с вороной пирует — у того нос грязный! А в мешке у тебя барашка?

— А мешок мой... где же? — вспомнил Безрукий и завозился.

— Вон твой мешок! — мотнул чабан на уступ в обрыве. — Ваших воров здесь не ходит. Откуда у тебя в мешке барашка?! Собаки мои чуют...

— Там у меня ошметки только... Это... кошку чуют...

— Ко-шку?! А зачем у тебя кошка?.. — поглядел на него чабан с усмешкой.

— Детям добыл... с голоду погибаем... Ходил за хлебом, на девятую казарму... не достал у Сшибка.

— Знаю волка. Крал у меня барашков! Ну... видал Сшибка? Здоров Сшибок? веселый смотрит?.. У него пшеницы много... натаскал в свою яму волчью!.. Видал волка?..

— Видал... убили его... — как во сне говорил Безрукий.

Будто в тумане сидел у огня чабан, качался. Качалась стена обрыва, — вот-вот завалит.

— Убили? Слышал и я, что убили. Убили волка!.. А ты не кидай языком, что знаешь! — погрозил чабан трубкой. — Ты помни: оставили тебе жизни! Ай-Балку помни... — понизил чабан голос. — Я все знаю. В горах камень на камне лежит — слышит.

Он набил трубку, прижег угольком, — сидел, нахмурясь, курил и думал...

— А-а, шайтаны волки! — крикнул он вдруг, как бы на свои мысли, и закачался, будто от острой боли. — Всякого у вас добра было! Куда девали?! Мягкая земля, хлеб давала... рыба в море, сады, виноградники, орехи, табак, кони... хорошую одежу ткали... все добро! Все сожрали?.. У меня — камни... а я живу! У меня собаки работают, а вы, волки, лазите по ночам воровать у меня барашков?!. Семьдесят зим живу, к вам не ходил... — чего вы ходите?! Ходит волк, убей волка! Бог велит. Камень траву ростит, барашка траву ест, чабан барашка бережет. Все барашка дает... Барашка не будет, — ничего не будет.

Стучало в ушах Безрукого, будто камнем по камню стучал чабан.

— Я все знаю. Я правду-закон знаю. Я человека рукой подыму из ямы, а волка за ноги в балку кину. Бог велит! Вчера

двое с берега на конях были, барашка поймали в петлю. Знаю. Не жить волкам! Я все знаю. Вытянул ноги волк — знаю... Скажи на берегу всем волкам: бьем волков! Бог человеку барашка дал — жить, овчарку дал — барашка беречь, крепкие руки дал — волка убить. Стал человек волк, — убей волка, Бог велит!

И много еще говорил чабан.

— У человека шуба на плечах, шапка на голове, — зима велит. Дает ему барашка. Волк со своей кожей ходит, голый. Голый — не человек. Ты — голый. Какой ты человек?! Зачем на горы пришел, голый? Голому камень дадут горы. Смерть дадут горы!..

Небо светлело, голубело.

За черным кругом костра, за проталинами ночных следов, равно синело снегом. Со снега тянуло холодом. Снежно мерцали в туманах горы. Чернели леса под ними.

— Гей! — крикнул бодро чабан, — вставай!..

Чабаны завозились под овчиной, потягивались, мычали. Терли непроснувшиеся еще глаза, поеживали плечами, — сон ломали. Кололо глаза от снега, но уже улыбались лица. Все кругом было ново, светло, — белой зимой смеялось.

Старый чабан взял войлок и отошел на снежок, к сторонке. Он расстелил войлок, помылся снегом и принялся молиться. Кланялся и покачивался долго, — в туман, на море. Чабаны потерлись снегом, наскоро помотались к морю и пошли поглядеть отару. Утренним, звонким лаем отозвались овчарки. Гревшийся у огня Яя повел мордой к невидимой отаре, потянулся, визгнул, — и не пошел к собакам. Старая овчарка потянулась, встала — и осталась сидеть на месте: холодно, что ли, показалось. Поглядывала хмуро.

Пришли чабаны. С ними пришли овчарки. Ждали.

Старый чабан достал из-под камня требушину и дал собакам. Потащили они кишки по снегу, рычали, грызлись. Яя не пошел за ними. Чабан дал ему из котла ножку.

— Чорх!.. — позвал старый чабан овчарку.

Она подошла чинно, села рядом. Он достал из котла головку и погрозил — не трогай! Овчарка перебрала ногами и стала дожидаться, когда остынет.

— Садись! — приказал чабан.

Чабаны сели, скрестили ноги. Старый чабан пошептал молитву и роздал ложки. Валило из котла душистым паром. Чабан достал из сумы кукурузную лепешку, сломал над кот-

лом, дал по куску чабанам. Черпнул первый. Стали по череду хлебать чабаны.

Когда поели похлебку, чабан отломил еще по куску лепешки.

— Бери и ты свою долю, — сказал он, давая Безрукому кусок лепешки. — Был и ты человеком раньше, делился хлебом. Пропали вы все, волками стали. Не говори, я знаю.

Есть Безрукому не хотелось, — томила его жажда, — но он не отказался: знал, что обидится татарин.

Чабаны глядели исподлобья, жевали молча.

— Было время... — сказал старый чабан со вздохом, — гостей принимал, колол барашка. И язьмы было, и катыку, и брынзы. И светлого хлеба люди носили за барашка. Теперь ночью ползут, с ножами!..

Мутило сладким бараньим духом. Безрукому стало тошно и показалось, что валится на него стена обрыва. Плясало перед глазами дымом, качались в дыму чабаны, щелкали белыми зубами.

Старый чабан достал ножом из котла сердечину и печенки, покрошил на камне и разделил чабанам. Безрукому мяса не дал.

— Из-за волков-шайтанов... едим барашка! Сколько у меня порвали!.. У Шумы все отары погубили... До Корбеклы доходят... по всей яйле!..

Он посмотрел на кусок, покрутил головой и сказал, словно читал молитву:

— Все — от Бога. Сказал Бог: все человеку дает барашка!

Чабаны работали зубами, шумно жевали мясо. Безрукого мутило.

— Попить бы... — попросил он чуть слышно.

Чабаны не слыхали.

Когда доели мясо, чабан отрезал овечьей брынзы.

— Бери и ты свою долю, — подал он на ноже брынзы. — Не хочешь. В горло не идет барашка...

— Попить бы... — простонал Безрукий.

Чабаны не слыхали.

— Я тебе скажу, как было... — сказал старый чабан, закуривая трубку. — Камни одни были. Сидел человек на камне, плакал. Сказал Бог: «Плачь, горькая трава будет!» Горькая трава стала. Ел человек горькую траву, плакал. Сказал Бог: «Не плачь, барашка будет, все будет!» Стал гулять по горам барашка. Не стал человек плакать. Пришел волк, резать-

давить барашка. Стал человек плакать. Сказал Бог: «Не плачь, хорошо будет, овчарка будет!» Дал Бог человеку овчарку. Не стал волк барашка резать, не стал человек плакать. Забыл человек Бога, стал давить человека. Стал человек волком, шайтана слушал. Стал хороший человек плакать. Сказал Бог: «Не плачь! волк волка грызет, овчарка волка грызет, хороший человек волка бьет!» По-бьет! Вот как будет. Бог велит.

Небо светлело, синело в разрывах туч. Снежно, на мутной дали, встала зимняя Катерин-Гора, с черными полосами трещин. Холодом от нее тянуло... Над грязной стеной обрыва стоял Чатыр-Даг, зимний, — накрыло его покровом.

— Попить... — попросил Безрукий, укутываясь в войлок.

— Нет у меня воды, сходи в балку... — сказал чабан. — Снегу поешь. Снегу много.

Безрукий взглянул на снег, и его пуще забило дрожью.

За черным кругом костра, за грязными пятнами проталин, остро синело снегом, кололо глаза зарею. Вся пологая котловина колола блеском. И воздух колол — горьким духом сырого камня, мокрых кустов и дыма.

Безрукий отвалил войлок и поднялся. Сюртук его распахнулся, в дырья сквозило тело.

Чабаны засмеялись:

— Шайтан голый!

— Кожу ему погрызли волки! — усмехнулся старый.

Ломило глаза от снега. Пошатываясь, пошел Безрукий. Все перед ним плясало: кусты, камни, черные по снегу пятна и даль в тумане. Шумело вокруг, журчало. Потоки в балках — или в ушах от крови. Прямо — дымная Катерин-Гора синела матовым серебром с чернью, накрылась горностаевой порфирой, — вся зимняя. Синело холодом за ней небо. Вздрагивали на нем стрелки — солнце?

От снега обожгло губы, ломило скулы, но голове стало легче, дышать свободней, — даже теплее стало. Не колыхались камни: сидели крепко по снеговому полю. Горько и свеже пахло — дубами, камнем? Горной зимою пахло.

Безрукий залез под войлок, лежал и думал:

— У них бы отлежаться... у огонька... тихо... Не добраться...

Ходило в глазах туманом. В тумане — берег...

— Гей!.. — крикнул старый чабан, — сбивай отару!

Чабаны побежали. Возившиеся в снегу овчарки рванулись с веселым лаем. Заблеяли по отаре овцы, бараны заревели.

— Давай... — сказал старый чабан, снимая войлок, — огонь тебе остается, грейся. И солнце с тобой будет.

Пришел мальчик, забрал котелок и сумку. Взвалил на плечо овчины, бараньи тушки.

— Айда, с нами! — посмеялся Безрукому зубами и резко засвистал в пальцы.

И Безрукий понял, что они совсем уходят.

Со снегового поля, за обрывом, накатывало лаем, свистом. Бараны ржали. Зашевелились по снегу камни, задвигались волною, — и стал снег бурым и серовато-желтым. Пополз кверху. Защелкало, покатилось, — как бичами:

— Аррьччь-аррьчь-аррьчь-аррьчь!

Старый чабан положил на плечо ружье, взял палку...

— Вон твой мешок!.. — показал он к уступу на обрыве. — И не приходи больше. Вот твоя доля... — ткнул он в баранью голову у огня. — Бог велит давать нищему головку. Стал ты нищий. Беднее вы камня стали!..

Он вдумчиво оглядел стоянку, — не забыли ли чего чабаны, — и стал подниматься по обрыву, наперерез отаре. На гребне остановился и поднял палку:

— Ты!.. Скажи на берегу волкам... Бекир говорит: не дам! На Чатыр-Даг загоню, в снега, в камни! до последнего всех порежу... — не дам!.. Пока камень могу держать... — не дам!..

И засвистал, загикал. Отозвались свистами чабаны. Овчарки загремели призывным лаем, бараны заревели. Заблеяла отара, снялась, пошла.

Остался гореть костер.

Сентябрь 1924 г.
Ланды

ЯИЧКО

Константину Дмитриевичу Бальмонту

Весна. А где же воздух, наш весенний воздух, снег плывучий, крик петухов разливный, журчливые канавки под ледком, поутру? где радость, заливающая сердце, — радость ни с чего как будто?.. И в щебетанье воробьев в пустых деревьях, в блеске засочневших почек, и в блеске первых камушков на мостовой, и в первых лужах, и в будто потеплевшем звоне, тающем, весеннем.

Каштаны в «свечках» не заменят мне пушистой вербы, березки вольной, хлестающей по ветру. Жесткие деревья, плачут сажей. Весна? В дожде — как осень. Нет пробужденья, нет улыбки ясной, как у нас, —

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.

Ищу чего-то. Земля — чужая, небо... — и оно другое. Или мои глаза — другие?..

Из глубины душевной, где тени прошлого, я вызываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске... или это снежок сквозистый, облачка?.. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливает *новым*, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.

Мое родное, мое живое небо.

В витринах — груды яиц из шоколада, темных. Грузные они, повязанные лентами, немые. За окнами бистро, на стойках, залитых вином, я вижу розовые яйца в вазах. Чего-то отзвук? Позабыто.

Далекое мое, в осколках.

Свежий запах — будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки.

Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кроватки дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем — яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое!..

Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце... Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.

Уходит праздник. Весна проходит, лето. Приходят ночи, в бурях; хлещет в окна. Вот-вот погаснет огонек лампадки, и мои глаза, испуганные черной ночью, ищут... Где яичко?.. Вон оно, святое, у киота. И мне не страшно. Свет от него, и Ангел ласково глядит мне в сердце.

В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту, и смотрел.

За голубым и розовым бессмертником, в комочке моха, в глубине за стеклышком, я видел: светозарный, с блистающей хоругвью, воскресал Христос из Гроба. Я всматривался в эту панорамку до счастливых слез, — и заливало светом.

Помню, говорила няня:

— В стеклышко-то гляди, да хорошенько... и увидишь.

— А чего, няня?

— Ангелочка. До-лго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.

Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними...

— Вижу... живого ангелочка вижу!..

В горькие минуты я приходил к киоту — и смотрел.

Чудесное мое, далекое.

Апрель, 1925 г.
Париж

ЧУДЕСНЫЙ БИЛЕТ

(Рассказ парижанина с Рогожской)

...Да сколько я здесь?.. Пять лет. Нет, разве привыкнешь... все как-то, знаете, не то. Да хоть бы вот... Шел сейчас по Шандемарсу, где Эйфелева башня. А со мной бывает: все забуду! Шел и все вспомнить старался фамилию агента одного английского, работал по яичкам с нами, по экспорту... человек хороший. На яичной бирже адрес укажут! Думаю и здесь пока заняться, перехватить кредитцу. А он бы мне устроил. Иду, прикидываю... — Аронсен или Муронсен? Гляжу на часы — 4! Пора к Бакастову! — трактир у нас, в Рогожской, в Москве. Больше сорока годов, каждый Божий день, как к четырем — к Бакастову. Глядь — она стоит! Да башня. В голову как кокнет!.. Не могу привыкнуть. Как меня грохнуло тогда, в мае восемнадцатого года, — так и не верю, сон все, будто. Шел я тогда в трактир, — без пяти четыре, помню, было — старший приказчик на лихаче нагнал, шепнул словечко... — да так с дороги, через Таганку да на Курский, в чем был... Сунул он мне мешочек с жениными пустяками, только и всего. Ну, это особая статья, как из Таганки в Парижах очутился. А разговор мой вот к чему... Я тоже мемуары излагаю, сочинение того, что видел. Многое теперь понятно, будто на горе я и все народы вижу, насквозь. Пишу про жизнь, чтобы научились наши дети.

Все читал газеты — и наши, и французские. Не смеюсь, а... выучился за год: племянница меня нашла тут, с мужем-офицером, — у них торговлишка была в Охотном, пухом торговали, пуховщики. Они меня наборзовали. И поговорить могу прилежно. Попугаев обучают-с, а я с двугривенного начал, четыре дома на Алексеевской, с Англией дела вертели, до миллиона обороту!.. А «сильвупле»-то или там — «командсава» — пара пустяков. Лавочкой опять занялся, селедка, крупка, то-се... — да, сказать правду, по «орлам» скучаю, как-то не-

всерьез гляжу на деньги эти, будто понарошку. Бывало-то, возьмешь целковый, звонкий, — орел-то пальцем слышишь, чекан! Ну, так вот к чему я...

Жил в России — очень думал хорошо о загранице. Образование! С горки поглядел... что говорить, живут с умом. Только мы от ихнего ума не разживемся, им ненужны. Разве что возьмут на упаковку. Ум злой-с, скажу вам. Об этом и пишу. Политиков не уважаю. Пишут о свободе, а вот режь ты на их глазах, — в небо поглядят и скажут «а, кель бо тан!» Ну, растряси ты Гроб Господень, и если керосинчиком не пахнет, — не вздохнут. С огнем играют. А — может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прожгло рубаху? Соломоново слово! Значит, на Бога да на себя надежда наша. Вижу властителей политики... Да попросись ко мне в приказчики такой — даром не взял бы! Прогоришь. Как так — погибель наша? Это вы напрасно-с. Арихметику оставьте. Спасемся! Думаю так, что чудом. Верой-с. В самый наш народ-с. И никто не ожидает, как. А вот увидите. Губить пойдут, а мы спасемся. Ну, вот верю! Вот смотрю на образ Преподобного, а он мне так и дышит: «спасемся, братик, ничего, терпи... Мне тяжеле видеть, а я хожу т а м, взыскую... б у д е т!» Иначе и быть не может. Такое тесто-с. Не может не взойтить. Дрожжа-с.

Пишу я мемуары и размышляю. И вижу... — голова кружиться начинает! И вот, по простоте своей и вере, расскажу вам случай, как бы в притчу. В правду стучаться неудержимо надо! Сколько, небось, политиков смеялось, как мужичок один добрался в Ригу! «Хочу, говорит, все земли пройти, у всех властителей и государей и у парла-ментов просить защиты и распоряжения, чтобы обратили всеобщее внимание, народ огромный погибает, зло одолевает!» А я и не смеялся. Это наша вера. Конечно, его не допускают или там слушают, вприщурок, а он свое долдонит. Шмыжит, добирается до правды. Кричи, вопи! Уши заткнули — вой! Смеются — в глаза им правду! И вот, вдруг что-то и произойдет. Из всеобщей грязи и произойдет! Вдруг и осветится. Я у здешнего Михал-Архангела частенько остановлюсь, у Санмишели, где басейна. Погляжу на Него и, прямо, говорю, по-русски: «ну, пора бы?...» А О н — на небо: сроки проверяет. Как-то ажан подходит, городовой, лицо приятное. «Се бон!» — говорит. Для него-то — монумент приятный, а у меня — тоска и скорби. А О н -то, ликом мне говорит: «се бон!». И вот поставить бы Лойджоржа или Лютера со Штреземаном, а перед ними мужичка из Вят-

ки, ходока-то. Бьет тот мужичонка себя в грудь и плачет: «не из корысти я, а ради правды! Поглядите на наше горе, помогите!» А они — «пошел, дурак! в тонкую мы игру играем!» И прошибутся. Но... помимо них случится. И вот, хочу вам рассказать одну историйку, про это самое, как оно может обернуться.

Жила в наших рогожских палестинах, в Москве, одна старушка, глуховата, слеповата... ну, грыб лафертовский, как говорится. И так ей вышло, что тулилась с троими внучками, у пьяницы сапожника в канурке проживала, в уголочке. Сын-то тоже был сапожник, от вина сгорел, вдовец был. И хозяин вдовый, с тройкой тоже. Полное количество детенков. Ну, старушка на всех стирала, чугунки таскала, починки разносила. Запрет внучонков в закоулке, а сама на реку, на портомойню. Как уж она страдала — вам понятно. Скрючит ее, а умирать не хочет: не могу, внучатки у меня! Ну, вкатят в нее перцовки — опять полощет на Москварике, на портомойне, в мороз, пар из проруби, как с печки.

Подходит Рождество. Сапожник налакировался еще до свету, с жильцом, — наборщик у них жил, снимал каморку. Стали говорить про счастье, какой был случай. Это наборщик. Ихний хозяин десять тысяч выиграл на билет, дом покупает. Старуха заинтересовалась:

— Вот бы мне Господь послал на внучков! Как бы и мне такой билетик?

Смех пошел, понятно. А она:

— Я Бога умолю, Он мне на сироток снизойдет, для счастья.

Вот наборщик и скажи:

— Можно. Выправлю тебе билет, ни копейки мне не стоит, все дело в счастье!

И дает ей лист — весь в билетах, с номерами. А он из типографии таскал бумагу на цигарки.

— Вот тебе сколько номеров, валяй на счастье!

А там не что иное, как квитанции или адресной конторы.

— А как мне выиграть-то, расскажи-ка... — спрашивает у него старушка: веру дала всамделе, уж поглупела.

И сапожник этим делом заинтересовался, стал ей объяснять. Дескать, вот на Святках тираж будет... иди, значит, на Кузнецкий Мост, в контору, после Нового года, хоть в Сочельник. Там, говорит, и получишь, коль будет счастье. Старушка посомневалась, видит — оба пьяны. А ей запало. Листок-то за-

вязала в узелок, в укладочку, как драгоценность. Ну, засело и засело! Богомольная была, принялась молиться, к Иверской там, к Нечаянной Радости ходила, в Кремль, старалась. Подошел Сочельник крещенский. А тот разбойник опять с сапожником напировался, смеется:

— Ну, теперь пора, ступай за счастьем: может, вышли капиталы!

Та забоялась, жаться... А они оба за нее взялись, начали очаровывать словами: двести тысяч могут выпасть, всю Таганку купишь, нас осчастливишь, в магазин тебя посадим, внучкам тулупчики, теплую квартиру сымем... Очаровали. Старушка простосердечная, пошла.

— Только никому не сказывай, а то отымут! Там только билет покажешь.

Ну, пошла.

Приходит на Кузнецкий Мост, к Юнкеру или, может, к Джамгарову. Сами помните, какие дворцы-то были. Мимо швейцаров прошмыгнула, — за выигрышем, мол, надо. Повели ее с почетом: на чаишко перепадет с получки! А там — как священнослужение, — и блеск, и звон, певчих только не хватает. Зал в два света, золотом расписан с закорючкой, электрические тюльпаны в снегу пылают. Медь блестит, полировка — мореный дуб, стулья-кресла — ломовику не сдвинуть, из-под пола паром через решетки веет, поверху вентилятор продувает, дамы духами сеют... — располагайся. (За решетками, в окошечках, будто скворцы пощелкивают. Деньги звонят, — золото тогда ходило, а все отказывались: ради Бога, избавьте! — бумажки шелестят. А мы, бывало, получим — сидим, как в стойлицах, пачки с резинками пошвыриваем, в мокрую губку пальцем... Аа, что было!) Дамочки в соболях, господа в бобрах, ботиками шмурыжут-возят, на пальцах бриллианты крутят: «и что это как долго!» И представьте себе самую эту старушонку слезливую, затертую, — нос платком подпирает, запугалась. Глядит — все шепчут, будто в соборе на молитве: разговаривать-то не полагается. Рублик упадет — звон, как на колокольне.

Ну, подвели ее к прилавку, к молодому человеку. Все они, банковские, в хохолочках, расчесаны, манишки с галстухами-фуляр, усы в помаде, молодые люди один в один, как из лукошка. Вот один, с карандашиком за ушком, в руке блокнотик, нагнулся одним усом:

— Вам что, мадам, угодно?

— А вот, — говорит, — батюшка, за выигрышем пришла. Может, мне Господь на счастье...

— А какой ваш номер? Покажите...

Стала она развязывать, — в трех тряпках у ней хранился, за семью узелками. А руки не владают, с морозу, лихорадка вдруг открылась. Вынимает и подает, а за уголок-то держится — боится. Как он развернул, взглянул... — так его и завертело! Рот рукой зажал, — смеяться у них не полагается, все они Арихмеды там, — манит другого, третьего. Пучатся глазами, чихают-прыскают, пошептывают, — старушке и сомнительно тут стало, — чего-то они варганят! Пошептались-пошептались...

— Кто это вам билет такой сподобил? — спрашивают.

— А человек один, сирот моих жалеет, посоветовал держать до срока, — выиграю. Что, не послал Господь?

Ну, пошептались опять. Тот, с хохолочком, ей и говорит, серьезно:

— Сегодня, бабушка, не вышло. Наведайся к июлю месяцу, уж потерпи: может, и выпадет на счастье.

— А которого числа прикажете?

— Да так... третьего-четвертого.

И билет ей отдал, головой покачал, поулыбался. Им развлечение, понятно. А может так, что и пожалели, не стали разочаровывать, или от лишних разговоров... А она молодчика-то того приметила, — хохолок черноватый, на носу пружинка с ниточкой.

— Ну, — говорит, — я к тебе, батюшка, на Сергиев день приду, 5-го числа, никогда в такой праздник не работаю.

— Хорошо, — говорит, — приходи, а там увидим.

Ну, пошла. Не послал Господь счастья.

Пришла — рассказывает. Те... — кто их знает, пожалели что ли ее, или стыдно стало, — не стали ее разочаровывать, плачу не оберешься: видят, что она всурьез уже принимает.

— Что ж, — говорят, — доживешь до лета, — может, и выпадет. Веселей тебе теперь жить будет.

Она и приободрилась. Начнет мечтать, что кому подарит: всем детенкам, и сапожниковым, туфельки закажет, себе на зиму теплый салоп, то-се... А они, как урежут, — буторить начинают, как она всех облагодетельствует. Голову-то закрутили. В церковь ходит, счастья себе вымаливает, стучится. Дотянула до Сергиева дня. Таится, никому ни слова. Приходит опять в ту самую контору, разыскала с хохолочком, сует ему:

— Погляди-ка, не послал ли Господь на счастье?

Тот и забыл, понятно. Развернул бумагу — вспомнил. Так и завертенелся! Созвал соседей, в билет тот тычут, руками всякие телодвижения... Развлечение на редкость.

— Нет, — говорит, — еще не выиграл. Приходи после Нового года, тогда!

Видят, что полоумная, ну, тихо-мирно чтобы, без раздражений.

— В Сочельник опять?

— В Сочельник.

Гривенничек ей на конку сунул.

— Ладно, приду.

Домой приходит, расстроилась.

— Опять не выиграла. Может, они меня омманывают? себе забрали?

Те уж и забыли. Как узнали про поход-то ее, гогочут!

— Нет, там без обману, за это ответят. Теперь жди Рождества. Раз два раза не вышло, в третий наверняка!

Ну, поахала-повздыхала, — за работу. Обет дала: выиграет если, всем бедным на дворе по красной пожертвовать. А те ее буторят:

— Всех нас на тройке чтобы, в Стрельну пировать поедем!

А старушка тоже размечталась.

— Нет, — говорит, — дам вам на угощенье, а сама к Сергию Преподобному проедусь, внучков свезу.

Трогательная была старушка!

— Мне самой ничего не надо, а чтобы бедным людям помочь, внучков на ноги поставить. А сама в монастырь укроюсь, за себя вклад внесу. Тысячу надо, я уж и справилась...

Уж на тысячи перекатила, как они ей все-то объяснили. Внучкам тулупчики посулила, наборщику — «за счастье» тройку новую, хозяину — часы серебряные. Верит: не может не быть! Да кому ж и выиграть-то, если не ей, при ее-то жизни?!

Хорошо-с. Подходит Рождество. Две недели провалялась, — ломало ее всю, от портомойни. Самая тут стирка, к Празднику, а — на вот! Ни гроша. Внучки сидят, поджамшись, как таракашки, в уголочке. Или в окошко смотрят, как елки везут-несут, поросят-гусей волочут: им из подвальчика-то видно. Корочки грызут, на дворик выйти не в чем, оборвались. Спасибо еще, сапожник кашей их все кормил. Пьяный, соберет всю шестерку, своих не различает, сунет по ложке, волокет каши чугунок...

— Вы, — говорит, — тоже люди, ешьте! Бабка помрет, я за себя вас возьму, каши хватит.

Ну, поедят, — опять тихонько в уголок, как тараканчики. Нужда-то забивает. И страшно — бабушка-то помирает!

Я, как ту историю узнал, с тех пор как Рождество, в Сочельник тревогу бью: дворников призываю со всех домов, приказ: которые в нужде, всем по десятку поленьев и по десятку яиц, и квартирной платой не тревожить, если без работы, до получки. Все мои планы расстроились. Думал на приюты кой-что оставить, а теперь — без рогов корова!

Хорошо-с. Сапожник ее опять перцовкой. Поднял. Святки проходят, смотрит — подымается старушка. А уж ее соборовать хотели. Вы-жила!

— Не могу я помереть до сроку, — внучки на ноги не стали!

А про билет все помнит. Тот мутила, наборщик, от них съехал, а сапожник уж не касается, понимает, что теперь тревожить не годится. А она как ребятенок малый стала.

— Т о г д а, — говорит, — новыми обоями оклеим, и везде побелим.

— Ладно, — говорит, — побелим.

— А ты мне тогда всем полсапожки пошей, а мне на мерлушке, а то ноги на мойке застывают, а сверху валенки надену.

— Ладно, только выигрывай.

Должен вам сказать, это в моем доме было, и я уж это после все разузнал: сапожник ко мне ввалился, пьяный, орал:

— Мы твой дом купим! Старушка моя двести тысяч на билет выиграет!

Новый год прошел. Старушка еще дня за два до крещенского Сочельника снялась — и на Кузнецкий. Приходит. Опять к тому, при хохолочке, да не нашла: в другое отделение перевели. К беленькому одному подходит, с золотым хохолочком, как петушок. Лист ему сует...

— Ты хошь погляди, не выиграл ли чего? не послал ли Господь мне счастья?

Тот, как взглянул... как на нее зыкнет!..

— Да ты что... в своем уме?!

— Как так?

Шум подняла.

— Вы, — плачет, — хочете укрыться... Мне теперь обязательно выйти должен... я и сон такой видала!

Уж у ней, понимаете, в голове образовалась картина!

— Обманываете бедного человека, третий год все смеетесь!

Не отстает. Швейцара пригласили — уведите. Не желает. Ее просят честью, полтинник на извозчика дают.

— Нет, мне ваших полтинников не надо, мне выигрыш пожертвуйте!

Народ, день-то горячий, толпа. Сам директор, в мягких сапожках подкатился:

— Дайте ей три рубля... и занимайтесь делом.

Ну, скандал! С хохолочком тот прибежал, объясняет, что сумасшедшая. Ей — грозно:

— Уходите, гордовой возьмет... у вас билет фальшивый!

— Сами вы фальшивый! — кричит. — Зачем три года измывались над бедным человеком? Как я к внучкам теперь? Два года дышала... Господь пошлет...

Скандал, плачет, а ее под руки, — драма! Вдруг-с, такой инциндент...

Стоял человек, прекрасно одетый, в хорьковой шубе, в бобрах, как бы с меня ростом, выше всех головой. Заинтересовался самой этой драмой, объяснение спросил. К нему все с уважением, объясняют, какая пикантная история. Расспросил старушку.

— Покажите билет!

Показывают, смеются. Вскинул пенсне, лоб сморщил... из-за стеклышек на старушку смотрит, похмурился. А старушка плетет: и внучки, и портомойня, и белить надо, и всем бедным посулилась... — всю свою мечту расшевелила. Вот он и спрашивает, сурово так:

— И ты, бабушка, так и веришь, что... должна выиграть?

— Должна, батюшка, кому ж тогда и выиграть-то? Господь-то справедлив, а они не проникают, по-своему желают, укрывают правду.

Взял он тот билет, щелкнул по нем пенснем...

— А ведь твоя правда, бабушка... выиграл твой билет!

Так все и устремились. А надо вам сказать, что был он крупный оптовик — торговец и вкладчик в той конторе. И — вот что замечательно чудесно!.. — Как раз в то утро и узнал в банке, что выиграл 75 тысяч! А эти деньги ему, хоть и не лишни были, а вроде как бы и одиннадцатый палец.

— Выиграл твой билет!

Старушка на него креститься, слова забыла. А он им все их цифры-то и опрокинул! Разузнал досконально все, растеребил старушку. Вынул чековую книжку — чирк!

— Выиграл ее билет... 40 тысяч! Вот-с, занесите на ее текущий счет вкладом на срок, выдать ей проценты за полгода!

Так и ахнули!

— А билет свой бери и храни, он у тебя чудесный, верный. С таким билетом не пропадешь!

Старушку — под руки, в санки к нему внесли, деньги ей в пакетик. Он ее до места и доставил, самолично. Вечером приказчика прислал, почтенного. Тот им и навел порядок. Всем счастье вышло. И побелили, и квартирку расширили... Старушка к Пасхе отмаялась, похоронили честью. А внучки при попечителе остались... Как теперь — не знаю-с...

Вот какой случай вышел. Билет-то верный оказался, хоть и началось с обмана. А вера и покрыла! Вот все и думаю. Надеяться — на что? На тех-с, что с хохолочками? или — на что? Вот на это-с, на Правду, без которой никакой жизни не бывать. Скажи горе: «двинься и ввергнись в море!» И ввергнется, при великой, конечно, вере. Я так и мемуары начинаю, от Соломона Премудрого:

«На пути Правды — жизнь, и на стезе ея нет смерти».

Декабрь, 1925 г.
Париж

НОВЫЙ ГОД

(Святочный рассказ)

I

Васька, телеграфист с «Былёвки», теперь — ответственный работник, тов. Васькин, — должен был прочесть доклад — «Рабочая культура и крестьянство». Дав приказ по телефону собрать домохозяев и молодняк, он забрал портфель, двустволку, — на случай, зайчишка попадется, — взял лыжи и покатил через Раёво, в Липки. Так было дальше, но хотелось повидать Михайлу Алексеича, сговориться насчет сапог к весенней тяге, а главное — узнать про Настю. Говорили, что раёвский кучер получил посылку и письмо из-за границы.

Наст был твердый, лыжи легко бежали. Васькин гнал прямиком, полями, через елки, с косогоров. Мороз был крепкий, здорово щипало, резало глаза от снега. Малиновое солнце стояло низко над еловым лесом, где Раёво. Заячьи следки не занимали. Хрупанье лыж по насту, зеленоватое, с мороза, небо, черный лес, малиновое солнце, — влекли былое. Впервые за эти годы шел он зимой в Раёво, и казалось, что совсем недавно носил на Рождество депеши. Голубенькая Настя выбегала на крылечко, стучала каблучками. Угощала мадерой, пирожками. Инженер жал руку, вежливо дарил на праздник, — всем семейством приезжали из Москвы на Святки. Барышни давали книжек — Чехова, Толстого. Под Новый год устраивали елку. Всей «Былёвкой» катили в розвальнях на тройке, рядились медведями, чертями...

Дойдя до леса, Васькин присел на пенек поправить лыжу, закурил папироску и осмотрелся. Сколько порубили! В снежных елях шла просека в Раёво. Солнце пробивало розовые пятна, снег теплел. В тенях синело. С деревни летели галки, стучали криком.

Здесь, бывало, хлопали стаканчик, для разгрева: к аристократам, танцевать придется! Лошадей не сдержишь, — мороз, и ряженых боятся. Звезды усатые, огромные, лежат на елках.

В гитару брякнешь, — звон на вес лес, хрустальный. Покойник Лапкин, начальник станции, — готов уж, тычется в сугробе, молит: «Путейцы, не роняйте чести... Аристокра-ты!» Держись!.. Снегом в морду, бубенцы, гармонья... — стон по лесу! Ворота настежь, с гиком, с треском, прямо на фонарь у кухни. Светятся оконца, запотели, пылает печка, дым столбом, под звезды. Лошади в морозе, фырчат, дымятся. Бегут из кухни. Садовник жарит на гармонье, толстая кухарка пляшет, сам почтенный Михайла Алексеич, кучер... хозяева так называли. Настя с крыльца сбегает, зазвенит, бывало: «ряженые к нам!» — сережки брякают на ушках. Михайла Алексеич весел, лошадей в попоны, овса без мерки, мужика в людскую, вдрызг напоят. В кухне жара, пахнет гусем, поросенком с кашей, щами. Настя перед плитой выстукивает каблучками, на щечках вишни, нагрудник в буфах, кружевная вся, на черных волосах наколка бабочкой, за ушком бантик. Глаза сияют, звонкая такая, сорвется — бежать-сказать, что ряженые прикатили...

Васькин вспомнил, как снег пищал под каблучками — пик-пик-пик... — тонко-тонко.

На кухне оправлялись. Дьячок рядился чертом — рога бычачьи, лошадиный хвост. Бодал кухарку в пузо, стегал хвостом под ляжки. Пончики прямо из кастрюли, не удержишь, жгутся. Настя звенела, как синичка: «господа просят!» — Васькин за ней по кухне волком, за щиколки... Визг, гогот. Духами от нее, сиренью...

Шли двором. На черно-синем небе, над снежным садом, — полумесяц. На елях — звезды. Снег скрипит. Крыльцо все в треске. Конторщик всех собак поднимет, воет. Лапкин умоляет, шепчет: «черти, не роняйте чести!» — Двери настежь, музыка, огни, Шаляпин в граммофоне... — «прррравит балбал!» — Елка до потолка, в сверканьях. Масса гостей, аплодисменты. Лапкин — разбойником, красная рубаха, смоляная борода до пуза, с кистенем, — в угол забьется, его тащат. Дьячок бодал старух, медведи пили...

«Все-таки была культура... интеллигентное понятие, и вообще... богатство»... — думал Васькин.

Всех дарили. Васькину Лермонтова, Бокля. Лапкину — ружье. Стрелочникам посылали на рубахи. Пели хором. Васькина просили сказать стихи. Кассир изображал губами курьерский, товаро-пассажирский. Ужин — за одним столом со всеми. Умывались, оказывались в сюртуках, воротнички под

жабры, морды — как кирпич, все бравые, в одеколонах, как на свадьбе. Лапкина терли снегом, поили нашатырным спиртом. Сидел, как в храме, спич готовил. Ужин — царский: икра, балык, водки всех сортов, заливной поросенок, рябчики, индейка, разные пломбиры. У всех бокалы — Новый год с шампанским! Ждут, когда часы ударят. Часы огромные, прикатывали из гостиной. Все говорили спичи. Лапкина просили хором: Лапкин! Лапкин!.. Говорил торжественно, всегда одно: «Стрелки на севере! Двенадцать часов по ночам!!. Мы, путейцы... стрелки! Не уроним чести! Ура!!.» — Хороший был старик. За что погиб! Плюнул комиссару в морду: — «не марайте нашей чести!» — После спича сползал под стол...

Васькина просили — «два слова о культуре!» Выходило ловко: — «Культура, это — лак, которым покрывают продукт народов. Бокль сказал»... — Как хлопали! Говорил стихи экспромтом. Настя горела, ее глаза сияли, как рождественские звезды...

Малиновое солнце село, в просеке синело гуще. В ворота, далеко, виднелась кухня, под глыбой снега, пустота, сугробы. Васькин был здесь летом. Дом разворочен...

«Сами виноваты, все бросили. Мужики — свое: «советские все растащили, нам хоть матерьяльцу, хозяев нет!» Если бы нас признали, я бы не допустил! — думал с досадой Васькин, катя к воротам. — Спецов мы ценим. Барышни могли бы в машинистки, или в пролеткульте, в губисполкоме, артистками. Я бы аттестовал! Товарищ Кук — культурный. Красавицы, можно бы карьеру сделать. Дал бы отзыв в Центр! Прознали, что арестуют... с английским консулом знакомы. И офицера́... пошли бы в комсостав... дал бы отзыв! Все-таки, культурные нам нужны пока»...

Васькин подкатил к воротам. Столбы остались. Он поглядел на кирпичи и вспомнил, как лет шесть тому, под Новый год, на этом месте, в сугробе, остановились с Настей. Сверкали звезды, трещал мороз. Он жал ей руку и намекнул на чувства. Он только что сказал экспромт, все поразились. Она смотрела, как Венера, бледнела и краснела. У этого столба она сказала: «напишите, что вы сочинили... про ваше сердце!» — Он вырвал из служебной книжки телеграфный бланк, и на столбе, в морозе, при свете звезд, оставил ей — на память. Для всех осталось тайной, что значит — «т у т» — одна она узнала. Экспромт он помнил. Как не помнить!

Первого января,
Тысяча девятьсот
Семнадцатого года,
Выразить нет слов,
Прекрасна как была погода!
В ту чудно-лунную ночь...

Как тогда вынул часы в брелочках, взглянул небрежно!..

В 12 часов и... 20 минут...
Стало — невмочь...
Сердце сказало: т у т!

Ель над домом глядела прямо в залу, на сугробы. В проломе двери, через пустые окна, виднелся сад, в закате, розовато-золотистый, снежный. Кирпичи крыльца вздувались. К саду — разбитая веранда, в осколках, бок вырван, снегу нанесло — перины.

«И библиотеку растащили, — вспомнил Васькин, — все-таки набрал на полку».

Не все погибло: троечные сани и коляску в исполком забрали.

«Глупая, сбежала... — думал Васькин, пробираясь к кухне. — Как бы счастливо жили, новых бы людей творили... А теперь одна, вдали от родины. Буржуазия отравила, гнилой культурой! Ну, а что барсук? Старик каленый. Предлагал ему в губисполкоме, Кук оценил бы, лихую езду любит... Конным бы мог парком... сколько овса проходит»...

Окошки кухни были закутаны соломой, завалены навозом, как в деревне. Не снегу зола, помойка. Васькин бросил лыжи, нашарил в сенцах скобку. Прихватило крепко. Он подергал...

— Кого еще?.. — раздался недовольный оклик. — Спать ложусь...

Стукнул кол, крючок.

II

Дымило. Железная печурка стреляла искрами. Воняло самогоном.

— Как заря — и припирайся. Какие теперь гости...

Васькин пригляделся к дыму. Прежний стол, на нем загвазданные карты корытцами, чашка соленых огурцов, колодки, кожа. Михайла Алексеич, все тот же кряж, под потолочину, кудлатый, в серых кудрях, борода по грудь, кучерской армяк внакидку, лиловая фуфайка с желтой кромкой, — в размятых валенках, мягко ступал, котом. Дышал угаром, с самогона.

— Ну и мороз... градусов здорово за двадцать! — развязно крякнул Васькин. — Что, Михайла Алексеич... не ждали?

— Некого ждать теперь, гостей не ходит. А говорили... — кокнули тебя! а ты вон он!..

Кучер сел на липку перед печкой, стал набивать подметки. Васькин снял ружье, присел на лавку.

— То есть, как... за что же меня кокнуть? — спросил он тихо.

— Этих я делов не знаю. Вон, в Комарове одного хватили!.. Могут и тебя ухлопать. Всякого теперь ухлопать могут.

— Вот дак так!.. — недоуменно огляделся Васькин. — А за что меня-то?.. Я, как говорится, сознательный работник, по культуре... и политпросвет! Я просвещаю... Сейчас вот в Липки, в семь часов, доклад читаю... «Наша рабочая культура и крестьянство»! Вот дак раз!..

— Я этих делов не знаю, читателей... — кучер отплюнул в печку, — я и газет-то не читаю, а уж...

— Что же вы слышали? Так нельзя оставить. Кто вам сказал?

— А, может, это про комаровского болтали, спутал. Тоже был читатель, будто...

Васькин усмехнулся.

— Во-первых, надо различать. Солнцев был писатель, селькор... освещал прохвостов! А у меня другая миссия, культурная... Нет, так я не могу оставить, в воздух... Тут зависит... От кого слыхали?

— Галки принесли, не помню. С людями не бываю. Видишь — стучу вот, ремесло-то пригодилось. Сорок годов жил в яме, теперь в хоромах! Ну, жив — и... шляйся.

— То есть, как так — шляйся? Я по государственному делу...

— Ну, отстань ты, ради Бога... отстань! Я вас не касаюсь...

— Странно!.. — фыркнул Васькин, пожал плечами.

Его мутило: ты да ты! Да какого черта, все тыкает?!. А сам не смел: не выходило. С прошлого осталось — вы, Михайла Алексеич. Кучер внушал почтенье — и обращением, и ростом, и голосом, и как глядел, с усмешкой, сверху вниз, с прищуром. Осталась почтительность и робость: все почитают, дядя Насти... Словами не накроешь.

— Странных нонче нет: не подают. Все перемёрли. Были странные, остались... сам понимаешь, кто. Святые дни теперь, не хочу ругаться.

— В хоромах! Сами пожелали... Могли бы и у нас, я бы аттестовал! Или к себе, на родину...

Старик вколачивал гвоздочки.

— Кубарь я вам! Атестовал... Я тебе не лошадь, — атестовал! А дом мой, сорок годов, как заколочен. Строиться мне не с чем. Было четыре тысячи зажитых, на книжке, — вы сглотали! Ты меня давно атестовал. Свечку за тебя поставлю. Все твои ди-креты... — похлопал кучер под затылком.

— Странно!.. — встряхнулся Васькин. — Уклоны были, но... самосознание народа... борьба культуры...

— Отстань ты от меня... что ты, ей-Богу, привязался!..

Кучер отшвырнул починку, плюнул. Огляделся, отыскивая что-то. Достал из-под стола бутылку, налил в чашку, выпил. Хрустнул огурца.

— Самогон имею — и хозяин. Могу хоть за границу ехать.

— Сердитесь все, Михайла Алексеич... — сказал, заискивая, Васькин. Закурил. — А все друзьями были...

— Друзьями... Таких друзей... ночь подошла и припирайся. В окошки воют... — сказал кучер, прокалывая шилом кожу. — Ну, если ты с починкой, не возьмусь. Полон, вон, угол натащили.

— Нет, новые бы надо, к весне... охотничьи.

— Охотничьи? Ха-а... До весны не близко. А те-то, ай уж истрепал?

— Какие? — удивился Васькин.

— Какие... не знаешь! У Митьки отобрали... Сергей Андреичевы, вот какие.

— Как вам все известно! Те... отправлены шахтерам, — сказал, нахмурясь, Васькин.

— Знаем тех шахтеров. Дай-ка ружьецо-то, погляжу...

— То есть, вы думаете, что?..

— Дай, сейчас узнаю. Бензель-то стер?

— Это, во-первых, не *его*. Это об березу стукнуто.

— За это-то и стукнут. А за сапоги с тебя... Мне и на дьячкову долю надо, шестеро после него осталось, как вы угнали... за святое дело! — погрозил кучер шилом. — Молчи, я знаю. А то бы и шить не взялся. Матерьял твой будет? Муки... полтора пуда...

— Полтора?

— Полтора. Соли пять фунтов, сахару четыре, чаю настоящего четверку, махорки... пять осьмушек. Все.

— Значит, сколько же выходит?.. — попробовал прикинуть Васькин.

— Столько и выходит. Вот, как хочешь считай...

— А не дороговато будет, Михайла Алексеич?..

— Что вам дороговато!

— Ну, извольте. Мерочку сымите.

Старик снял мерку.

— Деликатные носочки носишь... пильдекос? Бурочки на редкость тоже. Вот, стал богатый...

— Это мне... с Кавказа, один товарищ.

— Крадут теперь и на Кавказах. Где, скажи, не крадут?..

— Вы — пессимист, Михайла Алексеич!

— Кем был — таким остался. Пес или не пес...

— Ах, вы... Да... вас тут никто не беспокоит? Вы скажите, я распоряжусь...

— Будут беспокоить — сел на машину, и за границу. Место мне давно готово, зовут.

— Кто же это? Настасья Николаевна?

— Кто бы ни звал. Сергей Андреич и там качает, орудует. Именье опять купил, завел лошадок... Изобретатель! Т а м сразу оценили...

— И мы бы оценили...

— Да, уж оценили. Мне-то хоть не говори, не кройся. Арестантских рот не бойся... не церемонься. Я тебя с сопель знаю. Волком как ломался, за полтинник...

— Как вы все, в обидном смысле, некультурно... — сказал, обидясь, Васькин.

Помолчали. Гукнуло бревно с морозу.

— Письмо, я слышал, получили?

— Получил. И подарки, к празднику. Какаво и шиколат. Сосу. Выдрали из пакета половину. Мне все пишут, сколько посылали. Отписал, чтобы не слали больше... свиней кормить. Лучше сам приеду.

— Черт знает! Это все народ развратный. Мы казним за это, всячески искореняем пережитки...

— Тьфу! — плюнул с сердцем кучер.

Печка меркла, гуще засинели стекла. В когда-то светлой кухне, с начищенными образами, самоваром, кастрюлями, — копотью глядело. Пахло мастерской, подвалом. Промерзшие углы мерцали серебряным глазетом. Васькин осмотрелся, вспомнил Настю, как каблучки стучали, тряслись сережки... как пахло поросенком с кашей. Аппетит с прогулки разыгрался.

Кучер зажег бумажкой лампочку-коптилку.

— Бывало, «молния» горела! Теперь с «глазком»... Спиц нету, карасину не допросишь. И карасин-то сбег. Святки, а сиди без свету.

— Святки уж прошли, — очнулся Васькин. — Новый год давно. Тринадцатое число сегодня.

— Это по-вашему. А у нас все старый. Черт спутал, Рождество украсть желает. Я все дни считаю, не сбиваюсь. Нонешний-то день, бывало, гостей наедет... на Васильев Вечер, на елку! Привез с «Былёвки» — красная на чай!..

— Ка-ак?.. — удивился Васькин. — Завтра... Новый год?..

— Наш. А твой прошел, отпили. Как ты подгадал-то складно, старую дорожку вспомнил! — усмехнулся кучер. — Это уж тебя сама судьба... туркнула, как кутенка, мордой... Ты судьбе не веришь, а я верю. Мне твоя судьба-то... как вот на ладошке! — прихлопнул кучер. — Гляди вон, до чего добили! — мотнул к окошкам. — Волки в дом лазить стали!..

Васькин посчитал: тринадцатое января сегодня... да, как раз. Судьба... Как вышло!..

— Как попал-то, враз! — смеялся кучер.

Смех был нехороший. Стало неприятно, жутко. Костлявое лицо мигало, седые кудри копошились строго, запавшие глаза смущали.

— И попа-дешь, как пить. Я все причувствую!.. — закачал кучер пальцем, впиваясь взглядом. — Ка-нец!

Лампочка коптила, возились тени. Кучер достал бутылку, принес горбушку хлеба в полотенце, кислой капусты, соль в жестянке, головку луку. Покрестился.

— Вот, и ужин заработал. А масла нет, шабаш, пропало. Тебя не приглашаю, у тебя хлеб-соль свои, харчик ваш особый... Поросят везли намедни, гусей мороженых, — глядел я... а господ не видно! Кто ж это ест-то все? Новые какие господа?.. Зна-ем, кто ест-то, за углами. Ели и мы, а вот... ша-хтерам, значит, подвалило счастье... А?.. По скольку поросятины-то раздаете? гу-сятины?

Васькин молчал. Было неприятно слушать, а не горело сердце. Не на людях, и кучер оставался все-таки своим и прежним. Строгие глаза смущали.

Кучер выпил крепко, похрустывал капустой.

— Во как... — сказал он вздохом, и по его лицу прошло улыбкой. — Видал? — мотнул он под иконы, — как образовали!

Васькин взглянул на рамочку из золотой бумаги, подошел поближе. Да неужели Настя? Похожа, но совсем другая. В шляпке, котелочком, с голыми руками и плечами, с открытой шеей, как артистка. Родинка на шее, знакомая. Строгие глаза,

и рот серьезный, без улыбки. Красавица, совсем артистка. Да неужели это Настя?..

Кучер хрустел капустой. Волосы, в упругих кольцах, качались над глазами, темные еще усы ходили; лоб в морщинах думал.

— Ну... спать пора ложиться.

Васькин взглянул в окошко. В елочках мороза тускло расплывались звезды.

— Ну, прощайте, Михайла Алексеич, — уныло сказал Васькин. — Конечно, прежних отношений нам не вернуть...

— Отнесло... и слава Богу, — усмехнулся кучер.

— Эволюция социально разлагает, делает отбор...

— Че-го? Все отобрали. Еще чего?..

— Нет, я так. Мы разных направлений взглядов... А это кто же... Настасья Николаевна?!. — не удержался Васькин.

— Ка-ак образовалась! — сказал самодовольно кучер, расправил ус. — Из самаго Парижа, из-за границы. Все зовут — мамзель, по-благородному. Там не матюкают, не шандрычут. Тыщи женихов... Ну, дай Бог счастья.

Васькина кольнуло.

— Выходит замуж?..

— Там стро-го. Там за э т о... головы секут! — кучер пристукнул ложкой. — Там все по-благородному... все шиколат едят!

— Знаем все, — ехидно усмехнулся Васькин, — эксплуатация... капиталистического империализма!..

— Чего-о? Ты мне не заливай, я тебе не дурак бесштанный... капитали-зма!.. Я тебе сейчас приставлю, как отличают!

Кучер достал на полке плитку шоколада, аккуратно положил на стол, накрыл ладонью.

— По-заграничному умеешь? Не умеешь! Четко как пропечатано, смотреть приятно! Золотые буквы... Тонкую фуфайку к празднику, не эту. Как помнят, настоящие-то люди!.. Сам Сергей Андреич мне написал, гляди!..

Кучер достал с полки чайную шкатулку, вынул из нее открытку, полюбовался:

— Видал, башня знаменитая какая! В руки не дам, сам умею. Вот, что пишут... — водил он пальцем: — «Старый друг наш, Михайла Алексеич... все мы тебя помним и жалеем...» Жале-ют! «Если скучаешь по Насте, пиши... вышлем ви-зу!» Ви-зу!!. — постучал кучер пальцем, — «и денег на дорогу. Будешь опять в именье, не хуже прежнего... Есть лошадки!..»

Вот как благородные-то люди! «Дру-уг» Ночь не спал, плакал... как растроганно! Это вот оцени-ли! Это не сволота. Мне это одно слово все покрыло, чего я навидался. Стыдно, не уберег. За мукой поехал... и крышу сняли, и рамы... А кто учил?!. Н-ну! — стукнул кучер, боднул кудрями, — мотаться будут! Что-о?.. Боюсь тебя... спай, сказывай своим...

— Мне, Михайла Алексеич, обидно, — сказал Васькин. — Кажется, я вас не притеснял, а хулиганов везде много. Я стою за принцип! чтобы просвещать решительными мерами... А что Настасья Николаевна пишет?

— Много, не прочитаешь. Ишь, дворцы какие... мимо их гуляют!

Кучер вытаскивал открытки, тыкал пальцем. Васькин рассматривал с волненьем.

— Смотреть приятно. Семь картинок, а сколько растаскали, не дошло! Одну сам снял со стенки... милицейский завладел, Бочков. Насилу отдал. Мост с нашими орлами, сразу признал. Взглянешь — и повеселей, как будто, станет. Живут, как люди.

— А что Настасья Николаевна пишет? про нас не вспоминает?

— Как так не вспоминает? Вспоминает.

— Вспоминает?!.

Кучер вытянул из чайницы письмо с голубенькими марками, пощелкал по конверту.

— Машинкой напечатала, знает, что по-печатному ловчее. Вот, как пишет: «Дорогой и любимый дяденька Михалисеич!..» Это еще махонькая была, так называла... — кучер потер у горла, крякнул. — «Живем мы очень хорошо. Были на океане и купались. Здесь купаются в костюме. Я не могу прислать вам карточку, а то рассердитесь. Но так здесь принято, что все закрыто». При-нято! Потому что не безобразники...

— Знаю, в трике и брюках, как акробаты, — сказал Васькин.

— Все ты знаешь. «Я вращаюсь в кругу света, на балах. Танцую с прекрасным обществом, даже художники». Художники! Видал? «А перед завтраком гуляем в разных парках. Везде статуи из мрамора, есть и золотые, даже на мосту». На мосту даже! золотые!!. А никто не тащит. «Здесь тоже самая республика, но безобразий нет, и можно ходить ночью, как днем, при всеобщем освещении». А вот ты у нас поди. Волки, никак?.. — послушал кучер. — И республика, а...

— И у нас будет культурное процветание! — сказал Васькин.

— Молчи. «Поднималась и сидела на башне Эйфель, посылаю в письме. Выше всего, даже жуть». Вот на этой самой. Видал?

— Знаю, в «Ниве». Да где же тут сидеть... вся в дырках!

— На скамейке, где! Вон, сколько жердочек. Сядет и сидит. «Вообще, трон... моей жизни»...

— Тро-он?.. как, трон?!.

— Трон! Значит, живут по-царски. На, читай... ты не хватай, а издаля читай... «трон моей жизни»!

— Да не — трон, погодите... «трен» — написано!

— А что такое? ну?

— Трен?.. Такого и слова нет...

— Всякие слова там есть, ничего-то ты не знаешь, вавася! А еще читатель! Значит — роскошной жизни! «Мне уже делали предложение два француза, контры... метры»...

— Как, как? контры-метры?!. Может быть... хронометры? Что-то непонятно.

— А чего тебе понятно! Значит, хорошей должности. Землемеры!

— Вот так ловко! Ну, дальше, дальше?..

— Дальше-то самый смак и будет. «Но я должна вам объявить, дорогой дяденька Михалисеич, что я давно люблю одного человека»...

Васькин затаился.

— «...нашего, русского, но сразу не могу сказать». Вот, — сразу не может!

— Но почему же? — взволновался Васькин. — Почему не может?!.

— Тут-то про тебя и есть.

— Про... меня?!.

— Сиди, не бейся, — сказал, отмахивая, кучер. — В руки не дам. «Здесь есть один механик, но благородного рода, часто меня катает на такси»?.. Так-си... Может, ероплан?!.

— Так-си?.. собаки такие есть, таксы! — криво усмехнулся Васькин. — Катает на собаках! Вот дак...

— Что ты понимаешь! Значит, по машинной части, чего-нибудь такое. «Он русский, хорошо играет на рояли. Он полковник»...

— Белый! — воскликнул Васькин. — Совратили!..

— Пусть, хоть серый, а полковник. Ты дальше слушай, — подмигнул-скосился кучер. — «Я его люблю безумно! И про-

шу вашего благословения. Свадьба наша решена на Пасхе». Ну, и дай Бог счастья. Может, и сам подъеду.

— Та-ак... — прошептал Васькин. — А... про меня?..

— Есть и про тебя. Вот: «Как мне противно теперь вспомнить, какая мразь паршивая... около меня вертелась, в Раёве. Увидите — так и скажите». Вот, и вспомянула. Получай.

— Покажите, покажите... может, не так написано?..

— Чище не напишешь! Издаля читай, в руки не дозволю. Эту вот стежку, ну? «мразь, паршивая, возле меня крутилась, в Раёве»!

— И почему же это про меня — мразь?!. — гордо закинув голову, воскликнул Васькин.

— Стало быть, про тебя. Кто ж тут такой, паршивый? Это уж без прошибки.

— Мало ли... — сказал уныло Васькин. — Екзема, например...

— Да после тебя все ру-ки мы-ли. Рожу-то, как черти драли! Ну, и... кончен был.

Кучер спрятал письма, чайницу убрал на полку. Пошатываясь, подкинул в печку. Заполыхало, зашевелилось по углам глазетом. Часики пробили ржаво — шесть.

— Уеду, надоело.

— С н и м и хотите, соблазняют? Только ведь могут и не пустить... — сказал не без ехидства Васькин. — Это очень трудно — получить...

— Кто это меня не пустит? ты, что ль? Или я рабенок малый? Деньги сглотали, хуже пса определили... крепостной вам дался? Я полноправный крестьянин! В красную вашу не запишешь, шестьдесят мне скоро. Пешком уйду, мне везде дорога.

— Ну, вас-то, пожалуй, пустят. Что ж, поезжайте.

— Тьфу! — плюнул кучер яро, схватил сапог и сел прилаживать заплатку.

Васькин что-то мялся.

— Михайла Алексеич, — спросил он тихо, — а верно это, что... хотели меня кокнуть?..

— Боишься? Говорили будто, а кто — не помню. Ходи с оглядкой... Волки, никак, вон воют?!.

Васькин послушал у окошка: собаки на деревне, от мороза? Подумал: три еще версты до Липок!

— Ну, прощайте. Месяц-то еще не вышел?

— Навряд.

Кучер головы не поднял, вколачивал гвоздочки...

III

Васькин взял двустволку, забрал портфель. В сенях обдало скрипом, кольнуло в ноздри: мороз брал крепче. Лыжи завизжали. За мерзлым скрипом грохнуло колом за дверью.

— Черт каленый!

Оглянулся: окошки полыхали, сновали тени. Над снеговым горбом, над кухней, синело дымом, вылетали искры.

Небо от звезд дымилось. В синей ночи мерцало смутно снегом.

Ныряя по сугробам, Васькин миновал ворота. Потемнело: две стены сходились, просека тянулась с версту. Васькин напал на след, пошел ходчее. В глазах слезилось, звезды растекались на ресницах, плющились усами, пропадали — и вспыхивали вдруг, хрустально-ярко, горели на верхушках елей. Звездная река дымилась.

С визгом и скрипом лыж мешалось завыванье. Собаки или — волки? Васькин впивался в темень. Чернелось что-то. Столб? Он остановился, затаился. Похрустывало снегом, кто-то шел. Остановился? Васькин разобрал: высокая фигура — мужик, в мохнатой шапке. Нащупал револьвер и крикнул:

— Стой! Кто там?..

Мужик взмахнул колом — на звездах видно! — и крикнул с жутью:

— Не подходи... оружье!..

Кол черкнул по звездам. Васькин вскрикнул:

— Стой... кто ты?..

— Свой. А ты кто? Близко не ходи, при мне оружье!..

Васькин по крику понял: мужик боится.

— Сдурел ты?.. куда идешь?..

— Куда... к раёвскому кучеру... валенки подшить. Я с деревни, здешний... А ты кто? Стой, не подходи... у мене оружье!.. — пугал мужик, возя колом по звездам, — не отвечу...

— Тьфу ты, черт... — да проходи же! — сказал спокойней Васькин, — вот, ей-Богу!..

Стояли оба, выжидали.

— Не бойся, проходи... свой я... Васькин...

— Кто такой, Ва-ськин?.. Я тебя не знаю... Ва-ськин?..

— Ну, из райсполкома... по просвещению! Ну, иди же!..

— А-а... това-рищ? Я ничего... что ж, дело хорошее. Думается все, понятно...

Мужик топтался, визжал колом по снегу. Стоял и Васькин.

— Електричества бы дали!.. обещали все просветить!.. Проволочки бы проклали, — говорил мужик — смеялся? — Жуть ходить ночное дело. На двоех волков сейчас насёкся... С кольями все ходим, самые теперь их свадьбы...

— Да, без оружия теперь опасно... — сказал, подрагивая, Васькин.

— Волки-то ничего бы, я с колом один на троех выду... а вот с оружьем какой... наскочишь! Опять вон близко нас убили, к Астафьеву...

— Как? кого убили?..

— Мальчишки давеча, в лозняках нашли, дли речки... голова отбита, следу нет... и не узнаешь. С полверсты всего отседа. — Волки, что ли?..

— Как?!. кого?.. — допытывался Васькин. — Из наших?

— Так что признать не могут. Наши побегли там... Я не пошел, боюсь всех этих неприятностев! Мне хоть тыщи, милиёнов дай, — нипочем глядеть не стану, робею...

— Так и неизвестно?

— Как же, дознались, по бумажкам. Видють, что из товарищей, член-хинаген... называли Свистакова, Свистулева?.. Я их делов не знаю...

— Как? Свищ, может быть? финагент? сборщик исполкома?

— Будто так, что Свищ... хинаген ихний... Я-то не касаюсь, этих делов не знаю. Мне хочь тыщи милиёнов дай... Думатся так, что волки, на свадьбу наскочил. Развелось волков у нас... Вы проходите, я подамся. Теперь не доверяешь человеку, понятно...

— Ты проходи вперед, не опасайся. Я не трону.

— А за что же меня трогать? Вам хорошо, у каждого машинка сбоку. Дай мне, я никому дороги не уступлю! — болтал мужик, а сам ни с места.

— Да проходи, чудак! Ну, я пойду... отойди в сторонку...

— Стойте, стойте! Не, я наперед пойду... а вы стойте! Вы стойте, стойте!.. — криком пугал мужик, шарахаясь через канаву, с колом к дороге. — Во, снегу ско-лько-о!..

Дал крутую петлю и вышел на дорогу, уже сзади.

— Вот и разошлись! — повеселел он, и заплясал со снега. — Строго стало, никак нельзя ручаться...

Васькин пошел с оглядкой. Мужик пустил вдогонку:

— Выходит, — сиди дома, не гуляй!.. задом не виляй!.. Строго стало... бьют!..

Просека отстала. Кустики чернелись, а казалось — головы торчат из снега. По косогору, справа, пошло по насту ледяным сияньем: полумесяц за бугром поднялся. С деревни доносило подвыванье. Собаки — или волки?.. Васькин пустился полем, к лесу. Черные межи пугали. В морозе задымилось лесом, зачернелось. Пошла можжуха. Стояли мужики в снегу, белели шапки, груди. От месяца дымилось, все седело. Будто и огоньки мигали — к лесу.

— Черт понес к Раёво! Засветло бы надо, сам-друг. Теперь опасно.

Васькин постоял, подумал. Впереди овраг, у Липок. Все знают, что приедет... выследить могли: пошел в Раёво...

— Плевать! Скажу, что заболел...

И повернул в Раёво. Просека опять накрыла. Огонек виднелся — окошки кухни. Бросив лыжи, Васькин заглянул в окошко. Пылала печка. На ледяном окошке махались руки, головы мотались.

— Играют в карты? Войти — неловко... этот черт еще!..

Мужик стеснял: Михайла Алексеич начнет смеяться...

— Перегожу. Скажу, что ногу повредил на косогоре. Уйдет — тогда...

Постоял, помялся. Пошел к крыльцу у дома, нашел местечко. На дворе светлело, сугробы голубели мелкой искрой. Над кухней круто подымался столб, крутились искры: здорово раздули печку! В пролете двери, через окно, на сад, — сияли звезды.

— Черт принес!.. — поеживался Васькин, мерзли ноги. — Как раз...

Вспомнил про «судьбу». В кухню захотелось, к печке. Руки все махались, — конечно, в карты... Стало невтерпеж, пошел промяться. Вытоптал в сугробе стежку, как окопчик. «Пойдет — укроюсь». Глядел на дом, на звезды. Вспомнил... Взглянул под рукавом, на месяц: без четверти восемь. Вспомнил опять: самая пора, бывало, — подкатывали тройкой, с бубенцами... бежала Настя, граммофон играл, бутылки на столах сияли...

Васькин взглянул в дыру — сверкали звезды. От стен ложились голубые тени, ель смотрелась в залу. Васькин бегал, мотался по окопу. Поглядывал на кухню: все играли! А, черти!.. Настенька всплывала, красавица артистка, в золотенькой бумажке. «Мразь паршивая!» — а, что сказала!

«А когда-то... как жала руку, просила написать про сердце»...

В ту чудно лунную ночь,
В 12 часов и 20 минут,
Стало невмочь...

Становилось, действительно, невмочь: немели ноги. Васькин заглянул к окошкам. Ходили тени, но руки не махались. Грохнуло колом за дверью. Васькин присел в окопе. Сени заскрипели.

— Спасибо, Михайла Алексеич... на угощенье... — услышал Васькин. — К куму мне зайтить бы надо. Ничего, дойду... при мне оружье! Нет, ночую дома, спасибо.

— Смотри, брат, — говорил любовно кучер, — дойдешь ли?

— Я-та? Лучше раздышусь маленько, с яду... Я с ими умею обходиться, с волками... хочь будь пять штук... прямо, по ногам колом! С энтим вон встрелся... ну, маленько напугался, а... теперь встрену — прямо, колом!.. Я б е в о... вас вот только беспокоить, а попадись мне в поле... у-х-х!.. Мать честная, во, глы-бко... снегом хоть Господь порадовал...

— Правей по тропке! Ну, с Богом! — простился кучер и захлопнул дверь.

Васькин повыждал, потоптался под окошком. Постучал легонько по стеклу.

— Кто та-ам? Ты, Степан?.. — глухо отозвался кучер.

— Это я, Михайла Алексеич... пустите! Ногу повредил... замерз... Васькин я!

— Носит черта... — сконфуженно услышал Васькин и захромал к крылечку. Грохнул кол.

Кучер не сказал ни слова. Васькин дохромал до лавки.

— Позволите, уж заночую?..

— Вот, — показал на лавку кучер. — Нет у меня для тебя подушки. И сена нету. И накрыться нечем.

— Я уж так... погреюсь, послежу за печкой...

— Вот и ладно.

Не говорили больше. Кучер лег за печку, под тулуп. Васькин подкинул чурбачков и лег на лавке, в голова портфель. Часики пробили — 9, 10, 11... Васькин думал. Слышал — подвывают, будто. Как будто, ближе. Будто, во дворе, собака. Когда пробило полночь, Васькин уже спал, не слышал.

Декабрь, 1925 г.
Париж

МАРЕВО

(Рассказ «бродяги»)

...Вы угадали, я – бродяга. Не потому, что без причала, как мы все, а был и есмь бродяга, русской складки. Бродяжество у нас в крови. А наши идеалы, думы! Надумаем – и рвемся, а о н о – ффык! – как марево в степи, пропало. Вот, в Монте-Карло мне явилось... Месяц прошел, а я все тру глаза. Ну, выпьем. Этот кабачок зовется «Queue de Chien»! Попали, значит, как бы псу под хвост.

Эх, нет у них органа. Смотришь на зубцы, уносит валом, заматывает душу. «Ему и больно, и смешно, а...» матери-то нет. Куда, бывало, ни заедешь, – трактир, орган. «Тройку», или «Не одна в поле дороженька», или – «На последнюю да на пятерку наймем с милой лошадей...» Словом, – «Эй, вы, други дорогие, мчитесь сокола быстрей!» И мчались...

Эту я песню в Монте-Карло всю ночь провыл, и гарсон даже извинялся: «извините, – говорит, – месье...» и так далее. Ну, выпьем для заряду. Вспрыскиваю один патентик, в вагоне изобрел из Монте-Карло, назвал «Purgatoire universel». J'ai fait mon purgatoire en ce monde! Уже запродал. У меня патентов этих!.. Но главного-то нет, – на место в мире. Прохожу – и только. Но, с начала.

Я, как вам известно, инженер. Был в Туркестане. Там-то и видел марево. «Вот уж в степи голубо-ой... город встает зо-ло-то-ой...!» Черт, нет у них органа... Потом, мыл золото на Бии. Два года в Аргентине. Оттуда донесло до Сан-Франциско, с одной циркачкой. Там я изобрел им двигатель один и продал. Циркачка улетела. Астрахань, на рыбном деле. Там – холодильники, и 30 000 сгорели в две недели. Как – не важно. Засим, заводы, «продувная печь», патент, продажа. Дальше – тормоза, запродал. Затем – «проект орудия», бьет на сто километров в точку. Чертежи украли, но главного-то не было еще. Пылал тогда с венгеркой. Плюнул. Хватил бы тысяч сто, амери-

канцы дали бы и больше. Восстановить могу, конечно, но... к чему? Дождусь, когда Ро-дная позовет. Ей — или никому. Будь я какой-нибудь испанец даже, имел бы гациенду дель-Венадо, миллион пезет, жену с глазами в ложку, тройку футболистов, прекрасных сеньорит четыре штуки и титул гранда. А теперь я к делу.

В 1913 году мне было 36, мешочков этих не было. «Как денди лондонский», в кармане тысяч тридцать, полная свобода. В перспективе — тысяча проектов. И вот, меня махнуло в... Белозерск! Вы представляете себе... снетки там, судаки? Там говорят — «судок»! «Баланц» сплавляют, швырок еловый, в Кенигсберг, на целлюлозу. Поехал на места проверить. Был план: «Компанию», по целлюлозе! Открыл я штучку, выбили бы немцев. Шексна, Молога, по каналам... И дернул на какую-то «Рыбчонку» — взгляну на Белоозеро, где Синеус когда-то... Подчалил, вижу — в самом деле, вода белесоватая, — от неба, что ли. Пески и валуны белеют. Кругом леса, болота, дороги непроезжие — дрема.

А почему заехал? В Рыбинске с одним столкнулся. Лет 45, красавец, подлинный ушкуйник, с Новгорода. Баланц сплавлял, хлеб, рыбу, лен, канаты... Вершков тринадцати, плечистый, в золотой бородке, в глазах — как пленка, как мечтанье, и синие, как синька. Сокольи, что-то полевое в них, по далям. Таких я у мужчины не встречал. Влюбиться можно. И фамильица — запомнил крепко — Разгуляев, под стать. Встретились случайно, на пристанях. За ухом карандашик, в высоких сапогах, пиджак свободно, чесучевый, с отвислыми карманами, картуз английский. Голос сочный. Он-то и захватил, кричит: «Хоть сдохни, а к вечеру погрузку кончить!» Разговорились о баланце, — смекнул с полслова. В трактир к Ширинкину, в Садки. Уха, понятно, расстегаи... Я ли уж не бывалый, а этот, черт его... откуда вылез! В с е знает. Оказывается, его гнездо-то — Белозерск, а Рыбинск, Череповец, Молога, Вологда там, Бологое... — налеты только. Ну, нашли друг дружку.

Выпили мы с ним честь честью, полили шампанским, а дела никакого, так.

— Знаете, — говорит, — у нас должно быть с вами д е л о! Вы не первый встречный, я вас ж д а л.

Загадками так, из-под брови.

— С вами делов накрутим. Прошу ко мне. Дня через четыре буду дома, жду. Дочь у меня хозяйка...

Ну, думаю, какая же у него дочь-то, если и в самого влюбился! Заинтересовало.

— Честно-е слово?

Дал, заеду.

По речкам помотался, — и на «Рыбчонке», помню, подчалил к Белозерску.

Городок с ладошку, на плешинке. Площадь — вся золотая, от навоза. Сушь была, жара, хоть август. Тот год на Севере была жара, как Крым. Стою на площади — Сахара, золото сухое, навоз еще от Синеуса, земли не докопаешься, бугры. Из-за бугров — желтеет, соляные склады, времен Бориса Годунова, — снеток солили! — в землю уж вросли, а землю выперло, как тесто. Видно крыши, проржавое железо, арки. Направо — деревянные лабазы, жарит солнцем. Повсюду короба снетка. Соль, выступило крупкой, запах крепкий, сне́тком соленым. Аромат, жарища. Пить сразу захотелось, заломило скулья. Ни души нигде, и тихо так, что слышно, как дышат по лабазам, — чай, должно быть, дуют, играют в шашки, — слышно: чок-чок-чок... Сухие судачки висят на солнце, белеют солью. Знаете — су-док! Ух, крепкий запах! Не сгниешь вовеки. Четыре церкви, по углам, и все — на площадь. Изгрызенные коновязи, в блеске, седые, еще от Синеуса. Ударили при мне к вечерне, все четыре... — судакам, снеткам? Присел на валуне, — лежал еще до Синеуса! Во́т глушь!.. Куда идти? Гляжу — попы бредут, по диагоналям, через площадь, расползываются по церквам, к вечерням. Древняя старушка похрамывает по навозцу галкой. Не видно ни мальчишек, ни собак. Каланча, пустая, серая, на солнце. В тень бы, что ли... Акация — одни култышки, лошади объели, вся в мочалках. Прошелся по навозцу, мягко, как по торфянику. Вот, думаю, перина — городок! Ну, Пропалуйск, и только. Вспомнил Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж... — сон, марево? И этот Белозерск, тысячелетнее, гнездище, — сказка? Чего же Разгуляеву-то тут? Откуда вылез!..

Старик какой-то, бородище по колени, голубая. Сам Синеус, ей-Богу! Кричу — не слышит. Пара судачков под мышкой, бутылка квасу, лук. Как увидал... — попрыгали тут судачки его от удивленья! Под козырек, — я был с портфелем. Оказывается — бутошник, с дарами от лабазов. Тут же и сообщает:

— Я, ваше высокородие, именинник нонче... бутошник я, Лаврентий. А другой париться пошел, баню у купцов топят.

Дал я ему целковый, с Ангелом поздравил. Сон! На чай целковый, Синеусу!

— Идите, — говорит, — все прямо. Сергея Артамоныча все почитают, очень имениты.

Имениты! язык-то!!!

— Самый их вышний дом, дикой... князем они у нас!

Ей-Богу, так вот и сказал мне: князем! И — «вышний»! Синеус...

— Эй, гарсон! завел бы, братец, — «Ехали бояре да из Нова-Города»!.. Не понимаете, почтенный? Дю блян анкор!

Па-ршивое вино. На Азорских я пил мадеру, в Аргентине дынную, ликер их славный. У Разгуляева я квас ел с судачком соленым... О н а приготовляла нам ботвинью, и белорыбица была... А с судачком — по этикету. Пьян с той ботвиньи, плавали е е глаза в ней, ботвинья голубая... И платье было голубое. Звали Паша. Но я засекся, по порядку надо.

Нашел я Разгуляева. Дом с садом, вышний. Там сады плохие, песок, и бурями ломает. Цвели подсолнухи, малина еще в ягоде стояла. Зеленые качели. Двор — короба, корзины, — судок, снеток, — засмаливает глотку. Собака в конуре, понятно. Дом крепкий, бемские окошки, в петухах. Дернул колокольчик, — валдайский, звонкий. Отпер сам, в вышитой рубахе, городками, ворот настежь, шея с Геркулеса. Облапил на крыльце, кричит: «Пашута, гостя заморского встречай!» Так и зазвенело по сеням. Чистота, сосна, пол крашеный, дорожки, печи в изразцах с поливом, с павлинами. Образа в окладах, старого письма... И... Беккера рояль, концертный!

Слышу — шажки, неторопливо и серьезно. Подумал — не в женихи ли заманил сюда? Два часа знакомы, а сметлив: в расчете не ошибся. И отмахнулся, увидав глаза: без «задачника», открытые, как поле. Да и... что я ему? Сам в сотнях тысяч, а я весь — движимость. И вот, как увидал я Пашу, — сердце: царевна в сказке! Вот, Белозерск, тысячелетний. С навоза золотого, с белых вод. Ну, белое, и золотое-голубое. Вот — русская, сама Россия! Голубое платье, простое ситцевое, даже не сарпинка. В отца вся, шея — от Юноны, голова Цереры, золотая. А цвет лица... — такого не видал по свету: нежность сливок, и розовое льется. Стан, гибкость линий, движения свободны, а лицо — от Леонардо что-то, «Бель Ферроньер». Там — русское, неуловимо: и скромность, и скрытая задорность взгляда. Идет неслышно, но сила с л ы ш и т с я. Вот именно — п л ы в е т. Здоровается без жеманства:

— Очень рады...

Хозяйски, сдержанно. Умна. Повидал всего, не мальчик. Мне было 36, ей — 19. И вдруг мне показалось, — сон чудесный: — в тысячелетье, в древнем! Княжна, царевна. Где-нибудь

и мамка со шлыком. Тут — Синеус, на озере, Трувор — в Изборске, в Новгороде — Рюрик.

Окончила гимназию в Череповце, и думает — на курсы. Ну, понятно. Ведь три дороги только: курсы, консерватория и студия театра. Москва и Питер. Больше нет дорог. Ну, корь, понятно. Читала Ницше, Чехова, Андреева. Ибсена ужасно любит, сейчас читает «Гедду Габлер». Играет Скрябина и Грига...

Поужинали. Поиграла Грига. Отец сказал:

— А ну-ка, Паша, Глинку!

Улыбнулась мягко и сыграла.

— Спой, Пашук!

Повела плечом, взглянула на меня с вопросом. Глаза!.. Пропал и Белозерск, и все. Под сердцем, в самой подоплеке у меня сказало: россыпи у ней, в с е — в глубине, в е с ь мир! Сказала взглядом. И про отца, что славный, и его балуют; и что она умна, в с е понимает; что Белозерск — п о к а, и я ей, кажется, что нравлюсь... что она готова — д а л е к о, и для нее весь мир — с в о я дорога...

Т е п е р ь — я знаю, ч т о она сказала взглядом. Тогда осталось в чувствах, смутно. Я увидал глаза, с каким-то изумительным разрезом. Такие делают теперь иные, наводят негу, вызывают блеск и поволоку. Вот эта поволока, «думка» — от отца, с а м а рождалась. И вот, за ней-то, я угадал особенное, т о, чего ни у одной не встретил: живую беспредельность, целый мир! Подумаете — это от вина? Нет, в е р н о.

— Спой, Паша.

Повела плечом.

— А вы поете? — мне.

— Пою.

— А что?

— Да так...

— Такого я не знаю — «так»! — так мило, б л и з к о.

И вот, я вижу на рояле Глинку — «Снова тучи надо мною собралися в тишине...» Снова тучи?.. А почему не... н е б о? — подумал я. «И, предчувствуя разлуку...»

— Э т о? — поняла она мое движенье.

— Пою... — сказал я и взглянул в глаза.

Отплыли, тихо. Унесли весь м и р.

— Поете... — повторила она задумчиво, взяла с рояля ноты.

— Пою.

— Поете. Ну... споемте...

Мы говорили взглядами и этими словами только — «пою», «поете», и говорили так понятно, полно, — в с е.

Мы пели, — и как пели! У меня баритон был, небольшой, но сочный, а тогда, в тот вечер, — страстный. И был я белозерским... Баттистини. А она... Вы знаете романс, но вы не знаете, как его пели в Белозерске, в лето от Рождества Христова 1913, августа 10 дня, двое: Паша Разгуляева, 19 лет, и Степан Аполлинариевич Кадырин, 36!

И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней!..

Эти последние слова она пропела — и к у д а - т о, и — мне. На этом — «и твое воспоминанье...» — она чуть повернула лицо ко мне, и в ее глазах, в тончайших уголочках глаза, в этом изумительном разрезе, я увидел, как блеснуло и заструилось синью, — далеко, к у д а - т о... — как рекой.

И твое воспоминанье!..

— Половой, поставь!..

А, черт... Услыхать бы хоть, как вал толкнется, перед песней!..

...Разгуляев хлопнул по коленям и зашагал по залу. Дрожали хрустали подвесок на стенничках, за розовой кисейкой. Ходил широкими шагами, бороду трепал в раздумье. Остановился, взглянул на образ, темный, и встряхнулся:

— Ловко... с п е л и с ь!

Потом мы говорили с ним о целлюлозе. Все прощупал.

— П о к у д а... вложу сто тыщ! — смотрит мне в глаза и трет коленку, выбирает взглядом. — Варганьте, Степан Аполинарыч. Верю вам и делу. Честно-е слово.

Два дня знакомы. Вот вам Бело-зерск! И не ошибся бы, в накладе не остался бы.

Два дня провел у них. Гуляли у воды, сидели, валуны глядели. Было дымно. Озеро совсем седое. Леса горели в это лето сильно. Я говорил о странствиях, о м и р е. Белозерск — и мир! Мир — з а ее глазами видел...

Время ехать. Глаза ее так ясно-глубоки, и в них... Да, б ы л о... в глубине, вопросом: «что же?..» Было.

Помню, на балкон мы вышли, к саду. Уже поздно было. Северная ночь погасла... И в ней, в этой погасшей ночи, тоже был вопрос: «ну, что же?..»

Молчали, оба.

Небо синело черно, и в этой черной сини, по бархату, — живое серебро, рублями, гривенничками, четвертачками, — так и блещет. И блещет, и звенит. Игра такая!.. Звенело. Кузнечики звенели, последние. Пахло и озером, и рыбой, живой и с солью, — снетками, судаками, жаром. Жар и свежесть. И табаком от сада, как... в Жанейро?.. — магнолией томило страстно. И здесь томило... е е? И кошки за забором раздирались. Она — тут, рядом, у колонки, плечо к плечу. Стояли и молчали... Слушали друг друга? Сердце билось.

Она, доверчиво так, слышу, — дышит. Ждет? Ну, время же — сказать!.. Мигают звезды: «ну же, говори! не встретишь лучшей! н и к о г д а не встретишь...» Весь мир тут, рядом. Судьба толкнула: не мотайся! Вот, в Белозерске где-то, в глушине, — т е б е, родная... в с е — в ней!..

Что удержало?.. Что-то, мелочишка?.. Из Белозерска, курсы... и родня?.. какой-то Разгуляев!.. Ну, будет «верная подруга и добродетельная мать...» Вспомнилась свобода, океаны, планы... «экзотика»! А тут — снеток, судак и... п р е с н о? Вспомнилась ее мамаша из альбома, — как же без альбома! — была какая, а какая стала! Мелькнуло хитро: надо же п р о в е р и т ь, нельзя же сразу. И — не сказал. Звезды, — и те мигали: «да говори же, н а д о! Отец — ушкуйник, его не удивишь ничем, 100 000 вкладывает в дело, п о к у д а. Ведь, намек! Поверил с глазу!»

Черрт, смолчал!

Ну, постояли так, поговорили о Художественном театре! Можете себе представить — пошлость?! Тут — мир ломается, дороги намекают, жизнь дается, так мудро — просто, светлый путь открыт, о н а затихла... ждет, и вдруг — о... симфонических концертах, о л и ч н о м ... в идиотском Бранде! Черрт... Чуть ли не о политике!.. Проклятое самокопанье!..

Ночь я провел погано. Все отгораживал себя от... к р о в н о г о!.. В Германию поехать надо, исследовать про целлюлозу, не уйдет... Как смешно-то: заехали к Синеусу, на навозе — и предложенье, в две минуты! Подумаю, успею. А т а м, должно быть, синие глаза глядели в черноту и ждали, вопрошали звезды...

Утром, сердечно попрощались. Обещал писать! Понятно. Она хотела в сентябре в Москву. Отец похлопывал меня и звал — дружище!

— Заеду, всенепременно. Потолкуем о «Компании», дружище! Привезу е е. Все учредим, заварим кашу, — засверкает! Сотнягу это я — п о к у д а!

Снетков мне навязал отборных, «царских», — Грозному такие посылали, «снеточком белозерским били», — в холщовом мешочке, фунтов пять.

— Такой наш белозерской провод. Можете хоть бросить, а везите!

Уехал, обещался. Какой-то землемер подвез меня куда-то на Шексну, на пристань. Помню, все по корням летели, по пескам. А т а м — глаза остались. Помню их прощальный, какой-то диковато-странный взгляд. Он будто спрашивал: «ну, как же? оценил? мы встретились так странно... роковая встреча, понял?»

Мчался по корням, и все — в тумане было голубом, как марево бывает: глаза и звезды. И вопрос из глаз: «ну, что же?» И странно — удивляющийся взгляд. Он говорил, как будто: «в с е же я с н о, и все так просто, я — для т е б я!» Да, все было слишком просто, как эти белозерские снетки, отборные... «Можете хоть б р о с и т ь, а в е з и т е». И что за человек! Не скажет, а вобьет, как гвозди. Потом-то, я продумал, долго после: «м о ж е т е хоть б р о с и т ь, а в е з и т е». Он знал: увез бы, не мог бы бросить. Т е п е р ь... узнал и я. Но поздно: не увез.

Снетки оставил где-то на вокзале. Забыл, представьте! Ну да, у телеграфного оконца, в Рыбинске. Дал телеграмму:

И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней!..

И не подписался. Смеялся паренек-телеграфист!

— Очень, говорит, шикарно вышло! Вы не Миша Кудрявый, в ярославских «ведомостях» стишки пускает?

В Питер, оттуда в Христианию махнул, читал доклад в Гидротехническом союзе. Продал патент, турбинный. Норвежка подвернулась, «Гедда Габлер». С ней — в Биарриц... А Белозерск — как марево, в туманах. Оттуда — в Монте-Карло. У Гедды Габлер капиталец был, с селедок. В рулетке покрутили. Я просадил остатки, она — свои. И разошлись друзьями. А на дворе и май, четырнадцатый годик. В Германию, по целлюлозе. Там я продал досуги Монте-Карло, турбогенератор мой. Схватили за полсотню тысяч. Стал в целлюлозе разбираться, — хлоп, война! Не выпустили, всю войну — как пломба.

И наковеркал я проектов!.. А от «снетков» — ни звука. Гордые они, ни слова.

Ну, к главному подходим.

— Эй, анкор вина!

Смеется, глупенький. Смеяться надо не над этим.

В Россию не поехал пенки есть. Здесь продавал патенты. Тр-ри дер-ржавы спор-рили за честь иметь мои... электроразредители! Но это — впереди, прочтете скоро. А главное — сейчас. Мы с вами старые друзья, сидели в политехникуме рядом и оба от одной плоть-крови. И поймем себя.

Месяц тому был в Монте-Карло. Играл, и просадил 5000. Осталось у меня — «на конку». Пошел проветриться, концерт послушать. Пела «экзотика», из Вальпараисо, знаменитость. А я неравнодушен к сим вещам. По-итальянски, по-испански пела. Ну, фурор! Корзинами цветы, американцы, англичане, бразильянцы... — цветы международья. Но, странно... слушаю... и — Белозерск! Вдруг хлынуло в меня «воспоминанье»... — и заныло. Смотрю я на певицу, тру глаза... — невероятно, а похожа! Читаю: «Лина-ди-Келетти»! Японец-обезьяна рядом, прошу бинокль. Те самые глаза! Роскошная фигура, плечи — мрамор, волосы кудрями, до плеча, «а ля гарсон», — но по-иному — нежно золотятся. Но глаза!.. Те самые, — из моря. И голос — тот, грудной, из глубины, захватывает страстью. И жжет, и обвивает лаской. И песни... что за песни! Жар и льды. И тут я понял, отчего все млеют, неистовствуют до истомы. Безмерность, беспредельность, глубина! Весь мир открылся — и охвачен ею!.. Все — берет!..

Японец вырвал у меня бинокль... дрожит, как хвостик. Непонятный голос... Смеется, обещает и ведет, и бьется... «Звезда из... Вальпараисо». Лина-ди-Келетти... и... Паша Разгуляева! Но... быть не может! Иду, как оглушенный, даю полсотни шустрому мерзавцу, добиваюсь. Антрепренер, как бочка, как министр.

— Вам что угодно?

— Лине-ди-Келетти... вот, карточка. Прошу сейчас же...

— Нельзя, последний выход...

— Требую сейчас же!

Крикнул грозно. Я с ними знаю... Пошел аллюром, а я... в ногах как угли. Ну, извинюсь... ну, совпадение такое... Умею по-испански. Вдруг — «просят»!

На бархатном лонгшезе, полулежит... Какой-то краснолицый вышел, оглядел быком. Я тоже оглядел... быком, не помню?

— Мосье?..

И смотрит просто. Вижу — Паша, из Белозерска Паша! Но — какая! Царица, королева. Онемел.

— А, здравствуйте. Читала про ваши подвиги. Ах, выходить мне... Здравствуйте и... до свиданья. Ах, да... зайдите к нам. Ну, хоть... завтра? к завтраку. А вот и муж мой...

Входит краснолицый. Знакомимся. Американец, какой-то Смит-Вессон, бульдожья морда. Что-то промычал. Пошла. Пошел и я. Ну, как... Онегин и Татьяна. Хуже!.. Келетти, международная певица. Паша... международной стала! Мир-то, тот, в глазах!..

Ночь я не спал. Ходил по набережной Ниццы. Подходил к отелю. Белозерск, снетки, тот вечер, звезды... Запах тот так остро ощутил! И звезды, — только по-другому светят, и другие. И даже звон похожий: вместо кузнечиков — цикады, трясли гремушками и свиристели. А вместо белых вод — синело черное мировое море. И даже... кошки где-то раздирались, — совсем как белозерские, не отличить.

И я, бродяга, плакал. В первый раз.

Утром побрился, вымылся. Поехал в Монте-Карло, заложил часы. Ну, время замотать, до завтрака. Зашел в рулетку. Слышу — поверите ли?!

— 19!

Да, девят-надцать! Эту цифру помнил. Подумал... не подумал, а рванул из глыби: «36?» И бросил сотню. Смотрю на потолок, на завитушку... — будет?!. Крутился долго... щелкнул!..

— 36!

Как надо. Белозерск смеялся. Я выбрал — 19. Ударов тридцать — мимо. Все по сотне. 36?.. Поставил.

— 19!

Нет, 36! Три раза ставил — мимо. Подумал: «Па-ша!» Выпало — зеро. Белозерск смеялся! За пять минут до полдня, уходя, поставил... 19+12=31! Гляжу на завитушку: «дайся!» Крутился бесконечно, щелкнул с треском:

— 31!

Ее года!

Как пьяный, повернулся уходить...

— Мосье!..

Крупье глядел с улыбкой ангела из бездны. Сгреб я деньги, бросил 500 — кутите! Летел и знал, что — будет! Что? Ну, что... мое уж дело — что!..

Ровно в половине первого меня ввели. Апартаменты... — бывало, останавливался шах персидский. Так и называют — «персидские». О н а — в лонгшезе, г о л у б о е платье. Мистер Смит-Вессон, как носорог, но добрый. Тиснул руку. Она приветлива — и н а ш а, вся. Мистер Носорог счел долгом удалиться.

Поговорили. О т о м — ни слова. Я узнал: была в консерватории, открылся голос. «Случайно» вышла замуж, за певца. Отец сердился. Потом... отца, за помощь белым в Ярославле, расстреляли. Не потерпел ушкуйник! Я перекрестился. О н а взглянула странно, горячо.

— Я его любил...

— Любили?..

Взгляд, далекий, «думка»...

Потом — этапы. Муж умер от сыпного тифа, на Дону. Затем — опять, этапы. Италия... Там с т а в и л и ей голос. Беглый взгляд, и — «думка»... Концерты и успехи. Американское турне, победы... мистер Смит-Вессон, по хлебу, — как радовался бы ушкуйник! — по хлебу, но джентльмен, спортсмен, владелец лошадей и банка, в сотне миллионов. Замужество. Весь мир стал — с в о й.

— И знаете... — сказала она мне, — он, право, кажется гораздо меньше, чем от Белозерска до Череповца! Бывало, — едешь, едешь...

Международной стала, — Лина-ди-Келетти, мистрисс Орчар и — Паша Разгуляева!

— А правда... в Белозерске, л у ч ш е было? — спросила с хитрою улыбкой, но я узнал глаза, те самые, что спрашивали в утро расставанья: «что же?..»

И я ответил, опустив глаза:

— Конечно, лучше.

Поняла она. Но мистера Орчара своего как будто любит. Он просит бросить сцену, она не хочет. Мир?.. Так пусть же будет!

Мы завтракали. Смит-Вессон сиял. Мы дружески поговорили. Он предложил мне «делать дело». За кофе Лина-Паша говорит:

— А помните... т у телеграмму?

— Помню.

И стала под сурдинку напевать:

И твое воспоминанье
Заменит душе моей...

И взглянула!..

— Что это... — спросил американец, — так приятно?

— Очень... — сказала Лина-Паша, — жаль, нет нот. Но... — и она взглянула... да, таким далеким взглядом, «белозерским», что у меня пропало сердце, — мы споем... потом?

— О, Боже мой, конечно!... — задохнулся я.

— Трио... Мой Билли поет немножко, басом...

— Да, немножко... — с улыбкой подтвердил американец.

И все. Простилась ласково и просто.

— Через час... мы едем в Вальпараисо. Будете за океаном — заходите. Ведь вы любитель... расстояний? И правда, мир, ведь, очень невелик...

Да, «будете за океаном...» Вот и все. Через час уехала, в train-bleu понятно... в Вальпараисо. А я — в рулетку. Мне повезло, увез с собою тысяч двадцать. Спустил на Boulevard Haussmann. Теперь, недели через две, пожалуй... в Вальпараисо, «делать дело». Мир, ведь, очень мал... не больше, чем от Череповца до Белозерска. Бывало, едешь-едешь...

— Эй, гарсон! Вы спите?!. Возьмете мне билет... на Вальпараисо!..

Спит...

Март, 1926 г.
Париж

ОРЕЛ

Об этом говорили во всех судовых командах Лондонской гавани, по всем кабакам и всяким другим местечкам, где гуляют спущенные на берег матросы. И ныне всякий моряк, от Христиании до Мельбурна, расскажет на все лады, как русский матрос Джон Бе... — прозвище его черт упомнит! — и, понятное дело, bolchevik — здорово распотешил всех.

Историйка любопытная, и о ней стоит рассказать как следует.

Случилось это в 192... году. В Лондон пришел пароход «Россия» — табак и шерсть. Пароход шел из Константинополя, с командой довольно пестрой, и был как будто уже не русский, ибо Россия в то время устранилась, называясь мутно «РСФСР», — без гласных, как бред немого. На «России» имелся форменный русский флаг, — бело-сине-красная полоса, — но его, как будто, и не было. По крайней мере, как заявлял у судьи русский матрос Бебешин, 30 лет, — занесено в протокол лондонской морской стражи, — «ни одна собака, как говорится... ни одно судно не отсалютовало флагу, будто его и не было. И это меня очень огорчило!»

В разношерстной команде парохода большинство было русское, но настоящим матросом оказался только Иван Бебешин, названный в протоколе большевиком, что было отчасти верно.

Иван Бебешин, как он на суде признался, служил на том самом крейсере «Аврора», который в октябрьскую революцию бил по самому Зимнему дворцу. Он вошел победителем во Дворец, пил царское вино, плевал в зеркала, обдирал кресла и портьеры и всячески отводил душу. Был в красной армии и дрался на белом фронте. Потом —

«Что-то не по себе стало. Объявили, что теперь Россия рабоче-крестьянской стала и советской, а русской власти и не

видать, и никакого равенства, и против Бога. И даже не Россия, а какая-то «РСФСР». Сукины дети, обманули. И это меня очень огорчило!» — рассказывал на суде Иван.

Под горячую руку он «ликвидировал» ихнего комиссара, — «пхнул ему, черту, в глотку собственный мой партейный билет — лопай!» Его повели расстреливать, но матросы выпустили дорогой, и он перебрался к белым. Служить не пошел: грудь у него была «в самой что ни есть татувировке, а по середке вытравлено — «ком. до гроба», — не ототрешь».

«И стал я с Крыму как бы ни то, ни се, ни на том, ни на этом свете, ни коммунист, ни русский. А попадись на глаза — капут!»

Прогуляв все победное, что было, он нанялся в матросы на торговый пароход «Россия», ходивший от Константинополя до Крыма, — возил баранов. Эвакуация Крыма захватила его в Константинополе.

«И тут пароход наш стал, — рассказывал на суде Бебешин, — как бы ни то, ни се. И «Россия», а флага не принимают! И решил я с «России» не списываться покуда, а настанет опять Россия — ворочусь под своим флагом гордо, и будет все по-хорошему».

И стала для Ивана Бебешина «Россия» последнею пядью родины.

«При флаге я строго состоял! — говорил на суде Иван, — и за нашим Орлом следил. На груди «России» раскинут Орел наш гордый! Золотым лаком подновлял, когда затусклится».

Проплавал Иван Бебешин по Средиземному морю с полгода, а дела все не веселели. Жалованьишко затягивали, плавали без ремонта, без отдыха, без причала. За фрахт получали, что положат: поди судись, консула-то не сыщешь, без государства-то! Накопилось на «России» долгу за то, за се. Пароходного общества, а хозяев ищи по свету.

«И стал наш пароход вроде как «Летучий Голландец», как привидение! — показывал на суде Бебешин. — Больше мы по ночам ходили и без огней. Куда ни приди — грозятся, наложим печать за долг! Жалованье требует команда, а капитан съедет и пропадет. Три капитана у нас сбежало. Сами себе капитана нанимали на рейс-другой и жили помаленьку. Контрабандой, понятно, пробавлялись. Правда, и народ-то неподходящий, из бегунов. Учитель один был, поп забеглый, инженер электрический, акробат из цирка, двое офицеров. Природный-то я один. И вот, заявился грек. Добыл где-то форменные

бумаги, все подписи, — стал хозяин. Пусть хоть и грек, а русский, — одесский паспорт. Только бы плавала «Россия». И икона Николая Угодника на пароходе, самая наша, русская. Как праздник — поп нам и отработает, всенощную, бывало, жарит, — ну, маленько повеселей будто».

Время шло, а Россия не объявлялась, а все — буквы: «РСФСР». И затосковал Бебешин. И вот, когда принялся пить мертвую, пошли слухи, что «Россию»-то грек продал.

«Ладно, другой кто будет, а «Россия» останется, по бумагам — правильная, крещеная, «Россия»!»

И вот, стали подходить к Лондону.

Накануне Иван Бебешин запасся во французском порте парой-другой бутылок, — французский коньяк отменный! — и отвел душу с русским солдатиком, застрявшим после войны во Франции, и вернулся на борт «России» в самом хорошем настроении, «пел песни». Рассказывали, что перед английским судьей пробовал он показать, какие у нас замечательные песни, — он и на суде был в хорошем настроении, с коньяку, — и затянул было — «Вниз по матушке по Волге», — но судья приказал молчать.

На заре пришли в Лондон. Тут наступают противоречия.

Иван Бебешин божился, что он самолично поднял самый природный российский флаг, бело-сине-красный, «но ни одна собака не приняла!» А хозяин грек заверял, что пароход уже часа три стоял на рейде, а Иван спал, как тыква, в машинном отделении за котлом.

«Это он во сне, может быть, свой флаг видел! — говорил грек. — Он первый большевик и только хотел скандала, а вовсе тут не обида. Вылез из угля чертом и сделал такой скандал!»

По Ивану же Бебешину было: верно, он спал в машине, на самом углю, но как раз к сроку выбежал.

«В душу меня толкнуло: к Лондону ведь подходим, к самому морскому сердцу! И поднял флаг, соблюдая все правила, по закону. Не мог я не поднять перед Лондоном! — ударял себя в грудь Бебешин. — Ежели англичане примут — на всех плевать! Весь рейд этого дожидался, не мог проспать! И ни одна собака... виноват!.. не ответила на салют! И это меня страшно огорчило».

И тогда... «выскочил он, как черт страшный, из машины, — заявлял грек, — и порвал на себе фуфайку и стал царапать когтями грудь, как зверь, где у него непристойная картинка-татуировка, и набросился на меня, как лев!»

Иван Бебешин через переводчика объяснял так:

«Я стал гулять по палубе в горьком чувстве, как по своей земле. Топну и говорю — Россия! Топну опять — Россия! Черт с вами, каплюжники, не салютуйте, а вот есть Россия! А обида меня горячит, как яд. И подхожу к борту, где шлюпка. Гляжу — нет «России»! На спасательном кругу имя ее замарано и написано черт знает что!»

«Написано не «черт знает что», — перебил судья строго, — а написано по-английски «Иорк»!» — перевел Ивану переводчик.

«Это все равно, Ер... — сказал Бебешин, — мы на это неграмотны. Прочитал я чудное слово, и это меня ужасно огорчило! Почему наше замазано! Иду тихо грека отыскивать, а на носу он был. Гляжу... ма-жут! Висят на носу два сукина сына, с долотами и молотками, и долбят в буковки. Сбивают! «Россию» сбивают, алебастр в воду шлепают. Загнулся я за борт, гляжу... опять на дощечке еще двое, над нашим Орлом стараются, нашего Орла сшибают! Крыло уж ему отшибли, к головке подбираются. Рраз!.. — готово, нет головы! Как такое?!. Я их через борт... спрашиваю вполне вежливо... А с кораблей смеются, — вот вы что, господин судья, рассмотрите!..»

«Нет, — заявил грек, — он их ударил «концом» и сшиб одного в воду, а другому поломал ухо и по глазу, и того сшиб!»

«Может быть и так... — с сомнением заявил Бебешин. — Я был в ужасном волнении и хорошо не упомню. Плавали, будто... маленько искупались... Тогда я подхожу к самому этому человеку-греку и говорю осторожно: «позвольте вас спросить, по какому такому основанию вы сбиваете «Россию» и нашего Орла?» А он — грек — заскалился и крикнул вполне насмешливо: «вы давно сами все посбивали, а корабль продан с торгов и купил его какой-то... мистер Скотт!» И вдруг подходит ко мне этот человек мистер... Скотт, вот они самые, я их по солидности запомнил очень хорошо. И они меня под это место, под зубы. Тут и произошло... недоразумение».

«Вы сами набросились на почтенного мистера Скотта и нанесли ему сильный удар в шею!» — сказал судья.

«Только и всего. Я дал им по шее... а они рассерчали и ушли. А этого человека-грека, действительно, я зацепил легонько...» — сказал Иван.

«Он меня ударял пять раз, и шесть раз, и даже семь! — показывал грек, куда ударял Иван. — И даже под самый живот ногой, но я отпрыгивал. И хотел вишвирнуть меня за борт».

«Он был, как черт из ада! — заявил мистер Скотт, — но все-таки я его прощаю».

«Он вас прощает», — перевел переводчик.

«Плевать на его прощение! — выругался Иван и плюнул. — А я ему не прощаю. Зачем краденый пароход купил, «Россию» нашу? Хозяева незнамо где. Разве без хозяев так можно?»

«Вы дурака валяете! — покачал переводчик головой. — Я же вам помогаю випутаться, а вы...»

«Наплевать, не желаю, — сказал Бебешин, — это не суд, а комедия!»

«Что вас заставило оскорбить этих двух джентльменов?» — спросил судья.

Иван Бебешин набрал глубоко воздуху, вытянулся, как на параде, и сказал четко:

«Господин судья! Если бы вашу Англию продали, вы бы тоже не утерпели. Я был большевик и утек от них. Я русский матрос, Смоленской губернии, Дорогобужского уезду, природный. Плавал на «России», и последнюю ее продали. Это меня очень огорчило. Замазали ей имя и разбили ее Орла. И тут я прочнулся, и пошла потеха. Можете штрафовать и арестовать, но... — тут Бебешин поднял руку и погрозил, — я свое отсижу, ворочусь в Россию, и тут буду знать, как что. И... — постучал он по барьеру ногтем, — придет время, увидите... завьется наш русский флаг, и Орел наш взовьется из-под земли на волю! И уж будет тогда салют!! А будет... другой разговор будет!»

«Он говорит, что сожалеет, и просит у джентльменов прощения»... — перевел многословно переводчик.

«Я русский матрос, и защищал русскую нашу честь!» — задохнувшись, сказал Иван, и лицо его стало черным.

«Вашу честь вы должны бы защищать раньше! — сказал судья, — т а м, у себя, а не безобразничать на территории Его Величества, Английского Короля».

«Это верно, господин судья, что раньше бы надо было... — через зубы сказал Иван. — Но только я на своей территории, на нашем корабле... на «России»!»

«Если даже по в а ш е м у международному праву рассуждать, — усмехнулся судья язвительно, — то корабль «Россия» был уже продан и стал «Иорком», и его территория... была уже территорией Его Величества, Английского Короля!»

«Английского Короля?!. — выговорил с удивлением Иван Бебешин, и по лицу его пробежало, как усмешкой. — Значит, виноват, ошибка вышла...» — и он закусил губы.

Больше он не сказал ни слова.

Приговор был не строгий: 10 фунтов, 7 дней тюрьмы и — в 24 часа покинуть пределы Англии.

Иван Бебешин не имел ни гроша и стал несостоятельным должником Английского Короля. Он отсидел свое — и в 24 часа оставил пределы Англии, на норвежской барке. Его провожала толпа матросов всякого роду-племени, провожала задушевно. Отъезжавший стоял с бутылкой и держал речь, которую, конечно, никто не понял, но все внимательно слушали и горячо одобряли. Заключительные слова его речи были:

«У каждого свой флаг и свой природный знак. И каждый должен дать в морду, ежели посмеют сшибать! У нас — Орел, царь птиц, у кого лев и кит!.. И он завьется! Не может того не быть! И вы все будете салютовать, друзья, как я вам, гордо! А кто не захочет — будет разговор! Ол райт!!.»

И он погрозил бутылкой.

Все кричали — гип-гип! ура!!

Август, 1926 г.
Ланды

ХРИСТОВА ВСЕНОЩНАЯ

Я прочел в газетах:

«В Общежитии русских мальчиков (Шавиль, рю Мюльсо) квартет Н.Н.Кедрова будет петь всенощную, 29 января, в субботу, 7 ч. вечера».

Я люблю всенощную: она завершает день и утишает страсти. Придешь в церковь, станешь в полутемный уголок, — и тихие песнопения, в которых и грусть, и примирение, и усталь от дня сего, начинают баюкать душу. И чувствуешь, что за этой неспокойной, мелкой и подчас горькой жизнью творится иная, светлая, — Божья жизнь.

Господь на небеси уготова Престол Свой,
И Царство Его всеми обладает!

И я поехал.

Был черный-черный осенний вечер, с дождем; осеннее здесь всю зиму. Поезд шел из Севра, по высоте. В черных долинах, в редких и смутных огоньках невидных поселений, бежали золотые ниточки поездов и гасли. Я глядел в черное окошко. Какая тьма! Где-то тут, в черноте, Шавиль и рю Мюльсо: там наши подростки-мальчики получили недавно надзор и кров, — бедная юная Россия.

Я глядел в глубокие черные долины, на тихие огоньки в дожде. Чужое, темное... — и где-то тут будет всенощная, и чудесный русский квартет будет петь русским детям. Он сейчас едет где-то, подвигается в черноте к Шавилю.

Я вспоминаю этих скромных сердечных русских людей. Недавно они пели в Лондоне, Берлине, в Мадриде, в Женеве, в Париже, в Брюсселе, — по всей Европе. Поедут в Америку, в Австралию. Пели королям и лордам, великим мира сего, во дворцах и роскошных залах, в салонах миллиардеров, в соборах и под небом, десяткам и сотням тысяч, толпе и избран-

ным, — очаровывали русской песней и молитвой, певучей душой русской. А сейчас отыскивают во мраке бедный русский приют, чтобы пропеть всенощную детям.

Тебе, Господи, воспою!

Вот и Шавиль. За станцией — темнота и грязь. Русское захолустье вспомнилось. Гнилые заборчики по скату, ноги скользят и вязнут. Где же тут... рю Мюльсо?

Кто-то тяжело шлепает за мною. Газовый рожок чуть светит. Я смутно вижу хромающего человека с сумкой. Одет он плохо. Должно быть, старик рабочий.

— Рю Мюльсо... — перебирает он в памяти. — Не слыхал я что-то... Мюльсо?.. Приют... убежище? Не слыхал.

Показывает дорогу в город: там укажут.

Он идет серединой улицы: так ровнее. Шлепает в темноте. Я пробираюсь тротуаром. Ямки, увязшие в грязи камни. Лучше по мостовой идти, как старик. Он оглядывается, тут ли я. Останавливается, поджидает: боится, что я собьюсь. Я благодарю его: «не утруждайте себя, пожалуйста... я найду!» Он, наконец, уходит.

Иду и думаю: «Милый какой старик! с работы идет, устал, и старается, чтобы я нашел рю Мюльсо! Ну, что я ему?!»

Улица посветлее. Перекресток. Стоит на грязи старик, ждет меня. Действительно, рабочий: в копоти руки, инструменты торчат из сумки. Нарочно остановился, чтобы показать дорогу. Он уже справился, где Мюльсо.

— А, вспомнил! Под виадук, и потом направо.

Есть еще в людях ласковость. Что ему я, попавшийся ему в темноте?! Правда, он старый, п р о ш л ы й. Я хотел бы взять его руку в копоти и многое рассказать ему. И он бы понял. Я сказал бы ему, что на рю Мюльсо живут русские дети, подростки-мальчики, которые много претерпели в жизни; что у нас много-много таких, бездомных... что добро еще не ушло из жизни; что вот и он — добрый, душевный человек, и хорошо бы нам как-нибудь еще встретиться и поговорить по душе; что на этой рю Мюльсо сейчас будут петь всенощную, такую ночную службу, чудеснейшие молитвы прошлого; что сейчас едут сюда удивительные певцы, которых он никогда не слышал и не услышит... восхищение всех в Европе, душевные русские люди, и едут сюда они, в темный его Шавиль, чтобы петь всенощную детям. И старик все бы понял. Многое и без слов бы понял. А, русские?.. Кое-что слыхал. Старый человек, душевный, п р о ш л ы й.

Вот и Мюльсо, и дом. Очертания его в темноте широки. Многие окна светятся, в этажах. Жмется у ворот кучка.

— Здесь, должно быть?.. Самое это, оно! Говорят, Кедровы будут петь...

— Да они же в Шатлэ сегодня, у них концерт...

— Это ничего не значит. Раз объявлено, что... Приедут.

Входим. На крыльце мальчики-подростки. В пиджачках, в воротничках, галстучках, — Европа. А лица наши.

В комнатах тесновато. Восьмой час. О. Георгий уже приехал из Парижа. Квартета еще нет. Понятно: сегодня дневной концерт у них, известный «концерт Колонна», в Шатлэ.

— Прямо с концерта обещали.

Половина восьмого. В комнатах тесновато, жмутся. Пришли из Шавиля и с окраин. Подъехали из Версаля, из Парижа.

А вот, где будет всенощная.

Комната в три окна. У задней стены помостик. Вверху, под русскими лентами, — «Господи, спаси Россию», — золотые слова по голубому полю. Давняя, темная икона Николая Чудотворца, — за триста лет. Теплится зеленоватая лампада, ночная, грустная. Вот она, русская походная молельня, храм бедных, — во французском доме, при дороге.

Стяжал еси смирением высокая,
Нищетою — богатая!

За черными, словно сажей замазанными окнами, сверкают в грохоте поезда — Париж—Версаль. Вздрагивает огонек в лампаде, единственный здесь живой. Темный Никола меркнет, яснеет, меркнет.

Мальчики строятся рядами. А — квартет?

Здесь. Прямо из Шатлэ, с концерта.

Вдумчивый басок слышится. Широкая, плотная фигура: Н.Н. Кедров, сам головщик, глава. С ним — его: К.Н. Кедров, И.К. Денисов, Т.Ф. Казаков. Четверо, все: квартет. С дороги, из темноты, с дождя. Все — как надо, с парадного квартета, из Парижа: белоснежные воротнички и груди, черный парадный блеск. Лица... Ну, наши лица.

Смотрит на них Никола. Золотится из-под русской ленты —

Господи, спаси Россию!

Плечо к плечу. Четверо. Квартет. Встали. Листуют ноты.

Смотрю на них. Приехали, славные наши, молодцы. Из многотысячного зала, с блеска, — в бедную эту комнату, к

образу Николы, к России. Прямо — Париж, Шавиль, всенощная. Чудесно. Я знаю, что они любят тихое, святое, н а ш е. Знаю, что ими восхищается Европа. Чудо песен несут они, поют Россию.

Господи, спаси Россию!

Только что блистающий Париж их слушал. И вот — Шавиль, тихая лампада, тесная комната, мальчики.

Бла-го-сло-ви ду-ше моя.
Го-о-о-о... спо-ди...

Всенощная идет.

Свете тихий
Святыя Сла-а-а-вы,
Бессме-ртного...

Всенощная идет, идет. Стою в уголку, зажмурясь. Идет всенощная. Россия, в Москве, в соборе... в Новгороде... Киев... Владимир... Суздаль...

Шестопсалмие. Читает К.Н. Кедров. Как читает!..

Обновится, яко орля,
Юность твоя...

Всенощная идет. Далекая Москва, далекое...

Открываю глаза. Какая простота, какая скудность! Грустная лампада, мальчики у черных окон. В каждом, у каждого из нас в недавнем — сколько! Дороги, одни дороги, — бездорожье. И все в дороге. Бездомные. И дети... Пока Мюльсо. А дальше?..

Хвалите Имя Господне,
Хвалите, раби Го-спода...

Тихий хорал квартета. Всенощная идет, возносит сердце.

Хвалите! Бедные русские дети, хвалите непрестанно. С вами — Господь. И бедная Россия — с вами — русские цвета на ленте. И Никола — с вами. В дороге, всегда в дороге. Ведет. И — доведет.

Яко благ...
Яко в век ми-и-лость Его!

Всенощная идет...

От Иоанна... Святаго Евангелия... Чтение.

16*

И каждое слово — Свет. Не знамение ли это — дивное это Слово Иоанна, на новый день? на сей день?! Да, это, истинно, знамение, Евангелие на сей день, глава 21, от Иоанна. Это — Христос пришел.

Дети, еда что снедно имате? Отвечаша ему: ци.
Он же рече им: вверзите прежу одесную страну
корабля...
Глагола ученик той, его же любляше Иисус, Петрови:
Господь есть!

И они узнали Его: «Господь есть!»

Сердце томится, ширится. Что со мною? Вижу тихо стоящих мальчиков, склоненные их головы, черные окошки, за ними бездорожье. Комната чужого дома, лампада светит.

«Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь».

Он сошел в песнопениях и зовах. И это Его восторженно славит возглас:

Слава Тебе, показавшему нам Свет!

И это Ему, близкому, поют тихо, ночными голосами:

Хва-лим Тя, благосло-вим Тя...
Кла-няемся Ти, славословим Тя, благодари-им Тя...

Это уже не пение: это сладкий, благоговейный шепот, молитвенная беседа с Господом. Он — здесь, в этой комнате при дороге, — Храме: песнопение претворилось в Слово, в Бога Слово.

Это почувствовали они, чуткие песнопевцы наши. И пели — самому Христу, явившемуся здесь детям, при дороге, в чужом Шавиле.

И детям говорил Он, как когда-то, давно-давно говорил Он иным д е т я м, при море Тивериадском.

Говорил обездоленным русским детям, в комнатке неведомого дома, при дороге:

Дети! еда что снедно имате?

И то, что почувствовали певцы, что почувствовал я и иные, здесь бывшие, это громко сказал, с Животворящим Крестом в руке, с радостию и верой, о. Георгий.

«Разве не почувствовали мы все, слыша это святое пение, этот дар, принесенный детям, что воистину сам Христос был

с нами? Дети... пришел О н к вам. К кому же и прийти Ему — здесь?»...»

Да. К кому же и прийти Ему — здесь?!.

Сияла лампада. Блистала лента:

Господи, спаси Россию!

И четверо — клир церковный, — новыми голосами пели:

Взбранной Воеводе
Победительная!..

Я был у Христовой Всенощной. Было чудо, ибо коснулся души Господь. Явился в звуках молитв чудесных, животворящих душу.

И передашь ли — чего передать нельзя? Это — в сердце: горение и трепет.

17/30 января 1927 г.
Севр

ГУННЫ

Стояли первые дни апреля, светлые, мягкие и тихие-тихие — до грусти. В эту пору, за отшумевшими бурями, наступает в Крыму весна, задумчиво-белая весна расцвета, за неспокойной, миндально-розовой: тихое голубое море и голубое небо; тихая белая земля. Давно начавшие петь дрозды разливаются теперь полной трелью, целые дни поют; поют, при луне, и ночью — в перламутрово-дымном море мерцающего цвета яблонь.

В эту весну было до жути тихо. Пела-цвела она, но люди ее не замечали. Ползли и давили слухи: красные заливают Крым! Белые отступили к Ак-Манаю!.. По переставшим пылить дорогам торопились прохожие, пугали:

— Идут!.. сила несосветимая!..

— Идут!.. На конях, и так... страшенная сила их...

— Да куда же им итить-то дальше?.. До самого дошли до моря, все покорили, пора бы уж успокоиться!..

— Говорят — пойдем дальше, на кораблях! Идут ходко.

— Встретился один, во всем оружии... Говорю — я бедный человек, не обижайте. Ну, он говорит — я вас обижать не буду, а идем свет покорять, и вы радуйтесь такому происшествию! Дан приказ, и теперь сразу отыграемся!.. Покурить дал. Табак у него первый сорт, полна сумка. Говорит — теперь нам глаза открыли! Антанта хотела Россию втихомол покорить, обманом! Мы ей помогали, а у ней план — немцы нас захватили, а она уж за ними, налегке! Немцев мы выгнали, черед за ней. И такое у нас могущество... до всех доберемся! Буржуи продать хотели, а народ сам и взялся! И все с нами — из Питера с заводов, и матросы, и вятские, и сибирские... — вся Россия!..

— Во когда поднялись-то!..

— Все, говорит, народы расшевелим!

— Раз такое дело заварили, надо шевелить.

Зашел вечерком Кожух, сосед. Боится, как бы не отобрали вина три бочки, которым он начал торговать.

— Идет несметная сила, вино беспременно отберут. Весь, будто, Крым на пропой отдан, по ихнему приказу! Катом катятся по горам, завтра уж у нас будут. Говорил сейчас один человек: двадцать миллионов подняли, свет покорять! Покорить не покорят, а нас разорят. А народ соблазнялся... Говорят — даром, что ли, такое накрутили! надо уж покорять!.. Прибег вчера Николай-маляр, сам слышал, в Симферополе матрос кричал: надо покорять, а то обидно!.. у Европы победа, а мы — при чем?!. Все теперь затрещит, и все золото заберем, сразу поправимся! Записываются к ним много... из нужды, понятно! И позвольте вам дать совет: не выпущайте кур! Я своих в колодец спустил, покуда прояснится, а то навалятся — заберут!..

Кожух и корову куда-то сплавил, но за вино боится.

— Бочки, куда схоронишь?! Да Бог с ним, и с вином-то, если и всамделе прогремим... все воротим! На дело бы пошло... А то, прямо, обида, до чего довертели!..

Зашел растревоженный учитель.

— Слышали, всему свету объявим вызов?! Ловко они играют! У народа, как бы он там ни пал, есть своя честь и гордость. Говорят: «Все нас продали, а мы всех потрясем и отыграемся! думают, что Россия сгибла, а мы-то и покажем... всех запалим — и больше ничего!» Какой-то пафос!..

Всю ночь на горке у Кожуха возились, скатывали бочки в балку. И сладко и грустно пели дрозды при месяце. Отсвет лежал на море, бежали-играли струйки... Не струйки ли это пели?..

Я смотрел на море, к невидному на востоке Ак-Манаю. Сердце мое летело... А в это время катились через горы.

— Не спите?.. — окликнул меня Кожух, кончивший с бочками. — Слышите... по горам гремят?..

Не слышно. Дрозды поют...

— Ну, как не слышите!.. Ясно слышно, телеги ихние громыхают!..

Как будто громыхают?..

— И что им тут-то? — спрашивает себя Кожух. — Разве вот отдохнуть маленько... Им теперь прямая дорога... на Румынию! А там — на Берлин и на Париж. Тимка по карте глядел — совсем уж близко! А там уж все подготовлено, у французов тоже революцию подняли, — была телеграмма на заборах. Вот бы

расколошматить-то, доказать! А вино я в балочку, под дубки скатил, хворостом завалил от греха...

Чудесное занималось утро! В первых лучах от Ак-Маная, стояли цветущие деревья — в розово-золотом сиянии. Наперебой сыпали дрозды. Такое утро, что надо бы молиться. Белого цвета за ночь вылилось еще больше, пошло к предгорьям.

— Пришли! — окликнул сосед-парнишка. — Всю ночь внизу речи говорили, по-гнали на Хведосию, за теми!.. Пехота по шоссе, двадцать тыщ! Сам видал, с песнями бегут, кричат, — «в последний бой пойдем и всех побьем!» Лохматые, как медведи, махонького росточку, — сибирские, говорят... И мордва с ними поднялась! Есть мальчишки, моих годов. А кавалерия берегом пошла, совсем необыкновенные...

— Идут!.. — заорал Кожух с горки и стал закрывать ставни.

Я надел трепаную куртку и вышел на бугорочек. Но за холмами, книзу, не было еще ничего видно.

— Ко-нные к нам идут!.. — опять закричал Кожух и покатился с горки. — Под нижним уж виноградником!.. Так горят на солнце!.. Теперь лучше от дому подальше быть!.. На Ялты они, что ли!.. Не шибко много, а сотни четыре есть. На шасу бы им, чем по балкам коней ломать... А ну-ка, с обыском?!

— Вон, вон они!..

Снизу, из-за бугра, показался отряд верхами. Человек сорок было.

— А виделось... сотни три! — разочарованно прошептал Кожух. — Значит, главные силы на Хведосию пошли. А эти для порядку...

Надвигалось мохнато-пестрое. Гудело, сверкало, брякало. По два коня тянулись. Впереди ехал видный, в белой папахе с красным, и весь сиял. На его груди, накрест, сверкало полосами, — кавказские пояса, как я увидал после. Серебряные бляхи, в блюдце, сияли по синей его черкеске. Болталась сабля, пара наганов торчала в шелковом алом поясе, винтовка за спиною, суконная красная звезда на шапке. Малый был бесшабашно лих, светлоусый и чернобровый, с лукавым взглядом.

— Эй, старики!.. — махнул он на нас нагайкой, — не бойсь! подходи ближе... не обидим!..

Вороной конь под ним был необычайно рослый — кавалергардский, мотал головой и расшвыривал хлопья пены.

— Подойдемте?.. — шепнул Кожух, — с лица словно ничего... приятный...

Мы подошли к дороге. На нас смеялись.

— Буржуи какие выползли!.. Епутаты!..

Малый поскреб в затылке, выругался, что и тут все горы, и колыхнул нагайкой.

— Есть тут — вина набрать? Дворцы у вас тут имеются... богатые буржуи?..

Кожух, в куртке без рукава, как нищий, сказал уныло:

— Здесь, товарищи, одна голытьба осталась. В Ялтах уж душу отведете, там подвалы... по тыще бочек! А тут вы только коней порежете, балками. Вы бы на шасу лучше, пять минут всего ходу, кустиками, — и стегай! По дороге и подвалы попадутся...

— Попадутся? Ладно. Кто в том дому живет?.. — махнул малый на Кожухов дом. — Есть чего там найтить?..

— Другой год заколочено... — отмахнулся Кожух и сплюнул. — Мелкие буржуи жили... померли от холеры враз... четверо душ! Дом заразный... конечно, опростали и велели заколотить...

— Так им, чертям, и надо! — весело сказал малый и потянул из фляги.

Потянули другие из запаса.

— Хорошее вино делаете!.. — крякнул, икая, малый и сплюнул струйкой. — Сливами отрыгает...

— Наше вино знаменитое! — подтвердил Кожух, — только нам далеко до Ялтов! Там грунт способней. Обязательно спрашивайте там — аликанте розовое.

— Эй, запиши, как ее... аликан-тыя!..

— Аликанте! — поправил его Кожух. — А покрепче желаете — мускат-александрия, розовый мускат, столовые хорошие есть... рислинг в Ореанде знаменитый! Я знаю, бочки в подвалах мыл...

Вид у кавалеристов был необычайно дикий. Выпущенные на глаз хохлы, папахи и малахаи, немецкие бескозырки-арестантки, приплюснутые офицерки, дьяконовские, лисьи, с какими-то хвостами. Бесшабашно лихие лица — от чистых и безусых до черноскуластых, каторжных. Теплынь, но все почти были в полушубках, иные — наружу шерстью; какой-то — в тужурке с генерала. Яркие пояса и бляхи, пулеметные ленты накрест, сабли, баклаги, трубы, винтовки, кинжалы, револьверы, красные ленты в бантах, конские хвосты у седел, бараньи шкуры. У иных — подвязанные к седлу барашки... орда, и только. Один был с пикой.

— Закуривай! — скомандовал им, в папахе. — Не слазь с коня, наша дирехтива... в Ялты к котлу поспеть!..

Загоготали.

— На дневку туда идем, девок пощекотать маленько! — засмеялся малый чудесный зубами. — Беленькие там скопошились... А там — на Ак-Манай, в бой опять! — сказал он горделиво, потянул из штанов бумагу и оторвал. — Где я нахожусь с моим взводом? — затверженно, как обучающий вахмистр, вопросил он себя, возя по бумажке пальцем. — Трехверстка нам олентирует! Ета карта... должна, как глаз! береги ее наместо проводника!..

Кожух, вывернув голову индюшкой, следил за пальцем.

— И горы, и леса!.. — будто бы удивился он.

— Все вы тут! — ляпнул по карте малый. — Где «кудри» — тут горы и леса... и дигонали!.. Миш, иди пунх отметь... где имеем олентировку?!.

Выбрался круглощекий парень, с черными усиками в колечках, в дьяковской шапке, и с инженерным знаком. Рыжая его кобыла не стояла, вертела задом. Миш треснул ее между ушами.

— Начальник моего штаба! — похвастал малый. — С землемерами ходил по планам! Ну, покажь нам олентировку!..

Миш стащил к себе на седло карту и долго водил пальцем.

— Ета карта негодящая... — раздумчиво сказал он, накручивая на палец усик; сверкал бриллиант на пальце. — Отправная точка не соответствует в масштабе. Берем на глаз... Значит, мы на высоте... триста восемь километров на уровне ноля!.. — сказал он веско и поглядел на море. — Кусты... самое наше место! Числится, печать стерта... Алым-Бурым... и... Чирхи-Бахча!..

Вспотел. И облегченно высморкался.

— Здорово угадал?! — спросил Кожуха малый.

— Что-то тут такого у нас и нет... — покачал головой Кожух. — Значит, с дороги вы сбились! Карта ваша неправдоподобная... Сук-Балка есть, Сук-Бахча тоже имеется непременно... вон, за теми кустиками... а Чирхи нет. А Ялты у вас прописаны?..

— Эх ты, лешая голова! — крикнул на Мишу малый, сгреб за шапку и потрепал. — Где тут чего?.. Су-да-цкий край это! Пропечатано внизу. Не ту товарищ Будяга дал, черт его!.. А еще ескадронным сделали! А с собой нашу захватил... Ладно, и так не заплутаемся.

— Да тут без карты слепой дойдет! — Вон... — отмахнул Кожух, — за кустиками на шасу, и тут тебе белая дорога!

— Знаю! Это я так, для прахтики. Я по компасу любую дорогу разберу. Пустыня у вас, больше ничего! Ни дворов, ни подвалов, а еще Крымым называетесь... Не вмеете вы встречать героев! Нас в Александровке с пирогами встречали, с барышнями танцевали... Непросвещенный ваш край... татарва паршивая! Тоже, русские называются. А ты чего, отец... немой, что ли? — мотнул мне малый.

— Он сроду такой... — усмехнувшись, сказал Кожух. — Такого народу еще не видал, издивился! Винчишком бы, что ли, угостили?

— Разевай рот! — крикнул внезапно малый, выхватывая наган, и засмеялся. — Эх, какого бы ни то!.. — и хлопнул в небо. — А энто чего за дача? — показал он дымившимся наганом на торчавший из балки шпиль.

— Это не дача, а пустая херма... германцы стояли, разорили... — поперхнувшись, сказал Кожух, смазывая со лба капли. — Коров поели, стекла побили и ушли.

— А вы глядели?.. Заодно и вас, виноградников, пришить! Скушно у вас здесь... пропадаете в камнях, как змеи какие! По мягкому ступить негде... Ну, покурили — и айда! Никакого разговору от вас нет. Ну, спроси меня хочь одно слово про... славные победы! Не антересуетесь?

— Боимся мы, а... антересуемся... — умильно сказал Кожух. — Что ж, я спрошу... Ну, дозвольте спросить... теперь вы всех победители, а дальше чего будет?..

— Да-альше?.. — выглянул из-за чуба малый и посмотрел на море. — Теперь нам везде дорога! Немцев вытряхнули, кадетов... растрепали... теперь хочь через все море!..

— Да-да-да... — мягко сказал Кожух, — всю Россию завоевали, теперь уж...

— Сами Россия! А теперь с цельным светом расправляться будем... и установим рижим, как гу-мны!..

— Гу-мны?.. — вдумчиво повторил Кожух.

— Значит, завоевали!

— Всех теперь покорим!.. — крикнул очутившийся возле, с пикой, похожий на волчонка, со щучьей мордой.

— И англичан, и французов, и всю кровавую антанту, называется империализм! — сказал громогласно малый, тряся нагайкой. — Подошел теперь им черед! Перебудоражим и установим рижим!.. — выругался он к морю.

— Вот это на-до!.. — сказал Кожух. — А то, оставили нас на произвол... немцев! Всех бы их растрясти, чтобы...

— Ра-ди!.. — яростно взвизгнул, с пикой, в полушубке наружу шерстью. — Думали... вот, под советами заслабеют, тогда прибегнем ташшить! Всех положим... Одна Россия — Совет будет!..

— И установим рижим! — повторил крепко малый. — Энти все, дуроломы-черти!.. — махнул он к Ак-Манаю, общее наше дело гадают, не признают!.. И драться мастаки, и мозгловой апарат!.. — выругался он с сердцем.

— Ничего не мастаки... с английскими-то пушками! — сказал с пикой, а ближние сгрудились, молчали.

— Чего там... я природный кавалерист, понимаю дело! Я с ими с самого Дону дерусь, с чертями!..

— Ничего дерутся, — поддержали ближайшие. — Зацеписты, и опыт большой имеют. Ничего, хорошо дерутся!..

— Я к чему говорю? Заместо бы общей битвы, да вместе взяться... — да-к мы бы давно сквозь весь свет прошли бы! У нас, потому... отчаянность! Все обманули!..

— Самая бы пора, теперь все они устамши, пошли по домам добро делить, которое от немцев, и наше... а мы только-только теперь расходимся! — заговорили вдруг все с азартом. — Теперь уж нечего, нечего нам жалеть! На своих-то харчах и пустим! Голову под мышку, на... крышку — не проку-сишь!..

Загоготали.

— Эх, Суворова бы теперь... душу удержать!

— Сами Суворовы! — сказал коновод и тронул.

Забрякало, зазвенело. Пошли на шоссе кустами.

— Пронесло... — отдуваясь, сказал Кожух. — Вот, дураки-то!.. А все-таки... молодцы, глядеть приятно! Чего говорят-то, а? Значит, обида... на всех теперь злы стали! А как с окопов-то драли!.. А чего это он называл... гу-мны?..

— Гунны. Дикое племя, древнее.

Я объяснил ему. Он даже потер руки.

— А что, может такая история начаться! Духу у нас много, народу масса... Поправляться-то непременно надо. Сами уж начинают чувствовать... Эй, Степанка!.. — крикнул он игравшему в балочке младшему из пяти своих. — Сядь на бугорку тут и сиди — стереги безотлучно! Как от городу начнут какие подыматься, — греми в жестянку! Вон их валяется, камушков насыпь и греми тогда!..

Глухо, как вздох тяжелый, бухнуло в стороне невидимого Ак-Маная.

— Никак... стрельнуло?..

Подождало — и бухнуло.

— Антилерия?.. — насторожился Кожух. — К той стороне. А ведь это наши... добровольцы жарят?..

Бухнуло в третий раз — и замолчало до вечера.

Вечером, когда пели дрозды разливно, — опять, мерно и глухо бухало. И с моря, и за горами будто.

Я вышел на обрывчик и посмотрел к востоку. Далекий маяк уже не мигал. Мерно вздыхало — бухало в сладком от цвета воздухе, тихом, зеленовато-дымном. Была луна. Я долго слушал. Сердце мое сжимало. Общее было что-то — мерцало мне — в пенье ночных дроздов и в буханье лунной дали, смутное, как дрожавший воздух. Тоска?.. Метались звуки, словно искали что-то.

Небо сливало их.

Дня через два, поутру, окликнул меня Кожух.

— Был сейчас шасе с коровой... энтих видал, молодчиков! Из Ялтов, с песнями... пьяные, понятно. Кричат: «Прощай, старик! Идем в последний бой!» — Веселые, ничего. А я все гляжу и думаю: «И чему, дураки, радуетесь! на что идете?!» А те-то... головы замочили, а сами в Москве пируют! И империалисты, понятно, ради...

Я вспомнил «гуннов». С песнями шли на бой... За что?!.

А через две недели — все полегли на Ак-Манае, до одного. Рванулись бесшабашно — и полегли. Так, просто.

Март, 1927 г.
Севр

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЕД

I

Перед тем, как уехать из России, я захотел проститься с родной природой и поехал в именьице давних моих знакомых, недалеко от Москвы, в тихом лесном уезде. Оставались еще тихие местечки. Именьице это было как бы «идейное», созданное интеллигентом, решившим «осесть на землю»: повлиял на него Толстой. И, как ни странно, этот интеллигент оказался хозяином. Он изучил сыроварение, развел коров, толкнул мужиков на клевер, — и потекло богатство. Вишенская сыроварня поставляла московскому Бландову чудесные «верещагинские» сыры, а окрестные мужики, называвшие интеллигента — Сырной Барин, — поняли, наконец, что такое значит — «как сыр в масле»: за десять лет прибавили скотины и окрепли, а Сырной Барин стал уже изучать проспекты паровых маслобоек и грузовых автомобилей. Словом, «Вишенки» процветали. Хозяин писал мне как-то: «Пошлите его к черту, бумажный социализм! Спасение — в личной инициативе. Это неоспоримо!»

Но «бумажный социализм» накрыл, и Сырной Барин, с капиталом «за сотню тыщ», когда-то поклонник Лаврова и Михайловского, неожиданно превратился в конторщика при совхозе «Победа» и значился за каким-то таинственным учреждением, похожим на «мосселькуст», — что-то чухонское. Конторщиком его оставили по протекции: знали его сыры и некоторые товарищи из «вцика», и оставили при «Победе». Но толку из этого не вышло. Конторщик сидел в конторе, товарищ-сыровар применял какой-то «балтийский способ», и сыры рассыпались крупкой, коровы уклонялись от обгула и валились, мужики почесывали в затылке... — «По-беда»... посиди без обеда!» — а знаменитый на всю округу бык «Гришка» с чего-то разъярился, закатал троих пастушат, перепугал до смерти какого-то «кринспектора», кинувшегося от него в пруд, —

«так, со всеми портьхелями и влез по шейку!» — и быка моментально расстреляли.

«Да, — писал мне добрый интеллигент, — все у нас полетело к черту, глядеть больно... но полюбоваться стоит! Приезжайте, поплачем. Но, когда!.. — ах, что мы натворим тогда, мы, мы, з н а ю щ и е, по-знавшие!.. И будут уже не «Вишенки», а «Вишни»... и сочнейшие, черт возьми!»

И я поехал. Конторщик ухитрился выслать за мной даже тарантасик на станцию, с босоногим мальчишкой в офицерской фуражке, заявившим мне весело: «а у нас теперь все ворами стали, никто не желает ничего!..»

Все полетело к черту... Но когда я отъехал от станции версты четыре и осмотрелся, — уже кончался август, — на меня пахнуло родным привольем, чудесным осенним хмелем. Этот родимый, крепкий, бодрящий, чуть горьковатый, — от осиновых рощиц, что ли? — единственный в мире воздух, в котором в с е: все запахи, от детства, — со всех полевых цветов, отцветших давно и скошенных, но ветру отдавших душу... — от кочек, от мочажин, от брусники, от хмурых чащ, с бурых торфяников, нагретых, от полевых раздолий, от птиц, косяками тянувших к югу!.. — но что же можно сказать о нем?.. Кто не дышал еще им, тому ничего не скажешь.

Небо было вечернее, косое солнце. От невидного за изволоком села — «в Клинцах это, версты четыре»... — сказал мальчишка, — доносило вечерний благовест, жидкий и бедный звон, такой же простой, как небо, зеленовато-бледное, такой же устало-грустный, как сжатые, затихающие поля. Стаи вылинявших ворон, бодрых от холодка и нови, стучали крепким, осенним криком, кружили «свадьбы», — и вдруг, словно что-то решив, пропадали за светлым взгорьем. А вот и горбина взгорья, и долгим раскатом поля побежали дальше, и стаи ворон над ними — черными точками, и на самой дали, на высоте, поникшая, залитая осенним золотцем, то прозрачная, как янтарь, то густая, как блеск червонца, — пышная сень берез стародавнего большака, ровного, как запруда, блистающая понизу и серебром, и чернью, с продвигающеюся ленивою телегой... — и багровое солнце плавится в золотом потоке за запрудой, — вот-вот прорвется. А вот он и сам, большак, давняя сеть порядка, — идет, идет... русская ширь дорожная. Сумеречно под ним, и золотисто... Постукивают колеса на колеях, бухают на колдобинах, на корневищах, мягко шуршат по травке. Мелькают-бегут березы, и далеко-далеко просвет, узкою

золотистой щелью, пронизанною полосами солнца, с румяными пятнами по стволам... — и падают в тарантас листочки, легкие, золотистые, сухие, щекочут шею.

Я остановил мальчишку.

Шуршит листочком... Господи, тишина какая!..

— Никак белый, на колее-то!.. — спрыгивая, говорит мальчишка, шарит по колеям, кладет и кладет в фуражку. — Да тут их... обору нет, семьями сидят... гдяди, гляди!.. Ну, чего с ими заниматься, у нас там тоже насыпано!..

Я глядел с тоскою и надеждой в золотой, без конца, просвет. Не увижу ли сухоликого странника с котомкой, вечного ходока, с сухой винтовой орешиной, с хитро-напевной речью...

Повстречался мужик с дровами, поглядел рысьим взглядом, чего-то ухмыльнулся. Прощай, золотая сень. Пошел проселок — казенным еловым лесом, густым и черным, где дремала такая глушь, что упавшая шишка гукала по игле, как в бубен. А вот и одиночные столбушки на лесных прогалах, меченные клеймеными орлами, — порядок чащ. Эта дрёмная чаща елей и эти черные выжженные орлы говорили мне хмуро — верь! И я поверил. Я поверил неменяющимся полям, немой, как и прежде, чаще, и накрепко врезанным орлам, и давнему-давнему большаку, с грибами и корнями на колеях, и стучащим вороньим стаям, и воздуху... Какая же тут — «Победа!»

И открылись мне Вишенки.

По красному глинистому склону краснели-золотились сквозившие вишневые сады, как раньше. И глинистый берег речки, в черных стрижиных дырках, и переезд по журчливой гальке, как по хрящам, и столбик с безликою иконкой у поворота на Протвино, и та же чайная лавка, с пустой перед ней телегой, годами ждущей, с вывеской над крылечком в склонившихся рябинах, с пьяными буковками —

Чяйная Встречя.

II

Сырного Барина я встретил у прудика. Он сидел с удочкой, лохматый, в драной солдатской кофте, из которой торчала вата, и смотрел хмуро на поплавок. Валялась двустволка рядом и пара дроздиков.

— Здесь слезайте пока... поговорим. За ужином вот охочусь. Живем в древнем периоде, охотой и рыболовством... — сыпа-

лось из него трескуче, едко, и едко пахло перегорелым чем-то. — Рабочий день, восьмичасовой, закончен, и ни за что не отвечаю, благодать! Табак дают, водку из картошки гоним, поворовываем... Круговая порука! Деревня ворует яблоки и вишни, бабы молоко, мы баб, сыровар все ворует, заведывающий грабит сыровара... — полное равноправие! Сами увидите, какая идет отделка. Удивляюсь на карася: не убывает! В корягах, подлец, отсиживается. Гранатками его били, — в ил зарывается, должно быть. Потише стало — погуливать стал опять. Карась — и тот применяется. Жарю на краденой сметане...

Я приглядывался к приятелю. Навеселе немножко! Всегда радостное лицо его приняло выражение хитрой злости, какой-то въедливой горечи. Я заметил, что Семен Аркадьич по-особенному вытягивает губы, словно для поцелуя, и губы азартно ходят. И, наконец, разобрал, что они шепчут ругательства. Да, он ругался, шипел-ругался, как ругаются крючники, — азартно, смачно.

— Там... — ткнул он к усадьбе и высморкался в пальцы, — живу в двух комнатках, где в м о е в р е м я жил мой собственный сыровар. Рядом живет в трех комнатах «балтийский сыровар», и все слышно. Попьем чайку, но, по возможности, молча-с!.. А-а... — сложил он губы и зашептал шипуче: — Ко-нчено! И не только в мыслях, но даже расстрелял! «Вождей» и «идеологов»! Пример заразителен. Взял как-то в чудесный весенний день «священные реликвии поколения»... то есть, о-ко-ле-ния!.. — штук с десяток этих гордых портретиков со стеклышками и понес на горку, в цветущий «вишневый сад»... и с таким-то наслаждением я их зайчатником изрешетил!.. Сладость садизма понял. Жена — помните ее «категорич-ность»! — что-то лепечет про «падение», что я теряю «душевное равновесие»... А сама недавно плясала над одной «священной» книгой и трясла юбками. Правда, выпили мы тогда. А, плевать... на... плевать!.. — и его губы заерзали.

— Голеем... И, знаете, остротца приятная во всем этом, как... в гнилом сыре!.. Умываюсь только по воскресеньям, хожу вольно, в подштанниках, сапоги превратил в опорки, портянки лихо подвертываю, без рубчиков-с... Опрощаться надоть! к земле приникнуть!!. У всех у нас тут культ тела, да! На деревне ребята нагишом ходят и девок таких же водят. И мы за ними. «Балтиец» наш все лето черным буйволом проходил, только мешочек навешивал. Девки вишни сбирают, а мы все

как стадо ломимся, рыкаем... Эллада прямо! И, знаете, поджигает!.. Анна Васильевна... знаете ее, скромнюха была всегда, в этом смысле, и уж сорок ей, — и вдруг и говорит мне: «а, знаешь, в э т о м что-то есть... естественное!» И пришлось мне... самопроизвольно вышло, интрижками занимаюсь, для отвлечения... Духовные-то «ц е н т р ы», — сделал он губы трубочкой, словно для поцелуя, и пустил шипом, — атрофировались! Семеро моих знакомых развелись в два счета и — «собачьим браком»! И жены тоже, у кого циферблат приличный. Один мне писал: «оголтелость отчаянности»! Все в кучу! Эманация духа — кончилась. Теперь — концентрация всех соков! Силу... — зашипел он, — крепи!.. Обновленное поколение грядет!

Он хмелел на моих глазах: недавно, должно быть, зарядился.

— И легче, как будто жить. С т о й точки зрения, все это — величайшее, понятно, свинство... Но надо как-то перескочить через все это самое свинячье свинство и через всю пошлость, чтобы... оценить! Надо, чтобы вытошнило до потрохов! А то ведь мы «принципиально», духовно познавали только... подлость и свинство! Я два месяца в одной рубахе, для опыта, ходил, довел до «завода», до чесотки когтями, все тело изодрал... и что я испытал, как, сходив после искуса в баньку, вымывшись в щелоке, в свеженькую рубашку облекался!.. Что-то весеннее и пасхальное!.. То же и в «духовном» надо произвести... И производится. Любопытные вещички есть в народишке!.. Понаблюдайте. Есть тут старик, на лесном хуторе живет... четыре версты отсюда. Жил у меня, теперь ни у кого не живет, сам по себе, а места не покидает. Пасека была там. И вот, этот старик — зовут его мужики «Железный Дед», — он мне некоторое подтверждение доставил, что... Уж перестегнул через все свинячье и... несет укрепление! Только перерождение-то у него случилось с первых дней революции, без опоздания... Ну, пойдемте. Об этом и там можно, при всех «балтийцах»...

III

Мы пришли в темный флигелек — барский дом занимал управитель с гостившими «семьями из Москвы», и оттуда неслись ревы граммофонов, — и сели за чай и «картофельную», причем Анна Васильевна, чинная такая прежде, положительно потрясла меня невозможно коротким платьем, стриженой

головой «под мальчика» и такими словечками, как — «плевать», «в два счета», «влюбленная сволочь» и тому подобное. Но, когда она стукнула зеленым стаканчиком по столу и сказала расхлябанно — «а ну, накапь, товарищ!» — меня охватила оторопь. Показалось, что и она делает губки трубочкой и выдавливает из них «словечки»! Пришел буйволовидный «балтийский сыровар», хватил «пару стакашек» и сказал Анне Васильевне, что едет в Протвино на танцульку: «спляшем?..» Та бойко тряхнула «мальчиком» и побежала приодеться.

— Равноправие... — пробурчал Семен Аркадьич. — Я могу с Палашкой и с Настюшкой, что и осуществляю. Знаю, что все это «надрыв» и свинство, но... плевать на все! Мы должны или сдохнуть, или... обратиться в скотов, иначе не выживем. А потом... воз-ро-ждение?.. а?!. Это же русская, черт ее подери, фи-фи-философия! И с религиозным надсадом! В мечтах было, теперь — есть! Голяком гуляем. Дернем?.. Можно на голове ходить! И если не удавимся на ремешке от штанов, — найдемся! Все повыедено, повыдрано... — стукнул он в грудь стаканчиком и выплеснул на рубаху, — цинизм стал культом! Но мы продолжаем копаться, анализировать, а... народ?.. Я в Железного верю. Бу-дет!..

— Ну, про Железного... Давно ходили о нем слухи, и страшные. Я даже его боялся. Сидел он при пасеке, — напоследок занялся, — а то лес стерег, охотой промышлял. Еще от прежнего владельца достался мне. Севастопольский солдат. Теперь ему за восемьдесят, но силища необыкновенная. Кулаком быка оглушал. Лет сорок в лесу живет, и только дважды в год заявлялся в Протвино — на праздники, закупить чего. А табак, водку, харчи — бабы ему носили, — за любовные утехи. Прельщал! И богатый был. Все готовое, продавал богатым мужикам лес, крал на глазах, а никогда — улики! За Севастополь ему с девятьсот шестого по десятке в месяц пенсии шло, да я пятерку. А бабы ему — все, как трешник мне за Гришку. За двадцать лет моего жительства здесь, найдено в лесах четыре трупа! Давились мужики на соснах!.. И он же первый приходит и докладывает в волость. И все богатые мужики, поторговывавшие леском. Но улик нет! Пропала Дуняшка, девчонка. Следа не нашли. Обыски были — ни-чего! Урядника одного нашли с пробитой головой. Пришел Железный в стан, заявил, что двое бродяг у него ночевали, оставили ему опорки: они и убили, не иначе! Бить его ходили деревней, и били жестоко, а не могли убить. Отольют водой, а он закре-

стится, покажет раны пулевые и застонет: «Севастопольского-то ги-ро-я?!. Меня Царь отличил, пять пуль во мне, по аттестату... за правду муки примаю!» Ведро им поставит, и песни начнут играть. Красоты звериной! Бабы сами мне говорили, что «глаз» на них знает: так и займешься! Как красивенькая девчонка по грибы пошла — мед у него сосет! И по округе мужиков с двадцать, как есть, в него, порода. Ну, корень здешний. Одна старуха Анне Васильевне каялась: «Сам мне рассказывал, что не настоящий он, а насланный... для гиблого часу чтобы»! И не глупый, но на слова тугой.

— Как началась революция — все к нему: начинай, как надо! Я так и предполагал, что вождем заделается. Крутой, глазищи, голос громовой, сомовье хайло... И что же вы думаете... как себя показал! «Пошли вы, — крикнул, — к дьяволу от меня! Не сметь ничего, строгое начальство сызнова будет, а вас всех на каторгу!» Ну, пошли, замялись. А он — из лесу ни ногой. Стали, было, у меня мужики коров отбирать, вышел он на мой призыв: «Не сметь шевелить!» Схватил головореза одного — оземь, через день помер! Сами замяли дело. А он им: «Идет светопреставление, молитесь Богу!» Крест велел поднимать... Из Протвина поп по его слову с запрестольным крестом по деревне ходил. И сам Железный крест нес, а кругом бабы с девками. И сам тем крестом народ благословлял. В пророки его и произвели! Но мало... Бабы — к нему в лес, «освятиться», а он их жердью! Девок самых красивых направили с дарами, с махоркой, с водкой, с бараниной... — каждую поцеловал, покрестил, а даров не взял: «На церковь подайте, и сиротам!» Плакали от умиления! Одна молодка, боец-бабенка, и хорошенькая, шелковенькой разоделась, — ее бабы сами определили «святого пожалеть», — пошла к нему в лес на ночь, постучалась в окошечко, доложилась, что так и так. Зарычал из берлоги, а принял. «Ложись, касаточка, на лавочку, разоблакайся, а я только на небо взгляну, душу поспрошаю!» Ну, она заробела, а легла, ждет. А он вышел. Приходит. Да как стал ее крапивой жигать-нашпаривать!.. Она в двери, а двери на запоре, а он ее жигает по чем попало, да и приговаривает: «Вот тебе, семя злое, шаталка-ведьма! Мало на вас креста?!.» Ноги ему стала целовать. Он ее поднял, поцеловал в губы и перекрестил. Бабы сами под окошком подглядывали. Тут его слава и закрепилась. Мужики — все по его слову. И было тихо. А он крест себе вытесал огромный и у сторожки своей поставил, и сидит.

— Пришли и к нам большевики. Солдаты воротились, исполком, комбед устроились. Стало невтерпеж самостоятельным. Пошли к нему. «Терпите!» — говорит. Пошел в комбед, стал калить, строгим начальством угрожать, каторгой. Прогнали его. Погрозился он, пообещал, что «крест будет». А через неделю одного комбедчика нашли на дороге в Протвино, голова — в лепешку. И в ту же ночь у комбедчиков изба сгорела! Пошли к Железному, стали пытать, на расстрел потащили. Руку ему пробили, мякоть. Не сознается. Лучиной жгли — ни слова не сказал, зубами только скрипел и «крест» сулил. Оставили в покое. А через неделю опять труп находят: комбедчик в лесу повесился. Тут на них страх напал. Окружили сторожку, и давай в нее из винтовок жарить. Да сами своего и ухлопали. Вошли к Железному, а его и духу нет, одни дырки в бревнах. Тут уж совсем перепугались. Прислали из Москвы какого-то лютого, допрашивал старика. Что они говорили — неизвестно, только этот лютый вышел и говорит: «Это, — говорит, — тип! Он за строгое начальство, за нас, значит!» А народ еще больше уверовал: чудо ясное! Вот, с неделю тому, опять у нас убийство: на самом броду главного нашего подлеца нашли, головы нет! И что главное, внучатным стариковым племянником оказался, и дня за три до того у старика был, золотые деньги у него вышаривал, с товарищами. А у старика деньги должны быть, пенсию получал сколько лет! Не нашли денег. Опять старика лучиной прижигали, руки крутили на воротяжке, а он им в морды плевался! Убить — народа опасались. И вот, держится за него народ. Говорят: «Защита наша, мы с ним крепше!» Чувствуют, что есть в нем сила какого-то порядка, последнего какого-то права, чего уж нельзя отдать. Последние человеческие устои... И в них эта сила живет и крепнет.

— Кто там?.. — оклинул Семен Аркадьич на шум в дверях.

IV

— А дед... грибков хозяйке твоей принес, Аркадьич... — хрипло отозвалось в дверях. — Да припоздал, в «совете» замотали...

В комнате было сумеречно. В белевших косяках двери стояла большая тень, головастая, мохнатая.

— Вот и он самый, Железный наш! — радостно и любовно даже сказал хозяин. — Садись, дед. Чаю, знаю, не пьешь, постишься.

— Боруснику пью. Хлебушка вот дай, затошшал я. Четыре часа муштровали кобели, следотель с Москвы прикатил. Поговорили, ничаво. Говорю: «пенсий давайте, я севастопольский гирой!» А, зубы им только полоскать. Говорю: «не уважаете службы, ничего у вас не будет, одна дыра!» — «Ты, — говорит, — убил знаменитого человека!» — Я ему говорю: «никак человека не могу убить, собаку могу, а не человека!» Показал ему раны. Свидетели все за меня, атестат! Другого следотеля пришлют, энтот не может понимать, сам сказывал. Говорю: «по закону меня нельзя судить, я заштрахован от смерти, за мной весь народ стоит, и атестат!» Показал ему руку: «как я могу убить, у меня рука пробита, жила не встает». Говорит: «Пришлю дохтура!» Пошел я от ево. Хлебушка-то дашь, домой время?..

Зажгли лампочку, Сидел лесовик, в седых космах, похожий на Бога Саваофа. Все окно закрыл. В руках здоровенная клюка-дубина. Рваный, вылинявший зипун, с оторванными крючками. Рот — пасть, с широкими желтыми зубами, ляскавшими, казалось мне. И пахло от него тяжко, — звериным духом.

— Третий раз хрудь мне палили... подавай золотые деньги! — Каки-таки? — «А сто кружков у тебя есть, давай!..» — Ищите! Жгли-жгли, завоняло палью. Бросили. Живот прищемлять стали, а я надулся. Я знаю это. Выдрали пчел, пердавили. Я на их, за пчелу! Ну, зашиб одного маненько. Стали меня под ухо пистолетом бить, железкой, окровянили... вон, сережку вырвали, было... мотается. Стащили валены сапоги, хотели пришить. Я говорю... — я севастопольский гирой! А они свое: «как ты севастополец, у тебя за гиройство пенсий был, давай монеты золотые!» А я говорю: «вам меня не убить! меня сколько разов били, не могли, — за меня закон!» Ну, бросили. Говорит Лукавый, протвинский: «бросим, Богу он за нас помолит!» Говорю: «Меня Бог проклянет... за вас, кобелей, Бог молитву не внимает. А буду молить, чтобы пришло строгое начальство, и вас на первом столбу повесило!» Вдарили в загорбок прикладом, ушли. Пополз я водицы испить... — стукнуло меня кровью. Гляжу — солнушко стало, а то ночь была, как били. Отошел маненько — бац! — четверо других, с ружьями. — «Давай золотые деньги!» — Нету. — Бац меня под печенки сапогом. Стали руки под хребет крутить... больно. Гляжу — месяц вышел... ушли, значит. Давай хлебушка, четыре версты итить... крови из мене много ушло. А нет, я не помру до начальства, Бог не велит. А деньги мои... — можно при них

сказать? — мотнул на меня дед, — поп Виктор знает, где. Дал приметы. С начальства строгого получал, строгому и пойдет. Да я не помру до сроку, ей-Богу! Вот увидишь. Я таперь весь клйменый. Еще погляжу, как строгое начальство!.. — погрозил он, стукнул дубиной, сунул краюху за пазуху и, не простившись, вышел.

Семен Аркадьич потыкал в темноту пальцем:

— Вон он ка-кой... клей-меный! Весь из темноты, а... Потому-то я и говорю... что? Ничего! И все... клей-меные!.. — и его губы заерзали, он был уже совершенно пьян.

Почему-то вспомнились мне столбы на лесных прогалах, с выжженными орлами, — порядок чащ. И нетронутые сумрачные чащи, и небо, простое, светлое, и жидкий, и бедный благовест...

— Тяжело... — вырвалось у меня невольно.

— А-твра-тительно!.. — едва выговорил хозяин. — Грязь... и какие-то искры... и чувствую... зажги — и загорится! А, черт... Анна!.. Аню-та! С буйволом... наплевать! Разведусь и... за дроздами. Идем на деревню, к девкам... Теперь все можно, легко относятся... наплевать!..

Утром, рано, я выехал на том же тарантасе. В тополевой аллее на желтых листьях лежал розоватый иней, от розового солнца. Тени от тополей вытянулись иглами по жнивью. Жалкое стадо коровенок обгладывало пустое поле, бродило сонно. Было, должно быть, воскресенье: слышался жидкий благовест, — все тот же, неизменно зовущий к Богу. Стало совсем легко, когда выбрался тарантас на взгорье, и благовест стал певучим.

Ноябрь, 1927 г.
Ланды

ТУМАН

Я спускался с нагорий к морю. Зачем? За виноградным жмыхом — за нашим хлебом. И еще за чем-то. На виноградниках, под Кастелью, у Голубевской дачи, оставался еще огромный чан с синеватыми выжимками, от которых шибало перегаром. В них позволяли рыться, выискивать комья посытнее.

Винодел обнадеживал с усмешкой:

— Если с ученой точки, то процентика два белков обязательно найти можно, а в зернышках и жирков несколько найдется. Но только вот несваримая оболочка для млекопитающегося желудка. И вот куры, ну, до чего жиреют с этого самого жмыху! Растирайте камнями и варите, и будет некоторая питательность. Как говорится, последний научный крик.

Я спускался с мешком, в рваной германской куртке, прикрываясь мешком от ливня. Под тряпкам, на груди, хранилось письмо — за горы. За горы не пускали. Прибыл товарищ Месяц-Райский с какой-то «тройкой» — «искоренять бандитов». На всех дорогах поставили заставы, к Перевалу. Приказ угрожал расстрелом за самовольный выезд, за неявку на регистрацию, — которую по счету? — и все прижались. Искали офицеров, полицейских, судейских, фабрикантов — всех, убежавших когда-то в Крым, ныне — в Крыму застрявших, «заклятых врагов народа». Товарищ Месяц шнырял по дачам, выхватывал и угонял на Ялту, где суд короткий. Кто отважится пронести письмо? Называли какого-то Семена Лычку, с дачи «Эльмаз», профессора Чернобабина, — под Кастелью где-то. Брал пустяки — рубаху. Не было у меня рубахи, и нес я ему подметки, оставшуюся редкость. Нес и тревожно думал: да возьмет ли кожу? и как я его найду, неведомого Лычку, в просторах под Кастелью? и кто я ему, Семену Лычке, что доставит он мое письмо? Возьмет — и бросит. И как он туда пробьется, за Перевал, в такую непогоду?..

Погода была ужасная: конец ноября, дожди. С Бабугана сползли тучи, полные киселя-тумана, разверзавшиеся в долине ливнем. Рваные клочья их дымно тащились по деревням, мутью сплывали с камня. За ними громыхало приглушенно странным каким-то громом, удушливым и теплым-тяжким. Молний не видно было. С моря, с теплотой еще воды, тянуло давящим паром, густым туманом, с редкими пятнами провалов, в которых мерцало чернью. Не было ни земли, ни неба; а между ними, где-то, плавали-колыхались глыбы, громады камня, потерявшие всякий вес, таявшие в тумане смутно, — темные льды воздушные, — не по-земному странно.

Я скатывался с горок на дощечках, — на деревянных сандалиях, скользя по умершей травке, по склизкому шиферу, по глине, схватываясь за сучья граба. Все налилось водою, — рытвины, тропы, ямы, — плескало, скрежетало. С отвесов неслись потоки, срывались водопадцы. В балках, заваленных туманом, шумели камни. Море ворчало, под туманом. Трудно было дышать: давило паром. Я шел и думал: так же, должно быть, и при начале мира, — туман и грохот, и Дух над бездной. Та же и ныне бездна, а над нею — товарищ Месяц, с винтовками, шныряет. Начало, конец... хаос.

Подкрадывались мысли, да что же это? Но я отгонял привычно: нельзя, не думай. Беги и гляди в туман. Направо, налево, — балки, крутым обрывом, не соскользни. Помни: узкий хребет, из шифера. Беги и слушай: и плеск, и грохот.

Вот, наконец, и море. Слышно глухое рокотанье. Какой туман! где же моя дорога?..

А вот и она: совсем незнакомая, строится. Где же дачи за кипарисами, на холмах? Все — туман. Бежит подо мной дорога, скрежечут камни. Шумит из туманных балок. А где поворот на дачу профессора Чернобабина, к Семену Лычке? За «Профессорским Уголком», к Кастели. А где — не видно. И «Черновских Камней» не видно.

Шумит впереди, в тумане. Прорвали промоины дорогу? Берег реки у ног! Никогда ее не было, теперь — есть; сбило потоком мостик. Я ныряю по рытвинам, прыгаю по камням в прорывах. Прет на меня коряжина рогами, плывет из тумана дерево, цепляет на него, и — в море. Несите, волны, в неведомое царство, в сказку!

Туча по небу плывет,
Бочка по морю плывет...
Туман и грохот.

На новой реке — остров. Я прыгаю на остров. Виден другой в тумане. Всматриваюсь в туман: чернеет высокая фигура! Сгинула — и опять чернеет. С черными крыльями, человек?! Вижу, как взмахивают крылья. Носящий Дух Хаоса? Бухает по воде, ко мне...

— Господи... где земля?! — слышу я голос человека.

— Идите сюда... на камни, на островок!..

Человек машет крыльями. Вскакивает ко мне, размахивая пледом. Мы теснимся на островке, молчим. Нас поливает ливнем. Он дышит свистом. Дрожит, — чувствую я плечом.

— Туман, кошмар... не вижу, куда идти. Скажите, дорога это? Была дорога!.. Ничего не вижу... а надо версты четыре в город. Экстренное дело... кошмар! Вы — постоянный, здешний? Ну, да... сразу, по голосу. Теперь по голосу отличишь. Трудно дышать, пары... и астма еще. Что же будет?! Слышите, странный какой-то гром, подземный? Что за кошмар!.. Плечи ломит от пледа... намок. Надо передохнуть. Среди хлябей с вами... Не отдышусь никак. Что? профессора Чернобабина? Боже мой, Алексея Афанасьевича? Знали? О, какой это был!.. Три года уж, как скончался, после первого обыска, ударом. Как же, соседи были... И замечательный гидрограф... Не раз говорил, что здесь размоет, и эти холмы сползут! Все ползет... А который час? Нет? украли? А у меня как раз сегодня, золотые часы... и все! Даже воротник оторвал, бобровый воротник... камчатский, восемьсот рублей в Харькове, с уступкой... оторвали! Кошмар!

Он был без шапки, повязана голова платочком.

— Дышать нечем, ффу... как под колпаком! Астма у меня. Но так не могу оставить... Лишить последнего права!.. Зверь — и тот имеет право на логово... jus bestiarum. Но у зверя клыки и когти, а... Со-рок лет стоять на охране пра-ва... и:.. Ко-шмар!..

Он встряхнул пледом, в который кутал плечи и голову, и я увидал осклизлые клочья ваты, где когда-то был воротник с бобром. Он был высокий, сухой, строгий, с лицом Мефистофеля в седой бородке, коротко остриженный под бобрик, в пенсне в роговой оправе.

— И шапку сняли, котиковую. Но тут не вещи, а... человек, субъект права! Бегу в угловую милицию, или... как там у них?.. Какое-нибудь, должно же быть право?! Как? никакого права?.. Значит, мы... только вещи?! Абсурд! У людоедов, у последних дикарей, есть! естественное право, jus naturale. У каннибалов... есть! У римлян было право рабов!.. Jus servorum. Император

Юстиниан... право колонов! Глядите кодекс Юстиниана, о! У каторжников даже... свое, воеоразно-логичное, ка-торжное право! Хаоса и они страшатся... — ткнул он в поток, в туман. — Вот в этом, в этой проклятой мути... нет никакого права! Как-с?.. Профессора Чернобабина?.. Но он скончался! Ах, да... дача еще стоит. Так он... что? Предсказал давно, что эти холмы сползут. К нему как?.. Позвольте:... отсюда поворот... через две промоины, за балкой, где дача Варшева. Знаете его? Бывший народник, вегетарианец... кошмар! Уцепились за корову с женой, и теперь у них эта корова... в кабинете! от воров! И на нее взирают с одной стенки почтенный Златовратский, с другой — почтеннейший Михайловский и... всепочтеннейший Чернышевский! А она им... хвостом, понимаете... и именинные пироги!.. Ко-шмар!.. Увидите!.. Пьют молочко, кушают маслице и стонут, что их ограбили. Распродали по высокий цене участки, вырезали себе кусочек и ухитряются получать паек за... социалистическую шкурку-с! И их не грабят. Навестите, непременно навестите... И послушайте, как поют! А я... за право! и буду! Пусть все отнимут, последнюю рубаху снимут, но... пусть... пусть мне точно нормируют объем моих прав, хотя бы право последнего раба, право червя, но... пра-во строго хранимое!.. чтобы я не был взвешен, как какая-то пылинка в вихре!.. Иначе... кошмар!..

Он резко сорвал пенсне и стал протирать привычно, кусочком пледа. Синие губы дергались, кривились едко.

— Нет, я обязан потребовать точно определенных норм. О-бя-зан!.. Как не хватает воздуха... у меня не хватает... фу. Я ждал, охранял первичное мое, мои вещи... И вот... Пусть издадут специальную новеллу хотя бы для изгоев! Вы же тоже изгой?! Прекрасно. Вчера вечером я колол дрова. Засветло еще было. Приходят трое, лица в тряпках, вымараны сажей... с ружьями. Ясно, кто. Хватают моих внучек... малюток трех и пяти лет... за волосы!.. и грозят стукнуть головками друг о дружку!.. Ко-шмар!.. И требуют золотой портсигар! Прекрасно ориентированы каким-нибудь негодяем. У меня был портсигар в восемьдесят четыре золотника, девяносто шестой пробы, от друзей-сослуживцев, в день сорокалетия моей службы в магистратуре... как прокурор Палаты... юбилейный, на четвертый день. Выдал, после короткой реплики. И все, что было тщательно спрятано. Иначе грозили разбить головки Лидусе и Марочке!.. Вы представляете этот... кошмар?! Семь верст от города, в глубине балки... ну, что я мог?! Стащили с

постели почтенную женщину, мою жену... нашу дорогую бабушку... — сжал он меня за плечи, и его синие губы запрыгали, — которая лежала в параличе, от всех этих потрясений... распороли перину и — все! Сколько-то выигрышных билетов... кажется, двадцать семь... экономия всей жизни... всех трех займов... семнадцать империалов, лично ее от экономии... давали на зубок нашим детям... с годами рождений!.. понимаете?! ее приданые бриллиантовые сережки... свадебное колье дочери, известной артистки... она пела перед войной в Италии... и это муж, богатый итальянец, подарил ей... стоило двадцать тысяч... этих... лир, что ли? Мои золотые часы с монограммами, подарок корпорации... прокуратуры окружного суда, когда я получил назначение в Палату... бриллиантовые запонки, обручальные кольца, медальон матушки с прядью ее волос... У меня весь реестр «выемок»... Показал он на боковой карман, — на прежний счет на пятьдесят, не считая акций Азовско-Донского Банка!.. Было два обыска, пока, но бабушку не стаскивали официально, если так можно выразиться... и под ней все хранилось. Для меня, это место, в ее перине... было наисвященнейшее пристанище! Понимаете... это уж последнее право, право одра болезни, юс морби, что ли! Право лежать — больного человека! А они стащили на пол полуживого человека, почтенную женщину, сняли с нее сорочку, ошаривали все тело!.. ко-шмар!.. Пусть их немедленно задержат и привлекут!! Одного я признал — солдат с кордона, ихний! Я уличу... и докажу, что нельзя лишать последнего человеческого права... права умереть спокойно! Даже у зверей, живущих стадно... например, гуси... Я им укажу на Брэма!.. Они издают декреты, и они должны...

— Как, вы хотите туда?! — перебил я его, стараясь овладеть мыслями.

Он вдруг запахнулся пледом и прыгнул в воду.

— Докажу!.. — крикнул он из тумана, чернея крыльями. — Со-рок лет на основе права!..

Мелькнули в тумане черные его крылья и пропали.

Я крикнул:

— Постойте!.. стойте!!

— Что?.. — крикнуло глухо из тумана, и я увидел смутную фигуру.

— Там же новая регистрация!.. — крикнул я, — товарищ Месяц грозит расстрелом!..

— Это к уголовной милиции. Производить дознания, и я в отставке! Два раза обыскивали... Пусть они оградят право

своих рабов, которые вынуждены были... мое право! Если первичные нормы права разрушены... — хаос! Сорок лет я оберегал незыблемость закона, и не могу!.. Дело не в портсигаре, а...

И он провалился в муть.

Я долго искал дачу профессора Чернобабина. В плеске, ливне и грохоте крепко-трескуче билось в моих ушах: пра-во, прра-во! и я повторял его, это крепкое слово — право. Оно навязло на языке, завязло в мыслях, отдавалось в прыжках по лужам. Оно воплощалось, становилось чем-то, таинственным существом каким-то, вертелось со мной в тумане, вертелось со мной в тумане. Бобровый воротник, портсигар, бандиты, детские милые головки, людоеды, гуси, рабы, расстрелы... — вместе с ним вертелось, черными крыльями махало, и все — туман!

Я глядел в душную гущину тумана. Там разверзались хляби. Там разнималось, рушилось в пустоту.

Я нашел, наконец, дачу профессора Чернобабина, но — никакого Семена Лычки.

— Лычка? Лы-чка... — бессмысленно повторял чуть державшийся на ногах старик, варивший под навесом с другим таким же, татарином, лошадиные маслаки в котле, вонявшие кислым клеем. — Такого что-то и не было... Лычка!.. У меня брат был, Степан... Так он Ды-ч-ка.. и я тоже, Никифор Дычка... с Полтавщины, давно здесь. Хороший садовник был, всякие розы умел ухаживать, при покойном Ликсей Опанасьиче. Другая неделя пошла, как помер. Мы с Якиром и закопали его, без покрова-погребения, в клунбе вон закопали... — показал старик на большую клумбу со свежим холмиком, засаженную голыми деревцами роз.

— Нема Степан... — отмахнул головой старик-татарин и заморгал на клумбу. — Ушла дале-ко

— А Лычки не было. Это вам про Степана нашего говорили: Степан Дычка, мол! Верно, Степан ходил до Симхверополя, носил добрым людям и письма. Вино носил, на муку выменивал. Так и жили. А теперь... коня дохлого варим, нашли в балке, кости уж... Побили нашего Степана за горами, шибко побили... кормильца нашего. И вино отняли. Насилу дополз до дачи... три дня все полз, помирать дома. Лег и не вставал... все жаловался... Сердце ему отбили. Четыре денька подышал. Это Степан Дычка. А Лы-чки... такого нет. И не было никогда. Что за Лы-чка?.. Такого не было.

— Зима прошел, ничего нема... — покивал татарин. — Голова болит стал... живот болит стал.

И тонко, жалобно, как ребенок, заплакал в руки.

Я пошел от этих двух стариков. Долго бродил в тумане, искал дачу Варшева с молоком, с коровой.

К ночи пришел на горку ко мне сосед, рассказывал:

— А вот чего случилось, милицейский рассказывал. Прибежал к ним сумасшедший человек один. Оказывается, который из судебной палаты был, дача у него за Варшевым, «Светлодар». Жили тихо. На базар одежду носил, выменивал. И прибег жаловаться, ограбили его, быдто ночью. За беспорядки жаловался, законов у нас нет! Наш, в высокой шапке-то который, словно халдей какой... начальник розыска, как его... Семыкин! Ну, все записал, чего ограбили. На боле сто милиенов! Так и ахнули! Как так, у вас столько раз леквизовали, и такой нашей власти убыток от вашего обмана? Вот и записали в протокол. И легистрацию велел подписать, какого происхождения. Выходит, про-курор! Сейчас его с милицейскими к Месяцу прямо в лапы! под расписку! А Месяц в автомобиль садится, в Ялту ехать. Подхватил его с собой, помчал. «Вот так орла поймали», — говорит. Смеялись там. Говорят там уж без разговору. Говорят, сколько тыщ народу от него страдали на каторге, самый для народа вредный был. А подручных Месяц послал на дачу, забрать всех, и в подвал, до его приезду, и все забрать. А тот их пушил! — Так разносил, ни-чего не боится! Раз сумасшедший, за себя уж не отвечает, на самого даже Месяца накричал!.. Ну, теперь уж без разговору...

Март, 1928 г.
Париж

ПАНОРАМА

Ливень не прекращался, а предстояло четыре версты тяжелого подъема. Прикрывавший меня мешок набух от дождя, давил. Лепешка совсем раскисла, и я проглотил ее, как грязную замазку. Я напрасно спускался к морю, в этот ноябрьский ливень: не нашел я Семена Лычки. Не было никакого Лычки, а был Дычка, который, правда, нашивал письма за горы, проходил через все заставы, но его схватили и побили. Плохо теперь тем людям, которые посылали письма: и на свете, пожалуй, нет. Нет и Степана Дычки, доброго человека, который «всякие розы умел ухаживать» у профессора Чернобабина: закопали его в клумбе, под его розами. Плачут теперь над ним голые штамбики на дожде. И виноградных выжимок не нашел. Заглянул в пустые чаны лиловые, — шибануло из них угаром. Вышел под ливень сумрачный винодел в рогоже, махнул рукой:

— Были от особого отдела, черти... погнали баб, влезли в чаны и на жмых сделали. — «После нашего не поешь, а то с вашего жмыху дохнут!» — Наклали и повезли, курей кормить, говорят, начальнику. А сами шапками на базаре продавали, на котлеты. Тьфу!..

С моря валил туман. Я потащился галькой, под выплесками прибоя. Воняло прелью. Я нашел «морского кота», раздутого; по синеватому его брюху кишели черви. Меня охватила слабость. Вспомнился ограбленный прокурор, бежавший куда-то жаловаться. Он говорил, что у Варшева есть корова... Вспомнилась Панорама, прекрасная дача Варшева: с нее открывалась панорама холмов и моря: море синело чашей, сверкало парусами; по уступам чернели кипарисы, белели дачи, пышно сползали виноградники; когда высыпали звезды — проплывали недвижно пароходы, сияли, гасли; тусклое пятно месяца мерцало в море, струилось чешуею.

Я нашел варшевскую балку, забитую туманом; брел по садам диканки и синапа, теперь пустынным. Смутные тополя показывали дачу. Я нашел белую дощечку, с латинской прописью золотцем — Panorama; часто читали — Рапочата, — татарское? В черном окне белелось. Я прошел по гремучей гальке. Чья-то рука схватила с окна кувшин с молоком, хрустальный, — оно-то и белелось. На парадном была записка: «стучите, звонок не действует». Открыла Варшева, худая, стриженая старуха, в подоткнутой грязной юбке, — и меня задушило зловоние, даже отшатнулся.

— Корова у нас, — показала на дверь старуха, — пришлось поставить. Из сарая чуть было не свели.

Теперь я понял, почему так ужасно пахло. Я извинился: зашел только на минутку, передохнуть. Варшева поглядела ласковей, справилась даже о здоровье и приоткрыла дверь — в кабинет.

— До чего дожили!..

Величественный когда-то кабинет Варшева был совершенно преображен.

Великолепнейшее окно-фонарь, из которого открывалась Панорама, было наглухо заколочено. Ни портьер темного бархата, ни чудесной библиотеки по всем стенам, ни огромного письменного стола, загруженного ворохами журналов, газет и книг, ни коллекции «редкостных фотографий» на черном бархате, ни сурового бронзового Брута... Но висели еще портреты в рамах, чуть приметные в полутьме. Я нашел Михайловского, Чернышевского в красном плюше, чей-то еще, с залысиной. На месте письменного стола, под Чернышевским, стояла железная ванна с сеном. Но первое, что ударило по глазам, что закрыло весь кабинет своим широченным задом, была исполинская пегая корова. Она тянула из ванны сено и покачивала хвостом. Заслышав шаги, она завернула морду и тяжело вздохнула, отрыгая. Пол, уже без ковра, был весь тяжело заляпан, и всюду текли потеки.

— Вот, — как бы извиняясь, прошамкала старуха, отбрасывая с лица грязно-седые волосы, — черт знает что!.. Одна не справлюсь, Михаил слег, с почками у него... Просила соседа сторожа сходить за доктором... — как облагодетельствовали негодяя, воровал у нас виноград пудами... — и за такой пустяк потребовал де-сять бутылок молока! Эта корова только одно мученье. Все выпрашивают, завидуют... И интеллигенты тоже, знаете... а-а!..

Я стоял, потрясенный. Вдумчивый Михайловский, живописнейший Чернышевский, коровий зад, этот зловонный воздух... — не сон! Корова жевала вдумчиво, хвост ее изогнулся...

— Черт знает.. — сплюнула Варшева, зажгла смятую папироску и жадно затянулась уголком рта. — Всю жизнь жили одной мечтой, работой для народа... шли на жертвы, Михаил надорвал здоровье... и — вот!.. Пройдемте к нему, будет рад. Не с кем ему и поговорить теперь, мысленно освежиться...

Варшев очень любил поговорить.

Совсем молодым, имея большие связи, попал в директора училищ в одной из южных губерний и там женился на дочери генерала. Она была пожилая и некрасивая, но он увлекся ее радикализмом, ее перепиской с Шелгуновым, ее вегетарианством и жаждой служить народу. У ней были обширные виноградники в Крыму. Он бросил службу и перешел на земство. Виноградники они разбили на участки и распродали людям избранным, больше профессорам, а для себя сохранили трудовую норму — «золотую долинку» с Панорамой. Здесь давались концерты, читали наезжие писатели, и устраивались вечеринки совсем интимные, когда таинственно заявлялся из-за границы *некто*. Перед первыми выборами в Думу Варшев выпустил острую брошюрку — «Освобождение от земли» — и хоть не попал в Думу, но прогремел речью на педагогических земских курсах. Курсы закрыли, арестовали десяток учителей, а Варшева вызвали в Петербург. Он принужден был расстаться с земством и, окончательно прогремев, засел за солидный труд — «Социальные предпосылки будущего». Тут его и застала революция. Друзья предлагали ему пост губернского комиссара просвещения, но он отклонил и потребовал пост ответственный. Но ответственные были уже расписаны. Оскорбленный в заветных чувствах, он засел прочно в Панораме и издал боевой памфлет — «Социальные предпосылки полезной личности». Веря, что пролетариат оценит, он дождался большевиков. Ему предложили в уезде «библиотечный фронт», и он уже начал пробовать, но кто-то донес, что свою библиотеку он не тронул, и его потащили на расправу. Благодаря знакомствам его только выругали и выгнали, отнявши паек в полфунта и библиотеку. Пригрозили отнять и Панораму, но он приписался к какой-то комиссии «по охране документов революции» и принес в дар коллекцию редких фотографий на черном бархате. И все же ему грозили, что отберут.

— О-о... — застонал он, узнав меня, и плавным движением руки показал на себя, простертого пухлой горкой под плюшевым одеялом, с полосками под тигра. — Поруган, ограблен, разбит физически и морально... — и за что?! Вот итог нашей жизни, сознательной и творящей личности. Горе побежденным!..

Он откинул на свежую подушку цыганскую свою голову, приставленную к широченным плечам без шеи, и поседевшие его кудри разметались. Он лежал на дорогой кровати с шарами по уголкам, в сорочке тонкого полотна, на которой резко чернелась широкая борода, жесткая, как из проволок. Под бородой у него лежала книга, заложенная бумажками.

— Так, пустяки... итоги «излишеств молодости», — сказал он на мой вопрос. — Если бы умереть *тогда,* в лучезарные мартовские дни, когда!.. Чем жить? за-чем жить?! И еще проклятые эти приступы, возня с этим гнусным инструментиком, — показал он тонкую трубочку, — а *они* всё прогадили, и даже в чудесной нашей земской, былой, аптеке нельзя достать катетера! Хорошо, еще был у меня в запасе!.. Доктора не дождешься, по лечебнику уж, — показал он на книгу под бородой, — кукурузными усиками, укропцем... Очень желтоват, а? отеки?.. — спрашивал он тревожно, щупая себя за щеки. — У, какой лимон... — испуганно прошептал он, заглянув в зеркальце. — Софи, что же ты мне отвару? Такое подлое время — и болеть! Софи, погляди ноги... как? Я чувствую, как меня что-то наливает...

— Гораздо меньше, — сказала Варшева, отвернув одеяло и ощупав.

— Только не золоти пилюль, про-шу тебя! — вскрикнул он в раздражении, стараясь увидеть ноги. — Ну, как же «меньше», когда бо-льше?! Это все результат завалов, от однообразия молочной пищи... Пошли за каломелью, прошу. Ну, дай этому негодяю еще десять бутылок, пусть его лопнет, черт... но не могу же я погибать! И ливень еще... Доктор один, народ гибнет от голода... О, какая мука сознавать в себе еще не исчерпанные силы — и!.. Народ... которому мы, соль земли, отдавали жертвенно всего себя, за кого так страдали... и вот, и он, и мы — у разбитого корыта! Власть упала к нашим ногам, как созревший плод, и... так пошло кончить! так бездарно!.. Причины?.. Они до того очевидны... Софи... кажется, стучат?.. Не доктор ли.

— Корова переступает! — крикнула с сердцем Варшева, и раздался свирепый рев, даже задребезжали стекла.

— А!.. — шлепнул Варшев по одеялу, — дожить до... ко-оро-вника в кабинете! Все сошлось, чтобы больней добить, морально раздавить. Уже две недели мои уши гудят от этого ужасного рева зверя, от этого — мементо мори! О, пы-тка!.. Но она дает молоко, а без молока мне гибель. И мы ее холим, достаем ей сена, выменивая последнее. Бедлам! Когда я решал вопрос, где же ее держать, чтобы не свели, сердце облилось кровью, когда я пришел к страшному выводу, что единственно — только в кабинете! Столовая рядом, меня и так душит зловонием, а кабинет все-таки подальше... другие комнаты неудобны для ее, узки, а она у нас, как дьявол!.. Да и к чему, в сущности, кабинет, если его уж и нет? Все ограблено: мой стол, за которым столько выстрадано, продумано бессонными ночами... библиотека с униками, два письма Чернышевского из ссылки, еще не опубликованных, очень важных... Писарев с автографом... мой «Брут», — я привез его из Фло-ренции, — он выговорил мягко: «Фло-рен-сии», — и страшно боялся, что его будут потрошить, так как в нем были письма одного из боевиков и масса «литературы»... — наконец, мои рукописи, итог всей моей трудовой жизни!.. Только мы, мы, писатели, можем понять, что такое ру-ко-писи, письменный стол, ка-би-нет. И я ввел ее. Уже не было сил убирать портреты когда-то чтимых. Не все ли равно? И я ввел ее. Реви, мычи, гадь, жуй свою жвачку, зверь... самый тупой, самый сонный, ка-ро-ва!.. — выкрикнул он с каким-то свирепым наслаждением, — а вы, вы, «властители дум и поколений», взирайте, как митрофанушки наши всё обратили в навоз, в коровье стойло, в... — удушливо хрипнул он, налившись желто-багровой кровью.

— Михаи-ил!.. — окликнула его Варшева из другой комнаты, — вредно тебе так волноваться.

— Лучше яду, стрихнину какого-нибудь, чтобы только не... Что за пытка! — изнеможенно, уже детским каким-то голосом простонал Варшев, прикрывая глаза рукой.

Стало тихо, шуршал за окошком ливень. Суров глядел со стены Толстой, напоминая прошлое. Должно быть, я задремал от слабости — и вздрогнул: Варшев стукнул по столику.

— Помните?.. — крикнул он, — в «Истории рационализма» Лекки есть замечательное место?.. Да заткни же *ей* глотку, этой гнусной трубе... архангела!! — подскочил на кровати Варшев, — *она* мне мешает мыслить!.. Что это я хотел... Да, у Шелгунова, в одном из его писем ко мне, есть удивительно верная идея, точно квалифицирующая соотношение сил мыс-

ли и инстинкта. Если, с одной стороны, мысль, — надо разуметь интеллект, личность деятеля сознательного, — есть продукт... О-о-о... — вдруг застонал он жалобно, — как иглы в почках, невыносимо... о-о... Софи, дай мне еще хоть подлого этого пойла из усиков... ччеррт!.. В моем памфлете я цитирую Шатобриана, из его «Гений и Христианство»... — «Царство сильного Хама станет венцом культуры!» Вот и Шатобриан, и я... мы согласно проводили мысль... Я писал, предостерегал, но наши верходумы и митрофанушки, так самоуверенно схватившие «фрукт»... что говорить! С Михайловским мы несколько разошлись, я и ему доказывал... и он, если помните, — и это как раз после нашей с ним встречи в Петербурге!.. — он обмолвился словечком о Венере Милосской и мужике с топором? Мои предчувствия, мои «темные линии психики масс» блестяще подтвердились! Я удовлетворен. Я мучаюсь, но я у-до-вле-творен! Нет, кажется, опять лихорадит. Софи, дай градусник. Уж извините, неприятная операция... но под мышку ставить не рискую, боюсь раздавить, а термометров больше нет. Да, я удовлетворен. Софи, убери ты от меня эту ватрушку... от нее у меня завалы. Дай лучше простокваши, — после!..

Костлявая рука Варшевой быстро сняла со столика блюдечко с недоеденной ватрушкой. Варшев повел дремучими бровями, из-под которых остро блеснули его глаза, черные, как кусочки антрацита. Крепкая борода его встряхнулась, словно хлестнула прутьями.

— Так, прогноить, *все!* Я взывал: «по-мните аграрный вопрос, на нем будет дан бой»! Тщетно. Я подавал пример, продал задешево мужикам саратовское имение... и если бы эхо моих проектов... только *э-хо!* — отозвалось в Государственной Думе... — Он вынул из-под себя градусник, — 37 и четыре... не угодно ли! Стучат, кажется... нет? полвека трудов, исканий, самоограничений... Провел ряд педагогических курсов, выпустил сотни образцовых тружеников на ниве народной, в душу которых заронил этот неусыпающий протест против царящего зла, — и вот, заушаемые, ограбленные... О, как нас обманули эти «верхоплавки»!..

— Выпей валерьянки, — подала рюмку Варшева. — Ты поправишься и завершишь свой капитальный труд...

— «Опорные точки массовой психологии»?.. Но стоит ли? Впрочем, если за мной пойдет молодежь, самое ценное, что еще осталось от России, тогда стоит поработать. Мы, люди мысли и чуткой совести, соль земли... мы должны помнить о нашем

долге, о нашем «стоянии на столпе», — даже в этих звериных условиях. Но в таком случае пусть же дадут нам хотя бы минимум существования! А *они* хотят отнять даже Панораму, выкинуть нас на улицу! Народу я готов отдать последние силы, как отдавал полвека, но пусть, пусть, пусть... У меня гаснет голос?..

— Ты все воображаешь, — сказала Варшева, торопливо вытаскивая из-под столика тарелку с комком сливочного масла. — Он, — обратилась она ко мне, — мучается чужими муками, как всегда. Каждый день к нам ходят голодные, — как он волнуется! Но мы уже бессильны. Мы даем лекарства, чего-нибудь... старые газеты, которые они выменивают, кажется...

— Сейчас бы организовать питательные пункты, развить широкую пропаганду, будить общество, бить в набат! Помню, со Львом Николаевичем, с Владимиром Галактионычем... как мы работали! как горели святым огнем! в нас билось всемировое сердце. А теперь, *чем* жить?! Как ночь — ждем бандитов, обысков. Оружия нет, да если бы и было... ну, как я стану стрелять в *человека!* Я принципиально *не могу* убить! Пусть уж лучше меня убьют. Я прошу только одного: дай-те мне покоя! дай-те мне незаметно существовать, думать, мыслить, понять этот катаклизм, найти смысл! дайте же мне завершить мой труд, мои «Опорные точки»!.. Вы, кажется, очень устали?..

— Да, ходил по одному делу. Да, прокурора я встретил... высокий, в пенсне? Его ограбили этой ночью, бежал жаловаться, требовать «права»...

— Аркадий Николаич! — иронически усмехнулся Варшев. — Чудак... Да его *там* сейчас же арестуют! О нем забыли, и я ему советовал не появляться в городе. Что у него могли ограбить? Они давно нищие, всё у них выбрали обысками. Берут у нас, по знакомству, молоко детям... кажется, больше двухсот бутылок забрали! Да, вот интересный случай видеть, как *это* подействовало на сравнительно высокоразвитой интеллект! Он уже совершенно утратил даже первичное чувство... как это... такта, что ли! Каждый вечер он приходит и сидит, сидит, сидит... Пора спать, а он все сидит, сидит, мнется, ждет... Мы поняли, в чем дело. Когда надо скорей от него отделаться, иначе он заговорит своим «правом», Софи подает ему стакан молока, он жадно выпивает и сейчас же уходит. За *человека* страшно!.. Ну, скажи прямо... но эта мелкая «хитрость» приводит меня в бешенство! Зачем так унижать себя?! Мы должны гордо встречать эти гнусные удары... Что, не доктор?..

Под окном зашуршало гравием, и пробежала какая-то фигура.

— *Она!..* — крикнула Варшева, заглянув в окно. — За молоком. Надо как-нибудь дать понять!.. Говорили всё о каком-то долге, который им должны прислать... — все сказки! — сказала она сердито и пошла отпереть.

В передней послышался задыхающийся, истерический голос.

— Да что такое у вас? идите, рассказывайте скорей, Лидия Аркадьевна! — оживился Варшев, одергивая одеяло. — Правда, ограбили вас?..

В комнату вбежала стройная, красивая брюнетка, с матово-бледным, «итальянским» лицом, тонким, но как бы закаменевшим. Мокрая шаль, белыми букетами по золотому полю, волочилась за ней с плеча. На ногах у ней были ночные красные туфли-шлепанки, ситцевый капот был на груди расстегнут, прекрасные ее волосы рассыпались по плечам и груди. Прижимая к себе, у сердца, зеленый кувшинчик, она стала однотонно выкрикивать, каким-то деревянным голосом, в одну точку на потолке:

— Мы погибли... моих малюток... Лидусю и Марочку стукали головками... требовали золота... папу били... мамочку, больную... сдернули с постели... и всё, всё... мое бриллиантовое колье, все наши империалы, золотые часы, все бумаги... кольца, серьги, папин золотой портсигар...

— Да что-о вы?! — привстал на постели Варшев, — и на много?..

Варшева спешно закуривала смятую папиросу, руки у нее дрожали.

— Ах, не знаю... всё, всё... — выкрикивала молодая женщина в какую-то одинокую точку в мыслях, прижимая кувшинчик к сердцу, — сбережения всей жизни, что удалось спрятать... Папа пошел жаловаться... Как они стукали головками!... Я целовала им руки, ноги... не убивайте, возьмите всё... ужас, ужас, ужас... Дети голодные, просят молока... папа пропал с утра... я ничего не вижу, как... куда...

— Ка-ак?! — не своим голосом крикнула Варшева. Это «ка-ак» выкрикнули оба, Варшев и Варшева, и потом их слова перемешались:

— Ка-ак?! Такое было у вас богатство, такие миллионы!.. И вы, вы... притворялись нищими... так таились... Аркадий Николаевич приходил к нам, сидел и ждал, чтобы ему пред-

ложили стакан молока... каждый вечер... и вы имели такое богатство... и вы, вы, вы...

Я не помню, кто и какие слова кричал. Помню, как Варшева тыкала воздух папироской, которая у ней сломалась, и ее грязно-серые волосы прыгали по ее морщинам; как Варшев, откинув одеяло, с мохнатой грудью, видной из-за рубашки, тряс бородой-метлой, как дремучие его брови угрожающе двигались, а антрацитовые глаза сверлили. Помню окаменевшее лицо молодой женщины, ужас, на нем застывший. Она пятилась, выставив перед собой кувшинчик, словно хотела защититься.

— Что... что... что... — не то спрашивала она, не то просто произносила попавшееся ей слово, и вдруг, что-то поняв, неистово вскрикнула и кинулась вон из комнаты. Я видел, как мелькнула она в окне, размахивая кувшинчиком, и как волоклась за ней мокрая шаль с букетами.

— А-а-а... а-а-а?!. — задыхался Варшев, натаскивая к себе с полу одеяла. — Так, так низко... Так пасть... Я положительно не могу прийти... — удушливо шептал он, смотря на меня опешенно и все натягивая тяжелое одеяло. — О-о-о... — выдохнул он, изнемогая. — Софи, куда же ты ушла... дай нам сюда чаю и приди... я никак не могу.

Старуха гремела чем-то. Я отказался от чаю и убежал под ливнем. Сразу за мной пропала Панорама — туман проглотил ее. Он становился гуще и холодней. Не было ничего, нигде: туман — и в тумане шорох. И бывшее стало сном.

Август, 1928 г.
Ланды

ИЗ «КРЫМСКИХ РАССКАЗОВ»

СТЕНЬКА-РЫБАК

(Рассказ доктора)

...А вот, господа, был в моей практике преинтересный случай. Психологически интересный и как раз иллюстрация к нашему вопросу о звере в человеке, в частности — о «русском зверстве». Пришлось много и повидать, и испытать, опыт имею достаточный. И теперь еще удивляюсь, как жив остался.

Дело было в Крыму, на побережье, в маленьком городке. Приехал я туда совсем молодым врачом, без копейки денег, послали меня лечиться от чахотки, — профессор Остроумов меня отправил, как подающего надежды ассистента, дал своих триста рублей и рекомендации, — и я не только вылечился, но и навсегда там укрепился. Года четыре выслужил в земстве, приобрел практику, женился, выстроил чудесную у моря дачу, словом — стал обеспеченным буржуем. Как полагается врачу с общественными наклонностями, «передовому», читавшему «Речь» и «Русские Ведомости», бывшему земцу и в некотором роде почти народнику, записался в кадетскую партию и *вел* в городишке дружную группку либералов. До конституции старались освежать городское самоуправление, с переменным успехом вышибали крепкого богача татарина, монархиста, и мелких «зубров», потом, со свободами, победили решительно, привели городок в порядок, выстроили народный дом... Население относилось ко мне недурно, не отказывался ездить и по ночам в разные там слободки, где ютился рабочий люд, — копачи, рыбаки, дрогали... Ну, в сезон, когда курортные наезжали, манкировать приходилось, да и тяжелел с годками. Но, повторяю, недовольства ни в ком не замечал. И вот, как часто бывает, случился один пустяк, которому я не придал значения, но... посмотрите, во что он вылился.

Во мне всегда была слабость к садоводству, — наследственная, пожалуй: я из духовных, ярославцев, и предки мои лю-

били это дело. Есть сорт яблок, «мироносицкая поповка», перекрест из мирончиков и еще каких-то, — отцовской выводки, в каталоги попали. Эта негрешная страстишка и к Крыму меня, пожалуй, прикрепила. На своей даче я завел образцовый виноградник... — сам Пастак с Сарибаном приезжали, славные наши крымчаки-садоводы, и восхищались садом и виноградником, — насадил груш и яблонь, развел розарий. И вот, удалось мне вывести один новый сорт — кальвиль, с «антоновскими» достоинствами: и аромат, и вкус чрезвычайно тонкий, и сочность редкостная, и, самое главное, плодовитость, устойчивость, выносливость. Лет десять над этим бился, выписывал с разных мест посадки, привез триста возов земли из-под Козьмодемьянска, особенной, какого-то «размыва», по совету дворцового садовода, — и, наконец, добился. И вот тут-то и начинается тот «пустяк».

Работали у меня по саду копачи, и так — парнишки. И был между этими парнишками некий Стенька, рыбачий сын, личность довольно сложная. Красивый мальчик, сильный, сухощавый, нервный; что-то как будто древнее было в его взгляде, степное, дикое. То посмотрит — совсем ра-сейский, из-под Орла, ласковость и задумчивость в сероватых глазах и облике... то, вдруг, так глазами и загорится, как черт в нем бьется, — что-то татарское-генуэзское, разбойное. В нашем Крыму, по побережью, всякая мешанина есть. И вот, этот парнишка, лентяй отчаянный, — лет пятнадцать было ему тогда, уж ходил с отцом в глубокое море «за белугой», — стал примерным работником. Прогнал я его как-то за безделничанье и лень, гляжу — побелел, трясется, чуть не плачет: «Дозвольте опять приходить работать, буду вот как стараться!» Попробовал, оставил. Как шелковый, так и горит в руках. И что же, можете себе представить, оказалось: лю-бовь! В Риночку мою влюбился, в дочку мою Ириночку. Ей было лет двенадцать, но она казалась старше, — крымское созревание, в мать пошла. Она, понятно, ни сном ни духом, совсем ребенок, лазит по миндалям в белом своем платьишке, черная головка всегда, от солнца, повязана красным шелком, — все, бывало, любуются. Правда, я примечал, что уж очень услужлив Стенька. То сандалию ей поднимет, с ножки у ней соскочит, то какого-нибудь редкостного жучка отыщет, то... — чуть она позовет кого, что-нибудь ей помочь, он сломя голову летит. Сперва я не придавал значения. Как-то приходит в сад, в белой татарской куртке, обтянутый, брюки-диагональ, и розовенький платок на

шее! Подумал — должно быть именинник, или в горы едет, — брали его когда приезжие, для услуг. А вечером Риночка маме и шепчет по секрету: «Мальчик Стеня ручки мне целовал, и змею при мне убил... и написал записочку про любовь». И показала записочку, в каракулях: «Я люблю вас, Риночка, больше жизни, и не могу без вас жить на свете». Побранили мы, зачем руки грязному мальчишке давала целовать, а она нам — «он нынче не грязный был, и сказал, что я первая принцесса, а он мой раб... это мы так играли». Ну, что с нее взять, ребенок. А утром, как он явился, я ему и прописал «раба». Уши ему нарвал, сгоряча, и — фить! — из сада. И чтобы больше и ни ногой. Пустяки, понятно, но у нас, на юге, всякие истории бывали, с этаких пустяков.

Прошло дня два, выхожу я на зорьке в сад, до визитации поработать, да так и ахнул! «Антоновские» мои кальвили, все шесть корней, самое драгоценное мое, — срезаны, как пилой, валяются, уж пожухли, а яблочки на них с грецкий орех уж были. В голос закричал, в сердце меня пронзило. Мерзавец, ясно! А следов нет. А он про эти кальвили знал, сам при мне чашки под ними очищал и всегда поливал при мне. И всегда Риночка тут вертелась, напевала: «вильки-кальвильки!» Ну, вызвал его отца, строгого мужика, из рыбаков, лечил у него не раз. Следов нет, а хулиганов много, — говорит: «знамо бы было, голову бы оторвал, а... как же тут дознаться!» Ну, он его все-таки отгладил. И, пропали мои кальвили. Пробовал повторить — не удалось, три года бился. Но с того дня начались для меня терзания. Поверить трудно, да и смешно как будто, а начались между мной, солидным человеком, и парнишкой война изводом. Да таким изводом, что я и сон потерял, и покой, и... чуть ли не до галлюцинаций со мной дошло. Да что там, до галлюцинаций... — до смертного ужаса дошло дело, как вы увидите.

Это случилось как раз в самый год войны. Дня через три после кальвильного погрома, только стал приходить в себя, встаю утром и вижу: все мои розы будто косой порезаны! И опять никаких следов. Сделал заявление в полицию. Безрезультатно. Стал сам караулить ночью. Сижу, как дурак, в кустах, поглядываю на звезды, лягушечек слушаю древесных, да сплюшки сплюкают. На садовника не надеюсь, да и ему спать нужно. А лишнего человека брать — и дорого, с войной все подорожало, да и не верится никому. Завел другую собаку, наша любила Стеньку, все, бывало, он с ней играл. Немного поуспокоился. И началась новая история.

Ездишь по визитам, а мальчишки из-за плетней и стенок кричат: «Я-б-лочки хороши!» Ну, глупость. Вида не подаю, а раздражает. Сам себя на мысли ловлю, что раздражаюсь, что этот дурацкий Стенька как-то в жизни моей замешан, что ничтожный пустяк может мне портить жизнь. Рыбачьей слободкой едешь — и опасаешься, гадости бы какой не сделал. И всегда что-нибудь да выйдет: то камень просвистит, то из рогатки щелкнет «гусятником», а про «яблочки», про «вильки-кальвильки» и говорить нечего. Как-то под утро — тррах... дзинн!.. Выбежали на веранду, собаки рвутся на стенку... глядим — вся наша веранда вдребезги, к соседской даче. А садовник бежит, кричит — все стекла в оранжерейке выбиты и пробный банан камнем перебит. И стал я как бы общим посмешищем. Пристав по виду сожалеет, а знаю, что ликует: полицию мы таки — подтянули, либералы. Говорит как-то подозрительно: «Очень странно, доктор, ни у кого не бьют, у вас только! конечно, мы строгие меры примем, а все-таки посоветую... одни по ночам избегайте ездить, не дай Бог худшее случится... неспокойный народ, пришлый». Глупейшее положение, чувствую — издевается. И знакомые стали осведомляться: «ну как, ничего ночью не было?» Только забудешься, поутихнет недельки две, — опять какая-нибудь гадость. На жену за Риночку страх напал, перестали в город одну пускать. И вдруг, получается письмо, не каракулями, а четко: «бойтесь возможного пожара», и подписано — «Морской черт». Глупо, а беспокоимся. А то стали изредка приходить ругательные открытки, пасквильные. Кто его обучал... но кто-то обучал. Жена стала получать самые грязные доносы, что у меня там-то было свидание, что видали меня в Ялте с гулящей девкой... всякие мерзости. Ну, прямо отравил и отравил жизнь. Так это с годик продолжалось. И вот, иду как-то в татарской части, улочки там узкие, кривые... и вдруг навстречу — Стенька, и с ним целая ватага таких же головорезов; шли с работы, обивали урожай с орехов грецких, в половине октября было. Пошли мимо меня, Стенька и кричит: «ну, толстопузый, попомнишь Стеньку!» В мальчишке — и такое злопамятство. Серьезно говорю — отравил и отравил жизнь.

С год я служил в Севастополе, был призван. Без меня затихло. Открыли в нашем городке госпиталь, и мне удалось перевестись. И началась старая история. Стенькина отца мобилизовали, и стал он за него рыбачить.

Летом, в 16 году было. Прибежала Риночка из города и говорит: «Видела на берегу Стеньку в лодке, поклонился так вежливо и сказал, что напрасно это ваш папаша на меня думает, но я ради вас все ему прощаю, а вас буду всегда помнить». Каков артист! И стал уже настоящий парень, с рыбаками как равный кутит — пускает пыль. А тут стало у нас тревожней. Как убили Распутина, у нас рыбаки праздник устроили, позвали солдат из лазарета, перепились и стали «долой войну» кричать. Пристав арестовал Стеньку, главного крикуна, и отправил его в Ялту. Правду сказать, это меня как-то облегчило, революция ожидалась. Я ее ждал с большим даже нетерпением, планами вдохновлялся, и — смешно вам покажется, нет-нет, а и вспомнишь Стеньку: как же он развернется и в кого обернется! Первейший хулиган, нож за сапогом стал носить.

И пришла матушка-революция. Митинги пошли. Выступал и я, как представитель кадетской партии. И вдруг — требует себе слова... Стенька! Революция его освободила, с трубными звуками. Сильный парень, красавец, дурак, понятно, и че-шет!.. одно удовольствие товарищам. За два месяца в тюрьме здорово навострился, с политическими сидел. И что ни слово — проклятие и угроза: всем буржуям кишки повыпустить, все отобрать, а их «к рыбкам гулять отправить». И стал он у нас как бы атаманом банды. Говорил с огнем, со страстью, и недурно, общие места, конечно, но умел зацепить за нерв. Словом, большевиком заделался. Меня — то по плечу потреплет, как равный с равным, то, словно муха его укусит, — грозит «смести». Раз на берегу пьяный встретился, во главе ватаги, ухватил за пиджак, — «ну, говорит, придет час... кишки повытрясем!» А товарищи — га-га-га, «яблочки будешь помнить!».

Сами знаете, какое время было. В лазарете скандалы, на фронт не едут, явились дезертиры, сады по ночам трясут... весь у меня виноград сожрали. Риночку мы к тетке в Симферополь отправили, страх за нее напал. В первые большевистские дни пришлось скрываться, ночью бежали в Симферополь. Прожили там до немцев. Доходили вести, что Стенька меня искал, кем-то заделался у власти. Вернулись к себе, глядим — дом не разграбили, и в саду ничего особенного не натворили. Садовник сказал, что приходил раз Стенька, с какими-то, обошел комнаты и... над Риночкиной кроваткой красную розу приколол. И пригрозил: только пальцем кто тронет хоть пушинку — ухлопает на месте! Куда-то при немцах смылся. И что особенно интересно: ни арестовывал никого, ни грабил, как

другие, только истошно надрывался и все обещал «правду показать».

В ноябре немцы смылись, и появился Стенька. Его не тронули. Ходил в море, не безобразничал. А Риночку мы брать из Симферополя боялись. Да и сами побаивались. Поползли слухи, что придут скоро большевики, и будет самая настоящая разделка, — с «кадетами». И решили с женой, на всякий случай, до лучших времен, при первой тревоге, смыться. Доходили с севера вести жуткие: «всех кадетов-буржуев к стенке!» В марте забрали Риночку и эвакуировались в Константинополь. В июне вернулись добровольцы, и мы вернулись. И тут самое интересное...

Прихожу в лазарет, а сестры и говорят: «а у нас Стенька-Рыбак лежит». И увидал я молодчика, в самом-то злейшем сыпняке, в беспамятстве, в пожаре. Уж и бредил!.. Весь тут характер его сказался. И ругался, и проклинал, и к чертям посылал, и плакал, и ласкался, и мамку звал, и кишки доктору выпустить хотел, и Богу молился, и Бога-то... И затомилось во мне, — и жалость, и грусть, и ласка. Это был чудеснейший экземпляр сильного и здорового парня, русского красавца, потерявшегося во всей этой беспардонности и хаосе нашем. Вдруг раскроет глаза и смотрит, дико и в ужасе, и будто вглядывается в меня, что-то ему мелькает. Глаза ввалились, стали из серых синими, в черноту... Я приказал, чтобы его не оставляли ни на минуту, чуть что — давали шприц. Давила меня тревога: надо его спасти! Спать спокойно не мог, вскакивал и бежал к морю, в лазарет. И вот, как-то, сидел я у его койки. Приподнялся он, — ночью было, — уставился на меня глазищами... как вскрикнет — «доктор!.. ура-а!..» — и шарк, к окошку. А в сыпняке у нас были на 4-м этаже. Он уж на подоконник прыгнул, я его за рубаху сдернул, так он и грохнулся, подбородком об край окна.

Выздоровел. Помню, зашел я к нему, сел у него на койке. Смотрел — смотрел на меня, зажмурился... «Доктор... вы это меня спасли... мне сестрица сказала... выходили меня, и ночью приходили... и барыня ваша приходила...» Сказал ему — это уж наше дело, спасать. Так головой покивал, будто приглядывался. «Ты, — говорю, — парень славный, только дурак, бестолково-горяч... а славный». — «Славный?..» — недоверчиво так спросил, — и слезы у него наплыли, и стыдно ему слез своих. Но пересилил стыд. Схватил мою руку — и крепко поцеловал. «Ну, доктор...» — и подавился слезами, не мог сказать.

Выписали его. Поручился я за него, он этого не знал. Видит — не трогают, стал рыбачить. И еще на ногах шатался — вышел с друзьями в море. А тогда у нас с продовольствием туго стало. И вот, рано утром, в веранду — стук! Выбегаю — и вот, картина, стоят трое: впереди, еле на ногах, худой, желтый после болезни, Стенька, и у его ног круглая корзина, полна хамсы; а по бокам, отступя, — как адъютанты, двое и у каждого в руках такая же корзина. «Солите, доктор!» Отказать не мог. Тут уж и я... заморгал. Он меня так и продовольствовал: и кефалью, и камбалой, и скумбрией, и нипочем денег не берет. Эвакуация подошла. Пришел он ко мне, сказал: «не уезжайте от нас... не дозволим тронуть». Я остался. Правда, меня арестовали, но Стенька тут ни при чем, напротив... И пришло страшное, и в этом страшном... но об этом как-нибудь в другой раз.

Март, 1936 г.
Париж

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

(Рассказ доктора)

...Что сталось со Стенькой-Рыбаком, о котором я вам рассказывал, господа, узнаете. А сначала расскажу о самом страшном. Прошу извинить: в рассказе будет одно очень... как бы это сказать... ну, остренькое, что ли, место, но я постараюсь несколько смягчить эту оголенность моего «случая из практики».

От России оставался только Крым. Все чувствовали, что приближается развязка, и Врангелю в Крыму не удержаться, при всем его таланте выходить из трудных положений. И все же хотелось верить, что он наладит. Особенно, помню, окрылило, как он преобразил самое неуемное — рабочих севастопольского порта: они восторженно его встречали, чуть ли не качали. И вот, в некоем уповании на чудо, мы, группка интеллигентов, организовали «Общество возрождения России». Представьте: была даже секция — «религиозного обновления народа!» Опыт «великой и бескровной» открывал новые пути сознания. Устраивали собрания, говорили речи, развертывали перспективы будущей работы, «когда все это кончится». Стенька-Рыбак, представьте, слушал жадно, втискивал как-то в перевернутые свои мозги, орал — «правильно!» — и так бешено ерошил свои лохмы, словно хотел сейчас же приняться за работу — и возрождать. Как-то подходит и говорит: «вкатывайте и меня, буду расчищать *авдеевы* конюшни!» Вместо «авгиевы», понятно.

Меня избрали председателем. Ничего боевого в Обществе нашем не было: большевизм рассматривался, как «нравственная зараза», и изыскивались «светлые пути». Вот этот-то свет, кажется, особенно привлекал Стеньку, при всей его оголтелости... Словом, мы отмывали душу. Был в нашем Обществе некто, беженец, с севера, очень услужливый, все клонивший к острой непримиримости, предлагавший «дело», а не сло-

ва — вести списки «скрытых большевиков» — из населения — для будущего очищения от плевел. Но мы остались в рамках аполитичности.

После разгрома Врангелем конной армии Жлобы все как-то позатихло и стало путаться. Ликование вдруг увяло, и поползли слухи, что — «прорвутся». Помню, в конце сентября, к ночи, явился ко мне Стенька: «ветер крепчает, доктор... подтяните парус». В чем дело? Оказывается, «непримиримого беженца с севера» арестовали, уличили в работе на большевиков и отправили в Симферополь, а на Перекопе очень плохо; опасаться мне нечего, рыбаки и рабочие считают меня «великим борцом за трудовой народ» и не дадут в обиду, но... — «переберите всякие там бумажки и сожгите, «беженец» этот из зловредных».

Сказать правду, я не тревожился. Необычайная преданность мне бывшего «врага», Стеньки, которого я вырвал у сыпняка, действовала как сильно успокоительное средство. Ну, придут, буду работать с народом, а не с теми, Стенька прямо меня прославил: в сердцах дрогалей и рыбаков получил я высокий титул — «друг народа». Едешь слободками — все дружески встречают, радостно улыбаясь, будто дал им на выпивку, предлагают рыбки или шматочек сала. Самые головорезы дергают картузы, кричат: «Михаил Степаныч, здоровеньки булы, как дела?» Говорили даже: «все бы такие были, нам и леворюции не надо!»

И вот, грохнула вдруг эвакуация! Помню, конец октября. Прибегает Стенька: «доктор, не уезжайте... с кем же мы-то останемся! поведем вместе светлые пути, будем очищать эти вот... агеевы конюшни! вы наш, народный, свой... головой поручусь, никто не посмеет тронуть!» И в голосе что-то, с дрожью. Я мог уехать. Но пораздумал: Риночка в гимназии в Симферополе, у тетки... да и жаль стало дачки, сада... жаль стало и милых дураков своих... Остались.

Пришли *они*. Помню — валило в улочках баранье стадо, в овчинах, в лохматых шапках... — дикари! Отку-да?! А над «дикарями» — *эти*, все бритые, с холодными глазами, с поджатыми губами, нечеловеческие лица. Чужие лица. Отку-да взялись?! У всех наганы, галифе, и злое, затаенное: «ну, теперь!..» Словом, дорвались. И началась разделка, «по системе»: обыски, аресты, изъятия, расстрелы! Помела «железная» метла, по телеграмме «военмора»! Рубила мясорубка. Вы знаете, Стенька стал у *них* кем-то... властью. Прибежал ко мне:

«мы вас застраховали, доктор, вот бумажка». И налепил, с печатями, при входе: «под охраной ревкома, медицинский пункт». Угрожалось всем, кто посмеет вселять или выселять: «расстрел на месте!» С месяц меня не трогали.

И вдруг, — «беженец с севера», верхом, в сапогах со шпорами, с наганом. Член какой-то «тройки». С ним команда, наши дуроломы, с винтовками. И так важно: «именем рабоче-крестьянской власти, ордер чека... должен сделать обыск!» Вижу — Стенька, сзади. Бледный, злой, глаза сверкают. Кричит: «Товарищ Ярый, поосторожней! за доктора весь революционный пролетариат, вот телефонограмма...» Сунул какую-то бумажку. Тот прочитал. Ко мне: «а, гражданин председатель возрождения *царской* России! мы вас *возродим!*» Стенька ему: «товарищ Ярый, тут было *светлое* возрождение, а не контрлеворюция!» А тот, так это, через голову, на Стеньку: «по мандату, назначаю дачу под морской пункт, а гражданина возрождателя перевести *под* дачу!» И — ко мне: «знаю, Общество ликвидировано, но вы еще не ликвидированы... ну, нам покажет обыск». Стенька на него: «превышение мандата! наша ячейка сейчас снесется с губчекой, и я вам покажу!» Ноль внимания. Все перевернули: бумаги, книги... «Где список членов, с подписями?» Список я сжег, понятно. «Мы разыщем». Не арестовал. Велел перебираться в пристройку, где садовник, а того на наше место, охранять. Стенька мне крикнул: «доктор, не тревожьтесь! вас охраняет весь революционный пролетариат!» Пошли они, и всю дорогу, пока я слышал, Стенька его печатал.

Въехали к нам матросы, «морской пункт», — быки быками. Тут же забрали на пустыре корову, зарезали на винограднике, освежевали. Бабий визг, гармошки, привезли вина от Токмакова, пошел угар. Что было ценного, закопал я на винограднике. Матросы пили, жрали, наблюдали в бинокли с «морского пункта», с моего балкона. Помню, ночью, вышел я на виноградник, выкопал ценности, — золото, бриллиантики жены, серебряные ложки... Копаю и обливаюсь потом: ну, услышат! ждал ареста. Жена куда-то отнесла, на время.

Новый обыск. Опять тот, «беженец». Чего обыскивать, матросы всё перевернули. На рояле лежали у меня газеты, книги, — матросы рвали на цигарки. И, — черт ему помог, — цоп, какую-то книжонку — и нашел! *Тот* список. Сам я когда-то сунул и забыл. Помню, когда сжигал бумаги, сжег и список членов нашего Общества, а это оказался первый список, ини-

циативный, — все подписи, и моя, в заголовке списка. «Вы арестованы!» — радостно так крикнул, даже в зобу дыханье сперлось. Поглядел я так... — нет Стеньки, моего заступника. Матросы смотрят равнодушно, быки быками. «О, попался-влопался, а еще до-ктор!» Один спросил того: «а вы, товарищ, по мандату?» — «Ну, понятно... а что, товарищ?» — «Ну, по мандату ежели... а то мы не дозволим, покажь мандат». А у меня с ними уже наладилось, ходили на прием, — понятно, «детские болезни». Корову режут — нам обязательно кусище: «старайтесь, товарищ доктор, для народной власти». И смеются: будто это в шутку, про власть-то. Бывало, откровенничали, спьяну: «думали — так, игра... ан, вы-шло!» Стали глядеть мандат. «Тут про арест не сказано.. сперва принесите про арест, а доктор нам необходим... пшел к черту!» Отстояли. Прошло с неделю, не тревожат.

Как-то приходит Стенька, зачем-то ездил в Симферополь. И говорит: «эх, доктор... говорил я вам — сожгите все бумаги! а теперь мне трудно, попался список... ну, да уж потягаюсь». Очень был опечален. И вспомнил я тогда из сказки: «эх, Иван-Царевич, говорил тебе...» — как Серый Волк пенял, — «ну, да уж как-нибудь... то была службишка, а это — служба». Поговорил с матросами, — «это самый первый друг рабочего народа!» — я слышал. Матросы тоже за меня: «нам доктор до зарезу нужен!»

Дня через два — солдат, с бумажкой: «к товарищу Месяцу, в ревком». Псевдонимное такое — тов. Месяц, глава чеки. Матросы называли — «сволочь-лобуда». Пошел я. Тов. Месяц засел в батюшкином доме, а батюшку угнали в Ялту, на расправу. Дом прекрасный, на берегу, опутан колючей проволокой, стоят солдаты, охраняют, — от кого! Ни души народу. Ввели меня. Большая зала, вид на море. Узнал я — и не узнал. Бывало, играли в преферансик, обедали на именины. Пальмы погублены, иконы сняты, везде плакаты эти, против тифа, «с вошами», и весь синедрион-олимп: эти портреты-штампы, будто грязью. Тов. Месяц... и вправду, месяц: морда — шар, будто из красной меди, как полный месяц, летний, на восходе. Широченный, грузный, бокастый, в коже, — ну быкобоец, толстошея. Рыжий, глазища... что-то бурое, в наплывах. Не русский. Подумал — кто же он? Литвин, латыш, венгерец? Мешаный какой-то, без роду-племени, какой-то общий, выплав. Говорит — сипит. Коверкает слова. Выкатит глаза — что-то свинцовое, *пустое*. Только и разговору было: «а-а...

до-ктор...» на «ор», — «а-а... ты у мена... я тэба... ту-да!..» — и к полу пальцем, медным, толстым, как сосиска. «У мэна... слова коротка... а-а... стэнка...» — на «ка». Я подумал — не чех ли, вспомнил гимназического «грека». Мешаный какой-то, жуткий.

Меня отвели в подвальный этаж дома, где была прачечная и чуланы. Там уже сидело пятеро: старик педагог, писавший о языке Ломоносова, дачевладелец; дрогаль, избивший чекиста за своих коней; винодел, не выдавший вина без ордера чекистам, и два старичка дачевладельца, не сдавшие оружия — дробовиков, пугать на винограднике дроздов. Только разговорились про свои горя, — крик с улицы: «до-ктора давай!» Голосов тридцать, зычных, будто таранят стены, в один голос: «доктора давай!» И все грозней. «Не уйдем, до-ктора нам отдай!..» И голос Стеньки, ярый, с взвизгом. Будто на митинге: «он первый друг рабочего пролетариата, отда-вай!..» И — понимаете — «печати». Уж на совесть. И слышим, тов. Месяц, как из бочки: «по-лью... из пуламота!» Погалдели — и отошли.

Повторялась эта история три дня. Тов. Месяц, слышим, объявляет: из Ялты ждет приказа. Стенька кричит: «выпусти, мне губчека застраховала доктора!..» Крик, гвалт, — будто пришел весь городишка. Вой прямо. Рыбаки, садовники, дрогали, со всех слободок: «разнесем чеку, до-ктора подай!» Месяц им свое: «из пуламота!» Отошли.

Ночью вызывают на допрос. Тов. Месяц, пьяный, в руке наган. Выкатил глазищи, сбычился, что-то свинцовое, тупое: «сво-лочь... мутишь народ! завтра тэба... выведу... в расход... ту-да!...» — и пальцем в землю.

Я знал: в подвале, к морю, *выводили*. Старичок, писавший о Ломоносове, старался утешать меня: «помолитесь... — он был костромич, все окал, — Месяц водил меня в подвал два раза, такая у него манера — помытарить... может быть и вас пугает... вы помолитесь!» Спросил, есть ли на мне крестик. Не было крестика на мне. Он снял с себя крестик, отцепил, себе образок оставил. Нашли мочалочку, надел я крестик... «Вам сразу будет легче». Правда, стало легче.

Утром пришли матросы с пункта: «доктора давай, нам он нужен! сами тебя из пулемета!..» Ну, и... «печати», крепко. Тов. Месяц испугался: матросы, с ними не поговоришь впустую. Слышим, говорит полегче: получил приказ, всех докторов направить в Ялту, на эпидемии. Требуют — «покажь бумагу!» Говорят: ладно, сами прикажем Ялте. Отошли.

Ночь была бурная, шумело море. Вошел солдат с винтовкой: «тов. доктора, с вещами». Стали меня крестить. Шепчут: «с вещами... Господи...» Слышу — стучит мотоциклетка. И вспомнил, как говорили про татарина, служившего у белых: «завели мотор, вывели «с вещами» и прикончили, в подвале, к морю». Вышел я в темноту. Солдат толкает в спину — «теперь тебе не долго, не запинайся... сразу, не будет страшно». Долго меня кружило, или это мне показалось, что так долго. Помню, какое-то разбитое окошко, и ветер, с моря... и волей на меня пахнуло! Не забуду. Так захотелось жить, дышать... простором, морем. И вдруг, над ухом, хрипом: «дай его, я сам...» Тов. Месяц с фонариком, на каменном приступе, в руке наган. Помню, глаза в наплывах, тупые, оловянные. Стиснул за плечо и хрипнул: «сейчас, для испытания... *ее* узнаешь... ждет...» Все во мне застыло. Поднял к лицу фонарик: «а-а... бэ-лый... сейчас... освобожу... фить!..» — и наганом, к глазу, самой дыркой. Помню: будто тоннель, дале-кий, черный... канал нагана. Сдавил плечо и потянул куда-то, в черноту. — «Лезь!» Лестница куда-то... Опять спустились. Какие-то проходы, коридор, ступеньки. «Стой... сейчас... освобожу...» Во что-то ляпнул, — открылась дверь. Пахнуло перегаром, пивом. «Иди... гляди...» Месяц толкнул меня куда-то. Мигнуло светом... «Лезь!..» Месяц толкнул меня... под занавеску, наганом отпахнул пошире... — пестрая занавеска, помню. И я увидел... женщину! Она спала, без одеяла, на пуховике, — должно быть, пьяная. Я отшатнулся. Месяц удержал меня: «ты... ее... по ги...-иене, жи...вей!» Я не понимал. Я растерялся от кошмара. Перед глазами все качалось, в свете оплывавшей свечки. Я видел красные подушки, рыжую косу, розовую рубаху, тело. «Пьяная... корова... — хрипел над ухом Месяц, — по ги...иене, ее... обревизуй... черт ее знает... безопасно чтобы... живей!...» — и ткнул наганом в тело.

Что я мог? Я выполнил повинность. Да, я выполнил. Было и омерзительно и больно... больно за скотство, и страшно. Нет, не за скотство. Скотство — естественное состояние, природа. Здесь не скотское было, а... нет такого слова. Страшно... за *человека?* Нет. *Здесь человека* не было. Что-то — *вне всего.* Что-то... за-скотское, под-скотское... нет, неизмеримо гаже и страшней. *Это* не знает слова, нет такого слова в языке, и слово «Ужас» тут ничего не выражает: тут — предел *всего.* И вот что странно: я был, как автомат, врач-автомат. И всё исполнил, как обычно.

«Ну, как... в порядке?» — рявкнул под ухом. Я сказал: «насколько позволяет мне осмотр... в порядке». Помню, в голове вертелось слово «диагноз». Женщина зевнула, промычала: «бессты...жии...» Месяц задернул занавеску. Хрипнул: «обязан... для ги...иены, по-мни!» Я чего-то ждал. Месяц взял со стола бутылку. «Хочешь... угощу?» Я стоял и ждал. И получил свой гонорар: пинок во что-то и — свободу.

Вывели меня солдаты, под руки. Стучал мотор. Или в ушах стучало? Я остановился на дороге, на шоссе. Из-за стенки, под фонарем, окликнул кто-то: «доктор, вы?!.» Это был мой Стенька, голос его дрожал. Я упал к нему, схватился за него, плакал ему в плечо. Он что-то говорил и вел куда-то, торопил идти.

На пункте встретили меня матросы, была у них попойка. Помню, угощали спиртом. И я пил с ними... была жена и плакала, смеялась. Поднесли и ей. И она пила, от радости. И то *всё это*... было.

Апрель, 1936 г.
Париж

«ЕНТРЫГА»

После убийства Маши и разгрома фермы Пиньков совершенно одичал. На даче я его почти не видел: ранним утром он уходил на ферму, до самой ночи. Я почитывал Киплинга и смотрел на море. «Джунгли» отвлекали от настоящего, но оно лезло настойчиво на глаза. Пройдешься по веранде, забудешься, завернешь к закутку, — и белый, высокий крест вдруг так и полоснет по сердцу: «Маша Хлебникова... злодейски убита штыком в сердце...» Это «хождение по кресту» сделалось для меня потребностью, навязчивою пыткой. Я спросил Пинькова, почему он не уберет креста. Он мрачно сказал: «так... память». А сам убегал на ферму и перестал отдыхать в закутке.

С приходом немцев он опять принялся за свои краски, пробовал писать коров и Машу, по памяти и с этюдов, но ничего не вышло, и он оставил. Приходили из городка, просили уступить крест и давали мешок муки: трудно стало достать хороший дубовый крест, а в Ялте цены были невероятные. Пиньков отказывал, говорил: «нужен самому... за *такой* крест разве можно мешок муки... за него кро-вью надо!..» Торговавшие смущенно уходили.

Когда пустое море начинало меня томить, я тоже уходил на ферму. Там было полное запустение. Окошки домика были выбиты, рамы вырваны, коровники растасканы, только золотая гора навоза курилась сонно. От стада коров-красавиц уцелела одна Хорошка, любимица покойной Маши. Пиньков теперь пас ее по балкам, а к ночи пригонял на дачу, где стерегли ее ярые овчарки. Держал ее Пиньков ради памяти, и для сироток: пятилетка Лялька и четырехгодовалый Степка воспитались на молоке, а время подошло скудное, — Хорошка всех и вывозила. Для присмотра за ребятишками Пиньков взял пожилую польку Юзефу Ивановну, застрявшую в городке, — в те дни фронт не установился, и выбраться в Польшу было

трудно, — и она кормила нас пончиками и клецками, благо у хозяина было еще муки с избытком.

Издали еще увидишь художника-пастуха в глубокой балке: сидит под шляпой-грибом, сутулый, постукивает палкой по камешку — все думает. В кустах мелкого граба краснеет широкая спина Хорошки, кормится одинокая красавица. Заслышит шаги, поднимет голову, поглядит вдумчиво, вытягивая слюну по грабу, отмахнется ухом и окунет голову в кусты: свой. Так и сидим, пасем, молча. О чем еще говорить, все известно.

— Да, библейские времена... — начинает Пиньков прерванные мысли, — но тогда, тысячи лет назад, было проще... сидел какой-нибудь Исаак и пас свою Хорошку, а амаликитянин подбирался к нему с пращей или с дубиной, и — по башке. А теперь всё это по бумажкам и с пулеметами. В те времена хоть «откровения» бывали, — «будешь, мол, благословен, потерпи только, вот — *прииду»*. А теперь — придет, и... из пулемета! Искусство... конец искусству! Какого черта изображать радости и страдания «богоносца» Гришки Марчука, если отлично убедился, что радость для него — насиловать и всадить штык в спину, а страдание... — когда это не удалось! Или — красоту русской Маши, когда за всю ее хорошесть то́лько и суждено, что... крест. Сгущаю краски?.. Да ну их к черту, пусть все засохнут! Искусство живет в тиши, когда поет и цветет душа.

Так мы беседовали. Иногда к нам спускался с искровой станции, на самой вышке, немецкий унтер и сообщал военные новости, но они умещались в двух-трех словах: «опять наша победа». Впрочем, раз сообщил под секретом, что убили в Киеве ихнего генерала. Потом, в ноябре, немцы ушли как-то незаметно, и потянулось ни то ни се, до самого конца марта.

Пришли большевики, но очень-то пока не нажимали — опасались, как бы их не закупорили на Перекопе, с Ак-Маная и Таврии. Пиньков сделался еще угрюмей. Все, бывало, постаивал над фермой, поглядывал, не поднимается ли кто из городка в тихую пустыню нашу. Мне думалось, не Гришку ли караулит, грозившего показать ему «за оклеветание убийства». Тихая весна стояла. Одинокие груши, остатки старых садов татарских, дымились в белом цветении по холмам, как робкие невесты. Хорошо пели зорями дрозды. Судаковская цепь золотилась на закате. Пиньков всматривался и ощупывал топырившийся карман штанов: там лежал браунинг, «на случай».

Мы не любили спускаться в городок, не читали бумажек о «поголовной мобилизации», о «явке офицеров», о «расстреле на месте», если найдут не сданное в срок оружие. Юзефа приносила эти приятные «сюрпризы», умоляла Семена Николаевича не носить «смерть» в кармане. Пиньков говорил мрачно, ероша седеющие кудри, давно не видавшие цирюльника: «если гадина приползет, я ее...» — и нащупывал в отдувавшемся кармане.

Но гадина все не приползала: выжидала срока более подходящего.

Как-то, в начале апреля, сидели мы у сарайчика. Юзефа доила Хорошку, Лялька и Степанка чавкали галушки и мазали рожицы сметаной. Стали загораться звезды. И вот, в чуткой тиши, посыпались камешки под горку, яростно кинулись овчарки, и ленивый басистый голос крикнул — «у, дьяволы!..» Пиньков схватился за свой карман. На темневшем небе выступила широкая тень, тяжело, с хромотцой, ступавшая.

— Кто идет? — крикнул Пиньков тревожно.

— Не узнали, Семен Миколаич!.. — сказала тень и приостановилась, закрыв все небо. — Да я, Федор... Хлебников-то... вот, за товарищами пробрался через фронты. Три месяца ждал, покуда наши прорвут ваш Крым. Ну, как, здоровеньки ли?.. — Тень добралась до нас, сбросила мешок на землю и стала совать нам руку-лапу. — Про Машу мою все знаю, в городе знакомые дрогали угостили радостью. Эх, не знал раньше... я ведь Марчука в наших краях, под Щиграми, встретил... только и сказал, паскуда... твоя Маша, говорит, с барином не скучает, только и сказал. А про главное, какая тут ентрыга вышла с Машей, ни слова, паскуда, не сказал... я б его обземь, прямо!..

Он говорил спокойно, лениво даже и называл *то*, страшное, каким-то дурацким словом — «ентрыга». Пиньков молчал. Детишки поглядывали, не понимая, дожевывали галушки и мазались сметаной. Федор сказал — «мои? ишь ты, какие стали... а ну-ка, погляжу...» и присел к ним на корточках. Они испугались и отодвинулись. Загоревшие их личики в сумерках совсем сливались, только сметанные губы чуть белели.

— На огню погляжу, каки-таки сиротки мои, в хату надо... — спокойно говорил Федор. — Ляльку по другому году оставил, а Степашку и не видал. Я уж покуда к вам, Семен Миколаич, кормите сироток. Эх, за Машей моей не доглядели, не сберегли... вот и приласкайте меня, три года меня в плену вошь точила, а теперь горе точит... ентрыга эта...

В мазанке, где жила Юзефа с детьми, Федор сел на постель Юзефы, покрытую вязаным белым одеялом, и посадил на колени ребятишек. Они ревели и отмахивались от страшного чужого дяди. А он был и на самом деле страшен. Огромный, плечистый, гора горой, с рыжими вихрами, с черным лицом, на котором от верхней губы до уха тянулся беловатый рубец от раны, с повислыми русыми усами. И на всю мазанку несло от него денатуратом. Глаза у него были светлые, какие-то пустые, с холодноватой синью, в набухших веках.

— Вы чего ж так глотку-то дерете, глу-пыи... я ж ваш папашка, с войны пришел... вошь меня сколько в плену точила... Как к вам-то рвутся, а! Ну, ступайте к барину, стал за папашу вам. Да как же так, Семен Миколич... сколько я писем гнал... хошь бы мне одну словечку Маша пустила, и на марку не надо тратиться... Неуж вы все письма мои ховали, а? Ну, отбивали Машу, ну... я на это... наплевать мне, ее воля, с ней теперь не поговоришь, раз такая ентрыга вышла... Хочь бы разок приласкали... вошь меня точила... дак вы хочь бы деток про папаньку обучали... придет, мол, вы его приголубьте... они мои, кров моя... — он выговаривал круто — кров, — а они вон не признают, к вам так и кидаются... это нехорошо. И Машу мою на потеху отдали паскуде... Как вы ба-рин, обязаны защитить. Ну, не буду. Ну, ентрыга вышла, ну... Винцом хоть бы угостили?

Пиньков принес бутылку розового аликанте. Сидел — молчал. Юзефа уложила ребятишек и сготовила новые галушки. Федор ел жадно, почмокивал, черпал сметану, как похлебку, и запивал сладким аликанте. Рассказывал про жестокий плен, и как он выучился сапожному рукомеслу, теперь вся семья будет у него обута, и барину сошьет, и Юзефе Ивановне, всем сошьет. Качал головой на сметану с галушками, на соленую свинину, на белый ситный, — какая господам сласть! И бабы у них, и всякое удовольствие. С аликанте его развезло пуще, и он, запалив жестокую папироску, повалился на белую постель Юзефы, как был, в бурых штанах и в пыльных тяжелых сапогах с гвоздями.

И вот с этого вечера начался кошмар.

Утром Федор ходил спокойный, даже как будто удрученный. Только подойдет тихо, осторожно, чтобы не испугать, и погладит детишек по головке. Первые дни, плотно закусив варениками в сметане и выпив бутылку аликанте, — аликанте очень пришлось ему по вкусу, и он уже не хотел другого, а

требовал: «этого... деликатного давайте!» — уходил в городок, «доподлинно навести все справки про «ентрыгу»! Юзефа его видала: сидит у ревкома, плачет, трет глаза грязной тряпкой. А кругом рыбаки и красноармейцы слушают и жалеют словно. К обеду приходил к нам и ел за пятерых «сладкий борщ», клецки в масле и жареную на сале соленую свинину. Порой и жаловался, что мяска вот что-то маловато. Лез лапами в папиросницу барина и загребал сразу по десятку. Сидел в холодке, палил. Потом заваливался в боковуше, у высокого белого креста. Крест ему очень нравился и наводил на мысли. Говорил Пинькову:

— Надо капиталы иметь большие. Мало вам креста, памятник какой загнули Машухе моей, в тыщу рублей! Ведь это целое хозяйство, корову купить, пару лошадок, дроги хорошие, волов пару... как Машу-то почитаете! Ну, имели удовольствие, понятно, баба-то была какая!.. — И начинал причитать. — А вот, не платили ей за удовольствие. Я книжку ее видал, на сберегательную... четыре сотни только, за четыре-то года...а? Образованные люди должны бы досмотреть все, про сироту. Довели до чего... все деньги лопнули. Да как же так не обменяли? Я все дознал, про ентрыгу... рыбачихи сказывали, он... про вас то... все в золото оборотил... все свои капиталы с молочка... золотые часы скупали, кресты-и, цепочки-и... и теперь у него столы ломятся, все масло со сметаной едят, а мы, грешные, трудящии... вот! Четыре сотни выданы мне от большевиков, на смех. На табак не хватит... а?! И вот, крест стоит... за все про все. Штыком в спину, сквозь душу. Это меня, штыком в сердце, Семен Миколаич. Ну, я не злопамятный. А как же, для хозяйства? какое сиротам наследство от покойной? Ведь заработала... день и ночь на вас работала. Мине говорят дрогали, выбирай с него, тащи, что надо... обязан! А то, прямо, иди в чеку, вели полный обыск, всё оружие, которое у вас... Я зна-ю, мне бабы сказывали. А я говорю, за чего я стану губить барина, он Машу мою любил, он меня не забудет, он сирот моих, кров мою, прикрыл... он меня вокипирует для полного хозяйства...

Поспав под крестом до четырех, Федор просил «чайкю». Выпивал кружек десять, просил еще аликанты — и курил на порожке, поглядывая на море, и потом шел в городок, плакаться у ревкома. Иногда садился на табурет и шил детям чувяки и башмачки из кожи, добытой для него Пиньковым. Пиньков ни слова ему не говорил, не оправдывался, не спорил. Я удивлял-

ся силе его терпения. Он как будто решил, что всё, что ни говорил Федор, была самая истинная правда, против которой не поспоришь. Сказал мне как-то:

— А все-таки он мужик хороший. Каша и в душе, и в мозгах, но... он не виноват. А кто во всем этом виноват?.. Ведь мы, с вами *все*, кажется, понимаем, во всем разбираемся... а этого вопроса решить не можем. Или — не хотим? Скажите, кто же виноват во всей этой «ентры-ге»? Одно остается нам, чтобы облегчить душу... крикнуть: черт виноват!

Так продолжалось до последних дней мая, когда поползли слухи, что большевики начинают сматываться, что белые обходят с севера.

Помню, при мне случился оетренький разговор. Федор пошил всем обувку: и детям, на дорогу, и Семену Николаевичу, и Юзефе, за галушки и пончики. Сшил и себе хорошие сапоги. И вот, к вечеру, после последней бутылки аликанте, — действительно, последней из большого запаса, хранимого Пиньковым для оттяжки уныния в дни лихие, — сказал Федор:

— Пора домой. Заберу ребят, швейную машинку Машухину, всё хрунье... Вы ей даже шелкового платьишка не подарили, за всё ее старанье, за любов... а настоящие господа как мадамов своих содержат!.. А потому, что не из благородных, а крестьянского сословия, и без защиты. Ну, кто старое помянет.. ладно. А как же я всю муру поволоку под Щигры, а кто мне поможет хозяйство поставить на колодку, а? Вы барин, хороший, душевный... картинки пишете, Ма-шу мою прописали как живую... по самые груди написали, для показу за деньги... это я знаю, озорникам показывают и денежки какие огребают. Для памяти обя-заны ублаготворить...

— Конечно, Федор... — сказал покорно Пиньков. — Я обязан. Ты, конечно, не поверишь, что Маша твоя только твоя и была, что я до нее и пальцем не коснулся, смотрел только. Хорошая она была. Я ее звал на дачу, чтобы не ночевала одна на ферме, но она стыдилась... может быть, меня боялась. Твое дело, верь, не верь. Да, виноват я, деньги ее пропали, надо было их обменять на золото. Да я, все равно, возместил бы ей трудовые ее...

— А что я говорил! — сказал Федор и стукнул по столу. — Вы, может, десяток часов — цепочек — крестов наменяли на себя! Я вам не в укор скажу, а рыбачихи чего домекают. Дело темное, вся ентрыга эта. Гришка убил! Гри-шка ей штык вса-

дил! А дело темное. Я не желаю допустить, это немысленное дело, а говорят злые языки про вас... — может, он сам ее, ночным делом... Почему собаки допустили, а?.. Чужого не должны бы допустить, не захватил бы Машу?..

Пиньков только головой качнул.

— Ну, еще чего скажи... — сказал он тихо.

— А вот что... дело темное. А зачем он ей.. крест с могилы вырыл, к себе поставил?! А для совести, говорят.. ка-яться стал, сердце ему сосет. И па-мятник, огромадный камень навалил, из Ялтов! Ну, дуры. Всем говорю: от больших капиталов это он, для памяти. И штыка у него не было никогда, а у Гришки штык видали...

— Да, ты это верно: от капиталов я. Ну, так знай. Поедешь домой хозяйственно. Так мне Маша твоя велит.

— Да Го-споди! да разве я чего думаю! Я с тем и шел, одна у меня надежда была — добрый барин, понимающий, Семен Миколаич, господин Пиньков. Деток моих приласкал, Машу мою успокоил, вечную ей память поставил. Господь рассудит, про все ентрыгу нашу... и — делу конец.

Пиньков с неделю ходил с Федором по округе, торговал пару коней. Да, говорили верно: у него было на что купить. За пару коней отдал он уцелевшему помещику Варшеву двое золотых часов. Дроги у него были. Подарил Федору хорошее пальто, — Федору не годилось, но можно и обменять, — золотые часы, мешок муки, две кипы прессованного сена на дорогу. Выпросил у него Федор и «игрушку» опасный браунинг: «вам ни к чему, запрещено строго господам, а мне для лихого человека пригодится, дело дорожное, и все у меня мандаты при себе, от самой чеки имеются: «нашему товарищу Федору Хлебнику, вольный проход с детьми-сиротами». Ляльку и Степашку обшили, купили им пальтишки — выменяли у голодавших дачников, — совсем не узнать детишек. Наварила им Юзефа клецок и галушек, дала полный горшок сметаны. Поставили на дроги, в сено, ножную швейную машинку, — мамочкино наследство. Федор расцеловался с Семеном Николаевичем, трижды, крест-накрест, прослезился даже. И тронулись они шагом, сперва в гору, к воротам, на мягкую дорогу, потом стали спускаться балками. Детишки не плакали, а всё ручкой: «площайте, площайте, балин!» — долго кричали тонкие голоски. Федор на повороте приостановил коней: «Семен Миколаич! соскучитесь — приезжайте к нам, в новую хату! новая у меня баба будет, у нас девок теперь — на выбор...

варениками кормить будем, с вишнями! не забуду доброты вашей, вот вам крест!..» — и он перекрестился.

В самую пору выбрался. Через неделю отставших красных перехватили добровольцы.

Прошло с год, и дошли вести, что Федор прибыл благополучно, и теперь строится. Пиньков, должно быть, подарил ему не одни часы.

Помню, по отъезде Федора, сидели мы на веранде.

— Нет, ка-ков Федор-то! — говорил Пиньков. — Он был всегда рассудительный мужик, и добрый. А и его время покорежило. А всё же что-то осталось в нем. Теперь надо изворачиваться, и он выработал свои зацепки и защитки. Нет, ка-ков, а! Цепко и крепко племя человеческое. Но для чего и во имя чего *всё это?..* вся эта живучесть, цепкость?.. Во имя чего-то высшего, или — *так,* просто *так?* И никакого «откровения». А? неужели всё это — *так* только, случайное прохождение явлений? Неужели *всё, всё* — только одна... *ентрыга?..* Но чья же, чья?!.

Июнь, 1936 г.

КРОВАВЫЙ ГРЕХ

(Рассказ сестры милосердия)

> Привел меня Бог видеть злое дело,
> кровавый грех.
>
> *А. Пушкин*

...Вспомнить не могу без содроганья. Много пришлось мне видеть на войне, но был и свет, какие души открывались, исповеди какие слышала. А тот кошмарный месяц, в сибирском поезде...

После ранения на фронте меня назначили сестрой на поезд Земского союза. Служить было приятно, и персонал попался дружный. Старший доктор был человек гуманный и тактичный. Революцию мы встретили, как радость и необходимость, и мечтали, что теперь настала светлая весна России. В первые дни революции мы доставили в Москву очередных раненых, готовились к отъезду, но получили распоряжение приготовить поезд «для миссии особенной»: в Восточную Сибирь вывезти освобожденных революцией борцов за освобождение России. Все приняли с восторгом. Я была счастлива хоть этим проявить участие в великом деле.

В десятых числах марта мы двинулись. К нам прикомандировали почетных делегатов от армии, человек двадцать — унтер-офицеров, ефрейторов и нижних чинов, новообмундированных, в новеньких басонах и галунах, с красными бантами на груди, на шапках и даже на штыках винтовок. Ни одного офицера не было. Может быть, не нашлось охотников, а может быть, хотели придать «встрече» вполне демократический характер. Солдаты, фельдшера и мы, сестры, разубрали наш длинный поезд — чуть ли не из тридцати вагонов — елками, красными флагами, — не было ни одного российского! — полотнами с изречениями: тут были и «цепи рабства», и «кошмары тирании», и все «да здравствует» и «вперед». Тогда это казалось очень ярким. Доктор заморщился, увидя на груди

паровоза щит из кумача с золотыми словами — «кто был ничем — тот будет всем», — посоветовал заменить более «сильным», — например, «Свобода», но машинист с кочегаром заявили, что в таком случае отказываются вести поезд. Предлагали поставить щиты и на вагонах, но убедились, что так не проедешь под мостами.

Начальник хозяйственной части постарался. Мы везли груду окороков, портвейн и коньяк, для ослабевших, пуды шоколада, конфект и мармелада, английского печенья, варенья и пастилы, икры, колбас, сыров, сардин... Мяса и масла в Сибири было вдоволь. Начальство пустило телефонограммы по пути, революционным комитетам, — призывать население проявить чувства признательности и жертвенности к великим борцам освобождения.

Но первые же версты показали, что нашему народу всё — «как с гуся вода». До Самары поезд наш получил только пук метел от плутоватого мужичка, сказавшего нам с ухмылочкой — «пригодится вам» и попросившего «прикламаций каких-нибудь, потоньше», — очевидно на курево. По поводу метел у нас острили, что «прутики березовые свеженькие», и мужичок «видно, не без ума». Дело в том, что началось разочарование. Военная делегация и кой-кто из санитаров везли горы «литературы», и когда доктор, ознакомившись с содержанием, возмутился, что «мы разлагаем армию», фельдшер из делегатов заявил: «ведите вашу санитарную часть, а политическая наша!»

В Самаре задержались. Как раз прибыла из Сибири «бабушка революции», Брешко-Брешковская, ее чествовали в театре, заставленном красными знаменами, лобызали в разрумянившиеся щеки и клялись в верности заветам революции. Я тоже ее приветствовала, и она потрепала меня по щеке, сказав: «почему бледненькая?» Я даже заплакала от счастья. На вокзале загулявший купец угощал нас шампанским, «под секретом», — было еще запрещено, — благодарил за «раненые труды» и обещал... «сорвать гидру-революцию» — напутал. Про эту «гидру» говорили на все лады. Мужик на заволжской станции, послушав ораторов, говоривших о «гидре самодержавия», раздирательно крикнул во весь поезд:

— Ша-баш! теперь уж начнут добираться... гидры!..

Перевалив Урал, мы не нашли ничего, что напоминало бы о свершившемся. Мужики хмуро и недоверчиво глазели. Не было приношений, даже метел. Только железнодорожники из

депо махали флагом из кумача, да две трубы дудели что-то нетвердое. Пришлось заведывающему хозяйством закупать масло и говядину. На одной станции принес мужичок-охотник мешок рябчиков. Его спросили: «в дар борцам?». Он ответил: «сорок копеек пара, свеженькие». Мы прикупили, сложившись, для себя. Но тут явился армейский делегат и объявил, что «персонал должен быть в общем котлу, а потому рябчиков надо поделить». Доктор почесал нос и промычал: «слобо-да...» Взаимное непонимание начинало углубляться. «Армия» заявила, что нет равенства: персонал роскошничает на диванчиках, а делегаты должны протирать бока досками... — «и где это видано?». Стало грустно.

Однако и в Сибири начинала проявляться революция. Мальчишки бежали под поездом и орали — «азе-эт... а-зе-эт!..» Им швыряли кипы «литературы». Линейные сторожа редко выходили с флажком, а больше сидели в будках и попивали чаек. К поезду заявлялись неведомые люди, глядевшие исподлобья и называвшие себя «пострадавшими от царского режима», — просили «подвезти до городка». Это были пущенные революцией на волю уголовники. Они зорко поглядывали с откосов, высматривали на полустанках. Чаще встречались остовы слетевших с рельс поездов. Вспоминалось сибирское словечко: «пьяная весна настала».

В Иркутске мы погрузили человек семьсот освобожденных «политических каторжан». Встретили их восторгом и почетом. К нашему разочарованию, совсем не было ослабленных и больных. Были только нервно-развинченные и капризные. Одеты были прилично, хотя и разношерстно. На привезенное нами, пожертвованное в Москве, платье посмотрели обидчиво: «не нищие мы». Иные возмущались, почему прислан за ними какой-то санитарный поезд, а не «почетный»? Кто-то сострил, из персонала: «ждали, очевидно, царский». Между каторжанами слышалось: «штаб-каторжане», «сливочки революции», «иконы»... — намекали, очевидно, на «бабушку», на Марусю Спиридонову и прочих шефов, которые укатили в экстренных поездах, по личному вызову Керенского. Всё это были обиженные люди «вторых ролей». Но протесты стихли, когда тактичный доктор сказал красноречиво, что «вся Россия смотрит на вас, кровно с народом спаянных, и потому послала за вами этот поезд, где каждая дощечка пропитана кровью ее боевых сынов».

Мы повернули на Россию, — и началось испытание. Мы собирались в нашем вагон-салоне и поверяли друг другу впечатления. *Что же* это? *Они* даже заглядывают на кухню и проверяют, всем ли дают одно и то же. Протестуют, почему одних разместили по купе, а других «засунули под нары?» Зачем кричат *они* на всех станциях обгоняемым военным эшелонам, подвигающимся на фронт, — «расходитесь по домам!», «бросайте винтовки!», «отбирайте у бар землю!» Почему сеют только злобу и ненависть? как *их* унять? почему они вносят разлад в нашу дружную до сего санитарную семью? почему *они* так ненасытно говорят и спорят? почему никто не сказал о России ласкового слова, а всё только о пролетариате и «трудовом народе»?

Начали приоткрываться «ужасы». Один из *них*, ткач из Иваново-Вознесенска и бывший член Государственной Думы, купил в Иркутске пять фунтов зернистой икры — все получили «ассигновки» — и жрет ее ложками, закусывая сладкой плюшкой. И он же кричит на станциях солдатам и мужикам: «берите землю у помещиков-кровопивцев и ломайте ноги всем, котрые будут к вам иттить в шляпах и брюках!» *Что это?!* И помещиков-то не было никогда в Сибири. И почему — ломать непременно ноги всем, кто в брюках? А сам в брюках.

Мы приходили в ужас и возмущение. *Кого* же мы везем! И это — наше, родное, русское. Призывают брататься с немцами и обратить ружья против своих. После всего пережитого на войне, после жертвенности солдат, увидали мы узость, тупость и ненависть. Светлое, что встретилось нам в пути, было — совесть народная и народный разум. Ораторам иногда и отвечали:

— Мы, сибирские, были всегда свободные! не знаешь, чего плетешь!

— А ты нас не мути! Ты, в шляпе-то, нашего не понимаешь, чего на кровь воротишь? Мы ее знаем, красную... *Про такое* не годится слушать!..

Я слышала эти выкрики, но они утопали в реве. Я радовалась им, гордилась за наш народ, в котором живы вечные семена добра. Я видела их на фронте, в больном бреду, на ложе смерти. Мне было больно за *нас:* ведь *эти*, разжигавшие ненависть и злобу, были, какие ни на есть, а интеллигенты, *наши*. Сестры — не все, увы! — были подавлены, смущены, иногда плакали. Доктор боялся «внутреннего разрыва». Пошли слухи, что нас грозят выселить из купе, где месяцами мы жили

в переездах, отдыхая короткие часы после тяжелых ночных дежурств. Мучила мысль, что мы *везем этих*... везем в Россию, в светлую, новую Россию, и вот, *они* понесут по городам и селам отраву. *Они* кричали: «вранье! революция только начинается! и ни-когда не кончится!» Ужас, ужас. «Мы всё разроем!» Бездонный ужас.

И вот захватила нас в дороге Пасха, — Пасха 17-го года.

Уже бесснежны, голы были сибирские просторы, — конец марта. Весенняя тишина дремала в тайге. Наступил вечер Великой Субботы, солнечной только что, вдруг померкшей, захмурившейся к ночи. Вдруг повалило снегом, и белая, зимняя, Сибирь побежала за окнами.

В салон-вагоне и по столовкам освобожденные разговлялись. И *они* — тоже, *разговлялись*. Должно быть, Пасха будила в них казавшееся давно отмершим. Сестры украсили их столы бумажными цветами, наделали пасох и куличей, — на станциях жертвовали «кооперативы», — накрасили яичек, — может быть, похристосуются. Но никто из *них* и не подумал. Притихли только. Мне было грустно. Я глядела, как они кокали яички, как жадно глотали пасху и тут же курили, курили беспрестанно. Мне было не по себе, что на пасхах выставлены кресты, на куличиках сахарно полито — Х.В. Это им было безразлично: вкусно, только. Доктор, еврей, христосовался с нами, сердцем понимая *наше*. А *эти*, кровные... — только ели. Правда, были и между ними не все еще растерявшие. Помню, один долго вертел яичко, и было в его лице *что-то*, светло жалеющее. Это был матерый революционер, эс-эр. Принимая от меня тарелочку с пасхой и куличом, спросил:

— Вы что, сестра, печальная такая... в *наш* праздник?

Меня передернуло, про какой он праздник? С горечью вырвалось у меня, из сердца:

— Больно, больно все это видеть, слышать... теперь у нас больше не будет Светлого Дня... я чувствую!

Он не понял. Сказал уверенно:

— *Теперь*... все дни будут светлые... мы воскресим народ.

— Как вы слепы! — крикнула я, в слезах, досадуя на себя за слабость. — Или сами себя обманываете? Если сеется только зло, откуда же быть свету?! Что вы делаете с народом, с добрым, мягким, доверчивым? Я знаю его, я столько видела светлого в нем, чудесного, истинно благородного, самоотверженного... всё мы видели на войне. Да, и другое было, но все вам скажут, что светлого было неизмеримо больше, перед чем

нужно преклоняться, что выше, лучше, чище всего *нашего*, надуманного, фальшивого, интеллигентского! Вы отнимаете Бога у народа, вы его убиваете... народу не *это* надо!..

И я заплакала. Мне стало дурно. Меня увели в купе. Но я не могла лежать, мне было душно. Я вышла в коридор, прислонилась к окошку и все смотрела на бежавшую снежную Сибирь. Намело целые сугробы в тайге. Сторожки были занесены до окон. Ко мне подошел тот самый «старый революционер», взял меня за руку.

— Милая, успокойтесь. Вы слишком всё остро принимаете. *Это* молодое еще вино, вино революции, и оно шумно бродит. Есть между нами крайние, есть и прямые идиоты. Вы учтите разбитые жизни, личное... А сколько жертв! Большинство же идеалисты, а... только вот *исковерканы*.

Я молчала. Было ужасно тяжело, предчувствия сжимали сердце.

Утро. За окнами зима. Метель утихла, проглядывало солнце, какое-то больное, хладное. Снег плыл, валился с крыш. Наш поезд стоял на какой-то станции. Говорили за окнами — зима, зима! Я спросила, какая станция.

— Зима.

— Станция какая?..

— Да говорят вам — Зима!

Действительно, это была станция Зима, в глуши Сибири. Длинная, низенькая казарма, с поленницами дров, с голыми лиственницами, с мужиками в лохматых шапках и треухах. Я подумала: неужели и тут, сегодня, в Светлый День, будут кричать обычное, ужасное? И увидала, что из своего купе вышел «почетный», ткач иванововознесенец, что-то прожевывая. Неужели он опять про свое — «ломайте ноги»? Он спросил пробегавшего товарища: «начинать, что ль?» Тот удержал его: «нет соответствующего настроения толпы... что-то тут случилось, кого-то укокошили... до следующей остановки лучше».

Кто-то вбежал и крикнул:

— Слышали, какой ужас? Уголовные каторжане ночью вырезали целую семью! Ну да, на самой этой станции, вон, тот домик, красноватый... семеро душ хватили! Народ весь там, какие уж митинги.

Я слушала, потрясенная. Слышала: «вырезали, семеро душ, домик...» — и эти слова, без смысла, проскакивали в звоне, в пасхальном трезвоне-перезвоне. Этот звон показался мне

страшным, кроваво-красным. Я бросилась из вагона, побежала в звоне... слышала — «всё залито... даже детей не пощадили...»

Случилось то, что сибирский мужик, на той же Зиме определил буквально по-пушкински: «грех кровавый». Так я и записала.

В метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь России, в конце марта 1917 года, в глуши Сибири, на станции Зима пущенные на волю каторжане вырезали семью товарного машиниста, семеро душ, считая с заночевавшим неизвестным солдатиком: молодую жену, подростка-свояченицу, мальчика и двух девочек и прапорщика-шурина. Вырезали двое болтавшихся с вечера «матерых», двое «волков из тайги». Зарезали, ограбили и пропали в метельной ночи.

Ходило по вагонам:

— Слышали, товарищ... вырезали семью... семеро душ...

Все слышали, многие даже видели, и вряд ли понимали, *что* случилось. Весь день тот я пролежала в своем купе. «Кровавый грех» представился мне *ясным знаком*, знаком в пути, — нашему поезду Свободы: «Вот *смотрите!*».

Не смотрел никто. Поезд в грохоте шел к России, к ее сердцу.

Апрель, 1937 г.
Париж



ПУБЛИЦИСТИКА

<ЗАЯВЛЕНИЕ>

В петроградской «Правде» от 20 мая, в объявлении о подписке на журнал «Петроград», в перечне сотрудников значится, между прочим, и — «Иван Шмелев».

Я, Иван Шмелев, заявляю:

Отношения к журналу «Петроград», как и ко всем, вообще, газетам и журналам Р.С.Ф.С.Р., не имею, о существовании журнала узнал впервые и мое причисление к сотрудникам его могу объяснить лишь самовольством объявителей.

Прошу русские газеты перепечатать это заявление.

2 июля 1923 г.
Грасс (Альп Миритим)
(Последние новости. 1923. 5 июля. № 982. С. 2; Дни. 1923. 10 июля. № 209. С. 5)

СЛОВО О «ТАТЬЯНЕ»

Думали ли когда-нибудь питомцы Московского и прочих русских университетов, что придет пора, когда они в мировом городе, в Париже, будут править как бы поминки по русскому просвещению?!

Вряд ли думали.

И еще меньше могли думать, что будут править эти поминки — тризну в стенах российского посольства!

Русские студенты, русские профессора... — и такие аристократические, такие высокопоставленные стены, еще таящие на своих зеркалах отражения государей, князей, министров, послов, — всех тех, кого русское общество обычно противополагало свободному просвещению, против кого бунтовало, кого критиковало, винило, и... даже убивало!.. И вот, роковые пути привели многих и многих представителей этого образованного общества из родной страны на чужбину и трагично поставили их с глазу на глаз с осколками от России, во всех землях, — с православными русскими храмами, с русскими домами, с русскими кладбищами, порогами и стенами русскими, с намекающими знаками России и от России, на чем как бы лежат ее ответы, где хранятся еще воспоминания о ее величавом прошлом. Крутит русский водоворот около русской церкви, и здесь, на Гренелль, и всюду, где осталась хотя бы только русская вывеска. Знаменательные пути, внушительные итоги!

Над этим очень и очень подумать следует.

Питомцы русских университетов, — многие-многие, — вне России. Былые храмы наук и среди них — старейший, храм под покровом Великомученицы Татьяны, — где?!. В этот день, 12 русского января, мы вспоминаем Татьяну нашу, всегда юную, прекрасную Татьяну, которую я невольно связываю с пушкинской, — с милой и чистой девушкой русской, с жен-

ственностью России, — с самой Россией. И вспоминаются мне «вещие», полные грусти и укоризны кроткой, слова:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла,
Какой ответ?

Вот над этим-то ответом подумать следует. Да, конечно, и думают. Я не остановлюсь здесь на всестороннем освещении этого «ответа». Я лишь коснусь тех общих причин, в недрах духа русской интеллигенции лежавших, — ложных шагов, которые способствовали тем роковым путям, что привели нас под стены русские во французском граде...

Стены Московского университета, дом Татьяны — остался в Москве, на Моховой, быть может даже и не Моховой теперь... а св. Татьяна, — сорвана, вырвана, выдрана, и ниша ее пуста. Души ее там уже давно нет, она еще раньше ушла куда-то и где-то живет — до времени. А помните — на круглом фронтоне, на угловом, золотые слова, выложенные русской вязью: «Свет Христов просвещает всех»?! Их тоже нет. Сбиты золотые слова, замазаны их гнезда, но можно еще читать о «свете» — по их следкам. Погас Свет — и уже нет просвещения!

Да почему ж так вышло?!

Много было причин тому. Историки и общественники в них разбираются посильно и, может быть, разберутся. Я не историк и не общественник. Я лишь участник и наблюдатель жизни. И я приглашаю вас, представителей широких слоев русской интеллигенции, целомудренно заглянуть в себя, повнимательнее вглядеться в прошлое и, быть может, покаяться. Я лишь обще коснусь того, что связано тесно с русским просвещением, с... «Татьяной» прошлого.

Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое, с мутноватыми окнами, здание... так называемого «экзерциргауза», николаевского Манежа? той, для студентов, постоянной гауптвахты, — и только гауптвахты! — которое так удручало глаза, ловившие только дали? Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не манежем он был, конечно, не историческим зданием, — в деталях очень красивым, если внимательно присмотреться, — для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал... — «прорывам»! Он закрывал и дали, и, к сожалению, русский Кремль! Смотреть не хотели из-

за него, поверх его! «Да где же дали?» — кричали сердца студентов. «Через манеж — в дали!» — «В дали, в чужие дали!» — призывно звали профессора.

И вот... — и попали в дали...

Хорошо уноситься в дали, когда все твое при тебе, когда можешь из далей к себе вернуться!

Этот «манеж» мешал... Он прямо не пускал в дали. Да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был не прав. И только ли манежем он был, скучным «экзерциргаузом»? Позвольте... припоминаю. В нем бывали и народные гулянья, правда, с городовыми... — но с городовыми, пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская армия, та, что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже — дали! В нем бывали богатые выставки российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные детали, и удивительно вольный свод, — без единой подпорки раскатившегося пролета, чудо строительной техники, — поражавший и европейский глаз. Правда, — казенная, но все же была и церковь, очень уютная простотой. Правда, он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды...

Я далек от того, чтобы воспевать гимн «манежу»: я только хочу сказать, что он иногда был нужен.

Русская мысль и русская наука всегда устремлялись в дали. И часто не замечали и не ценили ближайшего. А ближайшее было — сама Россия, увязанная жилами всего русского народа, чудесной его историей. Мы слишком всегда хотели... Европы! в Европу — поверх России. В Европу далей. Мы слишком были нетерпеливы. Мы проглядели многое. Мы знали Европу больше, чем Россию, чем сама знает себя Европа. Мы пробежали мимо Кремля, мы наскоро проглядели национальное, не ухватив с корнями, легкодушно отдали прошлому и... докатились до интернационала. И потеряли свою «Татьяну».

Вспомните вы университеты... Кто захватывал молодежь? Тот, кто уводил ее к далям, и чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву. Кто легко завоевывал юные души? Те, кто был предельный и запредельный. Вспомните молодые годы. Я не назову имена, — пусть носители их почивают или пребывают с миром. Но многие из них могут сказать, что они учили любить Россию, не народ-Россию, не трудовую, классовую Россию, а Родину-Россию, ее прошлое, настоящее и будущее, огром-

ное и таинственное Нечто, мистическое, Россию, как выразительницу нашего, общерусского, — Душу нашу? Я таких не помню. Разве Ключевский только... Да, он умел выпукло показать наше, душу России нашей, и его талант, его крепкое чувство русского освежали молодые сердца, быть может уже предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли... Но это были миги. Его принимали постольку поскольку... Многие ли принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово — «Преподобный Сергий Радонежский»? Многие ли вслушивались с трепетом в его пророческое предостережение? многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда перестанут черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над великой гробницей Угодника?

Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию России? прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего, своего, своего содержания, своей окраски. Многие ли учили ценить и любить родное? Много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? Не смеялись ли над опасениями «потрясений основ»? Объявлялись ли курсы по изучению Достоевского, политика-публициста-философа? а — К. Леонтьева? а — Данилевского? а — философии национального какое уделялось место? Как подносились и трактовались молодежи Аксаков, Лесков, Гоголь, самый Пушкин?! Многое важное хранилось глубоко, под спудом. Свободное ли было отношение к инакомыслящим? Мы все это хорошо знаем. Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно-приемлемые пути «левизны», рассматривалось враждебно. Политический курс был определен прочно и навсегда, а под него подгонялась и наука. Все продушины, из которых мог бы повеять свободный воздух, воздух России самобытной, — объявлялись подвальными. Молодежи выкалывали глаз правый, а на левый надевали очки, большей частью розовые. Стряпали по облюбованному лекалу.

И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли старались свести в русло, заранее признанное самым верным. Вырабатывали протестантов, а не мыслителей. Вырабатывали сектантов, вырабатывали, скажу, антихристиан, антирусских даже, интернационалистов-космополитов. Вся масса молодежи, не выработавшая миросозерцания, лишь жаждавшая его,

попадала на протоптанную дорожку, которая уводила к огням Европы, минуя чудесные российские светильники и лампады. И свет Христов, широкий и чистый свет, не вливался в души учеников российского университета. И пошли с клеймами и тавром, раз навсегда поставленным, — революционер, позитивист, республиканец, атеист. Лишь избранным удалось потом великим трудом и великими заблуждениями выбраться на свободную дорогу. Таких немного.

Мешал м а н е ж! Этот казенный манеж, этот символ насилия, который раздули до размеров стихийных! Не показали, может быть, не учли потребность, может быть, из стыда ложного боялись показать молодежи широкие дороги — к российским недрам, не сумели разжечь к ним, к этим недрам, любовь и — веру, — «Что такое Россия! чему она научит! Деревянная, избяная, лесовая, — Россия палачей, урядников, губернаторов! С т а к о й Россией нельзя, и нечего из нее черпать. Вот Европа! ее последние достижения, — вот оно, Человечество!» — И дали ставку на Человечество — и родину потеряли.

Хотели народу счастья. Не России счастья, а ее трудовому народу! Сузили Россию, глядели, прищурив глаз, и проглядели ценнейшее, христианскую ее душу, ее высокую духовную культуру — в недрах ее! И поплатились страшно. Предали ее н е д р а, впустили тлю. Предали всю Ее, не трудовой народ только, а в с ю Е е!

Манеж, российский экзерциргауз, — частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и глубже видеть. П р а в и т ь надо было Россию, а не травить!

Манеж... Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти его, — и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали. Не догадались? Не сумели? Хотели ч е р е з него пройти, снести этот исторический «экзерциргауз», глаза мозоливший, этот дом трудного искуса, упражнения и узды, — и прошли н а с к в о з ь — и за ним увидали... стены, глухие, сырые, грязно-красные стены, плесень. И уперлись, головы о них разбили, и многие полегли под ними.

И вот — мы здесь... А т а м... т а м еще стоят стены нашей св. Татьяны, и гнезда золотых букв, мало кем замечавшиеся тогда, все же потом замеченные, кому это было нужно, и сорванные, растоптанные во прах! Но... остались следы.

Мы помним эти слова о Христовом Свете, и мы найдем мужество сохранить их и донести до места. А не хватит жизни — свято передадим их новому поколению, крепче нас, зака-

лившемуся в невзгодах, глаза которого не блуждают в далях, глаза которого устремлены в одно — в далекую Россию! Пусть из наших нетвердых и ошибавшихся часто рук примет оно эти сорванные слова — слова завета — о широком Христовом Свете, всех просвещающем, писанные российской вязью, и водрузит на место, и позолотит, чтобы всем видно было! Пусть добудет и прекрасную Великомученицу Татьяну и поставит ее на высокое, Ее, место, всем видное! И пусть просвещение станет через новое поколение не узко и сухо-человечьим, а человеческим, вытекая из недр духа живого, пусть несет на себе благодать Души Русской!

Я верю, знаю, что зреет, что наливается в душах молодежи нашей. И это дает мне смелость сказать: она донесет, она поставит! Ибо она теперь вместе с нами, вместе с многими из нас жаждает, жаждает России неудержимо, ибо она хочет быть русской молодежью, для нее уже огненное слово начертано, горит в сердце, — национальное, наше!

Мы празднуем-поминаем свою Татьяну? Нет, мы не празднуем... Наши праздники впереди, вдалёке. Они придут... И хлынет тогда, бурно хлынет тогда в души зовущие, в души унылые, в души испепеленные... небывалым светом и звонами такими, что радостных слез не хватит встречать Рожденье! Не хватит криков! Мы услышим колокола... свои. Они набирают силу. Мы найдем много меди, певучей и новой меди. Она подремывает в глуби. Она зазвенит — загудит под Солнцем! Мы увидим звезды, наши звезды, с неба спустившиеся на наши лесные чащи, на наши ели, — в снегах, седые, уснувшие, — и наши леса проснутся! Мы увидим, услышим Праздник! Мы должны увидеть. Наши снега загорятся... сами снега загорятся и запоют! Льды растопятся и заплещут, — и вольный разлив весенний, Великое Половодье Русское, смоет всю грязь в моря.

Весна... Она проснется, новая весна наша, Татьяна наша, Снегурка наша, потянется голубым паром в небо, озолотится в солнце... разбудит сладостную тоску по счастью. Шумят подземные ключи, роют, роют... Мы обретем ее, ускользающую Снегурку нашу, мечту нашу! Мы ее вспомним-встретим и обовьем желаньем... И снова, снова — откроются перед нами дали, туманные, пусть обманные, наши дали!

12/25 янв., 1924 г.
Париж
(Русская газета в Париже. 1924. 4 февр. № 3. С. 1)

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ

«Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?»
(Исаия 2, 22)

I

«Мы до этого не доживем, а наши дети все это увидят», — писал Достоевский, за полвека провидя плоды российского нигилизма.

Что увидели дети? Мы это хорошо знаем.

«Начнут гордую Вавилонскую башню, а кончат антропофагией».

«Агитаторы пролетариев будут просто на грабежи звать своих последователей».

«Русские европейцы готовы на любую жестокость, если им докажут, что это нужно для цивилизации».

«Социалисты наши одержимы страшною ненавистью к России: если бы она благоденствовала, они были бы несчастны».

«Хотя революция начнется в России, но не здесь ей долго пановать: ее подлинное гнездо будет в Европе».

«В России бунт можно начинать только с атеизма».

«Отвергнув Христа, люди хотят ввести справедливость, а кончат тем, что зальют мир кровью».

«Русские дойдут до ужасных безобразий»... — и еще многое...

Кто теперь будет отрицать за гением Достоевского пророческую силу? Воистину, ясновидец. Эти пророчества — в его книгах, и желающий вспомнит их. И ясно предстанут идолы-кумиры европейской цивилизации, на которых самозабвенно-страстно молилось русское общество. До ожесточения моли-

лось, до гонения на несогласных. И домолилось до озверения, до «миллионов русских голов» и людоедства, до разгрома России!

Кончилось ли «моление»? Там еще продолжается, а здесь все еще взирают на поверженных идолов. Облики-тени их, как дорогие реликвии, унесли иные из «фельдфебелей цивилизации» (Достоевский) за рубеж и еще тщатся учить идолопоклонничеству. Еще бичуют ищущих Бога Живого, стараются идолов подновить, подкрасить, отмыть от крови и начать моленье, забыв соучастие в возведении Вавилонской башни, не желая покаяться.

Или еще не пришли сроки? Не изведали еще заклятья:

«Разрушат храмы, зальют мир кровью, а потом испугаются!»?

Еще не испугались.

Но больше и больше глаз, не затуманенных фимиамами курений, начинают разглядывать «человеческую подделку». Ясные глаза ищут Живого Бога. Слабеют чары, позолота с кумиров содрана, мантии на жрецах в дырьях и странных пятнах, — и некогда величавое явилось чистым глазам в крови и чаде, и обличает жрецов — «беспочвенных межеумков», — по слову Достоевского.

Да, за рубежом вырастает новая русская душа, чутко прислушивающаяся к Душе России, где даже «каторжане сознают свою виновность», в то время как «Биконсфильды и европейцы оправдывают жестокость» (Достоевский).

Здесь зреет, — несомненно. Стоит присмотреться — и увидишь: переварка мировоззрений происходит. Мы знаем смелых и искренних — мыслителей, ученых, писателей и общественников русских, — для них Россия не место опытов, не ристалище для состязаний. Большими глазами глядят они на разгром ее и хотят постигнуть: откуда разгром этот?

Пророки были, — и не прошли.

Сказал Исаия: «Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «у тебя есть одежда, будь нашим вождем и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «не могу исцелить ран общества...» (3, 6, 7).

Наши пророки видят и осязают «раны»: запах тления — над Европой, над целым миром. Так говорят пророки наши. Тревожные голоса слышатся по Европе, и немец Шпенглер приглядывается к Востоку: не оттуда ли забрезжит?

Что это за кумиры, которым еще служат?

Об этом проникновенно говорит в своей книге Франк (С. Л. Франк, — Крушение кумиров. Америк. изд-во, Берлин, 1924 г.). Эта книга — великое зеркало, в котором увидишь многое, прошлое и Россию, душу русской интеллигенции, ошибки, ложь и неправду жизни, и — широкий выход из тупика смерти. Это голос души живой, выбравшейся из капищ, из удушающих курений и испарений идоложертвенных. Это и радостный крик души, нашедшей Живого Бога.

Молодые, ищущие путей, прислушайтесь! К вам обращена исповедь: на вас надежды, в вас чаяния России. Читайте и вдумывайтесь. Вам ведь пришлось кровью своей проверить проложенные до вас дороги. К счастью, многие из вас не успели плениться идолопоклонством; вашу душу не тянули клещами «общественного императива», — вам будет легче торить пути. Правда, многих из вас поверженные кумиры больно ударили — без вины виноватых. Поставленные не вами, они раздавили многое дорогое вам, — увы, незаменимое. Но пусть не личная боль руководит вами, не раздражение: путь, который вы, может быть, изберете, — не путь злобы. Пусть ведет вас неутолимая жажда найти ценнейшее, что не отнято до конца, — найти Россию и направить Ее пути. Помните слова пророка нашего:

«Я более всего на молодость надеюсь, ибо она исполнена исканием Правды» (Достоевский).

И другого пророка помните:

«Забирайте же с собой в путь... — забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!» (Гоголь).

II

Для молодежи русской — и не для нее только — книга Франка — целое откровение. Она ярко показывает тиски-подвалы, в которых жили целые поколения:

«Сколько жертв вообще было принесено на алтарь «революционного» или «прогрессивного» общественного мнения! Сколько талантов погибало или, по крайней мере, подвергалось жесточайшим преследованиям, беспощадному моральному бойкоту за нарушение «категорического императива» «прогрессивного» общественного мнения! Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался

бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумления, — Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и К. Леонтьев, — вот первые, самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества... Другим — нет числа» (стр. 66).

А Гоголь? а Фет? а Тютчев, А. К. Толстой, сам Толстой, Чехов? Сколько их сбили с пути и скольким зажали рот! Писаревы и Скабичевские тянули на суд «фельдфебельского» застенка, сапогами били в преславную музу Пушкина, грозили, отлучали, предрекали. Заплевывались перлы, замалчивались шедевры и ставилось клеймо: ретроград!

Теперь рассеян гипноз, и пути вольной мысли будут безмерно легче. Упали чары, чем завораживали слепцы-учители, сами несчастные: многие из них погибли.

Эта книга смело разоблачает идолов, срывает позолоту, — и видишь чурбан, которому поклонялись, которым убивали живую душу.

Эта книга — не книга ненависти: она воздает должное, она — суд. И — она приближает к Живому Богу.

Она говорит о рабстве духа русской интеллигенции, о том, как падающие кумиры опрокинули все светильники и разлили пожар в стране.

«Кумир (революции), которому поклонялись многие поколения, которого считали живым богом-спасителем, которому приносились бесчисленные человеческие жертвы, — этот кумир, которому сейчас тупые фанатики или бессовестные лицемеры вынуждают еще поклоняться, во имя которого расстреливают людей, калечат русскую жизнь, издеваются над истинной религией, — именно в силу этого потерял свою власть над душами, изобличен, как мертвый истукан. Живые души в ужасе и омерзении отступились от него». (Крушение кумиров, — стр. 21).

И второй кумир свергнут — «кумир политики».

«Кумир «политического идеала» разоблачен и повержен, и никакие трусливые рассуждения об опасности и рискованности этого состояния не могут изменить этот бесспорно совершившийся факт» (стр. 34).

И третий кумир — «кумир культуры» — пошатнулся и вот-вот рушится. Этот кумир — громоздкий. Он миллионами нитей связан с «верными», эти нити — как паутина, и в паути-

не этой — миллиарды человечков-мошек. Они бьются в сухоте и холоде «культуры». Этот кумир рушится, подтачивается, ибо дух жизни его покинул. Он уже отмирает, и тление его отравляет воздух: душно, невмоготу становится взыскующему духу. Безмерной ценой оплачено поклонение! Подводятся итоги. Вспомнить и вспомнить надо работу Энгельгардта — «Прогресс как эволюция жестокости», — и увидим итоги эти.

Франк нашел святой гнев в душе, и эти его страницы дышат страстностью проповедника. Дальше так жить нельзя. Человечество пожирается Молохом. Пора прозреть!

Франк говорит и о «демократическом идеале», и его сжигает. О погасшем жаре души, о беспросветной тоске, уже охватывающей человечество, о былых восторгах перед «кумиром». Уходит очарование былой культуры, всюду — лицемерие, душевная пустота и самообман, ложь и нравственное одичание, гниение и плен духа, — великая человеческая помойка. Вера в «прогресс» утрачена.

«Мы видим духовное варварство народов утонченной умственной культуры, черствую жестокость при господстве гуманитарных принципов, душевную грязь и порочность при внешней чистоте и благопристойности, внутреннее бессилие внешнего могущества... Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе, так же, как обаяние кумира революции и кумира политики... Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или среди тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колыхание стихий, грозящих утопить нас...» (стр. 50—51).

Повержены внешние кумиры, и с ними расползаются кумиры внутренние, — кумиры идеи и «нравственного идеализма»: происходит переворот духовный. Ему посвящает Франк 4-ю главу книги, проявляя здесь блеск и чистоту мысли. Он показывает ужас пленения человеческого духа изолгавшеюся моралью, — человеческое тартюфство. Эту главу нужно читать и перечитывать, чтобы исчерпать духовную глубину учителя, его чуткое целомудрие. Да, именно — целомудрие, хоть и говорит он и о «половом чувстве». Но как говорит! Это же призыв на высоты, это же исповедь духа, спасающегося от тли! Он не замазывает язвы, он ищет целительное Лекарство: новые пути живого духа. Ибо знает Франк человеческую трагедию, великую правду Достоевского: «мы сами не знаем, где кончается в нашей душе священный культ Мадонны и где начинается Содом». Он трогательно-глубок, когда говорит:

«Как это ни дико звучит для суровых моралистов, которых длительное лицемерие уже приучило к совершенной духовной слепоте, — в бешеном, в самозабвенном разгуле страстей, к которому нас манит заунывно-залихватская цыганская песня, нам мерещится часто разрешение последней, глубочайшей нашей тоски, какое-то предельное самоосуществление и удовлетворение, по которому томится не одно уж тело, а сам дух наш».

Вот оно, чуемое «острие», с которого или полет ввысь или свержение в бездну, та точка неуловимая, которую заваливают видимой культурой, которую хотят позабыть, но которая выбрасывает и выбрасывает «острие» порыва. Рвет это острие — и прорвет! И разве не знаем мы мучительные и ужасные формы прорывов этих?! Радения хлыстовствующих, муки поэтов, разгулы тела, в котором тесно душе несонной, умерщвление плоти аскетами, экстазы веры, небо и ад, безумства крови и пожар духа, — героические потуги найти себя. Это беспокойное метание человечества, это качание на вихревых качелях, — чуяние иной формы!

И эту-то безумную, из века бунтующую человеческую душу хотят пригладить и успокоить «идеализмом» и предписанием подделочной морали! Порвет она эти бумажные колпаки, ибо чует за ними просторы неба. Вот она, основная ложь: рачительная работа веревочками запутать-завязать душу, обмануть ее бумажным небом. Потому-то и кровянит она в порывах своих и взлетах это земное небо. Ей небесное нужно Небо, и благостные путы, чтобы не истекать силой-кровью. Нужен ей иной руководитель — Дух Живой: Он поведет от шаткого острия на высоты.

Это нащупывал Ницше. Искал Ибсен. Чувствовал остро Достоевский. Знали «старцы». Теперь открывается это — всем, кто может вместить. Великое Обновление начинает тревожно стучаться в двери. Ибо бессильны стали «путы железные». И надо отворить двери.

«Такова роковая судьба идеализма. Его святые и подвижники неизбежно становятся фарисеями, его герои становятся извергами, насильниками и палачами...»

Но где же истинные пути, где «пути благостные»?

И Франк указывает пути — «встречу Живого Бога».

> Духовной жаждою томим,
> В пустыне мрачной я влачился...
>
> (Пушкин)

И вот — проникновенные страницы. Они проникают в душу, — и я почувствовал: приближают к Богу. Воистину Живое слово творит чудо! Я не могу пересказывать. Надо внимать — и душа учует.

Франк вскрывает недра и тайники души — и свет озаряет жизнь. Здесь не мистическое, не тайна, а плоть живая, но утонченная плоть, как свет. Здесь — не надземное. Открывается сущность жизни, живая жизнь воли-дела, творчество бесконечное.

«Мы знаем, — в чем именно заключается истинное благо человеческой жизни, а поэтому отныне нас не соблазнят ни какие-либо утопии социального рая, равенства распределения и всеобщей материальной сытости... Мы знаем как необходимость подчинения худших лучшим, и всех — общему закону жизни, так и необходимость уважения ко всякой человеческой личности и братского к ней отношения».

Читайте и перечитывайте, кто может. Это не сухое слово, это — вода ключа горного.

III

Не напрасны страдания: они выковывают душу, образуют порывы к творчеству новой жизни. Довольно путей ветхих. Слава Богу, есть у нас творческие силы, — пора, пора новые путевые столбы ставить, прокладывать новые дороги. Старые привели к могилам. И уже ищут, и намечают, и ставят. Может быть, уже и идут иные, — и шире, шире дороги будут. Впереди идут путеводцы — с глазами любви и веры. Откройте книги и читайте... Ищите и выбирайте. Страстно ищет русская встревоженная совесть, — истинной жизни ищет. Читайте Бердяева, его «Философию неравенства», читайте и книги «евразийцев», и Струве, испытавшего пути иные и продолжающего искать. Читайте и перечитывайте «Крушение кумиров», — и эта книга подымет в вашей душе вихрь новых и освежающих мыслей, быть может родит в вас новую душу и сделает вас свободными от «пут железных». И — не забывайте читать вечное Благовестие — Евангелие.

Вы, русские женщины, прочтите Франка. Русские женщины... Страшное выпало вам на долю, как никому. Судьба ваша необычайна. Это теперь всем видно.

Русская женщина, — и сестра, и жена, и мать, — носит в душе великую силу — великое страдание. В подвиге творчества новой жизни — многое она может. Ее душа — душа глубины,

и высоты, и Света. Светлые и величавые образы русских женщин дала наша литература, как ни одна литература в мире. Русские женщины шли за мужьями и братьями на каторгу, поддерживали духовно и исправляли, искупали, и очищали. За них, как за верный якорь, хватались гибнущие. Русские женщины «за идею» безотчетно отдавали себя на смерть и муки, гибли самоотверженно, ослепленные «идеалом». Теперь, быть может, достойно выпадает им с верой вести к живому Идеалу, к Богу в жизни, все бесцелье жизни наполнить Великой Целью — вернуть человеку образ Божий! Русская женщина *теперь* это право приобрела, как ни одна в мире. И не только право, но *силу*.

Русская женщина теперь — величайшая страдалица в целом мире. На нее пала *вся ложь* и скорбь запутавшегося мира. Какая женщина *столько* перестрадала и *столько* потеряла?! Какая женщина — мать, доведенная до безумия «культурой», поедала своих детей, осмеивалась палачами, убившими ее сына, ее мужа, ее брата, — насиловалась ими на равнодушных глазах упоенного своей цивилизацией человечества? Какая? Русская женщина. Какая женщина видела осквернение самого для нее святого, ее Неба? Русская женщина. Какая видела своих близких, потерявших лицо свое и соблазненных, на нее же восставших в ослеплении? *к кресту* пригвожденных, распятых, насилуемых при последнем вздохе, при задушаемых зовах — мама! Русская женщина, Величайшая из страдальцев в мире. После Великой Войны, с истерзанным сердцем, она продолжала терять, терять, терять... Она *только* теряла! И не сдалась. И *не может* сдаться. Ей назначен в удел величайший из подвигов. Готова она к нему тяжкой судьбой своей. И познает это. Этот Подвиг провидел и наш Пророк:

«Ей прежде всего принадлежит обновление русской жизни!» (Достоевский, 21, 301).

Ей, быть может, выпадет — первой — быть вестницей Воскресения России.

Помните ту зарю, зарю Воскресения, у Гроба? Мария, первая, встретила Его.

«Жено, что ты плачешь? кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни, — что значит: «Учитель!» (Иоанн, 20, 15—16).

Вы это помните: ей — первой! И теперь, когда все чуткие сознают, что т а к жить больше нельзя, — когда уже указывают пути, на которые выталкивает страшный опыт перенесенного, н а ш и пути, уже полвека указанные Пророком нашим, — русская женщина, наша мать, жена, сестра, дочь, может быть, первой будет готова принять подвиг обновления человека. Это будет святая Слава России — Великой Женщины.

Март, 1924 г.
(Русская газета в Париже. 1924. 17 марта. № 11. С. 2—3)

ПУТИ МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ

Кто сомневается в праве и долге нашем думать об устроении будущей России! Все меняется на сем свете. Сроков никто не знает, время придет, и будет Россия новая.

Будем верить. И, веря, будем готовиться, будем думать. Не все мыслящие погибли, не все утратили чувство жизни. Духовно мертвы лишь те, кого не научил страшный урок России, кто все еще призывает идти размытыми и мертвыми путями.

Какие же пути называю я мертвыми?

Один путь — решительного социализма — коммунизма. О нем мы теперь в с е знаем. Его порочат и социалисты других толков, но не хотят увидеть, что и собственный их путь мертв. Не ищите у них основы жизни, — деятельной любви: живой человек для них лишь значок в мертвой формуле — «человечество». Помните, старец Зосима, у Достоевского, передает слова доктора:

«Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей порознь!»

Кто всех громче кричал о «человечестве» и кто всех больше истребил людей порознь?! Скажут: есть другие социалисты, у тех — любовь! А помните гамбургский конгресс? Какую резолюцию он принял? Охранять передовой форпост завоеваний мирового пролетариата. В «мировом пролетариате» потонули живые люди, отдельные живые человечки, гибнущие и погибшие, — имена же их (а у них и лица и и м е н а были!). Ты Один, Господи, веси! Одобрили резолюцию вожди социализма, ибо — о «человечестве» у них забота. Тысячи заложников расстреляны по России за одного-двоих, имевших и м е н а — заложников, тоже с в о и и м е н а имевших, составлявших некоторую часть «человечества»... И что же! Социалисты, которые так любят «человечество», протестовали? Они протестовали по всему миру, — добились результата! —

когда судили в Москве социалистов. Конечно, в своем протесте они безусловно правы: надо, надо протестовать! Но не во имя же т о л ь к о социалистов! Во имя л ю д е й, с человеческими именами и лицами, протестовать надо! А когда многие тысячи русской молодежи, культурной молодежи, всех классов! — русских офицеров, убивали и мучили, — любители «человечества» нашли ли нужным протестовать?

Это же не человеческая мораль, а мораль волчьей стаи!

Мы — люди, и у нас должно быть не волчье, а человеческое слово, Святое Слово. Из этого Слова родились чудесные основы демократизма: свобода, равенство, братство и право всякого человека раскрывать во всей полноте все возможности свои и все силы.

Идея социализма находила свою опору в христианстве, но она потеряла Бога и пошла путем мертвым.

Где свобода?! Христос учил: «Я сделаю вас свободными!» Массами командуют вожáки, а рядовая личность задавлена. Ей внушают, что она должна поступаться, — в интересах все той же массы! — для далекого «человечества» — в идее! Свободой — не в идее! — пользуются «вожди». Вожди пользуются почетом, властью неограниченной, благами жизни, и делают — при портфелях — приятное для них дело.

«Мы, — внушают они покорным массам, — п р и з в а н ы (кем?) руководить отсталыми массами, «хаосом», но вот когда выведем вас из «хаоса», — уж потерпите! — тогда...!» Когда? — Это только им известно. А что будет — т о г д а — не сказывают. Иногда говорят «о розах на пятом етажу» и о том, как поведал один простачок-матрос, что «все тогда будем спать... в ванных!» А пока до «пятого етажу» и прочего, вожди проходят свой путь спешно: у них и розы, и етажи, и ванны.

Помните почтенного дармоеда, профессора Серебрякова, из чеховского «Дяди Вани»? Он тоже своего рода «вождь»:

— Надо, господа, дело делать! На-до де-ло де-лать!

Ну, и делал свои дела удачно.

Бесспорно, демократический идеал прекрасен. Но где же осуществление?! Вглядываешься — и видишь, как духовные основы демократизма гаснут. Современная политическая мысль остро видит и подтверждает (сколько об этом книг писано!), что демократия — на распутье, перед дорогами, перед темным лесом. Куда идем?! Массы устали верить. Массы куда-то рвутся. Да в чем же дело?! П о у м н е л и массы. Верили массы, что стоит «дать хорошую революцию» и объявить все свободы — и чудесная демократия готова. Но чудеса не всегда

бывают, и на смену старому деспотизму приходит новый, демагогический. Мы это видели. Ибо для водворения истинного демократизма требуется высокая духовная культура и высокая нравственность. Написать ведь все можно: можно и на игорном доме повесить вывеску — «вход в часовню»!

И вот, — сами идеологи демократизма все больше начинают задумываться о духовном возрождении человечества, о значении религиозного воспитания и чувства.

Основа демократии — народоправство. Но при низкой культуре масс, для управления, над массами неизбежно выдвигаются «вожди», не всегда безупречные (нравственности поучить их могут многие и многие из массы!), и демократия вырождается в «управление кучки», которая ревниво цепляется за власть, играя на слабостях наивного народа, на его страсти к равенству, пусть даже к призрачному равенству, — хотя бы в рабстве и нищете! Ну, и дают ему и то и другое.

Водители народа говорят верно, что «без присущего массам высокого почитания «аристократических» типов людей и высших культурных ценностей (массы чутки!) немыслима демократия». Нужна «аристократическая соль»! Верно: очень нужна. Но... соль и соль! Много этой «соли» было за революцию — кусочки ее и теперь еще валяются по Европе — и мы знаем, сколь была солона она: отпиться никак не могут!

Верно, ни в одной государственной форме не встретить совершенства. Без «людей» любая форма — ничто. Чудесное вино будет чудесным — пьешь ли его из царской братины или из республиканского бокала. Все дело в людях! Не в формах дело, а в чем-то совсем ином.

Найдите сущность, повелевающую без насилия, без подавления человека, — жизнь расцветет чудесно — под всеми ярлыками. Я вижу только одну такую сущность:

Возрождение жизни на основе религиозной, на основе высоко-нравственной, — Евангельское учение деятельной Любви.

Народы — на распутье. Всюду чувствуется тревога: куда идти?! Всюду жаждут перемен и потрясений. Падает сила права и морали, и цинизм уже не прячется под маской. Цену международной нравственности мы знаем, и «братство» народов знаем, и отношение их к России. И заметьте: руководят не мужики от сохи (если бы они руководили!), не проходимцы с большой дороги, а... «высококультурнейшие», «вожди»! И вспоминается горькое русское:

Хорошо тому на свете жить,
У кого нету стыда в глазах,
Ни стыда нету, ни совести!

Стихийно зреет протест в народах. Приходит на смену новое, и имя ему — фашизм. Это спазмы новых родов, заглядывание в свои недра, искание сил — в себе. Это сугубый национализм, родившийся из крови и ран войны, «удар по братству» народов. Это отход от «человечества» — в себя. К этому идет дело? Конвульсивно ищут выход из тупика?..

Итак — три вида путей. Первый — долой императивы высшего, нравственного порядка, и пусть интересы материальные, цели производства и потребления, руководят при диктатуре пролетариата или, вернее, кучки. Второй — руководят и нравственные мотивы при власти как бы «аристократической соли». Но без религиозного оживления, без высокодуховного воодушевления, — этот путь будет взорван жаждущими благ земных, — и затеряется, отомрет.

Но намечается путь живой: устроение жизни на основе религиозно-нравственного пылания, на жажде деятельной любви. На этом пути народы должны признать, после горчайшего опыта, что есть в мире Божественная воля, перед которой, как перед Высшим Судией, как перед Идеалом, должна преклониться заблудшая воля человека, этого несчастного Прометея, растерявшего весь огонь. Будущее от этого зависит.

Который же путь изберет Россия?

Опыт безбожного устроения проделан. Может быть — демократия? Духовные основы ее прекрасны, но как же осуществить их? В России — средневековье, лучина, лапоть, полное бездорожье и одичание. Но души там насыщены электричеством, великою жаждой правды. Не по ним будет тепленькая мораль, и слабы будут зовы вождей демократии для оглушенного уха. Оглушенному уху нужен небесный гром, Божий Гром! Глаза, залитые слезами, лучше видят, как попрана Божья Правда. Задерганная душа ждет чуда, познавши «дьявольское прельщение». Ей же иконы обновляться стали! Кресты на церквах горят! Не начинается ли великое чудо Воскресения?..

Не тем, которые отвергают религиозное возрождение, не им быть водителями русского народа. Он захочет своих водителей.

Но не годятся в вожди и те, которые исповедуют лишь мертвую оболочку церковности, «победоносцевщину» ка-

зенного образца. Их пути также мертвы. Слишком личное, узкое, думают прикрывать они пышной ризой идолопоклонства и, воспевая «Царю Небесный», вовсе не о небесном думают. И эти не выведут к свободной и равноправной жизни. Этих народ не примет. Получит — сбросит.

Я мыслю пути иные, ведущие к заветному царству мыслимой на земле свободы. На разгроме сразу нельзя создать его. Придется очищать почву и приводить все в порядок. И вот — жизнь потребует воли организующей, воли — власти духовного обновления. Возрождение будет, если за основу строительства взято будет подлинное Христово Слово, во всей глубине его: ни злобы, ни разделений на умытых и неумытых, на иудеев и эллинов, на бедных и богатых. Все — граждане и все — братья, и все — одно! Только т а к а я власть, только с т а к и м и заповедями поведет к чудесному Идеалу, о котором тщетно мечтать демократии. Власть деятельной любви и воли, покорная Богу-Слову, как Высшей Воле. Как ее назовут — кто скажет?.. Но создастся ли власть такая — ведь это граничит с чудом! Если сумеют понять духовные недра нашего народа, если поверит народ, что не обманывают его — может случиться чудо. Народ это чудо может родить из недр. Ибо Солнца жаждет после кромешной тьмы. Неба — после залившей грязи.

Путь религиозного обновления жизни — истинный путь духовного демократизма. Иных путей возрождения не будет. Или — не будет и возрождения.

Новому поколению России, быть может, выпадет подвиг великого созидания, подвиг как бы революционеров христианских! Откроются цели высокой ценности, родные по духу тем, каких жаждали многие поколения русской интеллигенции. Только — иными путями, иными средствами.

(Русская газета. 1924. 23 апр. № 1. С. 2—3)

БОЛЬШОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ

Удивительная была игра...

Играли в Праге, — не в московской, а в настоящей. Игроки... Но столько теперь игроков на свете, столько любителей сыграть по крупной, не имея гроша, что и запомнить трудно. Впрочем, одно имя довольно знаменито, и оно-то и заставляет присмотреться к игре любителей.

Так вот, играли. Играли по крупной с большим азартом, а кончилось пустяками, ибо играли-то «на мелок». Известно, что чем у игрока меньше денег, тем азартнее он играет. Терять-то нечего! Играли как бы на проходном дворе, — собственный-то домик проиграли! — и картишки были самые что ни на есть потрепанные...

Ах, где теперь удалые-бывалые игроки, что ставили настоящими золотыми и так лихо позванивали дешевым выигрышем?! Где они все — Чхеидзе, Церетели, Рамишвили, Жордании, Винниченки, Петлюры, Черновы, Керенские, Мартовы, Скобелевы, Даны?! Где эти стада славных, одни из коих так самозабвенно-щедро выпрастывали и собственный, и чужой карман и со слезами упрашивали партнеров:

— Родные, забирайте! Душеньку бы отвести только!..

А другие хлестали двойками королей и приговаривали в азарте:

— Хоть и не козырная двойка, а туза бьет!

Выхлестались и сплыли. И пришли игроки иные, крикнули — руки вверх! — и забрали игроков и ставку.

И все же — игра не кончилась. Народились неведомые Качухашвили, Сакианы Аилло, Ахмеды Цаликовы и проч., и проч., — и принялись козырять.

Воистину, жизнь мельчает.

И не стоило бы, пожалуй, и внимания-то обращать на какую-то там игру «на мелок» и, так сказать, на пути, в вагоне,

если бы только Цаликовы и Сакианы. Но игру предложил человек серьезный... и — серьезно.

Это-то и заставляет присмотреться.

Я не игрок. Я даже... — как бы сказать?.. — даже был сам разыгран и проигран, как и многие миллионы соотечественников вместе с родовым-кровным нашим, и потому, полагаю, имею право — хотя бы некоторое — поговорить об игре, хотя иные специалисты и пытаются вывешивать при игорном доме вывесочку — «посторонним воспрещается». Но когда видишь, что игра хоть и понарошку, и не игра даже, а как бы репетиция, а на кон ставят опять-таки родовое-кровное, и опять ты в ставку можешь попасть, когда заиграют на наличные, — хочется крикнуть:

— Да позвольте же, господа!..

Но обратимся к игре.

Объявил игру профессор Милюков. Он — человек серьезный, ученый, сдал карты отчетливо и, признав партнеров достойными, объявил:

— Большой без козырей!

Козырей, правда, у него не было.

Винт, как известно, игра глубокомысленная и тонкая, — отнюдь не азартная, — и требует великой осторожности. Винт — игра самая, так сказать, благородно-демократическая... Как вспомнишь... — Господи! — весь-то третий элемент и все-то либералы играли в винт, и все статистики земские, и даже акушерки, и фельдшера, не говоря уж о профессорах! Ибо в винте было... как бы сказать... что-то такое подмывающее... когда самая последняя двойка... Ну, игроки превосходно знают. Там коронка от двойки, например, куда приятнее коронки на королях! На то он и винт, чтобы... винтом-то эдаким... ффы!!.

Повел Милюков игру с достоинством. И будь у него партнеры цивилизованные, быть может, и договорились бы до шлема... ну, показали бы, например, хоть какого-нибудь завалящего червонного валета или там хотя бы «фальшивые хлопоты» хлапа виневого, как говорится; ну, ловко намекнули бы на «передачу», умело бы застраховали от неожиданностей... Но... партнеры заявили откровенно, что винтить не умеют, а уж коли на то пошло, так и сами не прочь хотя бы на пиках объявить, и хоть на руках у них чистый хлюст, но за себя постоять могут. А Ахмед Цаликов решительно заявил, что может играть самостоятельно, и пусть у него только двойка, а ее он и на чужой шлем не променяет!

И все-таки шлем игрался, и объявитель остался без... тринадцати!

Случаи — никогда не случавшийся. Разве только в рассказе Леонида Андреева.

Впрочем... винта никакого и не было, а все партнеры сразу закозыряли (хоть и без козырей!) и так игру спутали, что со стороны казалось: не то они в свои козыри, не то — в дурачки играют.

Как ни пытался объявитель шлема доказывать, что без козырей нельзя в свои козыри играть, и что винт — игра благородная и демократическая, контрпартнеры подваливали пятками и еще кулаком пристукивали:

— Своих учи!

Наговорили неприятностей (не по адресу объявителя), вспоминали, как их прабабушки хорошо в пьяницы играли, и объявляли, что теперь и сами они хотят играть, как равные, и сами объявят шлемы не хуже безкозырного, и будут играть в собственном своем доме — вот тогда и пожалуйте! — и хотя бы с самими англичанами. А Ахмед Цаликов даже на скалу свою приглашал играть, под семизвездный флаг, развевающийся над саклей.

Но оставим эту веселую и печальную игру. О ней и говорить бы не стоило, если бы через нее не проглядывало кое-что очень знаменательное.

Первое, — это нужно отметить, — в пражском выступлении Милюков как бы вскрыл будущие возможности.

Трезвый политик, он говорил с достоинством и показал, что родное-кровное и для него вовсе не звук пустой — о, да будет! — и что он не только историк и политик, который не может отказаться от прав, родине его историей данных, но и человек русской крови, и будет твердо держаться за величавую целину России, политую русской кровью. И хоть и давал он слишком узкий и суховатый объем живому понятию н а ц и о н а л ь н о г о (к уяснению этого понятия, н а ш е г о, мы вернемся), он все же оказался и национальным политиком, и русским человеком. Это, конечно, знаменательно.

Одно бы я сделал замечание.

Не преждевременно ли сговариваться и обещать? От чьего имени? Не слишком ли много на себя взято, когда обещаешь без хозяина? Не презрение ли это — к хозяину-народу? Без козырей в руках играть нельзя козырной, а объявлять бескозырной, когда и онеров не имеется... Да и партнеры... Нельзя

же играть с господами, которые не умеют даже держать карты — не говоря уже о козырях — и если и подваливали они пятками, то и то только по смутным воспоминаниям, что когда-то у их бабушек были карты (гадальные?), и поигрывали бабушки иногда в пьяницы и проигрывались в пух и прах. Это смешно — и только.

Но самое-то важное — другое.

В этой смешной игре не было главного игрока, он где-то там, но он имеет бесспорное право знать, не за его ли счет опять ведется игра. Хоть и «на мелок», правда, — но не за его ли счет?

Играть в винт, хоть и демократическая, говорят, игра — не все умеют, а многие и не любят: уж слишком сложна игра. У главного игрока, за счет которого пробовали играть, есть свои игры, и он — будет время — придет со своими картами. Он, например, хорошо умеет — и когда-то очень любил — поигрывать «в короли». Он знает правила сей игры, которую раньше игрывал, быть может, не совсем удачно.

В этой игре, как известно, играют роль не коронки и не онеры, а король, принц, солдат и мужик. И «король» никогда не довольствуется только своим почетом («король царствует, но не управляет!»): в русской игре «король» должен принимать близко к сердцу униженных и обиженных — мужика и солдата — и, борясь против принца, на место короля метящего, покровительствует «малым сим» и часто выводит мужика или даже того хуже в достоинство солдата, а солдата — в принцы. Бывает в этой игре, что король может и проиграться, и мужик, если того достоин, может выйти и в короли. И будет осыпан благоволением достойного. В этой игре мужик и солдат вместе с королем частенько сшибают принца. Эта игра почему-то всегда была приятна русской душе, — игра братства и милости. Не русский ли демократизм это?

Соберутся, бывало, за широким столом на кухне. Выйдет кучер Михайла в короли, хлопнет мужика-дворника по спине:

— Не горюй, Сеня... я, гляди, тебя в принцы произведу!

И производил. Можете прочитать в истории.

Эта игра веселая и начистоту. Игра — в открытую. Это игра удачи, терпения и сметки. Сильный король думает не о принце-враге, а подыскивает себе друга-советника в мужике и солдате. Вот эту-то игру, быть может, и вспомнит главный, отсутствующий. Он-то и будет договариваться полноправно. Он предложит свою игру. Быть может и «на свои козыри»

предложит, кто козыри на руках имеет. Но предложит тем только, кто может поставить ставку. Очень возможно, что игра будет и «по носам». Но это будет игра уж начистоту, на силу и уменье — и на счастье! Придет время — и в винт обучится, и уж коли объявит большой без козырей, так с партнером надежным и настоящим, который не будет на бабушек ссылаться, а — или поддержит или скажет пас.

И будет эта игра — в открытую.

(Русская газета. 1924. 10 мая. № 16. С. 2)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Все еще он звучит, этот животворящий возглас — Христос Воскресе! В смутное наше время — как бы напоминает нам: не забывайте о Свете в хаосе дней!

Дни наши — черные. Народы на распутье. Чувствуется тревога всюду — куда идем? Ждут перемен и потрясений. Падает сила права, бесстыдство уже не прячется под маской. Узнали мы много-много; повидали, можно сказать, историю: цену международной нравственности знаем, «братство народов» знаем... — чего только мы не знаем! Глушат нас шумы. Слышим ли еще в ушах этот внешумный возглас — Христос Воскресе? Жив ли в нас тонкий духовный слух, различим ли внешумный возглас? Отзовемся ли на него — Воистину!?

Ваше дело — трудящихся христиан — ответ: Воистину Воскресе! Иначе не может быть, ибо мы — русские: вера в Христово Слово, в животворящий Свет, в вечную Правду Божию — в нас издревле, от светлой культуры нашей. Божье — самое основное в ней. Правда Божия — вот чудесный маяк, по которому, пусть сбиваясь, направляла свой путь Россия, хранила свое богатство, вечно живую Правду, Христово Слово, принесенное на брега Днепра неистовому и светлому народу. Этой Христовой Правдой питалась культура наша. Пусть мы теперь в чужом, но родное нетленно в нас.

От духовных стихов, народных, от пушкинского «Пророка» — ... «и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, Пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!» — от гоголевских прови́дений судеб России, от некрасовского «Власа», богоборцев, провальников и голубиных душ Достоевского — до его каторжан из «Мертвого дома», до судорожных исканий Правды Толстым, до мягких образов русских у Короленки, до баб немых у костра, вешней студеной ночью, у Чехова, и всюду,

в чистой литературе нашей, все — действительно сильное и глубокое — пронизано лаской, светом, стоит на Христе — на Правде Божией. Это — цветы, набиравшие силу от корней родины. Так слагалось все лучшее, что жило в душе России. Или эти цветы померзли, перестали благоухать? В душу свою глядите — узна́ете.

В великом сонме Святых, кого своими нарек народ, вы призна́ете дух единый, родной и нам; и в Сергии Радонежском, и в Тихоне Задонском, и в Серафиме Саровском, для кого немолчно звучал животворящий возглас — Христос Воскресе! А теперь — разве они чужие? Наши они — всегда, навечно. А если наши, не затеряется в шумах возглас — Христос Воскресе! Святые наши — хранители Идеала нашего, Правды Божией. Это искание Правды, неутолимое русское стремление строить жизнь с Богом и по-Божьи, взыскание Града-Божия, Китеж-Града, сокрывшегося от Зла, — разве пропало в нас? Не вы ли его искатели, этого Града-Божия, потерявшие «град родимый», ныне трудящиеся во имя Града? Самое бытие ваше здесь, на пути христианском, не продолжение ли пути заветного? И не вам ли звучит так ярко этот бесшумный возглас — Христос Воскресе?! Не с ним ли идете в мир? Не с ним ли работаете в шахтах, на фабриках, на полях, на виноградниках, на дорогах, свидетельствуя о Вечном Свете? Им освещайте жизнь, Им заглушайте шумы, Им пробуждайте ч е л о в е к а, созданного по образу Господню. Это высокий подвиг, выпавший нам на долю, принятый нами Крест и благословение, иго и бремя. И не забудем сего: «иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть».

Скажут: легко сказать... а вот, нести это иго и это бремя в таких условиях! Да, не легко. Это — голгофа наша, маленькая голгофа, но — голгофа. И все мы ее несем, за редчайшими исключениями «непомнящих». Так сложилась судьба России. Не можем мы отказаться от бремени и ига, на нас возложенных. Кем? Всем прошлым — праведными путями и грехами, исканьями и порывами прошлых лет. И — Злом, которое зрело в нас, и которое... отрезвляет души. Мы теперь его видим все. Видим — и познаем. И теперь еще ярче Свет, никогда в нас не погасавший, ныне нас оживляющий неумирающим возгласом — «Христос Воскресе!»

Все мы слышим его, Его: «Да отвержется себе и возьмет Крест свой и по Мне грядет!» Не к смерти, — к жизни. К обновлению Правдой Божией. Это ли не высокий подвиг?

Это ли — умирание! Воистину — это воскресение во Христе. Тяжкий камень лежит на жизни — на мировой жизни, не только на русской жизни. Работникам во Христе дается от Бога сила — отвалить этот камень от гроба — и жизнь воскреснет. Жизнь по Правде, по-Божьи, та жизнь, о какой искони мечтала душа народная, о какой и мы все тоскуем. И если мы все проникнемся нашим извечным долгом, которому вольно или невольно изменили отцы и мы, если мы будем будить друг в друге неутолимую жажду Христовой Правды, вести ее в жизнь неутолимо, — придет неведомый срок, когда победительно воспоют изведенные из земного ада:

«Пасха нетления — мира спасение!»

(Предположительно: Наш путь. 1924. 1 июня)

ГЛАЗА ОТКРЫВАЮТСЯ

Приехал из деревни Макарка в город, — брат его там служил в трактире. Дает ему брат икры: «мажь, вот!..» Понюхал Макарка — и давай мазать сапоги. А тот бутенброды ест. Макарка рот разинул, а брат смеется: «Во, штука-то замечательная! тебе сапоги марает, а у меня на сердце играет!»

Читаешь о рабочем правительстве в Англии, — и вспоминается наша «смазка». Да, от победы английской рабочей партии не произошло разгрома.

«Пусть-ка Черчилль попробует обвинить... хотя бы самых крайних английских социалистов в том, что их власть — власть тьмы, где с народным учителем обращаются, как с вьючным скотом, а «высококвалифицированному» профессору предпочитают даже не балерину, а дрессированного пуделя. Пусть!» («Дни», 25 апреля).

Но почему же нельзя Черчиллю попробовать — обвинить? А потому, что англичане толк в и к р е понимают: едят, а не размазывают. Они не крикнут: народы Великой Британии, отделяйтесь! И национального гимна петь не перестанут, и флага своего не растопчут, льва и единорога — не сорвут. Ибо они — англичане, и никогда не будут рабами, хотя бы во имя человечества! Знают они, что и они — человечество. Социалисты, а все-таки — англичане!

«Знаем, — продолжает статья, — социализм здесь (в российской «тьме») ни при чем... Но... от прошлого в памяти у каждого осталось ядовитое воспоминание о соблазнительной близости Лениных и Зиновьевых к подлинному освободительному движению рабочих масс. Этот соблазн прошлого требует в настоящем от всех социалистов... совершенной ясности и точности их противобольшевистских позиций».

Статья знаменательная. Спрашивают еще взволнованно: где Россия? В статье Е. Кусковой — «Где Россия?» — слышит-

ся сожаление и... укор. Он затушеван, но он звучит. Но еще ясней слышится боль — в статье — «600» («Дни», 24 апр.). Тут горечь неприукрытая. Горечь... «потому, что еще раз убеждаемся (из речи Макдональда), как духовно и душевно далеко отошли от России даже лучшие, наиболее человечные и свободные от национального эгоизма, представители Запада». Социалист Макдональд признал Политбюро законной властью России «...только потому, что это признание, по его мнению, будет содействовать национально-экономическим интересам Англии...» ...Мы не отрицаем национально-государственных мотивов, вполне, быть может, оправдывающих политику Макдональда с английской точки зрения. И мы не можем требовать, чтобы англичанин, хотя бы и социалист, защищал интересы русского народа лучше, чем он сам это умеет сделать. Но... глубокое безразличие английского народа к Голгофе русской; безразличие, заставляющее Макдональда публично сомкнуть уста перед всем ужасом русского террора, наполняет наши сердца великою печалью» («Дни», 24 апреля).

Знаменательные слова. Воистину, глаза начинают открываться. Верно: не можем требовать... ибо любить свой народ, болеть о своем народе, пока борьба не ушла из мира, — естественное чувство. Это только наши социалисты-идеалисты горели прекрасными чувствами к человечеству и шли безотказно на самоопределение племен России, как бы, экономически и политически, ни било это по русскому народу, как бы ни заколачивало его в гроб.

Да не обвинят меня в разжигании разногласий: я отрезвление подчеркнуть хочу и горячо приветствую эти побеги-прутики, которые могут пойти на «веник». Мне понятна горечь статьи «600» (крестьян, расстрелянных на Амуре). Но какую же операцию должна была произвести жизнь над сердцем и глазами, чтобы затрепетало от боли сердце, и глаза увидели самое дорогое — растерзанным!

«Но больнее макдональдова молчания нам слова Вандервельде»... — который обещает признать советскую власть правительством России и одновременно — независимость Грузии! Грузию признает, а вот Россию — не желает. Крестьяне и рабочие не признают, восстают, их расстреливают, а Вандервельде — признает. Социалист, а как до России — свою признает свободу!

Да что же все это значит? Статья открывает глаза и нам.

«Впрочем, если голос амурского или тамбовского крестьянина не доходит до слуха еропейского рабочего так явственно, как тому надлежало бы быть, то в этом вина тех, кто взял на себя обязанность и тяжкий долг официально защищать интересы российских рабочих и крестьян перед рабочим и социалистическим общественным мнением Европы. Их голоса не слышно там, где нужно, и так, как нужно».

Не доходит до слуха?! До вандервельдова-то уха не доходит?! Не может быть. В одно ухо входит, а в другое выходит, — да! И «мнение»-то у Вандервельде в руках. Так — почему же? Просто: так Вандервельде — выгодно. Как и всем. В целях ли «опыта», в видах ли национально-экономических.

Я вчитываюсь в чувства — и вижу, как зарождается в космополитических русских рядах — национальное. Поздно, правда, но лучше поздно, чем никогда. И мы выучиваемся понимать «икру». А если и тут не научимся, научит нас сам народ, которому и на «смазку» не предлагают. Когда западные социалисты так легкодушно бьют в обе щеки крестьян и рабочих русских, — оставим интеллигенцию и буржуазию, — не признавая русского и признавая грузинское; когда на глазах живьем закапывают народ («600»), русские социалисты начинают говорить с достоинством, с чувством ответственности перед единственным, без чего быть нельзя, перед кровным, национальным!

Но почему же — грузинское признают, а русское ни во что не ставят на Западе?! Причин много: тут и корысть, и привычка считать Россию — общечеловеческим матерьяльцем. Тут и — психофизиология. «Проторенные», объезженные пути бывают не на русских дорогах только, когда сани сами сворачивают в ухаб: бывают и на европейских путях — привычные чувства и автоматические мысли. Наше космополитическое служение, наши безнациональные повадки, наши удивительные дела-слова, подвалы слов, насоривших порядком и в Европе, — сумели проложить в мозгах Запада «проторенные пути». Там отлагалось: им (нам) ненужна Россия; они кричали — «без аннексий и контрибуций!», «самоопределение народностей!», «приходите и володейте!»; пришли немцы — не бились, все всем пораздавали, со всеми лобызались; они — бессеребрянники, бесправники, бесгосударственники, на конгрессах, удавленные, они хрипели — «форпосты завоеваний пролетариата...» И потом — они имеют таких официальных представителей, что «их голоса не слышно там, где нужно и так как нужно»!

На Западе хорошо известны спустярукавство, рознь при однофронтовье, конец Колчака, «корниловское дело», когда сама судьба протягивала России руку человека казацкой крови, русского демократа, хотя бы даже — диктатора! Начетчикам идеологий куда важней «ортодоксия», чем сам народ.

Кажется, можно было бы убедиться, что «форма» недорога народу. Не пошел народ защищать республику. Ему, младенцу, важно было схватить, пусть — чужое. Он подрастал, но его сбили с роста, подшибли ноги, отшибли память и отемнили душу. И хоть теперь открываются глаза, и сердце томится болью, — все еще взглядывают на небо. Все еще держатся за «формы». Отсюда — нетерпимость, язвительные статьи, слова... Не затрудняются ставить на одну доску с... «кремлем» — писателей, говорящих сердцем и опытом духовным. Пишут о «крепкой спайке взаимного притяжения», о «порядке, который обеспечивал бы центростремительные, а не центробежные навыки населения»... Да, нужна «спайка». Но нужно сознать себя, прежде всего, не социалистами, республиканцами или монархистами, а — р у с с к и м и!

Когда я говорил о «Душе Родины» и о «Путях мертвых и живых», я исходил не из политики и честолюбия: я шел от чуемой мною души народной. Народ я з н а ю. Дух словамысли его я знаю. Думы его я з н а ю. Революции я не делал, но я не порвал с народом. Как и большинство, я много перестрадал. Я ездил в далекую Сибирь за политическими каторжанами, и видел многое, — и понял, что именно т а к и м и представлял я себе народ. Мне приходилось и говорить перед толпами, и с первых же дней я з н а л, что будет с т р а ш н о е: знал я народ, знал и деятелей, к а к и м и они будут. Отношение народа к большевизму мною давно показано: Е. Кускова, быть может, вспомнит и мою сказочку — «Панкрат и Мутный», — в ее газете, декабрь 17 года. Ей же я говорил в редакции: «Идет ужас... но на мужика нарежутся!» Она, как будто, и соглашалась... Нарезались, но не вплотную. Нарезались бы вплотную, если бы не «спутанность идеологий» у очень многих. Вплотную — впереди будет, и — н е и з б е ж н о. Глаза открываются — у всех.

И вот, вглядываясь в народ отсюда, я говорю: не «формы нужны народу! В народе, как бы он ни был дик, здоровое есть зерно, есть в нем — н а ц и о н а л ь н о е, чувство с п а й к и — и на с в о е м, — есть и есть! Он хочет — и будет жить. Не «форма» ему нужна, а ж и з н ь. «Форма» по жизни будет.

И о «цепях рабства» надо перестать. Кто всерьез верит, будто в годы перед войной все еще позванивали «цепи рабства»?! Позванивали они, по памяти, — и для разжигу — в речах и «гимнах». Эти «цепи» внушались, да. Повторял их народ — с усмешкой, как «пот и кровь». Это была уже бутафория. Одни повторяли ее, как «знамя», другие — пускали, как «подливку». Мы знаем по точным цифрам, что народ богател, учился, торговал, прибирал к рукам землю, производил с возрастающей быстротой, и рос. И все-таки — «цепи рабства»! Народ жил, и — по-своему — счастливо. Это Европа прекрасно знала. И точила зубы. Теперь — грызет. Цепи рабства! Это же — «проторенная дорожка», пустое словоизвержение, доселе еще звучащее. Как и другое: слава Богу, с монархией навсегда покончено! Как покончено, — не задумываются над этим. И было ли нужно народу — покончить так?! Птичье гнездо разорить, лучшей части народа, — жалко, а кончить бойней!.. И — навсегда! Слишком самоуверенно. Да, навсегда, если прикончили Россию. Но ей еще суждено быть, и будут формы, которые народ укажет. Но пусть народ, а не подсказчики за народ.

Да, необходима спайка. И если вы хотите народной воли, если душа болит, если ясно видно, как расправляются с Россией Макдональды, Вандервельды — прочие, если познали официальных представителей... — если вы с подлинной тоской вопрошаете: «где Россия?» — тогда путь открыт. Надо спаяться, надо понять друг друга, без укоров, без поминаний. Правда, пора и пора — забыть! Пора, наконец, поверить в родные чувства. Ведь у нас же ничего нет, если нет родины! Ведь за живой, за свой народ отвечаем!.. Много чистых и там, и там, разучившихся уважать и понимать друг друга. Надо новым стать совсем, найти истинное преображение. Там разберемся, если здесь найдемся. Мы должны найти общий язык и мысли, если понесем истинную, внепартийную, внеличную любовь к народу, к его духовным и бытовым навыкам, к его праву быть так, как он хочет. Воистину любящие народ должны, наконец, найти и общую дорогу.

(Русская газета. 1924. 1 июля. № 34. С. 2–3)

ДИКОЕ ПОЛЕ

(Колонизаторам России)

Совсем недавно мир с тревогой смотрел на возрастание русской силы. Рост просвещения, городов, промышленности. Высококультурные хозяйства, – хотя бы знаменитая полтавская «Карловка». Десятки образцовых экономий, откуда истекали на округу – отборные семена, приемы обработки, племенной скот, заработки. Склады орудий, железа, удобрений; агрономы, опытные поля, ссыпные пункты, мелиоративный кредит, школы, сельскохозяйственные общества, журналы... – все ширилось. По иным земствам завершался план всеобщего обучения. Колонии получали культуру. Глубже вскрывались недра. Исследование окраин дарило сокровищами бездонными...

Что произошло – мы знаем. За семь лет Россия обращена в дикое поле, в колонию для проходящих, на все вкусы, – от хищников до «благотворителей». Русский народ, тысячами глоток призывавшийся к братству без аннексий и контрибуций, еще не сознавший в себе национально-здоровое, втаскивается в ярмо с клеймами всех народов. Русские недра ныне доступны всем, у кого деньги и дерзость – шарить.

Концессии... Признающие рабовладельцев России мечтают о барышах. Это – белые нитки во всех переговорах. Ими хотят опутать русский народ, и этому делу помогают даже идеалисты. Благородные речи отзвучали. В соперничестве и спешке говорят прямо: выгодно! Нефть, хлеб, лес, сырье... – надо спешить, пока вход свободен: случится может, что скоро замки повесят! И все спешат. Колонизаторы приглядываются и входят...

Одним из первых, зоркий к пустынным далям, привычный к риску, пытавшийся водрузить свой флаг на полюсе, – Нансен. Пытливым глазом он усмотрел чудесно открывшееся – Дикое Поле, доселе неведомое географам. В голодный год он

совершил экскурсию, присмотрелся и заарендовал, пока что, два изрядных, когда-то культурных имения: «Аркадию», под Саратовом, и другое — у Екатеринослава.

Он получил землю русских людей, быть может убитых его же контрагентами. Исследователь стран пустынных, когда-то восхищавший нас описаниями «вечной ночи», открыл выморочное русское добро, политое русской кровью. Путешественник и на сей раз мог бы прикрыться благородством: он является пионером, несет культуру дикому краю, научит дикарей земледелию, наконец — даст заработать населению, погибающему от голода. Эти концессии он получил не за громкое только имя, он не раз выражал громкое восхищение творцам «великого опыта», — и не ошибся целью. Без «опыта» вряд ли бы он открыл Дикое Поле и мог получить концессии. Без «опыта» население не нуждалось бы ни в его обучении, ни в его заботах: агрономы, школы, имения — учили и показывали наглядно; поля призывали золотом. Русские агрономы, техники и рабочие всегда находили приложение своим силам.

Теперь послушаем шведского инженера Седергрена, управляющего концессиями, что получил Нансен: это так поучительно («Руль», № 1131, 23 августа с.г.).

Он получил право работать с в о и м и машинами и орудиями — шведскими. Он получил привилегию ввозить их в Россию для концессий — б е с п о ш л и н н о. Его агрономы и монтеры, в числе пятидесяти, — ш в е д ы. Он слишком национален! Не из любви к голодному русскому народу взял он концессии. Русские агрономы и техники, умирающие с голоду на своей земле, ему не нужны. Впрочем, они могут пойти к нему — рабочими. От щедрых раздатчиков чужого предупредительно даны были Нансену семена в нужном количестве и исключительное право — полная свобода в эксплуатации всех угодий, в найме рабочих и проч. Он пользуется благоприятнейшими для плантатора условиями, когда русский рабочий доведен до отчаяния, когда свыше миллиона безработных, и рабочие руки можно иметь за плату во много раз меньшую, чем в Швеции, чем в былые года в тех же имениях. Великий путешественник и член европейских Лиг является в новой роли: плантатора, с русскими рабами.

Явление знаменательное для оценки хищнических устремлений на Россию. Уж если Нансен т а к поступает, почтенный и благородный Нансен, кому вручена была высокая миссия, — опекать эмиграцию, — чего же спрашивать с тех, у кого и на лбу выжжено: иду выгребать остатки:

«России никакой нет, а есть — Дикое Поле!»

Знаменательно и для нас, бедных чувством национального.

Нансен — националист; не забывает с в о е г о, шведского, и горд, что он, швед, учит Дикое Поле и... п о м о г а е т.

Но... он не совсем доволен. И беспошлинно, и свобода, и семена получил, и на насиженное место сел, хоть, конечно, и порастрепанное, но окультуренное, не в степь Мургабскую... — и убыточно! Правда, это его управляющий говорит — убыточно. Но какой же арендатор станет торжествовать? А вдруг, после срока-то, и набавят, передадут другому?! Да и неудобно слишком торжествовать удачной эксплуатацией добра, оставшегося после ограбленного, выгнанного и, быть может, даже убитого русского человека. Неприлично все же...

Убыточно?.. Но почему же, даже при таких разлюли-малинных условиях, — убыточно?!.

Ответ имеется. И ответ знаменательный.

«Принудительно-низкие цены на зерно».

Было бы куда приятней по высоким ценам расторговаться, взять с чужого имения побольше. Кстати... какое бы словечко нашел в своем шведском словаре почтенный Нансен, если бы, скажем, выгнали его из его шведской мызы, наплевали бы на письменный стол в его кабинете, где писал он про свои подвиги, где северная сова на книжном шкафу посажена, а белый медведь в ногах валяется, — и вдруг такой же почтенный, хотя бы Амундсен, или друг человечества Макдональд взяли бы да и прикатили со своими машинами беспошлинными, стали бы на его шведах и шведках ездить и еще жаловаться: ма-ло?!

«Слишком много у русских рабочих — гулевых дней!»

Нансен из Швеции своей видит: ленивые русские рабы, все гуляют! И грустно сердцу плантатора.

«Полнейшая дезорганизованность русских рабочих, склонных то и дело митинговать!»

Нансен хороший организатор, и вполне понятно, что «дезорганизованность» его режет. Да досадно. Пришел человек на чужую землю, привел своих инженеров и управителей, получил рабочую русскую скотинку... — а она в вопросах там разбирается: почему — Нансен, да почему шведы-немцы, да почему семена ему выдают и машины без пошлины, а мы и за сахарок, и за спички, и за петухов даже налог платим? а как же сказывали — что вся земля — народу, а тут какому-то путешественнику какие именья дадены?! своих господ повы-

гнали — перебили, а пришел хлюст какой-то и недоволен, что Десятую Пятницу гуляем?!.

Надо думать, что происходит «итальянская» забастовка. Шевелиться начинают мозги, и кричит рождающееся в ущемленности чувство национальное:

«Проданы-то за ч т о?! Труд наш пойдет какому-то Нансену и шведам, которых русский царь Петр разбил, неподалеку, под Полтавой, которых недавно не было и слышно, а теперь покрикивают: «ходи веселей!»

И вспоминается сладкий сон, — как здесь было, когда в школах учили, в больницах лечили, зарабатывали в уборку по три да по пяти в день на золото, когда ситец стоил пятиалтынный, фунт колбасы гривенник, бутылка водки три гривенника да еще ка-кой!..

«Крестьяне, разоренные большевизмом, без лошадей и орудий, с завистью и ненавистью глядят на привезенные Нансеном беспошлинные машины, а представители сельской власти и прочие, пользуясь этим чувством, разжигают ненависть к иностранцам... я к о б ы грабящим русский народ».

Нежданно и неприятно это для Нансена. Он ждал, очевидно, совсем другого: признательности, покорности и... дохода? В пустынях Севера он привык иметь дело с покорными самоедами, с преданными собаками, которых питал рыбкой. Хоть и Дикое Поле, а до собачьей покорности еще не дошел народ. Что-то сильно поранено и болит в народе... И уж наверное открывается истина: иностранцы грабят, при пособничестве своих грабителей!

Из «экспедиции Нансена» вытекают важные следствия — и для нас и для «колонизаторов». Одно — несомненно положительное: в народе начинает пробуждаться национальное чувство, хоть и в грубо-элементарной форме, — но таков предметный, жестоко-грубый урок: грабеж н а ш е г о, русского достояния и эксплуатация русской силы, преданной на бесправие. Другое — жуткое: разжигание племенной вражды. Пружина будет натягиваться. Колонизация намечается, ширится — ненависть разливается, густеет. Сеется страшное, что придется пожать другим, вовсе, возможно, и неповинным. Но пусть не винят народ, если настанет страшное — суд народный. Идет по Дикому Полю молвь, вымаривают, продают чужим. Глаза открываются все шире, и с чувством оскорбленности за с в о е, р о д н о е, по крови близкое, нарастает

ненависть и пожар. Места вымерших деревень и сел, всюду, где вымел голод; места, где чужаки выжимали пот-кровь, — целы, и память о них жива: и горе тем чужакам, кого захватит в этих местах пожаром — все выжжет. Дикое Поле начинает просыпаться.

Август 1924 г.
Ланды
(Русская газета. 1924. 31 авг. № 109. С. 2)

БОЛЕЗНЬ ЛИ?!

(О «неудавшемся» поколении)

С большим интересом и волнением прочел я статью — исповедь Александра Туринцева, напечатанную «Днями» (5 сентября, № 556), «в качестве материала, характеризующего одно из современных настроений». Статья остро ставит вопрос об «отцах и детях» и, очевидно, попала в цель: и напечатавшая ее газета, и передовая статья парижской сейчас же отозвались и поставили диагнозы: 1 — «опустошенные души» и 2 — «реализм издерганных нервов». Согласное заключение — б о л е з н ь. Один из диагнозов («Дни») установил и причину «болезни»: «мечом войны и... *огнем революции* (курсив мой) создается, воистину, неудавшееся поколение — поколение опустошенных душ!»

Знаменательное признание одного из «завоеваний» революции!

Другой ограничивается — любимое словечко! — «нервами»:

...«это вообще результат потрепанных нервов, не успевших прийти в порядок. Чем скорее произойдет выздоровление, тем лучше».

А если не произойдет?! Если и болезни-то никакой нет, а просто — ради приятности выдумана она имеющими склонность к врачеванию?! Мне представляется, что исповеданное А.Туринцевым, представителем нового поколения, есть результат войны и «огня революции», как следствия «насильственно подогнанной под «идеи жизни», — собственные слова «больного и опустошенного», и он совсем не нуждается в диагнозах, а напротив: к кому-то вчиняет иск. Тон статьи его очень решительный и по-военному, сжатый, и содержание — отказ от былых руководителей; а представители этих руководителей, вместо ответа по существу, перевели разговор на медицину!

Я не возьму на себя смелости отмахиваться от фактов и неприятного для иного глаза проявления «болезни»: я люблю

подлинники жизни и потому позволю себе в этом человеческом документе посильно разобраться, любовно понять истцов, и задуматься над явлением огромной важности, ибо в нем видится зарождение н о в о г о. Речь идет о коренных переоценках идолов и идеалов, о том новом мероприятии, на основах которого, возможно, будет отныне строиться не только наша, русская, жизнь, но, если переоценки будут распространяться шире, то и вообще — жизнь человечества. А признаки сего уже и наблюдаются.

Но должен оговориться. Я буду пользоваться не формальной только стороной иска, тем, что в статье-исповеди выражено обще и намеком, а попытаюсь вскрыть и самую душу иска, доскажу недосказанное и приведу некоторые иллюстрации и комментарии, по содержанию статьи-исповеди видя, что вовсе не лекарей добивается истец, а слушателей и судей.

И оговорюсь еще: тема огромная, и не в статье газетной надо бы ее разбирать, но, пока что, делаю лишь попытку направить обсуждение на путь общественности с пути врачебно-санитарного.

Прежние поколения, ответчики, — «отцы», более культурные, чем истцы — «дети», создавали идеалы, поклонялись им и стремились провести их в жизнь. Против идеалов истец, в сущности, и не возражает: они безвредны и даже интересны; но он бросает упрек в прекраснодушии, в самонадеянной и беспочвенной уверенности, что жизнь должна и способна эти идеалы принять, обвиняет в насильственном подгоне жизни под «идеи», за что и пришлось жестоко расплачиваться «детям», брошенным в «огонь революции», поставленным помимо их воли перед фактом опустошенности их жизни и — для многих миллионов — и перед «стенкой». Муки, выпавшие на долю молодому поколению, — вина «сентиментальных душ» и «маниловских сердец». «Отцы», смотревшие через розовые очки, не учли неподготовленности русской жизни к принятию идеалов, до сего дня в этих очках ходят и хотят оставаться руководителями, вместо подлинной жизни, видимой молодым глазом, подсовывая блестящую «витрину». Довольно очков и витрин. Новое поколение познало то, чего не снилось «мудрецам»! И теперь этим мудрецам не верит. Хочет искать — *само*. Да, новое поколение не культурники, а почвенники, и ничего обидного в такой кличке не видит, в розовое не облекается и не облекает. Они, *новые*, — трезвые реалисты, считаются с суровыми неумолимыми законами жизни и «какою

мерою нам будут мерить, такой и мы отмерим щедро». «Не заботясь запятнать белоснежных риз, мы с насилием будем бороться не протестами, убеждениями, негодующими или добрыми словами, а кулаком или штыками... охраняя родину свою, не будем разлагольствовать о недопустимости смертной казни... ибо убедились, что за «гуманность» иногда самим приходится расплачиваться «стенкой».

Здесь нет отрицания идеалов; тут лишь трезвый учет внедрения идеалов. Не хотим быть головами и спинами, за счет которых «отцы» попробовали провести идеалы в жизнь, гладко рассчитав в кабинетах. Мы будем руководствоваться «реальным соотношением сил», как привыкли на фронте. Братство людей? Познали. Самоопределение национальностей? Познали. Во имя трудового народа? Очень познали. Родина во прахе, народы самоопределились и наплевали на «самоопределителя» и ненавидят еще больше. Трудовой народ «любовью» доведен до невообразимого «счастья». «Счастье» досталось негодяям. Бу-дет! Осуществление «идеалов» оказалось пустопорожним и сплошным истязанием для «детей». Достаточно.

Какая же тут болезнь?! Истец мог бы прибавить горшее:

— Сыпались ловко нацепленные слова, диалектика, медь звенящая... *а дела*... — кровь, грязь и муки. Мы верили многим из вас, людям большой культуры, с высокими, чтимыми всеми, идеалами. Вы нас вели и нас же предали. Почтенные — Кони, Тимирязев, Горький, проф. Котляревский, академ. Котляревский, академ. Ольденбург, профессора, многие-многие... — на кого они променяли нас, новое поколение культуры русской?! Да, много и из них мучеников, но для нас, столько на себе вынесших, измена хотя бы группы служителей культуры и идеалов — удар по идеалам. Мы болезненно чутки, и это — удар в душу. Да, в вас мы перестаем верить. Не раз мы были свидетелями, как виднейшие люди меняли свою веру, свои политические идеалы, тактику и ориентацию.

Вы шатки и, как авгуры, принимаете вид, что истина вам известна. Вы — просто руководить хотите, вы — слишком горды и самолюбивы, непогрешимы. Мы знаем, что мы не на высоте культуры, но мы получили закалку опытом — и только своему опыту верить будем. И если разлетятся ваши идеалы — нам не больно: истерзаны мы за ваши идеалы! У нас все отнято. Ни личной жизни, ни родины. Нервы?! Кто «опустошил» нас?! Мы слышали, как ваши партии, провозглашавшие высокие

лозунги, во имя человечества, кончали людоедством, избиением миллионов, нас, молодых, подлой травлей, ограблением души народа. Теперь подчеркиваете готовность нашу силой бороться против насилия?! А *кто* создавал гнуснейший террор?! Положил начало?! Молодое ли поколение?! А кто, не отдавая мизинца своего на жертву, в тиши кабинетов, потирал руки, что «ловко ухлопали» и теперь близится «заря», вот-вот поставим идеалы на пьедесталы?! А теперь пугаетесь нашей одичалости, что мы готовы «отмерить щедро той мерой, какой и нам будут мерить»?! Повидали. Славные террористы, благословлявшие молодежь убивать «врагов народа», самоуслажденно писавшие книжки с высокими словами, пошли продавать душу свою и «идеалы» убийцам «любимого» народа! Витрина, витрина! Вы отравили всякую в нас веру, мы будем добывать ее *сами,* искать *сами!* Мечтами о «сверхчеловеке» поили нас, эстетством, мистикой, — рафинированные души?! А взяли вы, рафинированные, оружие, чтобы защитить ваши попираемые идеалы?! Своею грудью, своею жертвой, чтобы примером показать любимому народу, что ценнейшее защищаете, защитили вы *ваше* Учредительное Собрание?! Мы отдавали себя за *наше.* Называя нас «опустошенными душами», не совали вы нам палки, когда мы отдавали жизнь, чтобы отстоять родину, сокровищницу и наших и ваших идеалов?! Ведь на чужое поле, чтобы осуществлять идеалы, ни нас, ни вас не пустят! И не вы ли положили начало той реки крови, что и до сего дня льется?! А теперь — «опустошенные души»?! *Кто* опустошил нас?! Теперь начинаете признавать «героическое и жертвенное» и в белом движении, задним числом, когда надо проложить дорожку в наши «опустошенные» и нервнопотрепанные души?! Нет, нам, *больным,* с вами не по пути: слишком уж вы здоровы! У нас иные глаза теперь, *новые.* Да, «мещанское счастье» мы не осудим, ибо мы не знали никакого счастья. Вы прожили блестящую жизнь и имели свое «счастье», хотя бы размышляя на досуге по кабинетам и пышно говоря речь-речи в парламенте, а мы, кроме строя, огня, крови и гонений, — ничего не получили от жизни. Да, теперь мы будем делать каждый свои биографии, веря, что жизнь найдет и создаст общую биографию-историю в результате соотношения сил реальных, не станем возноситься к далеким вершинам будущего. Вы, строители Сольнесы, послали нас подпирать вашу башню, и мы сброшены ураганом, силу которого не учли ваши культурно-чуткие барометры. У нас теперь *наш* барометр,

когда болят наши раны, *наш* барометр — предсмертные стоны родных и братьев, — они и до сего дня в ушах и душах наших стоят непроходимо, а вы и до сего дня глухи!

— В огне и буре познали мы *наших* руководителей! Их сердце билось однозвучно с нашим, они показывали пример жертвой. Не вы ли их у нас отняли?! Не вы ли или вам близкие?! У нас был Духонин, не покинувший своего поста до смерти. У нас был Каледин, — застрелился, не пережив горя и ожидаемого позора. У нас был сын народа, славный Корнилов, на посту павший, — не вы ли затравили его, схватили в тюрьму, называли изменником?! У нас был отважный Колчак, преданный на мучения... кем?! Всем мы памятники поставим, когда настанет время, ибо *есть* у нас *наши* идеалы. У нас были миллионы друзей и братьев, — одногодки наши, — преданных подгонкою жизни под ваши идеи-идеалы! И теперь все же мы — не одиноки. С нами — вечная память павших. С нами, у нас — «отцы», понявшие наши муки и наши боли, *право* наше понявшие. Они — наши друзья и товарищи наши старшие, ибо они показали мужество честно сказать о былых ошибках. Они нашли новые пути, нам близкие. Они передадут нам свой великий культурный опыт, — все те, у кого много сердца. Вы говорите — «опустошенные души»?! Огнем революции *вашей* опустошенные? Признали?! Или — нечаянная обмолвка?.. Когда же, наконец, кончите вы с *обмолвками?!* Впрочем, вы так много говорили... Нам «потрепали нервы»? Да, конечно. *Вы* это прекрасно знаете. Но как бы заговорили вы, если бы нам поменяться судьбами! У нас нервы ничем не тронуты, и потому-то нам с вами не по дороге. *Наши* нервы привыкли далеко, глубоко слышать, а вы — нечутки. Чутких людей мы знаем и пойдем с ними и не пойдем с вами повторять опыт опустошающего огня. Мы не отвергаем ваших идеалов — многие из них и наши! — но отныне, посильно, мы не позволим *вам* проводить их в жизнь... нашими головами! Да, у нас есть и идеалы. И первый наш идеал Родина, Россия. Ее мы хотим, ибо без нее — *нельзя*. Нельзя иначе! Вам нужно объяснений и программы, почему «иначе нельзя»? Вам непонятно это? Нам понятно, потому что мы — *чувствуем* и — немногословны. Откуда вы знаете, что нет у нас идеального образа нашей родины? и как вы можете называть наше «иначе нельзя» — «кошачьей привычкой к месту»? Вы и тут не перестаете швыряться оскорблениями! Вам ли учить нас любви к родине, которую вы, вы, вы отнимали у нас, вырывая пропасть между нами и

народом, натравливая на нас темные души, выдавая себе лишь патент спасителей; которую вы развеяли и оставили, не легши за нее грудью?! Не кошачья привычка — родина, а могила наших отцов и братьев, могила нашего славного прошлого, колыбель-могила всех русских и всечеловеческих идеалов, найденных и хранимых теми, кого мы чтим, кого и вы чтите. Родина — колыбель-могила похороненных надежд наших и ваших.

— Наш язык груб, слово наше не заострено диалектикой. Мы дети войны и мятежа, с надорванной грудью. Кровью своей отыскиваем мы *наше*. Чтобы не предавать своего, что теперь в нас рождается и бьется, мы будем учитывать реальное соотношение сил и будем не словами бороться только — мы увидали, как вы боролись и что из этого вышло! — а будем мерить мерой соответственной, и отмерим щедро. Мы не будем уговаривать, ибо мы слышали, как уговаривали, и что из этого для нас вышло. Уговаривавшие и по сей день говорят обильно, а мы косноязычны, да наших голосов, рассеянных по всему свету и под землей, и неслышно. Да, здесь мы «несем возмездие». Вам это непонятно? Вы ставите знак вопроса? Да, возмездие — за ваше прекраснодушие, за излишний досуг изучения жизни по кабинетам, за нашу *невиновность!* За «отцов» долги уплачивают «дети». Мы с лихвой уплатили долг, с ростовщическими процентами. Теперь сами должны повести хозяйство. Ваши слова — патриотизм, демократизм, — мы сделаем нашими, вольем в них новое содержание. И главное — родину *нашу* мы понимаем и принимаем *кровью!* И, закалив мужество, мы принимаем жизнь смело такою, как ни тяжка она, как ни грязна и ни жестока. Ужасами не испугать нас. Это вы, не готовые к ужасам, потеряли голову и погубили нас. Мы найдем новых вождей, которые, укрепляя в нас наши идеалы, будут с нами бороться бесстрашно рядом. И вам уже не удастся смутить нас диалектически-тонко поставленными вопросами. Мы не признаем *слов*. Знаем одно: без родины ни вы, ни мы идеалов осуществлять не можем, а смотреть со сторонки, как осуществляют другие, — занятие праздное.

Поэтому-то мы и национальны. Ибо хотим строить. Иначе мы — без дела. Мы — волевые и мы — хотим! Вы привыкли на любом месте довольствоваться рассуждениями, говорить и говорить, спорить и спорить, как говорили и спорили годы-годы. Мы хотим у себя жить и *делать*. Да, потому мы национальны. И будем — время придет — строить. И если оши-

бемся — заплатим сами, и без высоких слов. Да, мы — *новые*. Мы крещены в иную веру, — не водой, а огнем и кровью. Мы уже побеждаем, ибо делами нашей жизни мы заставили и вас, наконец, признать нашу «жертвенность и готовность к подвигу». Признаете и другое. Не признаете — нам не важно. Но строить, без нашего контроля, не позволим. А культурой вашей, знанием вашим всегда готовы воспользоваться — для *нашего*. Если поймете нас — будем вместе. Долг уплачен. Прежнее мы забудем. Выше и вас и нас — одно: родина, ей много нужно.

Вот что сказал или хотел бы сказать, представляется мне, Александр Туринцев. Пусть он — я его не знаю — извинит меня, если я принял смелость его дополнить. Но сделал я это, как слушатель и судья по иску. И сам я никогда не прочь отвечать по иску, если и на мне есть доля какой вины.

Здесь, в этой исповеди-статье Туринцева, — *новое* исповедание веры, новое мироотношение, — иначе и быть не может. В огне войны и революции должно было многое сгореть, отжечься и отлиться. Или «отцы», вера которых в движение обновления — краеугольный камень их сущности, так самодовольно-самолюбивы, что лишь за собой признают право на эволюцию, как и на... революцию?! Тут подлинная революция склада русской души, новая поросль от корней родины. Не пациенты санатория для нервно-больных, куда хотят приписать сами страдающие навязчивыми идеями, а огнем опаленные и закаленные пионеры воистину новой жизни.

11 сентября 1924 г.
Ланды
(Русская газета. 1924. 19 сент. № 125. С. 2–3)

ГОЛОС СОВЕСТИ

Каждый год, в день Святителя Николая, 9/22 мая, Главное Правление Зарубежного Союза Русских Военных Инвалидов обращается к русским людям с призывом о помощи самым обездоленным из нас, хранителям русской славы и русской чести. Нужно ли напоминать и ныне о нашем долге, о страданиях, о безысходной нужде? Совершающиеся в мире, свидетелями и участниками чего являемся мы все, говорит нам неизмеримо ярче и наставительней, чем слово. Мы являемся ныне участниками, по слову поэта, «роковых минут» мира, но не на пир призваны, не в сонм «всеблагих» пить из чаши бессмертия, а — это мы ясно чувствуем — призваны со всем миром как бы на Суд, ибо свершающееся в мире переносит нас из привычной обыденщины в надмирность, в в е ч н о с т ь, — так велики события, так невнятны для наших чувств неисследимые их последствия. Чуткость-проникновенность наша внушает нам, что мы как бы призваны к ответу: в грозные минуты жизни каждый должен быть готовым к о т в е т у. В такие минуты слова бесцельны: их место заступают дела, пересмотр, отчет перед своей совестью. События ставят всех как бы перед лицом Судьбы. Русские люди это понимают, чуткостью своей, слышат. В такие минуты совесть особенно тревожна, требует властно, — повелевает. Мы знаем это, мы видим это. В эти дни, дни Страстной недели и Св. Пасхи — наши храмы были переполнены; давно не бывавшие у исповеди — каялись и необычно щедро русская душа, при всей нашей бедности, отзывалась на доброе. В такие минуты душа выпрямляется, готовится: не надо увещаний, слов: совесть повелевает неуклонно, — воображение, пробужденное совестью, ставит перед глазами чуткий символ страдания русского — измученного жизнью, забытого миром — увечного воина, — и н в а л и д а. Нужно ли взывать о помощи, будить совесть?

Да ведь этот образ нашего страдания, нашего одиночества, нашей забытости — никогда не закрывающаяся рана! Какие еще слова нужны, когда неутолимая боль в нас, когда мы все стоим перед лицом Судьбы, когда, быть может, уже некоторые из нас уже призваны к о т в е т у ?! Ответим же твердо и прямо голосу нашей совести.

(Предположительно:
Русский инвалид. 1925. 22 мая.
Вариант — Парижский вестник. 1942. 2 авг. № 8. С. 4)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И О СЕБЕ»>

О себе сказать затрудняюсь. О русской литературе за границей? Нельзя говорить, что у зарубежных писателей «все в прошлом», что связь с родной жизнью утрачена и источник их сил пропал. Писатели работают. Суть их творчества — Россия, родное. Душевная ткань их давно образовалась, ткань эта — русская, жива доселе, и характер работы — в соответствии с этой тканью. Но ужас и мерзость последних лет, разгром России и русского духовного мира потрясли эту ткань; у иных смяли, у иных прорвали. Понятно, что работа по этой ткани, когда-то цельной, не может не измениться. И для вдумчивого обозревателя должно быть ясно, какие и у кого из писателей произошли изменения в тонах и сущности их работы. Подлинному писателю невозможно не чувствовать потрясений, не слышать вздрагиваний и разрушений своей духовной ткани. И теперь он дальше, чем когда-то от устремления в *чистое* искусство. Было бы поучительно видеть Пушкина, Достоевского, Гоголя, Тургенева лицом к лицу с *такою-то* вот Россией, лишенной даже своего имени. Как бы они заговорили! А когда-то даже светлый Пушкин отзывался страстно — и за Россию! — при совсем не острых политических испытаниях. Отныне — Россия и все родное наше еще крепче, великою болью связаны с творчеством русского писателя. Боли умудряют душу, и я верю, что русское творчество, углубленное, обостренное пережитым, даст высокие по душевному напряжению и глубокие по содержанию работы. Мы — в разгроме, не высвободилась душа, и говорить, что писатели зарубежные — «бывшие», несправедливо, близоруко. Надо помнить, что большие произведения вынашиваются годами, а мы здесь еще недавно. Надо помнить и то еще, что, утратив временно Россию, мы вошли в Европу. Нас узнают, и мы узнаем многое, и многое можем черпать. Итоги подводить рано.

Трудней положение молодых писателей за границей. Для них — оторванность от родины, от родной речи, от запахов и звуков русских — огромная утрата. Да и условия работы тяжки.

О писателях в России? Я мало знаком с их книгами, отталкивает меня дикое начертание, убивающее образ. Отталкивает и грубость. Есть дарования, но условия выработки там тяжки. Творчеству поставлены всяческие препоны. И вполне понятны и узость, и обмеление, и нарочитость, которые видишь и слышишь в *той* литературе.

Огрубевший быт, животность, серость — особенно чувствуются, претит от них. Сдавленные колодками литераторы отводят душу в иной свободе, незапретной, в терпком изображении дурной плоти, и словесная дерзость писания, отсутствие чувства меры до похабства — буерачность речи, во мне вызывают отвращение. Это не «кровь играет», а отсутствие *чистой* крови, свободного дыхания. Погоня за народным говором, нарочитый провинциализм языка, нечуяние его духа, как будто пишут нерусские. При всех недостатках тамошняя литература имеет известное значение — карикатуры на искореженность русской жизни.

(Своими путями. 1925. № 8–9. С. 9)

<ЮБИЛЕЙ А. И. ФИЛИППОВА. ПРИВЕТСТВИЕ>

Многоуважаемый Александр Иванович,

Задушевно приветствую Вас с двадцатипятилетием Вашей горячей, честной и неутомимой работы русского журналиста-патриота. Создание Вами в Париже русской газеты, пробившей себе дорогу к русскому читателю, указавшей в общем основные цели-вехи, к коим должна стремиться русская сила, живущая невольно за рубежом России, — создание это обязано Вашей удивительной энергии, Вашей вере в русскую силу, в живую русскую волю.

Будьте здоровы, бодры, неустанны. Жму душевно Вам руку из далекого Капбретона.

(Русское время. 1925. 4 нояб. № 123. С. 3)

КОЩУНСТВО

«Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?»

Матф. VII, 16.

Время безбожное и бесчеловечное, во всех смыслах: от иконоборчества до презрения к человеку, несмотря на пышные вывески. Но — стыда ли еще остатки или привычка к костюму, — что-то не позволяет оголиться. Еще не вычеркнуты законы о святотатстве и кощунстве. Святой Чаши, конечно, не признают, но из каких-то соображений за плевок в Чашу, пожалуй, покарают. Двуличие или — как угодно... — но чего-то еще стесняются. И вдруг, прорвутся и выкинут такое, что... Всемирно, национально выкинут, — и никакие «лиги» не воспрепятствуют. Ибо нет еще Лиги «защиты святого в человеке». Выкинут — и, на оценку честных людей, одним-то жестом все свое гордое зачеркнут, одной-то каплей всю свою светлоту измажут.

Помнится мне из детства: был у нас во дворе негодяй, Ленькой звали, — у бабушки жил-кормился. Выла от него старуха. Какие только гадости ни выкидывал. То, вперед похлебавши, во щи ей давленого клопа пустит, то лестовку псу на морду накрутит, а раз, помню, в лампадку, фотогену налил. Зажгла бабушка лампадку, — пламя до потолка, насилу потушили. Всем двором Леньку драли, сапожник шпандырь принес, не выбили из него беса: попал Ленька на Хитров рынок. Но дальше лампадки не осилил. Подучал его студент ветеринарный: — «стащи-ка ты у бабки икону самую чтимую, в лучину на самовар пусти, а потом и скажешь — чуда-то вон не вышло! — а бабка Бога-то с чайком выпьет!» — но Ленька не одолел, страшился.

В наше время «Леньки» страшиться перестали, ходят не в обносках, а во фраках и лаковых штиблетах, и не лупоглазые вовсе Леньки, а самые ясноглазые и «европейцы»! Есть и такие, что гордо именуют себя миссионерами культуры, оплотом европейским — от Востока. Странная эта вещь — свобода!

Оглушает. Только-только успели самоопределиться, облечься в государственную форму самой последней марки, — схватились за удавку. Всем давимым это хорошо известно. Народные меньшинства — школу, язык, церковь — дави удавкой! Игра в великодержавность или — раба повадка? Меня давили — я теперь в кулаки махаю! «Младая кровь играет»? Неблагородно, некультурно, но могут и исправиться, пожалуй: вино проспится — и все забудут.

Но есть жесты, какие исправить невозможно, как нельзя вернуть девства. Бывают акты, вскрывающие такой гнойничок духа, что как ни душись — гнилье доносит. И все благородное — насмарку. Бывает это в жизни людей, бывает и с народом. Вдруг проявит такое и так динамитно-звучно, что века протекут, а в истории акт остался — для честных людей и благородных наций.

Вот уже другой год мир телеграфно оповещают, как в Варшаве глумятся над православным собором, русским: ломают, взрывают, распыляют. И собор — уже не Дом Божий, где предносилась Св. Чаша, а образ угнетения народа! И его — таранят. Все забыто: Христово Слово, великие идеалы, божеское в человеке, святыни человека. Другой год таранят всенародно.

Редкое зрелище — на всю христианскую Европу.

Ломали — не сломали. Динамитом рвали — не взорвали. Особенные машины заказали — тараны святотатства и кощунства. Не растаранили. Мину взорвали — не сорвали: стоят стены. Позор длится. Теперь решили: «стрижиные гнезда» пробуравить, заложить дробящие патроны — рвать кусками. Долго еще читать будем, как нация себя динамитно аттестует.

И уже сокрушения читаем. Сознали, что нельзя так... грубо. Глумиться над святыней? Нет: действовать так небрежно, взрывать вслепую. «Уники» взорвали! Четыре колонны из оникса, неповторимых. Конечно, неповторимых. Только России по силе было: создать неповторимые колонны, привезти из Америки в Варшаву. Как неповторима созданная арабами «Альгамбра». Но ее не растаранили испанцы.

Не хватит силы у гордого народа. Хватило на кощунство, на тараны. Не хватит — на колонны. Надо было чуть поосторожней. Продать колонны — и все бы тараны окупились, и казне осталось. Так и пишут. Ихние газеты пишут. Практично, мудро. Но... в азарте, конечно, проглядели: себе в убыток. Но... творчество молодого государства, неопытность, горячность...

Что уж тут говорить много? Без нас сказали: тараны, взрывы. Глухие не услышат.

Но вот что добавить надо.

В азарте мести — запоздалой мести — все забыто. Забыто, что та Россия развеяна по свету, лежит в могиле. Но грохот таранов слышит. Забыто, что светлые ее силы, что всегда стояли за освобождение народов, разметены по свету, но взрывы слышат. Забыто, что разбросаны по свету дети и внуки тех, что лет шестьдесят тому боролись в рядах восставших. И эти слышат. Забыты сотни тысяч русской молодежи, павшей за освобождение народов. Кости их тлеют близко, кости слышат! Все, все забыто. И вот когда лучшее русское, потерявшее родину, ищет по свету Бога, жмется к святому камню, ищет следов России, перед его глазами христиане — братья громят Дом Божий; таранят стены, стирают во прах святыню. И сокрушаются, что не продали колонны. Но можно продать кусками, пустить на вазы!..

Так вот, это. Это уже плевок в Св. Чашу. И сделано всемирно. Это тот самый жест, что вычеркивает все святое, — начало новоселья! Жест благородный, гордый? молитва к Небу?

Сердце народа знает: не будет счастья. Не благословением в жизнь вступили, а кощунством, плевком в Бога. Но есть Правда, живущая в сердце человека:

«Мне отмщение — и Аз воздам!»

Не будет счастья.

Ноябрь. 1925 г.
Париж
(Возрождение. 1925. 25 нояб. № 176. С. 2)

ЗАБЫТЬ ПРЕСТУПНО!

Недавно мне пришлось услышать о наших инвалидах. Что они живы — это лишь случайность. Есть горсть людей, в которых бьется сердце, и эти люди собирают, просят. Но они бессильны: 5000 инвалидов! — безногих и безруких, ослепленных, отравленных, страдающих от ран, от голода, от бесприютства, безразличья. Мимо них проходят, не замечают. Разве их увидишь! Боль и горе жмутся по щелям. Разве услышишь со снеговых высот, на Шипке? из лесных ущелий Вышеграда? с малярийных местечек Греции? Да где их нет?! В Германии — в сквозных бараках, на православном кладбище Берлина, в Польше, в Турции, во Франции... Нужда во всем: от обуви, рубахи, хлеба, — до ноги, руки, лекарства. Не говоря о ласке, о состраданье. Эти потеряли все. Осталось одно — сознание, что за Россию это.

Можно ли их забыть?

Но есть, кто ничего не помнит. Богатые союзники — забыли. Победнее — кое-что дают.

Но мы-то забывать не смеем. Мы не смеем ждать, что кто-то даст, прикроет раны. Эти раны — наши. Каждый обязан помнить, на стене повесить приказ себе: не забывать о ранах! Многое забыто в жизни. *Те* — забыть не могут, что их забыли: их раны и увечья кричат бессрочно. Их одинокость, бездомность — всегда при них, итог служения за Россию. С 14 года бились. Наш долг сказать им: помним, вы — при нас!

В Париже 50 увечных, а мы не можем сделать им протезов, дать угла! Разве не позорно видеть старика, зимой, который дремлет где-нибудь в метро на лавке или в столовке, головою в руки, — коротая день? Его ночлежка Армии Спасения впускает к ночи, и старик уходит с 7 утра — бродить. И это — генерал. Ну, а не генералы?! Куча просьб, молений: дайте ногу!

Средств нет.

Сейчас идет работа по устройству «Дня помощи» — русским инвалидам, всюду. Этот день придет, и мы ответим. Это — в мае. Сейчас зима. Подходит Рождество. В эти дни душа особенно тоскует. В эти дни сиротство, заброшенность, — ужасны. Вспомнят: был когда-то Праздник... Теперь — без крова, безо всего, чужбина, раны. В эти дни особенно ценима ласка, братское участие, отклик: помним, связь не порвалась! найдем и на высотах Шипки, и в болотах!

Все мы должны исполнить долг, за родину. Она не может — мы ее заменим. Обязаны. Этот долг нашей чести, русской чести: да не покажут пальцем — «вот, своих забыли»! Тут ни политики, ни расхождений. Тут — во имя той России, какую мы когда-нибудь найдем, России — нашей колыбели и могилы. Ею мы связаны, и звенья связи — наши инвалиды. Надо отозваться горячо и сколько в силах. Себя урезать! Этим мы станем крепче и бодрее.

В память всего, утраченного нами, дорогого; в надежде обрести Россию; во имя чести, — отзовитесь! Если не растеряли сердца, если мы не камни, если еще мы русские и помним *наше*, — мы отзовемся, не можем не отозваться братьям. Бога найдем в душе, Рожденного, и будем возрождаться — во имя возрождения России.

Вспомним же несчастнейших из всех несчастных русских без России. Вспомним без промедления, сейчас же. Забыть — преступно.

Париж
28 декабря 1925 г.
(Возрождение. 1925. 29 дек. № 210. С. 2;
Дни. 1925. 29 дек. № 890. С. 2;
Последние новости. 1925. 30 дек. № 174. С. 2)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «ИСКУССТВО В 1925 ГОДУ»>

Самым крупным достижением в русской художественной литературе за 1925 год считаю роман Ив. Бунина — *Митина любовъ.*

(Возрождение. 1926. 1 янв. № 213. С. 3)

<ПОЖЕЛАНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НА НОВЫЙ ГОД>

1) Освобождение России.

2) Эмиграция должна понять основную задачу: найти Россию, а не спорить о том, какой должна быть Россия.

Частное пожелание: ввиду невозможности для широких слоев эмиграции приобретать книги, надо бы организовать издательство дешевых книжек, «маленькой библиотеки». Было бы полезно и для писателей.

(Возрождение. 1926. 1 янв. № 213. С. 3)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «ВОЗРОЖДЕНИЯ»>

1) Какие произведения закончены Вами в истекшем 1925 году?

2) Какие Ваши произведения остались незаконченными на 1926 год и над чем предполагаете работать в предстоящем году?

3) Какие Ваши произведения были напечатаны в русской зарубежной печати в 1925 году и где?

4) Какие из Ваших произведений были переведены на иностранные языки и на какие?

5) Какие произведения русской зарубежной беллетристики, появившиеся в 1925 году, по Вашему мнению, являются наиболее ценными?

---

1) «Каменный век», повесть. Очерки «Сидя на берегу» — 7 очерков и 9 рассказов. Из них еще не появились в печати: 1) «В ударном порядке», 2) «Въезд в Париж».

2) «Иностранец», повесть. «Наследство», повесть. «Кошкин дом» и «Спас Черный». Их и буду работать в свободное время.

3) «Про одну старуху», «Каменный век», «На пеньках» — («Совр. записки», кн. 23, 25, 26). «Песня» — журнал «Перезвоны»; «Сидя на берегу», семь очерков (газета «Возрождение»). «Сила» и «Две весны» — газета «Сегодня». «Весенний плеск» — журнал «Иллюстрированная Россия». «Душный день», «Письмо молодого казака» и «Чудесный билет» — газеты «Русская газета» и «Русское время». «Сахарное яичко», газета «Родная земля».

4) «Человек из ресторана»: на французский, на немецкий (выходит), на испанский (в 2-х изд.), на чешский (в 2-х изд.), на шведский яз. (выходит на днях). «Неупиваемая Чаша» — на чешский, на немецкий (выходит), на шведский (выходит), на английский (выходит), на французский (выходит)!

«Солнце мертвых» — на немецкий (изд. Фишер), на французский (I—VII гл. Меркюр де Франс), на английский (выходит), на чешский (переводится). «Это было» — на английский (Логум), на французский (Ревю де Женев). «Чужой крови» — на французский (Эроп). «Птицы» — на немецкий. «В усадьбе» — на немецкий. «Песня» — на немецкий. «Забавное приключение» — на хорватский.

5) Ив. Бунина: «Митина любовь», «Цикады», «Нотр Дам де ля Гала»; Бор. Зайцева — «Алексей Божий Человек».

1) Возрождение. 1926. 11 янв. № 223. С. 3.

2) Возрождение. 1926. 18 янв. № 230. С. 3.

3) Возрождение. 1926. 4 февр. № 247. С. 4.

4) Возрождение. 1926. 18 февр. № 261. С. 4.

5) Возрождение. 1926. 4 марта. № 275. С. 4.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «1926 ГОД»>

Судя по яви и снам, многого ожидать можно.

В Европе:

1. Установление диктатуры в великом государстве и отъезд отболтавшихся политиков на теплые воды.

2. Приезд свежих политиков в другое великое государство и отъезд изболтавшихся.

3. Коренная реформа правописания в Англии. Уничтожение «th» как непреодолимого для иностранцев.

В С. С. С. Р.:

1. Новая плеяда великих писателей.

2. Опыт изъятия глаголов и имен существительных (могут подразумеваться!) и внезапное появление на горизонте буквы «ѣ».

3. Тайное рождение знаменитого принца.

4. Ранние оттепели и грозы — к урожаю.

5. Отъезды и приезды.

1 января 1926 г.
Париж
(Возрождение. 1926. 13 янв. № 225. С. 3)

ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ

Праздник Московского университета, праздник родной культуры — прекрасная Татьяна. В этот день ученая Москва гуляла, шумела, пела.

«Gaudeamus» разливался, спотыкался. Спорили, дрались и обнимались, и всех сливало светлое — вперед! В этот день свежели, молодели чувства; устраивали смотр заветы, идеалы. Светлый лик Татьяны — оживлял.

Вспомним этот день, как славу. Русская культура, от Татьяны, от недр Московского университета, — встала прочно, прошла по свету, и мы по праву можем говорить: нас знают. Мы внесли. Мы — дали.

Правда, мы растеряли много дорогого. Но будем верить: мы не потеряли веры. Русская культура — культура веры в человека, в прекрасное, что в человеке есть — от Бога. Это — с нами. Оно — в культуре духа, сердца. Это сохраним и пронесем. Вернем России. Все будем верить, что настанет день, и мы споем «Gaudeamus».

Здесь мы не одиноки. На европейской почве культура наша не заглохнет. Но *там*, в России, где-то, — меркнет свет, Татьяна-мученица наша гаснет, хлеб духовный — на исходе. Для многих на исходе и хлеб насущный. День Татьяны мы встретили светлым сердцем, во имя их.

Московское Землячество устраивает в воскресенье Татьянин вечер. Споем «Gaudeamus», принесем Великомученице нашей, все, кто может, — привет и помощь. Не забудем:

Воскресенье, 24-го — Salon Victor Hugo (46 — bis) rue S-t. Didier в 9 ч. веч. в помощь нуждающихся интеллигентов — москвичей, — Grand Concert, Cabaret et Bal, блестящего состава.

Привет Татьяне!

Питомец Московского университета
Ив. Шмелев

Париж
(Возрождение. 1926. 23 янв. № 235. С. 3)

<ЗАРУБЕЖНЫЙ СЪЕЗД>

В письме, напечатанном во многих газетах и подписанном г. председателем собрания Объединения общественных организаций в Королевстве С.Х.С. В.Н.Челищевым, сделана ссылка на «верную мысль Ив. Шмелева», говорившего в новогодней анкете *«Возрождения»* — «о необходимости искать *новую* Россию, *а не идти к ней с отжившими партийными программами,* к каковому исканию призывает ныне и Объединение...» (курсив мой).

Заявляю, что мои слова совершенно неправильно переданы г. В.Н. Челищевым.

1) Я не говорил, что надо искать «новую» Россию, я сказал: «эмиграция должна понять основную задачу: *«найти* Россию».

2) Я сказал: «не спорить о том, какой должна быть Россия». Нет, следовательно, в моих словах ни слова — *«новую»,* ни — *«отживших* партийных программ». Это уже собственные слова г. В.Н. Челищева, для чего-то приписанные мне. В разъяснение считаю полезным добавить, что во всем, что творится вокруг Зарубежного съезда, как раз и вижу — 1) нежелание найти именно Россию, а как раз желание искать какую-то *свою* Россию, т. е. никакую, и — 2) желание спорить о том, какой должна быть Россия, т. е. упорное желание идти к ней со всякими *партийными программами.*

Прошу все газеты, напечатавшие письмо В.Н. Челищева с не сказанными мною словами, напечатать это мое заявление-протест, иначе я буду лишен возможности оградить себя от искажения моих слов.

Париж. 2 февраля 1926 г.
(Возрождение. 1926. 4 февр. № 247. С. 5)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО»>

Как я проведу лето, спрашиваете? Затрудняюсь ответить: кто может знать будущее! Предполагаю работать, а там что Бог даст. Цветы пока сажаю.

(Последние новости. 1926. 31 мая. № 1895. С. 3)

<ТЕЛЕГРАММА П.Б. СТРУВЕ>

Сердечно приветствую Вас и всю редакцию по поводу годовщины. Да будет «Возрождение» крепким и плодотворным под Вашим водительством.

(Возрождение. 1926. 8 июня. № 371. С. 3)

ПОМОЧЬ

Хорошее слово – *по́мочь*, глубокое по смыслу: работа миром, работа не за плату. Веселая общая работа – за ласковое слово, за угощение, для доброго соседа. Праздничная работа, будто – и для души. Тут уж не до расчетов, а все, как один, кипят. Тут уже творчество, и потому – спорая работа.

Тот, кто видел в России, – не забудет. Все – ретивы, пьяны с азарту. Последние лентяи показывают себя, творят чудеса ловкости и силы. Необозримые луга – пойма – работы на неделю! – скашиваются, как чудом, за день! И надо всем – смех и песни.

По́мочь – это порыв души, выход – вынос из затруднения, под – песни!

На такую *по́мочь* сзывает русское «Возрождение»:

безработным!

И вот русские славные артисты, певцы, музыканты, танцоры, писатели... – откликнулись, и спешат, и ждут показать себя. Накрыты столы, настряпано и прислано угощение, как никогда. И песни, и пляски будут, и всякое веселье! Дело за всеми нами – прийти на веселую работу, на ласковое слово. Хозяин – русские безработные. Они в стороне и... смотрят. За них выступает – «Возрождение».

Помните все, у кого не пропала память:

в субботу, 12 марта, в 9 час. вечера – и до утра! – *по́мочь*!

Salon Victor Hugo 46-bis, rue St. Didier.

Русские артисты – русским безработным –

«Возрождение».

(Возрождение. 1927. 11 марта. № 647. С. 2)

ПОДВИГ

Вечная память павшим в Китае русским героям.

Было время, когда жертва жизнью во имя Добра и Правды считалась героизмом. Человечество хранит память о доблести и жертвенности — «во имя». Памятники сему стоят по всему миру. Крестовые Походы. Борьба «за свободу», увлекавшая красотой цели очень многих, борьбе совершенно непричастных: американская борьба за независимость, увлекшая многих европейцев; борьба за освобождение негров; борьба за воссоздание Италии. Байрон и греки. Герои романов и трагедий, баллад, поэм. Борьба за освобождение славян. Борьба буров... Борьба за высокочеловеческие цели, за Культуру, — восхищала, и ее участники — часто люди со стороны — не считались «авантюристами», «наемниками», «ландскнехтами», «торгующими своею кровью».

Но вот, на этих днях, мы явились, при посредстве телеграфного агентства, свидетелями подвига за Правду, за Культуру, за идею. Горсть офицеров, б е л ы х русских офицеров, самоотверженно билась с красными полчищами в Китае и, покинутая всеми, дралась, до последнего патрона. Дралась на глазах благоразумных европейцев, тысячами засевших с пушками и пулеметами за проволоку, под прикрытием грозных броненосцев, на своей так называемой «концессии», и не пошевельнувшихся, когда перед их глазами их бывшим союзникам, никогда им не изменявшим, русским офицерам, — рубили головы, втыкали на штыки и носили, как торжество.

Кто эти русские офицеры — мы знаем; не могут не знать и европейцы. Они боролись за честь России, спасая и Европу. Боролись с Красным Интернационалом, воплощением Зла в мире. Вынужденные оставить родину, они унесли с собою несломленную идею — свою Правду. И вот, когда Красный Интернационал, разжигая пожар в Китае, уже угрожает миру,

эти русские офицеры в китайском океане не остались только свидетелями: они вступили в борьбу с беспощадным своим врагом и, сражаясь в рядах китайских националистов-белых, — сражались за с в о е дело, за свою Правду, за поруганную Россию, за христианскую культуру.

И вот, картина потрясающая, можно сказать даже — небывалая!

Вооруженные по последней военной технике, с броненосцами, газами, аэропланами, пулеметами, пушками, двадцать тысяч здоровых европейцев благоразумно окопались и ощетинились на своем добре. Засели и объявили — просто-коммерчески:

— Не троньте нас, и мы вас не тронем. И ни в чем вам мешать не будем. Можете вытворять, что вам угодно: рубить кому захотите головы, — и сколько захотите! — надевать на штыки, носить; убивать, жечь, насиловать, — а мы умываем руки. Если к нам будут прорываться, ища защиты, мы будем отнимать оружие и выгонять на расправу к вам, — только нас не трогайте, и мы договоримся. Мы приехали торговать и промышлять, а не воевать. Если не очень шумно, можете погонять и, вообще... наших миссионеров, но только мы должны вывезти в безопасное место наших детей и женщин, а с не нашими можете...

Словом, все, что нам хорошо известно — по России.

Уже девять лет льется русская кровь, и всячески расхищается Россия, а народы, считающие себя культурными, помогают этому расхищению и убиванию. Девять лет террора и рабства, а виновников неслыханного в мире зверства культурные народы признают себе равными, всячески с ними договариваются, приглашают в гости и скупают у них ч у ж о е, добытое разбоем. Это в порядке вещей и вошло в нравы европейцев. Идеалы забыты и опрокинуты, хотя памятники еще стоят. И вовсе теперь не странно, что европейцы и пальцем не шевельнули, когда перед их глазами, перед их броненосцами и пушками... рубили головы русским офицерам, когда-то бившимся и за них, сидящих теперь за проволочными сетями: лишь бы не трогали их самих, устроившихся на своем скарбе.

Удивительно не это. Скарб для современного европейца — все. На этом стоит — или сидит — современная культура.

Удивительно другое.

Когда горсть русских офицеров, наших братьев и сыновей, которым уж и деваться некуда, вступает в последний бой под

невидимым своим знаменем оскорбленной российской чести, защиты последнего святого, что есть у человека, — Правды, которая так ясна, вступает в борьбу отчаяния на чужой земле, отдавая последнее свое — жизнь, и зная, что уже не увидит победы, которая придет когда-то, которая должна прийти, — вступает в последний бой, чтобы доблестно завершить полную ужаса и муки смертной скорбную жизнь свою, — в это время находятся люди в Зарубежье, находятся органы печати, вольно или невольно искажающие благороднейшее движение души, извращающие истинную цену пролитой крови! Вот что и удивительно, и страшно. Людей долга и подвига, сохранивших в скитаниях честь и благородство русского имени, павших в борьбе с Красным Интернационалом, чумою человечества, — называют «сохранившими до конца «верность знамени» Чанг-Чун-Чанга» (!) — «борцами за «правое дело» (именно так, в кавычках!) китайских генералов»!..

Вот это — страшно.

Так расценивать жертву русскою кровью в мятущемся Китае, давать такое наименование жертве за высокую цель — Идею, пользоваться высоким подвигом для политических состязаний в слове, в мелкой борьбе на месте... — это надо называть воистину удивительным и страшным, и чуждым совестливой и чуткой печати русской.

Пожалеть надо, но не так. Не так, как пожалели некоторые мира, из народа чистого, драгоценного, который возлила женщина на ноги Христа.

«Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала!» (Матф. 26, 13).

Отдали жизнь свою, приняли муки, «возлили миро драгоценное»...

Практикам — это недоступно.

Надо пожалеть, что еще и еще пролилась драгоценная русская кровь, пролилась на чужой земле. Надо щадить ее, надо хранить ее бережно героям до дня, когда потребует ее для себя — Россия. Но нельзя не понять высоких побуждений, о которых не говорят, которые проявляют подвигом, — страшным, простым, как смерть! Те, отдавшие жизнь за Правду, не могли поступить иначе, оставаясь верными до конца. Когда мудрые европейцы сидели, окопавшись, на чужой территории, на своем добре-скарбе, русские «неразумные» изгнан-

ники, русские белые офицеры показали перед всем светом, как и за что надо биться и умирать, если ты человек, а не торгаш. И, сражаясь под знаменем Чанг-Чун-Чанга, сражались под своим знаменем. Сражались за свое, — и за человеческое — а не «за «правое дело» китайских генералов»! Им — честь, а позор тем, кто сидит на своем добре-скарбе, за проволочной сетью, смотрит, как рубят головы, и умывает руки, продолжая привычное — до конца.

Более потрясающего примера самоотверженности и благородства — и, с другой стороны, благоразумной черствости и расчета невозможно себе представить.

Наше время можно назвать, поистине, — величайшим духовным мелководьем. И если бы не являлись по временам в этой бездушной человеческой пустыне примеры высоких душ, надо бы было сказать бесповоротно: кончилась великая обедня, пришел базар!

Март, 1927 г.
Севр
(Возрождение. 1927. 27 марта. № 663. С. 2)

«СНОВА НАПОМИНАЮ ВАМ...»

Так обращается ко всем нам Глава Зарубежной Церкви Митрополит Евлогий:

«Снова напоминаю вам о наших инвалидах, снова прошу протянуть им братскую руку помощи».

Просит Пастырь!

Просит Комитет Союза Инвалидов, печать, деятели общественных организаций, писатели...

Просит — «во имя чести» — свое правительство, за русских инвалидов, депутат Палаты Mr. Pierre Taitinger. Его статью — «Une dette sacrét», в «National» (№ 17), «пасхальную», надо бы знать всем русским. Сильная достойная статья!

Вот — выдержки:

«Русские инвалиды войны приняли страдания не только за Россию, но и за все союзные державы. Мало того, что отдавали за нас кровь: они пожертвовали за нас кровом! И если они теперь дрожат от стужи в неведомых лачугах, где-то далеко от родимых изб, то это потому, что не захотели соучаствовать с большевиками в измене; потому, что сохранили верность нашему делу, наперекор всему, — верными остались, вплоть до изгнания, до истощения, верными — и это, увы, часто! — до... смерти!»

«Американцы, англичане, итальянцы, французы, — все мы связаны с ними долгом чести, священным долгом. Кончилась война — для нас. Для них не кончилась. После траншейной, красной, войны, они продолжают черную, — с нищетой. И все еще ведут борьбу за нас, все еще за нас страдают, забытые, неслышно».

«А знаете ли, сколько держав услышали призыв междусоюзных комбатантов — прийти на помощь русским братьям по оружию?»

«Три. Только».

«И эти три — из самых слабых, из беднейших».

Эта исключительная статья — ответ француза, благородного француза, на полное достоинства и горькой правды письмо генерала Н.Н.Баратова, председателя Зарубежного Союза Военных Инвалидов.

Mr. Pierre Taitinger кончает:

«Nous demandons de payer la dette d'honneur contractée par notre pays».

Так говорит француз — за русских инвалидов.

Ну, а мы как скажем? Мы, связанные с ними Россией, кровью, общим нашим горем, жизнью бродяг в Европе, — мы что скажем?!

Мы скажем наше:

«Наши инвалиды — носители российской чести!»

Но, не надо слов: мы знаем все.

Все мы здесь связаны походом. Пять тысяч инвалидов с нами. Можно ли в походе забывать своих и — лучших?

Надо помнить долг. Помнить — кто с нами в лагере и на походе. За сутолокой жизни часто забываем. Помнить, хотя бы один раз в году, — 9/22 мая, Св. Николая Чудотворца, — «День Инвалида»! — день священный, день о них, страдания которых так понятны благородному французу.

А — нам?..

Пять тысяч. Больше.

После годов страданий, часть инвалидов, в славянских странах, стала получать поддержку. А сколько не получающих, неслышных?! Вспомните недавний случай: доблестный генерал, в черной нужде, в болезнях, в дыре парижского отеля, забытый, одинокий, на глазах у всех! Слава Богу: пришли на помощь...

Каждый день жизнь ставит новых инвалидов. Каждый знает, сколько трагедий происходит. Умирают и оставляют семьи. Читаешь письма — и бессильно никнешь. Сколько зажатых слез, рыданий, никем не слышимых, решений, страшных, жутких мыслей!.. В шуме городов мы забываем: жизнь относит...

Надо помнить!

Раз в году, 9/22 мая, в день Николы, Главный Комитет Союза Русских Инвалидов устраивает сбор повсюду, зовет на помощь, 22-го — воскресенье — парадный сбор повсюду, зовет на помощь. 22-го — воскресенье — парадный оперный спектакль в Трокадеро; 27-го блестящий бал-концерт — в Palais des

Invalides. Выпущенная газета «Русский Инвалид», на этот раз особенно внушительный по материалу и объему, — на десяти страницах, — лепта писателей: 3 франка — инвалидам! Купите! Все купите!

Сохраните на память детям, внукам, — о черных днях, о братском единении в походе, о бродячей жизни «по миру» — во всей вселенной! под ветрами великих государств!..

Не забывайте, отзовитесь! Все и всем, чем — в силах.

Бедные люди лучше помнят. Их сердца всегда тревожны, лучше слышат. Им нужда понятней. Бедные люди много принесли, по франкам. Мы знаем это: из газет, из приношений. Они-то отзовутся. И стыдно как-то обращаться к ним. Да и не нужно обращаться: знают!

Пусть те, которые имеют больше, — откликнутся. Те, к кому жизнь оказалась благосклоннее, пусть хоть за это будут благодарны, поделятся своим достатком. Ведь мы — в походе.

В походе — начальники порядок держат. Но наш поход — особый: мы без начальников и без приказов. Совесть для нас начальник, и наша воля. Ее приказы — точны. Без нее мы — стадо, людская пыль.

«Снова напоминаю вам»...

Это слово Церкви. Надо его услышать и понять.

Государства у нас здесь нет. Будь государство, — нас бы обязал Закон — нести повинность. Государство учитывает слабость воли и совести — и принуждает. Кто же нас принудит?! Только мы, мы сами, наша совесть. Иначе — что мы?!

И — Россия. Жива ли Она в нас еще? Слышим ли голос скорбный: вы все — одно!

Помните: «долг чести» — написал француз! Для нас — долг чести, крови и — России.

И — слово Церкви:

«Снова напоминаю вам...»

19 мая 1927 г.
Севр
(Возрождение. 1927. 21 мая. № 718. С. 2)

«К ПИСАТЕЛЯМ МИРА»

Я прочел обращение группы русских писателей из Москвы — «К писателям мира», этот, как бы подземный, стон. Прочел обращение Ив. Бунина — и присоединяюсь к нему всецело, — и в нем слова: «Да где же вы, «совесть мира, прозорливцы?..» «У меня горит лицо от стыда за себя, за свою новую, может быть, напрасную попытку...»

Воистину, страшное явление. Скоро десятилетие угнетения русского народа коммунизмом, а не помнится случая, когда бы раздался голос писателей в мире, их возмущенной совести. Молчание, как в пустыне. Слышались голоса приветствий, голоса извиняющих «ошибки». Правда, теперь эти голоса, за редчайшими исключениями, примолкли. Теперь, вообще, молчат.

Что же все это значит? Почему писатели мира так поступили и так молчат, словно и нет ничего, что могло бы тревожить совесть, и не было?!

Было время, и совесть мира была тревожна. Помнятся случаи, — и не столь трагичные, как с Россией, — и тогда «совесть мира», писатели, — протестовала, возмущалась. Почему же теперь — молчание?! Или заснула совесть? или весь мир — пустыня? и вопль оттуда, и русские голоса отсюда, — лишь «глас вопиющего в пустыне»? Почему не слышат? почему «чуткие» не чуют? почему, десять лет — молчание?!

Необъяснимо. Непонятно.

Быть может, нет уже в мире совести? Быть может, она утрачена и теми, кого мы, русские, называли и теперь еще называем «мировой совестью»? Или ошибка это — называть так писателей! Но так научили нас. Научили те, кто являлись мировой совестью, во все времена и у всех народов, кого почитает мир. Или, лучше сказать — кого почитал мир?.. Если бы мир и писатели в мире чтили и постигали величайшую

«Совесть Мира», не молчали бы годы, не дожидались бы вопля из могилы.

И все же, помня глубокое: «толцыте, и отверзется вам», верные тем путям, что указаны Величайшими прошлого, и с ними — нашими Величайшими, Толстым и Достоевским, стражами чуткой Совести, — будем напоминать о совести, будем взывать в пустыне:

Проснитесь, отзовитесь! Вспомните, что несете великое и ответственное, как понимаем мы, русские, чудесное звание — писатель! — вознесенное Величайшими всех веков. Есть у вас Величайшие. Или они забыты, и вы отказались от наследства? Тогда перестаньте считать Великими духовных вождей своих. Перестаньте считать Великими славных доселе в мире. И назовите чудеснейшее во всей мировой литературе — чуждым и непонятным вам!

(Возрождение. 1927. 21 июля. № 779. С. 1)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый г. редактор,

до меня дошло, что в Берлин прибыла из СССР фильма «Человек из ресторана», «по теме Ив. Шмелева». Я заявляю:

1. Права на переработку для кинематографа «Человека» никому в СССР не давал.

2. В целях изображения «гнусностей буржуазного строя», использовав в фильме популярность «Человека из ресторана», хорошо известного в Европе, извратили идею, убили душу произведения. Как на пример извращения, укажу, между прочим, хотя бы на то, что один из главных в этом произведении персонажей, сын «человека» Колюшка, особенно отмеченный известным немецким писателем Томасом Манном в его статье во «Франкфуртер Цейтунг» от 17 апреля с.г., — в фильме отсутствует. Судьбы и характеры главных персонажей совершенно извращены, зато изобретено и введено много грязи и пошлости. Даже по отзыву критика в московских «Известиях», от 21 августа, и журнала «Красная Нива» — «повесть Шмелева «Межрабпом» — не знаю, что это за учреждение — «подверг радикальной переработке». «*В теме,* т. е. в том главном, ради чего написана повесть, у кино и Шмелева нет никакого соприкосновения», «самый сюжет картины, *почти ни в чем не совпадающий* (курсив мой, И.Ш.) с сюжетом повести, оказывается типичной мелодрамой»...

3. Эта «переработка» в фильму, — пошлая, зловредная макулатура, — есть издевательство над писателем, над духом его произведения, и — обман зрителей. Этот обман преследует цель: насаждение лжи и зла, угашение духа и правды в людях.

Я протестую против подобного обмана, прикрываемого названием моего произведения и моим именем.

С совершенным уважением

Ив. Шмелев.

7 сентября 1927 г.
Ланды
(Последние новости. 1927. 9 сент. № 2361. С. 3;
Возрождение. 1927. 10 сент. № 830. С. 3;
За свободу. 1927. 18 сент. № 214. С. 5)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ» «ДНЕЙ»>

1) Что Вы думаете о художественной литературе в советской России?

2) Каких беллетристов, работающих в советской России, Вы считаете людьми талантливыми или подающими надежды?

Тяжело писать об *этом*. Чувствую, что есть *там* — и будут! и какие будут!!! — дарования, но будут не *там*, а в будущей, свободной России, — и уже зреют... Могут и захиреть, не проявившись, если продлится еще с десятилетие.

По моим расчетам, надо бы ждать «урожая дарований в тридцатых годах. Но об этих моих расчетах писать долго. Редко просматриваю я «советскую», с позволения сказать — «литературу». Времени не стоит тратить: *знаешь*, что не уловишь *живого*, свободного творчества. Ну можно ли говорить серьезно о литературе — там?!.

В сущности, *ничего* нет. Что-то усматривают иные, а — хоть шаром покати. В смысле, конечно, нового, ценного по глубине духовной, по озарению духа человеческого. Пописывают, анекдотетствуют, работают «вприглядку», фотографируют — чаще всего «под Гоголя». Есть дарования, но что они могут, если нельзя быть самим собою? Первичной свободы жить — нет, так какое же *там* искусство?! Огрубение, огрязнение невероятное *всего* в жизни, истребление всего *духовного, осмеяние и задушение его — все это* влияет и на изображение дозволенного даже.

Все, что доводилось читать, оставляет удручающее впечатление мелкоты замысла, зубоскальства — болезненного часто, грязи, разнузданности в слове, наигранной лихости, фальшивой беззаботности, полного оскудения идеалов, самого даже подобия их. Пустыня, гниющее болото. И — балаган, надоедно шумный.

Простой читатель из трудового слоя правильно оценил эту удушающую литературу, которую *заставили* плясать и орать *песни* и говорить непристойности: этот читатель тянется к *прежней,* живой для него литературе, подлинной, а не оподляемой. Не ошибается он, живой и хотящий жить.

Противны ему похабства и чует он, что все это — не настоящее, умученное, выбитое, горланящее с отчаяния или — нагло врывающееся, бездарное, пользующееся случаем показать себя, когда настоящее вынуждено молчать или не находит возможным выносить святое на пьяный шум.

А жаль. Есть дарования, есть даже большие дарования — не хочу называть имен, чтобы не смущать и не ухудшить невольно тяжкого для них жребия, но нет для них вольного воздуха, свободы. Если в ближайшее время не будет перемены — сломятся, загниют и запаршивят, как вольные птицы в клетке загаженной. В лучшем случае — дадут произведения больного, исковерканного искусства, больной и жуткой порой гримасы.

Вот все, что могу по совести ответить на Ваш вопрос.

(Дни. 1927. 27 окт. № 1215. С. 3)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ О 10-ЛЕТИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА»>

I) Чего стоило русскому народу десятилетие большевистского владычества?

II) Почему большевизм мог просуществовать в России десять лет?

III) Куда идет Советская Россия?

IV) Каким образом и когда кончится господство большевизма в России?

I. Это неисчислимо. Экономисты, политики, историки могут учитывать материальные потери, падение госуд. мощи и мирового влияния, растрату территории... Но как учесть растлевающее народ зло? Но как усчитать ничем не вознаградимую гибель духовных ценностей, уничтожение миллионов жизней?! Коммунисты изводили культурный российский корень, обрушили всю свою ненависть, зверскую ненависть, на культурнейший слой русского народа — и тончайший в России слой! — итог вековых усилий. Веками происходил отбор. Самое одаренное, самое сильное духовно из целого народа пробивалось веками из низов к верхам, вычерпывалось из целого народа и образовывало культурный слой — служилый, торгово-промышленный, ученый, общественный — духовно своеобразную русскую интеллигенцию, так не похожую на европейскую и достоинствами, и недостатками. И эти-то классы, отбор народа, его уполномоченные — и приняли на себя всю ярость коммунистов. Вполне понятно: ведь эти классы, сердце и мозг народа, при всех недостатках и ошибках, являлись носителями *национального*, хранителями национальных ценностей — *за* народ. Эти классы частью истреблены, частью разбиты и сведены на нет. Эти потери неизмеримы. Чтобы хотя отчасти их возместить, России потребуется величайшее напряжение, может быть целый исторический период. Большевизм

погубил духовные силы поколений. Погубил рассадник духовной мощи и, может быть, навсегда лишил русский народ величайших возможностей всечеловеческого масштаба. Большевизм величайшая катастрофа мира — не только для России.

II. Причин этого множество. Главными я считаю: 1) Потеряв свой культурный слой, Россия осталась без руководства. Всякий народ, как народ, *живет* — и только. Его ведут — он идет. Управляют его судьбой командующие слои. Сменив — почти истребив — российский культурный слой, коммунисты, крепко спаянные идеологией и преступлениями, стали руководить народом. Так бы случилось с любой страной, потерявшей руководителей, брошенной на поток-позор. Россию захватили насилием, а мир равнодушно отвернулся. Мало того: мир помогал насильникам. И нечего удивляться, что захват длится, длится: некому заместить захватчиков. Пока. Народ *живет* и — ждет. Несомненно, происходит накапливание *народных*, духовных, сил, процесс заживления и оживления, невидный, медленный. Копятся силы — руководители, взамен разбитых. Эти силы себя проявят. Иначе не может быть.

2) «Руководители»-захватчики ловко использовали элементарные страсти масс: жажду материального поравнения, обманного, и льстящий самообман, будто народ сам стал себе хозяин. Завладев *правдой* — печатным словом, вот уже десять лет обманывают и опутывают ложью, держат в искусственном усыплении. Народ живет изо дня в день и терпит, лишенный руководителей, обессиленный и немой. Дьявольская система шпионажа и безграничного террора мешают ему очнуться. Но он начинает просыпаться. И проснется. Иначе не может быть.

III. Ни о социализме, ни о «советчине» не может быть и речи. Когда большевизм падет, социализм и «советчина» останутся ненавистнейшими из всех политических систем. Сознание народа медленно определяется. В самых простейших формах нарастает сознание национального позора. Вероятной ближайшей формой государственного устройства явится единовластие сильного или сильных — бонапартизм, диктатура личная. Если сильная личность — или группа — сумеет поднять в народе недостающее чувство национального, встряхнуть и зажечь народ доступными, близкими ему целями, она надолго удержится, и народ будет ее беречь. Всего вероятнее, что Россия пойдет по пути к «фашизму», национально организующему и охраняющему Державу. Русское молодое поколение будет искать новых идеалов, может быть очень элементарных,

и главным идеалом явится для него — *«наша Россия»!* — в противоположность тому, чем недавно были отравлены — фальшивому интернационализму-губителю.

IV. Скорее всего — стихийным взрывом. Его могут произвести образующиеся в России слои русских людей, привыкших командовать на любом поприще — в армии, в общественной или хозяйственной деятельности... может быть даже и коммунистов, или, вернее, надевших личину коммуниста, в ком просыпается и начинает расти задавленное национальное сознание, кто даст себе труд окинуть великое прошлое и низкое настоящее России-родины. Это уже идет. И придет. Мне представляется даже, что наиболее активные силы «переворотчиков» выйдут из комсомольства. Может произойти: отпетые русские комсомольцы будут очень способствовать перевороту. Этот «стихийный» взрыв отзовется по всей России, уже готовой, разбудит со страшной силой *национальное,* сознание унижения и позора и даст России единую по духовному подъему национальную армию, и никакие сепаратизмы не будут страшны. Духовный подъем России грядет — и будет невероятной мощности, освободит в ней скованные силы. Так я чувствую свой народ. Я *знаю* его и верю, что иначе не может быть. Россия — *будет!*

Capbreton. Landes
Октябрь 1927 г.
(Сегодня. 1927. 6 нояб. № 251. С. 8)

ДУША РОССИИ

Надо ли говорить еще о подвиге Белой Армии, о значении «белого движения», спасшего честь России! Об этом теперь не спорят: это уже история. Придет день, когда блистающее имя Белый Воин и сумеречное — галлиполиец — станут для всей России священными именами русского мученика-борца и русского героя. Это придет, и Россия встретит лучших сынов своих высокой и гордой честью: священное имя — Белый Воин — явится знаком высокого духовного отбора — новой русской аристократии.

Воины Белой Армии, к какому бы слою они ни принадлежали, — аристократы ли по рождению, крестьяне, казаки, дворяне, горожане, — истинные сыны России, аристократы духом, Ее душа. И Россия признает это и закрепит почетно: впишет славные имена в великую Золотую Книгу — Российской Чести.

Семь лет уже протекло с отхода. Но что такое семь лет! что может значить это движение серых дней, в сравнении с тем великим, что знаменует собою российское «белое движение»! Три года борьбы — исторический перелом, лучше сказать — *пролом* русской истории. *Пролом,* в котором Россия как бы найдет себя! Да, Россия найдет себя на крестном пути героического «белого движения».

Скажут: на пути поражения?! Скажут ненавистники и слепцы. Скажут те, кто не разумеет Скрытого Лика судеб народа. Или не знаем случаев, когда внешнее поражение обращалось в великую победу?! Мы, христиане, знаем. Мы, христиане, знаем Величайшую Победу: «не оживет, аще не умрет». Ненавистники и слепцы усмехнутся только. Пусть смеются. Смеялись и на Голгофе. Мы имеем свою Голгофу. И будем иметь Воскресение, свое.

Но в чем же победа наша, и что это за *пролом* в истории России?

Белое движение и завершившее его галлиполийство есть удержание России на гиблом срыве, явление бессмертной души Ее, — ценнейшего, чего отдавать нельзя, национальной чести, высоких целей, назначенных Ей в удел, избранности, быть может, — национального сознания. За это, за невещественное, за *душу,* — бились Белые Воины — нынешние галлиполийцы, и те, кто пали на поле брани, на поле российской чести, и те, что остались там, хранимые Господом до сроку, и те, кто в великих муках были истреблены.

Белое движение есть *отбор,* отбор лучшего русского по духу, по чувствованию России, отбор — того, что не мыслило без России *быть,* не могло мириться с Ее искаженным ликом, с надругательством над Ее *душой.* Самое чуткое, самое *живое,* духовно-крепко спаянное с Россией, к каким бы ни принадлежало классам, религиям, партиям, если только чувствовало биение сердца Родины, — вливалось в Белую Армию или было духовно с нею. Страшная жизнь делила, творя отбор.

Я не хочу сказать, что *там,* на российской почве, осталось одно худое. Я хочу сказать, что «белое движение» захватило собой ценнейшее в национально-духовном смысле, что оно есть — отбор.

Оно — великий этап России, великий раздел исторического пути Ее, великий *пролом* истории, за которым Россия найдет себя. В этом движении, в борьбе с врагами национального, с отбросом международья в личине коммунизма, Россия нашла в себе силу-волю. Россия увидала пропасть *небытия* — и нашла в себе волю — *быть.* И эта светлая воля — *быть* — лучшее от Нее, Белые Воины Ее, и оставшиеся в живых — *галлиполийцы.*

В истории России были суровые этапы, когда Она, теряясь, находила себя опять: Куликово Поле, избрание на царство Михаила, Двенадцатый год... — изломы в истории России. Но то, что случилось с нами, — не исторический перелом: это *пролом.* За ним — уже *Новая Россия,* которая непременно будет.

За ним — напряженнейшие искания подлинного национального бытия, национального обновления, собирания и оберегания того, что есть Россия, что лежит к Ней естественно, без чего она *быть* не может, — что есть православная Великая Россия.

Годы горестной жизни вдали от Родины... За эти годы, в нашем сознании величайшего из насилий — над *Родиной,* не может не обостряться, не может не углубляться чувство на-

ционального позора, чувство страстной тоски по *Ней*... В сознании пережитого, мы крепнем национальной волей, мы копим гордость, мы давим боли, лелеем национальные надежды... И все ясней, и полней, и краше вырастает перед нами образ России нашей, как *Идеал*.

Без Родины, мы остро болеем Ею, делаемся национально крепче. Лучшее, что дала от себя Россия, — Белые Воины, национально крепчайшее, — с нами, здесь. В достойной борьбе за жизнь, носители сильной воли — найти Россию, они высокий пример для нас, для новых, ярко национальных поколений: российская новая закваска. Они — ярчайший пример великого национального напряжения, безоглядно-жертвенного. Это высокое напряжение светлой российской воли полагает камень будущего строительства, национального, самоотверженного, подчиненного высшей цели: воли России — *быть*. Это высокое напряжение, это жертвенное служение России, в железном, *галлиполийском*, строе, полагает конец противонациональным течениям русской общественности, — источнику многих зол, способствовавших российскому погрому, — является потрясающим примером страданий неповинного поколения, за ошибки и преступления отцов и дедов. Белые Воины — высокий и страшный пример национального Искупления. Они кровью своею ставят Россию — на высоту, делают *бытие* Ее — высшей целью жизни: они умирали за Нее, добровольно!

Близится день Возврата. Не знаем срока, но срок идет. Белые Воины, истинные сыны России, войдут в Нее, в обретенную, свою Россию, не только с высокопочтенным значком первопоходника и *галлиполийца*, но и с нетленным *знаком* — кровью запечатленной любви к отечеству, обереженной национальной чести и упорно творящей воли.

И Россия обнимет их.

Ноябрь, 1927 г.
Севр
(Галлиполиец. 1927. № 1. С. 2)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О РЕВОЛЮЦИИ>

1. Раз революция произошла, значит: при *тогдашних* (всякого порядка) условиях оказалась неотвратимой. Вопрос для нашего времени теоретический, как для хозяина, у которого, по его небрежности, сгорел дом. *Стихийно-непреодолимых* причин революции, по моему разумению, не было, как не было их и дальше — для *углубления* революции и воцарения большевизма. Вина людская, а не «исторические силы», на что любят ссылаться.

2. В самой непосредственной: большевизм — следствие февральской революции с ее деятелями. Об этом лучше всего сказал и неопровержимо (для честно и глубоко мыслящих) доказал проф. И. А. Ильин, которого я позволю себе назвать *совестью* русской интеллигенции. Просто: революция не выдвинула людей разумной и сильной государственности, а без таких — при безвольности и прекраснодушии русского образованного класса, — (см. А. П.Чехова!) — самовластие, «что-нибудь да выйдет» и — кто во что горазд. Пришла шайка существ злой и развратной воли и, прикрывшись «народным волеизъявлением», сумела *обманом, страхом и потаканьем всему низменному, что есть в человеческой природе, надеть на лишенный вождей народ позорнейшее ярмо.* Эта шайка просто была попущена деятелями революции, их государственной неспособностью, безволием, государственною неграмотностью, — при очень благих намерениях! Народ — основная масса — тут ни при чем, как был бы ни при чем и всякий другой народ. Случись такое хотя бы в Англии, т. е. будь у власти такие деятели и такие созерцатели, — и Англия была бы разгромлена и опозорена.

3. Многое и важное. Главное: 1) Русское образованное общество перестанет верить в спасительность «слов» и «идей».

2) Отвергнет многое, что считалось непреложным и высокочтимым. 3) Станет истинно национальным («что имеем не храним, потерявши — плачем»). 4) Будет (и уже есть) поколение с сильной волей, с более развитым чувством национальной чести, оплеванной на его глазах. *Фашизм и евразийство только симптомы и уклонения нарождающегося сознания поруганности и ущемленности.* Сознание это будет воспринято (задача новой интеллигенции) широким народным кругом, и это послужит крепчайшей склейкой-цементом в создании будущей сильной и чистой России, которая *захочет* быть.

1927 г.

«РУССКИЙ КОЛОКОЛ»

Вот журнал, которому принадлежит право привлечь внимание живой русской эмиграции, той ее крепкой части, для которой мысль о России Новой, о России Светлой — не умерла.

Этот журнал, руководимый проф. И. А. Ильиным, ставит своей задачей руководить теми, кто хочет служить грядущей России словом и делом и — воспитывать новую, национальную интеллигенцию, религиозно обновленную и государственно мыслящую.

Вторая книжка журнала — о первой уже писалось — еще более укрепляет важность этого журнала для нас, в рассеянии сущих, но душой пребывающих с Россией.

Книжка открывается блестящей статьей редактора — «О русской интеллигенции», о том, почему интеллигенция перестала верить и понимать Россию, почему в ней иссяк источник национального самосохранения; почему она не могла строить свою Россию — и какой должна быть подлинная национальная интеллигенция.

Г. Бах, в статье «Лицом к России!» говорит о спасительной силе созидательного патриотизма, черпающего мощь из веры в гений русского народа, олицетворенный в Пушкине.

В статье «Кризис современного искусства» И. А. Ильин, взяв эпиграфом из Пушкина —

Постойте! Наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем...

и из Тютчева —

Мечты людей, как сны больного, дики...

ставит вопрос о темных недрах в человеке, стремящихся поглотить человеческое, увлечь гармонически-светлый дух в

самоволье вихрей и бурь глубинных... о сущности искусства, о связанности искусства с религиозно-созерцательным началом в человеке, об истинных путях высокого искусства, о значении его для жизни духа, об иссякновении духовных недр, о гиблых путях пустого, мертвящего искусства...

Искренностью захватывет «открытое письмо» к оставшимся в России патриотам — «Вы наши братья!» — И. А. Ильина. Для братского понимания между нами и теми это «письмо» должно иметь важное значение: оно помогает разобраться во многих несправедливых укоризнах.

С большим интересом читается житие Митрополита Макария, верного наставника молодого Ивана IV, — статья И. Лаппо, — из серии «Великие Строители России». Журнал прекрасно делает, вызывая перед нами тени забытых «национальных делателей».

Статья Православного — «Православие и государственность» как раз ко времени. Есть философы, для которых Церковь не Тело Христа, а одна из философских категорий, и которые, упражняясь в мыслях, тщатся решать вопросы догмы и указывают пути истинным чадам Церкви, тревожа и возмущая совесть. Статья Православного освещает вопрос о пределах «отделения Церкви от государства», о праве Церкви, как учреждения божественного, участвовать и в земном — государственном строительстве рука об руку с государственной властью, наполняя ее духовным содержанием; об отношениях между «кесаревым» и «Божьим» и о долге и праве Церкви благословлять «меч», поднятый на борьбу со злом.

Горячо написал Н.Цуриков о «Пафосе героизма и об идеях современности». Героизм — творческое и животворящее начало, и потому должен воспитываться государством, как движущая жизнь сила. Особенно важно значение героизма в подвиге освобождения и восстановления России. Автор остро и метко говорит о демократизации современности, о приглушении героизма «вождями века сего», которые настойчиво выкуривают героизм из жизни и учат доверчивые массы и низы народов презирать героев и этим как бы призывают к умерщвлению Героя.

«Тебе не нужны вожди, тебе не нужны герои! Ни за кем не иди! Веди и приказывай сам! Ты хозяин, а мы... твои слуги!» — так-то внушают массам собирающиеся сесть им на шею. Массы верят. А с этим, — говорит автор, — «неизбежно связано и отвращение народного взора от неба»...

...И сладкий горошек достанется нам!
А царство небесное мы воробьям
И ангелам Божьим уступим...

«Так некогда аргументировал Бебель свою социальную утопию — стихами Гейне».

Мы, русские, теперь знаем, кому достался «сладкий горошек», и что досталось массам, отторгнутым песнями коммунистических сирен от национальных своих героев!

Статья В.Гефлинга «Живой опыт коммунизма» дает картину небывалой экономической эксплуатации, «высасывания» русского народа коммунистами, и делает вывод о неминуемороковом завершении этой «экономики» — освобождением хозяйственных сил новой, свободной России.

Во 2-й части журнала, показательной, помещена исторически и географически обоснованная статья редакции — «Историческое бремя России», показывающая, с какими трудностями бороться выпало в судьбинный удел России. Интересна для нас статья Б. Никольского «Русская эмиграция в цифрах» и статья И. А. Ильина «О признании советской власти» — правила и советы, — очень важная в вопросах о «возвращенстве». Заключают книгу изречения Св. Писания, Святых, мудрецов и писателей «о сопротивлении злу силою».

(Возрождение. 1927. 22 дек. № 933. С. 3)

АНРИ БАРБЮС И РОССИЙСКАЯ КОРОНА

Негр на древнем троне русских царей, в Кремле!..

Это мы видели. Это закреплено на фотографии: черное существо в манишке, белкастое, губастое, шершавое, с черными лапами в манжетах, развалилось на троне русских царей, в Кремле, под двуглавым орлом российским. Это тов. Люнион, член V конгресса Коминтерна, представитель французских негров.

Допущено. Для подлого издевательства над русской честью толкнули это черное человеческое дитя забраться на белый трон — для мировой потехи.

Кто же его толкнул?

Русскому коммунисту, как бы он ни оподлился, как бы ни чуждался родной истории, как бы ни обезрусел, вряд ли приятно было смотреть на черное существо, влезшее на престол российский! Если он и смотрел «потеху», то, наверное, в сокровенной глубине уснувшей души его все же царапались-копошились остатки последней гордости. Конечно, толкнули негра на озорство иные, для кого не было никакой там русской истории, для кого в великом тысячелетнем прошлом не озарялась славой отданная за Русь кровь предков.

Царственные регалии и драгоценнейшие реликвии России, пущенные в показ-продажу!..

Знаем и эту фотографию: круглый стол и круглые дамы, охраняющие регалии России, зоркие. Не русские это женщины, а — н и к а к и е, коминтернские, «мировые», понимающие каратность бриллиантов и жемчугов. И вот подпущены охранять: и скипетр, и державу, и корону! Не только торговый смысл «европейского эталяжа» видим мы в фотографии. Мы слышим болью:

— Что с русской-то славой делаем!..

Вряд ли и тут русские коммунисты в массе и русские подневольные испытали радость и торжество.

Знаем мы и Святую Чашу сокровищницы Исаакиевского Собора, чудесную, в изумрудах и алмазах, священную вещь, добытую разбоем, пущенную на европейский рынок. Рынок жадно схватил ее, — святотатство, по всем законам! — и лондонский ювелир Сноуман выставил ее у себя в витрине. Любое государство, христианское хоть по имени, пропади у него священная лжица из собора, поставит на ноги всю полицию, и бодрствующий Закон найдет святотатцу кару. Но, для России... Какая там Россия?! Нет никакой России, и нет у ней ничего священного. Была Россия, — теперь... майдан, и по новой «всемирной совести» этот майдан — всеобщий: на нем забирают в с е!

И это знаем. И не забудем этого никогда. Не смеем.

Мы знаем с т о л ь к о, что разрывает сердце. Знаем Уэльсов. Знаем Ромэн Ролланов, славших приветствия «светлому царству золотых пчел», — последнее д о с т и ж е н и е культуры!

И последнее, что мы знаем, все то же хамство, та же издевка-пляска на нашем священном прошлом.

Писатель... Не негр и не ювелир. Писатель, с именем. И этот писатель, с именем... плевком приклеил себя — к русской истории! Негр забрался на царский трон. Ювелир ощупывал камушки на Чаше. Писатель... Ну, что бы вы думали — этот писатель выкинул?!

Восхотел, чтобы сняли его на фотографии... с российской царской короной в руках! Писатель с воображением. И его хотение осуществилось. Сняли его, с короной. Теперь он вошел в историю, весь, с короной. За нею — века славы, века страданий и подвигов. За нею — весь русский народ, великое племя, история великих достижений, великих мук... За нею — Великая Россия. Теперь, все это д е р ж и т Анри Барбюс. А что... за Анри Барбюсом? Но т е п е р ь — это легкое существо хлестко вошло в историю, в историю... России! Оно же д е р ж и т в своих руках корону царей российских, увенчанную Крестом!..

Достаньте же эту фотографию. И сохраните. Это тоже — «реликвия».

Неопределенная блаженная улыбка на определенно невыразительном лице, немножко сладком, чуть-чуть оторопелом: корону России д е р ж и т! Что-то он думает? Что за похоть владеет им? Будто и похотливый трепет: в руках заметно.

Но что же его толкнуло ткнуться в «историю России»?! Соревнование ли с губастым негром, погоня ли за славой... Впрочем, это для нас неважно. Важно для нас одно: некий Анри Барбюс — и тот прибежал, — допущен, — весело плюнуть на наше горе, на славное наше прошлое. Маленький «европеец» плевком приклеил себя к великой истории российской!

Запомним, себе в науку. Многое мы должны запомнить, — себе в науку, должны передать народу. Настанет время.

И еще запомним, на утешение, как народ наш метко и крепко врезал:

«Галки и на кресты марают!»

Декабрь, 1927 г.
Севр
(Возрождение. 1928. 21 янв. № 963. С. 3)

ЗАЩИТНИКУ РУССКОГО ОФИЦЕРА КОНРАДИ – Г-НУ ОБЕРУ, КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕЛА

Сознавая громадное общечеловеческое и политическое значение процесса об убийстве советского представителя Воровского русским офицером Конради, считаю долгом совести для выяснения Истины представить Вам нижеследующие данные, проливающие некоторый свет на историю террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой которых пришлось мне быть в Крыму, в городе Алуште, Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 1922 года. Все, сообщенное мною, лишь ничтожная часть того страшного, что совершено Советской властью в России. Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною — правда. Я — известный в России писатель-беллетрист, Иван Шмелев (6 лет проживаю в Париже, 12 рю Шевер–Париж VII).

1 — Мой сын, артиллерийский офицер, 25 лет Сергей Шмелев — участник великой войны, затем — офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как, на мои просьбы и протесты, ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «выслали на Север!» Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою жалобу высшему советскому учреждению ВЦИК'у Всер. Центр. Исполн. комит. — ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что «лучше не надо ворошить

дела, — толку все равно не будет». Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.

2 — Во всех городах Крыма были расстреляны без суда все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.

3 — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.

4 — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, за то, что они приехали в Крым из Москвы — бежали.

5 — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6 — В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте, без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7 — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8 — Всех бывших офицеров, принимавших участие и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них инвалидов великой войны и глубоких стариков.

9 — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе—феврале 1922 года и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России, и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте, в январе—феврале 1922 года.

10 — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего от них за границу, за время терро-

ра за два-три месяца — конец 1920 и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и следствия, до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны были по материалам бывших союзов врачей Крыма. По его словам официальные данные указывают цифру в 56 тысяч. По Феодосии официальные данные дают 7—8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.

11 — Террор проводили — по Крыму — председатель Крымского Военно-Революционного Комитета — венгерский коммунист Бела Кун и его секретарь — коммунистка Самойлова, не русская, партийная кличка «Землячка» и другие. Тов. Островский расстрелял моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера, забили на смерть шомполами и отдали его тело татарам.

12 — Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения за что расстреляли моего сына и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского — не русский — тов. Реденс — не русский, сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша!»...

13 — Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «помести Крым железной метлой». И вот — старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители — «Надо дать красивую статистику». И дали.

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная международная комиссия могла получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле.

Я не мог добиться у советской власти суда над убийцами, потому-то советская власть — те же убийцы. И вот я считаю долгом совести явиться свидетелем хотя бы ничтожной части великого избиения России, перед судом свободных граждан Швейцарии. Клянусь, что в моих словах — все истина.

1927 г.

ВОЗЗВАНИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ

Преклоняюсь перед высоко-человеческим движением духа славного Теодора Обера, — этого светлого рыцаря на страже дремлющего лениво мира, не ведающего, что проснуться может для мига смертного. Разве лучшие из святых старцев наших могут до глубины оценить его «стояние». И тем более удивительна его самоотверженная жизнь. Ну да не покинут еще мир Богом, и есть еще его посланные. Я заочно обнимаю эту светлую силу человека в нем. Я черпаю и недостающую мне волю-силу, и веру в людей — в нем, в его движении сердца и в его широчайшем охвате всей сути ужаса, грозящего, навалившегося уже на мир. Каждый на своей стезе стоит. Но стезя его — наитруднейшая, наиответственнейшая.

(Предположительно: Возрождение. 1928. Янв.)

<ЗАЯВЛЕНИЕ>

Я узнал из газет, что, вслед за кинематографами Германии и Латвии, вскоре и на французском экране будут показывать фильму, сработанную по моему роману «Человек из ресторана». Поэтому считаю необходимым еще раз обратиться к общественности со следующим заявлением:

I. Права на переработку моего романа для кинематографа я никому в СССР не давал. Право всемирной экранной постановки «Человека» приобретено у меня осенью пр. г. берлинским антрепренером Борконом, с условием, что ставить фильму будет иностранная кинематографическая фирма, и сценарий будет представлен мне на просмотр, причем Боркон обязался приобретенных им прав на «Человека» советским предпринимателям не передавать.

II. То, что проделал с моим «Человеком» советский «Межрабпом Рус», при участии некоторых артистов советского Худож. Театра в Москве, — «не имеет названия», как пишет в своей статье «Литературные фильмы в Риге» известный литератор Петр Пильский (газ. «Сегодня вечером», ном. от 18 январ.) — «ибо даже самые зазорные, клеймящие слова бессильны передать это изнасилование всего замысла, идеи, сюжета и даже здравого смысла. Совкино, открутившее, будто бы, повесть Шмелева, сделало из нее нескрываемо наглый агитационный подлог». Чтобы изобразить «гнусности буржуазного строя», большевики использовали известность романа, переведенного, между прочим, и на французский язык, перенесли действие в 1916—17 гг., между тем, как роман был написан в 1910 г., извратили идею романа, в целях пропаганды придумали свое содержание, изменили судьбы и характеры действующих лиц и все насытили ложью, грязью и пошлостью во славу ленинизма и в поругание «развратной буржуазии и золотопогонников», в прославление «гибнущего пролетариата ране-

ных бедняков» и т.п. «По расчету режиссера, — удостоверяет П. М. Пильский в своей статье, — сердце зрителя должно сжаться и наполниться великим негодованием против «подлого» строя... Ради этого и принесен в жертву Шмелев». Даже по отзывам советских рецензентов, оказавшихся на этот раз в литературном отношении более разборчивыми, чем некоторые славные когда-то артисты чудесного театра во главе с г. Леонидовым, помогавшим *так* извращать известный ему роман известного ему русского писателя, — даже, повторяю, по отзывам советских рецензентов — «Моск. Известия», 21 авг. и «Красн. Нива», — «повесть Шмелева подверглась «радикальной переработке». «В теме, т. е. в том главном, ради чего написана повесть, у кино и у Шмелева *нет никакого* соприкосновения, самый сюжет картины, почти ни в чем не совпадающий с сюжетом повести, оказался типичной мелодрамой...»

III. Таким образом, эта «переработка» и демонстрирование ее по свету есть надругательство над русским писателем, над духом его произведения, — есть наглый обман для разжигания классовой ненависти в Европе и по всему свету, злая попытка влить в жизнь еще больше и лжи, и зла. И этот злейший обман обманщики стараются подкрепить авторитетом произведения, не имеющего ровно ничего общего ни со злом, ни с ложью. Наглость советских предпринимателей дошла до того даже, что в крикливых рекламах их рядом с моим именем и названием моего произведения печатают и мой исковерканный портрет, неведомо как сработанный.

Против подобного обмана и надругательства я буду, насколько это в моих силах, бороться всеми законными средствами.

Прошу русские зарубежные издания дать место моему заявлению.

(Возрождение. 1928. 29 янв. № 971. С. 2;
Дни. 1928. 29 янв. № 1313. С. 2;
Сегодня. 1928. 2 февр. № 31. С. 8)

К РОДНОЙ МОЛОДЕЖИ

I

*Славные русские девушки!**

Ваше обращение ко мне за добрым словом напутствия и смутило, и обрадовало меня. Я не смею считать себя «духовным вождем»: я только русский писатель, и отвечу Вам, как ответил бы друзьям-читателям, сердечно мне близким, — искренно отвечу. Обрадовало же потому, что почувствовалась мне в Вашем письме душевная потребность — вдумчиво относиться к жизни, как бы перекреститься, в нее вступая. Эта серьезность на заре жизни — следствие пережитого, *нашего,* русского страдания. Страдание углубляет, умудряет. И в этом уже залог будущих нравственных побед. Это уже и теперь — победа.

Были времена — и были у русской молодежи «мучительные» вопросы и запросы, идеалы, искания. Русская душа — жаждущая душа, ищущая *дела,* подвига, душа стремительная и страстная. Русская молодежь всегда была неспокойна духом, пытлива, идеалистична, порывиста неудержимо в исканиях лучшего — *для всех.* Выбирала себе «вождей» и, увлеченная, шла за ними, порой безоглядно. Это было тогда, когда была сильная Россия, богатевшая и материально и духовно, счастливая, что бы там иные ни говорили, *вся* счастливая, имевшая налицо все данные для блага *всего* народа, имевшая все возможности, в путях духовного и материально-культурного роста своего, явиться примером для всех народов. И она осуществляла эти возможности. Это предрекали ей великие наши духовидцы. Теперь это прошлое — становится уже очевидным. Но наряду с *верными* водителями влияли и водители ложные, смотревшие куда-то *за* Россию, поверх России, задававшиеся целями над-национальными, увлекавшие «великими» горизон-

* Ответ на письмо воспитанниц выпускного класса Мариинского Донского Института (в Белой Церкви, Югославия).

тами и прельстившие многих, проглядевших негромкое, но великое дело «дня сего», не манившее блеском молний далеких горизонтов, — дело укрепления и создания *нации*, своей нации, себя еще не сознавшей и потому совершенно не готовой на «мировое дело». И вот, чудеснейшие, идеальнейшие свойства парящей русской души, кипевшие в русской даже мало-мальски культурной молодежи, совершенно не постигавшей огромного целого — народа, великого неокультуренного ядра, — способствовали невольно великому разгрому, разоренью, разложению, растлению России, временному омертвению ее, утрате ее для многих, ее даже и не узнавших.

И вот, *новая* русская молодежь... и снова *ищет!* Как же не радоваться, что Вы, юные, новая поросль русская, после таких испытаний, таких блужданий по чужим мировым дорогам, после стольких утрат, после *таких* ударов по Вашим юным, по Вашим нежным и неокрепшим душам, какие не выпадали на долю никакого из других народов нашей истории, — Вы живы духом, Вы всматриваетесь пытливо в жизнь, не отвергаете ее, так незаслуженно-неповинно Вас побивавшую; что хотите вступить в нее так благоговейно, хотите понять ответственность и назначение свое в ней, *верите* в нее, уповаете, что она примет Вас и назначит *дело*, которое Вы выполните свято. Это скрыто в Вашем письме ко мне, но выговорено это в одном Вашем простом, но чудесном слове — *напутствие!*

В добрый путь, милые русские девушки... в добрый и светлый путь! Я знаю, знаю, что копите Вы в себе смелую волю к жизни. Я верю, что первою Вашей думой о жизни, Вам открывающейся, самой глубокой и затаенной думой, думой-целью, — является Вам *родное*, русское, мысль о незнаемой родине, — о незнаемой чувствами внешними, но чуемой-знаемой душою, — о возвратимой России, *нашей*, истинной, заложенной в нас от предков, святой и чистой, омывшейся от грехов России! И потому-то Вы, на пороге ли высшей школы или жизни самостоятельной, трудной от бесприютия, наученные страданиями, ищите доброго напутствия и совета. Идите, благословясь. Я слышу в Ваших простых словах — голос исканий. Не угас русский святой огонь, русский духовный пыл, стремление к истинному и доброму. Нерусские девушки не спрашивают об *этом*. Им не нужно «благословения» и «слова»: накатанные у них дорожки, привычные. А Вы... Вы, русские бездорожницы, вышли искать Россию, Град-Китеж, потонувший! Идите смело — и найдете. Я тоже ищу ее, и верю в нее, и верю, что найду ее. Я ищу ее в образах и думах. Быть

может, *такой* и найду ее, бесплотной... но Вы найдете и осязаемую! Вы, юные, найдете. Вы только пустились в путь. Я чувствую Ваши *живые* души. В Ваших глазах надежда: Россия *будет,* мы жить будем, по-нашему жить будем, у *себя* жить будем, в России жить и творить будем! В Вас силы молодые, пытливые, но кругом — столько путей неясных, предрассветных! И Вы правы, Вы чутко-правы, прося напутствия. Вы — религиозны, Вы — кровь отцов: *молились* они *перед походом.* И Вы — в походе. И я хочу Вам сказать: идите и помните, что *мы сильны!* Помните непрестанно, что мы велики, что *мы от великого народа,* что мы чудесны и нашей историей, уделившей нам миссию охранять культуру, что мы велики *великим страданием нашим* и великой *победой нашей* — всем тем чудесным, что *русский гений* давал, дает и будет давать миру! Только теперь начинаем мы познавать себя. Только теперь начинает чувствовать этот мир, начинает приоткрывать чудеснейший Лик России. Лишенные родины, мы всюду несем *ее.* Бога — во имя *ее* несем. Наше искусство, проявление божеского в человеке, в славе идет по свету. Наши идеи, наше богопознание и богоискание, наше «святое беспокойство» *за* мир и человека — волнуют чутких во всех народах. Мы же — философы мировые, мы — бродило. Наша наука, лишенная даже почвы родины, может гордиться родными именами. Наши муки служат *великой сдержкой человеческому безумию,* примером небывалым. Мы пали, но мы восстанем! Мы мучаемся, но мы — творим. Мы, невольные постояльцы мира, — учим! В рассеянии, мы готовим смену — Вас, чудесная наша молодежь, сильных в лишениях, знающих все дороги-бездорожья, но чувствующих *единое,* национально чувствующих, жаждущих создавать новую Россию, — мы уже видим ее в мечтах.

Эти мечты и воля претворить их в *живое* — в Вас есть. Ждете напутствия? Все, что могу Вам сказать, — в Вас есть! *Вы любите Россию,* русские девушки, Вы ее носите в себе. Вы, столько перетерпевшие, муками освященные. Вы — чистые, Вы — святые! И святое несете в сердце. Многие из Вас потеряли и растеряли отцов, матерей, братьев... мученицы из Вас многие-многие, и все — сироты, без Родины. Но Вы верите, что Россия *есть,* что она будет *Ваша.* Ваше сиротство кончится. *Такое,* что выпало нам на долю, не может пройти бесследно. *Такое* будет возмерено *такой* же безмерной мерой, — таинственный закон жизни, — *грядущей радостью.* И это будет. И Вы это увидите. Пусть эта вера напутствует Вас всегда. Готовьте себя — России. Как готовить? Вы это знаете, должны знать.

Великое выпадает на долю Вам. Россия осквернена до сердца. Вы, русские девушки, станете русскими женщинами. Вам предстоит великое: создавать новую, *чистую,* русскую семью, обновлять, очищать от скверны родной народ. Вы понесете народу Бога, понесете в жизнь *правду,* — все то ценнейшее, чем возвеличена русская женщина: выполнение долга, самоотверженность, милосердие, чистоту, духовность, кротость, готовность к подвигу, верность и глубину любви... *Теперь,* когда Россия осквернена до сердца, когда все обесчещено, растлено, Ваша великая миссия — *нести чистоту, утверждать нравственность, дать здоровое поколение, воспитать его, научить жизни в Боге.* От вас, чистых, охраненных от скверны, чем *там* заражены миллионы подобных Вам русских девушек, плененных, духовно ослепленных, — *от Вас зависит величайшее дело духовного возрождения нового поколения России.* С Богом в душе, с Церковью, с верой, с памятью о загубленном, чудесном чистом, Вы будете стойки, Вы будете свято-горды: Вам, русские зарубежные девушки, а с Вами вместе и тем, кто сохранил себя там, — великое Вам назначено. Как и что делать — подскажет Вам ум и сердце. Чтобы лечить — надо знать. Думайте о России, знайте о ней. Познавайте ее, бывшую, незапятнанную. Познавайте и смрадную, на гноище ее. Набирайтесь знаний, готовьте себя здесь к работе *там:* школьной, ученой, воспитательной, духовной, просветительской, проповеднической, лечебной, всякой, какая кому по склонностям, по силам. Но прежде всего: живую, человеческую душу в себе храните, чтобы творить с любовью. Вашему поколению выпадет великая работа — освящать, очищать Россию. Мужчине — *строить;* Вам — *освящать.* Не отдых, а непрестанный труд. Искупление будет продолжаться: слишком грехи велики. Слишком много утрачено ценнейшего, слишком много осквернено. И верьте: Ваши усилия, — если хотим России, — могут произвести величайший духовный взрыв — творящий энергию народа. И Россия, показавшая миру великую бездну падения, покажет чудо великого возрождения, величайших высот духовных. Россия это может! Это чудо будет наградой Вам. Верьте — и это будет. Верьте и делайте. И Вы увидите это чудо. Это будет, это может быть счастьем и целью Вашего поколения. Это чудо будет и оправданием России. И да благословит Вас Бог!

20 мая/2 июня 1928 г.
Севр
(Русский колокол. 1928. № 6. С. 8—12; Слово. 1928. 23 сент. № 988. С. 3)

К РОДНОЙ МОЛОДЕЖИ

II

*Милые юные друзья!**

Кончая свое обучение в славянском городке, свой Крымский Кадетский Корпус, русский Корпус, вы просите доброго напутствия... Что сказать вам? Жизнь многому научила вас, жизнь без родины, тоска и боль по родине, все тяжкое, страшное, что выпало вам на долю, что вы перенесли и несете с честью и мужеством. Вот, выхо́дите вы на новые дороги — в высшие ли школы, или — в практическую жизнь, в работу... Первое скажу: готовьтесь быть *верными гражданами-сынами России, деятельными и честными, крепкими в творчестве будущего строительства.* Россия разорена, опозорена, ославлена, ослаблена, осквернена, растлена. Вы знаете, должны знать, что́ *там:* и потому вы уже знаете, что́ ей нужно. Вы знаете наше прошлое. Вы знаете, на чем стоит и строится добрая, *человеческая* жизнь. Знаете и другое: как убивается эта жизнь. Вы должны знать, что лишь силами *всего* народа, ведомого достойнейшими и сильными, строится и благоденствует и хранит честь свою всякое христианское государство. Так было и с Россией. И еще вы знаете, видели своими глазами и выстрадали сердцем: народ, ведомый разрушителями, осквернителями божеских и человеческих законов, падает и духовно умирает, а добытое веками, чудесное, — обращается в пыль и грязь.

Вам выпадает на долю заново строить, воссоздавать и охранять Россию, истинную, *свою,* Великую Россию. Снова, как будто, приходится *начинать русскую историю.* Значит, прежде всего, надо быть сильными, надо быть государственными, российско-государственными, национальными, иметь

* Ответ на письмо воспитанников выпускного класса Крымского Кадетского Корпуса (Югославия). См. «Русский колокол», кн. VI.

верную цель, иметь идеалы совершенства, хранить в душе и в уме тот Лик, ту светлую Россию, какою хотите ее видеть, какою носили ее в сердцах лучшие из ее сынов — гении ее, о которых вам говорит священная наша летопись. Ваша школа, конечно, вложила в ваши юные души, показала вам этот былой, чудесный, ныне столь искаженный Лик. Вы должны оживить его, воссоздать: раскрывать, обновлять, охранять. Вы — мужчины, вы — русские, с великою кровью предков, великих предков, создавших Великую Россию из пустыря раскинутого на четверть мира. И вот, выпадает вам — быть воинами-строителями, как встарь. От всего сердца желаю вам крепости духа и тела, *выработки характера,* непреклонного, уверенного, настойчивого, несокрушимого. Прежняя русская интеллигенция — это мы знаем и по творениям лучших наших писателей, и по истории общественности русской, и по разгрому России, — была часто безвольна, мечтательна, жила миражами и полетами легкой мысли, смотрела часто *поверх* России, знала Россию мало, искала вождей в *чужом,* — и довела Россию, помогла довести Россию до провала, не сумела себя использовать *для* России, при всех дарованиях своих, при всех чудесно-благоприятных средствах великого народа. Выковывайте себя в российских граждан, в *стальных мужей.* Перед глазами у вас много примеров достойнейших, много таких испытанных, кого возьмете в пример, — Белая Армия России с ее вождями, погибшие доблестно герои, великие духом мужи, как, например, — мученик, великий гражданин России — князь Павел Долгоруков! И еще, второе, важнейшее, помните: узнавайте и научитесь любить душу народа нашего, узнавайте, ищите ее и в его истории, и в изображениях ее, — подлинной, русской души народной — в творениях наших писателей — великих! Узнавайте народ, его достоинства и его слабости: с ним вам придется работать, воссоздавать Россию.

Между русской общественностью и очень часто между русской Властью и народом — не было духовной связи, не было национальной спайки, и потому героическое дело лучших и деятельнейших сынов России, в минуту смертельной опасности, дело спасения, дело героев, жертвовавших собою безоглядно, не дало видимого плода, не отвоевало России от ложных вождей, от исчадий ада. Обманутый, увлеченный посулами, сбитый с толку народ, не познавший *общего,* своего, национального, не помог истинным сынам России, лучшим из своих братьев, и понес — и не по своей вине! — страшнейшую

из страшнейших кару: вы знаете, в каких тисках, в каком разорении и угнетении, в какой грязи и в каком бесчестье теперь наш народ, ненавидящий самозваных правителей — насильников из неведомого ему, таинственного Третьего Интернационала! И потому, говорю вам от сердца, — учитесь быть близкими народу, учитесь с народом быть и делать, когда наступит пора; полюбите его — вы из него же вышли! — и поймите его темноту, его тоску и стыд — да, он в тоске и стыде, только не говорит об этом! — не вменяйте ему страданий ваших, страданий за Россию: он неповинен, русский народ, трудовой народ, в бесчестии России. Он безответствен. И еще помните: он — великая сила, он — страшная сила, которая *все* может! Если коммунисты, большей частью чужие ему по крови, посулами и ложью и разжиганием ненависти так долго его водили и держали в ярме, и он волей-неволей помогал им, то *что* же будет, если вы, кровные его, будущие его водители — а вы получите это право, вы, молодое поколение, ибо явитесь перед ним *своими,* образованными, культурными, братьями, — что же будет, если, поняв свой народ и сумев раскрыть в нем чувства познания своей родины, *своей* России, — а оно уже рвется из него тоскою и стыдом! — *что* будет, какой *взрыв энергии творящей, величайших подспудных духовных сил объявится в народе нашем!*

Вспомним нашу историю, те черные годины, когда, получая и находя вождей достойных, народ наш *делал* свою историю, сбивал пришельцев-насильников, заполнял и живил пространства, подымал испепеленную Россию из праха в блеск! Вам предстоит великая, чудеснейшая работа: поднять, сотворить Россию! Наш народ — *великий* народ! Это в его истории. В народе нашем силы несокрушимые. Глядите: *жива* Россия! Народ, без вождей, в ярме, — и он отстоял *свое,* инстинктом своим, духом своим отстоял самое главное, без чего он не смог жить: Бога! *Народ* отстоял *Церковь.* Народ отстаивает и свое другое: *землю!* Жив Русский крестьянин, как ни изводили его, как ни обирают его, как ни губили голодом, как ни старались ввести в ярмо и обратить в скотину. Народ-земледелец — на земле, со своим укладом, со своим бытом, со своим *правом,* неписанным, со своим русским духом, со своими святынями, со своими небесными Вождями, с Сергием и Николою, с Царицею Небесной, с Ильей-Пророком, со *своей* совестью, *со своим покаянием, со своей чистотой в грязи,* со своей верой в Россию, в бессмертную, вечную Россию, — *жив! Он,* кресть-

янин, мужик, он один — весь, как один, — *сохранил внутренний*, скрытый от злых, *нетленный, священный Лик, не зная даже о нем, но чуя его, нося его в себе!* Глядите: *подспудно, жива Россия!* Разъедающий коммунизм — его лишь оцарапал, великана. Народ заживит царапины. *Для* него, ибо *он смотрит в века* и время считает по-своему, по *вечной* земле своей, для него *все* это — только царапины. Он *не знает* былого, он слишком богат внутри и потому нам видимое, нами оплакиваемое, для него, считающего на крупные, — *это все страшное* — лишь царапины. По нем равняться приходится, его психологию брать за мерку и не падать духом! С ним строить, с ним верить надо! Зачинать, не страшась, артелью, всенародно, с Богом! И он — покажет себя, он горы сдвинет, он тот же, двухсотмиллионный будет, он *все* воздвигнет, и воскресит, и подарит, воротит России гениев! Вы сами это увидите, верю я. Вы увидите: *сбросит ярмо народ и быстро залечит язвы.* И вот, вам-то тогда придется стать первой культурной сменой, бок о бок с талантливейшими, с сильнейшими из него, из целого народа, с *достойнейшими* из его сынов, с вашими братьями по крови, быть может даже, с *былыми грешниками,* — придется быть признанными его водителями. Народ бросится к тем, пойдет крепко за теми, которые покажут ему чедеснейшее — *познание своей, светлой, живой России, чуемый Лик Ее.* С теми пойдет он, кто возьмет в полон его душу, разбудит в нем народную его *гордость,* сознание своей, русской *национальной мощи,* кто великую потребность его утолит — оправдаться же, наконец, перед целым светом, показать себя! Наш народ горд, он *может* быть свято гордым, достойно гордым! Нашему народу *все* доступно, до самых тончайших чувств, лишь бы его *раскрыть! Таким* знают народ, чуют народ, таким показали нам величайшие наши писатели. *Россия догонит мир! С таким* народом — догонит и обгонит. И вам придется участвовать в этом славном, в этом чудесном *беге* — на силу, на ловкость, на *правду,* на *геройство,* на высокое, русское, на гражданство, на достойнейшее, оправданное историей, место в мире, *великодержавное!*

Вы идете учиться дальше? Идите радостно и вольно, идите с верой: великое дело ждет вас: Россию ставить, Россию вести, Россию охранять с боем! А с таким народом, как наш, — вы это знаете от боевых отцов ваших, вы это знаете из светлых страниц истории, — *с таким народом можно творить чудеса.* И *будут* чудеса. И вы будете участвовать в чудесах этих.

И будете сами творить чудеса эти — со всем народом, в братстве-отцовстве с ним. Вы своими познаниями, опытом страданий, чуткостью душевной, добытой муками, вы сумеете отворить подпочвенные силы и дать им ход. И будет прекрасная, сильная, крепкая, чистая, *белая* Россия!

Рассеянная по чужим народам, — смотрите! — наша нищая молодежь и сейчас творит чудеса! Тысячи кончили университеты, техникумы, военные школы, работают руками и мозгом, выковывают волю, познают всякие народы и могут посравнить и сделать выводы. Приобретают важные навыки. Новому поколению нашему, вам, друзья мои, суждено быть *бывалым,* необычайным, по мировому опыту, поколением России. Ни один народ, имеющий государственность, не имеет *такого* опыта, *такой* судьбы. С таким поколением, которое живым выйдет из гноя и тлена коммунизма, которое прошло все страны и народы и *не погнулось, не потеряло человеческого лика и русского духа,* которое *крепко волей,* которое — стальное, — с таким поколением Россия явится именно той «птицей-тройкой», которая умчится, и не в неизвестное куда-то, а *по верно проложенной дороге.* И будут «в священном трепете» взирать на нее народы, — по слову провидца Гоголя. «Русь, куда мчишься?» *Знает* Она, — куда. Будет знать. К — Солнцу! К Солнцу Правды, всечеловеческой, ибо уже позна́ет она *свое,* отстоит, впитает; — и не страшным, а благодатным для Нее станет — *всечеловеческое!*

Приветствую вас, юные, крепкие, сироты без Родины, — сироты пока, до срока, до близкого срока... — не склонившихся под напором бед, а твердо идущих — *дальше!* Идите с Богом, *Россия будет!* Вы для Нее живете, для Нее страдали, и Ее вы получите в награду и в работу, воссоздадите, укрепите, — и сумеете защитить, вы добрая, сильная, славная наша молодежь!

21 мая (3 июня) 1928 г.
Севр
(Русский колокол. 1928 № 7. С. 7—10)

СОБЫТИЕ

Не знаю, оповестила ли европейская печать, что происходило в сентябрьские дни в Белграде. Вряд ли. Европейской печати не интересны события, подлинный смысл которых постигается только *внутренно,* сердцем чутким. Это не состязание мировых боксеров, не полет через океан, не разговор Штреземана с журналистом, не смена кабинета, не приговор Сакко и Ванцетти, не планы нового «расчленения России»... Случилось событие не видное мировому глазу.

В Белграде состоялись съезды: русских ученых и — русских писателей и журналистов, — съезды русских бездомников, так сказать — придорожных постояльцев. Съезды сделали свое дело и разъехались по своим «мировым» углам. Никакой интересной *внешности,* для европейца. И, однако, это — событие. Это величайшее из событий русских за этот десяток лет российского исхода на мировое поприще. Мало того: это знаменательное событие и с мировой оценки, если только над ним подумать и, подумавши, оценить. Но за шумом и блеском времени вряд ли его оценят.

Но если и не оценят его и даже и не заметят европейцы, — мы, бродящие в мире одиноко, терпимые по неволе, неприятно тревожащие ровный уклад Европы, наученные постигать *внутренно,* ибо горе делает сердце чутким, все мы должны признать, что случилось событие исключительное, ясно нам показавшее, что ценнейшее все еще не ушло из мира, что лампады еще не все погашены, не все еще колокола разбиты, еще не на всей земле слова заменили чувства, не везде самолюбование и гордость закрыли *правду,* не везде торг и рынок закрыли *человека,* не везде историческая память притупилась.

Но обратимся к событию.

Сперва — о мире. Для мира России нет. За счастливыми исключениями, вместо былой России признаются ее насиль-

ники. С ними заключаются договоры, у них скупают награбленное добро; выполняют порой их окрики, изгоняя русских людей из данного им прибежища. Мир озабочен, как получить долги отданной на разбой России. Мир никак не может решить, что ему делать с беспокойными русскими бродягами, блуждающими по миру и не желающими забыть России. Мир, между тем, скупает золотые св. Чаши, чудесные русские иконы — даже и чудотворные! — сплавленные кресты и ризы. Когда представлялся случай, мир захватывал русское золото с орлами. Мир изменил союзнице — России, изменил низко и жестоко. Мир не только легко забыл, что для него сделала Россия своей кровью, но даже пробовал отрицать, что она что-то сделала. Мы знаем множество случаев этого мирового бессердечия, чтобы не сказать — бесчестия. Этот десяток лет прохождения нашего по свету дал нам ужасный опыт и такое познание «добра и зла», что уж лучше бы было не познавать.

История этих десяти лет — и не только для нас, а и для всех бесстрастных историков мировой нравственности, для всех честных, способных видеть высоту человеческого в мире, — может быть самая черная страница всей человеческой истории. Никогда, кажется, еще не было такого дерзостного, такого бесстрашного отказа не только от христианской, но и просто от человеческой нравственности. Окиньте памятью *все*, что было за эти годы совершено бесчестного, жестокого, страшного — в отношении не России только, а в отношении хотя бы законов просто пристойной жизни. Все это хорошо известно, все записано в государственные акты и в миллиарды листов газетных, а в русском сердце — выжжено, как клеймом. Это — кошмарное достояние истории, истории оглушительного падения чести в мире. Мы это знаем. Узнает и Россия, и — оценит.

Было время: великие демократии боролись за свободу, великие демократии и в неграх даже видели своих братьев... Ныне — дружат с насильниками великого народа — из-за чего! Ради своекорыстия, ради торговых и низких интересов. Великие демократии забыли жертвы за мировое дело, которые принесла Россия, забыли море крови, в которой Россию топят... И такое «забвение» закрыто словами и словами, померкло в блеске, заглохло в шумах, и никто не встревожен этим. Мало того: строятся планы дальнейшего растерзания России-жертвы! И вот, при такой-то клинической картине мировой совести, когда даже крик — воистину крик отчаяния русских писателей, призывавших из гроба мир, не был услышан *чут-*

кими, в такое время произошло событие, совсем не громкое, не мирового масштаба на первый взгляд, но которое — это поймут потом, если смогут еще понять! — по своему внутреннему смыслу значительнее многих и многих событий великого масштаба за этот десяток лет.

Одна страна — не из великих держав! — одна христианская страна былая малая Сербия, ныне королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, сказала перед миром: Великие ценности человеческого духа — *есть!* Не пустые слова — любовь, братство народов, честь, благодарность, долг, совесть, благородство! Нельзя гнать правду и помогать злу в мире! Святые лампады нельзя гасить! Надо чтить высокое *человеческое* в веках! Надо уметь *помнить!* Надо уметь любить! Христианской стране *нельзя* попирать Евангелие! Чудеснейшие страницы истории — нетленны!

Это сказала страна — и показала ясно. Это сказала и показала страна, благороднейшая страна славян, бившаяся геройски за свободу, страна, познавшая, что за ужас — себя утратить, испепеленная и вновь восстающая из пепла, страна героев, христиан-героев! Она истекала кровью, но сохранила духовное богатство. Она уходила на чужбину — и вернулась с оружием для славы. И вот такая страна, в лице своего Короля-рыцаря, в лице своего Пастыря духовного, своего мудрого правительства, своего образованного слоя, в лице трогательной и чуткой славянской женщины, которая давно познала, что такое терять бесценное, в лице достославного города Белграда, явила высокий пример чести, братства, совести, благородства, исторической памяти и провидения грядущего. Она позвала к себе русских ученых, русских писателей и деятелей свободного слова русского, русскую мысль и совесть, и благородно сказала: помню, люблю и верю! Носители громких имен в литературе мира не поверили русским писателям, иные и не откликнулись на их крик, иные насмеялись даже. Великая Югославия устами простого труженика-кондуктора — сказала: привет вам, русские братья! Великая Югославия, в которой горят лампады, показала такое сердце, такую чуткость, такую сердечность-ласку, такой уют в нашем бездольном придорожье, каких мы нигде не видели в этот десяток лет. Она засыпала нас цветами, она говорила нам, что она не забыла прошлого, что она видит в нас будущую великую Россию. Она не вырвала легкодушно великих страниц истории, не утеряла за шумом жизни слуха к чужому горю, она не

зачеркнула своей трудной и славной жизни! Она сказала русским писателям, русским ученым, деятелям свободной русской печати в мире, нам — полноправным уполномоченным России, представителям ее духа и представителям за нее перед целым светом: вы были моими братьями, вы были в силе и славе... и теперь, когда вы сироты, вы еще больше братья! взгляните в мои глаза — я та же, любящая и верящая!.. Сказала и показала высоким примером для всех — непомнящих. Это — знаменательное событие великого размера. Это — признание России, истинной России, исторической и неумирающей России, России надмогильной, которой — несмотря на *все* — суждено быть и быть!

Ныне, когда народы открыто показывают, что для них как бы уже и необязательны основы права и нравственности, даже те основы, которые они обязательными считают еще для отдельных граждан; когда начинает казаться, что своим поведением государственные люди и правительства как бы хотят освободить человечество от непосильного ему бремени — соблюдать Божеские и человеческие законы — честь и долг, не говоря уже о любви, хотя казалось бы, что именно государственные-то люди и должны бы воспитывать граждан в духе божеского и человеческого закона: случилось исключительное событие, когда одно государство показывает высокий пример — всем. Это ли не событие?!

То, что произошло в Белграде, в Белом Граде, в эти сентябрьские дни, дойдет и до Нее, плененной, в оковах сущей, — и согреет, и осветит Ее: есть еще на земле Правда!

Есть еще на земле Великая Югославия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, страна воистину христианская. Устами своего Короля, своего Пастыря, всего своего народа она сказала:

«Лампады у гроба Преподобного Сергия погасли... Горят лампады у Святых — Саввы и Илии! И у Преподобного Сергия зажгутся!»

Октябрь, 1928 г.
Ланды
(Возрождение. 1928. 17 окт. № 123. С. 2)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОМАСУ МАННУ

Дорогой Томас Манн!

К Вам, наиболее чуткому и совестливому из германских писателей, обращаюсь я с этим словом глубокого возмущения и негодования на то, что **может случиться** непоправимо позорное для Вашей родины, тяжкое и страшное — для моей. Обращаюсь с надеждой, что, узнав в с е и проверив Вашею совестью, Вы почувствуете «святое беспокойство», великую тревогу за ч е л о в е ч е с к о е, ту тревогу, которую еще недавно умел высоко ценить мир в творениях литературы, в частности — в творениях русского и германского гения и сердца. Обращаюсь во имя великих наших Учителей, имена которых еще и в наше время для нас священны.

Дело идет о постыднейшем, против чего давно бы должен восстать весь культурный мир, и что не тревожит совести этого «всего мира». Дело идет о бесчестье, которое падет на весь германский народ, если от его имени не раздастся властный и сдерживающий голос.

Выразитель духа Вашего народа, как ответственнейший писатель, как представитель чести и совести народа, Вы, я верю, не можете допустить спокойно, чтобы Ваша страна стала поприщем, — сильнее сказать, разбойничьим майданом, где без зазрения совести и громогласно могут распродаваться ценнейшие из сокровищ, собранные веками и силами России, украденные у нее насильниками и воровски доставленные на германский «рынок»! На глазах всего мира Германию хотят сделать местом распродажи украденного у целого народа духовного богатства, укрывательницей награбленного, потатчицей разбою, посредником грабителей и воров.

Страна Гете и Шиллера, страна великих мыслителей, великих правоведов, ученых, художников, моралистов... — эта страна в наше сомнительное время как бы готова показать

всему свету, что она разрывает с ними, что она отвергает право, отрицает честь, принимает легко — бесчестие!

Узнайте дело — и Вы не допустите постыдства: я знаю это. Вы — чуткий, Вы за право Правды. Вы можете не позволить, Вы можете властно сказать — «нельзя»! И Вас услышат.

Что случилось? Я не буду говорить от себя. Я приведу слова благороднейшего немца, только что напечатанные в русской газете «Возрождение», в Париже, — слова из телеграммы крупного германского промышленника, — Артура Геннига, отправленной г. президенту Гинденбургу:

«6 и 7 ноября у Лепке в Берлине состоится распродажа принадлежащих всему русскому народу невосстановимых, бесценных художественных сокровищ. Правительства других культурных государств поступили разумно, отклонили предложения об устройстве в их странах такого расхищения русского национального имущества, расхищения, глубоко оскорбляющего всю национальную Россию. Германии суждено на глазах всего цивилизованного мира принять на себя такое поругание. Все мыслящие немцы должны самым резким образом протестовать против таких действий, вследствие чего я прошу Вас, господин Президент, принять все зависящие меры к тому, чтобы запретить позорящие весь германский народ действия».

Мне нечего и добавить к этим словам. Разве еще одно: графиня В. Соллогуб уже объявила в газетах, что среди назначенных к продаже у Лепке картин значится украденная у нее картина, и она судом потребует восстановления своих прав. Потребуют и другие, потребуют открыто, потребуют по праву, нарушение которого готовится в Берлине.

Помогите же остановить падение чести в мире! Кому же и охранять честь и правду, как не писателям, выразителям мировой совести, — так мы, русские, по крайней мере, полагали до сего дня? И кому же удержать родину от позора перед человечеством, как не выразителям ее духа, ее славным писателям, и из них — Вам, одному из славнейших?! Вы хорошо знаете и чтите великих наших — Достоевского и Толстого, о них Вы много писали и рассказывали Европе, и Вы можете знать, можете представить себе, что бы они теперь сказали, если бы могли еще говорить! Впрочем, они уже давно сказали и так ярко и властно сказали о чести и бесчестье, о зле и добре, о правде и неправде, что повторять излишне.

Скажите же, прикажите же, дорогой Томас Манн, — и Вас услышат в Германии. Услышат и в целом мире, — а это очень теперь нелишнее. Скажите громко и властно, и Ваш голос останется в нашем сердце, как голос чести, как голос долга, как знамение великой духовной связи между народами.

С дружеским приветом и искренним уважением к Вам.

Октябрь, 1928 г.
Ланды
(Возрождение. 1928. 26 окт. № 1242. С. 2)

ЖЕСТОКАЯ УТРАТА

Светлой памяти
Юлия Исаевича Айхенвальда

Ушел и еще один, достойный, благородный.

Нет уже среди нас и Юлия Исаевича Айхенвальда. К длинному счету смерти погубленных и умерших русских писателей в этот страшный десяток лет злая судьба прибавила еще имя — светлое имя Айхенвальда. И как жестоко прибавила!

На перекрестке чужого города настигла его машина и убила. Убила его, пришельца, изгнанного не — родиной. Россия!.. Он любил это имя — и чтил его. Любил и Ее, душу и плоть Ее. От великих и славных великой литературы русской с благоговением и восторгом принял он в сердце родину — всю ее: доброе и дурное, солнце и мглу ее. Все в ней познал, что открыло ему чудесное ее слово, великая ее литература. Познал — и принял, и полюбил, любовью большой и нежной, такой, как его душа. И стал достойным учеником великих, певцов их слова, стражем родной литературы, ее заветов.

Россия... прекрасное слово русское!.. Жил он в его звучаньях, в его сверканьях, в его широте и глубине, в его высоте небесной. И сам — и сверкал, и пел. Россия — сверкала в мыслях. Россия — стучало сердце. Россия — Слово, Россия — ее литература.

И вот, на перекрестке чужого города настигла его машина и убила. Убила в голову, полную мыслей-образов, полную русских образов — светлых даров России, и умертвила сердце. Слепая, жестокая судьба. Или — не слепая и не жестокая? Или пришла пора, пора подвести итоги, и судьба ставит знамение — конец? И выбрала жертвой Айхенвальда, любящего из любящих, совестливого и скромного, чуткого к слову-звуку, чуткого к слову-образу, богатого из богатых

словом, честного ключаря сокровищ славной литературы русской? Словно уже конец, словно уже — довольно: незачем петь и славить, нет никакой России, нет и ее литературы. Сгорела ее литература, пошла на ветер! Жила и цвела впустую! Нет никакой России, ни звуков о ней, ни песен, — нечего сторожить и петь! Кто это бродит там, странный, смешной чудак... что-то хранит с ключами, чего-то ищет? Ищет по пустым пескам! Мешает на перекрестках ветру?..

Жестокая насмешка.

Машина убила в голову, убила стража на верном его посту. Убила певца литературы, вечных ее корней, молитвенного певца, будившего в молодежи веру в бессмертное творческое слово, в бессмертие мысли творческой.

Всякая утрата человека — тяжелая утрата. В бедное наше время утрата такого человека — жестокая утрата. Чуткий из чутких критиков, художник-критик, знаток языка и чудеснейших форм его, ему одному присущих, неповторимый в средствах изображения, он явился для нас примером — примером меры, примером сдержки, богатства и веса мысли; он будил в нас ответственность, уважение к слову-мысли и к слову-чувству. Жрец, он служил в храме, одеждах чистых, во храме святого Слова. Его «среды», его «литературные заметки» — всегда урок, всегда притягательная сила. Он учил и писателей и критиков. Чуткий, он учил обхождению со словом, с душой и трудом писателя. Не было для него «имен». Не было «направлений», ни «политик». Он держал одно направление — в искусство. И звал к нему. И его слышали и слушали. Теперь — кому?!

Хранитель верный, убит на перекрестке. На перекрестке чужих дорог. Кто поведет к родному? В беглое наше время, в великое распутье, — кому вести?

Есть — у кого учиться.

Да, он любил Россию. Взращенный ее литературой, он взял от нее любовь и совесть, душевную глубину и честь. Ведомы ему были тревоги и муки творчества, и никогда не спускался он до жестокого и пустого слова, до злой насмешки, для смеха-балагана, до приговора беспечного. Тонким и нежным словом он нащупывал мысли-дали, родные дали и глубину. Верный священному в литературе, нашей и мировой, он вскрывал человеческие чувства, прекрасное в человеке и природе, в родной природе, в грусти и красоте ее. Тревожный к правде, он будил в нас «чудесные заветы». Он корил и карал

отступников, извратителей слова — чести и чистоты; он бесстрашно судил преступников, удушавших любимую Россию, душу России — с л о в о. Чуткий и совестливый, и нежный, он не боялся правды. И в мужике, и в царе, прежде всего, он видел ч е л о в е к а и строго ставил на место тех, кто глумился над ч е л о в е ч е с к и м. Он был истинный рыцарь с л о в а — слова-правды. Он верил в чудо — в чудо слова творящего. И спокойно, мудро смотрел на жизнь. Живо ж и в о е слово — и жизнь будет, хорошая, ч е л о в е ч е с к а я жизнь будет! Живо родное слово — Россия будет! И бодро стоял на страже. И слово — для него облекалось плотью. И слово — вело к изначальному и конечному, к Слову-Богу. Он не мог не верить, — но сказал ли когда об этом? — что чудесное слово-образ — воплощение Бога в жизни, великая цель искусства. И умер в вере.

Убила его машина в пути, на перекрестке. Жесточайшая утрата: погиб достойнейший, страж и хранитель с л о в а. Больно и одиноко нам. Но, помня светлый образ отшедшего, одного из лучших русских людей, глубоко просвещенных, скрепив сердце, мы обязаны сохранить завет, долг его светлой памяти: путь не кончен!

Идти по пути отшедшего, чутко, чисто. Мы в пути, в опасностях на пути, но путь не кончен. Мертвые и слепые силы будут давить и сбивать с пути, будут и убивать чудесное в нас и нас. Но чувства ж и в ы е наши, но вечные мысли наши, но с л о в о наше... — они бессмертны, как великое Слово — Бог. Они ведут нас. Они приведут к извечной заветной цели Великого Искусства Слова — к воплощению Бога в жизни, к воплощению жизни в Боге!

Декабрь, 1928 г.
Севр
(Возрождение. 1928. 23 дек. № 1300. С. 3;
Руль. 1928. 23 дек. № 2457. С. 4)

ДЛЯ РОССИИ

Для России — надо сберечь детей.

Скоро десятилетие, как мы здесь, — живая Россия на чужбине, свободная Россия. Не гордое это притязание так называть себя: это действительность, это строгое послушание, данное нам судьбой, историей. Мы должны быть Россией на чужбине. Там, на родной земле, нет России живой, свободной. Самое имя у ней отняли, заменили звериным знаком — СССР, знаком позора-срама. Мы должны быть Россией, нести великое послушание.

Дано нам судьбой жить на чужой земле, но остаться свободными. Нас не давит всечасный ужас; может дышать свободно, и говорить, и делать. И должны непрестанно помнить, *что* нам даровано, и, помня это, должны непрестанно думать, во имя чего мы здесь. Чем оправдаем этот удел судьбы? Мы должны искупать дар жизни — свободу нашу — перед тяжким мучением России, России-смертницы.

Русская эмиграция честно несет свой долг. Она работает, стоит на своих ногах и помогает слабым. Призыв о помощи — не глас вопиющего в пустыне. Иностранцы неоднократно отмечали стойкость ее, ее достоинства. Жаль, что мы еще не имеем полной картины ее жизни, что она сделала. Надо бы сделать перепись: это важно для мира, для России. Русская эмиграция — смело — можно сказать — открыла Россию миру, подлинный лик ее: высокую ее культуру. Будем давать отчет — покажем, что мы сделали для России на чужбине, свободные.

Годы идут, многих из нас уж нет. Наша замена — дети, «племя младое, незнакомое»... — русское племя, наше, идущее нам на смену. Им мы должны вручить данное нам судьбой. Им мы должны отдать хранимую Россию, нетленный ее в нас лик. Не суждено будет нам — они вернутся. Если не сохраним мы

их, мы не выполним долга нашего. Миллионы жизней истреблены; пролито русской крови без счета-меры. Сохранить России тысячи детских жизней — священный наш долг перед памятью миллионов убиенных. Мы не смеем забыть об этом. Мы обязаны сохранить России ее детей. Эти дети — особенные дети, «дети мира», новая поросль русская, знаменательная историческая поросль. Это не просто дети: это дети великих испытаний, прошедшие мир в невзгодах, ценнейшее достояние России, ее надежда! Дать России здоровое поколение, *новое* поколение, еще не известное в истории, возросшее у семи дорог, на семи ветрах, духовно не искаженное, не приученное клонить голову и принимать насилие, бесстрашное, прямодушное, великодушное, не потерявшее стыд и совесть, спаянное любовью к родине чувством родимой крови, не заушенное, не одичавшее до зверюг, а носящее лик российский, знающее родной язык, знающее языки мира, Бога не позабывшее, не утратившее добрых российских навыков и познавшее навыки чужие, обогащенное миром, знающее истинную, а не искаженную злою ложью насильников, историю родины своей по крови... — самое важное, что должны мы сделать. Эти дети — надежда наша, наши истинные наследники. Это верная наша смена, та смена, которой суждено стать обок с достойнейшими из русского народа, с братьями по судьбе и крови — в строительстве будущей России. Этим детям выпадет долг и доля будить в народе сознание национальной мощи, помочь ему оправдаться перед миром и доблестно показать себя. России придется догонять мир. Зная ее историю, зная все, что она дала миру, что она вынесла и пережила, можно с верою говорить: Россия догонит и обгонит! И, может быть, скажет миру *новое* слово жизни. Нашему молодому поколению, этим вот *нашим* детям, эмигрантам-детям, с семи ветров, придется участвовать в этом чудесном беге — беге на силу и на ловкость, на геройство, на высокое, русское, гражданство, на достойнейшее, оправданное историей, место в мире — *великодержавное!*

Только имея смену, будем мы вправе верить, что не напрасно было наше здесь пребывание. Мы *обязаны* возвратить России малую каплю ее крови, живой крови, так беспримерно расточенной за эти годы великого русского погрома. Позор и проклятие на нас, если мы *все* забыли. Эмигранты-дети, всего лишенные, не узнавшие родины своей, без вины виноватые, жертвы ошибок и преступлений наших... — их мы забыть не смеем!

Мы должны отозваться на обращение к нам Детского Комитета Российского Красного Креста, в эту неделю помощи русским детям, 10–17 марта. Больше двух тысяч семейств русских эмигрантов состоят на учете Комитета. Надо дать Комитету средства — спасать детей, будить в их сердце образ великой Родины, закладывать в них основы достойной жизни — граждан-строителей России. Дайте же эти средства! Если бы захотели, помня и постигая *все*, мы могли бы создать не только «сад» и приют... Мы могли бы так сделать, чтобы ни один из детей не потерялся для Родины, не растворился в чужом, не сгинул, не остался России не узнавшим, России бесполезным: чтобы все были на учете, на заботе. Много доброго делает наша эмиграция по свету. Но в этом деле, в этом «детском» деле, в этом священном деле, мы должны отозваться так, так показать себя, чтобы и тени укоризны не осталось, что не все нами сделано. Много ошибок сделано, много вины на поколении «отцов», — мы знаем. Да не совершим же ошибок новых, не возьмем на совесть вины тягчайшей: забыть обездоленных судьбой, без вины виноватых, — детей безвременья! Это было бы преступлением.

Во имя России — дайте!

(Возрождение. 1929. 15 марта. № 1382. С. 3)

«ПОМНИ РОССИЮ»

(По поводу одного «Письма в редакцию»)

Это письмо напечатано было в 1388 номере «Возрождения», 21 марта на 4-й странице, в нижнем уголке направо, мелким шрифтом. И приходит на мысль, что письмо это не все заметят, а заметить и запомнить его необходимо. Больше: все мы *обязаны* его запомнить. В письме этом, очень кратком, — к сожалению, имеются опечатки, и такого сорта опечатки, что могут подать любителям все вышучивать удобный повод и посмеяться, хоть нам и не до шуток.

В письме «к русским медонцам» заключается призыв к жертве, к маленькой жертве во имя большого, во имя святого дела, во имя долга, — перед Россией долга. «Жертвуйте в фонд «Помни Россию», передавая деньги в распоряжение генерала А. П. Кутепова, принявшего на себя из рук почившего Великого князя Николая Николаевича, вместе с его предсмертным заветом ко всем нам — «помните о России, русские люди!» — славное и тяжелое бремя заботы о русской чести и доблести, бремя охраны здорового русского ядра — русских военных сил — белой российской Армии. Жертвуйте, хотя бы малым, но *все*, русские, жертвуйте, не забывайте, не имеете права забывать, не смеете забывать! — вот о чем говорит письмо, письмо «к русским медонцам», — письмо ко всем. В этом письме, говорю я, есть досадные опечатки: конечно, не «если бы несколько десятков русских людей твердо решили бы уплачивать хотя бы по нескольку франков в месяц» ... а... «несколько десятков *тысяч* — только десятков тысяч», хотя нас, «медонцев», не десятки, а со-тни тысяч!.. И, конечно, не... «от нас сейчас требуется малое — несколько франков в месяц...», а — от *каждого* из нас *должны* поступать в фонд «Помни Россию» франки и франки, каждый и каждый месяц, а от кого и десятки, и сотни, и тысячи франков каждый месяц... и тогда... Тут

уже необходима вера, горячая вера в великое из великих дело — спасения России.

Не ко всем, о, далеко не ко всем, следует обратиться еще и с таким напоминанием...

Помните времена былые, времена процветания и могущества России, утерянной, когда многие-многие российские интеллигенты и полуинтеллигенты, и интеллигенты высокой марки, и миллионеры-фабриканты, сознательно или по малости духа своего и своего разумения, *давали* с великой верой и гордостью, словно свечи перед иконой ставили, — давали на... разрушение России? Ведь давали! Теперь-то мы ясно видим, что давали в фонды, имя же им, — незнаемое? — было: «Забудь Россию», «На погибель России», «На пролитие российской крови». Правда, тогда об *этом* не думали, думали, что дают на освобождение России от... «сапога жандарма», от «кнута царского», от «опричнины». Помните вечера и концерты с неведомым назначением денежных сборов с них? Помните мохнатые шапки и фуражки, ходившие по рядам в университетских аудиториях? Помните — миллионы даже, отпускавшиеся «на дело» каявшимися в чем-то фабрикантами, которым *тесно* и скучно становилось в родимой жизни? Я помню. Я, зеленый, и сам совал с бьющимся глупым сердцем полтинники и двугривенные в лохматую фуражку, воровато таскавшуюся по рядам-коленкам. Совал — и гордился, глупый! Так вот, на эти-то полтинники и рубли, стекавшиеся со всей России, на эти накоплявшиеся миллионы, на миллионы, украденные у России, миллионы, у ней ограбленные, с пролитием крови охранявших ее солдат, покупались люди, покупались динамиты и бомбы, кинжалы, револьверы, маузеры и пулеметы, чтобы с Россией кончить, — с Россией исторической, великодержавной, славной, с н а ш е й Россией. С Россией кончили. Не непосредственно нашими полтинниками с ней кончили, но и не без этих «полтинников» тут было, хотя бы и не вещественных. Наши *нравственные,* так сказать, полтинники очень и очень помогали. Ну, и пострадали же даватели, жертвователи всяческим. От слепоты своей, от скудности своей душевной и духовной, — тогдашней, — пострадали. Но из-за этого-то вся, вся Великая Россия — страдает уже двенадцать лет. И как страдает! Вот какие последствия «малых дел».

И вот, письмо к «медонцам»... Оно тоже говорит о малом. Но оно говорит *открыто:* «Помни Россию»! Оно говорит о *долге,* который мы все, все не имеем права не сознавать,

в котором мы все уже не можем ошибаться: все знаем, *что* с Россией теперь, под каким сапогом она. Под сапогом действительным, лежит и не дышит вот уже сколько лет. Вспомним нашу историю, наших «нижегородцев», нашего мясника Кузьму, нашего князя Пожарского... Тогда «нижегородцы» ведь не повинны были ни в чем, а дали веру слову Кузьмы, отдавали последнее. Государственнее ли нас были? Любили больше? Любили больше, и больше *верили*. Поучимся же у них — и любви, и вере мы, *медонцы*.

Март, 1929 г.
Севр
(Возрождение. 1929. 24 марта. № 1391. С. 3)

«ГГ. ОФИЦЕРЫ»

Очерки К. Попова

Эта статья «Гг. Офицеры» — очерки К. Попова — дана была мною газете «Возрождение» и хранилась в редакции шесть недель, и я, старейший сотрудник газеты, на два моих заказных письма и телеграмму редакции и издательству — вернуть мне статью и объяснить, почему она недостойна печатания, — ответа не получил. Статью добыл, по моей просьбе и доверенности, боевой русский офицер, добившийся, наконец, для меня такого объяснения: «редакция имеет право задерживать те рукописи, которые по ее мнению чрезмерно претенциозны и тенденциозны». Пусть судят мои читатели

Ив. Шмелев

Автор уже хорошо известен: это тот самый К. Попов, который дал русской словесности — и не только словесности, а душе, памяти русской удивительную книгу «Воспоминания кавказского гренадера — 1914—1920 гг.», которая без смущения может стать рядом с «Севастопольскими рассказами» Толстого, по значительности, по силе, по безыскусственности, по «нехудожественности». Об этом уже писалось и такими знатоками в военном деле, как генерал Головин, и такими мастерами в искусстве слова, как А. И. Куприн и покойный Ю. И. Айхенвальд. Люди с пустой душой и мерочками на слово, люди с поползновением, а не с вдохновением, этого, конечно, не признают и не поймут, как они до сих пор не могут понять, *что* дала и продолжает давать зарубежная словесность. Выученики, а не творцы, они не знают вещего слова Пушкина:

Постойте... наперед узнайте, чем душа
У вас наполнена: прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем.

К. Попов, может быть и не сознавая, это *знает*. Его душа не только наполнена, но, пожалуй, переполнена «вдохновени-

ем» и потому-то так безыскусственно у него и порой нагромождено — им созданное. Оно подавляет *правдой.* И настолько значительно, что «украшающее перо» — излишне, как излишни и даже непристойны краски на памятнике героям-мертвым.

К. Попов так пишет:

«Остается добавить, что на голове у него молодцевато сидела защитного цвета фуражка с офицерской кокардой и опущенным на подбородок ремешком, а ноги были обуты в сапоги из черной кожи, доходившие ему чуть выше колен, чтобы получилось довольно типичное изображение одного из тех молодых русских офицеров, которые тысячами стояли в холодное сентябрьское утро на всей необъятной границе Российской Империи, обозначавшейся сейчас не географическими и этнографическими рубежами, а доблестью армии, ее духом, дисциплиной, выучкой и прочими неотъемлемыми качествами, которыми сильна была в то время Россия, имевшая впереди, на защите своих границ и чести — все здоровое, честное и мужественное» (стр. 37, «Гг. Офицеры»).

Или вот:

«Победителей сегодня не было, и противники, равно уставшие и изнемогшие от нервного напряжения в бою, постепенно прекращали огонь, и водворявшаяся тишина нарушалась лишь одиночными выстрелами любителей пострелять (!), да немецкая артиллерия изредка посылала очереди куда-то вдаль. Ее снаряды, жутко журча, высоко, высоко над головой, совсем далеко разрывались, — так негромко и мягко... Казалось, что немцы кому-то не дослали известной порции снарядов и теперь, подсчитываясь, все ошибались в расчете и досылали недоданное (!)» (стр. 26).

Так пишет К. Попов, русский офицер и кавалер ордена Св. Георгия, — с одной рукой. Иные, с двумя руками, не понявшие ничего в зарубежной русской литературе, но говорящие о ней иностранцам очень самонадеянно, *этого* не поймут, конечно, как и другого, многого. Вот и этого, например:

«Серая фигура, младший унтер-офицер Колпаков был мертв. Пуля угодила (!) ему в глаз, и минуту спустя, когда Колпакова отнесли в глубь леса, на дне его ямки сиротливо осталась лежать его фуражка, у большого темного сгустка крови...» (стр. 55).

Даже и этого не поймут:

«— Кого вы несете? — обратился командир к конвойным.

— Так что, поручика нашего Зотова...

— Куда он ранен?..

— Так что, ваше высокоблагородие, под самое сердце. Еще по дороге скончались. Они приказали передавать вам донесение, — сказал конвойный, откидывая шинель, которой было покрыто тело Ромы. — Вот их книжка...»

«Командиры... полка. 1914 г.

28 ноября. 9 ч. 45 м. ...»

Подписи под донесением не было. Вместо нее отпечатался большой палец какого-то солдата, вымазанный кровью...» (стр. 79—81).

Не переписывать же всей книги! Вся она выросла из страшных *зерен*, бессознательно-щедро разбросанных уцелевшей рукой и переполненных сердцем офицера-писателя в его «Воспоминаниях кавказского гренадера». И выросла недаром. Этой книгой боевой писатель как бы довершает гордый и страшный памятник Русскому Офицеру и Солдату, мученику и рыцарю, заложенный в современной литературе нашей, зарубежной, писателем-генералом А. И. Деникиным — в его «Очерках русской смуты» и в книге «Офицеры». Довершает достойно — достойно и офицера русского, и словесности русской. И недаром берет за основу книги своей слова своего Начальника: «... Берегите офицера! Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть» (Ген. А. И. Деникин).

Вся книга — стройный и славный... «Устав геройского Ордена» — «Русский Офицер». Вся книга — пример нашему молодому поколению, назидание — старшему, так мало берегшему своего достойнейшего брата офицера... — вся книга — ценнейший по своей сильной *правде* вклад в русское богатство — слово.

Апрель 1929 г.
Севр
(Россия и славянство. 1929. 8 июня. № 28. С. 2)

<ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ>

Многоуважаемый г. Редактор,

Благоволите напечатать следующее мое обращение к моим читателям и к русской зарубежной общественности:

«За последние полтора года моей работы в газете «Возрождение» я не раз испытал от заведующего лит. частью г. Маковского ничем не объяснимое насилие и «строгую цензуру» над моими статьями, причем не всегда мог добиться достойной поддержки от редакции и издательства. Продолжая во многом разделять национально-патриотическое направление газеты, я все же прекращаю свою работу в ней, чтобы оберечь свободу писателя от насилия, а писательское свое лицо — от искажения.

Прошу русские зарубежные издания не отказать мне в напечатании этого заявления».

С совершенным уважением к Вам

Капбретон, Ланды
29 мая 1929 г.
(Россия и славянство. 1929. 8 июня. № 28. С. 2)

ПАМЯТКИ

...Если бы европейцы поняли *все,* что Россия сделала для мира доблестями и жертвами *достойнейших,* ныне тяжелым трудом добывающих хлеб на чужбине, израненных, потерявших здоровье, потерявших родину, но не утративших твердой надежды вернуть ее... — они снимали бы шляпы при встрече с каждым из героев наших и приветствовали бы почтительно *верных* своих друзей, исполнивших до конца свой долг. Но огромное большинство даже и понять не хочет, что особенно доблестного совершили русские воины, пребывающие незаметно среди народов. А придет время, и имя *русский* станет почетнейшим именем в Европе и в целом свете.

* * *

...Благороднейший друг России — Александр, Король Сербов, Хорватов и Словен.

Он знает, *что* сделала Россия для Европы, для Его родины.

Он не признал насильников — убийц русской законной власти и не считает «СССР» — Россией.

Мудрый правитель, он государственно провидит, что Россия *будет.*

Герой, он чтит героев.

Истинно просвещенный, Он уважает духовную культуру. Перед всей Европой Он оказал высокую честь ученым и писателям России — эмигрантам. Он делил с ними царственную хлеб-соль, как когда-то делил сухарь со своими солдатами-орлами.

Король и солдат, Он сказал русским героям-инвалидам: «Вы — Мои».

...*Русский* тот, кто никогда не забывает, что он *русский.*

Кто знает родной язык, «великий русский язык», данный великому народу.

Кто знает свою Историю, *русскую* Историю — великие ее страницы.

Кто чтит родных героев.

Кто знает родную литературу, *русскую* великую литературу, прославленную в мире.

Кто неустанно помнит: «ты — для России, *только* для России!»

Кто верит в Бога, кто верен Русской Православной Церкви: Она соединяет нас с Россией, с нашим славным прошлым; Она ведет нас в будущее, в *наше;* Она — Водитель наш, извечный, верный.

(<Часовой. 1929. № 11—12>. С. 20)

НА СЕМИ ВЕТРАХ, У СЕМИДЕСЯТИ СЕМИ ДОРОГ...

Неделя помощи

Она уже истекла — «Неделя помощи русскому туберкулезному», и я, запоздавший, говорю как бы в пустоту. Нет, конечно. Нет пустоты, не может быть пустоты в душе русской, в *нынешней* душе русской, переполненной до краев страданием. Пусть и глуха душа, пресыщенная покоем, усыпленная мирным теченьем дней. Мы — тревожны, всегда тревожны. Такими были и в мирные времена — людьми беспокойной совести, такими и остались. И да будем всегда такими! Мы — русские, и наша душа — русская душа, такая загадочная для иностранцев — «l'ame slave». Правы они: многое непонятно им в душевном движенье нашем. Противоречий сколько! Сколько высоких взлетов — и какое жестокое паденье. Сколько безмерных испытаний — и такое покорное терпенье, во имя чего терпенье? И вера, что — *все устроится.* Во имя чего — такая вера? А она в нас живет, и ничто не в силах отнять ее: это мы *знаем* внутренне. Правда, в этом и слабость наша, в гульяньи *устроения;* но в этом и наша сила, особая внутренняя сила, духовная: погибели нам не будет, мы *знаем* это. Так чувствует наш народ, весь народ, и мы, из него исшедшие, рассеянные в народах. Мы ждем. Мы ждем, и верим, и делаем. И будем делать. И дождемся.

Верные этой силе, этому удивительному чуянью *бытия* — не избыток ли это сил для жизни? — мы много делаем. Рассеянные по свету, мы все же — вместе. С разных концов вселенной *одно* мы видим: Россию нашу, раздробленные спорами, все же в *одно* стремимся. И сойдемся.

«Духа не угашайте!» Нет, мы не угашаем духа. Там, в России, идет борьба, странная, страшная борьба, неведомая миру, — нам, чутьем, ведомая. Там — *изживают* зло. Упорством, косностью часто, чуяньем *устроения:* дождемся, и — *все устроится.* Невидимая борьба, внутренне ощутимая народу.

И видимая так же. Здесь тоже идет борьба, тоже невидимая миру — за будущее наше. Мы знаем это, ибо мы — делаем.

«Неделя помощи»... Нищими мы пришли сюда — два миллиона нищих, простреленные в сердце. Мы — живем! «Российский мусор», «отброс» — так именуют нас злейшие — мы творим. Буквально, из *ничего* — творим. Ибо богатство с нами — душа наша, чуткая русская душа. Сколько церквей построили и строим. Тысячи наших инвалидов с нами. Тысячи молодежи получают образование. Бездомные получают кров. Дети-сироты — попечение. Наши ученые ведут и ведут работу. Наше крепкое духом офицерство, наши белые воины, казаки и моряки, врачи, писатели, артисты... — создали ряд объединений. Раскиданные по свету — перекликаются. Больные находят помощь...

Эти — самые горевые, это ясно. Болезнь разрушает все. А болезнь на чужбине? «Дома и стены помогают», а на чужбине — люди? Да, мы щедрые нищие. Богатые духом нищие. Помогаем и будем помогать — и сможем. Вот, уже истекла «неделя». Что принесла она? — «Неделя помощи русскому туберкулезному». Мы знаем: даже богатая Европа должна напрягать усилия, устраивать дни сбора — в «своих стенах». Помните наш цветок, милую «белую ромашку», такую скромную, грустную такую? Апрельскую ромашку... — неурочный расцвет, в печали? Там — «стены» были, и какие «стены»! А здесь... в миллионе нас, на семи ветрах, у семидесяти семи дорог!...

Комитет Помощи влиятельнейше свидетельствует известнейшими нашими врачами — друзьями нашими по судьбе, и нашими достойнейшими людьми, посвятившими жизнь свою высокому делу Помощи, какое бедствие нам грозит.

«Нет трудовой семьи, где не было бы туберкулезного»!

Так мне пишут. Так написали всем. Это, конечно, верно. Воистину это бедствие. И этому надо внять. И помнить об этом надо всегда, всечасно. «Неделя помощи»... Бесконечные недели помощи, месяцы помощи, до последнего дня Возврата, который уже не за горами. Надо помнить, и надо давать, давать во имя всего святого, во имя страданий близких, во имя совести, во имя *человека,* во имя русского человека, во имя общей для всех нас участи, во имя священной связанности нашей друг с другом, во имя общих утрат, во имя священнейшее — России. Туберкулез косит молодежь, самое ценное, что мы обязаны сохранить России! Он подрывает *все,* все уже созданное, с такими трудами созданное, творимое нами здесь.

Пусть каждый вглядится в близкое от него — увидит. Пусть каждый вспомнит, сколько было перед глазами случаев, когда умирали без поддержки, умирали почти достигшие «светлой цели», получившие, наконец, дипломы; умирали и умирают кормильцы-труженики, оставляя сирот на нас: убивали себя, отчаявшись!.. Только подумать: мы могли бы не допустить!..

Мы можем не допустить — и не должны допускать. После всего, что сделано, мы не имеем права не доделать; иначе много пропадет, что сделано.

Пусть «неделя» продлится, пусть длится до той поры, пока те же влиятельнейшие врачи-друзья не заявят нам с облегчением, что созданы «наши санатории», что Красный наш Крест не отошлет никого без помощи, что легче нам стало под выпавшим нам на долю Крестом нашим...

Еще раз вспомним, что русские мы люди, вспомним, что во многом грешны, многих хороших навыков у нас нет, — но должны быть! — но что, самое главное, у нас есть наш якорь, чудесное наше чувство — чуянье: своего добьемся, только бы хотеть и хотеть — *и все устроится.*

(Россия и славянство. 1929. 9 нояб. № 50. С. 2)

КРЕСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мы накануне великой годовщины: 12 января, — памяти Мц. Св. Татианы, — исполнится в наступающем году 175 лет основания *первого* Российского Университета — Императорского Московского Университета. Не будем спорить, можно ли называть старейший Университет тем именем, которое приросло к нему за почти два столетия: это никак не изменит исторического названия, права на имя, данное при крещении; как нельзя истребить наименование Села — «Царским», а Эрмитажа — «Императорским». Это история, и она требует *своего**.

Скоро мы будем вспоминать. И, вспоминая, чтить. Чтить великое прошлое: заслуги строителя просвещения, российского чудо-просвещения. Правда, 175 лет только, и то неполных, сорванных грязной рукой насильника. Не тысяча лет на нем, не столетия даже, как на его собратьях — европейцах. Но есть чем ему гордиться: десятки его питомцев вошли в европейскую науку, врезали в нее главы *русские* навсегда; создали русскую науку, в своеобразном русле. В свое время об этом скажется. Мало того: наш университет создал России просвещение. Высокая наша образованность, во всех проявлениях своих, в науках и в искусствах, в мощных полетах мысли, пошла от московского истока, выросла из корней московских, — от рассадника просвещения, украшенного священным словом, начертанным золотыми буквами:

«Свет Христов просвещает всех».

И об этом скажут: приведут и числа, и имена. И — дела.

Крестник Мученицы Св. Татианы ныне и сам в венце, в скорбном венце мучений. Содрано золотое слово, Святая Татиана изгнана, святой ее лик разбит, и Дух Истины отошел

* Статья, присланная Юбилейной Комиссией Московского Землячества.

от Храма. Храм осквернен и мертв. И об этом скажут: настанет день.

Русское просвещение — под крестом. И там, в бедной России нашей, катакомбной, светится Свет Христов где-нибудь в тайниках, под страхом; не может не светиться: Свет истребить нельзя. И здесь, на чужой земле, в русском рассеянии, светится *русский* Свет, бережно пронесенный в бурях, как Свет от Света. И просвещение это, русское просвещение на чужбине, — воистину крест тяжелый.

Надо его нести. Во имя будущего России. Во имя священного завета — «Свет Христов просвещает всех». Во имя славного прошлого, во славу будущего, славнейшего. Во имя жизни, достойной жизни в других народах — нашей бессмертной родины, которая воскреснет преображенной Светом. Темной, грязной, дикой, нищей, страшной теперь России, забывшей имя свое, единственно, только Свет, великое просветление, может вернуть угасшее — лик достойный. Это мы знаем все. И крест российского просвещения все мы должны нести — и донести. Распятый на кресте наш *Свет* — русское просвещение. Это — сказочная вода «живая».

Этот тяжелый крест выпал на долю молодежи нашей, в ряде других крестов. Помните: в ряде других крестов! Не слово это — «кресты»: совесть нам это скажет. Не место уже словам, давно все сказано. Надо *понять, и — внять.*

Новое поколение — мы, другие. Россия все продолжается и будет продолжаться. Не может не быть России, мы это знаем. Мы это чувствуем. России не быть не может: мы так хотим, и не хотеть не можем. Россия будет — страданием поколений, крестами поколений, *будет!* Разве не слышим голоса внутри нас? Разве все прошлое, кровь и муки, давние и *теперь*, тысячи тысяч мертвых, замученных, наших родных и близких, миллионы терзаемых доныне, — разве они — напрасны? разве они — пустое? Где же цветы могил? где самые могилы даже?.. Мы связаны порукой, страшной: найти, воссоздать Россию. Мы — наша молодежь. Ей мы вручаем *наше*. Ее готовим. Она — дойдет. С крестом под крестом, дойдет.

Воистину, крест тяжелый. Русское просвещение — на кресте. Русское просвещение воскреснет. Молодежь идет в муках. Дайте же помощи нести крест! Молодежь гибнет, теряя силы. Делит и дни и ночи в работе и ученье, — и падает. Помогите же, поддержите. России помогите! Вспомните славу русскую — рассадник нашего просвещения, побитый. Мы воскре-

сим его, все мы, вместе, если только проникнемся, что нам делать. Давать и давать, идти с молодежью нашей, с крепкой духом молодежью, — и мы дойдем. В юных н а ш и х дойдем, найдем Россию. Не мы, так они найдут: мы — они.

В славную память Дома Мученицы Святой Татианы — нашего просвещения, Центральный, Парижский, Комитет по обеспечению высшего образования русским юношам за границей — для России! — руководимый неустанно стучащимся во все двери, и русские и чужие, М. М. Федоровым, и Московское Землячество, в Париже, возглавляемое почетнейшим москвичом — питомцем Первого нашего Университета, М. С. Зерновым, обращаются к вам, российские люди за границей, с горячей просьбой: помогите же молодежи донести Свет в Россию, облегчите ее от ноши непосильной, спасите гибнущих в подвиге: помогите все, жертвами, сколько кому по силе, по совести и воле, собрать прочный стипендиальный фонд.

Много нужно на это дело. Но только вспомнить, что наши жертвы не потеряются никогда! Только вспомнить, что собранный нами капитал — вечный из вечных вкладов — российское просвещение, Свет Христов!.. С жертвой из франков наших свершится чудо преображения — в Свет сольются, и в Свете растает тьма.

(Россия и славянство. 1929. 16 нояб. № 51. С. 2;
Возрождение. 1929. 23 нояб. № 1635. С. 2)

УДАР В ДУШУ

Слово, сказанное на собрании 16 ноября в Париже, в день поминовения павших в борьбе с большевиками.

Среди жертв большевистского погрома есть жертва, значение которой не всеми, может быть, постигается с должною полнотой и ясностью: эта жертва — литература наша, художественное слово русское. Иные скажут: пролито сколько крови, какой разгром... что перед этим — слово! Невелика потеря, еще запишут. Плакать о зеркальце, когда все — в пожаре...

Но так ли это?

Художественная литература это — духовная ткань жизни, душа народа, выражение его душевных устремлений, великая движущая сила; без этой силы, как и без веры в Высшее, народ обращается в скотов. Помните древнее надписание на Храме «гноти за автон» — «познай себя»? Оно — выражение искусства, сущность его глубин. Через него, путями, свойственными ему, человечество входит в Храм, близится к Божеству. Подлинное искусство слова, художественная литература — утопление духовной жажды, путь из пустыни мрачной, где человек влачится. Слово, путями о-бразов, раскрывает мир, человека, показывает человеку — Божество. Слово — возносит человека на высоты, ближе к Богу. Литература всякого народа — его правды, его стремления и идеалы; его, скажу я, судьбы. Нет народа без литературы, как нет народа без Божества.

В религии — две вечных, борющихся силы: Бог и Дьявол. То же и в искусстве Слова: добро и зло, высоты и преисподняя, свет — тьма. Истинное искусство — свет всегда. Истинное искусство — Божие искусство. Оно возводит человека на вы-

соты, к совершенству, живит и манит к идеалу. Истинное искусство — вдохновенно, «божественный глагол», тоска земли по небу, «тихая песня» ангела, — помните Лермонтова «По небу полуночи Ангел летел»? Истинное искусство глубинно-религиозно.

Вспомните слово Достоевского о Пушкине, вспомните пушкинского «Пророка», — снеговую вершину Пушкина!

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Искусство это — шественный серафим; оно — целитель духовной, томящей жажды. Но какое?.. «Божественный глагол», глас Божий, — вот какое.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Светлое, Божеское искусство. Ему, вдохновенному, открыто все: «и неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Через познание, через раскрытие ч е л о в е к а и мира, — к Божьему, как к беспредельному совершенству, — вот что такое истинное, вдохновенное искусство. Язык его — правда, П р а в д а, пламенная правда, как «уголь, пылающий огнем». Без вдохновенного искусства слова-образа — погиб человек, пропали его полеты — взлеты к идеалу: в самодовольнейшего скота обратится он.

Величайшие наши — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой... — жрецы этого высокого искусства, трепетно вдохновенные. Достоевский спускался и нас уводил в низины в тьму человеческого духа и естества, дабы познать сокровенное и потрясти, и умудренных и потрясенных, вывести на высоты, к свету, на пути Божьи. Высокое, вдохновенное искусство слова — уже пророчество.

И вот, разрушая все, следуя своей дьявольской природе, большевизм не мог, конечно, не нанести «удара в душу» — в светлое искусство слова, в «Божественный глагол». И он нанес его, как дьяволу посильно.

В России вдохновенное слово замерло. Оно может звучать в душе, «Божественный глагол» может коснуться слуха тон-

кого, душа может и встрепенуться... но никто не услышит и не обретет радости, призыва к жизни, чистой и достойной... никто, по слову нашего поэта, не повторит:

И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!

В России вдохновенное слово в цепях, в запрете. В России — душа молчит. Лишаемый Церкви всячески, русский народ лишен и вдохновенного слова, вольного слова-творчества. У него отняты водители его духа, его писатели истинные. Вырваны близкие возможности их иметь. Вдумайтесь, какая потеря для России — на годы, годы. Преемственность уничтожена. В сотнях тысяч погибших из образованнейшего класса — несомненно, погибли ценнейшие единицы, возможные будущие вожди духовные, возможные славные творцы Словом. Скажут: велика Россия, сто пятьдесят миллионов, — еще будут! Да, будут. Может быть, через столетие будут. Вспомните: надо было пройти столетию от Петра, чтобы Россия обрела Пушкина! Будут, когда опять образуется плодоносный слой, высокой культурной одаренности. Преемственность смыта кровью. Да, с народных толщ, доведенных до одичания, только путем долголетнего просвещения, могут подняться великаны Слова-Духа. Вспомните знаменитого Павлова — о наследственности навыков, о преемственности свойств через поколения... Какие теперь там навыки и свойства?..

Мало того. Истребив духовные силы нации, закрыв, где можно, выходы художественному глаголу, большевики открыли выход другому искусству слова — темному, низменному, дьяволову. Их искусство — будит в человеке низшее: похоть, злобу, ненависть к человеку, издевку над духом человека. Разрушив Храм, они открыли кабак, публичный дом, подвал в литературе, — дозволили и поощряют. Т а м такого искусства много. Оно не поет, оно — орет. Оно не Божье, не от шестикрылого серафима, не глаголом жжет сердца людей, а сжигает дьяволовым огнем последнее человеческое, что еще уцелело в людях. Там, за редкими исключениями чутких писателей, с сомкнутыми устами, с стесненным сердцем, — расцвела похабщина, развеселое зубоскальство — смех, изредка, смех сквозь слезы, у чутких. Такое искусство там, что даже читатель массовый, как будто чутья лишенный, и тот начинает возмущаться. Ему начинает претит, и он спасает душу свою, отыскивая в разгроме творчество прежних поколений. Но

молодежь отравлена прививкой этого искусства грязи и плоти-похоти и отпечаток сего — на жизни. Такому, мутному, грязному искусству пути широко открыты. Слово взято на службу к Дьяволу, сила, слову присущая, творит зло: испепеляет душу.

Великая это сила — Слово! Утрата его — великая утрата: ее глубины непостигаемы до конца.

А теперь вспомним: расстрелянного поэта, благородного Гумилева; погибшего преждевременно от противоречий в себе и потрясений, и от цинги, — Александра Блока; талантливого журналиста и борца Виктора Севского, расстрелянного; замолкнувшего от потрясений и цепей, скончавшегося в немоте, Федора Сологуба; истерзанного сердцем за Россию Леонида Андреева; молодого поэта и героя Канегиссера и иных, покончивших с собою, не вынесших паскудства жизни, когда-то певших гимны большевизму и вдруг понявших... — поэт Есенин, писатель Соболь... и многих, неоткрывшихся... Помянем их в молчанье.

Но... неугасимо-вечен Свет Господень, Божественный глагол — незаглушим. Томление духа — властно. Россия ждет... уловит чутким слухом божественный глагол и... «встрепенется, как пробудившийся орел».

<В изложении:
Борьба за Россию. 1929. 1 дек. № 154/155. Первое приложение. С. 17–18>

ЛЕД – ТРЕСНУЛ?..

Это случилось больше полвека тому назад, в первые дни войны за освобождение славян. Мне не было полных четырех лет, но я до сих пор помню, — так поразило э т о младенческую душу. И теперь вижу-осязаю, словно о н о все еще топчется на дворе — страшное, голое, мычащее, — и весь сбежавшийся люд охает и вздыхает, и всем, как и мне, страшно.

Я гулял с няней в садике. Помнится, было солнце, и день был, должно быть, праздничный, — звонили бойко колокола. Может быть, даже была Пасха. И вдруг зашумели на дворе, и стало много людей, все побежали с улицы к нам во двор, и что-то испуганно кричали, смотря к сараю. Няня взяла меня на руки и побежала тоже. Она подняла меня очень высоко, чтобы и я мог видеть, и стала кричать и плакать:

«Ах-ты, какие страсти-то, Го-споди!.. Гляди-ка, гляди-ка... и языки им повырывали... нехристи окаянные!..»

На ступеньках к амбару, прижатые народом к бревнам, стояли какие-то страшные чужие люди, с черными курчавыми головами, как арапы. Они были все рваные, с черными голыми грудями, и на их черных лицах, как будто обожжённых, сверкали страшные белки глаз. Один из них, высокий, тощий старик, с замотанной головой, словно она у него болела, крестился на нас и кланялся, и мычал, — и все стали креститься на него. Няня взяла мою руку и стала меня крестить ею и приговаривать:

«Крестись-молись... ишь, страшные-то какие, Го-с-поди!..»

Мне почему-то показалось, что это пришли святые, с икон из церкви, — и стало очень страшно. Старик начал мычать и лаять. От страха я замотал ногами, а няня начала меня тормошить и шлепать:

«Да сиди ты смирно... смотри, страшные дяденьки какие... Го-споди!..»

Вдруг старик вытянул к нам руку, сдвинул с нее лохмотья, и я увидал на ней черную и красную щель, а в этой щели что-то белое... — и я вдруг понял, что это «живая кость»! Так и вскрикнула мне над ухом няня:

«Ма-тушки... живая кость... косточку видать... Го-споди!..»

Я и теперь ее вижу — белое, в черной и красной щели. У меня зазвенело во всем теле, я начал кричать и биться, а няня и не думала уходить. Старик тыкал пальцем в эту «живую кость» и мычал, и выл... Потом стал тыкать в рот стоявшему возле него курчавому и такому же обгорелому, только молодому, который разевал рот и тоже мычал и лаял. И я увидел, что у него во рту, в самом горле, дрожит что-то необыкновенно страшное, какой-то черный кусочек, вместо красного языка. Я уткнулся в нянино плечо, а она сказала:

«Не бойся, крестись... православные это, мученики, святые...»

Я выглянул опять на святых и увидел темное лицо, с красными ямами вместо глаз. Это была женщина с ребенком, с голым плечом, с распущенными черными косами... Все стали класть старику в шапку деньги. Так и сыпались медяки в нее. Няня спустила меня на землю, достала из-за чулка платочек и выкатала из него гривенничек.

«Подадим, пойдем, и мы мученикам-християнам...» — сказала она, но я топотал от страху и не давался ей на руки.

Тут я очутился на руках у нашего плотника, и он стал мне что-то рассказывать про страшных, а няня пошла к ним и все крестилась.

Это был первый ужас, незабываемый ужас в моей жизни. О н и мне снились и представлялись долго.

Потом я узнал, что наш царь начал воевать с турками — за н и х, чтобы их больше не мучили. Помню, в доме у нас, на столах и окнах, лежали мягкие вороха «корпии» — ниточек, которые мы выщипывали из белых тряпочек; это для перевязки ран. Помню служившего у нас в банях высокого, худощавого мужика, уже немолодого, с серебряной серьгой в ухе, которого все у нас называли — Солдат. Он пошел на войну добровольцем, — «за христиан», «за братьев-славян». Он воротился, такой же бодрый с крестом на груди, и привез нам турецкую саблю, фесочки и кожаные туфли, от которых пахло «настоящими турками». По случаю победы у нас был парадный обед. На столе стояла сахарная башня, похожая на крепость, и в ней горели свечки, а в середине был портрет какого-то

генерала с баками, — может быть, самого царя. Солдат, с царапиной на щеке и с крестиком на груди, сидел на почетном месте, рядом с отцом, и все говорил — «премного благодарю!» И все его гладили по плечу и говорили, что — «это тебя благодарить надо!».

Подросши, я все узнал.

* * *

И вот теперь. оглядываясь за полстолетие, я понимаю, что такое — ж и в а я, ч е л о в е ч е с к а я, душа. Понимаю крестившегося Солдата, уходившего по своей воле на войну. Понимаю и слезы провожавших. «За святое дело идет!». «За п р а в д у идет!». «За веру православную, за б р а т ь е в!». Понимаю вздохи людей, простых людей, смотревших на братьев-мучеников, вырвавшихся из рук мучителей... Понимаю, почему жалели и давали свои последние копейки. Понимаю, как возмущались «нехристями». За веру Христову мученики — вот кто были эти «братья», зашедшие к нам на двор. Даже мне, четырехлетнему младенцу, передался тогда — бессознательно, но как мучительно ярко! — весь тот ужас. Простые люди — плотники, возчики, маляры, рабочие, неграмотные, — пожалели, сумели понять и пожалеть! Из них не один наш Солдат пошел «за святое дело».

И вот теперь, когда я в с е понимаю, я смотрю на мир, — и во мне боль и ужас. Я смотрю на мир и, озираясь, ищу, ищу тех, кто были в моем детстве, — людей с ж и в о ю душой, л ю д е й воистину, у которых, при всей их неграмотности, при всей их наружной грубости, было такое сердце, была живая совесть, было понятие «святого дела». Смотрю я теперь на мир — и, Господи, как все пусто, мертво и безразлично кругом.

Не наш старенький двор — мой мир — с сарайчиками и амбарчиками, не грязный наш двор я вижу. Вижу я целый мир, такой утонченный, в с е знающий, такой образованный, такой всемогущий мир! — гремящий и силой, и богатством, во всеоружии техники несметной. Какая сила!.. Кажется — слово одно скажи, пальцем пошевельни — и все, даже и невозможное, свершится.

И верно: совершается... н е в о з м о ж н о е!

Эта всемирная сила уже двенадцать лет з н а е т и до всех мелочей ведь знает! — в с е, что творится безумного и бесчеловечного, подлого, страшного, самого отвратительнейшего, что только может твориться на сей земле... творится с огром-

нейшей страной, с христиански-братской страной, с народом в сто пятьдесят миллионов л ю д е й, от стариков до грудных младенцев, — в с е знает... Знает, как и сколько убито и замучено, на глазах всего мира и русских, и не русских, и православных, и инославных, и христиан, и нехристиан... видит, что убийство и истребление людей продолжается и по сей день, без останову... знает, что творится хотя бы в Соловках... — об этом и книги писаны, и вырвавшиеся из ада — не только русские, которым можно, пожалуй, и не верить, а и иностранцы, — кричали во всеуслышание, — знает, что уже двенадцать лет совершается самое издевательское гонение христианской веры и всех вер красными палачами-коммунистами... знает, что эта дьявольская сила несет и ужас, и смерть, и духовную заразу на целый мир... знает, сколько уже принесено этой силой вреда и заразы миру... знает, что надо обороняться от этой смерти-чумы... — и ни движения, ни вздоха!.. Знает и видит жертвы, рассеянные по всему свету... в с е ведь знает! И до сего дня п р и з н а е т эту дьяволову силу за силу — страшно сказать! — правомерную... принимает ее, как равную себе, договаривается с ней, получает от нее, или надеется получить, вы-го-ды... пьет с нею из одной чаши, сидит за одним столом, обменивается рукопожатиями и приветами... — и все это, т. е., все это свое поведение, называет и покрывает каким-то словно уже магическим — и страшным для здоровых душою и совестью людей! — словом: п о л и т и к а! Миллионы погибших и умученных, миллионы мучимых и гибнущих и по сей день л ю д е й — все потонуло, все закрылось этим всемогущим, пропитанным кровью словом — п о л и т и к а! Все утонуло в нем: и Бог, и вера, и честь, и совесть, и исторические заветы, и понятие долга, и чувства человеческие: любовь, братство, права человека, стыд, приличия, благородство, гордость, благодарность, культурность... — все потонуло, все разлагается и гибнет в этом мертвящем человека слове-деле — политика! Да, в вы-годе, в этой мелочности, в этой подлой, столь недостойной величия человеческого духа выгоде утонуло, сгибло! Да что же случилось с миром?!. Что же это за наваждение?!.

Так вот для ч е г о были нужны тысячелетия страданий, подвиги гениев, свет Христова учения, водители религий, высокая духовность, достижения чудодейственной техники и несметная власть над всей природой: чтобы в с е это уперлось в глухой и подлый тупик, в с е потонуло в... вы-годе!.. Дой-

ти до высот, после стольких чудесных вех, чтобы найти... последнюю веху, желанную веху — вы-году?! чтобы свалиться в яму?!

Откидываясь за полвека, становясь малюткой-четырехлеткой, я с нашего бедного двора, из толпы трудовых людей, простых, простецких людей с ужасом и болью смотрю на эту призрачную вершину мировых достижений ч е л о в е к а, на достигнутую им цель — вы-году! И мир еще смеет именовать себя — христианским?! И мир еще может, не содрогаясь, петь великую Песнь — Христу, великое славословие — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецах благоволение»?!. Какая ложь!..

* * *

Но вот, ч т о-т о, как будто, дрогнуло... как будто, движется?.. Или это пустое движение во сне, обреченное не проснуться, — последнее шевеленье прошлого, отсвет уже погасающего Света... отзвук замирающего Гласа?.. Или — предвестия Пробуждения? Может быть, нужна была какая-то последняя капля, которая переплеснула чашу?.. Не кровь ли это бедных, мирных русских казаков и их семей, их стариков, жен, матерей, детей, ушедших в чужую землю, своей лишенных, живших мирным трудом, — и там, на чужой земле, под охраной чуждой державы, застигнутых красными палачами и истребленных так утонченно-мучительно, как и башибузукам не грезилось? истребленных с такой гнусной, с такой р а з р е ш е н н о й, попущенной, безнаказанной дерзостью, на чужой земле? Может быть, наконец, проснулась совесть, и мир начинает постигать, что ведь это же он, мир, истребил этих несчастных детей... он, цивилизованный мир, истреблял их совместно с красными палачами, двенадцать лет неустанно истреблял? Ибо мир д о з в о л я л, двадцать лет дозволял творить это, признав палачей — Державой, властью и силой правомерными! Да, это он, цивилизованный мир, мир XX века, мир христианский, он истреблял и истребляет! Он истребил и детей в Трехречье, мир-Ирод XX столетия. И еще может, еще смеет петь святую Песнь Рождества — «Христос рождается — славите»?!. До такого падения не доходил и Ирод. Это неизгладимо: это занесено в историю. Занесено кровью, детской кровью: мир потакал, мир торговал, мир дозволил... за выгоду. Не эта ли детская кровь переплеснула чашу?..

Вот уже начинается движение. Первой начала Англия. Это — важно. Англия не умеет останавливаться на полдороге. Еще — Америка. Достойнейшая, она не признала палачей. — Она — может, она в с е может. Дай, Господи. Комитеты защиты христианства, собрания, митинги... Дай, Господи. Да неужели же этот черный проклятый лед, этот позорный лед, сковавший теплое человеческое сердце, ж и в о е сердце, — все еще не убил его?! Дай, Господи. Неужели он трескается, неужели — треснул?! Он должен треснуть и обнажить теплое человеческое сердце: иначе — верная смерть человечеству, его движению; иначе — яма! Ибо там, где все заполнила выгода, там — н е л ю д и, а торгаши, там базар. Там в с е продается и покупается, до души продажной. Там уже не мир Божий, а разгульная ярмарка, где одно и одно — «купи — продай».

Слышно живое слово, слышатся голоса из Храма. Может быть, сотворится чудо, и властный Голос сдержит торгующих и изгонит торг душами, торг человеческой кровью?!

То, что зачинается в Англии, с благословения Церкви, важно не столько для нас, кого мир не слышит уже двенадцать лет: оно важно для целого, оглушенного криком базара — мира. Это — Пасха нетления, миру спасение. Да не умолкнет Голос! Пусть очнутся живые души, сольют свои голоса! Да оправдается человечество! Только тогда может оно воскликнуть:

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение!»

Декабрь, 1929 г.
Севр
(Россия и славянство. 1929. 21 дек. № 56. С. 1)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ А. СЕДЫХ «ПИСАТЕЛИ О СВОИХ КНИГАХ»>

Мне предложено «искушение» — сказать самому о своей книге. Постараюсь обойти это искушение. Почему? Да потому, что самому о себе говорить трудно и соблазнительно. Во-вторых — потому, что и для читателей полезнее, когда ему не разъясняет автор, что он хотел выразить в книге и, почему написал ее: пусть сам читатель, если он писателем интересуется, примет на сердце книгу. В-третьих... о моей книге, точнее — обо мне, — недавно в «Сегодня» писал Петр Пильский, «первый из читателей», ибо подлинный критик всегда есть самый первый и самый чуткий из читателей. А он сказал о «Въезде в Париж», как и обо мне — авторе, так, как будто и я, и он, вместе мы, пережили и написали. Чуткий критик помогает читателю, раскрывает перед читателем духовную ткань произведения; а если произведение — подлинное искусство, то одновременно раскрывается и душевная и духовная ткань писателя. Тут слово авторское «о себе» совершенно лишне. Писал и другой критик, М. Гофман, в «Руле», и тоже дал читателю четкие указания «подхода к книге», и я ему глубоко признателен за это. Серьезные критики, художники сами, — всегда незаменимые и истинные друзья — помощники для читателей и авторов.

О «себе» же скажу разве одно только, — оно и будет о книге, вернее — о книгах. Всякое подлинное творчество рождается от духа, от духовного и душевного нутра писателя: от вдохновения в пушкинском смысле, а не от «необузданного поползновенья». Чем полон духовный и душевный мир писателя, чем он переполнен, что необходимо изливается в книгу, в творчество — в то русло, которое дает духу писательскому исход и облегченье. Вот почему творчество, всякое истинное творчество, непреоборимо и непресекаемо. Пока в человеке жив дух, пока душа его будет способна наполняться, — творчество не

умрет, ибо всякому наполнению есть предел, и должен быть исход — для переполненного духа. Исход, облегчение для писателя есть одновременно «приход», насыщение и... — позволю себе так выразиться — как бы нагружение души читателей. Чем? Своим, ему присущим: заражает собой читателя. Чем, собственно? «Вдохновеньем», — радостью и мукой, прежде всего; своим миропониманием, мироощущением: красотой и безобразием мира — жизни; добром и злом его; отбором из всего, из всего. Особенно ярко проявляется это в годы обильные, как наше время. Надо еще удивляться, что в современной литературе мира так мало «вдохновенного», порожденного нашим потрясающим временем, — не о России говорю только. Кажется, после великой войны, после великих бурь общественных, в период ломок и перестроек и неустройств в духовных навыках человечества — а о нашем и говорить нечего! — должно бы быть такое переполнение души, такое страшное ее перенасыщение, что «художественное излияние» путем творчества должно бы подарить миру огромное и ценное богатство. Однако, этого пока не видно. Может быть, «не назрело»? Или — усыхает сосуд воспринимающий? Не дай Бог.

Я пишу, я говорю — о родном. Говорю — ибо не могу не говорить. Отсюда мои книги. Отсюда и последняя пока — «Въезд в Париж».

(Сегодня. 1930. 1 янв. № 1. С. 4)

У ДЬЯВОЛА НА ПИРУ

— А какая она, правда?
— А круглая. Как хошь верти— все одна, куда хошь кати, все одна.
Разговор в народе

Круглая правда выкатилась на свет Божий, такая круглая, такая простая, ясная, что и слепой, если не увидит, так все же поймет, на ощупь. Правда эта была — «все одна», как ее ни вертели, как ни катали и ни закатывали в пестрые лоскутки, как ни закрашивали, как ни глушили ее рокотом громких слов. Выкатилась-таки круглю и жестко, шаром. Правда, сущая правда «народной воли».

На погосте былой России, в СССР, отпраздновали — под подвальный салют убийц — пятидесятилетний юбилей рождения «Народной Воли» — той партии террора, которая убила бомбой Императора Александра Николаевича, 1 марта 1881 года, — убила Царя-Освободителя, воистину освободителя русского народа и освободителя Славянства.

Так пристало большевикам вспомнить своих предшественников, торивших для них дорожку, — отблагодарить посильно: кровью одною мазаны. Там, в прошлом юбиляра, сотни трофеев террора, трофеев «из-под полы», и между ними — истерзанный бомбой труп Царя-Освободителя; здесь у большевиков — миллионы трупов, из всех русских сословий и родов, и в подавляющей массе, *крестьянских* трупов! — и между ними, как венец завершения убийств, истерзанные трупы всей царской семьи, родителей и детей, и слуг их... — трофеи открытой бойни, продолжающейся двенадцать лет и поныне еще не завершенной.

Большевикам пристало отпраздновать и почтить. Но как же... идеалистам и героям... — а они, юбиляры, русским обра-

зованнейшим обществом всегда почитались за таковых, а иными и по сей день почитаются, — как же «идеалистам и героям» пристало оказаться на этом пиру у дьявола? И не только оказаться, а и сказать такое, что... вся круглая правда и выкатилась на свет Божий! Выкатилась, — и сплошь залитыми кровью всего народа, мученической кровью всего трудового люда русского, во имя которого и шли на террор, оказались эти прославленные «идеалисты» и «герои». Не силой привлекли их на пир у дьявола, а пришли они сами и вспомянули радостно «геройство-идеализм», при звуках подвального салюта, и были безмерно счастливы, «что дожили до такого дня»!

Да кто же это пришел на пир, и до *какого* дня дожили?!

Пришел старый народоволец, герой-шлиссельбуржец — и писатель еще! — Н. А. Морозов, считавшийся русским передовым обществом за героя и страдальца, за человека не от мира сего, своего рода святым в революционерах, с мистическим уклоном духа, изыскателем и вскрывателем сокровенных тайн Апокалипсиса, — тот Н. А. Морозов, который писал когда-то в «воспоминаниях»: «не народу надо учиться у нас, а нам у него», «Власы» спасут себя и нас... А?! «Власы», некрасовские Власы... те «Власы», которые уходили от дьявола и шли по Руси собирать на церковь Божию, которые жизнь свою отдали Богу до конца. И вот, этот самый Морозов, этот народолюб, это Власо-люб, — стоя на краю могилы, приплелся-таки на пир у дьявола и заявил, глубоко взволнованный, хозяевам дьяволова праздника: «Я глубоко счастлив. Я счастлив, что дожил до этого дня. Вы закончили дело, начатое нами». И круглая правда выкатилась: счастлив, что «дело завершено». Какое дело, Морозов прекрасно знает. Не может же не знать, что убийство Царя-Освободителя, самое громкое дело их, нынешних юбиляров, убийство Царя-Освободителя, давшего народу волю и землю, ныне завершено хозяевами пира убийством *всей* Царской Семьи, убийством и пытками всего стапятидесятимиллионного русского народа и полной кабалой, полнейшим закрепощением на отнятой у народа земле, такой кабалой, перед которой древнейшие виды рабства отступают, ибо в этой дьявольской кабале все человеческое отнято и стерто, и миллионы народа обречены на медленное умирание голодной смертью. «Начатое дело — завершено». Вот она, какая правда выкатилась — невольно? — из «взволнованных» слов Морозова.

Была на пиру и В. Н. Фигнер. Очаровательная, *святая*, — тоже святая, — Фигнер. Какое прекрасное лицо, глаза какие! Иные называли ее — мадонной. Прочтите ее «воспоминания». Какой идеализм, какая строгость к себе, какая чуткость к чужой боли! Сама чистота. Героиня-идеалистка. Кто не был ею очарован? И она пришла на пир к дьяволу. Пришла, и круглая правда выкатилась опять. Пришла и она праздновать «завершение». Пришла *зная все*. Пришла — и плюнула на свое «святое». Пришла, ибо не могла не прийти к... товарищам. Пришла, и этим своим приходом заявила: мы одним... одной кровью мазаны: царско-народной кровью. Она должна бы сказать: «мы купаемся в одной крови».

Да, выкатилась круглая правда, и все ее увидят. Выкатилась на пиру дьявола, быть может, даже случайно выкатилась, из... «молодости седин» (выражение Пушкина), выкатилась, быть может, — и страшным светом вдруг осветила прошлое. И видишь на пиру всех: и подлинно неприкрытых хищников, и «сантиментальных тигров», — тоже словечко Пушкина.

Попировали и вспоминали былое...

Былое? «Идеализм» свой вспоминали, «геройство». И устанавливали «родство». Да как же не родство? А вот:

«Наше национальное чувство облюбовывало в России один элемент — трудовую народную стихию, от которой надо было отшелушить или даже отсечь облепившие ее социальные наросты. Духовенство, купечество, двор, военщина, чиновничество, — все это, как короста, как чужеядные растения, отталкивалось нашим сознанием, не входило в состав «родины». (Зап. соц.-рев. Чернова).

Отшелушили. Отсекли. И теперь — можно праздновать. Не только отшелушили «чужеядное», а и весь народ разгромили родственнички. И юбиляры «очень счастливы».

«Нужно, как в Македонии! По всей России разгорится пожар, и будет у нас своя «Македония». Крестьянин возьмется за бомбы, и тогда — революция!» (Слова Каляева, по Савинкову).

Сожгли Россию и с ней — крестьянина. И теперь — можно попраздновать и помянуть.

«Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире несравнимо!»

Слова убийцы Плеве, Сазонова, после взрыва.

Вспомнили и это, празднуя. И испытали «нравственное удовлетворение», с которым ничто в мире несравнимо. Вспомнили, может быть, и это... философское изречение:

«Боевая организация всегда умела давать должные ответы на запросы жизни!» (Письмо Сазонова).

И как же было не вспомнить чудесного «Гроньяра» — Н. К. Михайловского!

«Вами я любовался, — писал он в «Народной Воле», — борцы этого периода местами и временами поднимали нашу жизнь чуть не до уровня первых христиан». «Из этого периода я запасся святыми воспоминаниями на всю свою жизнь».

Вспомнили на пиру и «все святое», завершенное ныне так успешно. Вспомнили заповедь Михайловского — «боль за боль» и пили заздравный кубок, под подвальный салют чекистов? Почтенные, старые идеалисты. И неужели никто из них не почувствовал, — если не увидел — *правды?* Не заметил, что кровь своего *народа* выпил, заздравным кубком?

Правда выкатилась, и ее не скроешь. Выкатилась в народ, и не обманешь его теперь. Не подойдешь, не шепнешь как бывало: «Засел дворянин — белоручка на престол, надел корону, помазал его поп по лбу накрест, раз, два — и готово! Заставил бы я его у меня поработать — узнал бы, как свои законы подмахивать!» (из революц. матер.). Теперь хорошо знают, кто и как засел на престол, и как законы подмахивают, и как весь народ «махнули»!

Знает народ *всю правду*. Знает и откровенных хищников, и «сантиментальных тигров». Пусть же хорошенько *все* познает и во всем разберется поколение молодое, новое. Подумает над «правдой». А народ... — он ее всегда чувствовал. Но был обманут. Теперь он скручен, закован, ведом на бойню. Если бы *все* узнал! Если бы заглянул на «пир», послушал тосты! Если бы оглянулся в прошлое...

История перевернется. Народ ждет Освободителя. Дождется. И новое поколение уже не будет слепым: правда выкатилась — во всем. Вольные и невольные маски падают...

Народ — чуток. Правду, ясную нам теперь, он чуял. И я, семилетка, чуял ее по-своему... Вот, из воспоминаний.

...Сегодня во всем доме ходит жуткий, неопределенный страх. За чаем не говорили ни слова, часто подходили к окнам и смотрели на улицу. Вызывали кучера Антипушку, спрашивали:

— Ну, как... ничего?

— Да, вить, как сказать... опасаются. Дворников в часть скликали.

— Ворота запереть!

Все вздыхают, боятся из дому выйти. Дворник с бляхой стоит у ворот и сторожит. Что же это все значит? Наша няня поминутно вытаскивает из кармана тряпочку и вытирает глаза. Я спрашиваю ее.

— Царь-батюшка преставился, царство небесное. Без него всем погибель.

Домна плачет и причитает. В меня проникает ужас. Что теперь будет без царя? Всем нам грозит беда. Оттого-то все шепчутся и ждут. А вдруг придут «враги» и всех нас... перережут? «Царствуй на страх врагам!» Какой же теперь врагам страх? Царь умер.

— А могут *они* прийти? — спрашиваю я Домну.

Она не отвечает, плачет. Я слышу, как по городу плавает звон, печальный, постный, будто плачут колокола, как Домнушка. Кучер Антипушка возится в сарае. Моет пролетку. Я взбираюсь на козла, гляжу на сумрачного Антипушку, на его волосатые руки, и спрашиваю: правда ли, что царь умер.

— Помер, царство небесное... — вздыхает Антип, — убили вчерась в Питере.

— Как — убили? — вскакиваю я на козлах, — врешь ты... его нельзя убить, он царь.

— Не ори, глупый... — говорит Антипушка пугливо и почему-то глядит во двор. — О н и убили, проклятые... мигилисты!

Я не понимаю, но мне еще страшнее, что я не понимаю.

— А где о н и?..

— Где... везде!

— А... теперь нас будут... резать?..

— А ты почем знаешь? Теперь в с е будет...

У меня покалывает в волосах. Значит, верно... значит?..

— О н и теперь та-а-кую резку зачать могут... — Он вздыхает и смотрит на волосатые свои руки в жилах. — Ну, да уж... все пойдем! Сказывают вон, землю отнять грозятся, и всех господ порезать. А нас, гады, голыми руками и м взять, известно... Будет та-кой обман!.. Как же нам без головы-то?

Я не знаю и х, но и я готов идти со всеми.

— Я шкворень возьму... можно, Антипушка? — шепчу я, чувствуя дрожь в животе и слезы в носу и горле.

— Я буду шкворнем?.. А ты что возьмешь?

Антипушка показывает кулак.

— Вот. А то оглоблей.

— А о н и придут?

— Кто знает. Ежели успеют присягу поцеловать — может, и обойдется. А не успеют...

Я не понимаю. А присяга где? И что такое «присяга». И зачем ее целовать!

Дворник кричит в воротах:

— В церкву зовут, присягу целовать!

— Ну, слава Богу... — крестится Антипушка. — Итить надо в церкву. А тебе не надо... ты еще младенец. Теперь, значит, обойдется. А то бы так закрутил... беда!

А звон все плавает, не засыпает, — звон и страх.

Вот оно, далекое предчувствие далеких страхов. Сбылось Закрутили. Празднуют над кровью...

Роковая повязка упала с глаз — теперь все видно. Круглая правда — катится. Правда не может не катиться. Как хошь верти — все одна. Куда хошь кати — все одна.

Январь, 1930 г.
Севр
(Россия и славянство. 1930. 18 янв. № 60. С. 7)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О ПРУСТЕ>

1. Считаете ли Вы Пруста крупнейшим выразителем нашей эпохи?

2. Видите ли в современной жизни героев и атмосферу его эпохи?

3. Считаете ли, что особенности Прустовского мира, его метод наблюдения, его духовный опыт и стиль должны оказать решающее влияние на мировую литературу ближайшего будущего, в частности на русскую?

---

1) Пруст не может считаться крупнейшим выразителем нашей эпохи. Действие его «В поисках утраченного времени» относится к прошлому — лет 30—40 назад. Утонченно порочный «свет», изображенный им, — «мир аристократии», — разве уж так похож на современный? Возможно, конечно; но ведь это только верхний слоек, такой далекий от... «нашего века демократии». Пруст дал его заманчиво, с увлечением, смотря как бы снизу вверх, как бы порой почтительно, словно благодаря за то, что его, человека иного слоя, допустили принять участие в «сливках жизни». Описывает, как бы и смакуя? Чувствуется, что — увы! — прошло, уже недоступно наслажденье. Это — как бы «приятные воспоминания», и, как все дорогое, находят они в Прусте четкого и увлекающего изобразителя. Изнеможенный жизнью, он все еще допивает кубок, все еще «пробует»; и горечь, одновременно со сладостью, острая горечь, иногда злая горечь, проскальзывает в чертах писанья, — и потому так выпукло изображенье. Его как бы тянет к этому мирку, он все полощется в этом нечистом море, и это притягивает иных — и многих, кажется? Этим-то, думается мне, и объясняется интерес, повышенный интерес к Прусту. Люди, душа которых не требует «наполнения», могут увлечься им,

особенно в «наше демократическое время»: с одной стороны удовлетворяет потребность «протеста» — какой же прогнивший мир! — с другой стороны, немножко пощекочут нервы: — «приобщиться» к заказанному, увы! — и заманчивому такому, тонкому, полному «экзотичности» миру!

2) В известных слоях мирового общества — пороков и «фенфлеристости» и в наше время не меньше, — больше. Но, как и в эпоху Пруста, есть, пожалуй, и ценности. Для полноты изображения надо брать в с е, что, конечно, и сделают ц е л ь н ы е художники. Пруст взял так, как мог, в меру и направлении сил своих.

3) О «решающем влиянии» Пруста на литературу ближайшего будущего, в частности — на русскую литературу, нельзя никак говорить. Чем может насытить Пруст? Дух насытить, требовательный, не пустой? Увлечение Прустом я считаю случайным, модным, что ли. Или это — знамение оскудения духа? То, что дает Пруст, слишком мало для взыскательного читателя. Было же увлечение и А. Франсом. Пройдет, если не иссякла душа. У нас, русских, есть, слава Богу, насытители, и долго они не оскудеют. И Пруст пользовался их светом. Не Достоевского: слишком глубок и высок одновременно — не по духу Прусту. Слишком шершав: не по тонкому перышку его. Толстой все же ближе и доступней. Толстой оказал влияние — в приемах. Отчасти только: где Толстой режет одной чертой, Пруст выписывает и крутит. Своего все же достигает. Но вот что. Если бы знатоки и высокоценители Пруста, — я не всего его знаю, но с меня будет, — попробовали почитать нашего М. Альбова, школы Писемского и отчасти Достоевского, например, «Юбилей» или «День да ночь» — в трех, кажется, книжках, «Глафирин сон», «Конец неведомой улицы», — они, быть может, нашли бы там не менее тонкий и «пространный» — напоминает Пруста! — стиль, с длиннейшими и разработанными периодами, с мельчайшими подробностями рисунка, до тончайшего кружева, с редкостной силой изображения внешнего и внутреннего лика, — и столь же утомляющий. Но у Альбова есть п о л е т, и светлая жалость к ч е л о в е к у; есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст, какому Богу служит? Наша литература слишком сложна и избранна, чтобы опускаться до влияний... невнятности, хотя и четкой. Тут Пруст бессилен. Да и по лучшему своему он не может идти в сравнение с нашей силой. Если не изменяет память, лучшее у него 2—3 страницы в «A l'ombre des

jeunes filles en fleurs», смерть «моей бабушки». У нас есть «смерти» Андрея Болконского, Ивана Ильича, Ильюшечки... Влиять на литературу значит в е с т и ее. Для сего надо великую т р е в о г у, великое душевное богатство. Куда приведет нас Пруст? Наша дорога — столбовая, незачем уходить в аллейки для прогулок.

(Числа. 1930. № 1. С. 77—78)

ПО ПОВОДУ «МАНЕЖА»

В статьях русских газет в Париже, за последний месяц поминали мое «Слово о «Татьяне», сказанное в январе 1924 г. Вполне естественно, что сильно исказили мои слова. Верю, что исказили без умысла, но от этого мне не легче. Шутка ли, когда П. Н. Милюков сообщает своим читателям, что я «противопоставил «здание на Моховой» другому соседнему зданию, манежу, или «экзерцирхаузу», как оно тогда называлось». И дальше: «Шмелев в своей речи высказал определенное предпочтение культурной роли манежа перед ролью университета: собственно, манеж и следовало бы чествовать в таком случае последовательным «патриотам». К чему украшать себя чужими знаменами?»

Осторожнее поступило «Возрождение». Оно, ближе к истине, отмечало, что «Шмелев... напоминал однажды о роли «Манежа» — в одной стороне жизни Московского Университета». Но и «Возрождение» сделало ошибку, заметив, что «напрасно П. Н. Милюков полемизирует с И. С. Шмелевым: — оба они говорили об одном и том же, но только один говорил о факте, другой о последствиях того же самого факта».

Итак, я оказался, в споре газет, обстреленным, а читатель — введенным в заблуждение. Вышло так, что я, вспоминая о «Татьяне», духовной моей питательнице, будто бы чествовал «манеж». Это неправда, и я нахожу необходимым привести — для читателей — подлинные мои слова, в выдержках, о «манеже».

«Я лишь обще коснусь того, — говорил я в «Слове о «Татьяне», — что связано с русским просвещением, с «Татьяной» прошлого.

«Помните вы скучное, длинное-длинное, желтоватое, с мутными окнами, здание... так называемого «экзерциргауза», николаевского манежа? — той, для студентов, постоянной

гауптвахты, — и только гауптвахты! — которое так удручало глаза, ловившие только дали? Этот манеж, действительно, закрывал дали. Не манежем он был, конечно, не историческим зданием, — в деталях очень красивым, если внимательней присмотреться, — для ловивших дали: это был важный символ! И этот символ мешал... «прорывам». Он закрывал и дали, и, к с о ж а л е н и ю, русский Кремль! Смотреть не хотели из-за него, п о в е р х него!»

«Этот «манеж» мешал. Он, прямо, не пускал в дали. Да, он часто вбирал в себя, в себе удержать хотел, хотел охладить, сдержать. И не всегда был не прав. И только ли манежем он был, скучным «экзерциргаузом»? В нем бывали и народные гулянья... правда, с городовыми, — но с городовыми, пожалуй, и не всегда плохо? В нем обучалась и русская армия, та, что помогала защищать русский чудесный Кремль, яркий российский символ, и даже — дали! В нем бывали богатые выставки российского хозяйства. В нем были и чудесные архитектурные детали, и удивительно вольный свод, без единой подпорки раскатившегося пролета, чудо строительной техники, — поражавший и европейский глаз». «Правда, он останавливал разбегавшиеся по далям взгляды...»

«Я далек от того, чтобы воспевать гимн «манежу»: я только хочу сказать, что он иногда был н у ж е н».

Где же тут «предпочтение» культурной роли манежа перед ролью университета? где же тут «противопоставление» здания на Моховой другому соседнему зданию, манежу, или «экзерциргаузу»?! Далее:

«Вспомните вы университеты... Кто захватывал молодежь? Тот, кто уводил ее к д а л я м, чуждым, и неизвестным; кто иногда обрывал молодые корни, углублявшиеся в родную почву».

Далее, говорю о В. О. Ключевском:

«Да, он умел выпукло показать н а ш е, душу России нашей, и его талант, его крепкое чувство р у с с к о г о освежали молодые сердца, быть может, уже предчувствовавшие, что скоро она утратится, Россия наша. К нему бежали, его аудиторию переполняли... Но это были миги. Его принимали постольку-поскольку... Многие ли принимали в душу его неисчерпаемую до глубины речь-слово — «Преподобный Сергий Радонежский»? Многие ли вслушивались с трепетом в его пророческое предостережение? многие ли соглашались, когда сказал он о том страшном, что впереди, когда перестанут

черпать из величайшей сокровищницы духа народного, когда погаснут лампады над гробницей Угодника?»

«Многие ли профессора звали прислушиваться к дыханию России? прощать уклоны и нестроение, любовно-чутко подходить к ней в болях ее, в ее болезненных родах чудного будущего — с в о е г о, своего содержания, своей окраски? многие ли учили ценить и любить родное? много ли внимания уделялось творческой национальной мысли? не смеялись ли над опасениями «потрясений основ»? свободное ли было отношение к инакомыслящим?» «Мы знаем, что всякое особливое, что не укладывалось в приятно приемлемые пути «левизны», рассматривалось враждебно».

«И всю потрясающую сложность, все величайшее богатство ветвившейся и дробившейся русской души и русской мысли старались свести в русло, заранее признанное самым верным...»

«Мешал м а н е ж! Этот казенный манеж, этот символ насилия, который раздули до размеров стихийных!»

«Манеж, российский экзерциргауз, — частность. Мог он закрыть Россию? Не закрывал никогда, кто мог и хотел зорко и глубже видеть».

«Манеж... Надо было только умело-чутко идти к нему, обойти его, — и открывался чудесный Кремль и чудесные за ним дали. Не сумели? Хотели ч е р е з него пройти, снести этот исторический «экзерциргауз», глаза мозоливший, этот дом трудного искуса, упражнения и узды, — и прошли н а с к в о з ь — и за ним увидали... стены. И головы о них разбили, и многие полегли под ними».

Где же тут «предпочтение» манежа университету? где «противопоставление» здания на Моховой — «экзерциргаузу»? И откуда выходит, что «оба они — т. е. я и П. Н. Милюков, — говорили об одном и том же»?! Манеж у меня — как частность, но для кого-то он являлся не «частностью», а — все, в с е покрывавшим мраком. И эту искусственную раздутую значимость ныне навязывают и мне, как предмет восхваления. Я вкусил от Университета сладостного, стольким ему обязан, слишком мне дорог он, чтобы я смел огромнейшему, чудеснейшему «противопоставить» частность! И ныне приписывающего мне неблагодарность, сильного русского ученого, много и мне открывшего в культуре, П. Н. Милюкова я крепко связываю в душе с «Татьяной», какую чту.

И откуда выходит, что «оба они — т. е. я и П. Н. Милюков, — говорили об одном и том же»? Так — ошибочно

утверждать. А о «чужих знаменах»... вот что: эти «знамена», это поклонение светлой памяти «Татьяны» нашей — наше право, наш долг, не «чужие» они для нас, а — наши!

И еще — последнее замечание:

То, о чем я только что говорил, мне близко и хорошо известно. Я знал Университет, но я узнал и «манеж». Как и П. Н. Милюкову, и — «мне самому пришлось проделать хорошо знакомый студентам путь из университета в манеж и из манежа в Бутырки». «Опыт», как будто, одинаков. Почему же «итоги» разные?

Но это уже вопрос особый.

(Россия и славянство. 1930. 2 авг. № 88. С. 2)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ ОБ ОТДЫХЕ>

1. Как вы отдыхали и что вы называете отдыхом?

2. Любят ли теперь стихи?

3. Не считаете ли вы нынешнее увлечение спортом чрезмерным?

4. Кто из иностранных писателей вам ближе и почему?

---

1. Читаю, пишу. Какой же отдых у путника к цели дальней, которой конца не видно? Легкие передышки, сон. Сон только дает покой, во сне всякое горе забывается. Утро — опять дорога. Творчество — тот же сон, да не часто оно захватит. Отдых — когда работается легко, душевно. Вот и нашел как будто, оглядываясь к детству. Пишу очерки-«праздники», вспоминаю родное. Всего в нем было: и плохого было, но много было и доброго. Вот это доброе и ищу. Детские глаза, детская душа — лучше видят и помнят доброе, «лето Господне благоприятное». Под этим знаком и пойдут мои «праздники» к читателям. Так вот и отдыхаю. Чего же желать — в пути-то?

2. Всегда будут любить стихи. Хорошие стихи и песня, и молитва. Они будут рождаться вечно, если душа живая. Она и теперь живая. Дерзкое, правда, время, порой — и до бесстыдства. Но это оболочка: за ней не видно, чем же полна душа. Современное человечество движется больше внешним, но это преходяще. Новому поколению определиться трудно: война отняла отцов, оборвала преемство идей и навыков, приучила со многим не считаться, что почиталось священным, многих толкнула на распутье, — все сильно взболтано. Смутное ныне время. Стихи — и современность! Как-то несовместимо это. И все же светлая жизнь души, взыскующей и полной ликованьем, — стихи живут. Возьмите Пушкина... хотя бы его «Пророка»! Вечное откровение о *человеке*, о Глаголе.

Стихи... Любят ли их теперь? Не знаю. Я люблю. Люблю хорошие, *вечные* стихи. Они всегда откровение о человеке, молитва-песня о чутком в его душе, божественном...

3. Да, пожалуй. Помимо причин, связанных с духом времени; — резкое понижение «духовности»! — в этой чрезмерности повинна широкая рекламность. Всякие упражнения телесные есть законнейшая потребность тела, игра его, лишь бы не подавляла духа. Повышение интереса к телу и желание легкой «славы» отвлекают иных от «духа». Но это не опасно в целом. Склонных к творческому труду, в самом широком смысле, спортивная слава не заманит, а любителей спорта легче ведет к призванию — укреплять человечество физически и попусту не толкать других, у кого назначение иное. Действует, как всегда, отбор.

4. Современных я знаю мало, с правом на мировое место совсем не вижу. Из прошлого: Бальзака люблю за изобразительность человеческих страстей, Диккенса — за сострадание, Флобера — за мастерство, Гете — за глубину лиризма, Киплинга — за «рассказ».

(Сегодня. 1930. 16 сент. № 256. С. 8)

НЕДЕЛИ ДОЛГА И МИЛОСЕРДИЯ

Опять недели — о русском студенте, о туберкулезном, об инвалиде, о бесприютных детях. Такова уж жизнь наша и надо ее принять. За эти годы прочно сложился «годовой круг», подобный кругу церковному. Только праздников у нас нет, а есть лишь памятные «недели» — долга и милосердия. В круге церковном мы знаем «недели памяти»: о Фоме, о блудном сыне, о Самарянине, о слепом, о расслабленном, о Женах Мироносицах... Такие памяти есть у всякого народа, во всех религиях: это потребность духа. Эти «памяти» связаны крепко с жизнью, — как бы ее прообразы, вехи, путеводительные столбы ее. В нашей случайной жизни, такой неверной, они — «памяти» эти — так порой знаменательны для нас. Есть в нас и от Фомы, и от блудного сына... Но есть и от милосердного Самарянина, и от Жен Мироносиц. Наше здесь пребывание — великое испытание и научение. Наша здесь жизнь — соборность. Мы связаны круговой порукой и должны верно держать ее, иначе мы пыль и дробь, и ветер развеет нас. Верные чувству жизни, связываемся мы силой — любви и братства, и мы живем. В общественной нашей жизни установился необходимый особый «круг», круг неделей-памятей. Это наша общественная церковь — всеобщая, в которой нет верхних и иноверцев, а все — свои. И наши «недели-памяти» обязательны для всех нас. Отменить их — не в нашей воле: это плод самой жизни и голос совести. О долге этом все давно сказано, и мы его выполняем твердо. Выполним и теперь.

Дадим же посильно щедро *и на студентов наших, и на помощь туберкулезным.*

Эти Комитеты многое сделали для нашей учащейся и болящей молодежи, светлой надежды нашей. Поможем им делать дальше.

(Россия и славянство. 1930. 25 окт. № 100. С. 2)

П. М. ПИЛЬСКИЙ

К 30-летию литературной деятельности

19 апреля исполнилось тридцатилетие литературной деятельности Петра Моисеевича Пильского. Молодое поколение эмиграции, проживающее в пограничных с Россией странах и читающее газету «Сегодня», выходящую в Риге и широко распространенную в «Лимитрофах», хорошо знает П. М. Пильского, художественного критика и, можно сказать, «друга словесности российской», и многим ему обязано: сколько уже лет ведет он художественно-литературный отдел в большой — и не только для «лимитрофов» — европейско-русской газете «Сегодня». Работа, которую делает П. М. Пильский в своей газете, есть поистине *служба* культуре русской, былой, и — нынешней, от этой «былой» неотделимой. Современная русская словесность имеет в Пильском зоркого, чуткого и всегда своевременного ценителя и толкователя. Русская литература во дни «поминок» находит в нем историка-вспоминателя, умеющего живописно сказать о ней тем, которые ее не знают — не по своей вине, и освежить любовь к ней у тех, которые ее забыли. Повторяю: П. М. Пильский делает большое дело во имя родной литературы. И важно, и справедливо сказать о нем молодому поколению, жаждущему познания родной культуры, сказать ему слово душевного привета по случаю тридцатилетия его литературной деятельности.

П. М. Пильский начал писательский путь в 1901 г. в Москве, в газете «Курьер», где покойный Л. Н. Андреев, только что заблиставший, заведовал литературной частью. Эта газета почиталась в московском обществе и работать в ней для писателей начинающих было немалой честью: газета была влиятельной, давала в некотором роде «имя»: Л. Н. Андреев оценил даровитого начинающего писателя — а он был зоркий! — и представил читателям в ряде его рассказов и художественно-критических статей. Леонид Андреев не ошибся. Через год,

в 1902 г., Пильский появляется в видном ежемесячнике — «Мир Божий» — где были напечатаны — в одной книге — два его рассказа: «Подруги» и «У фабричной трубы». Рассказы молодого беллетриста печатаются вскоре в распространеннейшем в те годы «рублевом» журнале Миролюбова — «Журнал для всех», где выступали виднейшие писатели во главе, если не ошибаюсь, со Львом Толстым и А. П.Чеховым. Перед талантливым писателем открылась широкая дорога беллетриста. Но П. М. Пильский главное внимание отдает художественной критике — театру и литературе — и пишет ряд живых и метких литературных этюдов: Леонид Андреев, А. И. Куприн, Брюсов и др. Эти этюды впоследствии составили «Книгу критических статей». Чуткий, тонко-умело проникающий в дух и лик писателя, Пильский работает в почтенных и распространенных журналах, как «Русская мысль», «Мир Божий», а также в таких общенародных «журналах для самообразования», как «Наука и жизнь», Груздева, «Вестник знания», Битнера, и в газетах: «Русь», Суворина, и «Одесские новости». Эта работа в области художественной критики как бы подготовляла П. М. Пильского для еще более широкой и культурно еще более важной работы, о которой я уже говорил — к службе русской культуре в эмиграции, в газете «Сегодня». Будто и не громкая работа, но сколь же важная! Непрестанно, годами, следить за литературой, чутко и метко отыскивать в ней достойное и говорить о ней живописно, легко, порою страстно, порою нежно, порою — гневно. Эту ответственную работу П. М. Пильский ведет, как призванный. Эта работа — творчество. Пильский — по праву критик, художник-критик. «Он умеет схватить самое сокровенное в произведении, о котором он говорит, — то, о чем писавший совсем не ведал, но что *нашлось*. Пильский пишет, сливаясь с душою художника, стараясь понять ее. И потому никогда не сух и чаще всего благожелателен. Писатель-беллетрист, с богатым словарем и воображением, он, критикуя, порой творит. Он любит слово, знает искусство слова, владеет словом умело-метко».

В зарубежье П. М. Пильский выпустил книгу этюдов о писателях — «Затуманившийся Мир» — Брюсов, Сологуб, Семен Юткевич, Леонид Добронравов, Петр Потемкин, В. В. Розанов, Ю. И. Айхенвальд, К. Е. Баранцевич, М. К. Первухин, Аркадий Аверченко... книгу о театре — «Роман с театром», роман «Тайна и кровь», недавно вышедший во французском переводе в издательстве Albin-Michel, Paris.

Многое предстоит сделать нашему юбиляру на пользу русской словесности: открывать и показывать новому поколению, в нашем неблаговременье, чудесное в творчестве прежних поколений и помогать разбираться в словесном богатстве – творчестве современников. Он это по праву может; к этому он и шел, и влекся, и делал это в тридцатилетнем пути своем живописно, талантливо и чутко. Пожелаем ему широкого пути, достойного его литературных дарований.

(Россия и славянство. 1931. 25 апр. № 126. С. 4)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ А. СЕДЫХ «КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ ЛЕТО»>

Живу в лесном углу Франции, у океана, в Ландах. Чуть Россию напоминает — песок, сосны, лесные речки. Люди простые, добрые, смологоны, — по-здешнему, «резинье». Я для них уже «свой»: восьмой год живу здесь по полугоду, отношения — лучше и желать нечего. Говорят: «построились бы да и жили с нами!» Говорю — не на что. Плечами пожимают: знают, что я книжки пишу, кой-что здесь и читали меня, знают, что и в других странах меня читают — слыхали от «табачника», он же и книжками торгует. И странно им: ведь совсем бедные люди строятся, в рассрочку. А мне странно, как это для нью-йоркской газеты спрашивали меня недавно: «когда и на каком пароходе думаете приехать в Америку отдыхать, лекции читать?..» Чудаки.

Одиночество смягчается встречами с поселившимся здесь К. Д. Бальмонтом, влюбленным в Ланды, беседами с проф. Н. К. Кульманом, отчаянным рыболовом. От работы над Достоевским бежит профессор на океан, на речку, на лесные озера. Встретишь его таким, в широкополой шляпе, — вспомнишь Майн-Рида, Купера. Всегда с добычей, подкармливает нас рыбкой.

Пишу — заканчиваю свои очерки-«праздники», для двух книг «Лето Господне благоприятно». Помаленьку работаю и над прерванным болезнью романом, и над планом другого романа, героем которого — странно и для меня! — будет... американец! Жду скорого появления немецкого и американского изданий «Истории любовной»: не выиграю ли на какой-нибудь из этих двух билетов, чтобы построить себе хибарочку, пусть даже и в рассрочку.

Август 1931 г.
Ланды
(Иллюстрированная Россия. 1931. № 35 (328). С. 12—13)

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Полвека писательского труда А. В. Амфитеатрова

Это имя я увидал впервые полвека тому назад, на стене гимназического зала, в мраморе, золотыми буквами: «Амфитеатров, Александр». Оно начинало столбцы «окончивших Московскую 6-ю гимназию с золотой медалью»: «1880 г. — Амфитеатров, Александр...» Первоклассник, я благоговейно смотрел на золотые буквы и думал — должно быть, умный этот Амфитеатров. Мелькала несбыточная мечта попасть самому на мрамор, в позолоту, — на веки вечные. Где теперь этот мрамор и ясные золотые буквы — «на веки вечные»!..

Нам вручают аттестат зрелости. Батюшка о. Успенский желает нам успехов в Университете, на поприще наук и доброделания: «а, может, кто-нибудь из вас достигнет и высоких ступеней, прославит нашу гимназию... вот уж у нас имеется, — показывая на мраморную доску, — Амфитеатров Александр, писатель теперь... бойкое перышко!» Важный швейцар от парадного крыльца, с высоким хохлом, похожий на Александра II, знавший все, с самого начала гимназии, говаривал: «как не знать Амфитеатрова... бедовый был, первый с золотой медалью у меня кончил!» Он всегда говорил о гимназии — «у меня»: «три дирехтора у меня сменилось».

Округа наша знала и почитала о. Валентина Амфитеатрова, настоятеля Успенского собора, знаменитого проповедника, с широким образованием, знатока человеческой души. Знало его множество народа — от извозчиков до князей. Знакомый букинист, в лавочке у Румянцевского музея, первым сообщил мне, что писатель Амфитеатров — сын нашего знаменитого проповедника. Шли года, и я начинал узнавать Александра Амфитеатрова. Мне нравилась свободная его речь, *живая* речь, которую я слышал с детства.

В девятисотых годах ездил я по Владимирской губернии, попадал в глухие места, останавливался у народных учителей,

у лесничих, акцизников, податных инспекторов, у священников, у фабрикантов. Спросишь чего-нибудь почитать, и мне предлагали Вас. Ив. Немировича-Данченко, Лескова, Мамина-Сибиряка, Мельникова-Печерского, Чехова, Александра Амфитеатрова... Тогда много говорили о его «Восьмидесятниках». У лесничего, в Вязниках, задержался я лишний день, чтобы дочитать, если не ошибаюсь, «Викторию Павловну», роман Амфитеатрова. Так мне и заявил лесничий: «на руки не дам, еще завезете, а у меня запись на нее... дочитывайте-ка здесь, кстати и душу отведем, и блинков поедим!» — было дело на масленой. Попался и «очевидец», доверенный иваново-вознесенской фирмы, видавший самого писателя в Нижнем на ярмарке: «сперва-то я стеснялся, были они в большой компании, а потом так обошлось, будто со своим человеком говорили». Тогда я узнал и о внешнем виде писателя: «Нашего соборного протодьякона видели? Так они повыше еще росточком будут, и поширьше... смотреть приятно, не обидела родительница... самый-то русский человек, располагающий».

Не довелось мне встретиться с Александром Валентиновичем и по сей день, но его портреты вполне подтверждают ивановознесенца. Это великан, русак, с лицом строгим, — седые усы, казацкие, — с обширными плечами, и ладно скроен, и крепко сшит, и есть в этом великане особенная, *внутренняя*, улыбка, едва уловимая ухмылка, «располагающая», — то русское, что можем чувствовать только мы. Это «располагающее» проходит и в книгах А. В. Амфитеатрова: задушевность и простота рассказа, некая свободность речи, с шуткой и благодушием, с острой порой ухмылкой, крепко цепляющей, но без зла, отсутствие крохоборства, оглядки, чеканные слова, желание щегольнуть, отсутствие точной формы. Это — не взятый в камень прямой канал, а раздольная русская река в изменчивых мягких берегах, вольная — часто и своевольная — с затонами и рукавами, со «старицами», с причудливыми извивами, которые далеко уводят от мыслимого стержня. Этот россплеск — прихоть и своеволие в широте, свойство писательского духа Амфитеатрова, его нутро. Конечно, он знает «выучку», может и научить других: он достаточно научен всему, что относится к области искусства, но он просто не хочет «школы», он — сам по себе: пишет — дышит. Таков уж его характер, его манера бросать на широкие полотна картины нравов — «Восьмидесятники», «Вчерашние предки». Это писатель «нараспашку», широкого размаха, видевшии слиш-

ком много и переполненный виденным, которое его тревожит и торопит. Он говорит читателю: «пишу — как хочу», «таким и бери меня». Эта его «свободность» вызывает всегда доверие, расположение, приятную близость у читателя — и писатель становится *своим*. Этими свойствами А. В. Амфитеатрова объясняется близость его миллионам читателей по всей России, а ныне — Зарубежью. В Калужской губернии, где-то в лесном углу, батюшки говорили мне: «нашего круга, сынок о. Валентина Амфитеатрова... от папашеньки унаследовал талант». И в этом — большая правда: талант А. В. Амфитеатрова — наследство от ряда предков, высокая образованность, знание *слова,* знание «греха», человеческой души, русской души, вскрывание недр ее, — его романы! — бичевание нравов, борьба со злом; его публицистика, памфлеты! — всегдашнее, непрестанное горенье — во имя *человека,* его склонность к «церковному», к духовному, — сказания, исследования «греха», его истоков. У Амфитеатрова о «грехе» обильно. «Дщери человеческие», «Заря русской женщины», «Русский поп XVII века».

Так, в скитаньях, в разговорах с нелитераторами, с «Россией», я «столкнулся» с Амфитеатровым Александром, с детства знакомым мне. И я начал его читать внимательно. Он привлек меня простотой и свободой речи, тем «свободным дыханьем», которое — само искусство, которое исключает нарочитость, застегнутость, холодность. Привлек и богатым словом, не из книг только выбранным, не из вторых рук взятым, а больше — из прирожденного запаса, схваченным верно, брошенным четко — метко, тем русским словом, которым обходится наш народ, выношенным душой народа, длинною вереницей поколений. Он привлек меня изображением невыдуманной жизни, которую он видел, которую воспринял от крови предков. Я почувствовал в его книгах близкое мне по духу, но в иных преломлениях, чем знал и раньше, — быт российский, московский, губернский, уездный, купеческий, духовный, разночинный — его романы.

Язык Амфитеатрова — *живой,* с русской улицы, с ярмарки, из трактира, из гостиных рядов, из гостиных, из «подполья», из канцелярий, из консистории, из трущоб. Чисто русский, порой — сырой, — верный по месту и по звучанию в речи. Это широкое море *слова* у Амфитеатрова иногда неудержимо громоздится, заливает повествование, «уводит», ослабляет впечатление от рассказа, мешает стройности, — но всегда обогащает чем-то. Это — от широты натуры, от «полнокровия», от

переполненного чрезмерного «склада». Амфитеатровского запаса хватило бы с избытком на десяток писателей, а он *тратит* его один. Нельзя навязать писателю чуждых духу его приемов и манеры: он творит своей сущностью. У Амфитеатрова своя сущность и он не откажется от нее, он имеет свое лицо, свой бег и звучанье речи. Его ни с кем не смешаешь, — и это право на бытие, свое, завоевал он у миллионов читателей полувековой работой. Таков характер его письма, его страстной писательской натуры — писателя обличителя, проповедника, ходатая, развлекателя, усмешника без злобы, исследователя, приверженного к родному, порой — вещателя, общественника — борца с последствиями правительственной кары, судьи над нравами — «Марья Лусьева», — раскрывающего язвы жизни, историка, судящего жизнь, стремящегося понять и показать читателю — отчего же такой разгром? — «Вчерашние предки», — писателя горящего и кипящего, писателя неуемного, писателя русского. Он — от подлинной нашей литературы, спаянной крепко с жизнью, упором своим избравшей «истины добра», «во имя», литературы учительной, литературы — подвижницы, искательницы правды, творительницы жизни, литературы, столь разнствующей от европейской. С точки зрения «чистого искусства» ей часто бросают упреки — учительная! Такой уж уродилась, из *церкви* вышла, такой останется — или утратит свое лицо. И Пушкин, чистейший наш, *мера* наша, великий *искусник* наш — порою и он учителен и остро современен; и он вещатель, и проповедник, и обличитель, и судия. И Гоголь. Не говоря уже о Достоевском, Толстом...

А. В. Амфитеатров — писатель страстный и боевой, и потому столь часто уходит в «современность». Он *живет*, он пишет — дышит, и потому-то не может не учить, не каяться, не судить, не обличать, не звать, не проклинать. Не может. Он не может — только «прогуливаться», только «водить на прекрасную прогулку», для удовольствия, для переживаний. Но знаю по его письмам, как сам он любит, читатель зоркий, «отдохнуть в прогулке, на чистом воздухе». Кстати сказать: письма его — богатство, полнота живости и игры ума, «эпистолярное искусство», богатый материал для истории литературы и жизни. Он широко образован, разносторонен, жаден до *бытия:* все ему нужно — от истоков, от темных порождений — «Заря русской женщины», исследования народных «суеверий» и проч. — до страшной минуты современности, — «Стена Пла-

ча» и «Стена Нерушимая». Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф, и историк искусств и литературы, нашей и мировой, — он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуемный русский талант-характер, тратящийся порой без меры. Но эти растраты, эта «игра» — есть жертва, которую он приносит читателям, порой и в ущерб себе: Амфитеатров всегда *дает*. Вот почему читали и читают, и будут читать его миллионы, по всей широте и долготе российской.

Он много делает, чтобы помочь иностранцам — итальянцам, которых он хорошо знает, как и язык их, — узнать нашу литературу. Укрывая себя в тени, он указывает на лучшее в родной литературе, на славу нам. Многие его книги переведены и переводятся на европейские языки.

Полвека большой работы; не большой — огромной. Ему семьдесят лет, но он не отдыхает. Он тоскует, как мало его поле — тесное наше зарубежье.

Я приветствую старшего собрата, встреченного впервые «в мраморе золотом», в виде неведомом — «Амфитеатров, Александр»... — ныне, спустя полвека, знаемого вполне, — славного Александра Валентиновича Амфитеатрова.

Я шлю ему в этих кратких моих строках братские пожелания здоровья, сил. Будь Россия, эти полвека писательского труда принесли бы ему и тысячи благодарных откликов, и средства. А ныне — тихо, и теснота. Что ж... это тоже *удел*, удел многих русских писателей, их *жертва*, какая-то роковая плата от судьбы, от жизни — за пытливость, горенье и стремленье — раскрыть и понять ее, жизнь, недра ее раскрыть, — плата за «познание добра и зла». Но есть и другая, невидимая плата: движения человеческого сердца. Такая жертва и такая награда — итог трудов русского большого писателя. Александр Валентинович Амфитеатров приносит и получает их полной мерой.

(Россия и славянство. 1932. 23 июля. № 191)

СЛОВО НА ЧЕСТВОВАНИИ И. А. БУНИНА

Сегодня мы празднуем событие, не зарубежное, а как бы российского мерила: в свете его проблескивает духовное величие России. Мы отвыкли радоваться. Раз в году мы празднуем «день русской культуры», и это нас утверждает в сознании, что мы не какие-то случайные пришельцы в мире, а носители и хранители духовного русского богатства. Но сегодня мы празднуем особенно знаменательное событие: не мы себя утверждаем, а наше духовное богатство признается миром. Этим событием обязаны мы нашему славному писателю Ивану Алексеевичу Бунину.

Комитетом при Шведской Академии Наук, впервые за 33 года, отмечен признанием — русский писатель И. А. Бунин. Это творческая его победа, во славу родной литературы, во имя русское. Это признание утверждается определенным актом, и об этом оповещается мир. Событие знаменательное. Признан миром русский писатель и этим признана и русская литература, ибо Бунин — от ее духа-плоти; и этим духовно признана и Россия, подлинная Россия, бессмертно запечатленная в ее литературе. Эта «бессмертность» — не вольное обращение со словом: воистину так и есть. Лет 18 тому назад И. А. Бунин написал глубокое по мысли, прекрасное по форме стихотворение:

Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древних лет на мировом погосте
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья:
Умейте же беречь,
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Народ говорит: «все минется — одна правда останется». Письмена — вот эта **правда.** Эту нетленную Правду хранит литература наша, — хранит Россия. Россия не только **была...** она — **есть,** нетленная, **живая** — в «письменах». Все — тленно, но **«Слову жизнь дана». Слово** — звучит, живет, животворит, — слово великого искусства. Оно сильнее смерти: оно творит и воскрешает. И если бы уже не было России, — **Слово** ее создаст, духовно.

Наша великая литература, рожденная народом русским, породила нашего славного писателя, ныне нами приветствуемого, — И. А. Бунина. Он вышел из русских недр, он кровно-духовно связан с родимой землей и родимым небом, с природой русской, — с просторами, с полями, далями, с русским солнцем и вольным ветром, с снегами и бездорожьем, с курными избами и барскими усадьбами, с сухими и звонкими проселками, с солнечными дождями, с бурями, с яблочными садами, с ригами, с грозами... — со всей красотой и богатством родной земли. Все это — в нем, все это впитано им, остро и крепко **взято,** и влито в творчество — чудеснейшим инструментом, точным и мерным **словом,** — родною речью. Это **слово** вяжет его с духовными недрами народа, с родной литературой.

«Умейте же беречь...» Бунин сумел сберечь — и запечатлеть, нетленно. Вот, кто подлинно собиратели России, ее нетленного: наши писатели, и между ними — Бунин, признанный и в чужих пределах, за дар чудесный.

Через нашу литературу, рожденную Россией, через Россией рожденного Бунина, признается миром сама Россия, запечатленная в «письменах».

Давно гоголевская «птица-тройка» вынеслась за российские пределы, с чудесными колокольцами и бубенцами — величаво-великолепным звоном, с ямщиком-чудом Пушкиным, с дивными седоками — Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Тургеневым, Толстым, Лесковым, Гончаровым, Чеховым... Чуткие мира слышат этот глубокий звон... слышат и восхищаются. Но широкая мировая улица — не знала, не слыхала этого звона-пенья. Нужно было громко сказать о нем. Теперь и она услышит: русский писатель признан — и утвержден. Многие теперь услышат — «тройку». За рубеж вылетела она, — и дай же ей Бог звонить русскую славу миру!

А **там...** на родной земле...

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

Метель. И слышится... — Узнаете ли голос из метели, голос дивного ямщика?.. —

...Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи,
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Ну, что ж... «Птица-тройка» найдет дорогу... метели знакомы ей. И будут звучать русские «письмена», пока будет жива истинная душа народа. А пока «тройка», вольная «птица-тройка»... крылатая, многоликая... звонко играет — мчится в вольных просторах мира...

Вот, знаменательное событие. Вот оно, наше торжество. Воскликнем же от полноты душевной:

Нашему Ивану Алексеевичу — слава.

Великой литературе нашей — слава.

И всему народу православному — слава.

(Россия и славянство. 1933. 1 дек. № 227. С. 2)

РУССКИЙ ЛАГЕРЬ В КАПБРЕТОНЕ

Ко мне не раз обращались, а теперь, с приближением летних вакаций, особенно часто обращаются с запросами об условиях лагерной жизни русских национальных разведчиков в Капбретоне — в департ. Ланд. Эти обращения — ко мне — объясняются, очевидно, тем, что знают о моем многолетнем пребывании у океана, в Капбретоне. Отвечать подробно каждому для меня очень затруднительно, и я позволю себе ответить на запросы этой исчерпывающей заметкой о «русском лагере», при любезном содействии газеты.

Я хорошо знаю «русский лагерь» — национальных разведчиков — организацию полковника П. Н. Богдановича: знаю лет восемь, с первого его появления в капбретонских лесах, у океана. Теперь его знают тысячи французов Капбретона, Осегора, Сорса, Лабена, С. Венсэн де Тироса, Байоны и Биаррица, а у капбретонцев сложилась даже примета-поговорка: «приехал полковник Богданович, значит — сезон начался». Помню, как семь лет тому совершился «въезд в Капбретон» юной российской рати, крепкими голосами всполошившей мирную станцию лесного морского городка. Пытливо, как бы с сомнением и опаской, поглядывали капбретонцы на шумную ораву неизвестных, которые, выстроивши ряды, двинулись по зеленым улицам, под неизвестные капбретонцам звуки походной песни: «На солнце оружьем сверкая... проходил полк гусар-усачей».

Не прошло месяца и осторожность, и недоверие сменились полным признанием: русские разведчики завоевали капбретонцев. Разведчики, может быть, и не знают чувств населения, но нам, обывателям, сжившимся с городком, ясно видно, на каком счету у капбретонцев — разведчики: заговоришь о них и лица расползаются в улыбку; особенно, конечно, у торговцев.

Лагерь устроился (и по сию пору пребывает) на опушке сосновых лесов, — этих «брынских» лесов во Франции, тянущихся на сотни километров, — на дюнах океанического песка, у лесной реки, впадающей неподалеку в океан. Устроился, и разведчики, «эклерэры», стали мало-помалу своими для капбретонцев, от почтенного г. мэра, доктора Жюнка, добрякагиганта, принявшего от разведчиков знак пятилетней дружбы, шелковую нашивку, до последнего капбретонского мальчишки, довольно верно насвистывающего чужую лихую песню — «Взвейся, соколы, орлами... полно горе горевать!» Связали себя русские разведчики с Капбретоном: на их юбилейном знаке, в память пятилетней лагерной стоянки на капбретонской земле, — значится капбретонский герб: синее поле океана и на нем — желтый угол, острием вверх, старинное примитивное изображение дюн-песков. Многие жители Капбретона выражали желание получить этот русско-французский знак — знак пятилетнего «союза».

Но каковы же условия жизни «русского лагеря»?

Условия эти превосходны, лучшего и желать нельзя. Воздух — морской, степной и лесной, — все вместе: такой воздух, что первое время аппетит, прямо, бешеный, а сон свинцовый. Что за чудеса! Масло, молоко, хлеб, кофе, — к чему мы давно привыкли во Франции, получают здесь необыкновенный вкус, сладость и аромат. Это подтвердит каждый, хотя несколько дней побывавший в Капбретоне. Такого воздуха нет нигде. Быть может это самовнушение. Вы как будто слегка пьянеете, как случается иногда в горах.

Заведующий хозяйством приходит в ужас, видя перерасход на хлебе: хлебной нормы не существует, или, вернее, есть правило: сколько влезет. Организм скоро приходит в равновесие, в порядок, но порядок вдруг нарушается приливом аппетита, необъяснимого естественными причинами, или, по словам лагерного врача, объяснимого разве «явлениями, еще незнакомыми науке... какими-нибудь таинственными лучами, излучениями песков?.. океаническими воздушными течениями?..» Доктор мне признавался, что на него находит порой бешеный аппетит, и он съедает, к стыду своему — и к ущербу лагерного хозяйства — по четыре тарелки борща и обгладывает две-три огромных кости... — «знаете, с этими хряща-ми... с этим жирком горячим!..» Правда, повар в лагере исключительный знаток дела. К лагерному котлу приписываются за лето многие, родные питомцы лагеря, проживающие поблизости.

Климат Капбретона великолепный. Жаркие излучения песков умеряются дыханьем океана. Воздух солоноватый, густой, смолистый, скрыто налитый иодом. С безоблачного неба весь день обливает солнцем. Этот воздух творит поистине чудеса: к концу лета разведчики становятся бронзовыми, полноголосыми, ясноглазыми, широкогрудыми, крепкоколенными крепышами. Не раз провожал я их, в конце сентября, и поражался чудесной переменой. Воистину это было чудо преображения: в июле они были детьми, в сравнении с этими молодцами, набравшими за два месяца и в росте, и в весе, и в грудной клетке, и во всем существе своем. Это чудо силы лесного-морского воздуха, здоровой и сытной пищи, жизни на солнце, сна под открытым небом — в американских палатках, на нарах и соломе, — чудо разумных упражнений, прогулок и походов, чудо — полного равновесия, душевного и телесного. Это чудо от сил природы надо дополнить еще уменьем создать его, талантом руководителя-начальника — полковника П. Н. Богдановича. За годы моего знакомства с жизнью «русского лагеря» я не раз убеждался в этом: передо мной проходили юноши, спокойные, выдержанные, отменно вежливые, веселые, бодрые и почему-то все и всегда красивые, — независимо от природных черт, красивые красотой здоровья и душевного равновесия. Воспитание в «русском лагере» — тайна его руководителя-полковника, владеющего редким даром находить мудрых педагогов и образцовых инструкторов. Я не раз слышал от французов: «какие воспитанные! какая выдержка, выправка... какой ритм!» Разведчика-капбретонца различишь издали, среди многих, даже если не знаешь его головной убор — шапочку летчика-молодца. — Издали отличишь — орел! Восьмилетки, и те орлами смотрят, — такой у них смелый, уважающий себя вид. Разведчики-капбретонцы предупредительны, внимательны, вежливы к окружающим.

Для нас, русских, без родины, особенно важно воспитание и укрепление национального духа, чувства. Такое воспитание — краеугольный камень организации русских разведчиков. Им преподают Закон Божий, русскую историю, географию, родной язык. Над лагерем весь день развивается родной флаг на высокой мачте, поднимаемый на заре, при звуках трубы, и опускаемый в торжественной тишине, когда лагерь отходит ко сну с молитвой. Разведчики славно служат почетному званию — «ты — русский!» Мэр Капбретона доктор Жюнка неоднократно высказывал свое восхищение ими — их образцовым поведением, и его «грамоты» с печатями Капбрето-

на хранятся в архиве организации. Физическое развитие и ловкость русских разведчиков отмечены призами-победами их на морских праздниках в Осегоре, на так называемых «осегорских играх» — главным образом, в гребном спорте. Художественная талантливость питомцев «русского лагеря» не раз отмечена печатью, местной и департаменской. Концертные публичные выступления разведчиков вызывают восторги французов и иностранцев. Коренные капбретонцы это знают и гордятся: «наши-то ребята, русские разведчики!» Это чувство связи через место закрепилось в прошлом году знаменательным происшествием.

Лагерь устроил бесплатный концерт, собравший множество посетителей французов и иностранцев. Приехали даже из Биаррица, не говоря уже о близком курорте — Осегоре. Исполнение было блестящее, и французские газеты отметили это большой и восторженной статьей. Одна француженка, сестра влиятельного журналиста из Бордо, как-то узнала, что трое разведчиков должны уехать из лагеря до срока, так как родители их не внесли денег за их содержание в лагере. И вот, не переговорив с начальником организации, не получив разрешения от него — от полк. П. Н. Богдановича, — она обошла зрителей со шляпой в руке, собирая «в пользу неимущих разведчиков». Давали охотно, и француженка собрала что-то около 300 франков. Положение создалось и трудное, и неприятное. Выходило так, что разведчики приглашали на даровой концерт, и вот обошли со шляпой, собирая на свою бедность. Не желая обижать ни зрителей, ни добрую француженку, желавшую от всего сердца помочь бедным, полковник Богданович нашел очень тонкий выход: он поблагодарил публику за приятную неожиданность, за трогательное внимание к разведчикам, объяснил, что разведчики всегда находят поддержку родной среды и с благодарностью объявил, что они отдают эти собранные для них деньги в пользу бедных детей Капбретона. Надо было видеть, как приняли этот «жест» французы и иностранцы! Надо было слышать, как кричали: «что за молодцы, эти русские!..» И по всей округе, по всем Ландам побежала слава об этом, как говорили, — «красивом жесте!» Говорили об этом все, и сияли глаза французские. Только и слышалось — «молодцы! молодцы русские!» Этим я и закончу ответ на запросы о «русском лагере».

Июнь, 1934 г.
Париж
(Возрождение. 1934. 28 июня. № 3312. С. 2)

ТЫ ПОБЕДИЛ, ГАЛИЛЕЯНИН

Убили Короля Александра I, благородного нашего Печальника. Убили ценнейшее, посягнули на самое священное, что остается еще у человечества в шаткое наше время: духовное благородство, доблесть, чувство долга, самоотверженность... — ибо Король Александр редкостно воплощал в себе эти благороднейшие человеческие черты. Это ведомо теперь всем, даже и омертвевшим душам — политиканам-европейцам, подменившим живую жизнь мертвыми принципами. Если бы имели еще они живую душу, они должны были бы воскликнуть — «Ты победил, Галилеянин!» — как воскликнул когда-то наш полуевропеец Герцен.

То, чему свидетелем стал весь мир после кончины Короля Александра I — величайшая из побед: всенародная канонизация, причисление Короля к лику Святых Мучеников, как бы помазание на вечное царствование в памяти и сердцах народа, помазание без слов, всеобщим неслыханным стоном, всеобщими слезами. Это чудо шаткое нашего времени, которое в чудеса не верит, но которому *дано* увидеть. Оно поставлено перед чудом — перед величавой душевной красотой и благородством поистине исключительным. То, что теперь увидали все — победа духа над тлением, вечного над преходящим и суетным. Глас народа — глас Божий: весь народ Югославии, все совестливые люди *исторически* подтвердили, *Кого* потеряли, *Кого* отняли у скудного ограбляемого мира насилием убийства. Бывают события, когда Перст Божий как бы грозится миру; когда человечеству, потерявшему различение добра и зла, через одного, достойнейшего, как бы через искупительную жертву, указуется верный путь, когда всем делается ясно, где правда, доблесть, добро и благородство, и где — бесстыдство, ложь, низость, зло.

Кем был для нашей безустойной жизни почивший Король Александр I Югославский? Олицетворением чести, защитником правды — Божией и человеческой. Он был ослепляющим укором для всех, строящих жизнь неправдой; свет *Его* был отовсюду виден, колол глаза. И служители тьмы погасили его насилием. Олицетворением чести был Король-Рыцарь, Александр I Югославский. Свидетельствуют об этом: государственные акты, слова Короля, в актах запечатленных, миллионы голосов Его народа, страдание наше русское, утоленное Им так благородно — чутко. Мы свидетельствуем об этом и будем всегда, ныне и присно свидетельствовать миру. Он не только Славным вошел в историю: Он вошел в недра народные — Героем, бессмертным Кралем-Юнаком; войдет в сказания, как Святой, в творчество, как прекраснейший образ человека и Государя. Отшедший, он будет жить: Он обогатил человеческую мысль и чувство и найдет свое воплощение в Искусстве. Это глас вопиющий — в пустыне сумеречных дней наших. Услышит ли пустыня? Это — знамение человечеству: очнись!

Как бы низко ни падал человек, как бы ни подменивал похотями ценнейшее — в каждой падшей душе тлеет святая искра. Трагическое событие, Кровь Короля-Мученика — поставило Его на высоту, как образ недосягаемой красоты духовной, да разумеют и падшие. Какая жертва принесена! Поймут ли *такое* знамение?!

Не только Он вознесен на высоты недосягаемые; за собой Он поднял свою Державу, с миром ее поставил лицом к лицу: «смотрите же, чтите, это — *Мой* народ!»

А нам, русским людям, да будет великим утешением, ободрением и надеждой: Он — наш, духовно. Сербией порожденный, воспитанный ее духом героизма и верности, Он вдохновлен был великой русской культурой, человеколюбивой, широкой и глубокой, благостной и благоговейной, верной великому завету: «Свет Христов просвещает всех». Его жизнь — служение и подвиг. Святая Жертва за мировое окаянство, ныне принадлежит Он миру.

22 октября — 5 ноября 1934 г.
Париж
(Россия. 1934. 17 нояб. № 31. С. 1)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «КАК ВЫ СТАЛИ ПИСАТЕЛЕМ?»>

Я уже писал об этом в рассказе «Как я стал писателем»: гимназистом сочинил рассказ «У мельницы» и отнес в «толстый» журнал — «Русское обозрение». Через год, уже студентом, увидел свой рассказ в журнале — июль, 1895 г. — и получил первый в жизни гонорар, 80 рублей; на нынешние перевести — около 1200 фр.

Но начало моего писательства, если быть вполне точным, надо бы отнести, кажется, к 1890 г., — я был тогда пятиклассником. Ваня Сахаров, сын арендатора наших бань — о нем у меня в рассказе «Как я узнавал Толстого», — показал мне, на масленице, помню: был я у него на блинах, показал мне юмористический журнал «Будильник». Там было написано: кто пришлет лучшие две строчки стишков о «Будильнике», тому дадут премию — 10 рублей, были и еще две премии: 5 и 3 р. Ваня мне и предложил: «давайте сочиним?» Он много сочинял. И показал мне уже готовое, что-то вроде «журнал — не для потехи: всем достанется на орехи». Мне понравилось. Дома я сочинил такие стишки: «Буди, буди, буди, «Будильник», Чтоб жизнь была, а не могильник». Мы послали и стали ждать. Ждали долго. Вдруг прибегает Ваня и кричит: «Вы — Злое Перо», по псевдониму, и вот, «Злому Перу», в журнале напечатано!» И мы прочитали — дух у меня перехватило! — прочитали: «Дали бы второй приз, и уже присудили, но!..» помню я это «но», с восклицанием и многими точками, — «но!.. по независящим от нас причинам стишки уснули могильным сном, и как мы ни старались пробудить их к жизни, они неумолимы». Какая-то чепуха! Я махнул рукой, но Ваня Сахаров отправился в «Будильник», назвался «Злым Пером», и его там встретили с почетом: угостили папиросской, — он был парень рослый, — сказали: «стишки скончались, после крестин», — и показали гранку: «можете полюбоваться!» Он уви-

дал мои стишки и на них красный косой крест, чернилами; а под стишками написано красным же: «Не «могильник» наша жизнь, а Божий дар!!!» — три знака восклицания и что-то вроде извивающейся змеи — подпись? «Бились, хлопотали, — говорят, — но цензор остался неумолим». И подарили на память гранку. Я посмотрел на серую длинную бумагу, удивился и возгордился: на такой длинной бумаге только одни мои стишки, две строчки! Ваня Сахаров выпросил у меня эту бумагу: «Я, говорит, ее в рамочке повешу под стеклышком, подари-те!» Я подарил. Потом видел ее в рамочке, рядом с портретом Толстого. Это мое «начало» вскоре сгорело в пожаре вместе с Ваниной библиотекой и с его знаменитым сочинением «Страшные Цепи — Оковы», которое «читал сам Толстой», если верить Ване. История со стишками меня раззадорила, я попробовал дальше, написал одну штучку... но и ее перекрестил цензор. Об этом как-нибудь расскажу.

(Иллюстрированная Россия. 1934. 8 дек. № 50. С. 9)

<ПИСЬМО ПАТРИАРХУ ВАРНАВЕ СЕРБСКОМУ>

9 апреля, 1935 г.
Его святейшеству
Всесвятейшему Патриарху Сербскому ВАРНАВЕ,
Сремски Карловицы.

Ваше Святейшество,

Я хотел бы послать Вам самое сердечное приветствие в эти знаменательные дни-грани Вашего благодатного Архипастырского Служения, хотел бы сказать словами, которые во всей полноте и непосредственности выражали бы мои чувства восхищения, преклонения, радости, благодарности. И вот, вижу, что как бы я ни старался выразить желанное силой нашего великого языка, все же не будет это выражением сути, того с в е т а, от которого слезы на глазах, когда душа обращается к Вам, родной наш, великий Архипастырь! Но что же делать, — примите с л о в о: Ваша душа дополнит.

Вы пленили, очаровали, повели за собой русские сердца, — красотой сердца Вашего, Вашей силой и прямотой, Светом Христова Слова. Лаской Вы утешали нас, правдой Вы укрепляли души, звали нас к вере в грядущее возрождение России Православной. Вы заклеймили Зло во имя Христовой Правды. Пастырь добрый, Вы обличали «умывающих руки» — наш лицемерный мир, обличали «земли державства» во имя Господа Вседержителя. И высоко вознесли значение Пастыря в нашем заблудшем мире.

Достойнейший! Вы бесконечно нам дороги и безмерно близки. Тысячи тысяч нас в сердце своем хранят Ваш благородный образ — душевную красоту и правду. Вы с нами, в жизни, и более, чем в жизни: Вы — в сербско-русской и в мировой Истории, — в мрачнейшие времена ее, — как светлая, благородная страница. Тютчев пропел когда-то: «Счастлив, кто

посетил сей мир в его минуты роковые...» Но когда о Вас думаешь, в душе отзывается иное: счастлив мир, когда в роковые его минуты в нем пребывает и сторожит Пастырь Добрый, который п а с е т воистину, а не бежит от волков, который глаз не отводит от овец своих, который зорко следит за тем, что творится на пастбище. Да, такой мир счастлив, и как же счастливы те, кто в этом мире — наинесчастнейшие!

Ваше Святейшество! мы счастливы, что Вы п а с е т е, во Имя Божие; наши измученные души освещаются Вашим светом, и мы не теряем бодрости: несокрушенно мы можем петь — «с нами Бог!»

Да ниспошлет Вам Господь и силу и крепость на многие, многие лета.

Это — слова и чувства. Но я хотел бы послать Вам что-нибудь из моих писаний. И вот, прошу Вас, примите благосклонно душевное приношение мое — «Богомолье», где я пытался словами-образами восстановить — воротить лучшее, что я видел в жизни, — чистые души русские, которые и для Вас родные.

Прошу Вашего Архипастырского благословения.

Вашего Святейшества преданнейший почтительно

Ив. Шмелев

2, B[d] de la Republique
Boulogne S/Seine

СЕГОДНЯ – ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР

К читателям

Если мы совестливо вдумаемся, сколько мы получаем радости или просто даже удовольствия от нашей литературы, от новых и новых книг писателей наших, какое важное место в нашей жизни занимает русская печать, мы не сможем остаться равнодушными к тому, как живут наши писатели и, вообще, деятели печати нашей. Если еще читатели не знают этого, так пусть узнают: живут в труде непосильном, бедствуют. Наш Союз Писателей и Журналистов тщетно бьется, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить, смягчить это бедствие, прикрыть нищету деятелей печатного слова. Читатели-друзья! Неужели все мы будем спокойно ждать того поистине черного дня, когда писатели уже не в силах будут творить, деятели печати перестанут освещать жизнь осведомлением, газеты и журналы прекратятся? Это будет позорным бедствием для всех нас.

Сегодня, 5 мая, в воскресенье, в 20 час. 30 мин., в зале Рамо, 252 Фобур Оэнт-Снорэ, Союз Писателей и Журналистов устраивает 2-й музыкальный праздник, памяти Пушкина. Первый такой праздник превзошел все ожидания, зал был переполнен. Пусть это повторится! Будут поставлены сцены из опер: «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане», «Мазепа», «Пиковая Дама»; и — блестящие русские балеты, все — в исполнении прекраснейших артистов.

Отзовитесь, читатели, на приглашение Союза. Поддержите деятелей печати.

(Возрождение. 1935. 5 мая. № 3623. С. 3)

СЛОВО И. С. ШМЕЛЕВА

Слово, сказанное И. С. Шмелевым на торжественном собрании Комитета содействия «Дню Русского Инвалида», по случаю десятилетия установления Дня русского инвалида.

Господа,

«Наши герои-инвалиды — образ долга, носителя российской чести».

Так сказали русские писатели в своем воззвании к русским людям за рубежом, десять лет тому. Мы это помним. Русская Армия исполнила свой долг. Это исторически бесспорно. Верность национальной чести — наша духовная победа. Россия может смело глядеть в глаза: она не предавала, она — спасала. Ныне, забытая, она несет свой крест — крест испытаний, особенно тягчайший для вас, носители российской чести. Герои всех народов лаврами повиты... Только наши герои — рассеяны в пустынях мира.

Десять лет прошло, как установлен «День Инвалида». Русские люди продолжают помогать, но средств все меньше. Нещедрый мир охладевает, забывает. Все больше лишаемых работы, все больше новых инвалидов. Что делать, надо и это вынести, напрячь все силы. Все это не бесплодно, не бесследно: все это отливается в духовный опыт, в подвиг. Мы — в испытаниях тягчайших. Мы многое познали: мир, культу-ру... умеем отличать ее подделки. На страшном опыте познали, что значит благородство, верность, честь, неблагодарность... Познали и важнейшее: какая это изумительная сила — любовь, братство, со-страданье, общность в горе... что значит — родина! Мы все духовно возрастаем, крепнем. Перед лицом лишений, утеснений, унижений... выковываем волю к жизни, любовь к родному, верность долгу и веру в Воскресение России. Мы принесем ей богатейший опыт! Мы не изменим долгу

перед ликом Великомученицы нашей, перед носителями нашей чести. У них — мы только, только мы, одни.

Мы помним слово Пушкина, не раз оправданное жизнью:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Будем духовной сталью!

Страшен наш век — век скоростей, мельканий и забвений, — век борьбы; борьбы железа и — тончайшей материи духовной, невидной глазу, — движений человеческого духа. В этой борьбе, в которую вовлечены и мы, — да, мы, особенно! — решается вопрос о человеке, о том важнейшем, без чего все — прах: быть человеку или зверю. Опытом безмерным, неисчислимой кровью мы познали, что это значит: быть человеку или — зверю. Знаем больше других на свете: знаем, что ныне в мире все больше зверя, духовное все больше отмирает, усыхает. Знаем глубоко, по опыту, — что́ это, когда на смену помнящему долгу идет забвение и духовный холод. Знаем все — и будем продолжать борьбу за человека. Это — предназначение наше, свыше, — дар судьбы. Тяжкий дар, но — дар. Будем верить: явно дано нам в наш удел Всевышним: страшным испытаньем, на себе, пронести крестно человека, бережно охранить «великое Святое» жизни — Божий дар: высокие человеческие движения. О них сказал нам Гоголь:

«...забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!..»

Нет, мы не оставим их на дороге, на попранье; мы охраним эти чудесные сокровища — и верность долгу, и любовь, и братство, и преклонение перед страданьем... Мы их взрастим, мы будем учиться им у тех, кого не смеем забывать: у наших доблестных героев-инвалидов — носителей российской чести!

10 мая, 1935
Париж

МЯТЫЙ ПАР

Все чаще спрашиваешь себя: пустеют люди? теряют чувства, утрачивают способность — *помнить?* ожесточается, усыхает человек? И приходится отвечать, что да, усыхает, утрачивает слух к голосу своего «надсмотрщика» — совести, теряет навыки к благородству, долгу, любви, даже и к простой жалости. Это так, какие бы случаи исключительных душ ни приводились. Я сам знаю чудесные примеры. Но если глядеть на «большие числа», — печальный вывод неоспорим.

Не буду уж говорить о политике, о «мировом лицемерии»: в политике и всегда-то было неблагополучно в нравственном отношении, хотя были и величественные деяния, забываемые и извращаемые ныне. В обыденную жизнь всмотритесь. Уж кому-кому, как не нам, охранять божеский закон любви к ближнему о со-страдании... ну, хотя бы уж из первичного соображения — «дам — и мне дадут»? Все видали, все испытали, всего испили. Нет, хладеем и равнодушничаем, отмахиваемся, стараемся «не помнить», глушим голос своего верного надсмотрщика — совести, совестливости даже. Ознакомьтесь с итогами «сборов», с мытарствами лиц, что-то еще пытающихся делать. Беднеем? Конечно, не богатеем... но беднеем скорей душевно. Что-то еще даем, но эти бесчисленные балы, вечера, концерты рассчитаны на приманку, на «обмен», на — «дай — и получи». Подсчитайте, сколько впустую разбрасывается денег, которые для нужды нужны! За помещения, за налоги, за «мелкие расходы», за «прочее». И все эти расходы — вернейшие, и без них нельзя, но они составляют порой свыше 60—70 проц.! Подсчитайте и пораздумайте.

Возьмите самое важное дело наше, на все оценки — заботу о наших инвалидах. И что же видим? Явный укор, в глаза, — нам укор. Инвалиды наши — «на Божьей воле», как птицы небесные, — и мы можем с горькой усмешкой видеть, как

извращаем евангельское: «о завтрашнем дне не помышляйте». Завтрашнего дня нет у инвалидов. Это им облегчит, конечно, награду на небеси, а нас, если проснется совесть, раздавит беспощадно, но не исправит упущенного, — нашего преступления. Или мы и бояться перестали укоров совести? Инвалиды молчат... но вдумайтесь в их молчание, напрягите воображение, поменяйтесь местами с ними... — и вы узнаете все, и ужаснетесь. Я не буду приводить примеров, — страшно их приводить. Вдумчивый человек *увидит*. Управляющие делами инвалидов — те же инвалиды, и они так совестливы-чутки, что... хочется им сказать: да будьте же, дорогие, властны и требуйте! все ведь у вас права!.. Знаю, они не согласятся: они — герои, а герои не требуют. И вот, молчат герои. И мы — молчим. Мы что-то делаем... вразбивку и помаленьку. Позор! Не додумались — в *таком* деле! Не обложили себя *обязательным* налогом, не связали организацией. А раздумать по совести... — совесть-то у нас есть? — что бы смогли мы сделать!

Вспомнишь детство свое, Москву. На нашем дворе, сапожники-пропойцы, оголтелый совсем народ... но встретится вот такой сапожник с каким-нибудь «севастопольцем», — тогда они еще водились, — или со свежим, с «турецким инвалидом»... — так весь и засияет, угощает махорочкой, сам ему сунет в губы, если герой безрукий, тащит его опохмелиться, требует «про войну». Уличные мальчишки и не подумали никогда смеяться над инвалидом с «дрыгающей ногой», а смотрели с плаксивым ртом, и скажи им — «подай ему», — единственную свою монетку отдали бы. И отдавали. У нас, помню, таким героям — почетное место было. Помню и свои чувства. Кто нас в этом воспитывал? Да те же простые люди, тот же народ, который в турецкую войну, «как-то сам, что-то понявши», пошел воевать «за христиан». С одного нашего двора ушли двое добровольцев, без всяких слов, — и всем было все понятно. Воротились — один без ноги, другой с двумя турецкими пулями. Просто, без похвальбы: отбыли *душевную* повинность. Да, было *что-то*, что теперь испаряется в мельканье.

Да, жизнь приняла бег бешеный; попала в «систему скоростей» и мешает нам вдуматься, вчувствоваться, вобрать в себя. В мельканье этом мы легко забываем все. Скоро не *люди* будем, а так... мелькатели.

Стыдно повторять «детскую истину»; что *нельзя*, позорно, преступно забывать тех, кем когда-то гордились; нельзя выбрасывать из души, как «отработанный, мятый пар», чудесней-

шие движения души, растеривать их в мельканьях жизни. Нельзя героев, ныне беспомощных, безногих и безруких, слепых и паралличных, больных, затурканных... — считать чем-то вроде «отработанного, мятого пара», хоть это и отвечает веку машинному, веку мельканий и скоростей. Страшен наш век — борьба: мчащегося железа и — тончайшей материи духовной, невидной глазу, — движений сердца, еще не совсем усохшего. Тут уж вопрос о *человечности,* о том важнейшем, без чего все и вопросы рушатся: быть *человеку* или — зверю. Что уж тут думать о возрождении России? Не можем 6000 инвалидов устроить сносно. Какие уж тут думы о 160-миллионном государстве?! *Так как же?* Признать себя полными банкротами, пылью — вослед мельканью, «отработанным, мятым паром»?..

(Русский инвалид. 1935. Май. № 79. С. 2–3)

НАША ВЕРА

<К дню русской культуры>

Говорят — «празднование дня русской культуры». Не верно это: «праздника» тут нет. Иностранец может усмехнуться: «*куда* же привела культура ваша!» Не будем пытаться объяснить ему: *наше* понимание культуры ему невнятно. Но мы-то знаем, чем дорога нам «русская культура». Мы знаем, что не русская культура привела Россию на Голгофу, а совсем иная, — безбожная, бездушная. Наша культура, культура «во Христе», дала чудесное цветенье, заставившее мир дивиться, но... туман побил цветенье, плодоношения Россия не познала. Наша культура пронизана небесным светом, высоким устремлением, мучительным исканием высокой правды, страданием за *человека,* со-страданием, любовью к *человеку,* вдохновенным провидением Бога в человеке, — всечеловечностью. Мы знаем, что русская душа всегда искала Правды.

Там, в былой России, русская культура замерла. Но верим: русская душа бессмертна; наши идеалы — бессмертны также; что идеалы и душа — сольются. И потому мы служим им, их помним — здесь. Разбросанные в мире, мы чутко перекликаемся, как стражи: «слу-ша-ай!..» Мы верим в неиссякаемость культуры нашей, в бессмертное ее цветенье. Всем, что живо в нас от Духа, мы чувствуем и верим: весна придет, цветение опять начнется. Без истинной культуры, нашей, русской, которую храним, — не быть России, во-Христе-России: другая будет, не-Россия. Цветение *должно* начаться. Мы проглядели, мы не ценили, не хранили... попустили побить его туману, — наш грех. Вы, юная Россия, вы, «племя младое, незнакомое»... — вы не попустите, вы охраните.

Июнь, 1935 г.
Париж

<РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЯ»>

Господа, мне приходится говорить как бы заключительное слово. Комитет чествования просил меня войти в его состав, и я не уклонился, хоть я и сотрудник «Возрождения», и посему являюсь как бы частицей чествуемого юбиляра: меня просили в комитет как русского писателя.

Что добавить к мыслям и чувствам, высказанным здесь так верно, полно и так красноречиво? Скажу кратко... Есть две важнейшие силы в творчестве: воображение и углубленное провидение, интуиция. Эти человеческие свойства в той или иной мере всем присущи. И вот, я попрошу вас на минутку сосредоточиться, предоставить себе воображением и углубленно как бы про-видеть, интуитивно нащупать... постараться себе ответить вот на какой вопрос: что сказал бы русский народ, вся Россия в идеальном целом, если бы ее спросили — чего ты хочешь? Если бы он мог ответить... — я полагаю, с этим вы согласитесь, — он сказал бы: освобождения! жизни! челове-ческой жизни! родной жизни, русской жизни, *моей*, ро-дины хочу, России, *самого себя* хочу, «самостоянья», по слову Пушкина, подлинной России, от века России, продолженной исторически, бытие которой было насильственно-кошмарно сорвано и — замерло! Народ, еще так недавно ответивший на призыв к просвещенной жизни гением Пушкина и многих славных, такой грандиозной, такой самобытной государственностью... такой великолепной русской культурой... — такой народ не может не быть верным тому *завету*, который выразил, от его имени, *за* него, проникновенный *его* гений. Помните... —

Два чувства дивно близко нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Мы знаем, что это значит. Это устои жизни, устои человеческой культуры. Без этой любви к *истоку,* к своим корням, к своей роди-мой сущности, к своим святыням, к своим героям, водителям, великим... — народ... — только какая-то этнологическая частность, случайность, человечья пыль, несомая куда-то ветром, именно — пыль, как сказал только что М. В. Бернацкий! Устои... Вы помните...

На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Две-над-цать строчек. Что это?! Да это целая система! Нравственная, философская, религиозная, воспитательная, даже политическая система! Изрекший *так,* духом своего гения *такое*... такой народ не может забыть *себя, свое* историческое свое... не может отречься от себя, от гения, им рожденного, не мо-жет плюнуть на свои истоки! Он может за-мирать, может быть оглушенным, но... превратиться в пыль, превратиться в мировое пугало с пришитым к телу ярлыком «международья»... *такой* народ *не* может!

Так вот... эти устои, эти две любви — «к родному пепелищу» и «к отеческим гробам»... эту «систему жизни» и выражало, и выражает по мере сил наше «Возрождение». Об этом здесь говорили все, говорили определенно, — и если бы не было у нас нашего русского, независимого, национального рупора наших чувств, если бы не было выразителя нашей *русскости* — «Возрождения» — наша жизнь была бы искажена, урезана, наши чувства не освежались бы сознанием нашей крепкой спайки, распылялись бы на чужих ветрах... не было бы здесь представительства... да, представительства — по праву крови, по праву «пепелища» и «отеческих гробов»... представительства от русского народа, во имя русского народа, а было бы... *вырождение!*

И потому — слава «Возрождению»! Честь и поклон основоположнику «Возрождения» — русского гласа на чужих пределах — дорогому Абраму Осиповичу Гукасову, русскому патриоту — за его жертвы, за его непреклонность. И потому — горячий привет и признательность десятилетней редак-

ции «Возрождения», возглавляемой ныне Юлием Федоровичем Семеновым, мудро-последовательным и упорно стойким. Честь и благодарность всем работникам «Возрождения». Оно творит Россию, оно охраняет священный ее образ, очищает его от искажений, от шпаклевки, от клеветы, вызывает этот чудесный Образ перед глазами юными, перед глазами, не видавшими его... и вот, мы ныне уже видим, как этот Образ влечет к себе: мы видим новое племя, младое... новую смену русскую. Все мы, творящие и познающие, поскольку это в силах *слова*, Россию возрождаем...

(Возрождение. 1935. 16 июня. № 3675. С. 4)

СРОК ПЛАТЕЖА

Вообразил, что вдруг, по воле какого-то злого чародея, — а мало их в «волшебное» наше время! — печатное слово кончилось. Не говоря уж о том, что не будем знать о мировой жизни... и о своей-то не будем знать. Как же тогда быть всяким нашим организациям, союзам, обществам, которые каждый день добиваются от литераторов и журналистов слова сочувствия, воззваний, оповещений, сообщений, объявлений, заявлений?..

Вообразите, что писатели перестали писать все то, чем услаждали и развлекали вас, усыпляли, уводили, будили, ободряли, удивляли... Это надо помнить. И особенно надо вспомнить сегодня, когда в залах «Лютеции» «Союз литераторов и журналистов» устраивает единственный в году концерт-бал печати. Деятели печати в большой нужде, в союзе их — 460 человек, не считая семейств. Сегодня для всех, имеющих дело с печатным словом, — а кто его не имеет! — крайний срок платежа за все, что от печати получили. Не объявите же себя банкротами. Банкротство признательности — худшее из банкротств.

Писатели и журналисты зовут вас на свой концерт-бал не как должников, а как друзей: они кредиторы милостливые и щедрые и предложат вам множество всяких развлечений, о чем — в программах. Будут не только развлечения, танцы и остроумие, будут открыты и некоторые *тайны*... и, между прочим, *при известных условиях*, будет дан ответ на мучающий всех вопрос: «1936 год будет ли для каждого из нас лучше, чем минувшие?» Ответ — точный. Итак, не забывайте: печать всегда шла навстречу вам; сегодня, единственный раз в году, подите навстречу ей.

12 января 1936. Париж
(Последние новости. 1936. 12 янв. № 5407. С. 2)

ПОДВИГ

(Ледяной поход)

Он имел одно виденье,
Непостижимое уму...
А. Пушкин

То, что совершилось восемнадцать лет тому назад на Кубани и что «Союз Добровольцев» ежегодно поминает молитвой и «круговым ковшом», по древнему обычаю, — «бойцы поминают минувшие дни...» — уже тогда, когда это совершалось, многим, смотревшим со стороны, казалось подвигом, но подвигом «безумия». «Горсточка добровольцев, брошенная всеми, истомленная длительными боями, непогодами, морозами, по-видимому, исчерпала до конца свои силы и возможности борьбы...» — слова генерала Алексеева — и ушла в степи Кубани, в исторический Ледяной Поход. Ушла, чтобы продолжить борьбу со стихиями и с врагом не человеческим только, а стихийным, не земным только, а вселенским, — борьбу со Злом, принявшим личину большевизма. «Горсточка» — и стихия Зла, «всеми оставленные» — и всемогущее, на человеческую мерку, Зло, овладевшее Россией, всеми силами и богатствами ее, всеми жизнями, Зло, прожигающее души соблазнами, властвующее насилием безмерным. И «горсточка» — продолжала вести борьбу. На человеческую мерку — б е з у м и е. Но у этой «горсточки» уже не было «человеческой мерки». Подвигом Духа переросла она эту мерку, руководилась не человеческим, а иным, высшим, «непостижимым уму». В этом «безумии» проявилась извечная трагедия божественной сущности в существе, ограниченном телесно: божественное п о в е л е л о — и «горсточка» пошла на свою Голгофу. Тут не рядовое событие истории, а неизмеримое временем — трагедия борьбы Божеского и Дьявольского. В этом частном и как бы «провинциальном» для мира «случае» проявляется

величайшее о б щ е е: трагедия человека на земле. Перед «горсточкой» был поставлен сплетением исторических событий страшный выбор — как бы отсвет того, евангельского выбора, когда Добро и Зло стали лицом к лицу, когда дьявол показывал Ему все царства мира и славу их и говорил: «все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». И «горсточка» выбор сделала: пошла путем Его. И зрителям мира показала, — и кровью своей закрепила, — что есть сокровища, которых н е л ь з я отдать ни даже за целый мир. Русские Добровольцы, как «бедный рыцарь», имели «одно виденье, непостижимое уму» — Ее, Россию, и все, что у рыцаря слито с Ней, воплощено в Ней, олицетворено Ею. И, «верные сладостной мечте», «полные чистою любовью», они начертали на щите своею кровью святое имя Ее.

Этот подвиг — уход в ледяные степи — определяемый условным человеческим временем — 9/22 февраля 1918 г. — имеет бессмертный смысл — отсвет Голгофской Жертвы. Этот подвиг роднится с чудеснейшими мигами человеческого мира, когда на весах Совести и Любви взвешивались явления двух порядков: тленного и нетленного, рабства и свободы, бесчестия и чести. Этот подвиг — проявление высокого русского гражданства: в подвиге этом не было ни различия классов, ни возраста, ни пола, — все было равно, едино, все было — общая жертва жизнью.

Ледяной Поход длится. Он вечен, как бессмертная душа в людях, — негасимая лампада, теплящаяся Господним Светом.

Февраль, 1936 г.
Париж
(Доброволец. 1936. Февр. С. 2)

ВЕРНЫЙ ИДЕАЛ

Помните из восьмой главы «Евгения Онегина» — «прощанье» Пушкина?

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал...

Читаешь — и сердце томится грустью, и вспоминается горькое слово Достоевского — «международный обшмыга». В литературе нашей хранится наш «верный идеал», и ставшие ныне, в отрезке времени и судьбы, «международной обшмыгой», мы не можем расстаться с и д е а л о м: он создан душой народа, запечатлен великими, он живет в нас — и нас живит. Мы без него н е м о ж е м, и чутко храним его. Кланяемся ему и служим, — и в этом культура наша. Что же это за идеал?

Пушкин, «прощаясь», не договаривает:

А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял.

Но сколько сказано многоточием...

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа...

Захватывает дух, и слышишь в этих словах — пророчество. Мы — «выпили до дна», «дочли»... — и знаем:

О, много, много рок отъял!

Много. Но сердце, хранящее идеал, живет и бьется. И знаменуем это — праздником Идеала нашего, поминаем чудесного выразителя его.

Русское просвещение вышло особыми путями: в основе культуры нашей заложены глубокие нравственные корни. Она пошла от Христова Слова, через волю Владимира Святого, призвавшего нас Крестом. Вот закваска, поднявшая «русский духовный хлеб» — литературу, искусство, науку, философию, государственность: во всем светится «верный идеал». Возьмите ли медицину — увидите заветы Пирогова: ответственность и любовь. Коснетесь ли права — совесть и милосердие: отношение к преступнику — как к грешнику, сознание человеческого несовершенства и — отношение к каре — как к искуплению за грех. Основа нашего уголовного закона — милосердие. Возьмите Ключевского — и признаете вещим слово его о «Преп. Сергии Радонежском»: погаснут лампады над гробницей Угодника, выразителя русской душевной сущности, когда иссякнет наш идеал, духовные силы наши, — погаснет великая культура. Возьмите литературу и науку, наших учителей родного: Ломоносов, Гоголь, Пирогов, Менделеев, Хомяков, Вл. Соловьев, Ключевский, Аксаков, Леонтьев, Достоевский и — первый над всеми — Пушкин. Создавший «Пророка» не первый ли глашатай высокого идеала нашего?! Изрекший — «два чувства дивно близки нам», — основу «самостояния человека», «залог величия его», указавший на «животворящую святыню», без чего «наш тесный мир — пустыня, душа — алтарь без божества», — не учитель ли человечества — вселенной? не выразитель ли гениальный вселенскости идеала нашего, как вдохновенно сказал это Достоевский полвека тому назад!

Великое наше счастье, великая слава наша: есть у нас двое величайших: Пушкин и Достоевский: одно — двое. Оба вышли из беспредельного: от Духа Свята. И принесли откровение — идеал, на великое счастье наше, близкий душе народа. В наших земных глазах идут они параллельными путями, как будто не сливаясь. Один — ясный, как Божий день, — поэт чистый. Через него мы можем обнять весь мир, познать свое место в мире. Можем постичь небесное и земное —

> И горний ангелов полет,
> . . . .
> И дольней лозы прозябанье.

Такой всеобъемлющий — и ясный. Такой человеческий — русский.

Другой, Достоевский, — мудрый вскрыватель недр, — потемок и провалов в человеке, до подсознательного. Не только.

Он и вещатель взлетов человека, парений его духа. Точный изобразитель всех человеческих движений, ключарь человеческого рая-ада, ведун жизни и яркий изобразитель всечеловечности русской сущности.

Страшным даром — ему дано внимать — «и гад морских подводный ход». Ему даны в удел и томление — величайшая «духовная жажда», и власть утолять ее.

Два величайших моря-океана, две великих «живых воды», от которых будем долго и сладко пить и, пия, познавать вселенную. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются в беспредельность, невидимые для нас, замыкая собой как бы великий эллипс — русскую сферу нашу, и с ней — вселенскую. В них одних — все, что н а д о, чтобы б ы т ь и достойно б ы т ь. Восполняя один другого, дают они человека в завершении. И так понятно, что Достоевский взял Пушкина и показал нам. И властно сказал — чтите. Это — завет нам и наставление: Россия, познай себя! «Познай себя» — таинственные слова на Храме. Познай себя через Идеал твой! Познай себя в свете единокровных гениев. Останься собой, Россия, у тебя есть Водитель, великий твой Идеал — Свет Христов, и великое чувство братства со всей Вселенной.

С горестного пути блужданий видится нам не виденное раньше. Татьяна, Таня... — образ прощальный Пушкина. «Мировой обшмыга», «спутник странный», мы теперь рвемся к ней... тщимся воссоздать убегающий милый образ. Теперь мы чутки; теперь мы, в томлении, ловим... —

...тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь и особый смысл чувствуем, когда вчитываемся в чарующе-вещие слова:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?..

Теперь и особенно острый смысл слышится нам в стихах:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал...

Со «спутником странным» мы простимся без сожаления; но с идеалом, завещанным нам от века, не расстанемся никогда! Этот верный идеал Пушкина мы храним. И мы сохраним его. Мы его разгадали всей нашей болью, увидели через «магический кристалл» терзаний... Он с нами, он — сила наша. Он теперь ясен нам. Он нас ведет, мы говорим, с поэтом:

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Апрель, 1936
Париж
Предположительно:
(Русский день. 1936. № 9)

СЫНАМ РОССИИ

Вот и еще год минул, и отодвинулась в глубь истории славная дата рождения Добровольчества. Отодвинулась в даль истории, но останется навсегда, как прекраснейшая ее страница, сохранится навеки в помнящем русском сердце. Да и не страница это истории Российской, а одна из громких эпох мировой истории: на российских полях столкнулись в борьбе две силы — Порядка и хаоса, Правды и лжи, Любви и ненависти, Божественного в человеке — и темноте начала. Впервые столкнулись так открыто, ознаменованно. В России начавшаяся борьба длится доныне в мире, и будет длиться, пока не завершится — верим — решительной победой светлого в человечестве начала. Русскому Добровольчеству выпала честь Креста: первому выдержать удар зла, воплощенного в большевизме, положить почин в борьбе за Божественный Образ в человеке. Может ли затеряться в памяти человечества такой Крест? И если затеряется он в хаотичном мире, в н а ш е м — не может затеряться. Ибо в этом Кресте — исконное нашей родимой сущности. Какая же сущность наша?

В эти дни мы поминаем столетие кончины нашего Гения — Пушкина. Пушкин — вот выразитель русской духовной сущности. Это признано ныне миром. Спросим себя, как бы отнесся Пушкин к подвигу Добровольчества? Ответ бесспорный: благословил бы Подвиг, был бы его Певцом, — «певцом в стане русских воинов». Мы знаем это: совестью нашей знаем, всем д е л о м Пушкина. Совестливый, правдивый, искренний сын России, певец ее, гордившийся ее славой, ее державностью, он являлся ее защитником, духовной ее опорой в трудные дни ее. Он, почитавшийся иными «вольнодумцем» и «либералом», сумел ответить клеветникам России страстным и грозным словом. Не побоялся «ославить» себя в глазах Европы, не устрашился клейма — «раб царский»!

Вы грозны на словах — попробуйте на деле.
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?..

Живи он ныне, он сумел бы ответить на клевету, которой так щедро обливали русское Добровольчество — и свои, растерявшие чувство р о д и н ы, и многие европейские «витии». Он был бы с вами, Добровольцы, — вашим Певцом чудесным. Украсьте же ваше знамя лавровым венком в честь Гения! Он, его дух бессмертный, смотрит на вас о т т у д а, как на друзей, как на сынов России, и посылает привет заветный в тяжкие наши дни:

Бог помочь вам, друзья мои!
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

Январь, 1937
Париж
(Доброволец. 1937. Февр. С. 1)

ЗАВЕТНАЯ ВСТРЕЧА

Из речи в столетнюю годовщину смерти Пушкина
1837–1937–1957

Пушкин, — сказал Достоевский в московской речи на торжествах открытия памятника великому поэту, — «преклонился перед **правдой** русского народа».

Что же это за правда? — А вот, самый тот путь, принятый нами от купели, — нести в мир Правду, всех и вся примиряющую, **Божиим** святить мир. Эту правду раскрывали Гоголь и Достоевский. На ней строил свою систему Вл. Соловьев.

Эту **правду** Пушкин носил в себе... Она зрела в его творениях, шептала ему во вдохновенности, — родная его Муза! — и он проникался ею, «веленью Божию послушный». Она взывала в нем в ту «болдинскую» осень 1830 г. — осень великого томленья. И его страстный призыв в «Заклинании» — «ко мне, мой друг, сюда, сюда!..» — не страсти зов, а страстного томленья, искания гармонии, опоры, которые уходили от него. «Скучный шепот» тревожит его в бессоннице, рождает беспокойство духа, подавленного «жизни мышьей беготней»... — как бы чувствуется ему касание «иного мира».

Эта миссия наша — пронизать мир Божией Правдой — инстинкт нашего бытия. Ныне мы на распутье, и вот, дается нам укрепление — «заветная встреча» с выразителем нашей сущности: мы поминаем Пушкина, поминаем великую утрату...

Вспомним слова Гоголя — «Пушкин — явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». По слову Гоголя, «в Пушкине как бы показано, каким мог бы стать русский человек через двести лет».

Своим поражающим духовным ростом Пушкин как бы знаменует грядущий рост русского человека: полуафей, жадный к культуре европейской, бунтарь, он зреет, мудреет, углубляется, приникает к родной стихии, проникается творчеством народа, тянется к самобытности, патриот, государственник, черпает от Святого Слова, глубоко пускает корни в родную почву... Дуэль и — смерть. Пушкин не весь раскрылся.

Гоголь и Достоевский скрещивают на нем видения свои, как бы указуя: «вот центр, глядите и познаете».

Достоевский сказал еще: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот, мы теперь без него эту тайну разгадываем». Так ли это? «Тайны» Пушкин не унес с собой: он ее нам оставил, собой оставил. И мы разгадываем ее, раскрывая и познавая его наследство. И эта, поминаемая ныне «полуторавековая» с ним «встреча» — не знаменательна ли?

Да кто же, что же такое — Пушкин? Пушкин — все наше бытие, «самостоянье» наше. Пушкин — Россия наша, от первого глагола Летописца — до последнего слова прерванной Истории Российской. Пушкин, это — не разрешенный еще вопрос, им же поставленный:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Почему все мы любим Пушкина, и многие — бессознательно? И это, может быть, лучше, что бессознательно, зато непосредственно и крепко. Не потому ли, что в нем все отвечает какому-то властному в нас инстинкту? От него идет как бы ток, как от чего-то очень огромного. В нем включено как будто все — для всех нас: веет от него стихией, которая проникает нас и живит.

Пушкин — не гениальная случайность литературы русской, а «явление чрезвычайное», — сказал Гоголь, — «пророческое»! — добавил Достоевский. Он как бы предуказан нам в судьбе нашей, — показать, на какие высоты может подниматься русский гений. Он — знамение нашей духовной сущности.

Тайна Пушкина — для нас, ныне: в очистительной встрече нашего духа с ним, в очищающем пламени его, которое он «вдвигает» в отверстую нашу грудь:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Пушкин — скрижаль нашего Завета: в нем все, чтобы быть нам, и быть достойно. Пушкин для нас — бесспорность, прирожденность. Он для нас воздух и чувство Родины, с детских лет. Никто из творцов родного слова, кого учили мы в хрестоматиях, так не прирос нам к сердцу, никто так не стал

с в о и м, как Пушкин. Поныне веет он в нас воздухом детских лет. Читаем его — и слышим, как пахнет снегом, чувствуем занемевший с мороза пальчик, видим «бразды пушистые», «на стеклах легкие узоры», «деревья в зимнем серебре», «мороз и солнце... день чудесный!» — слышим первую зиму нашу. Вбираем в себя... — и сколько отображений, отзвуков!..

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный...
Открыты ставни. Трубный дым
Столбом восходит голубым.
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

Один этот «васисдас» ско-лько за собой вытянет, всколыхнет сладко в сердце нашем!

Видим эти картины, и вот, чудо преображения: мы у себя, в России... мы — снова мы.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы!..

И мы вздыхаем, захвачены все — о д н и м. Вот она, «тайна» Пушкина!

Он б е р е т нас очарованием простоты и правды, той прирожденной правды, которая называется — р о д н о е. Это наша родимая стихия — душевность и простота, ласка родного слова. Пушкин не сочинитель, не выдумщик, не изыскатель слова, а такое же естество, как слаженная народом песня, сложенная народом сказка. Пушкин — та живая тростинка — Иванушка, которую слышит сестрица Аленушка сказки нашей. Ни у кого не найдете вы такого ж и в о г о слова, такого чудо-слова, которое уже не слово, а русская ткань живая, таящая дух животворящий.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна, в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

Няня... — р о д н о е, нас воспитавшее, н а ш а няня. Она вырастает в знамение любви, простоты и правды. Единствен-

ной ей — высказал Пушкин такую ласку, какой не найдем больше у него. И слышится нам, что няня — не только Арина Родионовна: это — родимая стихия, родник духовный, живой язык.

Пушкиным можем воскрешать — и «бури завыванье»... «сиянье розовых снегов и мглу крещенских вечеров». Видеть всю русскую природу:

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...

Найдем ли в мировой литературе более совершенный образ? Гениальный скульптор по этим восьми словам может лепить «Пробуждение Весны». И мы видим, как вылепит, если только найдется в мире скульптор, равный.

Это мы встречаем «утро года», мы просыпаемся и видим — родное наше видим. С Пушкиным — мы в своем. Вот она, «тайна» Пушкина.

Пушкиным познаем мы тайну нашего языка. Жизнь заставила нас слушать чужой язык, и мы познали до глубины, что такое — родной язык, наш язык. Пушкиным мы познали, как мы духовно сильны, как мы — всечеловечны: нет ни единого чувства в мире, чего не вняла бы русская душа, не облекла бы в родное слово.

Пушкин нам дал язык непостижимой силы, выковал из родной стихии, из сокровищ души народа... дал в языке откровение: что за несметное богатство! Родная душа-стихия... Знаем, как широка она, певуча, нежна и всеохватна... как глубока она, как — всемирна! Живя в народах, мы постигаем ныне, как много доступно нам, как многое в нас другим невнятно, невоплотимо в чужих языках.

Все мое, сказало злато;
Все мое, сказал булат.
Все куплю, сказало злато;
Все возьму, сказал булат.

Только мы слышим этот удар, кованность — силу чувствуем. Чужие — так не почувствуют.

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой...

Предельная сжатость, ясность, сквозистость, легкость и чистота — вся пчела. Восемь слов... но, для нас, — все, до луговых просторов, до медового запаха цветов, — солнце... и

наша даль. Слово претворено в ж и в о е. Это словесное волшебство, эта легкость творческого дыхания — сродни правде души народной, разлитой в русской песне, нигде неповторимой. Вспомните... —

Ивушка-ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, невесела стоишь?
Иль тебя, ивушка, солнышком печет,
Солнышком печет... частым дождичком сечет?..

И посравните:

Только что на проталинках весенних
Показались ранние цветочки,
Как из царства воскового,
Из душистой келейки медовой,
Вылетает первая пчелка.
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне разведать:
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга зазеленеют,
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душистая?..

Вот откуда — знаменитые «клейкие листочки» Достоевского... — из пушкинской стихии, — из народной. Или... —

Как весенней теплою порою,
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу дремучего —
Чернобурая выходила медведиха...

Вот она, н а ш а ласковость. Э т и м преклонился Пушкин перед правдой народа русского, как высказал в своей речи Достоевский.

Язык — проба духовных сил народа. У народа духовно бедного — язык бедный. Мерило нашего языка — Пушкин. Он дает нам весь мир мощной стихией языка. Восток и Запад... Это его «игра» и любованье силой. Сердце его — р о д н о е.

И потому наша с ним «встреча», вне родины, знаменательна. Мы как бы слышим: «помни свое, какой ты стихии, какого корня: эта стихия дала нам Пушкина! познай свое место в мире, и головы не клони!»

Пушкин воспел Россию. Никто не воспел ее так, как он. Кротка она в нас и величава.

Воспел Россию имперскую, великолепную. Мы ее держим в сердце. И если скажут — «где она, Россия... в а ш а?!.» — нас не смутит.

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Сын России, ее Певец, он возвышал свой голос народной гордости в трудные дни ее. Он ответил клеветникам России достойным словом, не убоялся клейма — «раб царский». «Витиям» — политиканам, поливавшим Россию грязью, он ответил имперски-гордо:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
....

И дальше:

Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы...

И — ....

.......в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

За полгода до смерти Пушкин творит «Молитву» — покаяния: «Отцы пустынники и жены непорочны...» Предчувствия... Православные люди русские с л ы ш а т эти предчувствия, г о т о в я т с я. И вот, — подведение итога, самоутверждение, отдание творческого дыхания своего — Богу:

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

Тут — вера. Тут и определение искусства, как служенье Богу. Этим подчинением веленью Божию Пушкин скрепляет себя навеки с недрами, которые его родили. Здесь Пушкин утверждает правду народную, заветное назначение его — «служить добру»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

И — далее...

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

Да, он *знает* крепко, что нерушимо спаян с родным народом, и знает — *чем* — всем естеством народным, чсм жив народ. Это — завещание, *завет*: «Я, Александр Пушкин, веленью Божию послушный, навеки с вами, со всею великой Русью, — *ваш*».

Воистину, он *наш*, навеки!

Томление по «мирам иным», разлитое в сказаньях, в стихах духовных, томленье земным, тяга к «неведомому Граду», наши провалы в грех и устремленность к *небу*, извечная наша неприкаянность и порыв, именуемые в мире «ам сляв» — это и в Пушкине. Скука земным, усталость от земного... — «давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю...», порывы — «в соседство Бога»... Вот оно, сияющее, заоблачное:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине;
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Что это? Сущность живая наша. Как же *ему* не верить! Он наш Пророк и наше откровение — Завет.

Есть у народов книги вдохновенных, гениев, пророков. В годины поражений и падений народы черпают в них силу. У нас — он, Пушкин. Если бы мы спросили свое сердце — чего хотим? — оно сказало бы — «самостоянья своего»! *Самостоянье* — Пушкина слово:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Уразумеем ли нашего Пророка? Столько претерпев, нельзя оставаться прежним: надо склониться перед святыней, единым сердцем. Страдания умудряют, обновляют. Мы должны раскрыть, наконец, тайну Пушкина. И мы раскрываем ее: он сам ее нам открыл — собой. Вот оно, «явление чрезвычайное», «пророческое»! — в Пушкине раскрывается Россия. Томимы духовной жаждой, мы влачились в пустыне мрачной, и вот — Серафим, «на перепутье нам явился»! И мы с восторгом примем «угль, пылающий огнем». И тогда, как откровение, мы прочтем:

А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!

Да, много. Опаленные животворной встречей, очищенные страданьем, теперь мы внимаем чутко... теперь мы стремимся к ней... ловим неизъяснимый образ —

.... тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь — новый смысл раскрываем в давно знакомом:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?..

«Милый идеал» разгадан нашим сердцем, узрен «сквозь магический кристалл» Бессмертного.

Перстами, легкими, как сон, —

коснулся он слуха нашего... — и слышим:

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни.

(Возрождение. 1957. № 62. С. 6–14)
Варианты в отрывках:
(Возрождение. 1937. 6 февр. № 4064.
Приложение «Пушкин. 1837–1937». С. 2)
Иллюстрированная Россия. 1937. 6 февр. № 7. С. 34; 1937. 20 февр. № 9. С. 8–9;
Меч. 1937. 14 февр. № 6. С. 5;
Русское слово. 1937. 22 февр. № 42. С. 2)

КНИГА О ВЕЧНОМ

Да, именно, — о вечном: о «божественном глаголе», о «Божьих лучах в земных явлениях», — о приоткрывающейся Божьей Тайне. Другим словом и не могу я определить глубокую сущность этой книги, захватывающей дерзанием и откровением, острой мыслью и страстной верой. Книга эта, пожалуй, и раздражит иных; но многих заворожит нравственной высотой и верой в светлые силы человека, обогатит духовно, откроет глаза на то, о чем и не помышляли, что казалось «само собой разумеющимся» в мельканье нашего времени скоростей. Эта книга — о тайне мира и человека, о сокровенной их сущности, о том, что выразил прикровенно Тютчев:

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно волшебных дум.

Я говорю о новой книге профессора И. А. Ильина: «Основы художества», с подзаголовком — «о совершенном в искусстве». Издана эта книга «Русским Академическим Издательством в Риге». Рига, 1937 г.

Немало людей найдется, кому ничего не скажет это заглавие. Художество? совершенное в искусстве? Что же тут «вечного», и какие могут быть «откровения»?! «Искусство... какое это имеет отношение — ко мне?» — спросят иные: «Сколько писалось об искусстве, все это давно известно». На это ответит сама книга. Но надо ее прочесть. И тогда узнают, что так еще не писалось, и в таком толковании совсем не было известно. И тут, может быть, поймут, что искусство занимает в душе человека место рядом с религией, что без искусства, как и без религии, жить нельзя, что без искусства — жизнь мертвая. Тогда признают, что вопрос — «что такое искусство?» — не «само собой разумеется», а вопрос вечный.

Тысячи книг написаны об искусстве и о религии. Эти вопросы — в е ч н ы е, каждое время тщилось на них ответить: отсвет времен лежит на ответах этих.

Что есть искусство? Толстой в нашумевшей статье своей, в 90-х годах, перебрал множество определений искусства, отбросил все, и разрешился в конце концов совсем бескровным определением: «назначение искусства — вводить в сознание и чувства людей те истины, которые вытекают из религиозного сознания...» «Искусство есть одно из средств общения людей». Мертвый, п у с т о й ответ! И это вполне понятно: вопросы в е ч н ы е — не разрешаются рассудком; они о т к р ы в а ю т с я духовным видением. Опыт такого в и д е н и я и дает читателю книга И. А. Ильина.

Многообразно, в веках, толковалось искусство, но сокровенная сущность его не менялась сама в себе, как не меняется истина. Познать, что такое искусство, — значит, приоткрыть одну из тайн бытия, тайн Божиих. Это знают поэты духовным видением.

Тщетно, художник, ты мнишь, что
творений твоих ты создатель:
Вечно носились они над землею, незримые оку... —

вскрывает «родник искусства» гр. А. К. Толстой.

Сошло дыханье свыше,
И я слова распознаю:
— Гафиз, зачем мечтаешь,
Что сам творишь ты песнь свою?
С предвечного начала
На лилиях и розах
Узор ее волшебный
Стоит начертанный в раю! —

внутренним оком з р и т чуткий Гафиз.

Лермонтов с л ы ш и т «звуки небес», «тихую песню» Ангела. Пушкин п о с л у ш е н «Веленью Божию», «божественному глаголу», «вдохновенью», «вниманью долгих дум». Эйхендорф с л ы ш и т «дремлющие песни» в каждой вещи, з р и т «сны мира».

В каждой вещи песня дремлет,
Мир исполнен тайных снов:
Зову в е щ е м у он внемлет,
И запеть всегда готов.

Такое совпадение творческих чуяний у поэтов разных времен и кровей — не случайно: они все слышат одно. Тайна искусства приоткрывается: от священного корня оно восходит, истекает из небесного родника.

На этот вечный вопрос и отвечает книга: показывает, что есть совершенное искусство. Показывает явно, примерами. Дает пути и мысли пытающимся творить искусство и его судьям — критикам. И, самое важное: приводит воспринимающих искусство — а их ведь миллионы, неразумеющих, — к познанию основ искусства, подводит их к священному роднику, приоткрывает перед ними тайну. И, чуткие, покоряясь влекущей мысли и зову мыслителя-поэта, радостно постигают новое откровение искусства: им начинает проясняться, что истинное искусство совсем не то, что они принимали за искусство; что совершенное искусство — драгоценность, заваленная горами шлака, выдававшего себя обманно за искусство; что чистое искусство, по слову Шиллера, —

Радость, искра Божества,
Дщерь прелестная небес... —

что через художника — творца проявляет себя «созданная Богом сущность мира и человека».

«Основы художества» — воистину новая книга об искусстве: она рушит ходячие представления о нем, вскрывает его тайну. И. А. Ильин не спорит с законопослушниками искусства, не опровергает их, — ни древних, ни современных нам, ни — особенно многочисленных — в прошлом веке: Баумгартена, Шеллинга, Шопенгауэра, Гегеля, Верона, Гюйо, Тэна, Канта, Гете, Толстого... Он не бродит в беспочвенных рассуждениях об «Истине, Добре и Красоте» — в этих бескровных «категориях»: он вскрывает, анатом-поэт, духовную ткань искусства, берет образцовые примеры и показывает читателю: смотри, внимай. Он вводит в религию искусства, в служение и радость, творит его символ веры. Читатель смотрит и начинает видеть, и тайна приоткрывается перед ним. Он начинает слышать «звуки небес» и отличать «шарманку». Автор ему внушает, откуда и почему — «шарманка», и в чем от нее спасение. Показывает примерами, что эта «шарманка» ныне особенно криклива, глушит все «звуки».

Эта глава из книги И. А. Ильина — «о кризисе современного искусства» — вызовет раздражение иных: автор не щадит

«признанных» и «чтимых», если не выдерживают они его углубленного мерила, его суровой пробы: он скидывает их со счета. Скрябин ли, Пикассо ли. Игорь Стравинский, или Александр Блок, или... — и м я никак не звучит ему. «Нравится всем» и «широкая улица» — не указ ему. У него «пушкинское», необоримое мерило: «прямое вдохновенье» или — «необузданное» поползновенье»? С л у ж е н и е или — забава только?

«Есть в человеке безмолвная, темная глубина, — говорит И. А. Ильин, — таинственное жилище его инстинкта и его страстей. Там нет слов и мыслей, и прозвол дневного сознания там не властен. Именно там укрываются первоначальные, стихийные силы человека, жаждущие простора, но не призванные к власти; по выражению гениального немецкого поэта Эйхендорфа, — «скованные звери, как бы замкнутые в подземелье, мрачно мечтающие о своей первобытной свободе». И именно там зарождаются и отстаиваются основные содержания человеческой жизни в виде бесформенных глыб и неопределимых, безгранных помыслов. Беспомощно терпя, томясь и страдая, носит человек в своем бессознательном эти силы и вынашивает эти содержания, смутно ощущая в себе их присутствие, но не зная, как к ним подступиться и что с ними начать, не умея их очистить, оформить, взрастить и одухотворить... — и именно поэтому слишком часто сам становясь их слепым орудием и жертвой. Безвластный и неумелый перед ними, человек сам подпадает их власти и вовлекается ими в их самовольные вихри и бури. И только и с к у с с т в о может помочь ему в этой беде, ибо оно создает творческий исход для этих содержаний, перерождая их из глубины, прожигая их духом и облекая их в верные образы, жесты, звуки и слова, вливая, вковывая их в художественную форму. И только р е л и г и я может окончательно вывести человека из этой беспомощности и этого рабства, давая ему через м о л и т в у подлинную и благодатную власть над этими с и л а м и».

В этом отрывке (гл. II) — как бы зачаток книги — благовестия об искусстве, как бы исток «священного родника».

Я сказал — вызовет раздражение. Да, вызовет, как все, «против течения».

Современное искусство, за редкими исключениями, выбрасывается ныне наружу из недр души бездуховной, души в хаосе, души-шарманки, и такое искусство — мнимое искусство, ничтожное, опошляющее «искусничанье».

«Это — больные выкрики, несущиеся из разлагающегося бессознательного: это вспышки нечистого опьянения, духовного безволия, немощи и распущенности...» — говорит И. А. Ильин. «...И надо всем этим царит какая-то чувственная возбужденность, нервная развинченность и духовная пустота, — три свойства, все вместе определяющие атмосферу современного «модернизма» в искусстве».

Связь искусства с жизнью, взаимное их влияние — бесспорны. И. А. Ильин блестяще обнаружил и показал связь т а к о г о, больного искусства с нашей жизнью. Распущенность п о д с о з н а т е л ь н о г о явилась предтечею российского разгрома. Первые «бесы» объявились еще задолго до явного разгрома — в «искусстве» нашем. Русское общество давно болело, к р и ч а л о о своей болезни своим «искусством». Не слышали и не хотели слышать, как скрипит русская «шарманка». А болезнь развивалась, зрела, и вот, окончательно назрела и прорвалась — страшною язвой большевизма.

«Необходимо дать себе отчет в том, — говорит в главе о кризисе современного искусства И. А. Ильин, — в какую духовную смуту, в какие религиозные соблазны вели нас русские предреволюционные поэты, начиная с Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и кончая Маяковским и Шершеневичем, писавшим в Москве на стенах Страстного монастыря кощунственный вздор: «Бог отелился!» — Что все это — искусство или гниение?» — стр. 23.

Книга И. А. Ильина — книга огромного захвата. Он говорит о всех видах искусства: об архитектурном искусстве, о живописи, о музыке, о пластике, о поэзии во всем многообразии ее. Он говорит и к мастерам искусства, и к знатокам — ценителям его; говорит и критикам, и «снобам», и равнодушным, и — просто п у б л и к е. Он вводит в лабораторию искусства и учит, к а к надо творить высокое искусство, — дает его з а к о н ы, вскрывает к нему пути. Для многих впервые встанут, как откровение, «слагаемые» в произведении искусства: художественная м а т е р и я — облачение искусства, художественный о б р а з — живая ткань искусства, его т е л о, и — художественный п р е д м е т, — сердце, Д у ш а искусства, внутренний Л и к его, та редкая драгоценность, во имя чего томится и возносится радостно художник-творец.

Книга И. А. Ильина — книга ума свободного, ума глубокого, книга великого вдохновения и великой искренности, огромного познания, высокого духовного упора и высокой правды.

Ее необходимо читать и изучать каждому художнику, каждому артисту, писателю, поэту, — всем, к искусству прикосновенным, — и особенно начинающим познавать и творить в искусстве. Она необходима и критикам, и даже «снобам», — «все понимающим». Она явится откровением и для великого множества воспринимающих искусство, — для публики. Многих обогатит она, ибо она ведет, показывает, остерегает, учит. И — главное — возносит на высоты, к горним далям, влачащееся в земном прахе современное искусство, забывшее о духовном своем родстве — с небесным.

Книга эта дерзает, и имеет на это право, ибо написавший ее знает то, о чем пишет, и крепко вооружен талантом, а в игре — ценнейшее: наша духовная основа, путь новых поколений. Это — исповедание веры. Его надо — или принять, или сделать вид, что о нем не знаешь. Спорить с этой книгой трудно. Она — итог глубокого знания и опыта, — нашего опыта-страдания. Она — для всех, как русский опыт-страдание — для всех в мире. Много мы выстрадали, много и нашли. И среди найденного нами — строгое и благоговейное отношение к искусству, — и новое, как будто, а на самом деле, давно нам дарованное — в Пушкине. Ныне это особенно важно помнить. Пусть молодые проникаются.

О широком захвате книги можно судить по оглавлению хотя бы:

Эта замечательная — и такая своевременная! — книга говорит о Главном, о Мудром, о Священном. Она разрушает очарование призраками и фальшью. Она даст удовлетворение художникам и укажет «искусникам» их место. Эти, конечно, не обратят внимания, и будут продолжать свою привычную, легкую и доходную работу. Но читатель судья воспримет,

сделает выводы и, может быть, подрастет духовно. Это важно, решительно необходимо, ибо искусство — не развлечение, а неизбывная потребность духа. Книга И. А. Ильина об этом особенно напоминает, показывает это. Она напоминает, что «кризис современного искусства состоит в том, что оно утратило доступ к главным, священным содержаниям жизни и погасило в себе художественную совесть». Откажемся ли от главного и священного? Ведь столько уж мы познали всего, всего... кажется, можем оценить, какая же это жизнь — без Главного и Священного.

«России нужен дух чистый и сильный, огненный и зоркий. Пушкиным определяется он в нашем великом искусстве, и его заветами Россия будет строиться». Стр. 29.

Не правда ли, юные, грядущие? и вы, будущие строители России, и вы вступающие на путь ее искусства?

Июль, 1937
Париж
(Возрождение. 1937. 23 июля. № 4088. С. 3, 6)

ПОДВИЖНИКИ

Минувшим летом я посетил на Карпатской Руси православную русскую обитель — «Братство пр. Иова Почаевского». Три недели прожил я там и видел неустанно творимый подвиг. Этот подвиг — наше родное дело. Не раз я думал, под перезвоны колоколов, под стуки печатного станка, — иноки там печатают Слово Божие, — сколько отчаявшихся самовольно собой распорядились, не выдержали, у ш л и. Если бы знали, во имя ч е г о здесь трудятся, ч е м здесь живут... — многие, может быть, нашли бы опору и веру в жизнь.

Тридцать лет тому здесь было пустое поле. Неотпавшие в унию карпатороссы не имели ни церкви, ни пастыря. И вот, пришел православный подвижник-инок, как в давнее время на Руси, и голое место просветилось: воздвигся прекрасный храм, зазвонили колокола в пустыне, выросли корпуса и службы, зацвели яблони, загудела пчела на пасеке, и восстала из праха вновь печатня пр. Иова Почаевского, основанная Святым в Почаеве в 1618 г., разбитая большевиками и петлюровцами в 1918. Вот что творится верой единомысленных, сильных духом.

Кто они, сильные? Все — искавшие верного пути, Господней Правды. Многие из них прошли сквозь огонь войны. И вот, вышли в пустое поле, «сеятели пустынные», приняли послушание и обновились духом. Возгорелись высоким рвением, крепкой верой, что жизнь может обновиться только Христовым Словом, через Церковь; что только Она, Святая, согревает в холодном мире и накрепко вяжет с родиной. Эта вера дает им силы. Крепнущая книгопечатня рассылает по всему зарубежью русскому богослужебные книги — «Великий Сборник» — и книги духовнонравственные, содействуя духовному возрождению, проповедуя Православие по всей округе. Вот уже десять лет идет отсюда в широкий мир православная

русская газета — «Православная Русь», захватывающая год от году все больше православных читателей, привлекающая в сотрудники богословов, писателей, и просто верующих людей, одаренных духовным опытом. Много в зарубежье безразличных к духовному, блуждающих, потерявших душу. В смутное наше время, без родины, Святое Слово — единственный свет во тьме, — крепко верят подвижники, опаленные страшной жизнью. Эту веру дала им жизнь.

О каждом из них можно бы написать историю духовного возрождения. Это избранные: из сотен прошедших через обитель отсеялись десятки. В рясах, под клобуками, не отличить офицера гвардии от калужского мужика, от казака-кубанца. Все — русские иноки-подвижники.

Труд и молитва — вся жизнь обители. Цели ее высоки. Стойко одолевая трудности, неустанно творят свой подвиг. Полуголодные, воздвигали они свой храм, поднимали колокола, мяли глину на кирпичи и поставили типографию, где с зари до зари печатают Слово Жизни. На храме висят долги. Если бы почестнее были люди, обитель встала бы прочно на ноги: сто тысяч франков должны ей книготорговцы за проданные книги — и не платят: у кого отняли?! или забыли, что это святотатство?

Не раз я слышал от духовных ее водителей те слова, какие они после напечатали в «Православном Русском Календаре на 1938 год»:

«Мы просим православных русских людей: 1. — Кто может посвятить себя на самоотверженное служение Церкви — грядите к нам, вкусите сладкую трудность общежительного жития. 2. — Кому невозможно это — и дома может помочь нам, приняв на себя труд распространения книг духовных и газеты. 3. — Кто имеет средства — уделите, поучаствуйте в строительстве Церкви-Матери, — это наше родное дело. Напишите нам, и мы укажем, чем вы можете нам помочь. 4. — Подписывайтесь на газету нашу — «Православную Русь» и на журнал для детей — «Детство во Христе».

Так взывает к православным Братство пр. Иова Почаевского. Адрес его: Archimandrite Serafim. p. Ladomirova u. V. Svidnika, Tchécoslovaque.

Насколько тесно обители в материальных средствах, вот наглядный пример: не на что купить лошадь для трудового обихода. Глухой осенью, в непролазной грязи, — глина карпатская! — и зимой, в глубоком снегу, в метели, верный святому

долгу, идет иеромонах верст за десять и больше по селеньям, несет св. Дары напутствовать умирающих, лекарство больным и утешение Христовым Словом. Не на что завести лошадку! Больно слышать. Я видел истомленные глаза, и в них — спокойствие исполняемого служения. Слышал: «ничего, как-нибудь переможем, погодим с лошадкой, есть и понеотложнее». Месили грязь окопов и боевых полей, мяли мокрую глину на кирпичи собора, — и продолжают, подвижники. Русские люди, слышите? Не уснет тревожная русская душа, услышит, отзовется.

На днях я прочел в «Возрождении», что с Карпатской Руси, из обители пр. Иова Почаевского, прибыли мощи св. великомученика и целителя Пантелеймона и, по благословению архипастырей, посетят православные приходы. Мощи пока пребывают на юге Франции, — Moine Job, chez Prince Engalitcheff, Jardin Cynthia, Golf-Juan, A.M., а в январе прибудут в Париж. Сопровождает их монах Иов.

Я его хорошо узнал. Ходили мы с ним по карпатским лесам, до польского рубежа, по недавним боям знакомого. Легко и светло мне было общаться с ним. Совсем еще недавно — кавалерист, офицер лейб-гвардии, одного из славных полков российских, старинного, культурнейшего рода и высшего воспитания, ныне — монах Иов, принял он послушание обители: обойти русское Зарубежье и поведать православным людям о подвижнической обители на Карпатах. Св. Целитель предстательствует за нее. Русские люди не откажут Предстателю. И это им будет в радость.

Декабрь, 1937
Париж
(Возрождение. 1937. 10 дек. № 4109. С. 7)

СЛУЧАЙ В ШАНХАЕ

Недавно в Шанхае произошел «серьезный инцидент», как сообщила телеграмма из Шанхая. Ныне в мире случается много «серьезных инцидентов», но для нас большинство этих «инцидентов» не имеет существенного значения. Упомянутый же «серьезный инцидент» касается нашей с у щ н о с т и, и было бы непростительно, если бы мы остались равнодушны к этому «случаю». Для нас это не «инцидент», а знаменательное событие и внушительный пример миру. Мир, конечно, на это взглянул сквозь пальцы, но для них этот случай в Шанхае — исторический документ, который мы сохраним и, придет срок, кому-нибудь представим в будущей нашей тяжбе, а пока занесем в «кредит» нашего нравственно-политического счета в мировой бухгалтерии.

Вот этот «инцидент», по сухой передаче в телеграмме.

«Шанхай, 8 января, — аг. Рейтер:

Сегодня утром на территории французской концессии произошел серьезный инцидент.

Китайская женщина, вопреки японскому запрещению, вышла на бульвар «Дэ репюблик». К ней бросился с угрозами японский солдат. Проходивший русский доброволец вступился за женщину и выхватил револьвер. Сбежалось 15 японских солдат, которые схватили русского и потащили его в японскую зону. Однако, русский успел дать сигнал свистком, и на место происшествия примчался грузовик с русскими добровольцами, и два французских блиндированных автомобиля. Сбежалось также до ста японских солдат.

Положение стало чрезвычайно напряженным. Французские власти освободили русского и увели его на свой участок. После переговоров между французскими и японскими офицерами, инцидент признан исчерпанным».

Только. Но для нас — не «только». Для нас тут-то и начинаются «последствия» — важные выводы и для нас, да и для мира, если он еще не совсем ослеп. Впрочем, и для них — не «только»: как сообщали газеты, японцы урегулировали этот «инцидент», добившись от европейцев, чтобы впредь охрану порядка на территории концессии несли только регулярные части, а не «добровольцы». Смысл этого совершенно ясен: ясно, о каком тут «порядке» речь. Этого я еще коснусь, и станет совсем ясно.

А теперь попытаемся восстановить всю эту «жанровую» сценку, утратившую живые краски в сухой передаче телеграммы.

Китайская женщина, в китайском же городе Шанхае, пошла по бульвару, вопреки запрещению японцев. К ней бросился с угрозами японский солдат... Очевидно, угрозы были внушительные, если проходивший русский доброволец бросился к ней на помощь и даже выхватил револьвер.

А теперь представьте себе картину более широкого масштаба, а не только шанхайско-бульварного.

В то самое время, когда японо-китайское «недоразумение», — война ведь не объявлялась, — захватывает интересы мира, когда падают бомбы на военные суда европейско-американские, когда шальные пули и гранаты косят «зевак» — и европейско-американских, — когда «убийственные инциденты» после целого ряда «нот» признаются исчерпанными и «флаги чести» легко спускаются, в это убийственное время русский бездержавный доброволец н е з а х о т е л — и не мог! — спустить с в о е г о, русского флага, флага русской чести, флага ч е л о в е ч е с к о г о достоинства. Только представьте себе, что такое для мира в этой кровавой каше какая-то безвестная «китайская женщина»! Их, этих китайских женщин с ребятами, и всех, кто попался под руку, бьют и с земли, и с воды, и с неба. Давят их падающие стены, живьем сжигают пылающие дома. А вот для русского добровольца эта «китайская женщина» в этой кровавой каше осталась ч е л о в е к о м, осталась ж е н щ и н о й, а не каким-то осколком разрушения, — быть может, знамением сестры, матери, невесты... — словом, высокой ценностью, за которую необходимо вступить в борьбу, которую н а д о защитить, несмотря ни на что, ни на какие там «правила порядка». У русского добровольца нет родины-державы, нет никакой защиты: сам он себе и держава, и защита, и флаг. Но есть в нем, при нем —

русская честь, есть у него, безымянного, и м я — Русский, и есть у него «во имя». За два десятка лет не утратил их, не вытравили в нем душу и эту честь, и это его «во имя» никакие всесветные мытарства, никакие угрозы его не устрашили. Это «во имя» и эта честь властно ему велели: д о л ж е н слабое защитить, гонимое оградить... ж е н щ и н у, пусть хоть и китаянку, эту пылинку в мире, каплю в китайском океане... д о л ж е н! И он — выхватил револьвер. Что это означает? А то, что отдал жизнь свою. Вдумайтесь только, жизнь свою отдавал... з а ч т о? Очевидно, что ставкой в этой решительной и г р е было что-то, очень уж драгоценное, больше жизни, чего уступить н е л ь з я, без чего уж и жить нельзя: жизнь ведь на ставку ставил! Совесть русского добровольца велела т а к. Он в этом ж е с т е себя не помнил: что его могут убить, что его «поволокут», что его будут... — нет, не помнил. Не думал, что если и останется жив, так его завтра же по какому-нибудь «представлению», для урегулирования «инцидента», лишат службы. Ни о чем не думал, не мог думать, ибо все это закрылось одним веленьем — д о л ж е н. Русский доброволец действовал так не под влиянием мгновенного порыва: он б о р е т с я и не сдается. Его волокут пятнадцать человек японских солдат, но он не отступает, не покоряется: он выхватывает свисток и подает тревогу. И вот — грузовик с русскими добровольцами. Они являются на тревогу п е р в ы м и. Это все — «наймиты», чужаки в Китае и чужаки в мире, но они верны служебному и ч е л о в е ч е с к о м у долгу. Русский безвестный доброволец жизнь свою отдавал «во имя» — во имя ч е л о в е к а. За «китайскую женщину». А когда придет время, и ставкой будет не «китайская женщина», неведомая пылинка в мире, а Родина-Мать, Россия?! Можно ли сомневаться, к а к тогда будет действовать русский доброволец?! Он давно показал себя, целому миру показал, и мир поглядел сквозь пальцы. И в Шанхае он показал себя, и мир опять поглядит сквозь пальцы. Только — не весь. Японцы — о ц е н и л и «русского добровольца». Они поставили европейцам условие: «отныне порядок должен охраняться только регулярными частями, б е з «добровольцев»!» Сами решительные, отважные, они делают этим честь героям.

Не поглядит сквозь пальцы и Шанхай китайский, и сам Китай. Несомненно, войдет в легенду и пойдет по всему Китаю этот «шанхайский случай»: «русский доброволец, о д и н, вступился за нашу китаянку, выхватил револьвер». И укрепит-

ся добрая слава имени русского. Все страшатся, все уступают, все отступают, а этот «и один в поле воин» — не отступил. Это запомнится, это когда-нибудь отзовется.

Да, этот «инцидент» — серьезный. Не потому, что чуть не дошло до боя, а потому, что нашелся все-таки человек в духовно опустошенном мире, и человек этот — русский. Этот «случай в Шанхае» получает глубокое значение, особенно в наши дни, когда мировая нравственность так поблекла. Вот как служат России истинные ее сыны. Слава ему, русскому добровольцу без имени. Да какое же еще имя нужно? У него имя есть, славное имя — Русский.

Январь, 1938
Хальденштейн
(Возрождение. 1938. 4 февр. № 4117. С. 7)

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ «ПИСАТЕЛИ О ЧЕХОВЕ»>

Я знал Чехова, но как бы «со стороны», в те дни, когда он был в литературе А. Чехонте, а я гимназистом третьеклассником. Были у меня с ним две «встречи», в благословенном Замоскворечье: так сказать, бытовые встречи. Но это прямого отношения к заданному вопросу не имеет.

Затрудняюсь говорить определенно о влиянии Чехова на мои писания: еще задолго до знакомства с его творчеством я испытал сильные и разнообразные влияния коренной литературы нашей. Чтение произведений А. Чехова не было для меня выучкой, а упоением, наслаждением, и я не могу уловить, как оно на меня влияло: оно меня просто уводило в жизнь, уже довольно хорошо мне знакомую, но обогащало подробностями, черточками, каких не замечал я раньше. Пожалуй, приучало к чувству охватывать то «чуть-чуть», что особенно закрепляет художественный образ: внешний и внутренний. В этом смысле творчество Чехова, конечно, не прошло для меня бесследно.

Поскольку образы Чехова художественно-значительны, творчество его воздействует и теперь на жизнь, как это свойственно произведениям настоящего искусства: воздействует на человеческую душу и, конечно, на современную литературу.

(Для Вас. 1939. 6 авг. № 32. С. 17)

И. С. ЛУКАШ – БОЛЕН

Тяжело болен И. С. Лукаш. Русский читатель знает его и любит, ибо все творчество Лукаша наполнено Россией, ее славой, ее величием, ее движением в мире, ее страданием,

непоколебимой верой в грядущее воскресение ее. Ей отдает писатель весь пыл сердца, всю страстность писательского дара своего. Русский писатель — такая его природа! — всегда сознавал ответственность своего пути-служения: служения *человеку*, в понятии высоком, как бы священном. Ныне, вдали от родины, русский писатель раздвинул пределы обычного *служения*, и в его творчестве главное место занимает Россия, вся Россия, и дух, и быт ее, и все, что связано с ней. Это понятно, естественно, это — повелевает. «Россию! о России!..» — взыскует душа читателя, сердце его, без слов. И, слушая *свой* голос, русский писатель дает Россию. Так именно делает Лукаш, — делал до сего дня, не мог не делать. Писатель выполняет должное назначение свое. Знавшим Россию он помогает вспомнить чудесный Лик, и благодарны ему читатели, и, волевые из них, шлют ему слово привета и благодарности. Не помнящие ее — юное поколение — воссоздают по писателю неуловимый, священный Образ.

И. С. Лукаш достойно выполняет долг русского писателя. Русский читатель это слышит, держит в себе и тем воспитывается. И, чуткий, не может не сознавать, чем он писателю обязан. И вот, ныне, в трудные дни тяжелого недуга, постигшего И. С. Лукаша, отдавшего столько сердца на воссоздание священного образа России, мы — собратья взываем к родным читателям: помогите достойному русскому писателю и душевным, и материальным порывом, лаской и помощью, не дайте ему почувствовать одиночество в бесприютном мире. Найдите в сердце своем лучшее, что в нем есть, что есть общего у русского писателя и русского читателя: долг перед *человеком*, перед страданием близкого, во имя России, которая всех нас держит в себе, навеки.

Май, 1940. Париж
(Возрождение. 1940. 10 мая. № 4235. С. 6)

ПЕВЕЦ ЛЕДЯНОЙ ПУСТЫНИ

Ив. Новгород-Северский:
«Арктика», «Тундра», «Чум», «Айсберги», «Шаманы».

Что такое искусство? Создание н о в о г о, обогащающего душу, дающего р а д о с т ь художнику и нам, воспринимающим его творения. Радость родится в душе переполненной: душа пустая радости не родит. Радость творчества — вдохновение. Это Пушкин определяет так:

...Постойте! Наперед узнайте, чем душа
У вас наполнена, — прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем...

Творческая сила — чудесна: она показывает н о в о е, найденное художником, до творческого акта как бы не бывшее. Мы знаем тундру — по учебнику географии: унылая, бесконечная равнина; зимой — снеговая пустыня, летом — мхи, лишаи, березка-стланка. Там бывают северные сияния-сполохи, живут в чумах самоеды, тунгусы, пасут оленей, охотятся, — скучное, однообразное бытие. А поэт-художник видит не это, географическое, а н о в о е, таинственно преломленное его душой, ж и в о е. И пропоет о нем. И нам покажет. И мы получим, вместо унылости и скуки тундры, р а д о с т ь. Так было со мной. Я прочитал и не раз перечитал эти шесть книжек-тетрадок, по 16 страничек в каждой. И увидал — н о в о е и родное. Увидал — всеобщее, ибо красота Божьей природы — для всех. Унылая тундра открыла чуткой душе поэта редкую красоту и в красоте — Творца.

Блестит снегов наряд порфирный,
Он весь в алмазах, жемчугах, —
Как будто Дух благой, надмирный,
Мне небо разостлал в ногах.

В этих книжках нет слова — «Россия». Но ее чувствуешь в безмерности снеговой пустыни: это от нее веет крепким морозным воздухом, простором, осыпает снеговой пылью в бешеном беге-лете... пусть не коней — оленей:

От собашных самоедов
Еду к югу, к оленным,
Тороплюсь по волчью следу
На тепло, на дальний дым.

Любо нартам расписным
В снежном бисере купаться,
Как лебедке отряхаться,
Видеть месяц молодым.

Красоваться перед ним
Блеском снежным, нежным пухом,
Нашей волей, нашим духом,
Тем, что птицею летит.

Читая, чувствуешь себя в полете: это полет души поэта передался нам, и мы мчимся, в очаровании. Вот она власть таланта.

В стихах Новгород-Северского не только пейзаж, картинки жизни тунгусов: в них и духовная углубленность, чувство благоговения, общения с Высшим.

Сполох горит негреющим огнем.
Но в сердце теплота, душа согрета чем-то.
Я в тундре не один:
Великий Властелин
Зажег огни
И светит мне зачем-то!..
Да как сказать... зачем?
Мне нужен этот свет,
Как птице, зверю, самоеду...
Сполох горит уж много-много лет...
Ведь не один я тундрой еду...

Или еще:

Найди-ка след прошедших кораблей
В бродячих льдинах бухты очертанья...
В угасшем небе только Водолей
Плеснул ковшом над кораблем скитанья...
Его струя мне душу леденит:
Ужели хлад и в небе бесконечном...
Но нет... звезда, блеснув, как полымя горит
И сердцу говорит об огненном и вечном.

Эта углубленность, насыщенность — «от духа» — ценнейшее свойство поэзии вообще; оно воспитывает душу читателя. И этого ценнейшего много в стихах Новгород-Северского. Он — от лучших истоков русской поэзии: идет от Пушкина, от Тютчева... У него есть и светлая простота, и чувствование человеческого примитива. Смотрите, как передает он религиозную простоту дикаря, и сколько в этом прелести! Вот тунгусская песенка:

ГОЛУБЫЕ БОЖКИ

Божки нанизаны на голубую нитку,
А это значит — на небе живут,
И ходят в небе голубой тропинкой.

Божки нанизаны на голубую нитку.
А это значит, что они пасут
Оленей в небе с голубою спинкой.

Божков возьми за голубую нитку,
Повесь на шею — будешь голубым...
И легким-легким... словно дым!

У Новгород-Северского не только богатая палитра для изображений в н е ш н е г о — торосов, ледников, айсбергов, сполохов, творящих розы в льдах. У него богатство внутреннего содержания. Например, стихотворение «Мысль».

...Олени вихрем мчатся,
В их лете мысль свою постиг...
Ну где постичь, куда за ней угнаться!

И редкая душевность, детскость — подлинного поэта свойства:

У камелька сидит старушка с детворой,
И льются ручейком седые сказки.
Блеснет снежок и захрустит порой,
Но дети глянут бойко, без опаски.
Они привыкли. Знают каждый звук,
А волк не смеет к чуму приближаться
И путать сказки, портить их досуг
Да с ними, малыми, из-за добра кусаться.

Поэзия Новгород-Северского — светлая, бодрая. Она — в здоровом русле русской поэзии, — пушкинское приятие жизни. Вот, «Олень смарагдовый»:

Олень смарагдовый приснился:
Был золотым он в блеске дня,
Полярный снег под ним искрился,
С цветами полными огня.
Олень, на молнию похожий,
Чуть-чуть касавшийся земли.
И стук копыт, с громами схожий,
И глас я слышал: — «Мне внемли:
Вот так, как я, встряхнись грозово,
Над тундрой звонкой поднимись,
И к звездам жарким с песней новой
Оленем солнечным взметнись».

Я привел ряд стихотворений: в них говорит сам поэт, я ничего не внушаю читателю. Я хотел бы привести еще и еще, отметить другие стороны его пенья. Но не стану задерживать читателя: он, если сердце его открыто, сделает это сам, прочтя эти «полярные» тетрадки. Для меня ясно, что перед нами — подлинный талант. И он растет. Последняя книжечка «Шаманы» — самое совершенное в творчестве Новгород-Северского. Этот экстаз-полет, это заклинание весны — прекрасны; тут сказался вкус поэта к образу:

На бубне волшебном летели шаманы —
Спешили за солнцем, встречали весну.
От них убегали седые туманы,
Глухие морозы, слепые бураны —
С зимой отходили ко сну.

«Седые», «глухие», «слепые»... — точные определения дряхлости, конца... Я не говорю о форме. Да, есть погрешности, «соринки», ошибки в стихосложении, — это легко преодолевается. Мы знаем безупречные стихи многих поэтов... не вдохновения, а лишь поползновения: этот пустоцвет так и останется пустоцветом. А тут — подлинное творчество большого таланта-дара.

(Парижский вестник. 1943. 23 окт. № 71. С. 6)

ТВОРЧЕСТВО А. П. ЧЕХОВА

Чехов (род. в 1860, сконч. в 1904) — еще не вполне раскрыт и оценен соотечественниками. Современники ценили в его рассказах меткое изображение родного быта, словесное мастерство; их привлекала мелодия его произведений, в которой слышалась затаенная грусть, неопределимая, как в песенке певчего дрозда. Он стал для многих *своим*, любимым.

Почему? Чувствовалось: так, *чем-то*. Не ставили его вровень с великими, — с Толстым или Достоевским; но любили не меньше, как-то особенно, роднее. Может быть потому, что не чувствовали его величия, и к любви примешивалась жалость: окончив университет на врача, Чехов вскоре серьезно заболел, и говорили, что у него чахотка. Он не потрясал, не воспламенял, не учил. Он только рассказывал, с юмором или нежной грустью, касался чего-то неясного в душе, что-то напоминал, забытое, грустил о чем-то, мечтал о прекрасной жизни, «которая будет лет через триста...».

Задумчивый, даже застенчивый, внимательный со всеми, *тихий*, — был он совсем несозвучен и времени революционно-шумному, и, вскоре после его кончины, — 2 июля 1904, — его уже начинают забывать.

С революции 17 года он совсем выпадает из смятенной жизни, почетно покоится в истории литературы. Новому поколению, «советскому», он уже не *свой*: он, будто, уже лишний, непонятный. Конечно его читают, особенно «легкие» его рассказы, первой его поры: «прорабатывают», поскольку требует школьная программа, — только: слишком он «неактивен», слишком целомудрен, тонок и нежно-грустен.

Старшее поколение перечитывает его, — *что-то* ему в нем *слышится*. Говорят, что теперь и молодежь начинает его читать, начинает даже любить его... — и едва ли в силах понять сокровенное его творений. Но *чем-то* к нему влечется, о *чем-то* и ей он напоминает...

Еще меньше понятен Чехов иностранцам. Читают его охотно, в нем привлекает занимательность, меткость изображения чужой, «экзотичной», жизни; юмор: но он не захватывает, как Достоевский или Толстой, которые теперь раскрыты читателям в целом свете трудами критики.

А между тем Чехов — та же большая дорога русской литературы, и, как великие наши, — Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой... — стоит в том же русле духовного русского потока, первоисток которого — духовная сущность русская, русская душа, именуемая в мире «âme slave», мало ему понятная.

Вот почему, предлагая Чехова иностранным читателям, необходимо сказать о русской духовной сущности и, как ее выражение в искусстве, — о большой дороге русской литературы. Тема огромная, религиозно-философская; в предисловии приходится лишь поверхностно ее коснуться.

* * *

Известный публицист Герцен высказал, что вся русская литература «вышла из гоголевской «Шинели», — известной повести Гоголя.

Это совсем не верно: Русская литература, — а с нею и гоголевская «Шинель», — вышла из духовной сущности русского народа, из томлений его по «правде Божией» на земле, из его веры в эту правду, из его исканий этой правды, при всей его необузданности и греховности, при всем его метанье «от Мадонны к Содому», по словам Достоевского. *Особенность* русской культуры — в ее *истоке.* Русская культура — «запечатленная» печатью тысячелетий: крещением в православие.

Этим и определилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения. При склонности к созерцательности, русская душа — страстная, мятущаяся от «Светлого Града» — к Аду, душа художника и юрода, смиренника и дерзателя, подвижника и грешника. Но она и крепко восприимчива, и, если полюбит что, если во что поверит, — крепко запечатлеет это, отдаст себя за это безоглядно.

Удивительно, как почувствовал эту безудержную душу иностранец, граф Жозеф де Местр: «Если бы русское хотенье, — говорит он в своих «Quatre Lettres sur la Russie» (1859, Париж), — смогли заточить под крепость, оно бы взорвало крепость». «Крещенская купель» и стала для души русской запечатленностью, причем вросла в нее и дала блистательное

цветение. Это доказано бесспорно и русской историей, и всей культурой русской. И еще до научных доказательств Пушкин проникновенно определил: «наша просвещенность пошла от монахов».

Этот свет и поныне светит, что бы там ни творилось в видимости. Его влияние мощно сказалось в русском искусстве: в живописи, — икона! — в музыке, зодчестве — храмы нашего Севера! — и, особенно, в русской «большой» литературе.

Наша литература — тоже «запечатленная»: она исключительно глубока, «строга», как, быть может, ни одна из литератур в мире, и целомудренна. Она как бы спаивает-вяжет Землю с Небом. В ней почти всегда — «вопросы», стремленья «раскрыть тайну», попытки найти разгадку мировых загадок, поставленных человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о смысле жизни, о *правде* и кривде, о Зле-Грехе, о том, что будет *там*... и есть ли это — *там?*.. Искусство каждого народа — по его емкости духовной. Национальная литература всегда черпает из души народа. Большая литература каждого народа — *его* литература, духом его рожденная.

Веками лепила Церковь народную душу русскую: недаром Достоевский назвал русский народ «народом-богоносцем»; недаром Тютчев пропел «Эти бедные селенья...». Церковь внушала, как драгоценна личность *всякого* человека, — задолго до мировых мыслителей, — как бесценна *каждая* человеческая душа, вне племени и веры, — сей образ Божий. Церковь показывала народу высокое совершенство Святых его. Церковь подняла на высоту русскую женщину, признала за ней *свободу* и укоренила в жизни. На всей культуре нашей лежит печать целомудренной женственности и милосердия. Питание Вечным Словом слагало характер народа, его *правду*. Отсюда — наше «правдоискательство», воплощенное ярко в литературе нашей. Отсюда и «нищета духом», небрежение «вещами мира сего», алкание жития праведного, искание Града Божия на земле.

Бе этого запечатленного лика не было бы великой литературы русской; не было бы ценнейшего, что дал Пушкин, не было бы тургеневского перла «Живые мощи» и Лизы «Дворянского Гнезда»; не было бы символизма Гоголя и его «Шинели»; не было бы *всего* Достоевского, его богоборцев и голубиных душ, метаний его «двойников» — «от Мадонны к Содому», старца Зосимы и Алеши Карамазова, его *света* даже и в «Мертвом Доме».

Не было бы многого в Толстом и, конечно, не было бы у мира «Анны Карениной». Не было бы изумительных страниц в «Соборянах» Лескова; не было бы и взолновавшего когда-то русское образованное общество «Красного цветка» Гаршина, странного цветка — символа мирового Зла, который сорван был, в жертвенном порыве, безумным героем этого тяжелого рассказа, разбившим окно больничной комнаты и истекшим кровью в глухой ночи.

«Тревожная совесть» русской интеллигенции, ее идеализм, служение ее «меньшему брату» и жертвенность — в значительной мере от совести народной, от таимой душой народа *правды,* той правды, поклониться которой страстно призывал Достоевский в знаменитой речи о Пушкине в 1880. Об этой правде, о «нравственном запасе в душе народа», говорил в речи о преподобном Сергии историк Ключевский, объяснявший силу русского народа быстро оправляться после государственных потрясений и военных поражений — именно этим «нравственным запасом».

Святое слово упало на почву добрую, — в душу простосердечного народа. Русская душа сложилась под воздействием потока Живой Воды. Из этого благодатного орошения-воздействия и расцвела русская культура, для выполнения назначенного ей удела в мире.

Правда, светившаяся в душе народной, влилась и в душу русского образованного класса, — нравственной высотой. Мы помним наш Суд, нашу медицину, высокие заветы Пирогова русским врачам. От этой *правды* — и отношение нашего народа к преступлению, как ко *греху,* к преступнику — как к *несчастному.* К этой правде прислушивался и законодатель, и не случайно древний русский уголовный кодекс назывался — «Русская Правда». Отсюда — неизвестное Западу — «церковное покаяние», налагаемое Судом, когда закон не может признать вины, а совесть ее *слышит.*

Мы помним русских девушек и студентов на эпидемиях в́ «голодные годы». Помним и писателей, — Толстого, Короленко, Чехова, своим примером будивших общественную совесть. Откуда это? От нашей «тревожной совести», покорной велению Высокой Правды. Эта «тревога» кричит даже в таком «свободном художнике», ко всему, будто, безразличном, как рассказчик в чеховском рассказе — «Дом с мезонином». Его спор с Лидой, его выступление «за малых сих» — все от той же Правды:

«...Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины... всю жизнь дрожат за голодных и больных детей... рано блекнут... и умирают в грязи и вони... Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии...»

Герцен сказал, что на реформы Петра «Россия через сто лет ответила Пушкиным». Не только «на реформы». Не будь «запечатленности» нашей — не было бы ни Пушкина, ни великой литературы русской. В Пушкине чудесно слились оба потока — небесный и земной, и проявился изумительный блеск этого гармоничного сияния. Поток просвещения и до Петра вливался, и жизнь, в мерном развитии, выращивала изумительные плоды: вспомним хотя бы безымянного нашего Гомера, гениального творца «Слово о полку Игореве».

С реформами Петра этот второй поток ринулся на Русь и смыл много заветного; наряду с темным — и много светлого, ценнейшего; смутил и придавил душу народа, запугал и загнал ее, сбил с естественного пути раскрытия.

Последствия сего — неисчислимы. И, самое главное, — та пропасть, что разверзлась между народом и его верхами. С петровского напора, с бурного наводнения-потока, с «антихристовой печати», как заклеймил народ, враждебной «печати благодатной», началось взаимное непонимание народа и «господ»... Пушкин дал символ этого наводнения-сполоха в своем шедевре — «Медный Всадник». Чехов отмечает это непонимание с тонким юмором, в котором слышится трагическая нота. В рассказе «Новая дача» обе стороны смешно не понимают друг друга, — в этом-то и трагическое, и горечь, — и из соседской жизни получается мучительное — и смешное! — недоразумение, при общем желании жить «по правде».

С великими потугами пробует высказать свою «правду» кузнец Родион:

«...Не обижайся, барыня... чего там! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и все обойдется. Народ у нас хороший, смирный... народ ничего, как перед Истинным тебе говорю. Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет. Не обижайся... потерпи... чего там!»

«Потерпи...» В этом прикровенном слове большая мысль: «поживи с нами, узнай нас... — и все простишь, и все поймешь, и мы поймем тебя... и все обойдется».

Как эти косноязычные слова Родиона, так же, с чутким вниманием, надо раскрывать и Чехова.

Чехов и прост, и ясен, и — глубок. Его творчество, при внешне-увлекательной легкости, — творчество глубокого *вздоха,* целомудренно-прикровенно. Принимать его надо *сердцем,* и тогда многое открывается: и скорбь, и горечь, и возмущение. Он — от народа.

Внук крепостного, сын мещанина-лавочника, врач, рационалист, к религии, внешне, как будто, равнодушный, он целомудренно-*религиозен* — он — *свой* в области высокорелигиозных чувствований. «Невер», воспевающий гимн — «науке, как единственной в мире истине и единственной красоте», — как знаменитый профессор его рассказа «Скучная история», и — «земному знанию», как доктор Рагин в рассказе «Палата номер 6», «вызванный какими-то случайностями из небытия к жизни», Чехов глубоко постигает красоту религиозного восторга и через этот восторг — радость и красоту *жизни.* Это ясно высказывается в *любимых* его рассказах, — об этом он говорит в письмах, — «Студент» и «Святою ночью»:

«...Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям... Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий... и ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного, как дрогнул другой... Думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду, и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Постижение духовной красоты, как она выражается, до восторга, народной душой, до того близко-понятно Чехову, что в читателе создается уверенность, что и сам писатель — весь в этой красоте-восторге. Это определенно вскрывается в рассказе «Святою ночью». Самый пейзаж вводит в это «песнопение».

«...Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд... Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на

небо, все до единой тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине...»

Рассказ монаха-паромщика брата Иеронима, на ночной реке, в пасхальную ночь о сочинявшем акафисты только что умершем друге, иеродиаконе Николае, — сплошное песнопение под звездами. Вскрывая тайник души народной, оно вскрывает и тайник Чехова: чувствуется, что оба тайника — единое.

* * *

Надо знать, в какую пору писал Чехов. В 80—90-х годах прошлого века читатель требовал от писателя не свободного творчества, а, главным образом, ответов на вопросы общественности, хотел видеть в писателе, прежде всего, — *трибуна.*

Чехов остался самим собой, верный тайникам своей совести, художественной правде, черпавшей от народной *правды.* И потому он — писатель национальный, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Лесков... Он не отзывался на «злобу дня сего»; он созерцал глубины жизни, вечные глубины.

Его творчество, как вся большая литература, захватывая содержанием, пленяя образностью и мастерством, почти всегда глубоко и целомудренно серьезно, даже *строго.* Основное в нем, — или как лейтмотив, — глубокие вопросы: «вечные загадки», универсальные: о Боге, о смысле жизни, о *бытии,* о Зле, как грехе, о счастье. Эти вопросы близки русской душе, главное в ее мироощущении: русский человек, как бы он ни был духовно ограничен, всегда таит их в душе, любит об этом слушать и говорить. Эти вопросы-тайны — его прирожденная основа. Основа эта питает национальную литературу, спаивает ее с народной *правдой.* Русская литература — не любование «красотой», не развлекание, не услужение забаве, а именно *служение,* как бы религиозное служение.

Этим творчество Чехова связано с душой народа, и потому-то он *свой:* и то, *что-то,* забытое, о чем он, будто, напоминает нам, — заветное наше, затерявшееся в смятенной жизни.

Чехова не подчиняют своему капризу ни мода, ни «программы». Как народ, он всегда мыслитель, всегда искатель, творит сердцем, и потому творчески-религиозен. Он закрепляет истину, что подлинное, национальное, искусство — «веленью Божию послушно», по вдохновенному завету Пушкина.

Вот, рассказ «Свирель». Это — как бы «отходная», реквием. И эту «отходную» выпевает на самоделковой свирели старый пастух Лука. Бедный, в невеселое, сырое утро. Весь рас-

сказ — трогательные *размышления*, разговор двух простецких душ *«о конце»*. В этих двух-трех нотках свирели Чехов вскрывает большое содержание.

«...Пришла пора Божьему миру погибать». «Жалко!.. — вздохнул старик после некоторого молчания. — И, Боже, как жалко!.. Сколько добра... и солнце, и небо, и леса, и реки, и твари... — все ведь это сотворено, приспособлено... всякое до дела доведено... и всему этому распадать надо!..»

Одни и те же жалеющие две-три нотки. Но эти скупые нотки обращаются как бы в «Плач о Жизни», в жаленье целого мира Божия, в сокрушение о Грехе-Зле:

«...Плошаем из года в год. Бог силу отнял. А все отчего? Грешим много, Бога забыли...»

О Грехе-Зле, о распаде жизни через Зло-Грех, о страдании... — главная тема Чехова. «В овраге», «Палата № 6», — рассказы глубокого *воздыхания*.

В жутком рассказе — «В овраге» — Зло-Грех пропитало все, убило живую душу и как бы *воплотилось* в образе красивой Аксиньи:

«...У Аксиньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, — Чехов говорит о ее платье, — с улыбкой она глядела, как весной из молодой рожи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову».

«...Волостной старшина и волостной писарь... уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая».

В этом человеческом «овраге» все же не угасает *свет:* «и тьма не объяла его». Верный народной правде, Чехов — рационалист-то! — дает чарующий образ Липы, весь созданный из света. Отчаянный ее вскрик — «И зачем ты отдала меня сюда, маменька!..» — единственный во всем рассказе-трагедии бессильный протест ее. Кроткую, ввела ее жизнь в «овраг» этот, в эту кромешную тьму, где змея-грех убила ее ребенка.

Бессловесная её мать Прасковья и она, кроткая Липа, чужие этой «тьме», этому греху-богатству, близки к последнему отчаянию:

«...И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сто-

рожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью».

Глава VIII этого рассказа может по праву занять одно из первых мест в мировой литературе. Незабываемы страницы, когда кроткая Липа, у которой змея-грех вырвала сердце, — ошпарила кипятком ее первенца-младенца, несет маленького покойника, одна, в ночной глухой степи, когда вся степь поет всеми ночными голосами торжество безучастной к человеческому горю природы:

«...Она глядела в небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно...»

Верный чувству народной правды, Чехов находит выход из «оврага» — в *отходе* от греха-зла. Липа из «оврага» выбралась, она снова в труде и бедности, но она *свободна;* она, как вешний жаворонок, опять поет:

«...Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом... Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть».

Достойно внимания: «небо» у Чехова почти всегда *поднимает,* освобождает человека, — дает выход. Всегда у него «земля» связана неразрывно с «небом», — глубоко-национальная черта.

* * *

Кто же сам Чехов? рационалист? атеист?.. Творчество его дает точный ответ — *кто* он.

Этот ответ — во многих его рассказах. Особенно полно выражен, хотя и прикровенно, в «Скучной истории».

Знаменитый профессор Николай Степаныч, верующий лишь в науку, в конце жизни сознает полную свою беспомощность, душевное свое банкротство. Он бессилен ответить воспитаннице Кате, любимице, на жгучий ее вопрос, — «как же жить, быть?!..»

— Не знаю, Катя... — растерянно говорит он, перед близкой смертью.

Но ему необходимо решить, почему же это бессилие? Умный профессор постигает, почему: за всю долгую и научно-блестящую жизнь свою он так и не удосужился найти «общую идею, или то, что называется Богом живого человека». Он обнаружил, что не было у него *основной* идеи, руководящей, которая — одна только — венчает в стройное целое все отрывочное, малое и большое, что было в жизни. И приходит к отчаянному выводу:

— А если этого нет, то и *ничего* нет.

Нет «общей идеи», нет «Бога живого человека» — тогда что же есть? Пустота, прах. *Правда жизни* дает за себя отомщение.

То же и в потрясающем рассказе — «Палате № 6».

Доктор Рагин — позитивист, рационалист, создавший своеобразную «философию», укрывающую его от *правды* жизни. Он весь книжный, на подлинную, неприглядную жизнь он махнул рукой. Больницу он забросил, да она, по его «философии», — сплошной вред. И вот, *правда жизни* требует его к отчету. Палата номер 6, страшное место мучений, где над умалишенными властвует кулачищами вечно пьяный Никита, глотает и самого доктора, жестоко кончает с ним.

* * *

В эпически-неспешном повествовании «Степь» Чехов дает как бы отдых читателю — от загадок и вопросов. Здесь то же: земля и небо, просторы далей, и много воздуха. Здесь целая вереница лиц, целая галерея душ, простых, косноязычных, выброшенных в «степь» жизнью. Но и здесь, в этих людских «огрызках», — *душа — правда,* разлитая повсюду грусть... грусть о несбывающемся, о *чем-то,* чего, бессознательно, все ждут, — как ждет и самая «степь», как благодати, — какая гроза дана! — и что не приходит... Придет ли?.. Почему не приходит?.. Откуда эта томящая всех грусть и «скука»?..

У Чехова есть знаменательный рассказ, в котором как будто содержится ответ на это вечно-грустное — «почему не приходит?». Что не приходит? А вот то, извечное, что таится в душе народа: *правда,* по которой она томится, в которую стихийно верит.

Это совсем, будто, непритязательный рассказ... — «Дом с мезонином».

Две сестры: старшая — Лида, красивая, с маленьким, упрямым ртом, со строгим выражением; младшая — Мисюсь, лет

17—18, большеротая, большеглазая, всегда в мечтах и с книжкой, совсем не деловая, большой ребенок, но, по мнению рассказчика-художника, не делового тоже, — «у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений». Лида — рассудочная, холодная; Мисюсь — вся — *сердце,* с чувством какой-то большой, *живой* правды. Одна — разум; другая — инстинкт, интуиция. Лида и Мисюсь — как бы две двигающихся силы в жизни: одна — острый и терпкий плод от «древа познания»; другая — само естество, от «древа Жизни». У художника отняли Мисюсь, разбили счастье, жестоко и хладно. Только ли у художника отняли? Чувствуется по Чехову, по всему творчеству его, что «Мисюсь» отнята у целой жизни, что по ней-то и томится жизнь, что в ней-то и есть самая живая правда, без чего жизнь — не жизнь, а томительноеснованье, как «крутится» по степи Варламов. Рассудочно-хладной «Лидой» отнята вся поэзия у жизни, вся красота у жизни, самое Небо отнято, самая вера в Бытие отнята, в душу свободную, в творящее жизнь *живое сердце.* У целого мира отнята большеглазая, нежная «Мисюсь», куда-то увезена, упрятана... Этот рассказ, особенно в жестокое наше время, приковывает внимание вникающего сердца, ибо только сердце раскрывает глубинное содержание его.

«...Мисюсь говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмерты», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств».

Таимая душой народа *правда* тоже не нуждается в доказательствах. Не нуждается в них и Чехов, при всей, порой, смятенности душевной, — в этом рассказе он раскрывается нам вполне, дает почувствовать, во что он глубинно *верит:*

«...Я уже начинаю забывать про дом с мезонином и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество, и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?..»

Май, 1945

(Русская мысль. 1952. 30 апр. № 445. С. 4—5; 7 мая. № 447. С. 4—5)

НЕОБХОДИМЫЙ ОТВЕТ

Письмо в газету

25 мая, вечером, советское радио оповестило, что в новой русской антикоммунистической газете «Русская мысль», в Париже, сотрудничает, между другими «фашистами», писатель Шмелев, «работавший с немцами» во время оккупации. Этот злой навет я обязан опровергнуть.

Фашистом я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда. Пусть мне укажут противное. Где не признается *человек*, где нет свободы слова, мысли и совести, там нет души писателя. Но главное не это, а — произвольное утверждение, что я «работал с немцами». А я утверждаю совсем обратное: я работал *против* немцев, против преследуемой ими цели — в отношении России. И приведу доказательства.

Да, я печатался в «Парижском Вестнике»: там было напечатано четыре моих рассказа и одна литературная статья. Почему там печатался? А вот почему.

Для сотен тысяч русских людей, пригнанных немцами в Европу, не было русской газеты. Когда нарождалась газета «Пар. Вест.», ее редактор просил меня о сотрудничестве. Я спросил, на *чьи* деньги. — «На русские, начинаем с нашими 3 т. фр. Массам *оттуда* нужна русская газета». Я понимал, что нужна, и *что* им нужно в ней. Я решил — печататься, для них. Говорить то, что я говорил всегда, — о России, о ее величии, о ее материальном и душевно-духовном богатстве. Немцы — и не одни они — искажали подлинный лик России. Писали, что Россия — «историческое недоразумение», ни истории, ни культуры, великая степь — и в ней дикари. Немцы показывали этих «дикарей», возя русских пленных и пригнанных, стойком на камионах, по Берлину, одев в отрепья... — «смотрите дикарей! мы несем им культуру!..» Это было. Было и многое другое, куда страшней. О сем дошло и до русского Парижа. Оставить без ответа эту ложь? Мне как бы открывался слу-

чай, в меру моих сил, хотя бы в узах, скрутивших слово, образно опровергнуть гнусную клевету. Я полагал, что мои рассказы о родном могут содействовать этой цели. Я не ошибся, чему имеются подтверждения.

Я писал подлинную Россию, пусть былую, — но она есть! — ту, что дал в своих книгах, особенно в «Лете Господнем» и «Богомолье». Вначале я напечатал «Чертов Балаган», раньше печатавшийся в «Возрождении»; перепечатал для пригнанных *оттуда,* чтоб постигли чувство долга. Пусть прочтут, о *чем* там речь. Это ли «работа с немцами»?..

Я напечатал «Именины» — о русской душе, о ее глубине и нежности, о ее чутье к правде, к Божьему, о ее ласковости, о русском обилии, размахе, о благодарности за добро, о ее *песне*... о ее прегрешениях и слабостях, о ее покаянии... Пусть прочтут. Это ли — «работа с немцами»?!

Я напечатал «Рождество в Москве» — о той же русской шири, о вещном и душевном богатстве, о тяге к чистоте и красоте, о самобытности, о сильном *бытии,* чем вправе русские гордиться. Пусть прочтут и пусть тогда дерзнут бросить мне грязное — «работал с немцами»!.. Пусть же знают, что мои русские друзья в Берлине, поняв глубинный смысл рассказа, хотели напечатать его в тамошней русской газете; но цензор-немец перечеркнул красными чернилами, до прорыва бумаги, сказав: «*нам* это совсем не нужно!..» Потому и «не нужно», что это — *против немцев,* против их злостно-пошлой маски на Россию. В Париже «протащили», и я получил отзвуки признательности. Пусть прочтут — может быть, поймут, какая тут *работа.*

Я напечатал рассказ «Почему так случилось?» — сложный, трудный для постижения в беглом чтении. Там — о России, о преступлении против Нее. Там — покаяние русского интеллигента. Но там и апофеоз русской простой души, русского «примитива», но сколькими головами этот «примитив» выше открывшихся перед миром *немцев!..* И это называют — «работал с немцами»!..

Не раз предлагали мне в Эмигр. Управлении дать «что-нибудь поактуальнее». Я отвечал, что не пишу для пропаганды, «актуальности» в душе нет. На меня косились, задержали на полгода статью «Певец ледяной пустыни». Мне предлагали возглавить «литерат. отдел» при Управлении и — я отклонил. Предложили — «почетным председателем», — ответил, что не ценю почета. А когда мне пришлось просить о визе за границу,

для устройства литературных дел, ответили: «когда же вы дадите что-нибудь акту-альное?» Я снова заявил — не-спо-со-бен. Тогда мне было сказано: «дайте прошение о визе... мы направим». Ответа не было.

Я шел на жертву, работая в такой газетке. Но что же делать? Хоть через вражий орган «шептать» правду... — поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют. Меня читали — и были благодарны. И все это — никак не значит, что я «работал с немцами»: моя работа шла как раз вразрез с их целью.

Легко, конечно, было уклониться от поганой ямы... Но вот... — если ребенок упал в яму, воздержаться или опуститься в нее из страха загрязниться? Нет, и не подумают о грязи, опустятся, чтобы помочь ребенку. Мой случай, — если взять долг писателя перед народом, — трудней, сложней. Я его понимаю так: если есть малейшая возможность защитить честь родины, оберечь ее чистое имя от издевательств, — надо такой возможностью воспользоваться. Что я и сделал. Все, что я писал за всю свою жизнь, — на виду. Пусть отыщут хоть в одном словечке «работу» на врагов, а не на родину. Я писал только о России, о русском человеке, о его душе и сердце, о его страданьях. О его страшной беде. Только. *Против* России, за Ее врагов — ни единого слова не найдется. Это боль русского писателя о *родном*, — для тех, кто читать *умеет*, — во всем творчестве. И это знают не только чуткие русские читатели, но и читатели более чем «двунадесяти языков».

Май, 1947
Париж
(Русская мысль. 1947. 31 мая. № 7. С. 3)

«МИСЮСЬ» И «РЫБИЙ ГЛАЗ»

Письмо о русских жещинах

...Редко я отвечаю читателям, но вам отвечу: вы иностранец, а дело тут о нашем большом писателе.

В рассказе А.Чехова «Дом с мезонином», названном в немецком переводе — «Мисюсь», вскрывается очень важное, — о мироотношениях и путях жизни: по уму и по сердцу; читателю образно открывается, какому пути отвечает художественная правда Чехова.

Вы заключаете, что Чехов признает правоту Лиды. Я попытаюсь показать, что это не отвечает художественной правде рассказа.

В послесловии к сборнику — «А.Чехов» я привел одну из сцен рассказа, где намекается чеховская *правда;* а ясней она проступает в последней сцене художника-пейзажиста с Лидой, и в «диктовке».

Можно ли приписать чуткому Чехову, что он признает правоту за Лидой? правоту ее отношения к свободе чувства, духа? Чехов и имя-то ей дал, хладно звучащее по-русски: сочетание в ее имени *«л»* и *«д»*, дающее звуковое впечатление слова *лед,* вызывает ощущение холода. И, действительно, Лида в рассказе — «ледяная»; немцы зовут таких «рыбий глаз», «фиш-ауге». На такой «лиде» поскользнешься, из «рыбьего глаза» их веет мертвящим холодом.

Как дал Чехов Лиду в последней сцене? Дал окарикатуренной, усмешливым глазом скользнув по ней.

Что сделала Лида? Расправилась с судьбой сестры, — с полуребенком «Мисюсь», и с матерью. Она давно запугала их, придавила своим авторитетом, властностью, «умом»; и они вручили ей покорно свою волю. Они до того подавлены «диктатурой» Лиды, что даже в важном вопросе личной жизни, где решалась судьба «Мисюсь», ее счастье с любимым человеком,

они рабски покорны ей: Лида куда-то их убрала, распорядилась ими, как багажом — отправила куда-то срочно. Она за «Мисюсь» решила, «своим умом», что для «Мисюсь» счастья с художником-«пейзажистом» быть не может, и самовластно распорядилась судьбой сестренки. Срочно-нежданно выпроводила ее из дома, без всяких объяснений с влюбленным в нее художником, и твердо уверена, что так, именно, и надо: она знает, что делает, ибо она все знает. Разбила родное счастье, и до того спокойна, что может тянуть рутинное, — обычную в ее расписании «диктовку». По ней это означает: делать дело, выполнять долг, *учить*. При таком разгроме семьи — диктовка! Не ясная ли усмешка Чехова?! — заставить Лиду диктовать деревенской ученице басню Крылова — «Ворона и Лисица»: о глупости и тщеславии. По басне, Ворона осталась «в дураках»; по рассказу — осталась «в дурах» самоуверенная Лида. Тут — прикровенно вынесенный ей вердикт. Одним словечком «ворона» Чехов дал всю ее, с вороньим ее умишком, с ее самолюбованьем: усмешкой скользнул по ней. И читатель обязан понять эту усмешку: этого требует искусство.

Мало того: Чехов, в конце рассказа, приоткрывает, с кем он душой, и подает надежду — в словах рассказчика-пейзажиста, — на *встречу* с утраченной «Мисюсь», — тонким упоминанием «*зеленого* света» в мезонине, этого «грюне лихт», — цвет надежды! Нежная грусть этого «конца» не может обмануть читателя в выводе, с *кем* же Чехов. Надо только *уметь* читать, а это немалое искусство, особенно для читателей не русских: Чехова и свои-то вполне не знают: слишком он прикровенно-целомудрен.

В этом небольшом рассказе дано большое, — показаны два мироотношения, два пути творить жизнь: хладным умом, «надуманно», и — вдохновенно вслушиваясь в *сердце*. Впоследствии я ограничивался намеком, указав на глубокий библейский символ — «Два Древа». Читатель сам наполнит намеченные формы: Чехов дал *все* для этого, своим мастерским искусством.

Что такое «Лида» в русской жизни? Редкий довольно образец, карикатурно дававшийся литературой нашей: так этот тип несвойствен характеру русской женщины.

Русская женщина, русская девушка... — носят в себе великий дар: большое сердце, тревожно-четкое. Русская женщина... нежна, мечтательна, жертвенна, принимает жизнь, как священное. Это она творит жизнь, это она выносит бремя испытаний,

хранит «соль» жизни». Наша литература ею прославлена. Сколько чарующих образов матерей, жен, бабушек, нянь, сестер, невест... у Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого, Лескова, Чехова, Мельникова-Печерского... и, конечно, у нашего Солнца — Пушкина! Есть и «Лиды», но почти все они подчеркнуты, окарикатурены, — все они как бы сбрасываются с жизненного счета. «Русская женщина» — у иностранцев — получает значение особливости — душевной сложности, загадочности, неопределенности, как и пресловутое наименование — «ам сляв», — и это свидетельствует о наличии *чего-то,* еще не понятного, не узнанного, что *вне* привычных мерок. Быть может, этим «чем-то» — творчество жизни *сердцем?* — и отмечается предназначенье наше — *осветить* и *обновить* Жизнь? *Освятить* ее?!!! Это заветное таится и в большой литературе нашей в искании нами Идеала. Мы не миримся с привычным сущим, мы ждем и — *ищем.*

И так понятно, что чуткий Чехов, как и его пейзажист-рассказчик, грустит по утраченной «Мисюсь» и призывает ее — «Мисюсь, где ты?..»

А «Лиды»... — таких — баб — называют «дуботолками», про них шутки как, наприм., про упрямую старуху, которая, в трясине, хоть высунутой рукой кричит и кричит свое «стрижено!..» — и стрижет пальцами: «не брито». Таких народ зовет метко — «голова воронья». И хоть им кол на голове, они все свое будут «дуботолить». Вот, про «ворону»-то и Чехов...

Эти «Лиды» — маленькие и узкие, с усохшим сердцем, упрямые. Их когда-то именовали кличкой «синий чулок», «передовая». От такой-то «передовой» педантки сбежал в приключения герой чеховского рассказа «Дама с собачкой». Такие бесплодят жизнь и никогда ничего не создают. Такие всплывают в революции, и тут они прямолинейно-тупы, нередко одержимы. Людей будут годы удушать, вгонять в надуманные формы, гнуть в дугу по придуманному плану, а «рыбьи глаза» как ни в чем не бывало будут продолжать: «Во-ро-не где-то... Во-ро-не...» Написала?

Пушкин сказал: «глупец один не изменяется...» Он был умен, свободен — и «изменялся». Тоже и Чехов. Рационалист, он нашел силу *открыть себя.* Его «Дом с мезонином» не был глубинно понят, как и немалое из его творений. Вдумайтесь, каков его суд над ему подобными, — над профессором в «Скучной истории», над Рагиным в «Палате № 6»?! Оба — врачи, как он.

«Рыбьему глазу» все равно: он и в трагическом будет долбить свое «воронье», спокойный, уверенный, что делает важное для жизни: будет диктовать «Ворону», будет диктовать и из пресс-куранта, и из «политической программы». К счастью для русской женщины, политика не берет ее: это область малого ума, — не Разума, не *сердца*. Русская женщина призвана творить, а не мертвить: она — сама Жизнь, *священное*.

Вот почему так притягательна власть нашей большой литературы, которая мало еще понятна миру, несмотря на интерес к ней: она зовет к священному творчеству жизни, показывая созидающие силы. Творит разумом сердца, творит даже через этих «Мисюсь»-полудетей. Такие-то, чистые с большими открытыми на мир глазами, и выносят тяготы жизни. Для таких «Мисюсь» — жизнь есть некое таинство, и они, как евангельская Мария, живут в себе, внутренним созерцанием, и это внутренне, без думы о нем даже, проводят в жизнь. И этим живят ее. Без них — оледенеет она, станет — как «рыбий глаз».

Июнь 1947
(Русская мысль. 1947. 19 июля. № 14. С. 6)

ПАМЯТИ «НЕПРЕКЛОННОГО»

Великая и чреватая страница Русской Истории заключена: «Скончался Генерал Деникин». Не только — Русской Истории. Генерал Деникин, его служба — связаны с Историей вообще, как связана Россия с миром. На протяжении ряда лет «дело Деникина» взвешивалось на мировых весах. От удачи или неудачи этого дела зависели будущие судьбы человечества. Ныне мы это видим. Это определяет место Деникина в Истории. Долго еще историки, политики и государственники будут вглядываться в эту чреватую страницу. Она содержит много учительного, пророческого. Эта страница вскроет много теней и света, но не откроет ни единого темного пятна, Россия не постыдится своего Сына: в его «послужном списке» самые ярые искатели «темных черт» не сыщут для себя удовлетворения. В этой странице крови, горя и слез найдут лавры и розы, найдут славу... найдут непроходимые стены терний, но: будут бессильны ткнуть в проступки и преступления, — там их нет. Могут подсчитывать ошибки, но не отыщут грязи, подделок, сделок, криводушия, клеветы... — всего того, что связывается обычно с «исторической личностью». Это уже победа. Это — слава и увенчание. Эта победа личности накрепко сплетена со славой и победой национальной. Немного найдется в Истории такой чистоты служения.

Я не дерзну говорить о славном Усопшем нашем — ни исторически, ни политически, ни в государственно-стратегическом размахе. Это дело людей, знающих историческое дело. Я могу говорить лишь о человеке. А это тоже важно: История судит дела, и судя дела, обязана исходить от человека: только тогда дела получат правильную оценку.

На мою долю выпало знать Деникина в близком быту, в текущей жизни. Я был в общении с ним в продолжение 14 лет, с лета 26 г. по весну 40. Это общение было порой почти что

ежедневным. Это общение не смею называть «близко-дружеским», но — «душевно-близким», «ласково-бытовым». Никогда — «нараспашку-доверительным», ни — «подоплечным»: Генерал Деникин — а для меня всегда, мысленно, — «дорогой Антон Иванович» — никогда не раскрывался; был всегда целомудренно-немногоречив. Но в бытовом общении внутреннее его само непроизвольно открывалось, и по отдельным чертам можно было составить подлинный и полный образ человека. Даже — исторического человека. И я составил этот полный облик и сделал вывод. Если бы мне пришлось дать его исторический портрет, я мог бы это сделать, не колеблясь.

Генерал Деникин остался в моей душе, как подлинно русский человек-солдат: верующий, честный и волевой; целомудренно-чистый, «ответственный»; человек любви «во Христе»; человек долга и — это такая редкость! — непреклонный. Во что поверил — тому служу. До конца.

Генерал Деникин был православный, глубоко-религиозный человек. Эта «православность» вела его — вождя, солдата, государственника, политика. Это великая сила: совесть, несение Креста, и — непреклонность: как на посту, до смены разводящим. Его никто не сменил, до смерти. И после смерти — никто не сменит. Он так и пребудет — «на часах», — примером чести, долга и стойкости.

Как православный человек, генерал Деникин был — чистым в жизни и в деле, — в борьбе с врагами России, веры, чести, правды. Как «бедный рыцарь», он принял российский щит, на коем начертал все, в трех знаках: Б.Р.С. — Бог, Россия, Свобода. Эту «троицу», этот свой символ веры. И остался им верен до конца.

Свобода... Как разумел ее генерал Деникин? Очень глубоко и чисто. Он был истинно человечен, человеколюбив. Для него не было сословий, классов. Он отвергал привилегии. Для него ни в чем не было — себя. Если бы дело удалось, если бы он возглавил, во всем, разгромленную Россию, как вождь или диктатор; если бы он нашел равных себе во всем для вождения России, он явил бы яркий пример — правителя православного. И привлек бы к себе сердца великого народа. Ибо не восхотел бы ничего — для себя. Для него не было чужих по крови, вере, расе, племени. Все измерял бы одним только — живым православием в себе. Иначе не мог бы вести и жить. И, когда смотришь на современное... — теснит сердце, что — «не сбылось».

Из православия в нем — вытекает важнейшее: Генерал Деникин был истинно лучший демократ, — то есть: черпающий исторически-государственные акты из свободной народной воли, из свободного духа всероссийского. Генерал Деникин был непреклонен в свободе, достойной человека. И потому он — непреклонный борец против насилия.

Этих высоких качеств души и духа довольно с преизбытком для устроения России на вере, свободе, праве, братстве и равенстве. Генерал Деникин — был — и был бы! — лучшим примером Правителя-Демократа. Да. Но — при условии, что его близкие сотрудники были бы по плечу ему. Сего не оказалось — в годы его служения. Это «не оказалось» явилось в его деле тяжким ядром, мешавшим его плану, — плану служения. Придет время — и наша правдивая История признает это. Возможно, что и при удаче дела освобождения России не нашлось бы достойных его сподвижников... но тогда сама Россия дала бы ему, а после него — задуманному и намеченному им делу, — достойных продолжателей: нашла бы в огромном своем запасе духовных сил. Война родит героев. Мир — не меньше рождает их. Особенно — после катаклизмов.

Вот эта непреклонность, эта верность, эта православность, эта свобода во Христе — всех... — такое сочетание — великая историческая редкость. И потому, все это, оставшееся незамеченным... это ныне зияние... — отзывается болью сожаления в русской душе и сердце. Незаменимый. «Бедный Рыцарь»!.. кто примет от тебя щит? что поведет за тебя, за тобой?!. Нет ответа. Пока — ответа нет. Но это не значит, что его не будет. Ответ будет. Верной сему порукой — великий народ всерусского исторического пути: силы его неисчерпаемы. А примеров в нашей Истории — довольно. В этом ряду примеров по праву занял достойнейшее место «Генерал Деникин».

12 августа 1947
Париж
(Русская мысль. 1947. 16 авг. № 18. С. 1, 3)

800-ЛЕТИЕ МОСКВЫ

1147—1947

Восемь веков исторического бытия М о с к в ы. В них — Р о с с и я. Мимо этой грани пройти нельзя, и так понятно, что нынешняя Москва праздновала это событие: ч т о-т о повелевало праздновать, необоримо-стихийное, над чем земная власть не властна: празднование д о л ж н о было состояться.

Мы тоже вспоминаем, — сосредоточенно вглядываясь в века, черпая в них урок и укрепление. Мы открываем грозные и чудесные страницы нашей Истории, — истории бытия Москвы, — и видим чудо. Не гордыня ли утверждать такое? чем гордимся? древностью ли рода нашего? Много народов древнее нас, мы — молодой народ. В чем же чудо? Чудо — «Неопалимой Купины». Восемь веков стоять — и устоять! — на «проходной дороге», открытой совсюду ветрам!.. Эти века «стояния» — сплошные бури: нашествия и пожары, глад и губительство, огонь и меч. Восток и Запад, Север и Юг — ломились в открытую Москву и через Москву, испепеляли, сравнивали с землей. А она снова возникала. Если бы, силой воображения, представить себе напластования под Москвой, мы увидали бы чередующиеся пласты уголища и пепла, белого праха костяков, черепки утвари, ржавые слои истлевшего железа — бердышей, копий и кольчуг, шеломов, секир, цепей... и — кровь, кровь, кровь... — если бы ожила она, — всюду кровь, пропитавшая пласты эти, спаявшая их незримо. В этих пластах — страшная и чудесная история Москвы.

...Москва стоит, ж и в а я. Чем держится? Не сказать ли народным словом — «Николай-Угодником держится»? не под незримым ли Покровом-Омофором? Услышаны ночные перекликанья стражи с кремлевских стен: «Пресвятая Богородицам, спаси нас!..» — «Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас!..»

Чем же она стояла эти века нашествий, пожаров, ига? Летописцы, мыслители, поэты... — по сие время раскрывают это чудо-стояние. После всего, что творилось с Москвой в эти восемь веков, — кажется, и следа не должно бы уцелеть на открытом месте, на этом пересечении ста дорог! А Москва все стоит и ширится. Не только стоит, а явила миру новое чудо бытия: отбила нашествие западных «монголов», повергла и раздавила в прах. Откуда это чудо? Все оттуда, откуда все чудеса минувшего: от Веры, от русского х о т е н ь я, от исконного нашего инстинкта — б ы т ь, свершить данное нам в удел. Этого не объяснить словами: это от недр, подспудное, дремлющее в неясной грезе, — и, вдруг, в страшный урочный час, взрывающее свой спуд стихийно. Эта сила являет себя в водительстве русских Святых Угодников; толкуется мудрецами, русской мыслью и русским чувством; вскрывается вдохновением поэтов. Это — стихийное, «русский дух», никем еще не осознанный. Это хранило и сохранило Москву — Россию: для нас, — для человечества, может быть. Так вещают духовные водители России, истолкователи российского удела. Этим путем, ищущим вечного, нетленного, вели русский народ его Святые, давая собой пример. И народ шел за ними, сердцем, бессознательно чувствуя величие удела, взыскуя Града. Не для сего ли вложено в нем чудесное «хотенье», о котором писал когда-то Жозеф де Местр: «Если бы русское хотенье заключить под крепость, оно взорвало бы крепость»? О нашей призванности, о «всечеловечности»... — говорил Достоевский в речи о Пушкине. О том же, прикровенно, — в литературе нашей, в течениях русской мысли. Наши Святые торили путь, примером и поучением внедряли в души наши сознание нашего «образа-подобия». И мы бессознательно несем, в великой народной толще, в народном «духе», — веру в предназначенье наше. На этом пути много соблазнов и уклонов, но народ подоплекой чует, что это е г о дорога, что не покинут его Водители. Недаром — в страшнейшее из испытаний, над бездной, уже разверзшейся, когда растерялась власть, русские обезбоженные люди взывали к небесному оплоту, как давняя крепостная стража молитвенною ночною перекличкой: «Пресвятая Богородица, спаси нас!..», «Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас!..» — до призыванья победоносных былых вождей. И русская вера оправдалась, и небесное чудо совершилось: ударили небывало-ранние морозы, до 40 градусов, в исходе старого ноября, и все окаменело, — и враг застыл. Это — История.

После вековых порабощений русская душа осталась живой, *свободной*. Как отзывались чужеземцы о русском мужике, о «крепостном рабе»? Много о сем свидетельств. Удивленно свидетельствовали о нем, как о свободном человеке, державшем себя с достоинством, говорящим — как равный с равными. Откуда это? От сознания своего «образа-подобия», от научения от своих Святых, от высокого своего *родства*, — от несознанного своего *богосыновства*. Не раб, и никогда не станет ничьим рабом, пока жива православная душа, пока живы в душе *истоки*, забившие в ней с *купели*. Вождение Святыми хранило и сохранило в русском народе — *человека*. И во всем мире он ищет *человека*, образ и подобие Божии.

Сила духа, вера *в себя, в свое, в Правду* святого Слова, — просыпались в русской душе в годины бедствий. Эти «рабы», под игом, поверженные в прах, — казалось испепеленные, — чудесно поднимались, напрягались сверхчеловечески, одолевали... — и проносили победные знамена по всей Европе, до наших дней. Что их так чудодейственно живило? Высокий Идеал, несознанный, врожденный, и — бессмертный. Это — стихийное, промыслительно-благостно дарованное. «Нет, *так* не должно быть... не может жизнь стоять на такой неправде... *есть* Божья Правда, надо найти ее и установить...» — вот как бы голос в русском человеке, сокровенный, несознанный. Вот откуда — «Неопалимая Купина», духовное вино в нас, порой пьянящее, но всегда укрепляющее дух. Отсюда — неизживаемый «нравственный запас», о котором говорил Ключевский в слове о преп. Сергии. Отсюда чудо *стояния* и побед. И оно приведет к Победе. Это предназначение — найти Правду и послужить ей, *для всех*, — это стихийно в нас, но оно ясно Святым и Гениям. Смутное для сознания народом, но проявляемое в сверхчеловеческом напряжении в годины страданий и падений, — повелевающий в нас инстинкт.

Вот почему, отмечая восьмисотлетие бытия Москвы, мы должны особенно чутко вслушаться в голоса нашего прошлого, исконного: особенно ныне, в темную пору грозной неопределенности, когда, быть может, решается русская судьба. Мы должны зорко вглядеться в *наше*, проникнуть к его вековым истокам. В них — голос прошлого, завет нам. Мы должны крепко связать себя с родными *недрами*. Пушкин мудро выразил это в глубоких своих стихах:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Это проникание к истокам, эта «любовь к отеческим гробам», «к родному пепелищу», это вслушивание в шепоты прошлого... — крепит падающих духом. Старшее поколение должно помнить великую ответственность перед идущими ему на смену. Должно, как священный долг, исполнять завет Пушкина: любить родные недра и показывать юным, чем жила, строилась, вдохновлялась и хранила себя Москва — Россия.

А там — празднование бытия Москвы может оставить следствия, особенно у юных, пытливых духом. Приникание к недрам — целебное лекарство; оно будит и выпрямляет дух. Приникание к родным истокам, вглядывание в самые камни древние — большая сила. Об этом вдохновенно сказал И. А. Ильин*:

«...Есть древние города, молчаливо накапливающие в себе эти природно-исторические и исторически-религиозные веяния. В их стенах и башнях, в их дворцах и домиках безмолвно присутствует дух их строителей; и стогна их хранят отзвучавшие звуки шагов и голосов всенародной, то мятущейся, то ликующей толпы. Их Кремль и соборы суть живые, раз навсегда всенародно-вознесенные молитвы. И самые холмы их — не то дары природы, не то могильные курганы, не то крепкие символы государственной власти, — говорят о бывшем, как о сохранившемся навек. И не те же ли стародавние реки струятся и ныне под их мостами? Не те же ли дубы и сосны молчали ушедшим предкам? И не о забвении, а о вечной памяти шепчет трава в их садах?..»

---

* И. А. Ильин: «О тьме и просветлении» (новый, еще не опубликованный [в сентябре 1947 года, — *изд.*] труд о художественной критике).

Москва... Там

«... русский дух начал гнездиться, и роиться, и накапливать свои богатства, — и нетленные, и исчезновенные, — с девято-десятого века; — в этом стародавнем колодце русскости, в этом великом национальном «городище», где сосредоточивались наши коренные силы, где тысячи лет бродило и отстаивалось вино нашего духа; — в этом ключевом колодце, вокруг которого ныне, как и встарь, —

...И смолой, и земляникой
Пахнет темный бор».

Сентябрь, 1947
Париж
(Русская мысль. 1947. 4 сент. № 21. С. 1, 5)

О ДОСТОЕВСКОМ

К роману «Идиот»

Прошло 70 лет со смерти Ф. М. Достоевского, — (он скончался 28 янв. 1881 г.), — но внимание к нему не только не ослабело, а непрерывно растет и углубляется. За ним признано почетнейшее место в мировой литературе, в ряду избранников-гениев, как Данте, Сервантес, Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой... Можно сказать, что за последние полвека Достоевский затенил этих перворазрядников, как дерзновенный мыслитель, пророк грядущей катастрофы.

Раскрытие его критикой, главным образом — германской, ныне подтверждено историей: на мировой сцене разыгрывается трагедия борьбы величайших сил Бытия: Добра и Зла, Бога и дьявола. Трагедия захватывающая: гибель всего. Пушкин проникновенно определил таинственную тягу человека к грозящей гибели:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, —
Бессмертья, может быть, залог.

С тревогой следят за трагедией космического театра, где зрители — те же исполнители: все в игре. Потому и обострился ныне, как никогда, вопрос человечества о самом себе: что оно: космическая случайность? каприз Природы?.. — или величайшее мировое явление, созданное Высоким Планом для Высочайшей Цели? Космическая ли пыль, или явлено провиденциально миру для его завершения-преображения?

Вопрос древний. Его ставили мудрецы, пророки, основоположники религий. Ныне и глухие слышат тяжелую поступь Командора: метафизически мыслившееся Зло ныне дерзновенно воплощается в мире, как осязаемая действительность.

Об этом говорит русский мыслитель проф. И. А. Ильин в еще не опубликованной книге — «О тьме и просветлении». Вот, с разрешения автора, отрывок из «Заключения»:

«Тот, кто жил и созерцал в наше время, тот знает, что наша эпоха есть время тьмы и скорби, — восставшей тьмы и овладевшей человечеством скорби. Тьма никогда не исчезала в мире; она как бы входит в самый состав его, уже в силу одного того, что мир, вопреки наивным или слепым пантеистам, не совпадает с Божеством. Божество есть чистый Свет и целостный Свет, а мир состоит из тьмы и света, и потому он призван к борьбе за свет, за просветление. Вот почему тьма всегда была и всегда будет в мире, покуда мир будет существовать.

Но как дни бывают солнечные и сумрачные; или как в круговращении земли бывает день и ночь, так и в истории бывают сумеречные эпохи и ночные времена. И вот, нашему поколению выпало на долю жить в ночное время, когда «обнажается бездна», с ее «страхами и мглами», и когда отпадают преграды меж нами и ею... — Тютчев. В наши дни бездна человеческой души, действительно, раскрылась, как, может быть, никогда еще доселе; тьма, сгущавшаяся в ней, покинула свое лоно, где ее дотоле удерживала вера, совесть и стыд, и залила жизнь души, чтобы погасить в ней всякий свет: и сияние веры, и молнию совести, и искру стыда. И жизнь нашего поколения проходила — у одних в страхе перед этой тьмой и в подчинении ей, а у других в борьбе с этим мраком и в утверждении веры в Бога и верности духу. Но сила этой духовной тьмы в наше время удвоилась от того, что она осознала свое естество, выговорила его открыто, развернула свои цели, сосредоточила свою волю и начала борьбу за неограниченную власть над личной душой и над всем объемом человеческого мира.

Если отдать себе в этом отчет, то станет понятным, почему крупнейшие художники нашего времени и нашего народа первые заговорили об этой тьме и стали повествовать о той скорби, которая овладела людьми в наше время. Это время еще не изжито. Тьма еще не осуществила свою судьбу и не ушла назад в ту бездну, из которой восстала; и, может быть, ей предстоит выдвинуть новые соблазны и отпраздновать новые видимые «успехи». Но русское искусство, начавшее в лице Достоевского изображение ее путей и ее соблазнов, и закрепившее, в лице скульптора Голубкиной, в образах незабываемой силы, — слепую одержимость, медиумичность, бес-

смысленность и хаотическую упоенность надвигающегося на мир духовного мрака, — выдвинет тогда новых ясновидцев и изобразителей этого ожесточения и этой слепоты. А наше поколение уже выдвинуло...»

* * *

Книги Шпенглера и Кайзерлинга, упирающиеся корнями в творчество Достоевского, вызвали некоторую шумиху и потревожили чутких, заставляя приглядываться к творящемуся в тайниках человеческого духа. Дерзновенность «человекобога» Ф. Ницше, связанная, быть может, с поразившим его безумием, порожденная, можно предполагать, душевным хаосом иных персонажей Достоевского, — по признанию Ницше, его «учителя», — породила другого «человекобога», выпущенного на мир темною волей Зла.

Из этого можно заключить, что Достоевский нащупал в человеке самое страшное: древний соблазн греха, проснувшийся от анабиоза и крикнувший: «хочу, — как боги, знающие Добро и Зло!..». Сказ книги Бытия стал оживать и воплощаться.

Достоевский, которого «всю жизнь Бог мучил», почувствовал это на себе: он сам хотел все знать, как боги, и понял в томленьи духа, что это гибель всему. Понял — принял вызов. Теперь вскрыто много новых источников, и мы знаем его томленья, его «падучую», его «касанья мирам иным», — «мировую гармонию», когда открывалось ему всезнание.

Страшной ценой заплатил он за откровение, мучительным личным опытом. В романе «Идиот» впервые описывается эта «мировая гармония», — награда ли за дерзание «все познать», или же кара за попытку? Тут — тайна. Но тут и начало пути Достоевского: «Идиот» — это выступление на борьбу, великое полотно боевого поля.

Зло не прощает дерзновенным, и гениальный творец не довершил задуманного плана: умер внезапно и преждевременно, не дожив и до 60 лет, — истек кровью.

Вопрос о судьбе человека и о преображении мира не получил разрешения, но вехи были поставлены, «Бедный Рыцарь» — «Идиот» во многом автобиографичен, — остался верен до смерти своей Даме. Вряд ли сознавал Достоевский, что судьба человека в мире — главная тема его творчества, хотя еще 17-летним писал брату:

«Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землей; какое же противозаконное дитя человек! закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешной мыслью. Мир принял значение отрицательного и из высокой изящной духовности вышла сатира... Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! ...Человек есть тайна. Ее надо разгадать. Если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Вот почему его творенья не тускнеют, а наоборот, врастают в душу мира. Этому помогло воплощение Зла в мире, не мистического, как в книге Бытия, а явного, жуткого, как трагический «чертов балаган».

* * *

В России XIX века многое у Достоевского называли выдуманным, фантастическим. Достоевский протестовал: «моя фантастичность реальней вашей реальности!..» Достоевского называли «больным талантом, черпающим из судебной хроники», даже «бульварным романистом». Его «вопросы» и острая диалектика, облегченная юмором, для большинства были лишь пикантной приправой к «самой сути» — к щекочущей нервы уголовщине и увлекательным столкновениям раскаленных страстей и похотей, редко проявляющихся так бурно в жизни до непомерных дерзаний, до оголения тайников человеческого существа.

А жизнь подавала и подавала судебные отчеты, потрясавшие русское общество 60—70-х гг. Эти газетные отчеты, с эффективными речами софистов-адвокатов являлись иногда сколком с его романов и как бы закрепляли провидение гениального романиста. Мало того: романы и уголовщина иногда поразительно совпадали, до подробностей обстановки преступлений, до «героев» и их «идей».

Это производило сенсацию, разжигало больное любопытство. В ученых обществах, в администрации, в педагогических изданиях поднимался вопрос о недопустимости подобных произведений, развращающих общество и вносящих соблазн, следствием чего является угрожающий рост преступности, особенно среди молодежи.

Достоевский не раз касался этого вопроса: преступления растут, потому что гниет общество, падает нравственность, всех охватила непомерная жажда денег, нового... рушатся устои,

слабеет вера, мещанство заменило рыцарственность.. под ногами бездна, вот-вот — «все лопнет». Он собирал «случаи», бросал перед слепыми картины хаоса и разрушения, — роман «Бесы».

Читали, ужасались... — и шутили: «больные нервы»! Не было никакой тревоги: «все обстоит благополучно», «это и за границей, и еще похуже».

Творчество современников-писателей — Толстого, Гончарова... — тревог не поднимало и никак не грозило катастрофой. Читатель успокаивался, что «мир прочен» и «жизнь прекрасна». Толстой иногда грозился, призывал к нравственному очищению... Сама спокойная красота описаний природы у великих романистов давала успокоение: Благодать какая!..

* * *

Творчество Достоевского неотделимо от его жизни, кроваво сплетено с нею. Жизнь его была исключительно тяжелая, полная потрясений: как бы начертана жестким пером самого Достоевского: с убийством, с эшафотом, каторгой... до испытаний чарами «инфернальных» женщин. В ней дано все, что надо, для выполнения назначенного ему. Если бы эту жизнь изобразил он сам, получился бы роман-монстр, наполненный таким содержанием, что вряд ли бы мог выдержать читатель.

Достоевский выдержал, перелив в творчество свою кровь. Изнемогая, он облегчал читателя — и себя? — особенным, только ему присущим, юмором, приемами отвлечения и развлечения, на которых читатель отдыхает.

Ни у кого не найти столько «вводного», побочного и увлекательного... Он громоздил и устремлял события, оглушая неожиданностями, взвинчивал и держал, читатель терял способность различать ночь и день, сбитый с толку мчащимся временем, задыхался, изнемогал, но, крепко «пойманный», не в силах был остановиться, и проходил вместе с автором все «круги ада».

Отсюда, иногда, бессилие читателя «все понять» и... отдача себя на волю победителя.

Уже полвека разгадывают очарователя, нагружают таким, чего он и не воображал, и упускают то, что сокровенно дано, загроможденное «вводным» и блеском юмора. Читатель ошеломлен и порой чувствует себя опустошенным.

В этом смысле Достоевского можно назвать «жестоким талантом». Можно признать, что в нем соединено все, что

рассыпано у великих писателей мира, что разрежено во всех людях, способных думать и вопрошать о Жизни и ее смысле, о своей судьбе, о цели бытия своего и вообще Бытия.

Смертному не по силам на все ответить, и за него, за всех, и назначено было Достоевскому принять бремя неудобоносимое. О судьбе человека, о человеке, о «тайне бытия», о Боге, о земном счастии, о страдании, о дерзании, о «человекобоге», о преступлении и возмездии... о грехе... трактуют все его романы-трагедии.

Как бы человечество ни заблуждалось, как бы духовно ни иссякало, не может оно отказаться от себя, и потому никогда не откажется от попыток решить «главный вопрос»; **что** оно, и **для чего** оно? А при бессмертии этого вопроса всегда будет требовать разрешения «вопроса о Боге».

Этот вопрос проходит во всех главных романах Достоевского, это — основа их. Его ставят взрослые и дети, убийцы, сладострастники, блудницы, воры и пьяницы, самодовольные и смиренные. Ставят трагически и с юмором. Ставит Кириллов в романе «Бесы», — «если нет Бога, то я сам Бог!» — и кончает с собой. Ставит не без юмора некий штабс-капитан: «если Бога нет, то... какой же я тогда штабс-капитан?..» Даже дикий Рогожин ставит, — в романе «Идиот». Даже в «Мертвом Доме», — и тут особенно жгуче, прикровенно, — клейменые каторжане. Они готовы убить невера, — роман «Преступление и Наказание». Ужас охватывает от каторжной «бани» — «Записки из Мертвого Дома», — а в сердце сияет свет от лиц каторжан, когда идут ко св. Чаше...

На вопрос — «есть ли Бог?» — сказал я, — написаны все главные романы Достоевского. Чуткий читатель видит, что Достоевский приближается к торжеству раскрытия. В романе «Братья Карамазовы» уже чувствуется апофеоз победы... «смертию смерть поправ», в лучезарном из лучезарных снов, — «Брак в Канне Галилейской», и в восторге Алеши, под звездным небом, когда он целует землю.

Близость решения особенно чувствуется в романе «Идиот», где «тьма» в человеке кажется уже победоносной, где судьба человека — безнадежна.

В последней части, в заключительной главе, — «ночь у трупа», — прах и грех торжествуют свою победу. В душной и жаркой тьме, тут где-то, — веющая тленом разложения картина Гольбейна «Снятие со Креста»... Уж если Он подвержен смерти, то чего же ждать-то, надеяться?!.. Но изобразитель-

ная сила гения романиста, граничащая с чудотворством, вызывает у проникновенного читателя высокий подъем духа: нет, этого быть не может! тут преодоленье тленного, тут победа творческого духа, божественной силы в человеке!

Заключающая роман ночная сцена «у трупа» единодушно признается мировой критикой венцом человеческого крушения и... победой одухотворенного творца — шедевром мировой литературы. Апофеозом трагического роман «Идиот» получает оценку гениального.

В одном из писем Достоевский признается, что «из-за одной этой последней части стоило написать роман», так жестоко его измучивший, что он не раз хотел бросить его: восемь списков отбросил, до последней главы страшась жестокой неудачи. И дал бессмертное.

* * *

Достоевский родился в Москве, 30 октября 1821 г. Дед его был священник: корни писателя, через духовный опыт предка, уходят в сокровенную глубину духовности. Отец был главным доктором большой московской больницы, места телесных страданий и ежедневных смертей.

Состав сложный: небесное — и слишком земное, тленное.

Дети боялись отца, раздражительного, подозрительного, строгого, жестокого: отвечая ему латинский урок, часами не смея пошевельнуться, стояли они, руки по швам, навытяжку. Религиозный ханжа и скаред, отец водил их на каждую службу в больничную церковь, раз в год в театр, летом, по большим праздникам, в Марьину Рощу, на народное гулянье.

Больничный заглохший сад, больничная казенная квартира, строго проверенные книги для чтения, назидательного содержания, — «скука смертельная». Постоянные визгливые выкрики, когда приходилось выдавать деньги на расходы.

Казенная квартира, на всем готовом, казенная коляска, хорошее для тех времен жалованье — 100 руб. в месяц, большая практика, побочные, «хозяйственные» доходы... — и вечные жалобы на бедность. Несомненно, и наказания розгами: по словам матери, мальчик был — «прямо живой огонь». Отсюда, можно предполагать, и частое упоминание, в «Дневнике Писателя» и в романах, о мучимых детях, о «слезках ни в чем неповинного ребенка», как, например, в протесте Ивана Карамазова, не принимающего «такой мировой гармонии» и «почтительно возвращающего свой билет»...

Отданный в Петербург, в военно-инженерное училище, на казенный, конечно, счет, Достоевский писал отцу жалостливые письма, притворно примиряясь с горькой участью: «...когда, придя со строевого ученья, мокнешь в сырую погоду, под дождем, в полотняной палатке, озябнув, без чая можно заболеть. Но все-таки я, уважая вашу нужду, не буду пить чаю... только необходимо, на две пары простых сапогов, шестнадцать рублей...» «Я не буду требовать от вас многого... нужду родителей должны вполне нести дети... Что ж, не пив чая, не умрешь с голоду... Я сейчас только приобщался, денег занял для священника... давно уже не имею ни копейки денег». Отец отвечал: «по бедности нашей, не могу удовлетворить твое законное желание».

Умерла кроткая мать, очень любившая своего Феденьку. Отец прикупал деревеньки с крепостными, выйдя на пенсию — переехал в одну из них, зверски обращался с дворовыми, завел гарем... и кончил свои дни трагически: дворовые его задушили. Это тяжко легло на сердце Достоевского, до конца дней. В романе «Братья Карамазовы» событие это, несомненно, отразилось. Возможно, что страшные мысли приходили Достоевскому... как, например, те роковые слова, которые выкрикнул Митя Карамазов про своего отца: «зачем живет этот человек?!.»

* * *

Кончив училище суровых времен Николая I, муштру под барабан и, вероятно, по Николаевскому режиму, не раз наказанный розгами за ночное чтение запоем, — субботняя «порция»! — Достоевский выходит в офицеры. Исключительная пылкость воображения, увлечение Шиллером, романтический бред мечтаний... Получив свою долю отцовского наследства, он остается в Петербурге и ведет беспорядочную жизнь, но в то же время с жаром отдается писательству. Гюго, Бальзак, Жорж Занд, Гете, боготворимый Пушкин... Захватывают «социальные вопросы»; воображение и чувствительность сказываются в первых же литературных опытах.

Чувствительно-сладенький роман «Бедные люди» приносит ему исключительный успех. Ночью поднял его с постели поэт Некрасов, которому Достоевский накануне принес первую свою пробу, и повез к известному критику Белинскому.

Достоевский читал всю ночь, Белинский плакал, Некрасов плакал, автор плакал... Белинский обнял его и воскликнул: «Да понимаете ли вы, что вы написали?!. это же гениально!..»

В 40-х годах прошлого века слезы восторга были явлением заурядным. Но лицемерия тут не было; Белинский жил яркими, но короткими вспышками восторга, как и негодования. И Достоевский принял от знаменитого критика лавры, как справедливую награду: он восторженно поверил в себя и в подлинность лавров.

Роман имел успех. Автора затаскали по кружкам и салонам. Это льстило безвестному офицеру, и он потерял самообладание: писал на горячую голову, днями и ночами, и Белинский уже не восторгался.

Достоевского раздражали насмешки и шаржи, он нервил, возмущался, спешил и... смешил. Успех сошел на нет. От будоражной жизни и литературных неудач стали определяться приступы эпилепсии, «падучей». Древние называли этот недуг «священным»: за одну-две секунды до беспамятства, больной, в начинающемся припадке, созерцал «бездну бездн» и «небеса небес».

Этим недугом Достоевский наделил своего «идиота», князя Мышкина. В романе князь подробно описывает это состояние, называя его созерцанием на миг «мировой гармонии». Эти припадки порождали в Достоевском невыносимую тоску и чувство гибели, как бы расплату за миг созерцания «мировой гармонии»: «хоть бы в сумасшедший дом поступить!» — писал он.

Вопросы социальные явно проступали в романе «Бедные люди», что и восхитило Белинского: впервые в русской литературе ставился вопрос о страдании «маленьких людей», о неправде жизни. Для Достоевского это было началом его служения, его «голгофы».

* * *

В 1847 г., 26-ти лет от роду, он посещал политический кружок идеалиста-революционера Петрашевского. Это «детство русского социализма», утопических мечтаний и... заря будущего пожара; подлинных революционеров-разрушителей Достоевский еще увидит, в Швейцарии, в жутком лице «миро-разрушителя» Бакунина, породившего в нем образ безумного Шигалева, — роман «Бесы».

Из петрашевской «идиллии» ничего практического не вышло для будущего переустройства жизни, но для Достоевского тут начало его трагической судьбы: в апреле 1847 г. его арестовали за чтение в кружке и по салонам известного письма Белинского к Гоголю и продержали в одиночном заключении

в Петропавловской крепости восемь месяцев, разрешив читать и писать.

Он много писал и напряженно думал. Здесь, может быть, начался пересмотр многого в нем и особенно того пылкого атеизма, которым он проникся под влиянием страстного Белинского, философа-самоучки, мыслившего часто по верхушкам. Белинский так, например, определял свое основное мировоззрение в письмах к жившему в Лондоне русскому изгнаннику Герцену: «в словах «Бог» и «религия» вижу тьму, мрак, цепи и кнут».

Эта недоношенность мыслей окажется опорой всей той лжи и клеветы на Россию, последствия чего и поныне сказываются: у Европы еще остается от этих дешевых слов и им подобных совершенно искаженное представление о России, о ее сущности, народной и государственной: рабская покорность народа, не понимающего и не ценящего свободы, привыкшего к цепям и кнуту, равнодушного к гнету, как вьючное животное; «кровавое» самодержавие-деспотизм, мрак православия, насильники-жандармы, мракобесие во всем, поголовный разврат... Россия — сплошное историческое недоразумение, всегда готова всех угнетать, всех поработить и лишить свободы, гнет для всего мира... и проч. и проч...

С этим представлением Европы о России Достоевский боролся всю жизнь: и в романах, и, главное, в «Дневнике Писателя». Он многое осветил, очищая от лжи и грязи, откапывая заживо погребенную Россию, — былую «Святую Русь». В этом его великая заслуга перед Россией и человечеством. Без его творчества чужестранцам трудно понять истинный лик и подлинную, живую, душу России. Но чтобы открыть Россию миру, ему самому надо было открыть себя. Надо было обрести веру, Бога.

Влияние Белинского держало его непрочно и недолго. После первых испытаний сибирской каторги, после встречи с народной Россией, пусть каторжной, — и это еще важнее, — а, главное, после «встречи» с народным, «русским» Христом, Достоевский нашел подлинного себя.

Начало этого возрождения, воскресения, — показано им в бесспорно автобиографическом романе — «Записки из Мертвого Дома», «Преступлении и Наказании»; в «Идиоте»...

«Пусть истина у него, — писал он, разумея Белинского, тут же, после каторги, племяннице Ивановой, — но я предпочту остаться со Христом, вне истины».

«Эшафот», а за ним каторга и солдатчина — не могли пройти бесследно: здесь исток его величайших творений. О напряженности переживаний его за одну минуту до неминуемой смерти у столба волнующе свидетельствует рассказ кн. Мышкина в «Идиоте», — бесспорный слепок с события 22 декабря 1849 г. в Санкт-Петербурге. В письме к брату Михаилу Достоевский описывает это событие, в самый день «казни»:

«Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться ко Кресту, переломили над головами шпаги и устроили нам предсмертный туалет — белые рубахи. Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих: в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, и тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь. Затем последовал настоящий приговор...»

Государь смягчил одному Достоевскому срок каторги:

«Отставного поручика Достоевского, за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, исполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу и крепость на восемь лет».

Государь положил резолюцию:

«На четыре года, а потом в солдаты».

* * *

Жизнь тут же, после спасения от смерти, посылает новое испытание, нравственное.

После разрешенного свидания с братом, в Рождественский Сочельник, за несколько часов до отправки на каторгу, Достоевского заковали в кандалы. «Ровно в 12 часов ночи, — писал он брату, — то есть ровно в Рождество. В кандалах было фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдфебель впереди, мы отправились из Петербурга».

Улицы были освещены, в окнах горели елки. Проехали как раз мимо квартиры брата, в том же доме, где жил редактор-

журналист Краевский. У Краевского была елка, и на ней веселились дети брата Достоевского, о чем он знал в разговоре последнего свидания.

«Я как будто простился с детенками...» Ночь глухая, трескучий мороз, впереди темная Сибирь. — «Я промерзал до сердца...» — «Грустна была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах, была метель. Мы вышли из повозок, — это было ночью, — и, стоя, ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошлое, — грустно было, и меня прошибли слезы...»

Через 18 дней были в Тобольске. Тут жена ссыльного декабриста Фонвизина подарила Достоевскому маленькое Евангелие: Достоевский хранил его под подушкой четыре года каторги. Ровно через месяц по выезде из Петербурга он прибыл в Омскую каторжную тюрьму, 23 января 1850 г.

Каторга изображена Достоевским в романе «Записки из Мертвого Дома». Это роман-автобиография, — подлинный ад, беспросветный ужас... и — свет. Описание каторжной бани затмит все ужасы дантовского «Ада». В этом аду Достоевскому каждый миг угрожала насильственная смерть от каторжан, люто ненавидевших бывших бар, даже в «аду» оставшихся для них «барами».

Но не взирая на все, в этом аду был свет, в этом аду был Христос! Здесь впервые увидел Его Достоевский, почувствовал в каторжных сердцах, и вынес Его с собой из каторжного ада. Впервые, в этом аду, нашел подлинный народ и восхитился им.

«Преступники — самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего... что за чудный народ!..» — писал он брату.

Сослав Пушкина в родовое село Михайловское, «к няне», Николай I сберег его для России: в ссылке написаны шедевры великого поэта: в ссылке Пушкин узнал народ и, узнав, поклонился правде его. Сослав Достоевского на каторгу, Николай I открыл России Достоевского: через каторгу Достоевский нашел и полюбил свой народ, в народе обрел Христа, и через Христа создал величайшие произведения — свои романы-трагедии. Вот его признание: «там я судил себя».

О своем «воскресении из мертвых» он так свидетельствует в письме к Н. Д. Фонвизиной:

«...я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост: верить, что нет ничего

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но, с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Роман «Идиот» не был бы создан, если бы Достоевский не встретил на каторге, в народной душе, «русского», «своего» Христа, тайно хранимого каторжным народом, невидимого, никогда не поминаемого, оберегаемого до угроз смертью. Этого народного Христа встретил кн. Мышкин в своих странствиях по России, узнал в радостном лице молодой бабы, увидевшей первую улыбку своего ребенка — и «Вышел на проповедь». Эта встреча со Христом стала источником света во всех главных творениях Достоевского, созданных после каторги. По его признанию, — письма к Ивановой и к другим лицам, — «цель и повод к созданию романа «Идиот» — «дать самого прекрасного, самого совершенного человека».

* * *

17 февраля 1854 г. Достоевский вышел из Омской каторжной тюрьмы.

Об этом важнейшем событии своей жизни он пишет своему брату:

«...Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз... — «Ну, с Богом! с Богом!..» — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. Да, с Богом. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!..»

В этом отрывисто-грубоватом и торопящем — «с Богом! с Богом!» — слышится как бы скрытый страх: как бы не опомнилось, не воротилось «кандальное». В этом — страстное, сокровенное выражение жажды свободы, воли, хотя бы для другого, хотя бы для их врага.

Где же тут налганное на русский народ, что он не понимает свободы и не любит ее, не дорожит ею? что он и у других народов хотел бы отнять ее?.. Достоевский после не раз заявлял, — в том же романе «Записки из Мертвого Дома», — что дороже воли для русского человека нет ничего, что он эту страсть к воле проявляет порой дико, всем рискуя, до жизни, лишь бы обрести эту волю, лишь бы денек пожить «своею волей».

Показательна сцена с тюремным орлом, — в «Записках из Мертвого Дома». Арестанты отпускают его на волю и долго

смотрят вслед. Орел не может лететь, у него перебито крыло. Он бежит, ковыляя... «И не оглянется!..» — «Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!..» — «Волю почуял!..» — «И не видать уж, братцы!..»

Четыре года с неделями закован был в кандалы Достоевский, в железные и душевные: «эти четыре года!.. я был похоронен живой и закрыт в гробу...»

Из каторги он был тотчас же переслан в Семипалатинск, глухой сибирский городишко, в гарнизон, в солдаты. Теперь начинается новая «голгофа», томление полного душевного одиночества, бессрочного. К счастью, он нежданно встретил будущего друга: как раз в 1854 г. в Семипалатинск прибыл из Петербурга новый окружный прокурор, барон Врангель. Он знал Достоевского по роману «Бедные люди» и привез ему посылку и письма. Скоро они стали друзьями, совершали прогулку, ловили рыбу, растягивались вечерами на траве, на берегу реки, созерцали полное звезд небо. Достоевский, по письмам бар. Врангеля к своему отцу, — «весьма набожный, болезненный, но воли железной». Созерцание небесного свода, по словам Достоевского, — «наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух». Бар. Врангель ввел своего друга в дом военного губернатора и — что было особенно важно — познакомил с семейством батальонного командира.

В Семипалатинске Достоевский встретился со своей будущей женой Исаевой... Начались тяжкие испытания «безумством любви». Тут впервые узнал Достоевский образец «инфернальной женщины»... Вторым, еще более жутким образцом явилась для него, уже после Сибири, Мария Суслова. Без этих «образцов», без этих «женских встреч» — не было бы его трагических романов: Достоевский узнал, после каторжного ада, новый, — кажется, еще более ужасный.

После многих ходатайств друзей, Достоевский, уже при новом Государе Александре II, был произведен в офицеры. В 1857 г. он женится на вдове Исаевой. История этого несчастного брака, продолжавшегося семь лет, полна тайны. В 1859 году, по приказу Государя, он получает разрешение вернуться в Россию, сначала в Тверь, а затем в столицы.

* * *

Бог меня всю жизнь мучил, — писал Достоевский. Действительно, «богоборчество» и «богоискательство», борьба с Бо-

гом и дьяволом — основа его творений. Почти во всех становится вопрос о судьбе человека, о его «прирожденном» духовном естестве: «кто же он, **человек?**» «богочеловек» или «человекобог»? Не «русский Гойя», как писали иные критики, русские и иностранные, не изобразитель «бредовых ликов» человека, а искание идеала, Христа на земле, — основа и содержание романов-трагедий.

А судьба посылала новые испытания любви и страсти, ставила на пути Достоевского, действительно, «адских», «инфернальных» женщин. Можно иметь понятие о них не только по его романам, но и по «документам», например — по «запискам» Марии Сусловой, с которой встретился Достоевский после смерти первой жены. Да она, отчасти, воспроизведена и в романе, «Игрок», — в образе Полины...

Связь с ней — потрясающие терзания. Наконец, это искушение кончилось разрывом.

Достоевский пишет роман «Игрок», чтобы выпутаться из долгов. Ему необходима стенографистка. Он диктует, Анна Григорьевна Сниткина, девушка 21 года, на 25 лет моложе его, быстро записывает. Роман написан в месяц, в октябре 1866 г. Заканчивается роман «Преступление и наказание». 8 ноября произошло объяснение в любви. Достоевский диктовал уже новый роман, после оставленный, — о художнике. Был очень нервен, все ходил от стола к печке, диктовал...

— А хороша ваша героиня, эта Аня? — спросила стенографистка.

— Не красавица, конечно, но очень недурна... я люблю ее лицо.

Достоевский все ходит, ходит...

— Поставьте себя на минуту на ее место... — сказал Федор Михайлович, — пишет в своих воспоминаниях Анна Григорьевна Достоевская, — сказал дрожащим голосом: — Представьте, что мой герой — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой... скажите, что **вы** бы мне ответили?..

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь.

И она сдержала обещание.

* * *

С женитьбой на Сниткиной, в феврале 1867 г., наступила пора в неполных 14 лет, когда Достоевский создал главные свои романы, после «Преступления и наказания»: «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» и томы «Дневника писателя».

1867 год — знаменательный в его жизни: задуман «Идиот», вторая женитьба, мучительная жизнь за границей.

Страсть к игре на рулетке сжигала его. Он брал авансы, должал, терзался этим, особенно займом у Тургенева 50 талеров; закладывал вещи, до жениной юбки...

В Бадене хозяин отеля, немец, отказался давать ему обед, велел слуге сказать: «он не заслужил обеда!»

В Женеве заложил часы, обручальные кольца... Давал своей Ане клятвы бросить играть — и не мог удержаться. Эта страсть к переживаниям в азарте изображена в «Игроке» и «Подростке». Участившиеся припадки эпилепсии, унижения, бешеная, сумасшедшая работа над «Идиотом», в Веве, рождение первого ребенка, девочки, и вскоре ее смерть... ночи и дни мучительного писания романа с трупиком девочки за стеной... работа почти в беспамятстве...

Влияние Анны Григорьевны на «воскресение» мужа несомненно: заключительная часть романа «Преступление и наказание», воскресение Раскольникова под влиянием кроткой верующей Сони, писалась вскоре после женитьбы. Достоевский вбирал от своей Ани невидимые токи, пересоздавал себя ее простой верой, какою верует народ.

* * *

Работа над «Идиотом» была самой мучительной из всех работ. В августе 1867 г. Достоевский писал из Женевы поэту и другу Майкову, что «роман есть». «Бросаюсь в роман на-ура, весь с головой, все разом на карту, что будет — то будет!» Несомненно, пребывание в Швейцарии давало какие-то толчки: в романе много «швейцарского», в рассказах кн. Мышкина.

Через четыре месяца Достоевский пишет Майкову: «бросил все к черту, роман опротивел мне до невероятности». Варианты, в черновых тетрадях, сменяют один другой, до восьми. Много говорится о «клубе детей», которым суждено обновить жизнь... — об этом говорит и кн. Мышкин. Упоминание о базельской картине Гольбейна, «Снятие с Креста», получившей в окончательном тексте глубокий смысл. Завязывается, наконец, идея кн. Мышкина — «дать совершенно прекрасного человека».

Черновые тетради записей показывают, какая смута была в душе Достоевского. За две недели было отброшено все написанное, мелькнул новый план. «Голова моя обратилась в мельницу», — писал он другу.

18 декабря 1867 г. он сел писать новый роман. 5 января уже отослал в «Русский Вестник» пять глав первой части: это и был роман «Идиот». «В сущности, я сам совершенно не знаю, что я такое послал... идея моя — изобразить прекрасного человека», — писал он Майкову.

В начале января 1868 г. он пишет племяннице, Ивановой:

«Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете... Прекрасное есть идеал, а идеал, ни наш, ни цивилизованной Европы, еще далеко не выработался. На свете есть только одно положительно прекрасное лицо — Христос... Из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот; но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному, а, стало быть, является симпатия в читателях. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. У меня нет ничего подобного и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача...»

Он понимал непомерность задачи: искусство может лишь приблизительно дать идеал, ибо прекрасный человек — святой. Здесь он подходит к проблеме религиозного творчества.

* * *

Майков его обрадовал: начало романа имеет успех. В мае умирает первый его ребенок, дочка Соня. Несмотря на тяжкое горе, он продолжает писать; роман уже в печати, журнал ждет продолжения.

Достоевский в отчаянии: «и вот, идея «Идиота» почти лопнула!..» — пишет он Майкову. И дальше, Ивановой: «теперь роман кончен, наконец! последние главы я писал день и ночь, с тоской и беспокойством ужаснейшим... романом я недоволен; он не выразил и десятой доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор...

Какую же мысль? Возможность пересоздать жизнь, людей... — влиянием личности совершенно прекрасного человека, его проповедованием духовного возрождения, Добра, установить царство Божие на земле? Об этом не раз, в пафосе, говорит кн. Мышкин, вернувшийся из шестимесячного странствования по России, «узнавший» русский народ, как ему казалось. Ясно, что его «идея» никак не могла бы осуществиться, хотя бы из-за одного того, что он не «совершенно прекрас-

ный» человек: он поврежденный, что и обнаруживается на вечере у Епанчиных, во время его восторженной «проповеди». Ему удалось захватить слушателей своим экстазом, своей «внутренней, невысказанной правдой», но этого мало — захватить: надо полонить, увлечь, повести, духовно спаять с собой, так, чтобы все прежнее оставили, забыли, отказались от себя... На миг зачаровались. Но экстаз кончается припадком, князь падает, Аглая едва успела подхватить его, и все услышали в ужасе дикий вопль «духа, сотрясшего и повергшего» несчастного «идиота».

Достоевский не мог не сознавать, что «идея», возрождение не может удаться безвольному; смиренному, почти ребенку, и еще «идиоту». Для чего же было тогда писать такое? сознавать неудачу — и не отвергнуть неудавшееся? Достоевский, конечно, сознавал свою видимую неудачу, и... чувствовал совсем другое — свою победу.

Это не высказано, но это дано художественными образами. Его искусство одержало победу духа над прахом, над бренной перстью, прикровенно и образно, в последней главе романа — «ночь у трупа». Раздавлены главные герои; разлагается вчера еще только прекраснейшая живая форма, ее победила смерть; а душа не отдалась никому, пропала, бросив бренную оболочку, уже взятую властно тленом. Настасья Филипповна сама пошла под нож, но сохранила себя, душу свою, исполненную высокой любви к поврежденному, к «идиоту», но для нее — святому. Сохранила волю располагать собой, мученицей и победительницей. Поняли ли это герои, боровшиеся — Рогожин за прекраснейшую персть, а «идиот» — за душу в этой персти? Вряд ли; но были потрясены освобождением героини и были раздавлены безумием. Если бы не их безумие, они могли бы сказать друг другу — вернее: князь мог бы сказать: «мы убили ее, но она победила нас!» Распадающийся прах победить не мог: победил бессмертный дух жертвы.

Это не сказано в романе, но Достоевский, видимо, это чувствовал и потому сказал: «ради последней части стоило написать роман».

Чуткий читатель увидит, быть может, и другую победу: победу духа гениального писателя над бездушной материей сознанием небывалого по силе изображения ужаса освобождения. Из этого родится чувство облегчения: жива бессмертная человеческая душа, ибо она восторжествовала таинственной силой искусства над трагическим исходом обращения

живой красоты в прах. И картина Гольбейна, где-то тут, невидная в удушливой тьме, в удушающем веянии уже распадающегося праха, говорит не о жалком конце «лучшего из людей», а о победе над смертью, о чуде, которое вот-вот случится. Это художественно укрытая идея потрясающей картины: да, тлеющий прах... и — «победа». Совсем противоположное тому, что недавно говорил «идиот», смотря с Рогожиным на картину. Рогожин сказал, что любит на нее смотреть. — «На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» — «Пропадет и то», — сказал Рогожин. Оба не поняли, что это лишь художественный прием мастера: чем разительней распад праха, тем лучезарнее чудо грядущего Воскресения.

Идея Достоевского, как и идея кн. Мышкина, не могла осуществиться. На чем основаться совершенной жизни, царству Божию на земле, и — через кого?! Князь не только «поврежденный», — он безвольный проявить себя в действии. Он лишь, в экстазе, увлекательно проповедует. Кому, где? Все эти люди, среди кого он живет, преданы одной страсти к деньгам, к материальным благам, к ажиотажу, спекуляциям — все продадут и предадут ради обогащения всяческими путями. Генеральша Епанчина кричит:

— ...Тьфу, все навыворот, все кверху ногами пошли... Сумасшедшие тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите!..

В этих словах Достоевский высказывает свое заветное: кризис, переживаемый человечеством, — религиозный кризис. Вскрик Епанчиной разъясняется резонером Евгением Павловичем, сказавшим по поводу шантажа Бурдовского и К-о, хотевших сорвать с миллионера-«идиота» большие деньги:

«Все, что я выслушал, сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права, прежде всего и мимо всего и даже с исключением всего прочего и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит? От этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры суть негры, ниже белого племени, а, стало быть, право си-

лы — за белыми... Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов недалеко».

Это, конечно, высказывание Достоевского. Пророчество исполняется на наших глазах!

Все в романе охвачены страстью к наживе, азартом приобретательства. Ни одного светлого лица, разве вот только девушки Епанчины. Они, можно думать, списаны с дочерей генерала Корвин-Круковского, семью которого посещал Достоевский, сделал предложение одной из трех, получил отказ и, раздраженный, осмеянный за что-то сгоряча сказанное, ушел, хлопнув дверью. Он не знал, что младшая, 12-летняя девочка Софья горячо влюблена в него. И вот эта Софья, ставшая знаменитой Софьей Ковалевской, гениальным математиком, совместила с наукой спекуляцию по скупке домов в Петербурге и перепродаже их, как и прочие аферы.

То была вакханалия, захватившая даже «избранное» общество, сказавшаяся у молодежи злостными преступлениями, и не только ради корысти, но и во имя «идеи», как, например, у Раскольникова, в романе «Преступление и наказание», — торжество социально-философского вывода — «цель оправдывает средства».

И вот к таким-то приходит кн. Мышкин. Что мог он сделать, имея лишь «идею» и ничего больше? И роман художественно вскрывает, что высоких слов, пафоса, смирения, кротости и прочих добродетелей недостаточно для исправления сбившейся с пути жизни.

Достоевский как будто намечает, что надо, приводя рассказ князя из швейцарской жизни, как дети смогли воздействовать на взрослых, — «историю бедной Мари». В этой истории князь не остался бездейственным. Он проявил сильную волю и любовь, — его поцелуй Мари! — и случилось чудо возрождения — не только с детьми, но, через детей, и со всей деревней.

В романе князь ни воли, ни любви не проявляет и ничего, конечно, достичь не может. Прекраснодушной проповеди мало. Нужна великая воля и деятельная любовь. Надо начинать с перевоспитания, с детей. О детях много в откинутых вариантах романа.

Достоевский, непроизвольно, сделал попытку дать религиозный роман. Эта попытка повторится решительней в «Братьях Карамазовых», где будут поставлены вопросы не только социальные, а высшего назначения. По его записям видно, что

намечался новый роман, с главным героем — Алешей, посланным старцем Зосимой «в мир».

Этот роман мог явиться синтезом нравственно-социального и религиозного романа, новым направлением в искусстве. Преждевременная смерть этому помешала.

Религиозная сущность лишь намечается в «Идиоте», как и кредо Достоевского: «сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие атеизмы не подходит». Из странствия по России князь вынес образ русского Христа, как Достоевский вынес его из каторги. В восторге князь кричит Рогожину: «есть, что делать, Парфен! есть, что делать на нашем русском свете, верь мне!»

На чае у Епанчиных, охваченный радостью, что «есть, что делать», князь открывает переполненную счастьем душу:

«Слушайте! неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мне горе и моя беда, если и я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком — и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»

Пафос разрешается припадком и криком «духа, сотрясшего и повергшего» переполненного счастьем несчастного. Эти восторженные и глубочайшие слова мы услышим позднее, в предсмертном наставлении старца Зосимы, в романе «Братья Карамазовы». «Идиот» — преддверие этого романа.

В приведенных словах «идиота» основа — любовь. Любовь... что это такое? В совершенной и священной полноте она определена в первом послании ап. Павла к Коринфянам, гл. 13, ст. 1—8. Как могла удаться князю его «идея»? Любовь предполагает «действие», не слова, хотя бы и вдохновенные, — «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий». Князь, если и действует, что редко, не проявляет и тени любви. Он невинен, смиренен, кроток, не помнит обид... но любви не проявляет, да и не на чем показать ее, так как он вне действия. Не проявляет любви и к Настасье Филипповне: он только жалость к ней проявляет. Она понимает это и убегает к Рогожину; спасает от себя князя. Понимает и Рогожин, что

она любит князя, и потому, что она любит и любит такой любовью, на какую он, дикий, не способен, из мести приводит князя к трупу. Они сообщники, они оба убили, и оба несут наказание за преступление: поражены безумием.

Намерение Достоевского — дать «совершенно прекрасного человека» — не получило осуществления. Но, непроизвольно, по вдохновению, осуществилось другое, важнейшее, как бесспорный вывод: устроение царства Божия на земле, освобождение от греха и смерти возможны только путем религиозного обновления. И потому роман «Идиот» нужно признать первоосновой в дальнейших опытах религиозного романа, — а именно «Братья Карамазовы»: здесь Достоевский показывает себя глубочайшим и дерзновенным русским религиозным мыслителем, и можно сказать — всемирным.

Август, 1949
Париж

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинеинй

Том 7 (дополнительный)

ЭТО БЫЛО

Рассказы. Публицистика

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткииа**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.X 1996 г.
Подписано в печать 07.06.99 Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,08. Уч -изд. л. 32,12. С-14. Тираж 5000 экз. Зак 372.
ЛХ-152.

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Отпечатано в типографии ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати».
432601, г Ульяновск, ул. Гончарова, 14.


ISBN 5-268-00433-6
9 785268 004335


«РУССКАЯ КНИГА»